

Вадим Кожевников

3

Scan Kreyder - 19.02.2018 - STERLITAMAK

**Вадим
Кожевников**

Собрание сочинений

КВадим ОЖЕВНИКОВ

Собрание
сочинений
в девяти
томах



Москва
«Художественная
литература»
1986

К Вадим Кожевников

Собрание
сочинений
Том
третий

Повести

1936—1968



Москва
«Художественная
литература»
1986

P2
K58

Оформление художника

Ю. Б о я р с к о г о

К $\frac{4702010200-161}{028(01)-86}$ подписное

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

ПОВЕСТИ

На квартире Маслюкова, начальника станции Котельниково Владикавказской дороги, собрались бывшие члены комитета профсоюза железнодорожников и исполкома Советов Сальского округа.

Обычно эти негласные совещания проходили очень весело и напоминали дружеские вечеринки. Конпозаводчик Прелестнев, тучный, пучеглазый, усатый, страдающий одышкой, втаскивал вместе с кучером в узенькую переднюю заплесневевшие корзинки с шишучим донским вином. Обращая к хозяйке красное виноватое лицо, Прелестнев говорил, прикладывая толстую ладонь к груди:

— Ольга Викторовна, голубушка! Простите пьяницу! Без питий я — как рыба без воды.

Ольга Викторовна, делая такое движение, словно хотела помочь старику снять тяжелую мокрую шубу, произносила жеманно в нос:

— Алексей Денисыч, пьяненький вы такой милый. Но нужно щадить свое здоровье.

Выбравшись из шубы, Прелестнев подходил к Ольге Викторовне, с трудом склоняясь, целовал ее мягкую маленькую руку, потом долго и восхищенно глядел ей в лицо и произносил хрипло:

— В Московском Кремле есть две российские достопримечательности: царь-колокол и царь-пушка. Но третья хранится у нас здесь в захолустье: царь-баба. Это — вы.

И, расшаркавшись, входил в гостиную. Здороваясь, Прелестнев стремился каждому сказать приятное. Он был очень признателен этим людям за то, что они не забыли старика и провели его в члены исполкома как представителя «аграриев». А так как он не терпел одиночества, те-

перь ему не нужно было рыскать по округе в поисках собутыльников-компаньонов.

В качестве гостя Маслюкова на этих совещаниях присутствовал окружной атаман. Хотя и отрешенный от власти, он держал себя гордо, независимо и очень неохотно подавал руку, когда с ним здоровались. Ольга Викторовна, получив наказ от мужа быть радушной с гостями, старалась изо всех сил. Присаживаясь на ручку кресла, в котором сидел атаман, Ольга Викторовна клала руку на спинку. Колющий затылок атамана касался ее руки. Атаман при этом морщился, выпрямлял сухую, узкую спину и неприязненно косил глаза на выпуклую под шерстяным платьем грудь женщины.

В качестве гостя здесь находился также Макс Максимыч Зильбер, комиссионер. Представляя одновременно несколько иностранных компаний, он монополизировал все скупочное дело. Через его руки проходили миллионы пудов зерна, сотни тысяч пудов шерсти. Сухощавый, с коротко подстриженными седыми висками, одетый в русскую косоворотку и сапоги, он походил скорей на офицера в штатском, чем на прасола.

Зильбер часто приносил Ольге Викторовне подарки. Подарки были дорогие, в заграничной упаковке. Ольга Викторовна, зардевшись, подходила почти вплотную к Зильберу и умоляюще произносила:

— Макс Максимыч, когда это кончится? Я ведь вам запретила...

Зильбер, пристально глядя в сияющие глаза женщины, отвечал кратко:

— Прошу простить, но мне нравится видеть, как вы радуетесь таким пустякам.

Господствовал на этих собраниях сам хозяин дома, Алексей Петрович Маслюков.

Он говорил очень много, живо, остроумно.

Но главным, что вызывало к нему всеобщее уважение, была прекрасная ориентация в вопросах политики.

Всякий раз наслаждаясь произведенным впечатлением, Маслюков не особенно интересовался, в какой степени собравшиеся разделяют его выводы и обобщения.

До Котельниково Маслюков работал в Ростове в правлении Владикавказской железной дороги. Примыкая к прогрессивно настроенной группе молодых деятелей, он неоднократно выступал в печати с бойкими статьями о великом преобразующем значении строительства новых

дорог для России и предлагал открыть к нему широкий доступ энергичным людям.

Его поддержали кое-какие группы предпринимателей. Маслюкову всучили пачку акций будущей компании, намеревавшейся взять «патриотический» подряд на строительство какой-то дороги. Потом выяснилось, что компания вовсе не собиралась строить этой дороги, а, получив подряд, хотела перепродать его бельгийскому акционерному обществу.

Маслюков был вынужден уйти из правления. Ему удалось устроиться помощником начальника станции Ростов-Товарная. Здесь он свел знакомство с социал-демократическими кругами.

Участвуя в подготовке всероссийской забастовки железнодорожников, он втайне радовался возможности насолить правлению, откуда его выгнали.

Встретившись в театре со своим бывшим начальником, он сухо поклонился и, сделав значительное лицо, сказал:

— На днях ваше превосходительство будет неприятно удивлено.

И прошел в буфет, независимо подняв плечи.

Забастовка, а вслед за ней жестоко подавленное героическое восстание в ростовских железнодорожных мастерских вызвали волну репрессий.

Привезенный в пролетке в жандармское управление, Маслюков держал себя гордо, с подчеркнутым достоинством.

Но после десятидневного заключения в камере, узнав на допросе, что ему угрожает ссылка в Нарымский край, Алексей Петрович раскис.

В последнюю минуту, когда, казалось, спастись было нельзя, Маслюков, наклонившись к жандармскому полковнику, сказал:

— Я предупредил о готовящейся катастрофе его превосходительство и, так сказать, выполнил свой долг. Остальное можно рассматривать только как неизбежное следствие хода исторического процесса.

Нарымская ссылка была заменена Маслюкову назначением его начальником станции в глухой степи.

Испытывая отвращение к новой должности, Алексей Петрович сначала почти полностью устранился от дел, переложив их на своего помощника. Но познакомившись с Зильбером и убедившись, какие неожиданные блага сулит новое место, Маслюков превратился в ревностного службиста и с помощью того же Зильбера стал делать

ежемесячные переводы на текущий счет в один из иностранных банков.

После февральского переворота к Маслюкову явился Макс Максимыч и чрезвычайно торжественно, от имени «прогрессивных кругов населения», предложил дать свое согласие на участие в местных органах революционной власти.

Маслюков с восторгом отдался новой деятельности. Выезжая в станицы, стоя в коляске, опершись рукой о плечо кучера, он произносил короткие энергичные речи.

Земельная программа была составлена Маслюковым с абсолютной ясностью:

«Сальские степи представляют особую аграрную группу, сложившуюся на основе традиций казачьей вольницы; принцип казачьего землевладения и общественного устройства должен остаться нерушимым. Сальское казачество имеет все основания со временем провозгласить себя автономной казачьей республикой. Иногородние, а также малоземельное бедняцкое казачество может быть удовлетворено за счет добровольной сдачи в аренду помещиками и коннозаводчиками своей земли казацким и крестьянским обществам и под их гарантию».

Почти все члены Совета программу одобрили. Только окружной атаман сказал желчно:

— Вы, милейший, не себя ли метите в диктаторы республики?

И, сильно стукнув сухим волосатым кулаком, морщась от боли, закричал:

— Мои предки еще при Алексее Михайловиче эти земли с саблей в руках добывали, а тут всякие проходимцы-взяточники! — Атамана с трудом успокоили.

Железнодорожники открыто высказывали свое недоверие исполкому. Маслюкову приходилось изворачиваться. Неукротимый Зильбер не прекращал своей деятельности; к хлебу и шерсти прибавились масло, мясо, — для перевозки их требовалось все больше вагонов. Маслюков сделал ряд мелких поблажек рабочим и значительно увеличил жалование группе ведущих служащих. Но положение становилось все тревожнее. Рабочие станции требовали переизбрания Совета и комитета профсоюза.

Маслюков делал все возможное, чтобы отложить переборы.

В октябре на станции возник новый орган революционной власти — ревком. После перевыборов в новом Сове-

те остался только Маслюков. В новый состав исполкома вошли демобилизованные солдаты и рабочие станции.

Вот почему в этот вечер совещание на квартире у Маслюкова так отличалось от всех прочих совещаний.

Гости мрачно толпились вокруг водочного столика.

Маслюков с оскорбленным лицом бегал по комнате и, не обращаясь ни к кому, надорванным голосом выкрикивал:

— Сейчас не время для партийной борьбы! Диктатура какой-либо партии есть нарушение основного принципа демократии — народности. Кучка большевиков — не народ! Насильственный захват власти — не есть власть.

Остановившись перед сыном Прелестнева, рыжеусым сухощавым блондином в высоких блестящих сапогах, он спросил гневно:

— Вы начальник караула исполкома, бывший офицер. Почему вы позволили митинговать кучке дезертиров? Почему не проверили у них отпускные свидетельства? Почему не арестовали эту шпану?

Прелестнев встал, поднял полную рюмку и, щурясь, насмешливо ответил:

— Не было приказа о нарушении принципов демократии. Ваше здоровье!

И выплеснул себе в рот водку.

— Чего вы на него набросились? — закричал старик Прелестнев, заливаясь синим, старческим румянцем. — Вы, разговорчивый господин, разрешили рабочим вокзала без нашего ведома создать сторожевую охрану сараев, пакгаузов, водокачек и прочего. Попробовал бы мой Костенька хоть руку на них поднять. Эти бандиты подняли бы его на штыки.

— Значит, я во всем виноват? — потрясая руками, воскликнул Маслюков. — В таком случае я выхожу из нового состава исполкома!

Бывший председатель комитета железнодорожного профсоюза присяжный поверенный Тогунов иронически возразил:

— Нет, что вы, что вы! С вашими левыми разговорчиками вы, видно, прились ко двору новой власти. Разве можно считаться с самолюбием и честью, когда для красноречивого деятеля открываются такие широкие возможности.

— Я запрещаю называть меня так, — закричал Маслюков, — или я вам дам по физиономии.

Зильбер успел схватить Тогунова за руку. Со злобной гримасой он толкнул его обратно в кресло и, выйдя на середину зала, сказал, подняв руки:

— Господа, Мамонтов и Алексеев начали формирование своих частей. Гилорыбов, Семилетов действуют в округе, подымая казачество на борьбу за его исконные права. Алексей Петрович взял на себя святую, доблестную обязанность представлять интересы России. Настало время всем нам действовать совместно, и потому покорнейше прошу господина окружного атамана остаться, а остальных — удалиться.

Властный многозначительный топ Зильбера, его уверенное спокойствие подействовали на всех наилучшим образом. Гости стали расходиться.

Тогунов подошел в коридоре к Маслюкову с протянутой рукой и сказал, широко улыбаясь:

— Прости, Алексей Петрович! Я нагрубил тебе из профессиональной зависти к твоим способностям.

Растроганный Маслюков обнял Тогунова и даже поцеловал его куда-то между ухом и шеей.

В пять часов утра Зильбер и окружной атаман ушли от Маслюкова.

После всех этих тревожных разговоров Алексей Петрович почувствовал себя, как никогда, одиноким. Ольги Викторовны не было дома: она поехала провожать гостей.

Рассвет был тусклым, серым. В открытую форточку тянуло запахом сырости; из поселка доносились какие-то неясные, негромкие звуки.

Алексею Петровичу вдруг стало так страшно одиноко, что он готов был закричать, разбить окно, выпрыгнуть наружу...

Он встал на подоконник и, высунув лицо в форточку, начал шептать, как делал это в детстве, совершив какую-нибудь пакость и боясь наказания:

— Господи, помоги мне. Я не хочу делать ничего плохого... Господи...

В шесть часов утра вернулась Ольга Викторовна. Отвращающая бледное, усталое лицо с припухшими губами, она сказала, бросая на кресло шубу:

— Ты не сердись, я немного прокатилась с Прелестным.

Несомненно, речь шла о молодом Прелестном. Алексей Петрович давно испытывал неприязнь к этому рыжеусому с длинными ногами в начищенных сапогах. Но сейчас ему было безразлично, с кем каталась Ольга Викторовна. Хо-

рошо, что сейчас она здесь и он не один. И, помогая жене снять высокие ботики, чего он никогда не делал, Алексей Петрович прошептал просительно и смущенно:

— Оленька, ты не будешь возражать? Пусти меня сегодня к себе: мне как-то ужасно одиноко...

— Хорошо, — устало согласилась она, — но предупреждаю: я хочу только спать.

2

Прощавшись на станции с попутчиками, Никита Федорович Мальцев зашагал по пыльной, горячей дороге к себе в станицу.

Весна расшевелила землю. Степь цвела пышно и широко. В ложбинах алые и багровые тюльпаны. В балках белокурые головы яблонь и вишен. Ветер доносил горький дымный запах кизяка.

Никита сдерживал счастливую улыбку. Совестно как-то! Идет по степи здоровенный, обросший бородой солдат с тяжелой австрийской винтовкой за плечами и смеется, как контуженый. Увидев издали свою хату, Никита остановился. Присел на сухую кочку заброшенного муравейника, вынул кисет, свернул вздрагивающими пальцами сигарку и глубоко затянулся. Затем решительно встал, оправил плечом ремень винтовки и пошел напрямик, опустив голову. Лицо стало угрюмым. Мало ли какие неожиданности могут ждать человека, когда он четыре года не был дома!

Хата Мальцева оказалась заброшенной. Окна забиты крест-накрест серыми сухими досками. Усадьба заросла густым бурьяном. Поваленный плетень гнил на земле.

Никита толкнул плечом дверь и вошел в хату. Пахло затхлостью.

Внимательно оглядел каждый уголок, щелочку, но не нашел ничего, что могло бы указать на причину этого запустения. Никита опустился на лавку возле печи и, жалко улыбнувшись, произнес, словно насмехаясь над собой:

— Та-ак...

В окно билась неизвестно как попавшая сюда бабочка.

К вечеру Никита вышел из хаты. Подперев дверь доской, он отправился к соседям. Возвращаться он, видимо, не собирался. По-прежнему висела на его плече тяжелая австрийская винтовка, сзади болтался грязный сол-

датский мешок, а у пояса — солдатский алюминиевый котелок.

— Ой, сосед, прямо не знаю, с чего начать, о каком несчастье тебе перво-наперво рассказать...

Все это, суетясь и не то радуясь чужому горю, не то пользуясь случаем выговориться всласть, сыпала скороговоркой соседка Кузьмовна, полная коренастая женщина с большой грудью и темными, широко открытыми глазами.

— Настька-то твоя без тебя с товарищами снюхалась. Ее Василь Макарыч Костин, председатель ревкома, обожал за бойкость, еще когда машинистом был. Потом в кондукторши устроил, а после, когда, спаси и помилуй Советскую власть, возвысился, взял ее к себе, для надобностей приспособил. Прискучила она ему или как, — мы, тутошние, не знаем, — а только он ее в станицу послал. А казачки, сердитые на Советскую власть, по пути поезд остановили и что хотели с людьми, то и сделали. Так мы ее с тех пор и не видали. Костин очень жалел — пропала, говорит, бабенка, для революции и всех прочих надобностей полезная...

Беспреестанно улыбаясь, одергивая кофточку и задевая Мальцева то плечом, то грудью, Кузьмовна поспешно накрывала на стол. Вытащив из-под печки завернутую в полотенце бутылку, она смутилась и, неловко подойдя вплотную к Никите, произнесла протяжно и застенчиво:

— Может, откушаете? Моего-то, видать, в живых ожидать не приходится.

Никита угрюмо посмотрел в покрасневшие от слез глаза Кузьмовны и сказал глухо:

— Спасибо! На фронте шлюхами не пользовался, и здесь не требуется...

Тяжело поднявшись, он пошел к двери. Его остановил рыдающий, гневный голос женщины:

— За что ты меня так?! Или у меня душа на месте? Не будет же мне радости все равно от этого!

Смутившись, стараясь не глядеть в оскорбленное, искаженное болью лицо женщины, Мальцев хмуро сказал:

— Прости, муторно у меня здесь.

И, проведя ребром ладони по горлу, Никита вышел, наклонив голову под низкой притолокой.

Одноногий Прокофьев, чтоб не увязать своей деревяшкой в рыхлой земле, прибил на узкий конец ее планку. Но все равно страшно и дико было смотреть на этого тощего,

с желтым костлявым лицом человека, пашущего землю вприпрыжку. Несмотря на приспособление, деревянная нога так глубоко уходила в землю, что Прокофьев то и дело, не успев выпустить рукоятки плуга, волокся за лошадью, выдернутый из своего протеза, жалкий, беспомощный.

Никита Мальцев остановился, глядя на своего старого окопного приятеля. Но когда он хотел подойти, чтобы помочь калеке, Прокофьев допрыгнул до валявшейся на борозде ноги, синий от ярости, поднял ее и поскакал к лошади. Никита насильно усадил его на землю и, бросив на колени кيسет с табаком, велел покурить и успокоиться.

Жадно давясь махорочным дымом, Прокофьев рассказывал:

— Жизнь теперь подходящая началась. Только бы мне ногу с пружиной достать, — говорят, делают теперь такие. А сил у меня на сто десятин хватит.

Никита улыбнулся.

— Что ж, — сказал он весело, — вид у тебя бодрый!..

Прокофьев оживленно и серьезно подтвердил:

— Кручусь. Теперь, брат, нам лафа. Скоро землицы отвалят. У помещиков и коннозаводчиков общество будет арендовать и бедняков наделять. Конечно, ты — другое дело: машипистом захотел быть, несмотря на казацкое звание. Правильно сделало общество, что землю у тебя отобрало, — какой же ты казак, когда ты рабочий!

— А эту вот землю тебе дали, что ли? — спросил Никита.

— Нет, — смутившись, протянул Прокофьев, — это — соседская, я ее исполу арендую. Но скоро свой надел будет обязательно, — горячо подтвердил он. — Товарищ Маслюков так и сказал: как решим главные революционные задачи, так сейчас и землю начнем делить.

— Земля, значит, еще номером не подошла, — усмехнулся Мальцев, — а куда у соседа заимствуй.

И вдруг, задорно обняв Прокофьева за плечи и поворачивая его к себе, весело спросил:

— Скажи, дураком тебе приятно быть, а?

— Ты это брось, — сердито отбивался Прокофьев. — Ты казак, тебе землю и так дадут. А меня не тревожь, за душу не трогай, болит...

И Прокофьев стукнул себя в грудь так сильно, что на глазах у него выступили слезы.

— Настя твоя тоже...

Лицо Мальцева потемнело. Он схватил Прокофьева широкой ладонью за лицо и хрипло сказал:

— Молчи! Все знаю!..

3

Ревком помещался в здании вокзала.

На каменных ступенях у входа в зал первого класса сидел толстомордый парень в старой, навозного цвета, шинели. Склонившись к разложенной на листьях лопуха пище, он жадно ел. Винтовку прижимал локтем к боку, на штыке трепыхались какие-то бумажные клочки.

— А ну убери ноги, молодец! — сказал Мальцев парню. — На посту стоишь, а расселся, как на большой дороге.

— На посту? — переспросил парень, отодвигаясь. — Это верно, что на посту; нынче нас всех на пост посадили, а скоро и совсем жрать будет нечего.

Никита не помнил, как все случилось дальше.

Он видел лицо парня, налитое кровью, трясущееся, с выпученными глазами. Руки Никиты все сильнее стискивали чужую толстую шею; придушенно и злобно сквозь зубы Никита спрашивал:

— Ты кто, гад, кто?

Мальцев пришел в себя в ревком, где его усадили на скамью рядом с испуганно дышавшим парнем.

— А ну сядь, остынь. Потом разберемся.

Мальцев понуро опустил сложенные руки между колен. Ему было стыдно, не так он хотел прийти в ревком.

За столом напротив сидел сутуловатый человек с усталым, бледным лицом. Редкие, давно не стриженные волосы льняного цвета топорщились сзади, приподнятые воротником поношенной железнодорожной тужурки. По спокойствию, негромкому отчетливому голосу и по тому, как при виде его менялись возбужденные лица подходивших людей, Никита понял, что этот человек здесь — главный.

— Пришлось мясо на базаре закупать, — крестьяне отказали, — докладывал сидящему за столом низенький толстый железнодорожник, весь обсыпанный мукой, — зерно повезли молоть к Сытиным. Старик заперся на мельнице с сыновьями, и оттуда двустолками грозят. На конфликт разрешения не было. Глядим — гусиное стадо в пруду возле мельницы плавает. Я кричу: «Силыч, дай смолоть! В тебя мы без приказа стрелять не будем, а гусей перебьем!» Подумал старик, сжалился над добром. Выхо-

дит и говорит: «Сегодня ваша взяла, а завтра посмотрим». Смололи мы зерно, а помольное в сельсовет отвезли. Вызвали председателя. «Забирайте, говорим, ваше помольное, поскольку мельница общественная». А председателю и хочется и колется. Не отобрали они еще у кулака мельницу, забоялись, и перед пролетариатом признаться стыдно. Вот они и отвечают: «Берите себе помольное, нам хлеба хватает». А мы говорим: «Нет, извиняемся, закон нарушать нам не позволено». Ну, начался у них там шум и митинг. Постановили все-таки мельницу отобрать. Вот, значит, какое настроение!

К столу подошел Андреев. Мальцев узнал своего машиниста-наставника. Улыбнувшись, он поднялся ему навстречу, но Андреев, словно не замечая Мальцева, сказал сидящему за столом, приложив ладонь к фуражке:

— С арестованными, товарищ Костин, что прикажете делать? — и повел глазами в сторону Мальцева.

Услышав фамилию Костина, Никита часто и сильно задышал, рука сама собой потянулась к плечу, где в мешке был спрятан наган. Но мешка не было, винтовки тоже; Никита забыл, что у него их отобрали. Он опустил на лавку и с отвращением и злобой глядел в упор на бледное длинное лицо Костина, на его опущенные веки.

Костин, не подымая головы, спросил:

— Получили провиант? Охранные дружины у моста через Мапыч, у нефтекачки и пакгаузов.

— Так точно. Получили.

Костин кивнул головой и, резко повернувшись к Мальцеву, отрывисто спросил:

— Кто такой?

Никита всеми силами сдерживался, чтоб не взглянуть в ненавистное лицо, — он чувствовал, что если это случится, то он может вскочить, ударить, бешено закричать, — и, не подымая глаз на Костина, произнес глухо, кивнув в сторону Андреева:

— Он знает.

Андреев передернул плечами.

— Из казаков. Был у меня помощником. Но это значения не имеет. Предъявите документы!

Никита нехотя, словно размышляя, стоит ли это делать, полез в карман, вынул бумаги, но протянул их не Костину, а Андрееву, тот передал документы Костину.

Костин взглянул на бумаги, вышел из-за стола. Он оказался человеком маленького роста, коротконогим, обут в пыльные сапоги. Длинную сутулую спину и впалую

грудь перетягивал ремень, на котором висел старый «бульдог» — обычное вооружение железнодорожных почтовых чиновников.

Он подошел к Никите, улыбнулся всем своим длинным лицом, взял Никиту за руку, — тот вздрогнул, словно прикоснулся к гадкому.

— Что ж это ты, брат, такой огневой? Контужен был, что ли? Ну, на первый раз забудем. А вообще... Ну, словом, рады. Выходит — нашего большевистского полку прибыло.

И, обернувшись к Андрееву, Костин сказал, с гордостью показывая на Никиту:

— Матерый. В Питере на армейской конференции делегатом был.

Андреев улыбнулся, словно эти слова относились к нему.

— Парень он хороший. На машиниста я его готовил. Казак, а любит наше дело — механику. Ну, Никита, обнимемся, что ли? Со счастливым приездом!

Никита нехотя обнял Андреева. Присутствие Костина тяготило его, он угрюмо пробормотал:

— Для кого счастливый, а для кого и колом выйдет.

И оглянулся на Костина. Тот стоял, опершись рукой о стол, и с какой-то молчаливой грустью смотрел на Никиту. Но, встретившись с ним взглядом, вдруг изменился в лице и отрывисто и деловито сказал:

— Давай обсудим тебе назначение; дел у нас тысяча! Обстановка трудная.

Потом, показывая Андрееву на притихшего парня, умильно и добродушно смотревшего на Никиту, попросил:

— Возьми и выясни, кто он и кем был поставлен.

Парень всплеснул руками и плаксивым басом запричитал:

— Дяденька, не надо, не фронтовик я вовсе, казак. Меня батька сюда послал — может, куда зачислят службу несть...

— Что ж, у вас дома жрать нечего? — спросил Костин.

— Зачем? — приосанился парень. — У нас хозяйство исправное.

И, вдруг поняв что-то по глазам Костина, испуганно объяснил:

— Я же не сам, не своей охотой, мне же батька велел. Я ничего и не трогал. Вот хоть общитесь...

Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась толпа железнодорожников во главе с Маслюковым. Он был в новой кожаной куртке и в военной фуражке, низко надвинутой

на глаза. В руке стиснут наган, на который, как замороженный, смотрел железнодорожник в расстегнутой куртке и с оцарапанным лицом.

Костин встал, оперся руками о стол. В комнате стало тихо, — только тяжелое дыхание людей, шарканье переступающих ног.

— В чем дело?

Маслюков бросился на стул и, расстегивая ворот рубашки, изнеможенно сказал:

— Вот этот оказался предателем.

Бледный, взъерошенный железнодорожник сделал шаг к столу и, взволнованный, со слезами на глазах, указал на Маслюкова:

— Они приказали мне задержать эшелоны Петренко — анархиста.

Маслюков наклонился к Костину:

— Из Узловой была получена депеша — кто-то преступно беспрепятственно пропустил бандита Петренко. Нам было приказано его задержать.

— Почему не доложили? — сурово оборвал Костин.

Маслюков, негодуя, встал. Обращаясь к Андрееву и Мальцеву, он сказал, пожимая плечами:

— Удивляюсь товарищу Костину! Почему штаб обороны обязан докладывать ревкому о каждом своем оперативном действии?

Судя по красным пятнам, покрывшим бледное лицо Костина, ему стоило большого усилия сдержаться.

Маслюков снова уселся, заложив ногу на ногу, и полным угрозы голосом обратился к растрепанному железнодорожнику:

— Ну-с, рассказывайте, голубчик. Вас слушают.

Железнодорожник даже не взглянул в сторону Маслюкова; обратив страдающее лицо к Костину, он продолжал, тяжело переводя дыхание:

— ...Вышли мы на сто семьдесят четвертую версту — восемьдесят штыков при одном пулемете... Окопались... Ждем. На рельсы шпалы наворотили...

— Почему не минировали путь? — спросил Костин.

Железнодорожник, обернувшись к Маслюкову, сказал:

— Они не велели.

— Врет, — твердо произнес Маслюков.

Железнодорожник покраснел, растерялся. Несколько мгновений он стоял, судорожно двигая челюстью, — ему не хватало воздуха.

— Садись. Продолжай. Разберемся.

Железнодорожник сел и вновь заговорил прерывающимся голосом:

— Ну, засели мы, ждем... Через часок примерно подкатывают к нашему заграждению три эшелона по тридцать пять вагонов в каждом; у переднего состава на площадках восемь орудий за мешками с песком, из каждого окна пулеметы. Матросы с карабинами, гранатами — пырь под вагоны и залегли. Народу там, по всему видать, сотен пять. Глядя на их вооружение, нас дрожь пробрала от зависти. Но драться решили твердо. Вдруг из вагона выходит плюгавый такой морячок и кричит в нашу сторону: «Эй, дурачки, давайте парламентаря! Петренко разговаривать желает!» Посоветовался с ребятами, пошел.

Проводили меня морячки в штиблетах в вагон первого класса. Петренко — мне навстречу, руку протягивает. На столе — угощение: коньяк высшей марки, закуска — колбаса жареная. Я выпить наотрез отказался. Петренко говорит: «Мы насилия ни в чем не признаем. Не хочешь — не пей». Выпил он сам, потом спрашивает: «А знаешь ли ты, что такое анархизм?» Я ему: «Не знаю и знать не желаю. Говорите прямо — сдаетесь или нет, а то надоело вас держать на пушечном прицеле». Петренко усмехнулся: «Пушек-то, положим, у вас нет, а у нас есть, но не в этом дело». Велел он вызвать из другого вагона мужчину — образованный такой с виду, вроде товарища Маслюкова. И начал тот мне про анархизм объяснять. Я его, конечно, не слушаю. «Ну, как,— спрашивает меня Петренко,— согласен с нашей программой?» — «Нет, говорю, не согласен». Хочу объяснить — почему, а не выходит. Тогда Петренко встает и велит матросу вынести нам из вагона шесть винтовок, восемь сабель, ящик винтовочных патронов, пол-ящика орудийных снарядов, пулемет поврежденный. «Вот, говорит, берите и катитесь. Мы вас не будем трогать, а вы нас. Потому что все-таки главный наш враг буржуазия, а взять нам с вас нечего». Вижу: действительно положение такое — гнева на них, так сказать, как на нашего врага, у меня не стало, а своих людей жалко. «Ну, говорю, подбросьте еще десятка два бомб, ящик патронов, и разойдемся». Они и подбросили. Пожал мне Петренко руку, вышел я из вагона. И не думал вовсе, что неправильно сделал, а только обидно было, что политически себя не доказал. Разобрали шпалы. Паровоз по-свистел, тронулся. Они нам помахали, а мы им — нет. Подобрали оружие — с паршивой собаки хоть шерсти клок...

Железнодорожник приложил к груди руку и произнес с тревогой и скорбью:

— Вот и все, товарищ Костин. Все — истинная правда.

Помолчав, Костин вынул из кармана грязный носовой платок, вытер потные руки и устало сказал железнодорожнику:

— Ступай, Яковлев, о решении узнаешь после.

— То есть как это ступай? — возмутился Маслюков, подождав, когда дверь за Яковлевым закрылась.

Костин поднялся из-за стола, подошел к Маслюкову и, покачиваясь с пяток на носки, с недоброй улыбкой ждал, пока Маслюков торопливо и неумело засунет наган в кобуру, затем спросил вежливо и тихо:

— Как же это так получается, товарищ Маслюков? Посылаете вы людей задержать вражеский эшелон и даете только одно указание — не портить пути. А кто этот враг и за что его нужно бить — люди должны сами догадаться или действовать вслепую.

Маслюков, продолжая возиться с кобурой, пробормотал неохотно:

— Я полагаю, что политикоразъяснительная работа ведется ревкомом. Функции штаба обороны — иные. И потом... — Маслюков раздраженно надел фуражку. — Чего вы ко мне пристали? Давайте, знаете... поменьше общих разговорчиков, да побольше дела. Относительно Яковлева штаб обороны вынесет свое решение.

И, чуть не споткнувшись о вытянутые ноги Андреева, яростно оглянулся и вышел. Вскоре вышел и сам Андреев.

— Видал, — обратился Костин к Мальцеву, — каков типик?

Положив руку на плечо Мальцева, он спросил:

— Ну теперь выкладывай, какую работу хочешь. Скажу прямо — люди везде нужны. В ревкоме будешь работать?

Мальцев осторожно снял с плеча руку Костина и угрюмо сказал:

— В ревкоме нам с тобой вместе трудно работать. Понятно?

Костин переложил на столе бумаги и тоже, не подымая глаз, глухо ответил:

— Пожалуй.

Потом выпрямился, произнес твердо, глядя прямо в глаза:

— Вот что. Нам нужен бронепоезд. Банды совершают палеты на мелкие станции. Казачество в станицах готовится к восстанию — окружной атаман уже сколотил крепкую вооруженную группу. Мобилизуй людей и работай, — ребята у нас хорошие...

Вошел встревоженный Андреев.

— Допросил казачка, — сказал он негромко. — Дурачком вначале прикидывался... Восстание готовится всерьез. К Узловой подходят крупные соединения белых.

Жил, ел и спал Мальцев на вокзале в помещении первого класса вместе с бойцами.

Маслюков неохотно подписал приказ о выдаче для бронепоезда четырех железных полувагонов системы «фокс-арбель», заметив, что воевать таким способом с конными бандами смешно и глупо. Выдать двести штук шпал, необходимых для перекрытия бронеплощадок, отказался.

Мальцев не стал спорить. В депо он обратился к рабочим. И железнодорожники раздобыли всё, что было нужно...

Через два дня бронепоезд был готов. Параллельно железным стенкам полувагонов «фокс-арбель» были сделаны другие, деревянные, а в промежуток между ними насыпали песку. Сверху бронеплощадку прикрыли рядами шпал — для защиты от снарядов и аэропланых бомб. Лобовую стенку переднего полувагона сняли и поставили сюда трехдюймовое орудие. Оборудовали стеллажи для снарядов, сколотили несколько деревянных коек для отдыха команды. В середину этого состава поставили паровоз серии «ОВ».

Мальцев намеревался сформировать команду для бронепоезда из бывших фронтовиков. Но железнодорожники решительно воспротивились. Еще в то время, когда в депо мастерилась эта неказистая крепость на колесах, они решили стать сс бойцами.

Мальцев понимал, что железнодорожники имеют право воевать оружием, наиболее им привычным. И, передав командование ротой фронтовиков Андрееву, он ночью выехал на бронепоезде к станции Гуровской, где, по имевшимся сведениям, контрреволюционное казачество готовилось к восстанию против Советской власти и на требование сдачи оружия ответило отказом.

Рота фронтовиков должна была идти в станицу степью.

Через станичный Совет удалось добыть для пехоты обоз с обязательством вернуть его через два дня: одна водовозка на двадцать ведер и две тачанки с провиантом должны были следовать за пехотой.

4

Костин вторые сутки не был дома. Он спал здесь же в ревкоме на столе, положив под голову мешок с документами. Конечно, он мог найти время, чтобы побывать дома, но сам не хотел этого.

Видеться с женой ему было сейчас слишком тяжело. Дочь станичного казака Храмова, она пошла за Костина замуж против воли отца. Несколько раз братья Нины, приезжая в поселок на воскресные базары, ловили Костина на улице и в присутствии отца их, жилистого старика с седым вьющимся чубом, набрасывались на зятя с кулаками. Прислонясь спиной к забору, Костин отбивался, нанося жестокие редкие удары в пьяные лица своих родственников.

Замыв кровь у соседей и кое-как заправив порванную рубаху, Костин приходил домой. Нине говорил, что подрался с грузчиками на Товарной. Но жена отлично знала, в чем дело. Бледнея, сжав губы, щуря серые гордые глаза, она произносила глухо:

— Ты бы шкворень в мастерской сделал и шкворнем их по башкам!

Но унижительнее всего было, когда эта родня в полном составе после базара на двух тачанках являлась «в гости». Костин, работавший смазчиком, снимал крохотную комнату в доме сцепщика Силушкина. Для родичей не было ни посуды, ни угощения. Приходилось бегать по соседям, занимать деньги, одалживать стулья, тарелки, ложки, вилки.

Родственники, рассевшись в палисаднике, ждали. Сладкими голосами они просили Нину:

— Уж ты прости, за-ради бога, мы исть не очень хотим, нам только перекусить чего-нибудь, может, хлебушко найдется — и за то спасибо...

Каждый наезд родственников обходился Костину в месячную получку. Зная гордый, самолюбивый нрав Нины, он покупал в бакалейной лавке дорогие консервы, вина. Но когда прибегал домой, оказывалось, что гости, достав свой хлеб, огурцы и прочую снедь, разложив все это по столу, уже ели с кроткими обиженными лицами.

Костиным приходилось отказывать себе во всем. У Нины было только два платья, одно — из серого сатина, в котором она ушла от отца и постоянно ходила дома, другое — синее, с белым воротничком, — ей купил его Василий в годовщину свадьбы.

Но никогда Василий не слышал от жены ни слова упрека. С суровым ожесточением он стал пробиваться к лучшей жизни, чтобы вознаградить Нину за ее самоотверженную, безоглядную любовь, за страдания, причиняемые бедностью.

Через два года он стал машинистом. Возвращаясь из поездок, он ходил по экономиям, ремонтировал сельскохозяйственные машины, чинил ведра, работал в кузнице.

Дела начали поправляться. Они переехали в новую квартиру. Нина ходила озабоченная, с серьезным, полным какого-то внутреннего света лицом.

Как-то отец Нины пришел к ним. Оставив сыновей на улице, не решаясь сесть, он смущенно и грубо попросил займы сто рублей. Пала лошадь, а год выдался неурожайный — суховей сжег посевы. Василий поспешно отдал старику все свои сбережения.

Отец ушел с лицом, покрытым красными пятнами. Нина бросилась Василию на шею. Прижимаясь щекой к его груди, целуя руку, она тормозила мужа, заливаясь тоненьким, торжествующим смехом, каким смеялась редко, в минуты только очень большого счастья.

В дни, когда Василий приносил получку, Нина, всегда такая суровая, сдержанная, превращалась в хлопотливую восхищенную девочку. Озабоченно пересчитывая деньги, прятала их под подушку и становилась такой нежной и внимательной, что Василию делалось совестно. Он как-то сказал ей об этом. Нина сначала покраснела до слез, смущилась, но потом объяснила, что теперь, когда у них будет ребенок, она не хочет больше терпеть нужду. И потребовала от Василия (по совету отца), чтобы он брал с собой в поездки творог, масло, битых кур, — их будут привозить родственники, и продавал всю эту снедь на узловых станциях торговкам. Как ни стыдно было Василию, он согласился. Доход от торговли почти вдвое превышал его заработок машиниста.

Родственники прониклись к Василию уважением, называли почтительно Василием Макарычем и, когда он с нарядно одетой женой приезжал навестить их в станицу, встречали парадно, торжественно. Отец усаживал Костина рядом с собой и, поднося ему первому стопку, говорил:

— Дорогому зятюшке за общее наше преуспеяние.
Но рабочие поездной бригады избегали дружбы с Василием.

Сцепщику Силушкину отрезало ногу. Машинист Андреев с картузом в руках обходил рабочих, собирая деньги для семьи пострадавшего. Василий бросил в картуз сорок рублей. Андреев вынул их оттуда. Не глядя на Василия, он молча положил деньги на ступеньку паровоза и прошел мимо.

Одиночество озлобило Василия, и он сам не делал никаких попыток завязать дружбу с сослуживцами.

В 1905 году из Сальских степей была вызвана казачья часть для подавления вооруженного восстания в Ростове.

Василия пригласил к себе начальник станции и в присутствии жандармского офицера приказал вести эшелон с казаками.

Василий вывел паровоз с запасных путей к водокачке заправиться водой. В будку поднялся Андреев и озабоченно спросил:

— Значит, едешь?

Василий хмуро посмотрел на него, ничего не ответил, потом подошел к окну, крикнув помощнику:

— Полней давай. Без остановки идти будем.

Обернувшись, он почти столкнулся с Андреевым.

— Совесть у тебя рабочая осталась? Ведь своих убивать везешь. Откажись! Все отказались.

— Ступай! — крикнул Василий. — Пошли вы все к...

И длинно выругался.

Заметив жандарма, Андреев соскочил с подножки и угрожающе крикнул:

— Ладно, Василий Макарыч, спасибо тебе от всех семей сирот и вдов. Старайся!

Василий подал паровоз под состав, набитый лошадьми и казаками. Двери теплушек были открыты настежь. Казаки горланили песни.

Пройдя станцию Торговая, на середине пустынного и длинного перегона Василий перекрыл тендерные клапаны, подающие воду к инжекторам. Когда потолок топки стал обнажаться и начали плавиться предохранительные пробки, Костин остановил поезд, объявив, что дальше ехать нельзя: взорвутся котлы. До ночи эшелон простоял в стени, пока не подошел вспомогательный состав. Василий девять месяцев просидел в тюрьме, а выйдя на волю, не застал дома жены. Она с ребенком переехала к отцу.

Василий остался без работы. В это время в Котельниково прибыл повый пачальник станции Маслюков.

Рабочие обратились к нему с требованием вернуть Костина на работу, угрожая в случае отказа забастовкой. Маслюков принял делегатов у себя дома в халате. Приказав кухарке подать чай, он сказал, лениво и грустно улыбаясь:

— Костина я, конечно, на работу приму. Но не потому, что вы пугаете забастовкой. Стачка — глупость, анархия, забастовки наносят только ущерб России и нам с вами. Всякие недоразумения мы будем решать впредь на основе справедливых и разумных принципов. Ведь вы не мужики деревенские, чтоб устраивать сходки и бунты. Вы — организованный, наиболее сознательный класс и, значит, должны защищать свои интересы так, чтобы это приводило к общественно полезным результатам.

Василий приступил к работе. Нина вернулась к нему с ребенком. Но прежней душевной нежности, сокровенной и самоотверженной заботы друг о друге уже не было: Нина всю себя отдавала ребенку. Она не проронила ни слова, когда Василий отказался возобновить торговлю по станциям.

Жили они скупо, бедно, потому что Нина копила деньги, боясь снова какой-нибудь неожиданности.

Сблизившись с Андреевым, Василий стал посещать собрания комитета. И сам впервые организовал демонстрацию протеста по поводу ареста и посылки на фронт на передовые позиции машиниста Мальцева, уличенного в антивоенной пропаганде.

В тридцать лет Василий выглядел сорокалетним. Сухие тонкие морщины пересекали его высокий с залысинами лоб. Отчужденность Нины, возраставшая с каждым днем, мучила его. Много раз он пытался говорить с женой о своей партийной работе, но в ответ выслушивал только грубые, злые слова. Иногда Нина нарочно прикидывалась глупой, спрашивала, сколько будут платить ему при социализме и нельзя ли получить вперед, а то ребенку ходить не в чем. В такие минуты Василий люто ненавидел жену...

Обо всем этом Василий рассказывал Андрееву. Тот задумчиво потирал лоб темной маленькой рукой и говорил медленно, с укоризной:

— Пойми ты, Василий Макарыч, что жена у тебя — казачка. Значит, есть у нее в крови эдакое крестьянское.

Но какой же ты сознательный человек, если на любимого человека умом и сердцем воздействовать не можешь!

И неожиданно заключал:

— Выходит, что нельзя будет тебя по вагонам пускать, с фронтовиками беседовать — выдержки маловато. Придется для тебя твердого товарища подыскать.

Твердым товарищем оказалась жена машиниста Мальцева — Настя. Сопровождая воинские эшелоны, Василий брал ее с собой. На остановках они вдвоем заходили в солдатские вагоны и заводили беседы.

Настя была маленькой, худенькой, темноволосой, с большими запавшими глазами и невучим голосом. При виде женщины солдаты обычно начинали говорить пакости. Настя, строгая и спокойная, терпеливо ждала, пока люди уgomонятся, а затем произносила просто и скорбно:

— Кто теперь солдатскую жену не обижает! Все обижают. Кто словами, а кто и иначе. Вы думаете, легко без мужа, без защитника! Чего только не натерпят теперь ваши жены и сестры. А за что?!

Солдаты угрюмо притихали, а потом слушали Мальцеву внимательно и серьезно.

По приказанию офицера Настю хотели задержать станционные жандармы. Солдаты выскочили из вагонов, избили жандармов, переколотили стекла на вокзале и отказались следовать дальше, пока из Узловой не был выслан бронепоезд.

В пути, стоя на трясущемся полу будки паровоза и внимательно глядя на руки Костина, Настя мечтательно и грустно рассказывала о своем муже, и Василию было неприятно слушать эти слова, нежные, тоскующие, — ему становилось завидно. Стыдясь этого чувства и не в силах справиться с ним, Костин сипло и неприязненно спрашивал:

— Он тебе пишет?

— Нет, — покорно вздыхала Настя, — он еще, когда на фронт уходил, сказал: «Сам писать не стану, и ты не пиши, меньше мучиться будем».

— С характером! — коротко бросил Василий.

А Настя, не замечая его тона, застенчиво продолжала:

— Он строгий. Но умел и ласковым быть. Таким ласковым, что мне в такие минуты умереть от радости хотелось. Возьмет меня завернет в одеяло, прижмет к себе и, как ребенка, посит по комнате. В лицо заглядывает, смеется...

И Василий, чтобы не слышать певучего голоса женщины, не видеть ее лица, отворачивался.

Как-то Василий с Настей возвращались ночью после заседания ревкома. Это было накануне роспуска старого состава Совета. Стояла густая темень, затянутые ледком лужи хрустели под ногами, с голых ветвей деревьев падали капли влаги.

Настя, зябко ежась в старенькой, расшитой черной тесьмой, наверное от бабушки доставшейся жакетке, с буфами на плечах, шла впереди. Беспреданно оглядываясь, она говорила тонким счастливым голосом:

— Ведь так все просто, Василь Макарыч! Рабочие трудились, а капиталисты из века в век им за работу честно не платили. И столько этих ворованных денег накопилось, что рабочие давным-давно на них могли купить себе все фабрики и заводы. А раз они наши, то нужно их отобрать. Помещики, коннозаводчики всей землей владеют, а земля — народная. Ну и нужно ее народу отдать. Все очень просто. Нужно только каждому правду объяснить...

Костиц, ничего не отвечая, шагал позади. Он думал о Насте. Сейчас вот она задушевно говорит о правде как о чем-то очень личном, сердечно близком ей. А полчаса назад упорно допытывалась на ревкоме у Андреева, сколько рабочих участвуют в сторожевых охранениях. И когда Андреев снисходительно ответил: «Хватает. Охотников много», — Настя всполошилась и сурово его отчитала:

— Да разве тебя только охрана складов заботить должна? Побольше людей вооружать надо — вот в чем главное. Пусть хоть телеграфные столбы охраняют, лишь бы с винтовками были. Пригодятся.

Василий, видя, как Настя неуверенно балансирует руками, переходя по обледеневшей кромке лужи, хотел помочь ей, но взять под руку не решался. Вдруг из-за угла метнулись два человека: один из них взмахнул рукой, и Настя, жалобно всхлипнув, упала на землю. Василий нагнулся, чтобы вытащить из-за голенища тяжелый трехгранный подпил. Выпрямиться он не успел: один из парней навалился на него сверху, а другой, суетясь, кричал: «Башку ему не заслоняй, башку!» Василий упал, вскочил и ткнул кому-то головой в живот. Парень, хрустнув зубами, ничком растянулся на земле. Другой убежал.

Настя лежала без сознания, скорчившись. Рука заломлена за спину.

Василий поднял Настю. Голова ее падала, губы раскрылись. Лицо посерело. Василий отнес Настю к себе домой.

Похудевшая, повязанная белой косынкой, из-под которой смешно торчали большие прозрачные уши, Настя походила на девочку. Нина, как только Настя стала поправляться, категорически заявила Василию, что «не желает держать в доме его девок».

Василий вызвал Нину на улицу. Глядя на нее, сытую, с надменно вздернутыми бровями, он стиснул ей плечо так, что она побледнела от боли, и сказал, задыхаясь:

— Не смей больше так говорить! Слышишь! Она мне знает — кто?

Нина посмотрела на него с отвращением и, ничего не ответив, выдернув свое плечо из его дрожащих пальцев, ушла. Вечером, забрав свое имущество и не попрощавшись, уехала снова к своим, в станицу. Василий не решился спать в одной комнате с Настей и устроился на сеновале. Утром он застал Настю одетой. Увидав его, отводя в сторону свои тоскующие большие глаза, она сказала:

— Бессердечный ты человек, Василий Макарыч! Зачем ты жену мучил? Не видел, как она из-за меня страдала? Эх ты! Одичала она, а почему? Потому, что ты грубый, жестокий. Она тебя любит. Такой любви ты нигде не найдешь. И не ищи — прямо тебе говорю.

Нина с ребенком поселилась одна в халупе у вдовы и зарабатывала на жизнь, нанимаясь полоть огороды.

Василий поехал в станицу и, зная гордость жены, не пошел к развалюшке, где жила Нина, а дождался ее на улице.

Увидев мужа, Нина хотела свернуть в сторону. Но Василий нагнал ее и, смущенно глядя в похудевшее, измученное, но по-прежнему надменное лицо, сказал:

— К отцу не заезжал. Только с тобой хотел поговорить. Вернись. Как-нибудь проживем. Ребенок у нас все-таки.

Нина, сплетая и расплетая худые пальцы с грязными поломанными ногтями, сказала глухо:

— Революцию делаешь, счастье сулишь! А сам?! Эх ты, Василий!

При встречах с Василием Настя вела себя сдержанно, настороженно, говорила лишь о делах. Только перед отъездом в станицу, откуда она должна была пробраться в степь, чтобы связаться с партизанским отрядом, она снова напонила Василию, тихонько дотронувшись до его руки:

— Василий Макарыч! Жить человеку дано на свете только один раз. Любить тоже. Помни мои слова. И не сердись.

На следующий день Костин узнал: банда напала на эшелон, спустила его под откос. Настю, по-видимому, расстреляли вместе с поездной бригадой, оказавшей сопротивление бандитам.

По спокойному торжественному лицу Нины Василий понял, что она тоже узнала о случившемся. Но они не сказали об этом друг другу ни слова. Нина — из гордости. Василий — из боязни оскорбить память дорогой ему женщины.

5

В ревкоме шла напряженная работа. Станция должна была работать четко, как никогда. Нужно было поставлять хлеб для голодающего Питера и Москвы, а бандиты портили пути, сжигали телеграфные столбы, раскладывая под ними костры.

Нужно было платить жалованье, а в национализированном коммерческом банке некому было работать.

Нужно было снабжать продуктами рабочих, сколачивать отряды обороны, не имея ни оружия, ни обмундирования, ни продовольственных запасов.

Нужно было распределять через комбеды сельскохозяйственные машины из национализированных складов и конфискованных помещичьих экономий. Дел накопилось уйма, а в станичные Советы пролезли кулаки и кое-где уже верховодили.

Последние сведения о готовящемся против Советской власти мятеже казаков носили особенно тревожный характер.

Это была сейчас самая серьезная угроза.

Василий давно заготовил список рабочих, которых он думал направить в деревню, чтобы с их помощью наладить политическую работу Советов.

Действовавшие вокруг красные партизанские отряды почти не имели между собой связи. Надо было отобрать надежных товарищей, чтобы обеспечить эти отряды большевистским руководством. Ревкомы соседних станций также действовали разрозненно.

На совместном заседании ревкома со штабом обороны Костин поставил на обсуждение свой проект о посылке

рабочих в деревню и в партизанские отряды, но встретил самый решительный отпор со стороны Маслюкова.

Маслюков утверждал, что такие меры только распылят силы, ослабят военно-политическое значение котельниковской группы.

— Нелепо думать, будто два-три приезжих человека смогут изменить настроения в станице или что посылка одного-двух рабочих-коммунистов покончит с партизанщиной в отрядах. Далее, в качестве кого поедут эти делегаты? Комиссаров? Но у нас нет таких людей, которым мы могли бы доверить комиссарские функции. Наконец, почему это самостийно возникшие отряды с избранными ими начальниками должны подчиниться присланному с бумажками ревкома людям?

Маслюков говорил, жестикулируя и бросая гневные взгляды на Костина:

— Мы должны рассчитывать только на себя. Крестьяне не станут подымать на нас руку, если мы будем вести единственно правильную политику разумного блока. Мы отдали им земли помещиков и коннозаводчиков, и крестьянские интересы теперь удовлетворены. Но мы переоцениваем свои силы, оказывая давление на зажиточное крестьянство. Этим самым мы искусственно создаем себе врагов, не имея средств с ними бороться.

Андреев закричал с места:

— А ты хочешь, чтоб мы ублажали кулаков за счет бедняцких интересов, так, что ли?

— Я хочу только одного, — гордо произнес Маслюков, — правильного, последовательного осуществления революционных принципов.

Слово взял Костин. Медленно и устало поднявшись, он тихо сказал:

— Тут нужна маленькая поправочка, товарищ Маслюков. Мы вовсе не переоцениваем свои силы, а наоборот. У тебя выходит, будто мы, рабочие, одни боремся за Советскую власть, а крестьянам, чтобы они не вмешивались, отпускаем подачки. Это неверно. Революционные интересы у нас с крестьянами одинаковые; мы не хотим, чтобы собственностью владели эксплуататоры, они — тоже.

— Кто это они? — крикнул с места Андреев.

Костин со смущенной улыбкой как бесспорное и общеизвестное пояснил:

— Бедняцкие слои, я разумею. Подсчитай их да приложи к нашим силам. Сколько это получится, товарищ Маслюков?

И, лукаво сощурившись, закончил:

— За эту вот силу и стоит нам драться. Тогда мы будем непоколебимы.

Маслюков, наклонясь с папиросой к зажженной спичке, сквозь зубы с явной издевкой спросил:

— Вы, товарищ Костин, кажется, давно уже лично попытались, так сказать, породниться с крестьянским сословием, но от этого духовного содружества, по слухам, ничего путного не вышло.

Костин побледнел. Расталкивая людей, он шел к Маслюкову. Андреев успел схватить его сзади и с трудом вывел на улицу. Усевшись на крыльце, Костин долго тер себе лоб ладонью и тяжело дышал.

Андреев обнял его за плечи.

— Эх ты, дурачина! Ведь он нарочно раздражил тебя, чтобы из себя вывести. Теперь он твой план наверняка провалит. И ревком еще и порицание тебе вынесет. Ты ведь сам тогда этого контуженного Мальцева правильно наставлял: смирять себя нужно, раз за общее дело взялся. А вот со своим личным сладить не можешь!

Андреев оказался прав: штаб обороны провел свое решение — отправить делегатов в станицы и партизанские отряды не удалось.

6

Маслюков ходил по своему кабинету в штабе обороны, размышляя о последнем заседании, где он так ловко посрамил председателя ревкома Костина, этого скучного и назойливого человека, так недоверчиво к нему относящегося.

Маслюкова оскорбляла подозрительность. Он ощущал в себе решительную перемену. Минуло то время, когда он, Маслюков, отечески удерживал людей от крайних поступков. Откуда он мог знать, что революция превратится в величайшую бурю, что весь народ, поднятый большевиками, с неудержимой силой устремится к осуществлению тех идеалов, которые он, Маслюков, считал только «теоретическими пожеланиями».

Правда, до сих пор Маслюков числился в рядах предупреждающих. Попытка послать рабочих в деревню, чтобы создать из бедняков силу, способную подавить кулацкий мятеж, — конечно, глупость. Нужно действовать решительно — разгромить одну-две станицы дотла, дать каза-

кам предметный урок, чтобы у них навсегда пропала охота к восстаниям. А в дальнейшем надо прекратить всякое вмешательство в дела деревни.

Размышления Маслюкова были прерваны появлением телеграфиста с лентой в руке.

— Из Узловой, — сказал телеграфист, протянул ленту и отступил к двери.

Маслюков стал читать депешу, далеко отставив руку, явно рисуясь перед телеграфистом своим небрежным спокойствием:

«Необходима ваша помощь, ваше участие деле борьбы белыми бандитами, которые пробираются пределы Ставрополя и Дона. Организуйте боевую дружину, отряды и первым поездом поезжайте на Узловую. Отдать Узловую — значит потерять связь всеми пунктами передвижения юга на восток и запада на север».

Первое, что ощутил Маслюков, — страх, от которого холодеет затылок, мерзнут уши и в животе ощущается томительная тошнотная слабость.

Не будь здесь телеграфиста, Маслюков, пожалуй бы, даже всхлипнул.

«Что же теперь?.. Бежать в ревком, поднять людей? Или, может быть, скрыть, сделать вид, будто депеша не получена? Где сейчас Ольга Викторовна? А что, если на паровозе удрать?» Он даже машинально сделал шаг к двери. Но, переведя взгляд на телеграфиста, стоявшего с вытянутым лицом и тусклыми глазами, Маслюков одумался. «Он, кажется, тоже испуган, и даже больше меня. — И тут же злорадно подумал: — А этот Костин хотел еще послать рабочих в деревню. Что было бы, если б я не настоял на своем? Впрочем, кто теперь помнит об этом? А жаль, очень жаль! Эх, как бы сейчас выглядел ревком, если бы я не так решительно возражал против посылки рабочих в деревню! Нет, какая проницательность, какая проницательность!»

Он гордо посмотрел на телеграфиста и спросил:

— Вы что-нибудь еще имеете ко мне?

— Что же теперь будет, товарищ Маслюков? У меня же дети!

Маслюков сделал шаг к телеграфисту и закричал, радуясь, что в состоянии кричать, что горло не перехвачено спазмой:

— В аппаратную! Только о собственной шкуре думайте?!

И он затонал бы ногами, не войди в это время в кабинет Зильбер. Изумленно оглянувшись на телеграфиста, ощупью ищущего дверную ручку, Зильбер пожал плечами. Затем, пропустив его, прошел и уселся в кресло, положив ногу на ногу.

Между Маслюковым и Зильбером давно установились дружески-проницательские отношения. Оба давно убедились, что все их долгие разговоры и споры являются, в сущности, отзвуком чьих-то чужих слов и мыслей и что каждый из собеседников имеет свои собственные тайные честолюбивые замыслы.

Маслюков не любил, когда Зильбер заходил к нему в штаб обороны. Это могло вызвать неприятные толки и заставило бы давать сложные объяснения. Но Алексей Петрович находил неудобным сказать об этом Зильберу, чтобы он не понял это как признание зависимости его, Маслюкова, от подчиненных членов штаба.

И сейчас, стесненный присутствием Зильбера, но вместе с тем очень довольный — ведь Зильбер видел, как он «распекал» телеграфиста, Маслюков небрежно сказал:

— Извините, Макс Максимович, у меня горячее время. Дел по горло. Еще раз извините, голубчик, но вы видите...

И Маслюков выразительно развел руками, с улыбкой, как бы говорящей, — я рад вам, но увы...

Зильбер смутился, вскочил с кресла поспешнее, чем следовало, и, многозначительно, с глубоким уважением пожав руку Маслюкову, вышел из кабинета почти на цыпочках.

Маслюков остался один. С лица его медленно сходило торжественное выражение, плечи опустились. Волоча ноги, он подошел к окну и стал барабанить пальцами по стеклу.

Час тому назад началось совещание ревкома по поводу отказа штаба обороны выделить рабочих для отправки в деревню. Стоит ему сейчас ворваться туда с телеграммой и зачитать ее, вот тогда все поймут вздорность намерений Костина.

Но можно сделать иначе. Можно явиться не сейчас, а позже, когда ревком уже вынесет постановление, рабочие будут оповещены и выедут по местам назначения. Вот тогда они осознают всю глубину своей ошибки. И после этого он, Маслюков, сможет расправиться с Костиным так, как следует поступать с подобными людьми в военно-революционное время.

Маслюков встряхнул головой и, одернув китель, ставший тесноватым на животе, подошел к телефону.

— Барышня, дайте квартиру начальника штаба обороны. — И певучим голосом проворковал, склоняясь к трубке: — Это ты, козочка? Я сейчас забегу домой... Приготовь мне, пожалуйста, теплую фуфайку и положи в чемодан походную аптечку. Я выезжаю сегодня на операцию... Нет, голубка, не беспокойся, ничего опасного — маленькая рекогносцировка. Ну, об этом дома.

Положив трубку, он решительными шагами вышел из штаба. На улице его ждала лакированная пролетка с парой чудесных соловых коней, реквизированных у коннозаводчика Королькова.

7

На втором месяце после своей свадьбы Ольга Викторовна сделала ужасное открытие.

Алексея Петровича не было дома. Ольга скучала. Слоняясь от скуки по квартире, она зашла в кабинет и, усевшись за письменный стол, почти машинально написала на бюваре толстым синим карандашом:

$A - 32; O - 22; A - 32 + 10 = 42; O - 22 + 10 = 32.$

Прибавив к своим годам и годам Алексея Петровича по десяти лет, она пришла в отчаяние.

По законам, установленным в обществе Оленькиных подруг, считалось, что тридцать лет — критический возраст для женщины, мужчина же и в пятьдесят может оставаться шалопаем, если обладает мужественной внешностью и не очень потрепан.

Подавленная своим открытием, Ольга пришла в смятение.

Алексей Петрович явился домой и, вытащив из портфеля коробку шоколадных конфет, прошел в Оленькину комнату, удивленный тем, что она его не встретила. Он увидел жену лежащей на кушетке с бледным, опухшим от слез лицом.

Ольга медленно поднялась ему навстречу и, бросившись на колени перед испуганным мужем, трагически потребовала от него дать клятву не изменять, пока ей не исполнится тридцать лет. Потом он может делать все, что ему угодно, так как она все равно в день своего тридцатилетия покончит самоубийством.

На следующий день встревоженный Алексей Петрович повез свою молодую жену к доктору.

Знаменитый врач оправдал надежды мужа.

Ольга вернулась от доктора воодушевленная. Она немедленно стала проводить в жизнь первый пункт обширной программы, предложенной ей медиком в качестве секрета сохранения молодости: ложась спать, она приказала Алексею Петровичу открыть в спальне форточку. А на улице был декабрь, дул сухой снежный ветер...

Как боксер, как спринтер, тренирующийся к соревнованиям на мировое первенство, Ольга Викторовна подчинила свою жизнь строгому режиму, полному лишений, утреннего труда, гимнастики. Она ложилась в девять, вставала в шесть, не пила вина, не ела мяса, тратила большие деньги на массажисток. Встречая знакомых, говорила только о здоровье. Принимая гостей, разрешала курить лишь на кухне. Стремясь побывать лишний раз в году на курорте, она стала скупой и расчетливой до отвращения.

Все старания Алексея Петровича избавить жену от «подвижнического» образа жизни не привели ни к чему. И Алексей Петрович, примирившись с таким существованием, направил все силы своей освобожденной энергии на политику.

Первое время Ольга Викторовна относилась равнодушно к увлечению мужа судьбами российского государства. Но наступившие затем невзгоды, переезд в Котельниково и открывшиеся там перед мужем новые перспективы заставили Ольгу Викторовну серьезно задуматься о своем положении возле этого человека.

И Ольга Викторовна так же внезапно, с тою же методичной старательностью и решимостью, с какой занималась гимнастикой, приняла политическую веру Алексея Петровича, стремясь сохранить уже не только молодость.

В ту ночь, когда Ольга Викторовна вернулась после катания вдвоем с молодым Прелестневым и застала мужа в жалком припадке тоски одиночества, она неожиданно стала единственным его поверенным. Из всех сбивчивых признаний мужа она поняла только одно: он боится своей власти. Боится остаться без власти. А в общем готов бросить все и уехать на юг, а потом, возможно, и за границу, благо он своевременно с помощью Зильбера сделал кое-какие сбережения.

Ольга Викторовна неожиданно почувствовала себя спокойной и уверенной, быстро сообразив, что, узнав тай-

ны мужа, она обрела теперь над ним власть. Важно только, чтоб он не ушел, не освободился от нее; надо, чтоб Алексей Петрович «шел дальше». «Власть обретают,— как выражался Зильбер,— энергичные, беспощадные наглецы. Ум, образование желательны, но не необходимы». Алексей умен, образован, но у него нет характера,— нужно стать его душой; нужно толкать его вперед, возбуждать, льстить ему и даже, если понадобится, угрожать. Алексей может сейчас достигнуть всего именно потому, что он, как часто говорила ее мать,— полное ничто.

И, взволнованная этими перспективами, Ольга Викторовна торжественно произнесла:

— Алексей, ты человек будущего! Я не знала, что ты живешь такой смелой, красивой жизнью!

С тех пор все, о чем бы ни говорил Ольге Викторовне Маслюков, она встречала с восторженным благоговением, очень ему льстившим, и осторожно вносила в его планы свои поправки. Между Ольгой Викторовной же и Зильбером установились деловые, серьезные отношения. Их объединяла теперь общая забота о Маслюкове, и многое, что так разумно советовала мужу Ольга Викторовна, являлось плодом размышлений Зильбера.

8

Придерживая болтающуюся кобуру с револьвером, Маслюков вбежал по ступенькам вокзала и, пройдя пустой зал первого класса, превращенный в казарму, вошел в комнату ревкома.

Никто не обернулся навстречу. Костин, стоя у стола, громко подсчитывал количество поднятых рук. «Большинство!» — произнес он счастливым голосом.

Потом, взглянув на Маслюкова, пояснил:

— Голосуем посылку рабочих в деревню. Вы как? Против или воздерживаетесь?

Маслюков в ответ торопливо поднял руку и, несколько смущаясь этой поспешности, произнес:

— Нет, я — вместе с большинством, но мнение мое о нелености этого решения остается неизменным.

— Как же так,— насмешливо спросил Костин, обращаясь к собранию,— товарищ голосует «за», а высказывается «против»? Голова у него с языком не в ладах, что ли?

Маслюкову на мгновение захотелось язвительно ответить Костину на эту дерзость, сунуть в нос телеграмму из Узловой. Но он сдержался, злорадно подумав: «Через час мы посмотрим, товарищ Костин, у кого голова с языком в разладе!»

Отряд полковника Гнилорыбова в тридцать сабель, с тремя орудиями и четырьмя пулеметами пробирался из Новочеркасска в Сальский округ Донской области, надеясь здесь произвести вербовку казаков.

Отряд был порядочно потрепан в мелких стычках с партизанами, измучен утомительным переходом.

Расположившись на дне глубокой глухой балки, Гнилорыбов ночью послал в станицы агитаторов. Но на следующий день из шестерых посланцев вернулось только четверо; двое были сильно избиты. Казаки не хотели уходить из своих станиц. Они боялись, что Советы конфискуют у них за это земли и арестуют родственников. Кроме того, вербовка помешала бы подготовке к повсеместному одновременному восстанию: сначала, по их мнению, нужно было уничтожить местные большевистские Советы и уж потом воевать с красными. Отряд Гнилорыбова притаился в балке. Фураж и съестное добывались разбоем. Среди солдат росло недовольство, шли разговоры о том, что Гнилорыбов — обманщик, что большевики роздали всем землю, поэтому ни казаки, ни иногородние не хотят присоединяться к отряду. Одного особенно речистого солдата в австрийском шлеме, предлагавшего дойти до ближайшего Совета и покаяться, Гнилорыбов застрелил из парабеллума. Сводной офицерской пулеметной команде пришлось потом долго лежать у пулеметов, пока Гнилорыбов митинговал, отмахиваясь револьвером от возмущенных солдат.

Ночью в отряд явился один из пропавших агитаторов. Ему удалось было устроиться караульным, но потом какой-то чумовой фронтовик схватил его за горло и приволок в ревком. Освободили его только потому, что он сообщил о готовящемся в станице восстании.

Гнилорыбов, услышав это, моргая контуженным веком, шенелявя, крикнул:

— А ну-ка дать ему двадцать пять шомполов, с оттяжкой, чтобы не продавал народ, поднимающий знамя на борьбу с комиссарами!

— Погодите! — вырываясь, заорал побледневший парень. — У меня тут записочка есть. Мне ее какой-то штатский сунул. Обождите, не ломайте руки, сволочи!

Гнилорыбов вырвал записку и быстро пробежал ее глазами: «Г. Гнилорыбов! Отряд обороны выезжает в Узловую. Станция остается без какой-либо серьезной защиты. В остальном, надеюсь, вы положитесь на свой опыт». Подписи не было.

Гнилорыбов махнул рукой офицерам, державшим парня за вывернутые руки, и озабоченно приказал: «Оставить!» Перечитывая записку, спотыкаясь, направился к своей коляске, возле которой обычно происходили оперативные совещания.

Ревком постановил послать наиболее сознательных рабочих в станицы для укрепления власти Советов. Костин знал, какую огромную ответственность он принял на себя.

На станции стояли эшелоны, груженные хлебом. Их нужно срочно отправить в Царицын для голодающих Москвы и Питера. Банды разрушали пути и связь, приходилось держать наготове постоянные ремонтные бригады и эшелонам придавать охрану из тех же железнодорожников. Охрана мостов, нефтекачек, водокачек, пакгаузов также ложилась на железнодорожников. Они же дежурили в окопах, сооруженных вокруг станции. Люди требовались всюду. Железнодорожники, выполняя свои повседневные служебные обязанности, почти все числились за какими-нибудь постами обороны. Люди ходили на работу с оружием и после работы отправлялись не домой, а в свои отряды, где проходили военное обучение, или в окопы. Отправка большой группы рабочих в станицы и к партизанам сильно ослабляла обороноспособность станции.

Но иного выхода не было. Оставалось либо с помощью этих рабочих создать в станицах мощные резервы из бедняцкого крестьянства и казачества, либо ждать, пока сплотившиеся кулаки разгромят Советы и обрушатся на одинокие пролетарские островки железнодорожных станций.

После заседания ревкома Костин отправился в депо, где оборудовался второй бронепоезд, который должен был курсировать между Котельниково и Царицыном и дать наконец возможность вывести со станции все эшелоны хлеба.

Депо было похоже на тоннель, наполненный дымным сумраком. Вдоль канав у стен депо были установлены станки, за которыми работали железнодорожники. В свежеструганных козлах стояли винтовки; на полу — ящики с грудями самодельных снарядов, каркасы фугасов, поломанные орудия, разбитые тачанки. У входа в депо просыхал на солнце отремонтированный, недавно окрашенный пулемет.

На канаве обшивался тюками спрессованного железа длинный большой паровоз. Железо было содрано с крыш зданий и спрессовывалось самодельным копром.

Михаил Петрович Глушков, старик мастер, сердитый и нервный, с растрепанной бородкой, выбравшись из ремонтной канавы, сердито закричал Костину:

— Нет, уж ты извини!.. Мало ли что тебе к спеху? А мне мой возраст не позволяет тят да ляп делать! Гляди: не паровоз — рыцарь! — заявил он вдруг задорно. — На железе стеган.

Костин, одобрительно улыбнувшись, заметил:

— Действительно, здорово! А с патронами как?

Глушков оживился, но, не теряя настороженного выражения, произнес со вздохом:

— Мелкая работа! По второму разряду. Но я не брезгую, товарищ Костин. Наладил как следует. На полный ход.

Он указал на ящик с готовыми патронами и добавил:

— Ничего, ребята стараются.

Костин подошел к ящику, вынул один патрон, тщательно его осмотрел и спросил озабоченно:

— А вы их, Михаил Петрович, испытывали?

— Это как? — не понял Глушков.

— Ну, стреляли?

Глушков, немедленно обидевшись, сухо ответил:

— Баловством не занимаюсь!

Костин сурово попросил:

— Испытать нужно.

— Ну и пытайте, — с горечью сказал Глушков, — а мне здесь делать нечего, у меня и так от шума уши болят.

Рабочие внимательно присматривались к этой сцене. Токарь Нефедов, подойдя к козлам, вынул винтовку; протягивая ее Глушкову, громко, словно тот стоял на другом конце депо, крикнул:

— Первый выстрел — ваш, Михаил Петрович! Это мы уже заранее всем коллективом постановили.

Глушков зарделся, польщенный, взял винтовку, сердито спросил:

— Что же мне, в степь пойти за зайцем?

Чумазый паренек, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, подскочил к Глушкову и восторженно заявил:

— Пали здесь, Михаил Петрович! Хоть фуражку свою подброшу. Бей влет.

Михаил Петрович, задетый готовностью паренька, протянул ему винтовку и сказал глухо:

— Пали сам.

Вмешался Костин. Он встал между парнем и Глушковым и торжественно произнес:

— Нет, Михаил Петрович! Я от имени ревкома предлагаю вам выстрелить. Кроме вас, никто не достоин этой чести.

Глушков, внимательно всматриваясь в лицо Костина (нет ли насмешки), снял с головы старенькую фуражку, выдрал из-под рваной подкладки паклю, скатал из нее два шарика и старательно заткнул ими уши. Потом быстро вскинул винтовку, зажмурил один глаз, отчего его лицо приняло плачущее выражение. Все замерли. Но Глушков вдруг опустил винтовку и растерянно спросил, куда палить.

— Бей в крышу.

Глушков медленно поднял винтовку и, не сводя глаз с прицела, пробормотал протяжно:

— Без цели интереса не имею. Но для испытания дела можно.

Отвернувшись, старик нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел.

Потирая ушибленное отдачей плечо и восхищенно оглядывая столпившихся рабочих, Глушков завопил:

— Давай еще! Ставь любую цель!

В депо вбежал взволнованный Гришка — сын Глушкова.

— Папаша, — кричал он, — папаша!

Глушков не вынул пакли из ушей и ничего не слышал. Повернувшись к Гришке сияющим лицом, он заорал:

— Смотри, как стреляю.

И, поправив очки, склонился над винтовкой, вгоняя новый патрон.

Гришка с перекошенным от отчаяния лицом закричал:

— На сколько фугасы закапывать? Людей задерживаем.

Лицо Глушкова внезапно стало свирепым; вытащив из ушей паклю, он зловеще и тихо спросил:

— На сколько копать? Я же тебе говорил! — Он быстро отмерил на руке три четверти. — Почему забыл?

И, обращаясь к Костину, вскричал:

— Дисциплина! Арестовать сукина сына!

Затем снова обернулся к Гришке и затопал ногами:

— Пошел вот отсюда!

Гришка поспешно скрылся из депо.

А Глушков, возмущенный и взволнованный, еще долго продолжал шуметь.

Комната Глушкова была разделена на две части: одна, чистая, принадлежала жене, Анне Филипповне, другая, заваленная железным хламом, с горном, оборудованным в пещере русской печи, Михаилу Петровичу. Мечтой Глушкова было изобрести конденсатор для паровозов, пересекающих безводную Сальскую степь.

Но дирекция не давала разрешения выделить для испытаний паровоз, и Михаилу Петровичу пришлось довольствоваться самодельной игрушечной железной дорогой, восхищавшей всех ребят железнодорожного поселка.

Всегда, когда дело касалось привлечения техники к обороне станции, Костин вызывал на заседание ревкома Глушкова. И Михаил Петрович, польщенный честью, перебивая всех, раздражаясь и поминутно обижаясь, неизменно находил выход из всех трудностей.

Окопы, окружающие станцию, находились в километре от мастерских и вокзала. В случае тревоги приходилось бегать туда пешком.

Глушков предложил провести к окопам узкоколейку. На станции не было паровичка, — в платформы запрягли верблюдов, захваченных у банды и только зря поевавших фураж.

Окопы имели телефонную сеть и были благоустроены по-домашнему. Кроме деревянных топчанов, в блиндажах стояли венские стулья, а в специально приспособленной кухне видное место занимал четырехведерный самовар из станционного буфета.

Из депо Костин снова пошел в ревком. Нужно было выяснить количество имеющихся в наличии револьверов, чтоб вооружить рабочих, едущих в станицы.

Револьверов оказалось всего восемь штук: шесть тяжелых жандармских смит-и-вессонов и два «бульдога».

Глушков, пробуя утешить Костина, предложил:

— Может, обрезов наделать?

— Бандитское оружие. Да и жаль винтовки портить.

Костин вызвал квартиру Маслюкова. Он знал, что в распоряжении штаба обороны имелись кое-какие запасы оружия. Вся задача заключалась теперь в том, чтобы убедить Маслюкова выдать это оружие отъезжающим в деревню.

Но Маслюков сам явился в ревком. Он торжественно подошел к Костину, кивнул на рабочих и на Глушкова, многозначительно сказал:

— Посторонних прошу удалиться.

И остановился в выжидательной позе. Костин пожал плечами. Глушков плюнул и обиженно со стуком отодвинул от себя стул. Рабочие, переглянувшись, вышли.

Маслюков выждал, пока закрылись двери, вынул телеграмму из Узловой; небрежно протянув ее Костину, уселся на стул, широко расставил ноги, потянулся, зевнул, не забывая при этом искоса следить за выражением лица Костина.

Костин прочел телеграмму.

— Давно получена?

— Только что.— Маслюков положил ногу на ногу и с любопытством стал глядеть в окно.

— Какие меры приняты штабом обороны?

Маслюков нехотя, словно подавляя зевоту, произнес:

— Я полагаю, что за разгром Узловой мы будем отвечать вместе с вами.

— Почему отвечать?

— Очень просто,— оживился Маслюков.— Последние резервы вы посылаете в деревню на разговорные дела. Андреев с пехотой и Мальцев с бронепоездом — в Гуровской. Снять отряд обороны и послать в Узловую — значит оставить станцию без защиты. Впрочем,— поспешно произнес он,— я заранее подчиняюсь решению ревкома,— мне надоели эти склоки.

И, встав, спросил холодно и официально:

— Какое же будет решение ревкома?

— Решение будет такое,— раздельно и внятно сказал Костин.— Вы с отрядом отправляетесь немедленно на Узловую. В пути вы должны добиться пополнения от других станций. Кроме того, поручаю вам немедленно связаться

с Мальцевым и отозвать его сюда с бронепоездом для охраны станции.

— Хорошо, — согласился Маслюков. — А эти самые, кого вы собирались послать дышать вольным воздухом, — они куда денутся?

— Они поедут туда, куда их на прошлом совещании постановил послать ревком. Впрочем, с Мальцевым свяжусь я сам. Можете не беспокоиться.

Завыла сирена в депо. Ей тревожно вторили гудки паровозов.

Из депо, из пакгаузов, из вокзала спешили железнодорожники с винтовками в руках. Железнодорожный батальон выстраивался на перроне.

По путям бежал стрелочник, в руке у него пояс с флажками и рожком. Он сердито кричал:

— Марья!

Из будки вышла женщина с винтовкой, отдала ее стрелочнику, а сама опоясалась его ремнем.

Вместо сторожа у сигнального колокола — тоже женщина. Вместо сценщика — женщина с тяжелыми промасленными рукавицами на руках. Жены заменяют мужей. По специальному приказу ревкома железнодорожники, находящиеся в отрядах обороны, должны были обучить жен своим специальностям, чтоб те, в случае необходимости, могли их заменять.

Костин подошел к батальону. Он заметил в строю Гришку. Тот, стараясь не встретиться с ним взглядом, отвернулся.

— Григорий Глушков, два шага вперед! — скомандовал Костин.

Глушков, стараясь спрятаться, не двигался.

— Глушков, два шага вперед! — вновь крикнул Костин.

Гришка дважды судорожно шагнул и замер с выражением мольбы и страдания на перекошенном лице.

К перрону подошел эшелон.

Костин негромко скомандовал:

— По вагонам!

Железнодорожники мерно, не торопясь, направились к поезду.

Гришка остался один. Он сделал движение последовать за всеми, но грозный окрик Костина: «Смирно!» — приковал его. Глаза Гришки налились слезами.

Маслюков, провожаемый женой, подошел к классному вагону. Встав на подножку, он осторожно поцеловал жену

в висок, затем нежно отстранил ее, поднял руку и крикнул так, что от напряжения покраснел лоб:

— Товарищи! Сегодня нашей кровью будет написана новая страница истории!..

Костин подошел к Гришке, жалко кривившему губы, и тихо приказал:

— Бери дрезину и кати к Мальцеву. Передай, чтобы немедленно шел сюда с бронепоездом.

Гришка не то всхлипнул, не то охнул, ошеломленный радостью ответственного поручения. Сделал полуоборот направо, щелкнул каблуками, прошел несколько шагов, стараясь идти медленно, но потом не выдержал, во всю прыть пустился вдоль перрона и, спрыгнув на полотно, закричал, оборачиваясь:

— Я мигом!

10

Снова Костину не пришлось пойти домой. Созвав тридцать оставшихся железнодорожников, он сообщил им о положении на станции. Десять человек были отправлены в караулы. Остальные улеглись спать в зале первого класса, не раздеваясь, с винтовками у изголовья. Жены, привыкшие к тому, что их мужья не возвращаются после работы, принесли ужин.

Костин сидел на ступенях вокзала, мучимый тревожными мыслями.

Наплывали сумерки. Вспыхнуло звездами степное небо. В соседней станице брехали собаки, в окнах хат зажелтели кроткие огоньки. Где-то далеко в садах, у балки, сильный женский голос затянул песню, но неожиданно оборвал ее, и снова стало тихо. Только из вокзала доносился сдержанный говор ужинающих людей да стук ложек.

Костину захотелось есть. Он поднялся, взглянул на базарную площадь и увидел Нину. Она шла к вокзалу. «Ужинать несет», — мелькнула ласковая догадка. Но, взглядевшись пристальней, Василий увидел, что в руках у Нины ничего нет.

Костин пошел ей навстречу. Нина, увидев его, заколебалась. Заметив эту растерянность, Костин с горечью подумал: «Может быть, она не ко мне», — и хотел уйти.

Но Нина уже подошла, оправляя дрожащими пальцами конец платка, и прерывистым от волнения голосом спросила:

— За что ты презираешь меня, Василий? Если ты стал большим человеком и я тебе больше не пара, скажи прямо, не мучай.

— Что ты от меня хочешь? — тоскливо сказал Василий, оглядываясь на порог вокзала. И так уж раздоры его с женой стали всеобщим достоянием.

— Ты меня не любишь больше, Вася, — вдруг тихо и покорно проронила Нина. — Ты ту любишь за то, что она с вами со всеми языком треплет.

— Опять?! — Василий гневно дернул плечами.

А Нина каким-то чужим голосом произнесла:

— Ты скажи, какой я должна стать; какой хочешь для тебя буду. Ведь люблю же я тебя. Не я виновата, что ты от меня свои мысли прячешь. Не могу я так жить, Васечка, лучше умереть!

Костина взволновала эта неожиданная мольба. Он почувствовал, как защеколало в груди.

Он возится ежедневно с сотнями людей, старается проникнуть в их душу, пробудить дремлющих, использовать их для дела революции. И он же прошел мимо самого близкого, родного ему человека, прошел надменно, безразлично. Стараясь не видеть глаз Нины, Василий с отчаянием в голосе сказал сипло:

— Нина, я скажу тебе все. По-хорошему скажу.

И, не понимая, как это случилось, взял холодную руку Нины и приложил ее к своему лбу.

Ошеломленная этой внезапной лаской, Нина отшатнулась, вырвала руку, посмотрела на него вопросительно, словно не веря в случившееся. И вдруг, прижав к плечу мужа, заплакала навзрыд.

Василий обнял Нину и прижался лицом к ее мокрой щеке. Он уже не думал о том, видят ли их или нет, не искал слов... Он знал только, что сейчас не было на свете человека счастливее его.

Нина внезапно с силой высвободилась из рук Василия и, отступив назад, горько произнесла:

— Ну, обо мне ты не думал. А ребенок? Чем он-то виноват?

«Значит, не из-за меня она пришла», — решил Костин, но тут же, весь охваченный одной-единственной тревогой, шепотом попросил:

— Подожди здесь, я людей предупрежу.

И пошел к вокзалу. Но когда он поднимался по ступенькам, в сизо-синее степное небо взлетела ракета и рассыпалась в воздухе огненным пучком.

Эти ракеты сделал Михаил Петрович. Ими были снабжены часовые передовых постов.

Василий вбежал в зал первого класса, но подымать людей было не нужно. Дежурный уже бил тревогу в станционный колокол.

Запряженные верблюдами платформы подкатили к перрону.

Кондуктор Салищев, размахивая кнутом, кричал:

— Из окопов сигнал. Скорей, братцы!

Железнодорожники поспешно прыгали на платформы.

Не успели люди разместиться, как возле пакгаузов хлопнул одинокий выстрел. И словно в ответ слышался дружный конский топот: банда с лихим воплем ворвалась на вокзальную площадь.

Железнодорожники бросились обратно вовнутрь вокзала. Разбивая прикладами стекла, они располагались возле окон, положив винтовки на широкие каменные подоконники. Другие залегли за насыпью тупика и оттуда открыли по белобандитам беспорядочную стрельбу. Оцепив вокзал, взяв железнодорожников в кольцо, бандиты вывели на площадь две трехдюймовки.

В густой темноте их почти не было видно. С осадой вокзала бандиты не торопились. Всадники с гиканьем устремились грабить железнодорожный поселок. За ними, стоя на телегах, мчались, предвкушая поживу, присоединившиеся к банде станичные кулаки.

Оставшиеся вели по вокзалу редкий огонь. С орудиями что-то не ладилось: судя по крикам, неистовой брани и хрипению лошадей, артиллерийская упряжка запуталась в постромках, и бандиты никак не могли успокоить напуганных стрельбой коней.

Костин, выбравшись через слуховое окно чердака на крышу, выкатил туда два пулемета. Обернувшись к монтеру Шемитову, спросил:

— На электростанцию пробраться можешь?

— Могу.

— Захвати еще кого-нибудь, пусти машину и включи рубильник уличного освещения. Понял?

Монтер кивнул головой и осторожно полез по скату к слуховому окну.

Костин приказал забаррикадировавшимся железнодорожникам прекратить стрельбу по невидимому противни-

ку и открыть огонь только в тот момент, когда зажгутся фонари, окружающие площадь.

Наступило тягостное ожидание.

Из поселка доносились крики, разрозненная стрельба. Василий вглядывался в непроницаемую тьму на площади, где несколько минут назад он оставил Нину.

Салищев, сжимая ему плечо пальцами, горячо шептал в ухо:

— Может, они сейчас наших убивают, а мы ждем. Давай огонь, не мучай.

Василий, не оборачиваясь, показав вниз на площадь, сказал:

— Жена там осталась, молчу — и ты молчи.

Выбросив пламя, выстрелило первое орудие. Снаряд ударил в оконный свод. Тяжелое кирпичное здание дрогнуло. Осмелев от безмолвия железнодорожников, казаки выехали на площадь и стали бить из винтовок.

— Нет, не могу больше, — промышал Салищев и стал целиться.

Но внезапно площадь озарилась ослепительным электрическим светом. Казаки шарахнулись в ужасе. Если бы даже сейчас на площадь ворвались красные, вдвое превосходящие их силами, паника среди бандитов была бы меньшей.

Припав к пулемету, Василий бил с прямого прицела по мечущимся бандитам. Железнодорожники один за другим выскакивали из здания вокзала и, ложась у кирпичного тротуара, тоже стреляли. Бандиты, в смятении бросив раненых, устремились в беспорядочное бегство. Одно орудие они успели увезти, другое осталось на месте. В постромах упряжи билась околевавшая лошадь.

Костин приказал железнодорожникам прекратить преследование врага, опасаясь, что их перестреляют в открытом бою. Втащив орудие с помощью двух оставшихся лошадей прямо по ступенькам в вокзал, железнодорожники выставили его в полуразрушенное окно.

Костин понимал, что без подкрепления, без бронепоезда Мальцева выбить бандитов из поселка полностью не удастся. С минуты на минуту следовало ожидать нового нападения. Бандиты прекратят грабеж и бросятся на станцию.

И действительно, укрываясь во тьме, они открыли огонь, но не по вокзалу, а по электрическим фонарям, окружающим площадь. Фонари гасли, и темнота начала свое наступление.

Бронепоезд Мальцева подошел к станице Гуровской. Не дожидаясь отряда Андреева, Мальцев приказал открыть огонь с таким расчетом, чтоб снаряд, пролетев над самыми крышами домов, упал на безлюдном выпасе.

Мальцев старательно произвел вычисление на листке бумаги, проверил, попросил еще раз проверить его арифметику путевого техника Чижова и только тогда дал приказ. Через десять минут после первого выстрела к бронепоезду подскакали трое казаков с белым полотнищем на палках.

Внимательно рассматривая бронепоезд, чернобородый казак в новой черкеске осведомился, в чем дело, и пообещал через два часа привезти оружие.

— Через час,— сказал Мальцев.

— У нас часов нету,— угрюмо ответил казак.— Мы по солнцу живем. А и где оно, солнце? — И, насмешливо оглядев небо, объяснил: — Время у нас свое, тутошнее. Оружие отдать согласны, а время соблюсти, может, и не сумеем.

— А мы вам напомним! — весело крикнул один из железнодорожников, любовно похлопав ладонью по стволу оружия.

— А мы и так запомним,— огрызнулся казак и, повернув лошадь, медленной рысцой потрусил в станицу, высвободив из стремян ноги и развалившись в седле, словно отдыхая.

Уже под вечер к бронепоезду подъехали две подводы с оружием. Чернобородый казак, нагибаясь с седла и указывая на возы плетью, сказал:

— Вконец обчистили.

На возах лежали старинные, с расширенными на конце стволами, самопалы, курковые пистолеты, сабли без эфесов, вымазанные навозом, берданки, две винтовки без затворов и вообще всякий хлам, который только при большом воображении можно было считать оружием.

Мальцев, вынув из груды железной рухляди шкворень с привязанной к нему иглой от бычьего ярма, поднес шкворень к самому лицу чернобородого и спросил хмуро:

— Это что, тоже оружие?

Чернобородый взял изделие в руки, ловко подбросил его, словно взвешивая на руке, и, пристально взглянув в лицо Мальцеву, спросил:

— А вот хочь, я этой штукой для испытания тебе по башке дам? Если только шишка вспухнет, то не оружие, а ежели башка треснет, — значит, оружие.

Мальцев невольно отступил от казака, во взгляде которого светилась ненависть. Настойчивое, нестерпимое желание убийства угадывалось в его руке, ловко и жадно обхватившей железный шкворень.

Раздраженный тем, что он на секунду струхнул, Мальцев шагнул, схватил казака за руку и, стиснув, сказал:

— Если через полчаса не сдадите оружия, разнесу!

Казак, побледнев, силился вырвать руку, шкворень выпал из его ослабевших пальцев. Высвободившись, казак вытер пот, выступивший на верхней губе, и равнодушно согласился:

— Убивайте из пушек, громите, все равно один конец. Нет у нас больше оружия — всё здесь. Даже что по хозяйству нужно было и то отдали.

И, горбясь в седле, он круто повернул коня и шагом поехал обратно в станицу.

Мальцев почувствовал, что в этом столкновении с делегатом гуровских кулаков он остался побежденным.

И, как бы ища оправдания, повернулся к своим и бросил:

— Матерый, чертяка, — его на шум не возьмешь!

— Может, заложником оставить, — посоветовал кто-то. — По характеру видать, он здесь самый главный.

— Эй, кум! — крикнул Мальцев.

Но казак даже не обернулся. Сидя боком на худой, но сильной лошади, он с рыси почти неприметно перешел на резкий галоп и скрылся за курганом.

Издали послышался мерный стук колес на стыках рельсов. Оглянувшись, все увидели быстро приближающуюся дрезину. Два человека мотались на ней, качая ручной рычаг.

Дрезина подкатила к бронепоезду. С нее сошли отец и сын Глушковы. Оба мокрые от пота, тяжело дышащие, подошли к Мальцеву.

Тот изумленно спросил:

— Михаил Петрович?

— Не говори! — устало махнул рукой Глушков. — Спину намяли. Воды бы, а?

Гришка выступил вперед и, заслоня собой отца, отпортовал:

— По приказу ревкома срочно возвращайтесь на станцию. Батальон отправился в Узловую... — Задохнулся, хотел добавить еще какие-то значительные слова и выпа-

лил неожиданно писклявым голосом: — Костин велел скорее ехать. Налета на станцию опасается.

Мальцев покосился на железнодорожников, потом посмотрел в сторону станицы и сказал сдержанно:

— Немедленно не можем. Андреев с пехотой еще не подошел. Нужно его дожидаться и забрать в бронепоезд, а то тут их одних переколотят. Вообще неладно как-то получилось. Пугнули, постращали и ушли.

И, вздохнув, добавил:

— Видно, в другой раз объяснить им придется, какая она такая Советская власть.

Потом, обернувшись к Гришке, быстро спросил:

— Очень измаялись?

— Нет, — отрываясь от котелка с водой, поспешно заявил Михаил Петрович.

— Тогда вот что. Берите пулемет, две цинки патронов и дуйте обратно на станцию. А мыждемся Андреева — и мигом за вами.

— Где пулемет? — завопил Михаил Петрович. — Тащите, ребята. Теперь нам под уклон — все равно что с мотором доскочим. Ветерок разгулялся, — парус натянем. Я его из брезента пошил, во время ремонтных работ пользовался.

Михаил Петрович устремился к дрезине и стал там возиться с шестом, обернутым латаной парусиной.

— Останься, Михаил Петрович, — уговаривал беспокойного старика Мальцев. — Мы с Гришкой кого-нибудь поздоровее пошлем.

— Поздоровее?! — разозлился Глушков. — А ты со мной силой мерялся? Нет? Ну и молчи себе потихоньку. Машина находится под моей личной ответственностью, и я пускать на нее никого не желаю — испортят еще шестерню, а я потом отвечай.

И как ни убеждали Михаила Петровича, ничего не помогло.

Неподалеку от станции Глушковы слышали ружейную стрельбу, разрывы ручных гранат. По звону стекол, осыпавшихся со здания вокзала, они поняли, что вокзал осажден бандой.

Присаживаясь у пулемета и вдергивая ленту, Гришка обернулся к отцу:

— Папаша, вы дрезину не останавливайте, я их с ходу поливать буду.

Старик, продолжая качать рычаг, тревожно спросил:

— А ты тово... с пулеметом управляться умеешь? Может, меняпустишь? Я, брат, механик, сразу его пойму.

Гришка махнул рукой и крикнул устало:

— Нажимайте, папаша!

Дрезина ворвалась на станционные пути.

Бандиты поднялись для атаки, они бежали пригнувшись, чтобы залечь возле самого перрона. Пулеметный огонь был неожидан. Бандиты скрылись за пакгаузы, где коноводы охраняли коней. Потом они поняли, что их обстрелял не бронепоезд, а дрянная тележка на визжащих колесах. Бросив на путь шпалы, они открыли по дрезине стрельбу. Проскочить дальше было невозможно.

Лежа плашмя на платформе, Глушковы слышали, как пули с силой ударялись о металлические части дрезины. Бандиты, осмелев, стали подползать ближе. О том, чтобы подняться и взяться за рычаг дрезины, нечего было и думать. Тогда Михаил Петрович, пряча голову за металлическую стойку механизма дрезины, стал осторожно поднимать деревянную мачту. Нащупав на полу дрезины гнездо, он вставил туда нижний конец шеста, а затем, подергав веревки, освободил полотнище. Ветер надул парусину. Но дрезина оставалась неподвижной. Гришка, прикинув к пулемету, бил короткими очередями. Убедившись, что ветер не сможет сдвинуть дрезину с места, Михаил Петрович, лежа на животе, стал потихоньку отталкиваться от земли винтовкой, как лодочник шестом. Дрезина медленно подалась, парус надулся сильнее, и, постепенно набирая скорость, дрезина неожиданно для банды покатила... назад.

Припав к прицелу, Гришка достреливал ленту.

Несколько всадников поскакали вдогонку дрезине. Гришка, отвернувшись от смолкшего пулемета, нервно искал рукой винтовку. Михаил Петрович заметил это. Отталкиваться от земли было уже не нужно.

Он поднял винтовку, прицелился и выстрелил. Скакавший впереди всадник взмахнул руками и, словно переломленный, повис на лошади.

К сумеркам рота фронтовиков Андреева подошла к бронепоезду, подававшему изредка три коротких гудка. Этот сигнал, как было договорено заранее, обозначал «соединение».

Через несколько минут бронепоезд с погашенными огнями тронулся обратно. Станица Гуровская словно вы-

мерла. Местоположение ее можно было определить только по темной, похожей на скалу, каменной церкви. В окнах приземистых хат блестела чернота. Гуровские казаки покинули станицу после того, как чернобородый «парламентер» Коршунов, вернувшись, доложил окружному атаману, что красные в ответ на дерзкую выходку обшарят каждую хату.

Две сотни казаков с двумя выкопанными из-под стогов орудиями и четырьмя пулеметами направились к станции Семичной. Впереди на автомобиле ехали окружной атаман и Прелестнев в военном френче, на обвислых его плечах торчали вверх полковничьи погоны.

Налет на станцию Семичная был внезапен. Казаки, пригибаясь к шеем коней, ворвались внутрь вокзала. Двое вскочили в помещение телеграфа. Разрубив голову телеграфисту и опрокинув стол с аппаратами, они пытались достать шашками, не слезая с седла, залезшего за шкаф обезумевшего от ужаса дежурного.

Пол вокзала, перрон, рельсы покрылись кровью и трупами железнодорожников.

Вступивший в борьбу с гуровцами отряд самообороны Жукова и Лобашевского был уничтожен почти полностью.

Оставшиеся двадцать семь человек укрепились на мосту через Сал и защищали его с таким неистовством, что бандиты были вынуждены отступить.

На станции казаки, предводительствуемые Коршуновым, стали поспешно сооружать бронепоезд. Они таскали мешки с землей и укладывали их так, как это было сделано на бронепоезде Мальцева. Коршунов приглядывался к нему не зря!

К окружному атаману притащили машиниста Попова. Руки и ноги его были окружены колючей проволокой. Попов отказался подать под казачий самодельный бронепоезд паровоз.

Атаман сердито раскричался на казаков, приказав освободить машиниста. Суется возле Попова, атаман вытирал его исцарапанные до крови руки платком и извинялся.

— Напрасно беспокоитесь, ваше благородие, — насмешливо глядя на атамана, сказал Попов. — В паровозе форсунка форсится не хочет, капитальный ремонт требуется.

— Не поедешь?

— Никак, — усмехнулся машинист.

Атаман, кивнув на Попова, устало сказал:

— Господа станичники, убедите его, если сможете.

Попова снова обмотали колючей проволокой, облили маслом из масленок и сожгли заживо.

В бронепоезд гуровцы вместо паровоза впрягли волов и лошадей и погнали его на мост, защищаемый железнодорожниками. Когда казаки пробовали переправиться на другой берег вброд, железнодорожники бросали с моста клочки зажженного сена и, освещая таким образом темную реку, обстреливали противника из пулемета.

Атаковать мост по узкому хребту насыпи казакам было невозможно. Пристрелявшись, железнодорожники снимали каждого, пробовавшего ступить на полотно.

Увлечшись осадой моста, гуровцы совсем забыли о бронепоезде Мальцева.

Он показался из-за поворота, едва казацкий «бронепоезд» с гужевой упряжкой подкатил к мосту. От первого же орудийного залпа, попавшего в зарядные ящики, платформы в огне с треском рухнули с насыпи.

Бойцы, на ходу выскакивая из бронепоезда, бросились в штыковую атаку. Первым в ночную мглу метнулся автомобиль с уцепившимся за сиденье, с выпученными от ужаса глазами, атаманом. Атаман тыкал в склоненную шею шофера горячим стволом револьвера, визгливо кричал: «Давай!» — и, оборачиваясь, палил в наполненное орудийной стрельбой, взрывами снарядов и стонами людей пространство.

11

Кондуктор Степан Захарович Пыльнов, один из мобилизованных в деревню рабочих, прибыл в станицу Гнилой Егорлык в самый разгар семейной ссоры, происходившей в семье казака Храмова.

Старик Храмов не успел уехать вместе с другими казаками вслед за гниларыбовской бандой. Сыновья застали его в тот момент, когда он запрягал в арбу пару лошадей: они догадались, что старик тоже хочет поживиться на погроме, учиненном бандой, и приволокли его в станичный Совет.

Напуганный Храмов, отбиваясь от сыновей, кричал, что он вовсе не собирался грабить, а хотел только навестить зятя.

На площади перед станичным Советом собралась большая толпа казаков. Одни приняли сторону старика,

другие — его сыновей. Председатель, толстяк с красным лицом, растерянно хлопал по перилам крыльца папкой с бумагами, вяло упрашивая:

— Граждане станичники! Тише же, тише!

Но никто его не слушал, все орали, и дело давно дошло бы до драки, если б четверо здоровенных сыновей Храмова не славились первыми кулачными бойцами станицы.

Степан Захарович Пыльнов незаметно поднялся на крыльцо, стал рядом с председателем, с любопытством присматриваясь к возбужденным лицам казаков. И когда гвалт внезапно оборвался — такая тишина обычно предшествовала всеобщей свалке, — Пыльнов вдруг весело закричал:

— Что вы, граждане станичники, человеку мешаете! Пускай идет грабить! Его всю жизнь грабили. Дайте удовлетворение человеку!

Лица всех казаков повернулись к Пыльнову. Степан Захарович все с тем же приветливым выражением на сморщенном темном лице сказал внятно:

— Только пользы от этого не будет.

И, усевшись на перила, словно перед ним была не многосотенная толпа, а несколько добрых собеседников, он неторопливо продолжал:

— Ну, скажем, повезет Егору Кузьмичу, — дорвется он первым до моего дома. У меня, Егор Кузьмич, под кроватью в сундуке новые сапоги хромовые лежат — на пасху купил. Хорошие сапоги!

Поглядев на свои изношенные сапоги и на ноги Храмова, словно сравнивая, Пыльнов удовлетворенно заявил:

— И по размеру они, пожалуй, тебе как раз подойдут. Жена и дети, конечно, цепляться за них станут — ведь сапоги-то на кровные деньги куплены! Но что казаку баба да ребята, когда он на войне настоящей обучен драться! Дал раз — нет их. — Пыльнов выразительно помолчал, оглядел притихшую толпу и продолжал: — А сапоги что же? С вас, с бедноты казачьей да с неимущих иногородних, помещики и богатеи всю жизнь последнюю рубаху снимали, а вы ничего, терпели. Может быть, даже и нравилось, вроде щекотки. А мы, рабочий класс, думали, что беднякам не нравится, когда их грабят, хотели сообща вас от грабителей избавить...

— Ты не смейся, а говори прямо, что со стариком делать и как нам этих волков, которые на станцию с подводами поехали, за позор проучить? — глухо сказал старший сын Храмова Михаил, подходя к Пыльнову.

Кондуктор посмотрел на молодого Храмова и вдруг, одним движением нахмуренных седоватых бровей, согнал с лица насмешливую улыбку и крикнул в толпу:

— Товарищи казаки и иногородние крестьяне! Дого-ним бандитов, чтоб никогда совесть ваша братской кровью не была запятнана! Сбор здесь через двадцать минут. Командиром отряда назначаю Михаила Храмова. Возражений нет?

Площадь закипела, заволновалась. Казаки и иногородние крестьяне бросились по хатам за конями и оружием.

Михаил Храмов кричал вслед отцу:

— Батя, вы коней из арбы не выпрягайте, безлошадных повезете.

— Знаю! — кричал отец и, подпрыгивая, размахивая руками, устремился прямо по чужим огородам к своей хате.

Ошеломленный этой неожиданной развязкой, председатель стансовета долго оставался безмолвным. Потом, опомнившись, надул щеки и строго спросил Пыльнова:

— А мандат у тебя есть?

Через полчаса молниеносно созданный партизанский отряд мчался по степному большаку к станции.

Ворвавшийся на станцию бронепоезд Мальцева и ударившие в тыл партизаны Храмова разгромили банду.

Костина, контуженного обломком кирпича при разрыве снаряда в помещении станции, принесли домой.

Храмовы остановились у него. Остальные партизаны, собравшиеся тотчас вернуться домой, были, по предложению ревкома и по желанию семей железнодорожников, расквартированы по всему поселку.

Костин в полубреду видел то склоненное над собой залитое слезами лицо Нины, то потное, красное лицо Храмова, то бородатые угрюмые лица его сыновей. Он не раз порывался вскочить, драться, кричал, что любит Нину и будет много зарабатывать, чтоб она жила не хуже, чем у себя дома...

Старик Храмов, отослав сыновей в станицу, остался жить у дочери.

Утешая Нину, он говорил:

— В башке у человека кишок нету — мозух один. И если сразу со шменька не сшибли, человек жить должен. Верно тебе говорю. В турецкую кампанию, когда я, раненный, в кустах отдыхал без памяти, конь мне на башку

наступил. Товарищи подобрали, а у меня в глазах троится. Доктор велел холодное прикладывать, а где его, холодное, взять, когда мы в самой что ни на есть Азии. Ребята умные, догадались: пошли на болото, набрали в наволочку лягух и на темя мне. Башка остудилась, я и выздоровел. Фельдшер после объяснял: если бы жабу положили, она бы не помогла — теплая, а лягушка — тварь хладнокровная, она действует.

Храмов, наклоня голову и поймав дочь за руку, давал ей шупать мягкие вмятины на своем затылке.

— Чуешь? — торжествовал он. — Как у младенчика, хрящиками заросла.

Нина умоляюще просила:

— Вы пошли бы погулять, папаша. Кричите вы очень. Храмов обижался и, одеваясь, бормотал:

— Безжалостная ты! Нет, чтобы отца приветить.

И уходил, осторожно прикрыв за собой дверь.

Как-то, бродя по поселку, он встретил кондуктора Пыльнова и, смутившись, хотел пройти мимо. Но Пыльнов очень обрадовался, поздоровался за руку и не выпускал руки до тех пор, пока Храмов не согласился пойти к нему в гости.

Перед обедом они зашли в кладовку, будто посмотреть охотничью снасть. И пока жена Пыльнова накрывала на стол, выпили браги.

— Со знакомством вас, — сказал степенно Храмов, подымая глиняный черпачок.

— И вас также, — ответил Пыльнов, оглядываясь на дверь.

Обед был сытный. Ели неторопливо, старательно, молча. Потом пили чай.

Храмов, держа на растопыренных пальцах блюдечко, рассказывал:

— У одного азиатского князя клинок был. Богу помолимшись, такой клинок во сне может присниться. Дамаской стали — куется она из пружины завитой. А этот клинок еще в лезвии пустой был, а внутри ртуть налита.

Взмахнешь — ртуть в конец бросится, руке легко, вольготно, а тяжесть вся в конце. Как хлестнет, бывало, князь православного — у того башка прочь. Так без башки и бежит кое время — ему, сердечному, понять нечем, что убили.

Князь саблей дорожил. На ночь в постель клал. Завернет в шелковый платок, чтобы не порезаться, промеж пог положит и спит. Между прочим, темлячок для верности

себе на кисть наматывал. И была у него девка, казачка, очень сладкая...

Дальше Храмов повествовал о том, как казачка приревновала князя к другим женам, и когда князь пришел к ней, она, чтобы досадить ему, положила саблю на горячую лежанку. Ртуть вспучилась и разорвала саблю. Князь разозлился, велел зашить девку вместе с испорченным клинком в бурдюк и утопить в пруде.

— Вот так и погубила девка саблю,— закончил Храмов и виновато поглядел на Пыльнова.

Он рассказывал эту длинную сказку только потому, что боялся, как бы Пыльнов не стал вспоминать их первого знакомства на площади перед станичным Советом.

Пыльнов, щурясь, слушал сказку. Когда жена вышла из комнаты, подошел к сундуку, достал оттуда новые сапоги и, бросив их на колени Храмова, сказал:

— А ну, примерь.

Храмов покраснел, вспотел, взял сапог в руку, обстоятельно ощупал, погнул подошву, наклонив лицо над раструбом голенища, понюхал, робко спросил: «Не надеванные?» — похвалил футор и упрекнул хозяина за то, что тот до сих пор не набил на каблуки железные подковки. Но примеривать отказался — ноги сырые, не налезут. И с уважительным вздохом поставил сапоги на пол.

— Бери,— грубо сказал Пыльнов и отвернулся.

Пыльнов был скупым человеком и никогда в жизни никому подарков не делал. Но отдать Храмову сапоги решил твердо.

Храмов в смятенье, опустив глаза в пол, пробормотал:

— Выходит, ты мне уже раз этими сапогами по морде дал, а теперь еще хочешь.

Поднявшись, он дрожащими руками застегнул жилетку и гневно проговорил:

— Обидел ты меня, ох, как обидел. Если бы не в гостях,— я за такие слова убить бы мог.

Храмов поперхнулся и, спотыкаясь, пошел к двери.

Держа шапку в руке, он вышел на улицу и никак не мог сообразить, в какую сторону ему нужно идти.

Пыльнов брел рядом с Храмовым и, заглядывая ему в лицо, скорбно просил:

— Ты послушай, чего я скажу... Ты послушай...

Но старик только мычал, словно у него болели зубы, и, тряся головой, норовил уйти в сторону.

Давящая боль в глазах мучила Костина. Когда он пробовал поднять руку к лицу, она сначала казалась ему огромной, величиной с дверь, а потом вдруг начинала уменьшаться, делалась крошечной, далекой... И все вокруг становилось противно гладким.

Войдя в комнату и видя, что Костин лежит с закрытыми глазами, Храмов тяжело опустился на сундук. Лицо старика было красным, возбужденным, глаза тревожно блестели.

— Вася, — позвал он.

Костин с трудом открыл глаза.

— Вася, ты думать можешь?

Храмов подошел на цыпочках к постели и, наклоняясь, нетерпеливо спросил:

— Для удовольствия человек на свете жить должен или как? Я в бога верю, — заявил он вдруг неожиданно, — но по-евангельски жить не желаю. А у вас что получается? Станцию забрали. А где оно... имущество?

И тихо посоветовал:

— Делить бы все надо... Чтобы народ понял, за что старается.

Костин, опершись на локоть, негромко сказал:

— Мы — жадные.

Храмов смотрел на него и смущенно улыбался, не зная, как понять эти слова.

— Жадные мы, папаша, — повторил Костин. Высвободив руку из-под одеяла и описав ею в воздухе круг, он пояснил: — Вот, всю ее хотим.

— Эту планету нашу, что ли? — спросил Храмов и, расхотавшись, хлопая себя по коленям ладонями, закричал: — Хватай еще с неба звезды, Вася!

Костин слабо улыбнулся:

— Звезды нам и так светят, а вот землю твою еще чужими ногами топчут. Видишь, что творится?

— Ну, это мы скоро справимся, — уверенно заявил Храмов. — А как Россию освободим, так, значит, все, кто к этому делу касался, удовлетворение получат?

— Это ты насчет дележа, что ли?

— Ага, — подтвердил Храмов.

Костин, подумав, спросил:

— Егор Кузьмич, ты из помещичьей земли надел получил?

Храмов мотнул головой в знак согласия.

— А сыновьям долю выделил?

Храмов тревожно вскочил с сундука и, размахивая руками, сердито заговорил:

— Это зачем же я на куски землю рвать буду? Всей семьей ее подымать нужно. Детей я не обижу. Пиджак кому нужен, — на, купи! Жениться хочешь — пожалуйста! Что на чью долю причитается, все выдам, а из компании выходить не позволю.

— По-хозяйски, значит, думаешь, — строго сказал Костин, — а нам что советуешь?!

И до рассвета взволнованно, вполголоса Костин и Храмов проговорили о будущих своих делах.

Храмов поминутно вскакивал и, бегая разутым по комнате, восхищенно говорил:

— Значит, нужны нам плуги. Так... Прихожу я к тебе. А ты по-божески, по своей цене отпускаешь — наживаться друг на друге интереса нет, потому котел общий... Да за такое ж дело, Вася, и помереть не жалко!..

Василий, показывая глазами на дверь, просил:

— Вы полегче шумите, папаша. Нина проснется, она вам покажет, как больного человека политикой тревожить.

— Да разве ж это политика? — удивился Храмов.

— А ты думал — нет?

И Костин кротко, счастливо улыбался.

12

Больше трех месяцев пролежал Костин в постели.

Выздоровливал он медленно; желтый, похудевший, походил на подростка с большой старческой головой. При малейшем волнении у него начинала мелко трястись нижняя губа и на глазах выступали слезы. Нина ухаживала за ним самоотверженно. Она терпеливо переносила его капризы, болезненную раздражительность. Но все это она делала с покорным торжеством и лукавой уверенностью, что Василий принадлежит теперь только ей одной. Она пускалась на любые ухищрения, чтоб воспрепятствовать встречам Василия с товарищами. Нина мечтала увезти Василия, когда он встанет на ноги, в станицу и там на хороших харчах вернуть ему здоровье, тем более что отец и особенно Михаил стали относиться к Костину с особой внимательной почтительностью.

Но ей не удалось защитить Василия от встреч с его соратниками.

Когда в ревком узнали, что заключен «договор» о взаимном ненападении, подписанный представителями четырнадцати станиц в Егорлыкской, и хотели немедленно послать агитаторов, чтобы разоблачить эту контрреволюционную авантюру, дававшую кулацким шайкам возможность передышки до прихода регулярных белогвардейских частей с Кубани и Дона, в ревком явился Маслюков и потребовал немедленного прекращения всякого вмешательства в дела крестьянства.

Такую тактику он «обосновывал» тем, что теперь якобы самое главное — не создавать конфликта с казачеством, которое в случае недовольства действиями Советской власти немедленно вольется всей массой в регулярные части белой армии.

Ревком наотрез отказался следовать этой явно предательской тактике. Тогда Маслюков в категорической форме потребовал от ревкома, чтоб Костин был отдан под суд ревтрибунала за то, что, будто бы зная о готовящемся налете на Котельниково банды Гнилорыбова, нарочно отправил в Гуровскую бронепоезд Мальцева и роту фронтовиков Андреева, а из оставшихся рабочих разослал сорок человек по станицам и, таким образом, оставил станцию беззащитной. Кроме того, Маслюкову якобы известно, что свояки Костина, казаки Храмовы, были своевременно извещены о налете на станцию и собирались поживиться имуществом железнодорожников во время налета банды, что может подтвердить председатель станичного Совета, который безуспешно пытался арестовать тестя Костина. Костин и сейчас встречается с Михаилом Храмовым, наталкивая его на организацию нового отряда, чтобы этим провокационно разжечь казачество на борьбу с Советской властью.

Мальцев заявил, что проверит все факты. После этого будет решен вопрос, кого отдавать под суд ревтрибунала.

Маслюков согласился, но заявил, что ревком пока должен воздержаться от всякого распыления сил обороны станции, чтоб не повторилось то, что было устроено Костиным.

Слухи обо всех этих событиях доходили до Костина. Известие, что его собираются судить и что Мальцев ведет следствие, уязвило Василия; он решил немедленно отправиться в ревком — разоблачить готовящееся предательство. Он испытывал сейчас больше ненависти к Мальцеву, чем к оклеветавшему его Маслюкову.

Мальцев сам неожиданно пришел как-то вечером к Костину на квартиру. Василий с искаженным от боли и слабости лицом стал одеваться, чтобы не говорить с ним в постели.

Мальцев, участливо глядя на желтые, худые руки Костина, торопливо рассказал о соглашении в Егорлыкской, подписанном четырнадцатью станицами с контрреволюционным казачеством. Следствие выяснило, что Маслюков не только знал об этом соглашении, но что и готовилось оно по его косвенным указаниям. Мальцев предложил Костину подписать приказ об аресте Маслюкова.

13

Из Царицына на бронепоезде выехал в Сальскую степь командарм.

Накаленная зноем степь дымилась черной пылью. Иссушенные солончаки блестели. Впереди бронепоезда шла открытая платформа, нагруженная рельсами, шпалами, инструментами, необходимыми для ремонта пути. На платформе сидел, зажав между колен винтовку, рабочий Путиловского завода Аносов, широкоплечий, костлявый...

Путь впереди часто оказывался поврежденным; тогда Аносов, подняв винтовку, стрелял вверх. Бронепоезд останавливался, и если вокруг не было ничего подозрительного, из вагонов выходили вооруженные питерские и московские красногвардейцы и молча принимались за починку пути.

Аносов взбирался на крышу кабины машиниста и, установив там пулемет, свесив вниз ноги, задорно покрикивал на работавших.

Бронепоезд в пути неоднократно подвергался нападению со стороны белых банд.

На подъеме он однажды был обстрелян артиллерийским огнем. Две орудийные упряжки, нагнав быстрым галопом медленно шедший состав и развернувшись, открыли огонь. На заднем вагоне остались рваные вдавленные пробоины.

Когда из вагона выходил командарм, Аносов подбирал ноги, садился на корточки перед пулеметом и зорко осматривал в степи каждый кустик, каждый бугорок. Лицо его при этом становилось сердитым, настороженным.

Ночью во время остановки из темноты вынырнул всадник и размашистой рысью направился к бронепоезду.

Остановив коня, стараясь не глядеть на пулеметное дуло, наведенное на него Аносовым, он приветливо сказал: «Здрасте!», потом подумал и, поднеся ладонь к фуражке, поправился: «Здравия желаю». Рабочие смотрели на него вопросительно и строго.

— Закурить нету? — сладеньким голосом спросил всадник. Смущенный молчанием, он сам поспешно вынул из кармана кисет и попросил: — Может, моего испытайте, — от простуды хорошо действует.

— А вы кто будете? — спросил его один из рабочих, облокачиваясь на кувалду.

Всадник, внимательно глядя, как остальные продолжали мерно взмахивать кувалдами, загоняя в шпалы костыли, неопределенно ответил:

— А мы — тутошние. А вы, извиняюсь, не здешние?

И вдруг, раздражаясь, вызываясь спросил:

— Поденно работаете или как? Больно уж стараетесь!

Ему опять никто не ответил. Склонившись к шее лошади и оглаживая ее ладонью, всадник насмешливо сказал коню:

— Не бойся, они не укусят.

Ловко соскочив с коня, забросив повод, он пошел к вагонам валкой походкой, разминая затекшие ноги. Когда один из рабочих преградил ему путь, наставив наган, старик пренебрежительно отвел его руку в сторону и сердито сказал:

— Буде в жмурки играть. Красные — по работе понял. Аккуратно мастерите, по-хозяйски, а не так, как те: колеса бы унести только! Начальство у вас кое-какое есть? Зови!

И, став на ступеньку вагона, повернувшись лицом к степи, он сунул три пальца в рот. Резкий угрожающий свист хлестнул по тишине.

Комендант в кожаной куртке выбежал из вагона, вытаскивая из деревянной кобуры маузер. Не обращая внимания на причиненное им замешательство, старик спустился на землю и, повернувшись к Аносову, замершему на крыше с пулеметом, заорал густым грубым голосом:

— Ты что, засады не видел? Посадили тебя, слепешарого!

И, обратившись к окружавшим его красноармейцам, хвастливо заметил:

— Глядите, как мои орлы сейчас прискачут.

И действительно, из стоявших в степи сложенных шатрами деревянных снегозащитных щитов выскочили четыре конника и стремительно помчались к поезду.

— Сыны,— гордо объяснил старик и насмешливо попросил: — Уж вы с ними будьте добреньки; молодые они, горячие, от беляков грубости не переносят, убивают. Это вы меня, как жулика, приняли. Но я же умный, я понимаю.

Сидя в купе за откидным столиком напротив командарма, держа в руке стакан с чаем, но не решаясь отхлебнуть, старик представился:

— Храмов я,— и, поставив стакан на столик, наклонясь к окну, добавил: — Вон она, вся моя фамилия с вашими ребятами дружится.

— Партизаны? — спросил командарм.

— Да не! Так, между делом занимаемся.

И горячо пояснил:

— Грабят, портят дорогу беляки, хуторские казаки, сволочи. Спилят столбы и волокут домой — для хозяйства вещь первейшая! Шпалами печи топят. А то быков пригонят, закрутят цепью за рельсу, на полверсты путь изворотят. А дорога-то чья?

Встав, старик стукнул себя по груди кулаком и сурово сказал:

— Собственная! Вот и охраняем на досуге. Белячков встретим — потрепим, скока можем.

И, вздохнув, произнес насмешливо и чуть грустно:

— Жизнь охотничья. Свистком я вас не беспокоил? Очень хладнокровно меня ваши ребята приняли, так это я — для лихости. Показать себя хотел. Извиняюсь.

Командарм спросил:

— Ну, а отряды у вас крепкие есть? Почему вы в одиночку действуете?

Храмов поерзал на диване, пощупал обивку и сдержанно пробормотал:

— Да они вроде и есть и нету.

— Ну, а точнее?

Старик вдруг покраснел, смутился и сишлым шепотом спросил:

— А вы, извиняюсь, большевик будете?

И, окончательно приходя в смятение от своего вопроса, махнув рукой, сказал:

— Да оно-то все равно. Вот зять у меня в партии...

Командарм, словно размышляя вслух, произнес:

— А я думаю, не все равно, товарищ Храмов...

И, пристально глядя в глаза старику, спросил:

— Вот предположим, вы вместе с вашим зятем попали в плен к белым...

— Я живым не дамся, — возразил старик.

— ...я говорю: допустим, на допросе выясняют, что ваш зять коммунист, а вы — нет. Кого, по-вашему, — вас или зятя расстреляют первым белые?

Храмов потупился, шаркнул ногой и, не поднимая глаз, ответил:

— Его первого казнят, это верно. Коммунист для беляка первый враг, шкуру спустят.

— Вот, — командарм встал. — Значит, коммунист первый враг для помещика, кулака, белых генералов...

И, показав рукой на зажатый между колен старика кирасирский тяжелый палаш с приделанными на конце ножен роликами, чтобы, когда всадник спешится, палаш катился по земле, сказал:

— Вы подняли оружие на кого? На поменчиков, кулаков, белых генералов. Они — ваши враги. А коммунист вашему врагу первый враг. Значит, коммунист трудящемуся кто? Первый друг.

И, улыбнувшись, объяснил:

— Когда приходишь в компанию, нет ничего плохого узнать у человека, кто он тебе: друг — большой, маленький или так себе, середка на половинку.

И серьезно произнес:

— Мы большевики, товарищ.

Храмов поднялся. Лицо его было возбужденным и торжественным. Приложив ладонь с растопыренными короткими пальцами к груди, он сказал решительно:

— Теперь держитесь. Все выложу.

Наклонился, вытащил из-за голенища потертую бумажку и бросил на стол.

В воззвании было написано:

«...Отношение наше к иногороднему населению весьма доброжелательное и дружественное, насилий нет и не будет, если на то не будет вызова. Против Советской власти мы ничего не имеем и не будем выступать, а также просим не навязывать своих идей, так как, согласно декретов народных комиссаров, всякая нация имеет право на свободное самоопределение».

— Вот, — гневно сказал Храмов.

Отстегнув путающийся в ногах палаш и положив его аккуратно на верхнюю полку, он горячо, уже не сдерживаясь, закричал:

— Чего на самом деле получается? Кулак, сволочь, нацию свою за его добро заступаться просить стал. Братцы казаки, братцы иногородние, братцы калмыки! Бейте друг дружку, а нас не потрошите, мы для вас — свои. Вот они какую политику разводят!

И вдруг, усевшись на диван, старик сказал решительно:

— Стой, я сказку расскажу: «В одном зверином царстве решили звери за очень жестокий характер своего царя убить. Собрались все разом. Пошли. Царь в темных горах жил — замок у него там был из камней сложен, недоступный простой скотине. Тигры лютые тот замок охраняли. Подошли звери к реке, что поперек земли текла: «Ах, ах, как это нам перебраться?!» — «Обождите, ребята, — говорят бобры-плотники, — это мы — разом». Наваляли дерев, соорудили плотину. По ней все, как по мосту, и перешли. Дальше видят — стена из вечного огня горит. Очень опасная, сгоришь разом до пепла. Позвали умного медведя. Сел он в стороне думать. Думал, думал, всю лапу иссосал. Потом приходит, аж похудел весь от натуги. «Окунемся, говорит, ребята, в речку и мокрыми в огонь сиганем, авось не сдохнем». Так и сделали. Кое-кто шубы попортил, а так ничего. Подходят к самой горе. А там тигры о камни клыки точат. Пыль и скрежет по всей земле столбом стоит. Царь с царицей на каменном балконе сидят, кофий пьют и деткам своим вниз показывают: глядите, мол, учитесь, как народом управлять надо.

Звери, конечно, забоялись вначале: некоторые зайцы, те тут же линяют от страха стали.

Медведи, бобры да волки чихают — шерсть в нос лезет, щекочет, но ничего, держатся. Выходит наперед всех старый медведь и говорит: «Я, братцы, этот замок лично строил. Все лапы в мозолях до старости. И желаю я испытать, чего эти мозоли весят».

Поклонился всем и пошел на главного тигра. Тигр костяную пыль с усов сдунул и очень развязно убивать медведя направился. Медведь идет так себе, прихрамывает — старый, ему на работе ногу ушибло, а тигр хвостом похабные слова выписывает, над медведем смеется, и сам, между прочим, думает, как тому брюхо рвать: вдоль или поперек. Медведь подошел к самому тигру да вдруг вежливо воскликнул: «Ай, ваше благородие, вам мушка на шерстку нагадила, позвольте листочками вытру».

Тигр аж задрожал от неприятности. Оглянулся, не видел ли царь, как мушка на него напакостила, и приказыв-

васт медведю: «Чего же ты ждешь, холуй? Не видишь моего омерзения?»

Медведь: «Сейчас, ваше благородие». Взметнул лапой — и у тигра башка, как горшок, в мелкие дребезги!

Ну тут и остальные звери зачали крошить.

До царя добрались. Очень сердитые были, мокрого места не оставили. После отдохнули, почистились и стали думать, как жить дальше.

Решили так: пускай всяк зверь живет согласно своей породы, но справедливо и прилично. Все теперь наше, пользуйтесь. Пушай каждая нация свое начальство выбирает. А ежели что-нибудь не так будет, здесь, в этом замке, для совета собираться раз в год. Порешили и все были очень даже довольны.

И только чакалам вопючим это дело совсем не понравилось. Привыкли они за чужой счет жить: когда у какого зверя охота плохая, они его пропастинкой ссужали под процент. Все звери у них в должниках ходили. И думают чакалы: «Нельзя нам жить одним вместе, изгрыземся друг с другом». И начали они в чужие нации втираться. Подходит один вопючий к зайцам и говорит: «Примите меня, зайцы, к себе; очень я пужливый, — это оттого, что одних мы с вами кровей». Зайцы его и приняли. Другой к волкам пошел. Говорит: «Возьмите меня, волки, к себе. У меня голос волчий, только тенер». Те его взяли. Так и распределились чакалы по звериным племенам. Живут звери ничего себе, поправляются. Бобры стали дом себе строить на большой реке. Только леса у них маловато. Вот один чакал приходит и говорит: «Я вам в этом деле, бобрушечки, помочь могу: скажу своим братцам-медведям, чтоб они вам дерев наломали, а вы мне за это шубы свои в залог оставьте, после отработаете».

Подумали бобры, согласились.

Побежал чакал до медведей. «Ой, говорит, братцы, когда-то я вас в голодный год пропастинкой потчевал. Не откажитесь, сделайте бобрам услугу».

Ну медведи: «В чем дело, пожалуйста!» Рощу своротили. Забрал чакал бобриные шубы в нору к себе и живет. А зима — вблизи. Снег сыплется. Бобры дом выстроили, а погулять выйти, добыть пропитание не в чем.

Вот и послали они делегатов к чакалу.

Закорючились от холода, пока босые и голые добежали до чакальей норы. «Отдай, говорят, скорей шубы, будь хорошим». А чакал вылез из норы, в доху из бобровых шуб

завернулся и спрашивает: «А вы знаете, такие-сякие, почему теперь бобровая шуба?»

Бобры ни кашлянуть, ни сморкнуться не могут, стоят, и сосульки на глазах намерзли.

«Ладно, — говорит чакал, — отдам я вам две шубы, нечего вам всем по лесу зимой шлендрать (а взял-то он сто!), только вы выметайтесь из вашего дома — я в нем теперь жить буду».

Вот как облапошил!

Стоят бобры и поседеть-то от горя им нечем — отдали шкуры-то!

Но не выдержал тут молодой бобер, поднял он свой голый хвост да им, как поленом, тюкнул по башке чакала и закричал: «Ах ты, паразит, эксплуататор!»

Чакал за башку схватился, доху скинул и на трех ногах бежать. Бежит и воет: «Медведей бьют, спасите, заступитесь!»

Медведи пробудились, выходят из берлог, потягиваются: «Кто, мол, медведей смел затронуть?» — спрашивают.

«Бобры», — кричит чакал и гулю над глазом всем показывает.

«А рази ты медведь?»

«Медведь, братцы, медведь, рази вы забыли?»

Ну, чего же делать, пошли медведи на бобров войной, а те кольев зубами павостирили и на медведей с кольями. На всю землю скандал и кровопролитие.

И услышал об этом старый медведь в замке, где он за весь народ отдыхал, думал. Прибежал хромым: одному — в ухо, другому — в загривок. Потом как заревет! Деревья вокруг, как трава, полегли от его реву: «Я вам как велел жить, гадам? Смирно, дружно, чтоб друг другу содействовать, а вы чего делаете?!»

Своротил скалу, сел на нее и начал судить. Присудил медведь выгнать чакалов вонючих насовсем.

Но те суда не послушали, набрали камней и стали о них зубы острить, как прошлый раз тигры лютые.

Но не тут-то было. Пошел на них медведь войной со всем народом. Ну, где ж чакалам устоять! Повышибали им зубы, а кого и порешили вовсе. И вслел с тех пор медведь носить чакалам хвосты промеж брюха, чтоб каждый зверь знал их с первого вида и никаких с ними делов не имел...»

Уже заканчивая сказку, Храмов потерял всю свою самоуверенность. Он пеловко вертел шеей, потел, и глаза у него бегали. Кончив сказку, он робко откашлялся и объяснил:

— Это один прохожий дурачок закурить попросил, ну и за спасибо рассказал, на завалинке сидя... Сказка пустяшная.

Храмов поднялся, достал с верхней полки палаш и, пристегивая его, сказал, отворачивая огорченное грустное лицо:

— Спасибо за угощение.

И хотел было идти.

Но командарм поднял руку и сказал мягко, но властно:

— Нет, подождите. Пришли в гости,— будьте гостем.

Старик сел, поставил между ног палаш, оперся на эфес подбородком и, испытующе поглядев, спросил озабоченно:

— Дошла побаска-то?

Командарм сощурился, словно для того, чтобы умерить черный, лукавый, радостный блеск в глазах, искоса посмотрел на Храмова, потом спросил, положив ему руку на колено:

— Зачем человеку, когда у него такой инструмент есть,— он показал глазами на богатырскую саблю старика,— прибаутками говорить? Храбрый и сильный правды не боится и выкладывает ее прямо.

— И скажу,— воскликнул старик.

Шея его побагровела, глаза заблестели. Снова отстегнув палаш, он, не оглядываясь, бросил оружие на диван и взволнованно произнес:

— Вот — картина. Землю вы нам дали? Дали. А поднять ее у меня мочи нет. Соседу кланяюсь — подсоби. «Можно — за третью долю». Я кричу: «Мы тебя растрясем!» А он: «Не стыдно против нации своей руку поднимать?» — «Нет, кричу, у меня нации, чакалы вы!» Слушайте дальше. Мы их трести, они нас бандитским способом убивать. Мы на них хором наваливаемся, а они на нас сворой. Дали кулакам жару. А те драться уже не хотят. Видели, писульку какую сочинили?! «Вы, говорят, больше нас не трогайте, и мы вас больше трогать не будем, пока белые армии не подойдут. А уж как подойдут, насмолим мы вам шкуры, будьте спокойны!»

Теперь чего же делать надобно? Собраться всем в кучу и намахать кадетов. А после в холодке все размыслить. И жить спокойно, без скандала, справедливо, согласно новому правилу жизни.

Старик задумался, потом спросил:

— Закурить пету?

Командарм протянул кисет. Старик ловко и осторожно оторвал от прокламации чистый лоскуток и, сворачивая козью ножку, сказал:

— Человек-орел нам нужен, под его крыло всем бы собраться. А то все отряды партизанские сами по себе бойцуют. Каждый за свой хутор, за свою станицу сражается.

И добавил с грустью:

— Я уж было про себя думал: в бою двужильный, это верно, зарубить меня трудно, но характером слаб: с детьми своими еще кое-как справляюсь, а больше...

Командарм протянул старику руку и сказал:

— Есть у нас такой человек, товарищ Храмов.

Старик поднял глаза и спросил строго:

— Это кто же такой будет?

— Ленин, — тихо произнес командарм.

Выходя из вагона, старик Храмов остановился на подножке и, вынятив грудь, гаркнул сынам:

— По коням! Смирно!

Четыре огромных всадника замерли на своих разномастных конях.

— Ребята! — сказал старик взволнованно и снял фуражку. — С праздничком вас! — И приказал: — Ты, Петро, на Дурной хутор скачи, ты, Михайло, — в Рубашкинскую, Павел — в Зиминки, Захар — в Корольковскую усадьбу. Велите партизанам на Ремонтную скакать. Человек от Ленина приехал.

Храмов подошел к своему коню, лихо, не касаясь стремени, прыгнул в седло, потом, обращаясь к вагону, где в тамбуре стоял командарм, крикнул, поднимая коня на дыбы:

— Вся степь явится, будьте спокойны.

И взмахнул плетью. Конь, вытянувшись, повернулся на задних ногах и прыжком рванулся вперед. Пластаясь, словно летящие гигантские птицы, всадники исчезли в темноте.

Бронепоезд тронулся. Аносов перебрался с крыши кабины машиниста на платформу. Горячий пыльный ветер жег кожу. Аносов, подняв плечи, чтобы колючая пыль не набивалась за воротник, снова пристально, до боли в глазах смотрел на текущие навстречу рельсы.

Бронепоезд мчался, но казалось, что он стоит на одном месте и только бешено кружатся колеса: так велика и однообразна была степная земля.

На рассвете бронепоезд прибыл на станцию Ремонтная. Горячий ветер по-прежнему метелил черной пылью. Раскачиваясь, бряцала жестяная труба на водокачке. Черные шары перекасти-поля, подпрыгивая, носились в воздухе.

Но там, в степи, за железнодорожным поселком, вздымались в темноту сотни огней костров, и человеческие голоса гудели, как гул глухого прибоя. Прибыли партизаны.

Скопище людей, бричек, тачанок, возов напоминало скорее предпраздничный базар, чем военный лагерь.

На одной из тачанок с прикрученным к задку растрепанной веревкой пулеметом стоял здоровенный парень в крошечной кубанке на затылке и, отбрасывая со лба закрученный винтом чуб, скорбно выкрикивал:

— Патрончиков от «Гра» никто не сменяет? Откликнитесь, братушечки!

Сквозь эту оживленно-дерзкую толпу с трудом протискивался командарм. Аносов с четырьмя красногвардейцами то и дело настойчиво просили бойцов «потесниться»; не оглядываясь, партизаны пропускали вперед неизвестных им людей. Приходилось то пролезать под брюхами лошадей, то карабкаться через возы. В одном месте путь был окончательно прегражден сплошной живой стеной. Бойцы стояли вкруговую, тесно. В середине круга боролись два обнаженных до пояса человека.

Низкорослый кривоногий калмык с наголо бритой головой, согнув шею и слегка приподняв руки, ходил враскачку вокруг толстого белотелого казака. Живот казака вываливался из штанов, как тесто из квашни. Из-за огромного брюха грудь его казалась впалой. Руки и шея казака были могучи. Покатые плечи, казалось, обвисли от тяжести рук — мясистых, как лошадиные ляжки. Казак сонел и как-то виновато улыбался — видимо, увертливый калмык уже порядком успел его измучить.

Низенький партизан-зритель с широким и плоским лицом неумоимо подпрыгивал на одном месте, чтоб хоть уголком глаза взглянуть на поединок, и, обернувшись, скающим радостным голосом объяснял:

— Казак калмыка обидел. Здесь встретились. Сначала — рубиться. Но народ не позволил: чего это, говорят, вы портить себя будете, когда с вас обоих — польза революции? Схватитесь на голые руки, — и нам будет весело, и у вас злость отойдет.

И вдруг, подпрыгнув особенно высоко, он повис, уцепившись за плечи стоящих впереди, и, вытягивая шею, завонил на всю площадь:

— Калмычок, не суйся, береги характер! Ты из него дух сначала выпусти, а потом он сам ляжет!

Но калмык, видно, погорячился. Белотелый казак успел сграбастать его ручищами со страшной силой и поднял — ноги калмыка заболтались в воздухе. Состроив свирепое лицо и ухнув, казак прижал калмыка к себе, чтобы швырнуть его об землю, но тот поджал ноги и, упершись ими в тучный живот противника, неожиданно рванулся. Казак тяжело прынул наземь, а калмык, перевернувшись, стал на четвереньки. Тысячеголосый рев и свист огласили площадь.

Но калмык, вместо того чтоб победно усесться на грудь поверженного, подошел к казаку и спросил озабоченно:

— Ушибся, бачка? — И протянул руку.

Командарм, увлеченный общим возбуждением, оживленно сказал:

— Хорошо!

И, за плечо притягивая Аносова ближе к себе, задумчиво произнес:

— Это хорошо: народ понял. Есть один конфликт главный, основной — конфликт трудящихся с эксплуататорами. Тогда все прочие конфликты — личные, национальные — отходят в сторону.

Плосколицы́й партизан, усевшись на корточки, вытирал вспотевшее от прыготни лицо шанкой.

Расслышав, о чем говорили рядом с ним незнакомые военные, он оглянулся и пояснил:

— Во французской борьбе лягаться в брюхо ногами не допускается. Калмычку позволили потому, что он правил не знает, степной человек. А с тем, что вы сказали, я согласен. Такое чистое дело затеяли — и вдруг национальность затрагивать! Нехорошо это!

Партизан неодобрительно пожал плечами.

Подвешенная к потолку на проволоке керосиновая лампа освещала только середину класса. Углы и стены оставались темными. Собравшиеся на совещание командиры партизанских отрядов — многие приехали сюда после боевых стычек — испытывали чувство неловкости, связанности. Хотя большинство из присутствовавших и не были знакомы между собой, почти все были наслышаны друг о друге и сейчас сдержанно присматривались к сосе-

дям, невольно поддаваясь атмосфере взаимной напряженности.

Командиры были одеты по-разному. Почти ни на одном не было полного военного комплекта, бросалось в глаза изобилие оружия, но в этом не было ничего показного — все командиры были людьми беззаветной боевой отваги.

Хотя у многих командиров имелись взаимные счеты, обиды, недоразумения — отряды в своих действиях зачастую мешали друг другу, а при больших операциях из-за отсутствия связи иногда оставались отрезанными, без помощи, — сознание особой важности этого совещания заставляло их быть особенно предупредительными и вежливыми между собой.

Вошел командарм. После приглашения сесть произошла заминка. Дело в том, что скамьи у парт были очень низкими, и командиры не решались усаживаться на них, чтобы не выглядеть смешными, садиться же на столы парт было как-то неловко.

Наконец все кое-как расселись. Командарм снял фуражку, провел ладонью по волосам и стал говорить о положении на фронте.

Мальцев, подперев кулаками скулы, внимательно глядел на командарма. Лицо его было моложавое, глаза ясные, с припухшими от усталости и бессонницы веками. Каждое его слово было понятно, просто, строго.

— ...нужно покончить с неразберихой в отрядах, — говорил он. — Закаленные в боях с белыми сельские партизаны уже выросли из пеленок партизанской войны. Нужно понять, что борьба с белыми сейчас стала иной. Перед нами — противник хорошо обученный, организованный в регулярные армии. Он сметет вас, если вы вовремя не соберете все свои силы в крупные военные соединения, не проникнетесь единственно необходимым для победы духом дисциплины Красной Армии. Драться нужно дивизиями, корпусами, армиями. Мы предлагаем вам произвести переформирование отрядов в полки, в бригады, в дивизию и идти к Царицыну, чтобы ударить в тыл белому окружению и совместно с царицынскими частями Красной Армии опрокинуть врага.

Кто-то спросил опечаленно:

— Значит, отступать на Царицын?

Приподняв руку, командарм бросил на сидящих испытующий взгляд и, словно обращаясь к одному челове-

ку, — по крайней мере, каждому казалось, что он говорит именно с ним, — сказал:

— Товарищ, по-моему, обмолвился. С каких это пор намерение идти на главные силы противника называется отступлением?

Командиры засмеялись, шумно заерзав на своих неудобных сиденьях.

Выждав, когда шум утихнет, командарм заговорил снова:

— У вас имеются кое-какие обиды на командование фронтом. Скажу откровенно: до сегодняшнего дня мы вашу боевую силу не всегда рассматривали всерьез. В этом виноваты мы, но в этом виноваты и вы.

Опираясь рукой о стол, он закончил:

— О решении нашего совещания мы сообщим немедленно товарищу Ленину. Думаю, что в ваших дальнейших действиях товарищ Ленин найдет подтверждение своим словам о том, что рабоче-крестьянская армия, борющаяся за первое в мире государство трудящихся, непобедима.

15

Из Ремонтной бронепоезд последовал дальше, в глубь Южного фронта, на Котельниково-Зимовники.

Пехотные дивизии и кавалерийские бригады, сформированные из партизанских отрядов, заняли участок на линии Царицынского фронта. Но некоторая часть партизанских отрядов продолжала упорствовать и дралась только возле родных станиц и хуторов, обрекая себя на неминуемую гибель: белые, ведя наступление, постепенно окружали их. Фронт был невероятно растянут.

На обратном пути бронепоезд из-за повреждения паровоза остановился на станции Котельниково. При свете фонарей бригада меняла разбитые снарядами части машины.

Руководивший ремонтом Михаил Петрович Глушков придирался к малейшей неисправности. Рабочие привычно выполняли указания строгого мастера. Комендант бронепоезда торопил Глушкова, но тот ругался и угрожал поставить машину на капитальный ремонт.

— Вон — гляди! — указывал он коменданту на очередное обнаруженное повреждение.

Встревоженный комендант начал даже слегка заискивать перед стариком.

Глушков, с видом победителя хлопая коменданта по спине, снисходительно говорил:

— Это на лошадь кричать можно, — она пугливая. А паровоз криком не проймешь, к нему подходец особый нужен — вежливый.

К рассвету работа была закончена.

Почистившись, Глушков поднялся в будку машиниста и, оглядев там себя перед зеркалом, отправился доложить начальству о готовности паровоза к дальнейшему следованию.

Подойдя к вагону, Глушков заявил часовому, что пришел с докладом к командарму. Часовой, внимательно оглядев мастера, ответил, что командарм только что ушел осматривать станцию.

Командарм, в сопровождении Костина и Васильева, был в депо. Волнуясь, Костин короткими, отрывистыми фразами давал пояснения и поминутно оглядывался на Васильева, словно ища у него поддержки.

Ночная смена работала, как обычно, у станков за производством патронов и снарядов. Слесари ремонтировали оружие.

Командарм подошел к станку токаря Игнатьева, занятого обточкой снарядной гильзы. Игнатьев, чувствуя на себе посторонний взгляд, следил за стружкой с напряженным и от этого угрюмым лицом. Отделка кромки стакана была самой ответственной операцией.

Командарм спросил Костина, почему набивка снаряда происходит тут же на месте, без предварительного контроля качества изделия. Костин поспешно объяснил:

— У нас каждый мастер имеет свое клеймо. Набивщики делают отметки на стакане красной краской. Если на позиции недовольны снарядом, стакан возвращают, по стакану видно — чья работа.

— И много стаканов присылают обратно?

— Пока не было еще такого случая.

— Значит, главное, от чего зависит качество, это — совесть человека?

Костин неуверенно согласился.

Командарм, обернувшись к Васильеву, сказал:

— Это очень интересно.

И, подойдя к винтовке, стоявшей в козлах перед станком, спросил:

— А с этим инструментом, товарищ Игнатьев, каковы ваши успехи?

Игнатьев перевел станок на холостой ход, вытер паклей руки и, кивнув на Васильева, скромно ответил:

— Об этом вы у товарища начальника батальона спросите.

— Ну, что скажете, товарищ Васильев?

— Скажу откровенно, что и ему говорил.

И Васильев сердито объяснил:

— Токарь он — второго такого не сыскать, человек незаменимый. А в окопах всегда норовит первым в атаку выскочить, в штыки, значит. Я ему приказываю — сиди, стреляй потихонечку и зря не высовывайся. Не тебя убьют, специальность твою драгоценную загубят. Тебе в атаку бегать — все равно что аэроплану в конной упряжке ездить по степи вместе с тачанками. Ну, а он обижается.

— Значит, бережете людей?

— А как же!

После осмотра мастерских побывали в окопах. Оттуда на платформе, запряженной верблюдами, вернулись на станцию.

— Что же вы нас с Михаил Петровичем все-таки не познакомили? — шутливо упрекнул командарм. — О чем ни спросишь, все Михаил Петрович да Михаил Петрович. Может, он гордый, так вы ему скажите, что я по слесарной части тоже кое-что смыслю, — мне ж интересно!

В вагоне командарм снял шинель, повесил на вешалку и, пригладив рукой волосы, предложил Васильеву и Костину сесть. Медленно шагая по купе, он говорил:

— Все, что мы видели, — хорошо. Замечательно! Рабочий класс, участвуя в революционной войне, не может не использовать хорошо ему знакомую технику. Здесь вы сделали все, что было возможно. Но теперь перейдем к другим вопросам...

Только через два часа Васильев и Костин вышли из вагона. Светало. Ветер доносил горький запах степи и смешивал его с запахом железа и нефти. Теплое розовое облако парило над восходящим солнцем. Возле вагона на опрокинутом ящике спал, свернувшись клубочком, Михаил Петрович. Очки его были сдвинуты на лоб.

Часовой, подойдя к Костину, сказал:

— Товарищ просил, как у вас совещание окончится, разбудить его.

Костин посмотрел на окно вагона, где еще горело электричество, потом на мирно посапывавшего Глушкова и тихо ответил:

— Не стоит. Пускай выпится. Устал он.

— Так я шинелью его накрою, — оживился часовой. — Очень сердитый старик, самостоятельный. Не простудился бы!

И торопливо полез в тамбур.

16

На заседании ревкома Мальцев сообщил, что Маслюков накануне ареста бежал и, по имеющимся сведениям, находится в отряде того самого Дитюка, который не явился на совещание командиров партизан. Там он подговаривает Дитюка арестовать ревком за решение оставить степной фронт и выступить к Царицыну.

Сведения Мальцева были верными, но далеко не полными.

Прославленному партизанскому командиру Афанасию Андреевичу Дитюку было двадцать четыре года. Он был коренаст, широкоплеч, рябоватое лицо его обычно казалось сонным, глаза были всегда полуприкрыты припухшими веками. Способный и сильный человек, он отличался крайней неуравновешенностью, непомерным самолюбием и мнительностью. Временами Дитюк безгранично верил в себя, но иногда становился нерешительным, подавленным, ищущим совета. Однако в трудную минуту дерзость и смелость возвращались к нему, и он всегда находил выход, заражая отвагой всех своих людей.

Не раз уже Дитюк вызывающе не подчинялся приказам полевого штаба, предпочитая совершать самостоятельные рейды. Совещания в Ремонтной Дитюк побаивался, потому что, находясь в «контрах» с командирами других партизанских отрядов, думал, что те нажалуются на него представителям из центра и он будет смещен.

Приезд в отряд Маслюкова и его сообщения сильно смутили Дитюка. К тому же Маслюкова поддерживал помощник Дитюка Жирба, который также требовал немедленно выступить в Котельниково для установления там «революционного порядка» и расстрела «предателей».

Дитюк отказался принять какое-либо решение, пока не узнает о результатах совещания.

Он велел выставить по степи заставы и тащить к нему любого из тех, кто был в Ремонтной.

К утру разведчики приволокли к нему секретаря полевого штаба соседнего отряда.

Увидев на крыльце Дитюка, секретарь в отчаянии, словно Дитюк причинил ему личное, ничем не поправимое горе, закричал:

— Что же ты понаделал, Афанасий Андреич! Я думал — ты теперь как дитя будешь, а ты опять своевольничаешь. Что же теперь делать, а?

Дитюк, с тревожно-смущенным лицом, помог секретарю слезть с седла и, провожая его в хату, сконфуженным шепотом объяснил:

— Ты не убивайся, я тебя все равно как в гости для разговора позвал, а ты обиделся.

— Не меня ты обидел, — с горечью прервал его секретарь, — себя обидел.

— Про меня там что-нибудь говорили? — спросил Дитюк, нарочито усмехаясь, и, наклонившись, стал подтягивать голенища сапог, чтобы секретарь не увидел его встревоженного лица.

— Как же, говорили... действует, мол, нахально: разгромит белых, а после на ключке обоев шлет крест нарисованный с надписью, что-де не беспокойтесь, я уже управился. И потом мечтает о себе много. Ну, и так еще...

— Ну, а они что, — начальники-то? — шепотом спросил Дитюк. На его скулах проступили мертвенно-белые пятна.

— Сказали, что такими, как ты, бросаться нельзя: что такой, как ты, сжели его на верный путь поставить, не то что отрядом, а дивизией, армией командовать сможет. Только надо учебу пройти, а это потрудней, чем белых бить. А то, что с мечтой, так это даже ничего, лишь бы мечта была революционной.

— Так и сказали?

— Примерно так. Я ведь говорю не в точности, — по памяти.

Дитюк посмотрел на секретаря сияющими глазами. Губы его приоткрылись и вздрагивали. Внезапным сильным движением он притянул гостя к себе, обнял, потряс, оттолкнул... И вдруг, нином ноги открыв дверь, выбежал на крыльцо, прыгнул с разбегу в седло секретарской лошади и без фуражки, без хлыста помчался в степь по направлению к станции Ремонтной.

Секретарь, выбежав на крыльцо, кричал ему вслед:

— Афанасий, ты хоть гимнастерку переодень, к начальству же едешь все-таки!..

Но Дитюк уже прискакал на Ремонтную; с потных боков коня свисала коростой налипшая пыль...

Воспаленными глазами глядя на какого-то железнодорожника, Дитюк хрипло спросил, свесившись с седла:

— Где бронепоезд?

Железнодорожник, пятась от всадника, измученного, пышущего жаром, протянул руку туда, где за поворотом, дымя и стуча колесами на стыках, скрывался поезд.

Дитюк, в отчаянии уставясь на железнодорожника, секунду колебался. Потом гикнул, ударил коня и снова поскакал в степь вслед за удаляющимся поездом. Он намеревался нагнать его, мчась по прямой. После сорока минут бешеной скачки конь стал спотыкаться, в горле его что-то хлюпало. Дитюк дергал повод вверх, не давая лошади падать. Но через некоторое время конь на полном скаку резко встал, опустился на колени и медленно, вытягивая голову, повалился на бок, судорожно дернул ногами, словно распрямляясь, несколько раз шумно и коротко вздохнул, опустил и снова поднял веки... Фиолетовые глаза стали затягиваться мутной пленкой.

Из-за поворота показался поезд. Бросив коня, Дитюк побежал наперерез ему, крича и размахивая руками. У самой насыпи он хотел ухватиться за вагонный поручень, но сорвался и покатился вниз. Мимо лица промелькнули чугунные жернова колес, обдало ветром и вонью мазута... Задыхаясь от песка, набившегося в рот, Дитюк скатился под откос.

В свой отряд Дитюк вернулся на следующий день к вечеру, мрачный и подавленный. Увидев секретаря, он тоскливо бросил:

— Не удалось поговорить. А я всю душу свою выворотить хотел.

И тотчас, словно устыдившись откровенности перед малознакомым человеком, угрюмо спросил:

— Тебе чего здесь нужно? Коня, что ли? Коня я твоего загнал. Бери у меня любого заводного.

И махнул рукой.

Пройдя в хату, не переменяв запыленной рваной одежды, он приказал Жирбе позвать Маслюкова.

Когда тот вошел в хату, Дитюк сделал знак Жирбе

отойти в сторону. Он исподлобья, пристально оглядел Маслюкова и хрипло спросил:

— Значит, измена, говоришь, в Царицын идти? Белым там продаются?

Маслюкову стало тесно, страшно. И вместо того чтобы протестовать, он вдруг помимо своей воли как-то жалко ухмыльнулся.

Дитюк поднял руку и дважды выстрелил.

Жирба, стоя в дверях и искоса поглядывая на Дитюка, сказал угрюмо:

— Напрасно горячишься. Человек давно революцию делает. Еще не известно, кто прав. Не простят тебе этого, Афанасий!

Дитюк медленно поднял голову и так взглянул на Жирбу, что тот опрометью выскочил из хаты, не успев затворить за собой дверь.

Вечером Дитюк напился. И в хмельном полусне всю ночь стонал, метался и бредил.

17

Станция Котельниково, окруженная белыми, защищалась отчаянно.

Васильев даже сформировал из железнодорожников кавалерийский отряд, который действовал очень удачно, заходя противнику то во фланг, то в тыл.

В результате героического отпора железнодорожников противник отступил, поняв всю безнадежность осады хорошо укрепленной станции, где люди умеют действовать с организованным единодушием и уверенностью фронтовиков.

Новым наступлением генералу Алексееву и его приспешникам удалось прервать связь между основными партизанскими отрядами.

Дитюк бился где-то самостоятельно. Жирба успел внушить ему, что рассказ секретаря штаба о совещании — неправда, которую тот выдумал парочно, чтобы посмеяться над Дитюком.

Дитюк совершал налеты на белых, окружая себя легендарной славой. Но мысль о Царицыне не покидала его. Он хотел только прийти туда с могучей армией, созданной в родных степях, и одним натиском осуществить то, чего не могли до сих пор сделать другие: освободить осажденный город.

Завыл гудок в депо, вслед ему тревожно и грозно загудели паровозы.

Из депо выбежал Мальцев, на ходу вытаскивая револьвер, потом Васильев и за ними, спотыкаясь, Костин.

Кто-то голосом, полным смятения, кричал:

— Прорвался чей-то эшелон. Орудия... Разнесет вдребезги!

Рабочие поспешно выкатили на главный путь пустой вагон, набросали шпалы, втащили на помост трехдюймовое орудие.

Но было поздно. Тяжко задрожали рельсы.

Могучий паровоз, роняя искры, пронесся мимо, обдав горячей волной воздуха. Впереди снегоочиститель, тараном которого паровоз в страшном беге сшиб с пути наваленные шпалы, а пустому вагону нанес такой удар, что тот, весь перекосившись, стремительно откатился назад и свернулся под откос. Вереница вагонов эшелона мчалась мимо железным смерчем. Мальцев успел перевести стрелку, паровоз рванул состав, словно сделав судорожный скачок вперед. Последний вагон оборвался, но по инерции продолжал катиться вслед за исчезающим поездом.

Остановился вагон далеко за станцией. Железнодорожники бросились к нему с винтовками наперевес.

Глушков, оставшись один, произнес тревожно и восхищенно:

— Вот это черти! С такими воевать страшно...

И, поколебавшись, тоже побежал туда, где стоял оторвавшийся от состава вагон.

Опасаясь неожиданностей, железнодорожники окружали вагон.

Мальцев приказал людям лечь и, приложив руки ко рту, зычно крикнул:

— Выходи! Стрелять будем!

Подбежавший Глушков, обращая к вагону багровое встревоженное лицо, сипло поддержал Мальцева:

— Выходи, а то паровоз напущу! Расшибу вдребезги!

И вдруг дверь товарного вагона со скрипом отодвинулась, показался парень в черной, без пояса, рубахе, в брюках навыпуск, босой. Опираясь о дверь спиной и занеся ручную гранату, он, зловеще прищелкивая, произнес:

— Ну, амба-кранкен!.. Ногами в небо!.. Сто шестьдесят пудов аммонала! На котлеты к господу богу!

Глушков, восхищенный, почти завороженный героическим поведением этого человека, пошел прямо к вагону, протягивая к парню руки и умоляюще бормоча:

— Подожди! Ты меня не убивай. Подожди! Кто такой будешь?

— А ты кто? Мундир одел? (Глушков всегда ходил в форменной тужурке с медными орлеными пуговицами.) Продался, сволочь!

— Это я продался? — завопил Глушков вне себя. — Да я вас, белых гадов, своими собственными патронами пачками сажаю! Сдавайся, гадюка!

Парень, заметно растерявшись от такого напора и словно наконец решаясь на отчаянный поступок, твердо и раздельно произнес:

— Не белый я. Партизан. Шахтер. Красный.

Услышав это, Глушков вдруг неожиданно для всех, озлившись, бросился к парню и закричал так, как обычно кричал на Гришку:

— Ах ты, хулиган!.. Аммоналу-то извести сколько хотел! А я тут без аммонала фугасы на соплях стряпаю!..

Шахтер от этой брани только щурился, потом улыбнулся и воскликнул:

— Да неужто и впрямь — свои? свои?

Он порывисто прыгнул на землю, засунув гранату в карман, но, вдруг нахмурясь, злобно спросил отступившего в испуге старика:

— Чего же вы, подлюги, тогда вагон оторвали?

Глушков, смущенно оглядываясь на своих, словно ища поддержки, пробормотал:

— Извиняюсь, товарищ! Ошибка.

Подошедший Мальцев, дружелюбно хлопая парня по плечу, задорно спросил:

— А вы куда, как бешеные, прете?

Парень вырвался и, в упор глядя на Мальцева, ответил сердито:

— Куда? В Царицын! Понятно? Окопались тут! Ни черта дальше своего носа не видите!

В отряд Дитюка шли сотни добровольцев. Но принимал он новых бойцов лишь после тщательного отбора и испытания.

Приказав вывести неоседланного косячного жеребца с налитыми кровью глазами, предлагал новичку на нем

проехаться. Потом шла стрельба, рубка лозы. Окончив все, испытываемый подходил к Дитюку. Дитюк спрашивал:

— За народ воюем. Знаешь?

— Знаю...

— Дисциплину соблюдать будешь?

— Буду.

— А если не будешь, застрелю, как собаку! Не оби-дишься?

— Ни,— отвечал боец.

— Ну, добре!

Дитюк протягивал руку, новичок-боец делал то же. Афанасий Андреевич начинал ломать руку бойцу, а тот ему. Если боец пересиливал, Дитюк, багровый и радостно-разъяренный, тут же стягивал с себя через голову гимнастерку, чтобы побороться с интересным человеком.

Жирба, носивший, когда у Дитюка было хорошее настроение, звание начальника штаба, а когда плохое — начальника обоза, а то и писаря, коренастый, толстый человек с лысеющей головой и тесно прижатыми к черепу какими-то скрученными ушами, ведал всем хозяйством отряда. Когда-то у него было собственное неплохое хозяйство, но казаки во время налета разграбили и сожгли все дотла. Он пошел в отряд Дитюка со злой мыслью — отомстить казакам за свое разорение.

Дитюк с его широкой, яростной, необузданной натурой оказался для Жирбы находкой. Жирба умно и незаметно для Дитюка разжигал в нем жажду славы, смутно намекая на какое-то его необыкновенное предназначение.

Напялив очки, Жирба сидел ночами, запершись в хате, при огарке сальной свечи, и писал. Он сочинял стихи; если они удавались, Жирба с насмешливой улыбкой говорил, протягивая Дитюку тщательно переписанные вирши:

— Слепцы по дорогам воют. И чего это они тебя возносят на весь народ,— не понимаю!

Дитюк, смущаясь и краснея, бормотал:

— А ну...

И Жирба читал громко, внятно, иронически кривя рот.

— Тише,— умоляюще произносил Афанасий Андреевич, оглядываясь на бойцов, не слышат ли.

Грубые льстивые слова «несен» действовали на Дитюка возбуждающей отравой.

Он снова бросался в отчаянные бои с белыми отрядами, пробирался ночью балками, чтобы под прикрытием утреннего тумана внезапно ворваться в еще спящий вражеский стан.

С походом на север Дитюк не торопился. Успокаивая себя, он говорил:

— Соберу еще силы, нагоню здесь страху белякам, а тогда и пойду.

Жирба делал все, чтобы удержать Дитюка, не дать отряду отправиться к Царицыну. Он не стеснялся даже запугивать Дитюка ревтрибуналом за самосуд над Маслюковым. И хотя Дитюк, утешаясь, говорил, что его простят за подвиги, тревога за самочинную казнь Маслюкова не угасала.

Больше всего Жирба опасался влияния на Дитюка Насти Мальцевой.

С тех пор как разведка подобрала Настю в обломках поезда, спущенного бандитами под откос, и полуживой привезла в отряд, эта маленькая женщина, оправившись от ранения, приобретала над Дитюком все большую власть.

Дитюк часто навещал Настю, когда она еще лежала, забинтованная, в хате. Осторожно присаживаясь на кровать в ногах больной, Дитюк, не умея высказать свое сострадание, спрашивал:

— Ну, как? — И, тут же смутившись, произносил: — Ничего, вы, бабы, мягкие, вас зашибить сразу нельзя. Как кошки живучи!

Настя, глядя на свои похудевшие темные пальцы и чуть шевеля ими, говорила проникновенным шепотом о том, какая это радость быть сейчас здоровым, приносить людям счастье. Столько неправды, обиды, злобы на земле! И вот соединились все хорошие люди, которых обижали, и хотят вернуть они всем правду, счастье, любовь друг к другу большую, чтобы больше никто никого не обижал, чтобы все жили справедливо, честно. И хоть не сразу это будет, но тех, кто сейчас об этом старается, не забудут на земле во веки вечные...

Дитюк, тяжело дыша, слушал.

Школьный учитель принес Насте томик Гоголя.

Она стала читать Дитюку вслух. Когда читала «Вечера на хуторе близ Диканьки», Дитюк, давясь от хохота, носился по хате, бил кулаками по стенам, садился на пол. Потом, еле успокоившись, спрашивал:

— Да где же они проживают? Ох ты, какой народ! Я бы их всех в отряд побрал: с ними воевать — со смеху подохнуть!

Когда прочли «Вий», Дитюк в смятении ушел к себе, ничего не сказав, но глубокой ночью явился к Насте, бледный, подавленный, и кротко попросил:

— Посидеть к тебе пришел. Лег спать, а черти так и мерещутся. Уж я и так, и эдак... Не гони, а?

Уселся у изголовья и, когда Настя закрывала глаза и начинала мерно дышать, жалобно спрашивал:

— Ты спишь, а?

И, вздрагивая, озирался.

Начали читать «Тараса Бульбу». В две ночи Дитюк осунулся и словно похудел. Глядя на Настю затуманенными глазами, он спрашивал шепотом, глотая слезы:

— Настя, ты скажи: ежели меня беляки поймают и на костре жечь будут, выдержи, а?

Настя сказала:

— Не знаю, Афанасий Андреевич, — у Тараса главное народ был.

— А у меня не главное? — звонко закричал Дитюк.

— У тебя — нет, — тихо произнесла Настя. — Пока ты сам для себя главный. Человек ты большой, а цели у тебя маленькие. Трусись ты большого дела, Царицына боишься... Не по Сеньке шапка!

Дитюк, уставясь на Настю, вскочил, матерно выругался и выбежал из хаты.

Ночью он пришел к Насе пьяный. Плача, стал на колени у порога хаты и пополз к ней, протягивая руки.

Настя понимала, что этот порыв кротости, мольбы сменится животной яростью. Она лежала, не шевелясь и не говоря ни слова.

Дитюк клал тяжелую голову ей на плечо, обнимал, целовал, молил.

Настя лежала, стиснув губы, как мертвая. Дитюк сорвал с нее одеяло.

И когда он повалился на нее, ломая руки, Настя произнесла громко, отчетливо, с отвращением глядя прямо ему в глаза:

— Эх ты, сволочь, Афонька! А еще смел под Тараса ладиться. Гад!

Дитюк, словно от удара по лицу, дернул головой, посмотрел испытующе в глаза Наси и, увидя в них ненависть, гадливость, медленно поднялся и, шатаясь, вышел из хаты, не закрыв за собой дверь.

На следующий день Дитюк пришел снова. Насмешливо кривя рот, он подошел к Насе и сказал:

— Ну, что было, то прошло. Только вот что. Баб других у меня в отряде нет. Я тебя не гоню, по, если хочешь оставаться, помни, не я, так другой...

После выздоровления Настя наголо остригла волосы. Голова ее оказалась маленькой, смешно торчали большие бледные уши. И только глаза, удлинённые, яркие, были по-прежнему хороши.

Увидев ее, Дитюк пробормотал раздраженно:

— Обезобразилась?! Ну и дура! Да разве я кому-нибудь позволил бы тебя пальцем тронуть?

С тех пор Дитюк стал относиться к Насте с серьезным доверием. И на совещании отряда она настояла, чтоб отряд принял наконец окончательное решение идти к Царицыну.

Узнав, что рабочие Москвы и Питера голодают, Дитюк решил послать от себя эшелон с зерном. Хлеб был собран у кулаков, подводы — наготове. Не хватало только эшелона.

Тогда Дитюк задержал первый же шедший на Царицын поезд.

Угрожая пулеметами, он приказал всем выбраться из вагонов. Партизаны вымыли вагоны изнутри, засыпали туда внавалку хлеб. Набив состав зерном и узнав у машиниста, что у паровоза хватит силы дотащить и пассажиров Дитюк велел им садиться на крыши, пригрозив, что если кто-нибудь посмеет открыть хоть один вагон и рассыпать груз, он этого человека все равно найдет, так как скоро сам с отрядом будет в Царицыне. Отозвав машиниста в сторону и справившись, из какого он депо, Дитюк передал ему два мешка, в которых лежали свиные копченые окорока.

— Это, — сказал Дитюк, — Гоголю.

— Да он умер давно, — равнодушно ответил измученный машинист.

Дитюк смутился, опустил голову. Потом, вздохнув, произнес:

— Ну, все равно... Может, родственников его найдешь. Скажешь — от Афанасия Дитюка, за спасибо...

18

В облаке пыли, как в тумане, двигался отряд Дитюка. Красное, громадное, без лучей солнце висело в душной мгле.

Отряд продвигался в Котельниково с боями.

Почти на каждом были следы столкновений с противником — головы, обмотанные тряпками, руки, висящие на перевязи, одежда, изодранная в рукопашных схватках.

Дитюк ехал впереди отряда на лоснящемся атласной

шерстью, роскошно убранном жеребце. Рядом с Дитюком трусил на толстой лошади Жирба; амуниция на нем нескладно бренчала от тряского скока лошаденки. В коляске с лакированными крыльями, запряженной парой грязных лошадей, сидела Настя. На задке коляски был прикручен пулемет. На тачанках везли раненых.

Отряд был изможден после боя. Вид у бойцов был невзрачный. Но, подъезжая к поселку, они достали из седельных сумок новые шапки, рубахи и тут же, не слезая с коней, переоделись. Каждый бодрился, подтягивался, прихорашивался. Вперед выехали музыканты. Два гармониста, гитарист, балалаечники с напряженными лицами настраивали инструменты. И даже у коней будто изменилась поступь.

На площади перед вокзалом котельниковцы устроили отряду Дитюка торжественную встречу. Костин потребовал этого, несмотря на протесты Мальцева, знавшего о расстреле Маслюкова.

Отряд Дитюка пестрой боевой колонной выехал на вокзальную площадь и там остановился.

Костин, отделившись от шеренги почетного караула железнодорожного батальона, поднялся на ступени вокзала и, протягивая руку к партизанам, воскликнул:

— Железнодорожники приветствуют бойцов за мировую революцию — красных партизан и их командира Афанасия Андреевича Дитюка!

Польщенный Дитюк вытянулся в седле и вдруг, с яростным выражением лица повернувшись к своему оркестру, взмахнул рукой.

Вздрогнувшие музыканты растерянно и нестройно сыграли туш.

И тотчас наступила неловкая тишина.

Расталкивая почетный караул, к Дитюку направлялся старик Храмов, держа на вытянутых руках широкую алую ленту.

Остановившись перед Дитюком, он протянул ленту и прошептал, заикаясь от волнения:

— Герою, красному орлу...

Потом вдруг, глубоко вздохнув, крикнул яростно и гордо на всю площадь:

— Носи, Афанасий Андреевич! Как ты есть человек возвышенный. А мы, если ты на смерть поведешь или на что-нибудь такое, — мы готовы!

Смятенный Дитюк взял ленту и неловко стал заталкивать ее за пазуху.

В толпе раздались веселые возгласы:

— Надень, Афанасий Андреич!

А Храмов сказал серьезно, глядя в глаза Дитюку:

— Надень! Это есть знак!

Дитюк, стыдясь, стал неуклюже закидывать конец ленты через плечо.

Внезапно дверь депо распахнулась, и оттуда, подпрыгивая на рельсах, выкатился броневик, сделанный из старой грузовой машины. Броневи́к помчался прямо на людей, шарахавшихся от него во все стороны, наехал на тоненькое деревцо, подмял его и резко затормозил перед конем Дитюка, вставшим на дыбы.

Из открытого люка броневика высунулось сияющее лицо Глушкова. Старик снял фуражку и, размахивая ею, закричал:

— Ура!

Голос его одиноко прозвучал в шуме смятения.

Глушков, не смущаясь всеобщим испугом и недоумением, взобрался на подножку, закричал изо всех сил:

— В подарок красным орлам, вроде как на именины! Партизанам от железнодорожников этот броневик преподносим!

Спешившись, Дитюк шагнул к Глушкову и пожал ему руку.

Жирба ленивой походкой подошел к автомобилю, толкнул колесо ногой и, обратясь к Глушкову, равнодушно спросил:

— На керосине содержать нужно?

Глушков поспешно и радостно объяснил:

— На бензине.

— А где ж мы его насобираем? — спросил Жирба. И, оборачиваясь к партизанам, добавил: — Из зажигалок, что ли?

Глушков, нагнувшись, вытянул приделанные к крыльям оглобли и с видом уверенного превосходства заявил:

— Он и в конной тяге может... В нем — как в крепость.

Жирба, постучав ручкой револьвера о корпус машины, пренебрежительно проронил:

— Жестяной. Его любая пуля просадит.

— Нет, уж это — извините!

Взволнованный, оскорбленный Глушков тотчас взобрался на автомобиль, влез вовнутрь и, высунув голову, гневно крикнул:

— А ну стреляй!

И захлопнул дверцу.

Жирба растерянно огляделся и пробормотал, обращаясь к автомобилю:

— Да я же тебя ухлопаю!

В толпе рассмеялись. Тогда Жирба поднял револьвер и несколько раз выстрелил в автомобиль.

Дитюк, подскочив, рванул Жирбу за руку.

Но тут из машины раздался придушенный голос Глушкова:

— Еще стреляй, еще! Пулемет давай! Из пулемета сажайте!

Подождав некоторое время, Глушков выбрался из машины, важно подошел к Жирбе и, взяв его за плечо, подвел к броневика.

— Видишь — в бортах шерсть! Вот эти трубочки ее смачивают. А мокрую шерсть пуля не берет. Техника — понимаешь? — И, повернувшись к Дитюку, горделиво спросил: — Ну, Афанасий Андреевич, принимаешь работу?

— Ловко состряпано! — довольно усмехнулся Дитюк.

Тогда Глушков повел обоих к задней стенке машины, где синей краской было выведено:

«Сей автомобиль подарен железнодорожниками красным орлам-партизанам». А ниже значилось: «Работа мастера М. П. Глушкова».

Дитюк, шевеля губами, медленно прочел надпись. С радостной улыбкой повернувшись к железнодорожникам, он сказал:

— Спасибо, товарищи, за подарок.

И, торжественно помедлив, продолжал:

— ...а теперь дозволейте сообщить о наших боевых трудах. Беляки, что на хутор Соленый налетели и стариков и баб пороли, изрублены. Сотню того атамана, который вашего машиниста Попова колючей проволокой велел обмотать и сжечь, уничтожили. Была у нас думка из атамана тоже «ежика» сделать, но нам отсоветовали...

И с хорошей улыбкой пояснил, кивнув на ряды партизан:

— У нас в отряде была гражданка Мальцева — она и отсоветовала...

Костин, взглянув по направлению кивка Дитюка, встретился глазами с Настей. Она приветливо улыбнулась Василию и снова вперила в Дитюка внимательные глаза.

— ...что же касается материальной части, трофеев и взятого нами в плен офицера, — продолжал Дитюк, — то вот...

На секунду задохнувшись, он обернулся к партизанам и крикнул:

— Митька!

— Га, — отозвался с тачанки огромный парень с завитым чубом, свисавшим на глаза.

Тряхнув головой, парень стал перекладывать из тачанки на руку обмундирование и торжественным утробным басом провозгласил:

— Ротмистров — два. Офицеров (отсчитывая фуражки) — восемь. Полковников (перекладывая истерзанный мундир) — один. — Потом, растянув перед глазами нечто блестящее позументами, произнес в мучительном раздумье: — А это кто? Чин позабыл, а?

Дитюк, услышав в рядах железнодорожников шепот и видя веселые улыбки, нетерпеливо передернул плечами и буркнул парню:

— Буде!

А партизанам громко командовал:

— Вольно!

19

С приходом отряда Дитюка скопившиеся на станции партизанские отряды получили значительное пополнение, а если бы Дитюк согласился идти к Царицыну, то с такими силами удалось бы наверняка пробиться сквозь кольцо белых.

Костин понимал всю трудность сложившейся обстановки. И решил сделать все, чтобы склонить Дитюка к единственно правильному решению — идти на Царицын.

Сережа, сын Костина, был болен. Третьи сутки мальчик лежал в бреду. Василий ночами просиживал возле больного ребенка. Еще не вполне оправившийся от раны, он после каждой бессонной ночи чувствовал жестокую боль в сердце. И теперь, сидя на табуретке и стиснув

между коленями ладони, Костин закрывал глаза, и его тотчас охватывало обморочное оцепенение.

В комнату вошла Нина. Дотронувшись до плеча вздрогнувшего мужа, она молча показала ему на дверь. Выйдя в кухню, ослепленный жаром августовского солнца, Костин прислонился к стене, чтобы не упасть.

Навстречу ему поднялся со скамьи Мальцев. Поципывая себя за мочку уха и отворачивая виноватое лицо, он сказал усталым сердитым голосом:

— Настю видел.

— Ну?

— При Дитюке встретились. Пошла ты, говорю, к...

— А она?

— Дурак, сказала. А у самой — слезы. Нанортил я, погорячился.

— С Настей?

— Да нет, с Дитюком. Сказал ему, что он только тогда идти трюхнулся, когда другие отряды уже в Царицын ушли...

Василий встревоженно и поспешно стал одеваться.

— Выговорился всласть... Эх, ты! — бросал он, тяжело дыша. — Ведь Дитюк с нами идти к Царицыну решил. Думаешь, что так просто ему степь бросить?! А тут еще — всякие обиженные! Про Маслюкова ему говорил?

— Говорил, — сокрушенно подтвердил Мальцев.

— Упрекал! — с сердцем говорил Костин, торопливо шагая по направлению к станции. — После этого он нас тоже пошлет... Снова в партизанщину полезет. Эх!.. Мы ведь его, как героя, встретили, а ты...

— Молчи, сам знаю, — глухо бормотал Мальцев. — Думай, чем все поправить можно. Вина у меня большая. Он после моих слов как бешеный стал: Жирбе приказал отряд к бою готовить, решил остаться...

По путям возле перрона ходил по насыпи Михаил Петрович Глушков. Макая малярные кисти в ведра, он старательно мазал рельсы.

— Михаил Петрович! Что это вы? — спросил Костин, останавливаясь в недоумении.

— Да вот маляром заделался, — усмехнулся Глушков и, подняв на лоб очки, щуря серые насмешливые глаза, сердито объяснил:

— С поста сообщили — эшелон, что тут проходил, обратно, как бешеный, мчится. Остановить его надо. Пускай ребята обрадуются, что здесь — свои. А как их остановишь? Нельзя же в тупик загнать? Вот мы с Гришкой

и придумали: на маслице они у нас и забуксуют как маленькие...

Костин приказал на всякий случай вызвать железнодорожный батальон. Кто его знает, может, это другой эшелон. А если свои, то тогда и оркестр не помешает.

Издалека из степи слышалось тяжелое дыхание поезда.

Глушков, приложив руки ко рту, крикнул стрелочнику:

— На главный принимай, с шиком!

С грохотом в дыму показался эшелон. Он быстро приближался к станции. С перрона уже полетели взметенные потоком воздуха листья и клочки бумаги. Захлопнулась открытая форточка окна вокзала. Люди, сгибаясь, хватались за фуражки...

И вдруг колеса мчащегося паровоза стали вращаться на месте, высекая искры. Горько запахло горящим маслом. Эшелон, словно поскользнувшись, встал, хотя колеса паровоза и продолжали вертеться.

Из замершего, но еще сотрясающегося в тщетном усилии поезда никто не показывался. Наконец в бойницы медленно высунулись стволы пулеметов.

Весь эшелон выглядел жестоко истерзанным. На вагонах кое-где зияли пробоины от снарядов, паровоз был полуразбит, труба его свернута набекрень, отовсюду, свистя, вырывался пар...

Костин приказал оркестру играть «Интернационал». С паровоза спустился на перрон командир бронепоезда. Голова его была обмотана влажным тряпьем, воспаленные глаза опухли...

Внимательно оглядев встречавших, он повернулся к вагонам и махнул рукой. Потом, обратившись к Костину, безрадостно произнес:

— Свои, что ли? Ну, здравствуй!

Костин, здороваясь, участливо спросил:

— Не пробились?

Командир, выдернув свою руку, вызывающе зло заявил:

— Ну и что ж?! Ну, и не пробились!

Потом, словно смягчаясь, устало произнес:

— Встречу ловко придумали.

Глушков, протолкавшись к командиру, с достоинством сказал:

— А ты, парень, мне руку пожми. В знак спасибо. Это я вас так мягко на пути принял. С умом...

Дитюк снова отказался идти к Царицыну. Было ли это решение вызвано столкновением с Мальцевым или Жирбе опять удалось переубедить его — неизвестно. Но Дитюк пока оставался в Котельниково.

Железнодорожники готовили станцию к эвакуации. Все, что представляло собой какую-нибудь ценность для врага и не могло быть взято в эшелоны, пришлось уничтожить.

Глушков руководил погрузкой механического оборудования. Он решил устроить в вагонах мастерские, чтобы и в пути не прекращать производства снарядов и патронов.

Видя, как железнодорожники надрываются под тяжестью станков, которые они волокли к составу на катках, Михаил Петрович бросился к партизанам из отряда Дитюка, равнодушно наблюдавшим за работой железнодорожников, и попросил:

— А ну, помоги, ребята!

Молодой здоровенный партизан, глядя сверху вниз на старого мастера, скучным голосом ответил:

— С таких делов грыжу наживешь... А мы для боя отдыхаем.

— Для боя! — возмутился Глушков. — А это все для чего?! Эх вы, куриная слепота!

И тут же поспешно устремился к вагону, откуда распоряжающийся погрузкой железнодорожник выбросил замасленную табуретку. Подняв ее, Михаил Петрович закричал:

— Зачем табуретку бросил? Я на ней тридцать лет сидел, на табуретке этой!

Мальцев следил за тем, как у водокачки наполняли водой цистерны. Он проверял и пломбировал каждую цистерну. Путь к Царицыну шел по безводной солончаковой степи, в степные колодцы бандиты бросали трупы павших животных, редкие пруды и реки из-за жары высохли, а водокачки были взорваны. Запасаться водой было нелегко.

Дитюк чувствовал себя тревожно и беспокойно. Втайне он сознавал, что главной причиной неожиданного отказа идти на Царицын является боязнь поплатиться за самоуправный расстрел Маслюкова. Столкновение с Мальцевым усилило его колебания. Жирба, которого Дитюк чуть было не выгнал из отряда за то, что тот продолжал упорствовать, требуя драться только в степи и за степь, теперь,

не скрывая своего торжества, держался с вызывающей лукавой скромностью несправедливо обиженного человека. Это раздражало Дитюка. Дитюк уверил себя в том, что ему нечего делать в Царицыне, где формировались новые части Красной Армии. Кому он нужен там? А здесь, в степях, каждый произносит его имя с почтительным преклонением. Здесь он знает каждую впадину, каждый бугорок и может трепать белых, как хочет, даже и не обученный военному делу.

Дитюк запретил бойцам расквартировываться в железнодорожном поселке. Отряд занял вокзальную площадь, прилегающие к ней улицы и расположился лагерем под открытым небом. Часовые никому не разрешали проходить в расположение лагеря.

Дитюк беспокойно шагал по комнате. То и дело останавливаясь у окна, он глядел на улицу, где партизаны, разложив костры, готовили ужин.

Жирба с приторно покорным лицом накрывал на стол. Вытащив бутылку вина, он сказал:

— Фабричное, с мандатиком.— И, щелкая по бутылке пальцем, язвительно добавил: — Вот ленточку и спрыснем.

Дитюк, резко обернувшись, схватил бутылку и швырнул об пол. С перекосившимся лицом он сорвал с груди ленту и, тыча ее, смятую, в лицо отшатнувшегося Жирбе, сдавленным шепотом произнес:

— С этим вот я на себя всю степь принял.

И снова замахнулся на Жирбу, но тот успел выскочить из хаты.

20

Перед рассветом Котельниково по прямому проводу вызвал Царицын.

Костин, Васильев и Мальцев тревожно следили за аппаратом.

Васильев, держа в руках пульсирующую бумажную полоску, читал вслух. Костин, схватив карандаш, записывал. В Царицыне положение ухудшалось с каждым часом. Иловля была взята казаками, кадетами. Музга также взята, наши части отступали на Карповку — Воропаново — Царицын. Если Царицын падет, погибнет весь Южный фронт и Поволжье.

За неприбранным столом Дитюк и Жирба, наклонившись над самодельной картой, обсуждали план будущей операции. Опираясь коленом на табуретку и тыча пальцем в склеенную из обоев карту, Дитюк бодрым голосом говорил:

— Прорвемся с флангу через Дурной хутор, пехоту в обход по балочке пустим и враз вдарим.

Жирба, подняв к нему умиленно-восхищенное лицо, с завистливым вздохом произнес:

— Гениальный вы человек, Афанасий Андреевич!

Внезапно отворилась дверь, и в хату вошел Костин с командиром бронепоезда.

Дитюк повернулся им навстречу, все еще продолжая довольно улыбаться. Добродушно подмигнув командиру бронепоезда, он сказал:

— Что, браток? Слезай — приехали! Вроде как пересадка? Ничего! Это со всяким бывает.

И, обратившись к Жирбе, велел:

— А ну достань гостям с устатку чего-нибудь интересенького.

Жирба, угрюмый, с нахмуренными бровями, хотел что-то возразить, но Дитюк, опершись с размаху ладонью о стол, грозно процедил:

— А ну?

И Жирба вышел, зло оттолкнув ногой попавшуюся на пути табуретку.

Показывая на карту, Дитюк гостеприимно объяснил:

— Отрядишко белых, как в мешок, ловим.

Водя по карте пальцем, он самодовольно пояснял план будущей операции. Костин внимательно слушал. Потом, усевшись за стол и придвинув к себе карту, сказал:

— Не все в твою карту вписано, Афанасий Андреевич! Вот смотри, что у вас получается.

Он вынул настоящую карту и расстелил ее поверх дитюковской, самодельной.

— Белые идут сейчас на Царицын. Там они встретятся с уральскими казаками. Если Царицын будет отрезан, весь юг останется без снабжения. Если Царицын падет, белые сомкнутся, и тогда от всей степи только могилы останутся... Нужно идти к Царицыну.

Дитюк, помедлив, решительно произнес:

— Не... Не пойду. Я за степь отвечаю. Понял?

— За степь? Так... Не за революцию, значит, а за степь?..

Костин вынул из кармана записку разговора с Царицыным и, помедлив, протянул Дитюку:

— На, прочти, хоть, может, тебе это и не по адресу.

Дитюк, поколебавшись, взял бумагу и, отойдя к окну, стал с напряженным лицом читать шепотом, по складам. Окончив, он подошел к Костину и тихо спросил:

— Что же... это и вправду так?

— Утром с Царицыным по прямому проводу говорили.

Дитюк с потускневшим лицом сказал сокрушенно:

— Что же вы меня не позвали?

— Да ведь все равно по азбуке Морзе ты бы не понял.

— Это кто бы не понял?! — закричал Дитюк. — Я не понял?

И вдруг, понурившись, замолчал.

— Ну, так как же, Афанасий Андреич? — спросил Костин после долгого молчания.

Дитюк отвернулся. Потом неуверенно сказал:

— Ну, а как на него, на Царицын, идти?

И, показав на командира бронепоезда, добавил:

— Вот... шел же, да на карачках вернулся.

Лицо Дитюка выражало мучительное сомнение.

Костин, понимая, что творилось с Дитюком, негромко сказал:

— Он один шел, потому и не пробился. Нужно всем вместе идти. Тогда мы — сила.

Командир бронепоезда, сидя за столом и сжимая из всех сил терзаемую болью контуженную голову, плохо соображал, что тут происходит. Забыв все слова, которые ему говорил Костин, когда они шли сюда, он понял только одно: Дитюк отказывается идти на Царицын потому, что сам он не смог пробиться туда на бронепоезде.

Гнев охватил его. Вскочив, он стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнула посуда, и, бледный, с нехорошо блестящими глазами, закричал:

— Мне, подлюге, за то, что я здесь застрял, расстрел полагается по всем правилам революционных законов. Мне своей жизни не жалко, но я и тебя... Знаешь, что с тобой нужно сделать за отказ выполнения революционного приказа?

Дитюк, горькие и сладостные размышления которого были прерваны так внезапно и грубо, рванулся к командиру и заорал, задыхаясь:

— Ты меня политикой не пугай! Я таким, как ты, душу выдергивал.

И, пинком раскрыв дверь, прохрипел:

— А ну, сыпь отсюда, пассажир первого класса!
Командир, возясь с кобурой, цедил сквозь губы:

— С шахтером так?! Ну, нет!

Дитюк, отскочив к стене, выхлестнул из ножен клинок.

Костин, понимая, что теперь все пропало, гневно сказал командиру:

— Ты что? Кто тебе дал право так разговаривать с командиром партизанского отряда? Приказываю уйти.

Командир опомнился, болезненно усмехнулся и, резко повернувшись, вышел.

Разговор по душам был сорван.

На площади, когда Костин пробирался по партизанскому лагерю, его остановил старик Храмов, окруженный сыновьями.

— Вася,— сказал он хмуро.— Объясни людям, чего кругом происходит. Вы в свою сторону гнете, мы в свою,— так, что ли, получается?

Партизаны, подходя кучками, окружали Костина молчаливой толпой.

Костин закусил губу, подумал и вдруг, пристально глядя старику прямо в глаза, быстро спросил:

— Грамотный?

— Есть маленько.

Протягивая ему бумагу, Костин решительно сказал:

— На, читай. Всем читай.

Старик бережно, в обе руки принял бумагу, потом, взобравшись на телегу, откашлялся и громко, торжественно прочел первые строки записи утреннего разговора с Царицыном.

Тесно сбившаяся толпа партизан напряженно слушала.

Костин с надеждой вглядывался в суровые лица людей.

Кончив читать, старик Храмов молчаливо оглядел партизан и, помедлив, задумчиво повторил однажды слышанные слова:

— «Торопитесь, не запаздывайте, ибо запоздать — значит, все проиграть»...

И, словно прислушиваясь к отзвуку своего голоса в партизанских рядах, спросил горько и тихо:

— А мы что ответим?

Храмов вдруг выпрямился, вскинул чубатую голову и крикнул, показывая на сыновей:

— Во — кровь моя, что хошь с ними сделаю. Не дадим в обиду справедливое дело. Верно, сыны?

— Верно! — откликнулись те единодушно.

— Так в чем же дело, спрашиваю? Наша земля, наша степь. Но беляки вышибут ее из-под нас, если каждый только за свои наделы цапаться будет. Миром только, обществом можем власть над землей удержать. Народом всей земли нашей бесконечной нужно разом наступать на гада!

К телеге, где стоял старик Храмов, подошел вразвалку Жирба.

— Агитируешь? — спросил он.

— Агитирую, — ответил старик.

— А ну слазь!

Внезапно вся притихшая толпа зашумела. Люди вскакивали на телеги и, бросая на землю шапки, стали призывать каждый к своей правде.

К вечеру часть партизан, покинув общий лагерь, расположилась отдельно на товарном дворе. Старик Храмов, явившись в ревком, заявил о готовности этих партизан идти на Царицын.

Это была последняя ночь на станции. Железнодорожники приготовили к походу четырнадцать эшелонов. Женщины и дети заняли два из них. Комендантам эшелонов предстояла тяжелая задача — уговорить женщин не забивать вагоны ненужным домашним скарбом.

С окрестных станиц стекались беженцы. Они заполняли поселок. Мычали коровы, блеяли овцы. Молодые и старики преследовали членов ревкома, требуя выдать им оружие.

В эту ночь умер ребенок Костина. Нина, безучастная, с тупым, равнодушным лицом, сидела на крыльце дома. Соседки, перешагивая через нее, сами увязывали в узлы одежду, необходимые вещи и уносили к эшелону.

Костин, подойдя к Нине, сказал:

— Ты посиди, я скоро приду.

Она кивнула головой и, точно окаменевшая, снова уставилась в одну точку.

Костин пошел к Дитюку. По дороге на него то и дело наталкивались люди с тюками, окружали женщины, спрашивали, жаловались.

Он улыбался, отвечал, советовал. И, слыша свой голос, чувствуя на своем лице улыбку, удивлялся, как это он может говорить и двигаться, когда в душе все пусто, мертво и то, что творится вокруг, происходит будто помимо него.

Подойдя к дому, где остановился Дитюк, Костин вытер лицо ладонью, словно стараясь смахнуть какую-то налипшую паутину, и толкнул дверь.

Дитюк, в нижней рубахе, ходил по комнате, сумрачной от плотного табачного дыма. Время от времени он оставался возле стола, склонялся к карте, оставленной прошлый раз Костиным, и, что-то обдумывая, водил по ней пальцем. Потом снова начинал метаться из угла в угол.

Увидев Костина, Дитюк поспешно свернул карту и, обернув к вошедшему угрюмое, тревожное лицо, молча ждал.

— Не спишь? — устало и равнодушно спросил Костин.

— Сплю... Аж пузыри пускаю, — запальчиво ответил Дитюк и дрожащими пальцами стал сворачивать сигарку, искоса наблюдая за Костиным.

— Поговорить хочу.

Дитюк затянулся сигаркой и, выпуская дым, злорадно спросил:

— Чего там говорить? Может, споем... Оно веселее!

И тут же добавил глухо:

— Говорили, патронов не дадите. Пугаете?

Костин сел к столу и, задумчиво облокотясь, ответил:

— Не в патронах дело. Патронов мы тебе дадим.

Дитюк вышел на середину комнаты и насмешливо поклонился:

— Спасибо! А то я уже думал отряд распускать... Извините, мол, ребята, Костин патронов не дает, пулять нечем...

Костин придвинул к себе графин, наполнил стакан, отхлебнул и закашлялся: в графине оказалась водка.

— Не по коню пойло! — торжествующе усмехнулся Дитюк.

Костин растерянно ответил:

— Нет, я пьющий.

И, вдруг понурившись, сжав ладонями голову, тоскливо прошептал:

— Болит, сил нет, так болит...

— Это ты к чему? — встревожившись, спросил вполголоса Дитюк.

Костин, очнувшись, выпрямился.

— Когда выступать думаешь?

— Утром.

Костин помолчал, потом, пристально глядя в глаза Дитюка блестящими темными глазами, произнес:

— Жизнь!.. Ты понимаешь, жизнь!.. Ее можно отдать только за самое дорогое. Вот ты, Дитюк, за что людей на смерть водишь?

Дитюк задумался, потом внезапно гневно закричал, срываясь с места:

— Да ты что? Политику пришел проверять? Я семь раз умирал. Что ты меня смертью пугаешь?

— У меня сын сейчас, понимаешь, сын умер.

Дитюк растерялся. Тихо подошел к столу, налил водки себе и Костину.

— А ты пей.

Костин встал из-за стола. Глухим, но уже крепнущим голосом сказал:

— Вот ты, Дитюк, поднял за собой людей. А знаешь, почему они за тобой пошли? За жизнь радостную драться понили, чтоб после человек с новой душой жить начал — просторно, счастливо, равноправно. Ведь потом степь в сады превратят, хаты — в дома. А о тебе песни сложат. Родную твою станицу твоим именем звать будут. Ты откуда?

Застегивая ворот, Дитюк застенчиво ответил:

— Из Рубашкинской я.

Шагнув к Дитюку, Костин воскликнул взволнованно и торжественно:

— Так в чем же дело? Афанасий Андреевич!

Вошел Жирба. Бросив на стол плетъ и оглядев Костина, угрюмо спросил:

— Уговариваешь?

Лицо его сразу набрякло, он заорал:

— Знаешь что? А ну, катись отсюда! Ведь было сказано — не пойдем. Нам с вами, как кошке с собакой, вместе не быть.

Присев к столу, Жирба злобно придвинул к себе графин и закуску.

Костин пристально смотрел на Дитюка. Дитюк, отворачиваясь к окну, нерешительно пробормотал:

— Прикажу, так пойдем.

— А ты не приказывай, — живо отозвался Жирба.

И, бросив вилку, снова закричал с отчаянием и угрозой:

— А хоть и приказывай — не пойдем!

Дитюк шагнул к Жирбе, вырвал у него из рук стакан, швырнул на пол и сквозь зубы прошипел:

— Пойдешь! А сейчас пиши!

И, наклонившись к Жирбе, Дитюк стал диктовать:

— «Приказываю свободным красным орлам-партизанам незамедлительно выступать. Партизаны выполняют свой долг перед мировой революцией».

Вырвав из рук Жирбы карандаш, он поставил на бумаге какую-то закорючку, повернулся к Костину сияющим лицом, сконфуженно сказал:

— Такую подпись ни одна стерва не подделает!

21

Костин вернулся домой. Нина сидела спиной к двери, склонившись, зашивала его куртку. Железнодорожный фонарь стоял на столе, тускло освещая ее худые, изможденные руки.

Костин присел рядом с женой. Осторожно взяв из ее рук куртку, спросил:

— Ты что же это — в темноте?

— Чайник согреть? — встрепенулась Нина. — Он еще теплый, под шапкой.

Она хотела встать, но Василий удержал:

— Ты ложись. Завтра выступаем.

— А Дитюк?

— И он.

Нина опустила плечи и, отвернувшись, тихо заплакала.

— Не нужно.

Всхлипывая, Нина отняла руки от лица и, подбирая выпавшие пряди, произнесла заикающимся шепотом:

— Я рада, за тебя рада. Это я от радости, что Афанасий Андреевич тоже идет.

Встав, она подошла к кровати и, стараясь улыбаться, говорила:

— Ты тоже ложись. Мы вместе.

Подойдя к мужу, она обняла его и, прильнув всем телом, прошептала:

— Ведь теперь, кроме тебя, нет у меня больше никого на свете. Васечка, будь ласковым со мной, ну таким, как тогда, — помнишь?

И, тихонько смеясь, она прижалась к его лицу мокрой вздрагивающей щекой.

Костин обнял жену и вдруг нагнулся, чувствуя, что глаза стали влажными от слез. Нина гладила его по лицу, шептала:

— Хорошо как!.. Вот теперь мы с тобой такие, что нам ничего не страшно!

От накалившегося фонаря пахло горячей жестью. На станции кричали паровозы, сердито, пронзительно...

Всю ночь Макс Максимович Зильбер бродил по поселку. В окнах домов горели огни. Железнодорожники укладывали имущество. Топились печи. Женщины пекли на дорогу коржи, пироги, хлеб. Ребятышки, возбужденные бессонной ночью, бегали по улицам.

Зильбера удивляла эта кропотливая деловитость людей, покидавших свои жилища, быть может, навсегда. Он хотел видеть горестное отчаяние. Что заставляет их уходить, бросать все? Страх? Нет. Белой армии так же, как и красной, нужен железнодорожный транспорт, и все они, разумеется, и при новой власти могли бы работать так же, как и при старой. Ну, допустим, железнодорожникам легче уйти с родного насиженного места. А крестьяне, скопичем, с семьями уходящие к Царицыну? Что может быть у них общего с этим осажденным городом, находящимся накануне падения? Какая сила влечет их туда?

Но степь шла к Царицыну, это было ясно. А степь без людей — пустыня.

«Проклятая страна! Она воюет не армией, а народом. Не хватает, чтобы они подожгли здесь всё».

И словно в подтверждение его мыслей, раздался взрыв, и видневшаяся вдалеке кирпичная башня водокачки, похожая на огромную шахматную «ладью», поколебавшись, рухнула на землю.

Побродив по поселку, Зильбер направился к дому Маслюкова.

Дверь открыла Ольга Викторовна. Положив руки ему на плечи, она воскликнула:

— Макс, я так измучилась! Мы должны бежать, куда угодно бежать. Только скорее!

Зильбер вскиливо выжидал. Потом, не раздеваясь, присел в передней на сундук и, закуривая, спросил:

— Так что вы предлагаете?

Ольга Викторовна, словно не слыша его вопроса, с гордостью сказала:

— Сюда приходил Мальцев с рабочими. Они предлагали помочь мне увязать вещи и отвезти их на станцию. Я отказалась. Я сказала, чтобы меня оставили в покое.

— Напрасно, — серьезно сказал Зильбер.

Ольга Викторовна отшатнулась к стене.

Она хотела закричать, разрыдаться. Но в темном пыльном зеркале увидела себя. «Как княжна Тараканова», — подумала Ольга Викторовна и произнесла покорно и кротко:

— Вы хотите покинуть меня. Да?

Зильбер встал, нашёл в темноте пепельницу и, откашлявшись, сказал негромко:

— Соберите в один чемодан самое необходимое и ценное. Через час я заеду за вами.

Открыв ключом дверь своего флигеля и не зажигая света, Зильбер разделся. Потом ощупью прошёл к окнам, задернул шторы, зажег маленькую керосиновую лампу и, присев к столу, стал писать. Письмо спрятал в карман, открыл печку, вытащил оттуда сложенные дрова. За дровами оказался небольшой кожаный чемодан.

Он снова оделся, постоял задумчиво, оглядел комнату, присел на стул, снял фуражку и положил на колени руки. Так он пробыл с минуту, глядя себе в ноги; очевидно, верил в примету — посидеть перед долгим путем. Наконец поднялся, вздохнул, взял в руки чемоданчик и направился к двери.

— А попрощаться-то забыли? — внезапно раздался насмешливый голос из глубины комнаты.

Зильбер резко повернулся и сунул руку в карман.

— Стой! Пистолетик вы на пол бросьте. Так. Очень хорошо. А теперь — сюда!

Из-за умывальника, занавешенного ситцевым пологом, вышел Мальцев и револьвером показал Зильберу на стул.

Зильбер сел; придвинув ногой чемодан к Мальцеву, он сказал беззаботно:

— Моментом пользуешься. Вот здесь всё, больше ничего нет.

Мальцев усмехнулся:

— За чемоданчик спасибо. И письмишко давайте тоже. Вы не беспокойтесь, за ним теперь никто не придет — гарантирую.

Зильбер со вздохом отдал письмо и, откинувшись на спинку стула, предупредил:

— Я иностранный подданный. Заметьте!..

— Все может быть. Гришка! — крикнул Мальцев. — Поговори пока с Макс Максимовичем, а я почитаю.

Гришка, с красными пятнами по всему лицу, с выступившим на верхней губе потом, уселся напротив Зильбера, держа в вытянутой руке «бульдог».

Зильбер, ерзая на стуле, попросил:

— Вы осторожнее, а то выстрелит — убить может.

Гришка моргнул, но не переменял напряженной позы. Пряча письмо, Мальцев подошел к Зильберу, сказал глухо:

— Предупредить успели. С Гнилорыбовым — тоже ваша работа?

Свертывая сигарку, продолжал:

— Не понимаю. Почтенный коммерсант, а у шпианы мелким шпионом заделались.

Зильбер дернул подбородком:

— Вы должны доказать сначала, а потом оскорблять.

— Ну, чего там доказывать, — добродушно огрызнулся Мальцев. — Сами знаете, что попались.

И с искренним любопытством спросил:

— Вот в письме вы генерала Алексеева последними словами обзываете. А за что? Не сторговались или как?

Зильбер поднял руку и, рассматривая на свет свою ладонь, толстую, с короткими сильными пальцами, брезгливо сказал:

— Алексеев или другой, мне ни к чему все эти диктаторы на час. Я решил бросить все к черту и уехать.

И с откровенной скорбью добавил:

— Я хочу отдохнуть. Пожить в собственное удовольствие. Может быть, вы меня отпустите?

Мальцев вздохнул.

— Расстреляете?

— Все может быть. Пойдемте.

— Одну минутку, — слабым голосом попросил Зильбер.

Лицо его покрылось холодной испариной, он тяжело дышал, приоткрывая при каждом вздохе рот.

Гришке было мучительно неприятно смотреть на Зильбера. Брезгливая жалость заставила его отвернуться.

Вдруг Зильбер, скрипнув зубами, стремительно рванулся и изо всех сил ударил Гришку по лицу, потом бросился почти на четвереньках в ноги Мальцеву и, сбивая его, выбежал на улицу.

Мальцев выскочил вслед за ним.

Гришка, пошатываясь и держась левой рукой за голову, оперся спиной о забор, чтобы не упасть, поднял правую руку и выстрелил. Потом сел на тротуар и заплакал.

Наутро котельниковцы выступили в поход к Царицыну.

Четырнадцать тяжело нагруженных поездов следовали друг за другом с небольшими интервалами. Рядом с эшелонами, невыносимо пыля, тащились арбы, телеги, тачанки с беженцами. Истошно ревели коровы, блестя овцы.

В степи, охраняя фланги этого великого движущегося табора, следовали партизанские части. Впереди и сзади поездной колонны находились два бронепоезда.

Еще на рассвете Мальцев, теперь начальник особого отдела штаба, рассказал Костину о бегстве Зильбера и о том, что тот успел сообщить командованию белых об отходе котельниковской группы на Царицын. Было ясно, что белые или попытаются окончательно отрезать котельниковцев от Царицына, или, опережая их, придут туда первыми, чтоб помочь мамонтовским частям.

Спустя несколько часов, по сведениям разведки, выяснилось, что какие-то части белых уже движутся по направлению к Котельниково.

Мальцев предложил использовать отряд Дитюка, чтобы внезапным налетом уничтожить наступающие части, — опасность иметь противника на хвосте была слишком велика.

Но Костин категорически отвергнул эту мысль. Партизан ни в коем случае нельзя было отвлекать от основной задачи. Малейшее промедление да еще бой с белыми здесь может поколебать их уверенность в правильности отхода на Царицын.

Принять натиск белых нужно самим: отобрать добровольцев из железнодорожного батальона и этим отрядом прикрыть отход. Было бы очень хорошо использовать фугасы Глушкова.

Мальцев с частью железнодорожного батальона отправился в окопы. Для них был оставлен специальный паровоз с шестью вагонами. Среди добровольцев находился и Глушков. Он заявил, что лично желает проверить свою работу.

Жена Глушкова, Анна Филипповна, седенькая маленькая старушка, закутанная в большую, как одеяло, шаль, ехала в вагоне одного из эшелонов и всю бранила строптивого старика. Плакать Михаил Петрович запретил ей строго-настрого. И если она иногда вытирала глаза концом косынки, то, как говорила, только потому, что их ест пыль. Станции уже не было видно, исчезли развалины водокачки, и вокруг стлалась только одна степь — желтая, сухая и жесткая. День стоял жаркий. Пустынное небо. Жгло солнце.

Не раз Анна Филипповна выходила из вагона: стоя на подножке, старалась увидеть долгожданный дым догоняющего эшелона поезда. Настя Мальцева, утешая старушку, тоже глядела назад в степь, и по ее тревожному лицу

трудно было понять, за кого она волнуется больше: за мужа или за Глушкова. Но когда подошел Костин, Настя с напряженной обидой в голосе сказала:

— Старика беречь нужно, а вы куда надо и куда не надо его суете.

Костин нахмурился, потом, быстро взглянув на Настю, спросил:

— А Никита тебе не человек?

И застенчиво, словно стараясь объяснить что-то, добавил глухо:

— Ты бы к Нине пошла. Поговори — тяжело ей!

Внезапно — будто где-то далеко проходила гроза — раздался мягкий придушенный гул. За ним другой, третий...

Костин замер с напряженным лицом.

На разъяренном коне к Костину подскакал Дитюк. Осаживая лошадь, он сердито спросил:

— Стреляют?

Костин обернулся и вдруг просто и ясно сказал:

— Нет, Афанасий Андреевич, там наши ребята остались, склады взрывают.

Дитюк недоверчиво покачал головой. Увидев Настю, он ухмыльнулся:

— А ты что же глаз не кажешь? — И, подмигивая, ласково сказал: — Я на твоего мужика не сержусь. Я же люблю горячих. Сам горячий. Ты зайди.

Потом, обернувшись к Костину и приосаниваясь, заявил самодовольно:

— Когда в отряде у меня была, в партию звала, Гоголя вашего читала.

И, снова наклоняясь к Насте, попросил:

— Ты заходи, не бойся. Я теперь, как Тарас, зарок дал: до полной победы — ни вина, ни баб.

Лицо его вдруг погрустнело, и он, не обращая ни к кому, произнес тихо:

— Как он на костре, а? Ну, ничего, меня живого не возьмешь! — крикнул он звеняще и, ударив коня, умчался в степь к отряду, оставив после себя ощущение удали, бесстрашия и какой-то могучей, но еще не собранной силы.

Анна Филипповна, проводив глазами всадника, прошептала мечтательно:

— Красивый мужчина! Михаил Петрович, молодым, тоже был очень неожиданным.

И, склонив свое морщинистое лицо с добрыми выцветшими глазами, сладко, по-старушечьи, расплакалась.

К вечеру состав с остававшимися на станции железнодорожниками нагнал эшелоны.

Мальцев доложил Костину, что противник уничтожен, но среди железнодорожников четверо убиты и шестеро тяжело ранены.

Михаил Петрович, возбужденный, усталый, преследуемый по пятам Анной Филипповной, ходил от одной группы людей к другой и в сотый раз рассказывал, как индуктор отказал раз, отказал другой, а белые уже по минному полю скачут. И как он, заплакав от злости, хотел было помереть, но вовремя очухался, разобрал индуктор, нашел, где был порван контакт, и, соединив снова, крутнул ручку.

— Ух-х, что было тогда! — Михаил Петрович с испуганным выражением оглядывал слушателей и, махнув рукой, удовлетворенно произносил: — Вот что значит добросовестная работа! А индуктора я по гроб не забуду. Это все Гришка виноват: я ему говорил — проверь, а он в сыщики записался — шпионов ловить. В мамашу сынок, с фантазией, — с шутливой суровостью обращался он к Анне Филипповне.

Дитюк, переполненный чувством бодрой, задорной радости, ощущая себя бесконечно добрым и счастливым, поскакал, горяча коня, на курган, с которого Жирба угрюмо наблюдал идущие мимо эшелоны и отряды.

— Идут! — крикнул Дитюк, кивая головой. — Силища!

— Идут! — язвительно согласился Жирба.

Потом задумчиво, словно обращаясь к самому себе, с тоской спросил:

— Почему люди пошли?.. Почему? Ведь нет у них в этом пути личного интереса...

И, махнув горестно рукой, прошептал:

— Мечта одна!

Дитюк, вставая на стременах, чтобы лучше видеть, уверенно сказал:

— Мечта!.. Ну так что ж, что мечта, если она правда!

Жирба, не оглядываясь, спускался вниз, передние ноги его коня разъезжались на крутом склоне, и Жирба, завалившись назад, натягивал повод.

Дитюк следил за ним с потемневшим лицом.

Подъехав к партизанам и став во главе колонны, Жирба вдруг затянул песню, тоскливую, с хватающим за сердце унылым припевом.

Колонна партизан подхватила эту песню. И с каждым новым куплетом к общему хору присоединялись новые

голоса, и с каждым новым куплетом лица людей становились все более грустными. Всех невольно тянуло назад, туда, к родным местам, от которых все больше отдаляли их долгие трудные версты похода...

Дитюк беспокойно прислушивался. Его короткая сильная шея побагровела. Стегнув коня, он погнал его почти галопом вкось по склону. Только сильная рука всадника могла удержать коня от страшного падения через голову с этой крутизны.

Подскакав к колонне, бросив яростный взгляд на Жирбу и тесня его конем, Дитюк гневно заорал:

— Какую песню поете? Кто запел?

Вытягиваясь на стремях и оборачивая к бойцам свое посветлевшее от сдержанной улыбки лицо, он запел сам сильным хрипловатым голосом дерзкую, боевую песню про казака Васюту. Когда же весь отряд, невольно переходя на рысь, подхватил бодрый знакомый напев, Дитюк толкнул Жирбу стремями и проговорил с хвастливым торжеством:

— Во какая должна быть песня!

А потом сурово добавил:

— А ты, Кузьма, агитации своей не разводи. В следующий раз башку оторву.

И, тотчас успокоившись, откинулся на седле, весело подпевая бойцам. Дитюк никогда не пел один, но в строю всегда пел со всеми.

22

Продвижение эшелонов вперед затруднялось частыми повреждениями железной дороги. Иногда приходилось десятки верст рельсового пути прокладывать заново.

Позади эшелонов путь разрушали сами железнодорожники, опасаясь, чтоб белые не использовали его для своих бронепоездов.

Вся тяжесть ремонта полотна ложилась на железнодорожный батальон. Работали днем под нещадным зноем голого степного солнца. Работали ночью. С отработавшей сменой Костин проводил беседы.

Помощник машиниста Быков задумчиво говорил Костину:

— Ты нам про все вали. И арифметику, и, скажем, географию или исторические случаи из жизни народов. Про все рассказывай, чтоб контрик какой-нибудь на митинге,

допустим, нас научным примерчиком не мог унижить, чтоб мы его этим примерчиком сами унижить могли.

Быков, используя свободное время, взялся обучить на обходчика пути сторожа Махова.

— Сигналы, — говорил он, — это главное.

Надув щеки, сделав зверское лицо, гудел. Спрашивал:

— Это что такое будет?

Потом, жалобно сморщившись, блеял тенором и тут же отвечал:

— А это стрелочник играет на рожке тебе в ответ: «Сыпь помалу». Сигналы бывают разные: звуковые, цветом, а также телесные: руками и всякими позами.

Махов после «уроков» играл на гитаре и пел чувствительные романсы: «Гайда тройка», «Ты сидишь у камина».

Быков слушал, потупясь, и после бормотал:

— Очень трогательно у тебя насчет женщин получается. Есть же такие слова — в самую душу входят!

И как-то, помолчав, рассказал:

— Крушение на сто семьдесят четвертой версте помнишь? Ошпарило меня тогда; думал — одна говядина останется. Провалился два месяца в больнице. Прихожу домой — слышу, кто-то в горнице плачет, стонет: «Васенька, солнышко!» Открыл дверь, гляжу — жена лицом об мою куртку трется и надрывается. Увидела, крикнула, прижалась, трясется. Обнял ее, стало мне так хорошо на душе, счастливо. И говорю ей: «Чего же ты, кобыла, плачешь?» Так и сказал. Ведь вот не нашел ничего другого, а?.. Хороших слов — раз, два и обчелся! Их запомнить надо!

Настя, примостившаяся рядом с Быковым, слушала рассказ внимательно, с задумчивым лицом. Потом обернулась к Мальцеву:

— Слыхал, Никита?

Мальцев отвернулся.

Где-то далеко звякали молотки о костыли; впереди у остановившихся составов чинили путь.

— Вот, — сказала Настя со светящимся кроткой улыбкой лицом, — не умеем мы по-настоящему любить друг друга, ласковости, нежности стыдимся. А как хочется любить, сильно любить, так, словно и нет тебя, и есть ты...

Мальцев нехорошо усмехнулся, кивнул в ту сторону, откуда слышались партизанские песни, спросил:

— Тот, видно, не конфузлив был?..

— Глупый,— грустно сказала Настя.— Сколько на тебя сил хорошие люди потратили, пока ты вот таким стал. Помню я, как ты нас воротил...

— Ну, пошла, поехала,— обиделся Мальцев.

И, встав, пошел в степь, откуда слышались удары молотков о железо, провожаемый нежным и тревожным взглядом Насти.

Эшелоны шли. Колонна их растянулась больше чем на семь километров. Одних подвод насчитывалась тысяча.

Белые, преследовавшие котельниковцев, стремясь отрезать их от Царицына, располагали тоже немалыми силами.

Под станцией Гремячая противник, бросив на котельниковцев кавалерийские части, повел наступление с обоих флангов. Бой длился шесть часов. Противник был отброшен. Колонна продолжала продвигаться на север.

Осеннее солнце пылало. Испепеленная земля дымила горячей черной пылью. На дне водоемов оставалась лишь грязная, густая, как деготь, тина. Воды не было. Люди изнемогали от жажды.

Вагоны были предоставлены женщинам, детям и раненым.

Железнодорожники шли по насыпи рядом с медленнодвигающимися эшелонами, держась руками о выступы вагонов.

Лица людей были обожжены, головы обмотаны тряпками. Партизаны из жалости к обессиленным лошадям вели их в поводу.

— Конь у меня застенчивый, папаша,— обращая к отцу темное лицо, говорил Михаил Храмов,— молчит, пить не просит, а знаю — из последних сил идет.— И, оглянувшись на железнодорожников, сказал тихо: — Железные, черти, им хоть бы что!

— Они у себя там ко всяким мучениям привыкли,— наставительно сказал старик и, приподнявшись в седле, сипло закричал: — А ну, сыны, по порядку номеров считайся. Все тут? Ну ничего, держись, ребята!

Салищев увидел, как Гришка, слабея и показывая на горло, хотел лечь на землю. Подхватив его сильной рукой, Салищев сердито прошептал:

— Не роняй звание! Партизаны смотрят.

Гришка с усилием поднял голову и, напрягая ослабевший голос, задорно спросил Храмовых:

— Присохло, братцы?

— Есть маленько! — важно за всех ответил старик. — Пива хочут. — И хрипло захохотал.

Обнаружив, что машинист головного эшелона израсходовал на перегоне много воды, Костин снял его с паровоза, встал к регулятору сам. В будку влез обессиленный Гришка. Он сел на железный пол и пожаловался:

— Пить охота.

— А ты об этом не думай, — посоветовал Костин.

— Вот, товарищ Костин, — сказал Гришка медленно и задумчиво, — говорят, сон такой бывает — летаргический. Заснет человек и спит... Хотя год спать может. Вот бы мне так! Заснул... Проснулся, глаза открыл — наша взяла... Кругом шестнадцать!

Привстав, он глядел на Костина восторженными, изумленными глазами.

— На дармовщинку в социализм попасть хочешь? Так, что ли?

Гришка смутился. Его худое облупленное лицо оскорбленно покраснело.

— Да что вы, товарищ Костин? Это я к тому, чтобы о воде не думать.

Костин кивнул и, открыв топку, заглянул внутрь. Внезапно откинувшись, он глухо закричал Гришке:

— Колосник выпал! Отгребай уголь к задней стенке, живо!

А сам, вытащив из ящика молоток и новый колосник, стал напяливать на себя грязный полушубок, оставленный машинистом, и обвязывать голову и руки тряпками.

— Доску! — приказал он Гришке.

Когда Гришка приволок доску, Костин распахнул дверцу, сунул доску внутрь и, пагнувшись, полез в топку.

Гришка в ужасе, чтоб не закричать, закрыл себе рот ладонью.

К паровозу подъехал Дитюк. Вспрыгнув на ходу в будку, он отшатнулся при виде вылезшего ему навстречу из топки Костина в дымящемся полушубке. Срывая с руки обожженные тряпки, Костин объяснил:

— Ремонтик небольшой на ходу делал.

Дитюк, медленно приходя в себя, растерянно сказал:

— Люди больше терпеть не могут.

Было видно, что эти слова он приготовил заранее.

Затапывая ногами смердящее тлеющее тряпье, Костин озабоченно спросил:

— А лошади как?

— Ты это что? — разозлился Дитюк.

— Ничего, — пожал плечами Костин. — Люди понимают, подтянутся. А вот кони?

— Падают, — пробормотал Дитюк. Оглядываясь на бегущего рядом с паровозом своего коня, он тоскливо хлюпнул носом и пожаловался: — Коня жалко.

Тяжело кашляя, хватаясь за грудь грязной от копоти рукой, Костин сквозь удушье просипел в лицо Дитюка:

— Плюнуть нечем. Полдня во рту капли не было.

— Брось врать! — вознегодовал Дитюк. — На воде сидишь! — И грубо передразнил: — «Капли не было»! Тоже!

Костин, шагнув к Дитюку и показывая рукой на тендер, сказал с силой:

— Каждого, кто посмеет пить эту воду, расстреляем!

Дитюк, подавленный этим порывом, растерянно согласился:

— Это правильно. Но кони ведь тоже страдают!

Воду Костин выдавал по кружке на человека и по полведра на лошадь. На привалах к цистернам тянулись две очереди — конская и человеческая. Лошадей поили тут же, на глазах у всех, чтобы никто не обидел своего боевого друга — коня.

Костин послал вперед за водой специальный паровоз с двумя цистернами.

Но на этот состав напал разъезд белых.

Настигнутый на подъеме замедливший ход поезд был обстрелян пулеметным огнем. Из пробитых пулями цистерн на сухую землю веером хлестала вода. Железнодорожники израсходовали все патроны и отбились только благодаря машинисту. В последнюю минуту он привинтил шланг к пожарному отростку инжектора и начал поливать казаков струей кипятка. С пробитыми цистернами, без воды, вернулся состав к эшелонам.

Обычно большая часть переходов совершалась ночью. Но люди так обессилели и изнемогли, что Костин, после неудачной попытки раздобыть воду, приказал сделать привал.

Никто не разводил костров, ели всухомятку и тут же засыпали. На передовые охранные посты были выставлены бойцы железнодорожного батальона. Густая безветренная ночь плыла над уснувшим лагерем. Вдалеке слышалось железное звяканье и двигались огни фонарей — это бессонные рабочие продолжали чинить поврежденный путь.

Под телегой, завешенной холстиной, Жирба, стоя на земле на коленях, приглушенно и яростно убеждал худого с кривым носом беженца:

— У меня у самого сердце кровью обливается. Но ты пойми, друг! Свою родню бросили, а за чужих будем в степи помирать. Спасем от беляков хаты, хозяйство — вернемся. Нам же самим потом Афанасий Андреич спасибо скажет. А эти без воды не сдохнут. У них вода есть в паровозах... Ну, как, друг, согласен, а?

Беженец страдальчески ежился и боязливо тянул:

— Опасно все-таки... — посоветовал: — Ты холостого какого-нибудь подбей. У меня детей малых двое да девки... Куда они денутся в случае чего?

— Жеребца моего заводного знаешь? — спросил Жирба. — Дарю!

Забывшись, он хотел встать, но ударился головой о телегу и, со злобой потирая ушибленное место, решительно сказал:

— Все равно теперь тебе обратного хода нет. Не сделаешь, сам сделаю, а после на тебя свалю. Мне поверят.

— Пожалей! За что губишь! — шептал беженец, вылезая вслед за Жирбой. И, стоя на четвереньках, скорбно умолял: — Ну, отпусти ты меня, отпусти. Не храбрый я. Замлею, пропаду.

— Не придешь, за тобой придут, — коротко бросил Жирба и ушел.

Настя никак не могла уснуть в эту ночь. Мучаясь, она вспоминала лицо Никиты, его грубо-насмешливые слова... Но ведь этот самый Никита с проникновенным восторгом обучил ее, Настю, всему, чему его научили люди!.. Ведь он сам привел ее в комнату и, краснея, попросил Андреева:

— Запиши вот.

— Ручаешься? — серьезно спросил Андреев.

Никита обидчиво и гордо сказал:

— Мальцева она. Фамилию мою носит.

И когда ее записали, Никита взволнованно произнес:

— Теперь мы с тобой, Настя, навеки срослись и душой и телом.

Андреев пошутил:

— С вас магарыч полагается. Вроде как снова поженились.

И деловито посоветовал:

— Аккуратней живите. Не ссорьтесь. Не жена она тебе теперь только, а друг, товарищ.

Оскорбленная унижительными подозрениями Никиты, его упорным нежеланием поверить ей, Настя до сих пор не говорила с мужем откровенно, доверчиво и просто. Мучаясь от гордости, она часто сама язвила его. Но теперь, угнетенная этой молчаливой ночью, Настя поняла, как невыносимо ей оставаться без Никиты, пусть недоверчивого и грубого, но такого родного, близкого, обиженного и страдающего. Она решила пойти разыскать мужа. Ведь ей не в чем виниться. Нужно сказать только правду. Ведь он хороший: поймет.

Настя поднялась и пошла мимо спящих людей, кутаясь в свою смешную жакетку с буфами, обшитую потертой тесьмой. Нежная, кроткая улыбка бродила на ее лице. Медленно шевеля губами, она вспоминала все те ласковые слова, которые берегла для Никиты.

Настя шла вдоль эшелона, заглядывая в вагоны к спящим железнодорожникам, — нет ли меж ними Никиты. Подходя к последним эшелонам, где стояли цистерны с водой, она услышала вдруг клокотанье льющейся воды.

Встревоженная, она бросилась к цистерне, из-под которой слышался этот шум. Присев, заглянула под колеса. Там возились Жирба и казак-беженец. Вода с шумом вырывалась из-под их рук. Настя в ужасе отшатнулась.

Жирба, повернув к ней искаженное лицо и выпуская из рук заглушку сливного прибора, растерянно спросил:

— Ты? — Потом, оправясь, крикнул: — Лезь сюда, держи заслонку... Не видишь — прорвало!

Настя послушно полезла под цистерну... Поток воды обрушился на нее. Казак стал выбираться наружу.

— Куда? — прикрикнул на него Жирба.

— Людей кликнуть! — дрогнувшим голосом произнес тот. — Беда ведь какая! Господи, что наделали!

Жирба с силой потянул его обратно.

— Нет, стой, молодец! — сипел он. — Людей я сам позову!

Настя, оглушенная падающей водой, тщетно силилась прикрыть сливное отверстие заглушкой и не могла видеть их возни.

Далеко впереди закричал паровоз, вслед ему второй, третий, залязгали стяжки и буфера. Эшелоны медленно тронулись с места.

Жирба выскочил из-под цистерны, за ним выполз беженец. Обжимая с себя воду, он умоляюще глядел на Жирбу.

Состав с цистернами дернулся. Медленно повернулись колеса.

Настя глухо вскрикнула.

Жирба, держась рукой за раму цистерны, шагал рядом сдвигающимся составом, внимательно глядя на колеса.

На мгновение из-под цистерны показалась согбенная, ползущая на четвереньках Настя с налипшими на лицо мокрыми волосами.

Жирба занес ногу и ударил женщину. Настя, охнув, повалилась навзничь. Скрипя, накатились черные жернова колес. Оборвался короткий крик...

Беженец бросился к цистерне. Жирба рванул его назад, выхватил наган и выстрелил вверх. Когда на выстрел стали подбегать люди, Жирба, закричав: «Стой!», выстрелил в бледное лицо казака.

Засовывая наган в кобуру, Жирба взволнованно говорил:

— Поймал гада на месте, другой ушел.

23

На рассвете часть партизан отказалась следовать дальше. Под предводительством Жирбы они подошли к эшелонам и потребовали выдачи воды из тендеров.

Железнодорожники с оружием приготовились защищать эту воду.

Но в самую последнюю минуту на разъяренном коне прискакал Дитюк.

Ворвавшись в гущу людей, он соскочил с коня. Увидев в руках Жирбы ведро, вырвал, бросил на землю, истоптал ногами. Потом, ударив Жирбу плетью по лицу, отвернулся от него, не обращая внимания на то, что тот, расстегивая кобуру, шевеля помертвевшими губами, смотрел на его затылок. Размахивая плетью, Дитюк кричал:

— Я вам дам пить! Я вас вашей же юшкой умою!..

Выстроив партизан в молчаливую пристыженную шеренгу, Дитюк расхаживал вдоль нее, пытливо заглядывая в лица, со страстной яростью спрашивал:

— Кто?.. Ну кто — я вас спрашиваю? Кто?

Со скорбным отчаянием он закричал, останавливаясь:

— Приедем мы в Царицын, прикажут, чтобы я вас на параде показал. А разве я могу вас показывать, когда среди вас скрытый гад ходит.

— Ты этот гад? — неистовствовал Дитюк, хватая гор-

стью за гимнастерку первого попавшегося партизана и притягивая его к себе. — Или ты? — бросался он к другому. — Ну, кто? Кто, я вас спрашиваю?

К Дитюку подошел Костин и, наклонившись, тихо сказал:

— Афанасий Андреич! Ты бы к Мальцеву пошел. Тяжело ему.

Бешено обернувшийся Дитюк вдруг заморгал, опустил голову и попросил:

— Поговори с ними, с гадами, сам, а?

И побрел к эшелонам, тяжело волоча ноги.

Внезапно во всем лагере началась беспорядочная ружейная стрельба. Люди, спотыкаясь, бежали по степи, задирали головы и стреляли в воздух. Некоторые забирались на крыши вагонов и палили оттуда.

В небе кружил самолет.

Вдруг, словно скатываясь с незримой стеклянной горы, машина, скользя, стала снижаться над лагерем. Подпрыгивая на кочках, самолет уже катился по степи. Партизаны с перепуганными и удивленными лицами окружили крылатую машину. Летчик, вылезая из кабины, сердито улыбаясь, спросил:

— Вы что — сдурели, черти?! По своим палить!

Наклонившись, он поднял с сиденья чугунную сковородку и, показывая всем, пожаловался:

— Если бы не эта «броня», подстрелили б, как дудака. Ею только одной и спасаюсь.

Летчик со своей такой обычной сковородкой тотчас покориł людей. Все заулыбались и потянулись к нему. Сопровождаемый огромной толпой, летчик зашагал к штабному вагону.

Собравшимся там командирам летчик сказал:

— Из Царицына я. Как дела у вас, товарищи? Дойдете?

— Об чем может быть разговор? — перебивая всех, заявил Дитюк. — На рысях.

Летчик спросил озабоченно:

— Мастера у вас не найдется? Стойку вы мне в шасси перебили.

Глушков, выступая вперед, смущенно пробормотал:

— Разрешите взглянуть. По слесарской части мы лично можем.

И, словно боясь, что ему откажут, добавил:

— Я и броневики делаю, — тоже ответственная работа.

— Броневики — это хорошо! — обрадовался летчик. —

Мы, как пролетариат, беляков должны техникой бить. Теперь на фронт много железа бросили!

Дитюк, обидевшись, что летчик не обратил на его слова должного внимания, сердито сказал:

— Железо без человека — дура.

— С человека тоже много спрашивают, — живо подхватил летчик. — Война, можно сказать, опасность, а тут курсы военно-политические открыли. Вот я, например, кто был? Токарь. А школу, можно сказать, под снарядами окончил и теперь — летчик. Теперь из нашего брата командиров готовят. Обучают.

— Ишь ты! И меня тоже учиться посадят? — насмешливо спросил Дитюк.

— А то как же, — с готовностью ответил летчик.

Дитюк вдруг сконфузился и, радостно улыбнувшись, сказал:

— Я бы тогда маленько в карте поднатаскался. Она полезна бывает — карта.

Летчик вынул из кармана гранату, обернутую пакетом. Снимая его, летчик объяснил:

— На случай, если бы к белым попался, думал... вместе с гранатой... — И, протянув пакет Костину, сказал: — От Реввоенсовета.

Глушков сидел на корточках возле самолета и с удовлетворением созерцал свою работу.

Летчик, нагнувшись, спросил:

— Держит?

— Навек, — заявил Михаил Петрович и обидчиво прибавил: — Я за свою работу везде отвечаю.

— И там? — спросил летчик, показывая на небо.

— Всюду — хоть под водой. Я своей фамилией дорожу, сраму нигде не допущу.

Обернувшись к Гришке, летчик попросил:

— Друг, сбегай-ка за водой для радиатора — вся выкипела.

Гришка растерянно поглядел на отца.

Михаил Петрович, решительно подымаясь с земли, спросил:

— Куда выливать?

И, вынув из кармана бутылку, бережно вылил воду в указанное отверстие. Сделав это, он с укором посмотрел на толпившихся партизан. И вдруг возле самолета стала выстраиваться очередь. С серьезными торжественными лицами люди подходили и выливали из фляг, баклажек, бутылок воду, суточный запас воды!..

Летчик, принявший все это вначале как шутку, понял, в каком положении находились эти люди. Встав возле самолета навытяжку, поднеся руку к шлему, он проговорил тихо:

— Спасибо, товарищи!

К самолету подошел Дитюк. Лицо его было расстроено. Положив руку на плечо летчика, он произнес тихо, не в силах побороть возбуждение:

— Передай...

Он вздохнул, и видно было, с каким напряжением искал слов. На лбу его набухли вены, но нужных слов не находилось. В конце концов Дитюк сокрушенно махнул рукой и прошептал:

— Извиняюсь. Вообще постараюсь!..

И вдруг, вскинув голову, сказал:

— Тараса знаешь? Ну, вот таким я буду. Не согнут!.. Сделав прощальный круг, самолет пошел на север.

Костин приказал раздать воду из двух тендеров. Два паровоза с погашенными топками медленно остывали. Железнодорожники сбрасывали вагоны под откес. Потом очередь дошла до паровозов. Страшно было сваливать с рельсов эти еще теплые, словно живые, машины.

Старый машинист, отвинтив от своего паровоза гудок и держа эту медную трубку под мышкой, понуро ушел, чтобы не видеть, не слышать стопа разбиваемой машины.

Старик Храмов, жалея машиниста, подошел к нему и, не зная, как выразить свое сочувствие, спросил:

— А гудок-то тебе зачем?

Машинист обернулся и, глядя на старика заблестевшими глазами, со стоном сказал:

— Это ж голос его! Может, еще когда-нибудь услышу.

И вдруг яростно закричал:

— Нет, врешь! Мы еще поедем! Он у меня еще запоет, еще как запоет!

И побрел, спотыкаясь, ничего не видя перед собой.

Оборачиваясь к сыновьям, Храмов с гордостью сказал:

— Ишь горюет, словно коня под ним убили.

Мимо прошел Мальцев, не глядя ни на кого, с поникшей головой.

Младший из братьев Храмовых — Павел, поглядев на него со скорбью, прошептал отцу:

— Я видел, как он плакал. Нагнулся к вагону с ключом, будто починает что-то, а у самого спина трясется.. А на людях шутит, — продолжал Павел. — У вас, говорит, не отец, а взводный. Война кончится, пролетариат победит,

так ваш батька на сытых хлебах вас таких еще на целый эскадрон наготовит.

— Ну? — удивился отец, потом поправился на седле и с достоинством согласился: — Что ж, я ничего. Я еще справный.

И снова шли.

Шли из последних сил, слабые — держась за плечи более сильных. Шли рядом со своими истощенными, шатающимися конями, шли по степи, накаленной зноем, задыхаясь в огненной пыли. Шли сквозь беспламенный пожар. В балках с водой собирали тряпками гнилую воду.

А когда казалось, что уже иссякли силы, лошади, шевеля пыльными потрескавшимися ноздрями и вытягивая непомерно длинные, худые шеи, вдруг в страшном напряжении быстрее зашагали вперед. Люди тащились за ними, медленно волоча ноги, боясь упасть... И увидели... реку.

Эта была настоящая река. Холодная, спокойная, отражавшая яркое, медленно текущее небо.

Люди устремились к реке. Они бросались в воду, упились ею... Огромный партизан, войдя в реку по горло, пил, задыхаясь, захлебываясь. Дитюк кричал, стоя в воде и широко простирая руки:

— Наваливайся, ребята! Угощаю!

И у него был такой счастливый, гордый вид, что можно было подумать, будто и впрямь река принадлежит ему лично.

Только Жирба оставался спокойным. Наклонившись к воде, он озабоченно наполнял фляги.

— Ты и в карманы набери, — крикнул ему задорно Дитюк. — Запасайся.

Жирба притворился, что не слышит. Но он был не один такой. Многие, выходя из реки, уносили с собой воду в ведрах... А потом, усевшись на берегу, снова пили, окунали в ведра головы...

Мост через реку Аксай, длиной в сто пятьдесят метров, был взорван.

Остатки исковерканных ферм торчали из воды. Путь на Царицын был отрезан.

Людьми овладело уныние. Они тревожно толпились на берегу.

Старик Глушков, ползая по обломкам пролетов, обследовал мост. Когда кончил, к нему подошли члены штаба и Дитюк.

— Ну как?

— Ничего, наладим, — бодро ответил старик.

— Этим вот? — делая непристойный жест, спросил Дитюк. — На пасху? Такую махину в год не сострять.

Глушков прищурился и насмешливо заявил:

— А нам некогда!

Потом рассердился:

— Донской мост знаешь? Громада! Наши его подняли. А этот мост против того — все равно что самовар против паровоза! Мелкая вещь.

— Блоха! — съязвил Дитюк.

— Что ты меня учишь?! — загорелся гневом Глушков. — Что ты мне все поперек становишься?!

И вдруг, осененный какой-то мыслью, лукаво усмехнулся и громко, чтобы все слышали, спросил:

— Вот рельс перерубить можешь? Ты, рубака?!

И подтолкнул к ногам Дитюка кувалду.

Уязвленные партизаны, уверенные в физической мощи своего командира, стали его подзадоривать:

— А ну, покажи ему, Афанасий Андресвич!

Дитюк, снисходительно улыбаясь, взял в руки кувалду. Взмахнув, ударил. Рельс со звоном подпрыгнул, но остался цел. Расставив ноги, Дитюк бросил кувалду с еще большей силой. Рельс снова ответил звоном. Разъяренный Дитюк стал бить все яростнее, на его спине между лопаток все шире расплывалось пятно пота, начали дрожать ноги...

Бойцы притихли. Наконец Глушков, сжавившись, легко отодвинул изнемогшего Дитюка и, поплевав на ладони, сказал:

— А ну, теперь я!

Четырьмя короткими точными ударами Михаил Петрович разрубил рельс и, повернувшись счастливым лицом к Дитюку, заявил с удовлетворением:

— Техника — и никакого мошенства. Понял? Скидай шпоры. Теперь я здесь — главный.

Задымилась на берегу наспех сложенная кузница. Валили телеграфные столбы. Рыли землю. Далеко позади эшелонов разбирали пути, чтоб из шпал сооружать клетки — тридцатиметровые устои будущего моста.

Беженцы, свалив скарб на землю, возили строительные материалы.

Мобилизованы были все. На семь километров протянулись от реки к эшелонам вереницы людей. В тендерах не оставалось воды — нужно было их наполнить. Люди передавали из рук в руки полные ведра. На двенадцать паровозов требовалось две тысячи четыреста ведер воды. Это был тяжелый и медленный труд!

Железнодорожники под руководством Глушкова укладывали шпалы в клетки, скрепляя бугеля скобами, сделанными в походной кузнице.

В полдень из степи показались первые части белых.

К Дитюку подошел Жирба. Кивая на мост, насмешливо сказал:

— Ковыряются. Может, и нам с тобой к ним на поденку пойти? Ден этак через сто, к празднику усекновения главы святого пророка-великомученика, авось поспеем.

Потом горестно спросил:

— Нас здесь беляки в реке топить будут или на берегу рубать?

И, возвысив голос, потребовал:

— Давай собирай людей! Вот здесь стороной в астраханские степи еще пройти сумеем! А то поздно будет. Может, пробьемся еще до хат на карачках!

Дитюк вздрогнул, со злобой закричал:

— Ты это брось! Ты у меня панику не разводи.

Внезапно успокаиваясь, он пробормотал:

— А о беляках этих больше слышать не могу. Душу щиплет!

Повернувшись, Дитюк пошел к эшелонам, цепляясь за траву шнорами.

После смерти Насти у Дитюка с Мальцевым возникла не высказанная словами дружба, сдержанная, заботливая.

Разыскав Мальцева, Дитюк пожаловался на свои опасения. Как бы беляки, окружив их, не прижали к реке. Мальцев, подумав, согласился, чтобы Дитюк с небольшой частью отряда выступил из района лагеря и в случае пужды ударил в тыл белым.

Удовлетворенный Дитюк не уходил. Застенчиво глядя на Мальцева, он переминался с ноги на ногу. Наконец нерешительно спросил:

— Ну как?

Мальцев понимал, о чем его спрашивает Дитюк. Понурившись, ответил:

— Так вот...

И вдруг, оживившись, звенящим голосом сказал:

— Ничего, Афанасий Андреич. А ведь правду она говорила — хороший ты парень.

И потряс его за плечо.

Шея Дитюка побагровела. Он снял с головы фуражку и, вытирая ею лицо, словно в этом была нужда, сдавленно пропентал:

— Правдивая она была, это что и говорить.

Сняв через голову маузер и протянув его Мальцеву, Дитюк сказал:

— Возьми на память.

Потом глухо попросил:

— И если я чего-нибудь не так сделаю, даю тебе полное право: шлепни ты меня на месте. Не обижуся.

Дитюк выступил с частью отряда в степь. Жирба, немного задержавшийся в лагере, паткнулся на партизана, идущего куда-то с лопатой.

— Конь где? — спросил Жирба.

— Нету, — признался партизан.

— Загубил?

— Да ни. Железнодорожный пролетариат попросил шпалы им возить чи бревна.

— Забери коня, — приказал Жирба.

— А совесть? — спросил партизан.

— Что совесть?

— Люди же для нас мост строят. Стараются! Можно сказать, одними голыми руками. А я для них коня жалеть буду?

— Забери коня, — повторил Жирба, — а то худо будет.

Партизан уныло поплелся к строящемуся мосту.

Через некоторое время партизан подъехал на тачанке к санитарному вагону. С кнутом в руке он поднялся на подножку и заглянул внутрь.

Нина Костина ухаживала здесь за ранеными. Наклонившись к молодому парню с синим, обескровленным лицом, она говорила ласковым, воркующим голосом:

— Да ты не стесняйся, голубчик. Я женщина замужняя, всего насмотрелась.

Подойдя к другому, она растерянно посоветовала:

— Ты стои, не сдерживайся, так легче будет.

Раненый схватил ее за руку и сжал изо всех сил, изнемогая от боли.

Выйдя в тамбур, Нина прислонилась к стене и прошептала горестно:

— Господи! и лечить нечем. Лекарств нет. И крови я переносить не могу. Вся слабею. Плакать хочется...

— Где тут наши? — выстунив, спросил партизан.

Нина, увидев его, зло закричала:

— Ты куда? В сапогах заразы носишь!

Потом, успокоившись, спросила:

— Дружка пришел поведать?

Партизан решительно уселся на пол и, снимая сапоги, придушенно ответил:

— Я своих увозить буду. Не желаем их оставлять.

Взяв сапоги под мышку, он хотел пройти в вагон, но Нина преградила дорогу.

— Куда? — произнесла она, задыхаясь.

— Пусти, баба!

— Да, баба! — крикнула она. — Да, баба! А ты кто? Трус, зверюга несчастная! На тачанках затрясти раненых до смерти хотите? Совести у вас нет. Удрать решили, всех бросить?

— Да ведь моста не сделают, — колеблясь в своем упорстве, возразил партизан.

Нина открыла дверь в вагон и, показав партизану на лежащих раненых, снова задвинула ее.

— Видел? — спросила она дрогнувшим голосом. — Видел, как люди за правду мучаются, посмотрел? Ну и уходи.

И стала толкать партизана вниз со ступенек.

Смущенный партизан сел на пустую тачанку, подобрал вожжи. Рабочие проносили мимо него спиленные телеграфные столбы.

— Эй! — крикнул партизан.

Рабочие обернулись. Спрыгнув с тачанки и зачем-то уминая сено на настиле ладонью, партизан закричал с отчаянной решимостью:

— Клади, ребята!

Мимо строящегося моста проезжал на коне Жирба. Взгляд его остановился на Храмовых. Четверо сыновей тянули вверх огромное бревно. Внизу, стоя по горло в воде, старик Храмов поддерживал бревно руками. Лицо старика было искажено, багрово от усилий.

Жирба, презрительно глядя на Храмова, спросил:

— Стараешься?

От натуги старик не мог выговорить ни одного слова. Подняв голову, он с усилием просипел:

— А ну, сыны! Ослобони меня маленько.

Сыны перехватили бревно, и сейчас же лица их начали багроветь, как до того — у отца.

Старик, потирая грудь, пытался ответить Жирбе, но дыхание у него еще не наладилось. Обращаясь к Михаилу, он хрипло попросил:

— Миша! Пошли ты его к...

Михаил вскинул голову, сделал глотательное движение, но тоже не мог произнести ни слова.

Тогда старик сделал такой неприличный жест, что сыновья его, ослабев, выронили бревно и стали хохотать. А старик в восторге захлопал руками по воде.

Жирба, плюнув, отвернулся и поехал тряской рысью к эшелону, где были раненые.

Войдя в вагон с мрачной торжественной миной, Жирба снял фуражку и поклонился всем.

— Родные братья мои! — произнес он с надрывом. — Проститься пришел.

И вдруг, вытащив из кобуры наган, он положил его на стол, насыпав тут же рядом горсть патронов.

— Здесь на всех хватит. Чем от беляков позорные мучки принимать, лучше уж самим себя кончить.

Раненые, наклоняясь с полок, хрипели:

— Кузьма! Ты что, Кузьма?

— А вот что. Конец всем пришел. Стиснули нас здесь белые. Дитюк бросил всех, в степь ушел. Простите меня, братья, и прощайте.

Поклонившись в пояс, Жирба отстранил ловившие его руки раненых, выбрался из вагона, вскочил на коня и поскакал в степь вдогонку отряду.

Паника, как пламя, охватила санитарный эшелон. Падая, волочась по полу, выползали из вагонов раненые, искалеченные, вопили о предательстве...

Нину сшибли, когда она пробовала вернуть беглецов обратно. От моста на крики прибежали вооруженные железнодорожники, решив, что прорвались белые.

Костину не дали говорить. Люди рыдали и умоляли о спасении. Тогда Костин приказал железнодорожникам взять на руки самых беспокойных, отнести к мосту, показать, что он уже почти готов, и принести обратно.

Это паломничество отняло у рабочих свыше двух часов. А между тем цепи белых становились плотнее, прибывающие к ним части все тесней смыкали свое зловещее кольцо.

Вокруг моста уже рыли окопы. Часть партизан и железнодорожников уже вела усиленную перестрелку.

Но артиллерийского огня белые не открывали. Они, видимо, ждали, когда будет закончен мост, чтобы стремительным натиском смести его защитников и овладеть переправой.

Все же к вечеру терпение лопнуло: начался упорный артиллерийский обстрел лагеря и моста. Снаряды бухались в воду, тотчас из реки вздымался огромный водяной столб и медленно опадал. Несколько снарядов угодили в готовые клетки.

Михаил Петрович, бегая между рабочими в дыму и в грохоте, кричал:

— Вы что думаете? Если к спеху — так тят да ляп можно?! Перекладывай заново!

И рабочие послушно переделывали насланные пути. Гнев старика, его злая придирчивость внушали людям бодрость.

Но когда в воду рухнула тридцатиметровая, только что сложенная из шпал клеть, Михаил Петрович растерялся.

— Это что ж такое? — бормотал он скорбно и удивленно. — Манька шьет, а Васька порет? Нешто в таких условиях работать можно?

Озабоченный, он спустился на берег и попросил Костина, чтобы он велел навалить вокруг моста сена, соломы и всякой трухи.

Когда всё это сложили и подожгли, лагерь окутался черным дымом. Уходящее солнце стало похоже на луну. Скрытые густыми и горькими клубами, задыхаясь, то и дело протирая глаза, люди все же получили возможность работать, так как противник лишился видимого прицела.

25

Отряд Дитюка наткнулся на беспечно расположившуюся в хуторе крупную часть белых. Внезапным ударом хутор был взят. Свыше двух сотен пленных Дитюк посадил в амбары, конюшни и просто в овечьи загоны.

Узнав из допроса пленных, что в соседней станице стоит примерно такая же часть, Дитюк вызвал к себе Жирбу и приказал послать гонца к своим, чтобы узнать, как там идут дела. Если мост еще не готов и силы белых не увеличились, тогда он наверняка успеет взять и станицу.

Жирба, выслушав Дитюка, сказал:

— Зачем кого-нибудь посылать? Я и сам съезжу.

Дитюк, смущенно улыбаясь, попросил:

— Только ты про хутор ничего не говори.

И поспешно объяснил:

— Ни к чему это. Понимаешь? Я ребятам просто для удовольствия позволил.

— Ну вот еще! Не маленький,— сказал Жирба, подавляя в себе желание съязвить по поводу извиняющейся улыбки командира.

Оседлав лошадь, Жирба поехал в степь и, выбрав угрюмую, густо заросшую кустарником и травой балку, просидел там до вечера, вздрагивая от каждого шороха. Жирба боялся змей, а их в степи водилось очень много.

Вернувшись, он доложил Дитюку, что мост еще не готов, а беляков сколько было, столько и есть, да, по-видимому, и те собираются уходить, чтобы переправиться вброд на другую сторону.

Обрадованный Дитюк приказал готовиться к выступлению.

Получив подкрепление, белые части, окружавшие мост, открыли по всей линии огонь, подготавливая решительный штурм.

На строительстве моста, подходившем к концу, осталось несколько человек. Все остальные засели в окопы.

Внезапно с севера показался черный узкокрылый аэроплан. Он был послан Мамонтовым на помощь осаждавшим. Осажденные решили, что это снова знакомый голец из Царицына. Но когда самолет, кружа над лагерем, стал бить по обозам беженцев из пулеметов, лагерь охватило смятение.

Спустя несколько минут с севера появилась вторая машина. Угроза двойного удара с воздуха поколебала бойцов. С минуты на минуту могла начаться паника. Костин, бросившись к мосту, приказал Глушкову заложить взрывчатку, чтобы, пропустив людей, уничтожить мост. А эшелоны, раненые? Как быть с ними?!

Второй самолет приближался к лагерю. Первая машина стала вдруг встревоженно подыматься навстречу новому залетному гостю.

Кувыркаясь в воздухе, обе машины вступили в бой. Невиданное зрелище этого единоборства увлекло всех. Даже со стороны противника огонь почти прекратился. В наступившей тишине было слышно только зловещее бормотание моторов. Огромные крылатые тени ныряющих в небе машин носились по степи.

Бойцы, лежавшие до этого пластом на земле, приподымались сначала на колени, а потом, забыв об опасности, и во весь рост.

— Ключй его, ключй! — шептал, опираясь на плечи сыновей, старик Храмов с закинутым вверх восторженным лицом.

Иногда казалось, что оба крылатых противника хотят сшибиться грудь с грудью, сцепившись в клубок, упасть на землю и продолжать драться здесь с соколиной яростью.

Иногда казалось, что одна из машин, оборвавшись с невидимой нити, неудержимо несется вниз. Но снова раздавался гул, частая пальба мотора, и, описав вензель, самолет опять взмывал ввысь.

Глушков дергал Костина, кивал головой вверх, говорил гордо:

— А муфточка-то на нем моя — лично сваривал!

Обе машины опутывали друг друга петлями, бились почти вплотную. Внезапно над вражеским самолетом показалось черное облачко.

Кивая носом, он стал как-то заваливаться и вдруг, круто повернувшись, рухнул на землю. Шума падения не было слышно. Люди кричали «ура», обнимались, забыв все.

Ожесточенный огонь белых многих свалил на землю. Как бы в отместку за это оставшийся самолет устремился на белых. Косо скользнув над цепями врага и обдав их пулеметным огнем, машина повернула к мосту и, торжественно описав медленный круг, повернула снова на север, к Царицыну.

Мальцев выскочил из окопа. За ним бросились люди яростно, врукопашную. Но прорвать оцепление не удалось.

Белые отступили, не размыкая кольца.

Приставший к отряду казак Пухов с собственным пулеметом, выменянным за корову, сидя в окопе и сердито подсчитывая патроны, жаловался:

— Патронов жрет, чертова машина, — не напасешься.

— А ты, паря, видать, жадный? — спросил старик Храмов.

— Жадный, — согласился Пухов и объяснил: — Патроны-то у меня не казенные, а купленные.

Мост был готов. Когда на него вступили первые эшелоны, мост пошатнулся, затрещал, но выдержал. Глушков, махая машинисту, чтоб подался назад, кричал:

— Сразу нельзя его уминать, нужно сейчас с ребятами подбивку дать! Тогда снова трясина!

Атакой по всему фронту ответили белые на первую попытку перехода моста. Силы железнодорожников и партизан иссякали, а Дитюка все не было. Постепенно людьми начало овладевать тревожное беспокойство. Линия боя все приближалась, охват становился теснее...

Старик Храмов, пробираясь где ползком, где на карачках, нашел Мальцева возле бронепоезда. Он командовал здесь огнем батареи. Наклонясь к уху Мальцева, старик прохрипел:

— Я пойду с ребятами, авось удастся Дитюка сыскать. А то что же получается? Измена?!

Мальцев кивнул в сторону белых:

— Прорвешься?

— Ничего, — сказал старик. — У меня ребята старательные. Только вы поддержите, потрудитесь, когда мы попытаемся будем. Уж пожалуйста!

Через несколько минут пятеро Храмовых — отец и четверо сыновей — вылетели на пластающихся в воздухе конях в степь и помчались прямо на цепи белых.

Противник сначала растерялся. Белые, вероятно, решили, что это перебежчики. Но когда старик Храмов, перепрыгнув на всем скаку через окоп, бросил клинок на голову пригнувшегося офицера, отважное намерение лихих всадников было разгадано.

Первым, схватившись за шею, медленно опрокинулся из седла сын Захар. Потом старик увидал, как второй сын, Петр, спрыгнув с коня, свалившегося с перебитой погой, долго и яростно отбивался шашкой от штыков солдат, набросившихся на него со всех сторон. Старик застонал, но не умерил бега коня, чтоб прийти на помощь сыну. Теперь позади скакали только двое — старший Михаил и младший Павел. Павел все время оборачивался. Михаил жестоко стегал коня и смотрел только вперед.

Солдаты беспрерывно стреляли вслед прорвавшимся всадникам. И вдруг Павел тонко вскрикнул и, тотчас замолчав, с удивленным, виноватым лицом, не спуская с отца туманящихся глаз, начал клониться к шее коня.

Михаил, подскочив к нему, обнял брата, но, когда хотел перевалить на седло, Павел был уже мертв.

Дитюк, победно заняв станицу, велел вынести на крыльцо барского дома плюшевое кресло. Торжественно восседая в нем, он решил поговорить с пленными. Это случилось с Дитюком впервые: раньше он вообще не брал пленных.

Партизаны, толпясь вокруг с веселыми лицами, с любовным восторгом глядели на своего командира.

— Что ж у вас — в башке вместо мозгов коровьи лепешки? — со снисходительным торжеством спрашивал Дитюк выстроившихся перед ним солдат. — Не понимаете, против кого шли?.. Мы — за рабоче-крестьянский класс. За вас, дураков. В мировом масштабе жизнь легкую, приятную хотим устроить. А вы что?

И, махнув рукой, сказал с величественным пренебрежением:

— Ну ладно, на этот раз живите.

— Господин командующий, — уж не знаю, как вас звать-величать, — выступил вперед пленный казак. — Позвольте спросить...

И, указывая на пленных, сказал:

— Интересуемся мы: правда, что большевики всем хотят землю задаром раздать?

— Что значит всем? — перебил его Дитюк. — Кому захотим, тому и дадим.

— Что, выкусил? — весело сказал Жирба, подошел к пленному и сильным движением нахлобучил ему фуражку.

— Буде, — утомленно произнес Дитюк и приказал партизанам: — Гоните их отсюда в шею, да полегче, обижать не надо, — все ж таки темные они.

Внезапно в рядах партизан произошло замешательство. Два измученных всадника рысью подъехали к крыльцу. Поперек седла у старика Храмова лежал убитый сын Павел. Старик слез с лошади и в напряженной тишине, подняв на руки тело сына, бережно положил его на крыльцо перед Дитюком.

— Вот... — сказал он глухо.

Партизаны, теснясь молчаливой толпой, смыкались перед крыльцом.

А старик, стоя перед Дитюком и глядя в его лицо с ненавистью, закричал изо всех сил:

— Ты убил моих сыновей! Ты!

И, обращаясь к партизанам, со скорбью спросил:

— Братцы, что же стоите? Чего ждете? Ведь там люди гибнут. Полдня бьются, уж сил нету больше. Что же вы, братцы, а?

Дитюк растерянно спросил:

— Кузьма, ты же был там, Кузьма?

Жирба, расталкивая людей, подошел к своей лошади, стоявшей у крыльца, торопливо отвязал поводья и, вскочив на коня, закричал:

— Врет старик. Не верьте ему.— И хотел ехать.

Но партизаны загородили Жирбе дорогу. Один из них, подойдя вплотную к нему, спросил:

— Значит, врет старик, а?

— Врет,— нехотя подтвердил Жирба, отворачиваясь, и дал шпоры коню.

Но тогда партизан вдруг прыгнул на спину его коня и сбросил Жирбу наземь. Толпа тотчас молча и зловеще сгрудилась над ним.

Тело Жирбы несколько раз взлетало вверх и тяжело падало. Затем его разбитую тушу швырнули на крыльцо, и кто-то зло крикнул Дитюку:

— На, бери, получай! Твоей души приказчик!

Партизаны вернулись в строй. Несколько голосов наперебой сказали старику Храмову:

— Принимай команду, панаша!

Возле потрясенного Дитюка осталось всего десятка два бойцов, не решавшихся покинуть своего командира. Понурый, бледный, Дитюк сел на коня и, махнув рукой оставшимся, поскакал за колонной. Догнав ее, он пристроился в самом хвосте.

Партизаны, придя на рысях к месту боя, застигли белых уже у самого моста. Часть железнодорожников и партизан билась на мосту, часть — в эшелонах. Дрались врукопашную.

Врубившись неожиданно с налету в гущу неприятеля, партизаны опрокинули врага.

Храмов, подскакав к Костину, спросил:

— Еще маленько потрепать можно?

Эшелоны переваливали через мост. Мост скрипел и оседал. Пока происходила новая подбивка, переправлялись беженцы, потом снова эшелоны.

Дитюк в неистовом бесстрашии искал смерти в бою. Прорвавшись к батарее противника, установленной на кургане, он, крутясь на лошади, рубил разбегающуюся прислугу. Наконец, увидев, что остался один, Дитюк соскочил с коня и, повернув с нечеловеческой силой оружие, стал бить по цепям белых в упор. Лоб его был рассечен, кровь стекала на глаза, и он все время вытирал ее с лица.

Несмотря на все душевное горе и отчаяние, он наслаждался этим жестоким боем в одиночку. Он хватал снаряды из открытого зарядного ящика, вгонял их в ствол, дергал шнур... Оружие, подпрыгнув, с грохотом выдыхало горячую смертоносную сталь.

Конь Дитюка бродил возле хозяина и равнодушно щипал траву. Но вдруг Дитюк услышал ржанье, похожее на стон. Оглянувшись, он увидел коня уже на земле с вытянутой по-птичьей шеей. На нежных губах пенилась кровь, которую конь продолжал слизывать в последнем усилии...

Цепи белых снова начали смыкаться. Последние эшелоны переходили мост. И уже двинулись партизанские части. Неистовствуя, Дитюк поставил пулемет на щит пушки и стал бить по солдатам, карабкающимся на курган. В жестоком презрении к самому себе, Дитюк искал смерти. И когда он смотрел на мост, видел, как переправляются на тот берег родные ему люди, невольно со щемящей скорбью вспоминал последние торжественные минуты своего любимого Тараса. Но кричать отсюда людям ему было незачем и нечего.

На сердце Дитюка стало вдруг тоскливо и пусто... И это было страшнее смерти!

— Афанасий! Афанасий Андреич! — неожиданно услышал Дитюк позади себя. Он оглянулся.

Под склоном кургана стоял самодельный бронеавтомобиль, подаренный ему железнодорожниками. Кто-то, приоткрыв дверцу, махал ему оттуда рукой, звал.

В первый момент Дитюк хотел отказаться, но, чтобы не подвергать из-за себя смертельной опасности людей, он выпустил из пулемета последнюю очередь и побежал к автомобилю.

Железный возок загрохотал и тронулся. В потемках Дитюк разглядел Мальцева. Мальцев, не спуская взгляда с тонкой железной щели, продолжал отстреливаться. Промчавшись через мост, броневик встал. Дверца открылась. Дитюк, шатаясь, вылез наружу.

Мост горел. Густые отблески пламени освещали темную гладкую воду.

Какой-то партизан произнес грустно:

— Жалко! Строили — мучились...

Другой спросил уничтожающе:

— А ты его строил?

Первый партизан ответил смущенно:

— Я, конечно, извиняюсь... Больно сооружение степенное.

Но тут вылез из броневишка Михаил Петрович, ведущий машину, и вмешался в беседу:

— Разве ж это мост? Мне бы хоть денька три лишних накинули. Вот тогда бы я показал, как нужно мосты строить.

Дитюк слышал все эти слова и не понимал их. Он видел людей, партизан, но ему казалось, что все это видит кто-то другой... А его, Дитюка, нет.

Протяжно, торжественно завывли паровозы, дернулись колеса, прокатился волной стук буферов — это двинулась темная громада эшелонов.

Где-то, должно быть, очень далеко, запели партизаны. Дитюк слышал пение так, словно находился под водой.

Он не заметил, как подошли Костин с женой, Мальцев, старик Храмов.

— Вы не контужены? — спросила Дитюка Нина.

Дитюк равнодушно посмотрел ей в лицо и ничего не ответил. Повернувшись, он вдруг пошел в пустую темную степь, размахивая руками. Его остановил, схватив за плечо, Мальцев. Участливо заглядывая ему в глаза, сказал:

— Афанасий Андреевич, да ты это что?

А старик Храмов дотронулся до руки Дитюка и пробормотал:

— Погорячился я... Гад тебя подвел... Да и характер твой,— добавил он совсем тихо.

В степи показались два ярких снопа света. Огни быстро приближались. Запыленный автомобиль с закрепленным на сиденье пулеметом остановился. Из машины вышел человек в кожаной куртке. Поднося к козырьку руку, он спросил:

— Где командующий группой прикрытия?

— Вот,— показал Мальцев на Дитюка.

Шагнув к Дитюку, военный сказал:

— Распишитесь в получении боевого приказа.

Дитюк раскрыл рот, словно от удушья, и умоляюще глядел то на Костина, то на Мальцева, то на старика Храмова.

— Я посвечу,— сказал Костин и зажег спичку — Где расписываться?

Дитюк с мучительным усилием взял карандаш и медленно, не спуская молчаливого, вопрошающего взгляда с окружающих его людей, вывел свою подпись.

1936. 1967

ТРЕХСТВОЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Всю ночь Борису снился велосипед.

Велосипед стоит в коридоре, у вешалки. В коридоре сумрачно и пахнет пылью; они идут тихо — Борис и рядом велосипед. Вот Борис ставит ногу на педаль, и цепь с нежным журчанием обегает передачу. Борис ясно различает сверкание спиц. Спицы переливаются, как в солнечный день дождевые струи.

Дальше снилось все одно и то же: быстро перебирая ногами, Борис начинал летать по комнате, вылетал на улицу, подымался над березами, которые росли возле дома. Продолжая еще усерднее двигать ногами, он плыл по воздуху над крышами домов Лосиноостровской. Леса сверху казались мягкими, пушистыми, дома — маленькими.

И вдруг он с ужасом замечал, что под ним пустота, земля со страшной силой тянет вниз... Так было и в это утро...

«Не надо!» — хотел громко крикнуть Борис и проснулся.

В соседней комнате горела лампа. Отец разговаривал с матерью шепотом. Борис приподнялся на локте и посмотрел в окно.

За окном было еще темно.

Борис поежился, снова лег, потом засунул руку под подушку и осторожно вынул оттуда трехствольный пистолет.

Это был замечательный пистолет.

Стволы его сделаны из обрезков газовых труб. Сбоку каждого ствола имелось отверстие запальника. Возле запальника проволочные петли — сюда вставлялись спички.

Ложе дубовое. Рукоять зубчатая. В рукоять ввинчено железное кольцо, чтобы продевать шнур. Пистолет хранился в кобуре, сшитой из черной клеенки.

Борис мастерил его четыре недели. Одноствольные пистолеты были у многих ребят. Он решил сделать двухствольный. Но Костя опередил его. Тогда Борис решил сделать трехствольный. Сначала он расположил все три ствола рядом, но пистолет получился некрасивым, широким, как лопата. Тогда Борис два ствола поставил вниз, а третий — между ними сверху, — это было как раз то, что нужно.

Такого трехствольного пистолета не было ни у кого. Пистолет мог палить сразу из всех трех стволов. Стрелял он на двенадцать шагов, и если пуля попадала в бутылку, то бутылка разбивалась вдребезги. Ходили слухи, что выстрелы у него громкие, как у пушки. Ребята трех улиц и шести просек Лосиноостровской говорили о пистолете Бориса Скворцова с уважением.

Окно быстро стало розовым.

Птицы, увидев солнце, начали весело перекликаться.

Отец сунул в карман завтрак и ушел на работу. Когда отец проходил по двору, громко скрипя гравием, птицы смолкли, а когда он вышел на улицу, птицы снова запели.

Борис прислушался, поднялся с кровати и с пистолетом в руке на цыпочках пробрался в кухню. В кухне он достал с полки спички и, озабоченно оглядевшись, залез под стол.

Сидя под столом, Борис начал соскабливать в бумажку серу со спичек. Когда все спички были ободраны, он насыпал наперстком в каждый ствол пистолета серной массы, утрамбовал ее карандашом, как шомполом, затем забил бумажные пыжи, вкатил пули и сверху начал забивать снова бумажные пыжи.

И вдруг в руках у него сверкнула молния, раздался гром взрыва, пистолет рвануло вверх — он взлетел под самый потолок. Бутыл с молоком, стоявшая на печке, со звоном рассыпалась.

Расталкивая руками облака дыма, в кухню вбежала мать. Лицо у нее было белое, как молоко.

Борис сидел под столом, ожидая трепки.

Мать, увидев сына, испуганно вытащила его за руку из-под стола, схватила полотенце, окунула в воду и обмотала голову Борису. Обожженную кожу лица щипало. Борис молча переносил боль и мысленно пробовал угадать: что ему будет за взрыв на кухне?

Прошло много времени, прежде чем мать позволила снять с головы полотенце.

Борис подошел к зеркалу. На него в упор глядело красное, безбровое, опухшее лицо, а глаза были как щелочки. Борис оглянулся на мать и хвастливо заявил:

— Я теперь на японца похож.

— Боря,— взволнованно сказала мать,— дай мне слово, что ты больше никогда не будешь этого делать. Ты мог остаться без глаз!

Борис подумал и сказал:

— Я теперь себе очки из толстого стекла сделаю.

— Иди в угол! — приказала мать и вздохнула.

Борис пошел в угол, но по дороге спросил:

— А пистолет где?

— В помойке!

Стоя в углу, Борис ковырял пальцем известку на стене и с грустью думал: как теперь он будет жить без своего пистолета и что скажет ребятам?

На улицу его сегодня не пустят. Борис договорился с приятелями отправиться в лес и там стрелять по бутылкам. Правда, у него теперь не было пистолета, и в лес, пожалуй, можно не ходить. Но ведь есть другие дела, поважнее.

Борис так жалобно вздохнул в своем углу, что мать сказала:

— Ну ладно уж, выходи. Но предупреждаю: весь день будешь сидеть дома.

Борис взял стул, поставил посредине комнаты, сел на него и вызывающе заявил:

— Вот и буду сидеть.

— Ну и сиди.— И мать быстро закрутила ручку швейной машины.

«Ей хорошо, весело — она работает. А ты вот сиди на стуле, как в тюрьме. Никто не пожалеет».

Борис поерзал на стуле, чтобы обратить на себя внимание. Мать подняла голову.

— А хочешь,— сказал вдруг Борис с воодушевлением,— я тебе устрою, чтоб машина сама вертелась?

— Не подлизывайся, все равно никуда не пущу.

«И откуда она умеет угадывать вперед, что ты хочешь?»

Борис решил обидеться:

— Я тебе помочь хочу. На улицу мне идти даже не интересно. Там пыль!

— Помочь хочешь? А ну, подмети пол!

Борис медленно пошел в кухню за веником. Вернувшись в комнату, он сердито сказал:

- Ты неправильный веник купила.
- Это почему? — удивилась мать.
- Нужен дубовый: дуб крепче березы.
- Ничего, подметешь и березовым.

Борис громко шаркал веником.

- В углу почему сор оставляешь? — спросила мать.

— Ну вот, — горько сказал Борис, — перебила ты меня, а я уже совсем придумал!

- Что придумал?

— Машину. — Бросив веник, возбужденно размахивая руками, Борис объяснил: — На крыше ветряк устрою, в потолке дырку пробью, от ветряка к машине ремень проведу, вот и будет она сама вертеться от ветра.

- А потолок кто тебе позволит портить?

Борис задумался.

- Ну, тогда через форточку.

Мать остановила машину, прижав ладонь к никелированному колесу, внимательно и долго смотрела на сына, потом сказала:

- Ну уж ладно, иди гуляй.

Борису от радости хотелось пуститься в пляс, но желание сохранить собственное достоинство победило. Он посмотрел себе в ноги и сдержанно заметил:

- Пойду проветрюсь, что ли.

Вздохнув, он направился к двери, но вдруг остановился и сказал тоном мастерового:

- Три копейки пожалуйста.

- Это зачем еще?

- На материал для машины.

Мать достала из деревянной коробочки, где она хранила мелочь, три копейки, положила на стол и, склонившись, стала снова шить, быстро крутя ручку машины.

Борис посмотрел на три копейки, потом на скорбное, озабоченное лицо матери. Он вспомнил разбитую бутылку с молоком и как мать молча вытирала тряпкой молочную лужу.

Отвернувшись и нерешительно сказал:

- Мне их вовсе не надо. У меня карман рваный.

Борис быстро вышел из комнаты, хотя три копейки ему были все-таки очень нужны.

Во дворе на заборе сидел Костя и пронзительно свистел. Услышав этот свист, птицы взлетали с веток, а куры, нервно кудахча, метались по двору, сзывая цыплят под крыльцо.

Спрыгнув с забора, Костя небрежно протянул Борису руку.

Борис хрипло сказал: «Здорово!» — и тряхнул изо всех сил Костину руку.

По небу катились редкие пушистые облака. Жгло солнце. В холодной тени у забора спал Тиграс — огромный пес, по специальности ночной сторож. Рыжая шерсть Тиграса густо покрыта репейником. Когда Тиграс дрался с чужими собаками, репейник служил ему как бы кольчугой.

Как-то в саду, на дорожке, Борис увидел жука, окруженного полчищем муравьев. Жук лежал, тяжелый, почти железный, под своими доспехами, и муравьи ничего не могли с ним поделать. Вернувшись домой, Борис сделал из картона рыцарские доспехи для Тиграса. Когда он укрепил их веревочками, пес выглядел очень воинственно и красиво. Но стоило Тиграсу встряхнуться, как картонные доспехи разлетелись по двору. Тогда Борис решил использовать репейник. Облепленный репейником, Тиграс действительно очень походил на древнего воина в кольчуге.

Борис посмотрел на спящего у забора Тиграса и вполголоса спросил:

— Кто за нас?

Тиграс вскочил и ошалело тявкнул. Но, увидев Бориса, зевнул и стал потягиваться.

— Понимает! — гордо сказал Борис и потом задумчиво произнес: — А вот мы с тобой ни одного собачьего слова не знаем.

— Если захотеть, можно научиться, — обидчиво возразил Костя.

Втроем они вышли на улицу и направились к паровозному кладбищу. Тиграс бежал впереди, махая хвостом, и изредка покусывал какую-то траву, по мнению ребят — целебную.

Был август. Дул ветер, налитанный запахами вянущей травы.

Паровозное кладбище находилось на пустыре, обнесенном высоким серым забором. Пустырь зарос бурьяном, густым и колючим.

В тупиках на прогнивших, вдавленных в землю шпалах и рельсах стояли паровозы.

Паровозное кладбище напоминало картину из «Руслана и Людмилы». В поле лежат русские богатыри в разбитых шлемах, сквозь кольчуги проросли деревья, в облом-

ках щитов вороны гнезда; и наверное, там так же кисло пахло ржавчиной и стояла тишина, полная таинственных шорохов и птичьих писклов.

Некоторые паровозы лежали на боку. Весенние потоки постепенно размывали под рельсами землю, и паровозы падали. Лужи на кладбище были ярко-рыжего цвета от растворенной ржавчины. И даже лягушки, которым полагается быть зелеными, приняли здесь ржавый оттенок.

ЛОКОМОТИВ «АТЛАНТ»

Первый раз на паровозное кладбище ребята попали в поисках железных трубок для пистолетов.

Трубок нужного калибра они не нашли, зато, действуя камнями и кусками железа, наломали с паровозов много занятных вещей.

Пытаясь отломить какой-то рычаг, Борис заметил, как от движения рычага повернулись железные стержни. Из открывшейся песочницы струйками начал сыпаться на рельсы песок.

В мертвом паровозе еще оставалась живой какая-то частица.

Борис созвал ребят и показал им песочницу. Но странно — вместо того чтобы обрадоваться, ребята почувствовали жалость к покинутым паровозам.

Бросив рычаг, Борис пытался поставить обратно на паровоз медный кран со сломанной ручкой. Ребята внимательно и молча следили за его действиями.

— Они все равно дохлые, — сказал Петька Деев и, хитро усмехнувшись, объяснил: — Борис нам очки втереть хочет, чтобы мы ушли, а потом сам себе все заберет.

Борис резко повернулся и побледнел.

Деев шагнул вперед и воинственно заявил:

— А ну, ударь!

Борис сжал кулаки и, поблескивая глазами, приказал:

— Выбрасывай все из карманов, живо!

Петька послушно вынул из карманов все железки и гордо объяснил:

— Я всегда на чистые кулаки дерусь. Не беспокойся.

Но Борис не обращал на него внимания. Он велел Косте также выбросить все из карманов, потом торжественно оглядел приятелей и объявил:

— Вот что: мы должны этот паровоз починить. А как починим, поедem на нем куда хотим. Понятно?

Костя сорвал у себя с головы картуз с обломанным козырьком, бросил его на землю, наступил на картуз ногой и произнес, подымая руку, словно давая клятву:

— Борька, что хочешь сделаю, только прими!

Борис небрежно согласился:

— Ладно!

Петька, испугавшись, что Борис может не принять его, поспешно сказал:

— Пускай я подавлюсь костью, если кому скажу!

— Согласен,— холодно сказал Борис.

Он уже видел себя на стремительно мчащемся паровозе, в окне паровозной будки с поднесенной к глазам ладонью, как это делают все машинисты, обозревая путь впереди.

Ребята решили выбрать паровоз для починки.

Костя настаивал на маленьком двускатном паровозе «кукушка», ростом немногим больше лошади.

Но Борис с негодованием отверг этот выбор. Он остановился на самом большом паровозе — черном, с гигантскими колесами, наполовину погружившимися в землю. На этом локомотиве возле трубы сохранилась жестяная коробка фонаря и, главное, действовала песочница.

Было решено перевинтить недостающие части с других машин на этот паровоз. А если чего не хватит, сделать самим из дубовых досок. Ребята были твердо убеждены, что дуб — самое прочное дерево. И когда Костя высказал опасение, что деревянные части могут загореться, Борис немедленно успокоил его: в пути деревянные части можно поливать водой, и они никогда не загорятся.

Однако ребята не знали, как должны быть расположены эти части.

Борис опять нашел выход.

Несколько дней он ходил на станцию и там часами простаивал возле пыхтящих паровозов, срисовывая в тетрадку рычаги, шатуны, кривошипы.

Один раз ему удалось даже забраться в будку машиниста. Но там его застал спустившийся с тендера кочегар. Он схватил Бориса за ухо двумя жесткими пальцами и, наклонив черное лицо, весело сказал:

— Воруешь? Вот я тебя сейчас в топку!

Борис спокойно спросил:

— А где топка?

Кочегар выпустил ухо и показал пальцем, где находится топка.

— А воду куда наливаете?

Кочегар обиделся.

— Да я тебе, щенку, ейчас оба уха оторву!

— Уши оторвать не трудно,— задумчиво произнес Борис.— Лучше скажите, чего вертеть сначала нужно, чтобы паровоз пошел, когда его затопишь.

— У тебя, видать, не все дома.— И кочегар постучал себя по лбу темным пальцем.

— А у вас все? — вежливо осведомился Борис, на всякий случай отступив поближе к выходу...

По рисункам в тетради Бориса ребята выстрагивали из дубовых досок недостающие части механизмов.

Но у Бориса не было твердой уверенности в том, что достаточно металлические части заменить деревянными, чтобы паровоз двинулся. Он видел паровоз только снаружи, а как в нем соединяются части внутри, для него оставалось тайной. Тогда Борис решил, что паровоз устроен так же, как и швейная машина. Несколько дней он не показывался ни на улице, ни на паровозном кладбище, хотя Костя настойчиво свистел под его окнами. Часами просиживал Борис возле открытой швейной машины. Медленно вращая колесо, он запоминал последовательность передачи движения от одной части механизма к другой. Он запоминал форму частей, их расположение, сравнивал швейную машину с паровозом. Челнок — это поршень, ибо, подобно поршню, ходит туда и обратно. Планки,двигающиеся вслед за челноком,— рычаги. Эти рычаги передают свое движение на кривошипы, и уже кривошипы, прикрепленные к шестерне, завершают весь круг, вращая маховое колесо швейной машины. Маховое колесо и есть скат паровоза.

Борис изучил узлы сцепления механизмов и зарисовал это все в тетрадь.

Спустя шесть дней Борис явился на паровозное кладбище и гордо разложил перед ребятами чертежи. Друзья с восхищением рассматривали его работу.

Индейцы в одеянии из перьев скакали вслед паровозу, выгибая луки и посылая стрелы. Жирафы с длинными шеями разбегались врассыпную, на рельсах лежал крокодил, разинув пасть. А на паровозе стоял человек и целился в крокодила из трехствольного пистолета.

Борис был смущен и обижен. Ему пришлось затратить немало сил, чтобы заставить ребят перенести свое внимание с индейцев, жирафов и крокодила на схему чертежа.

Он долго и обстоятельно объяснял назначение деталей, пока наконец даже Петька Деев, соображавший очень туго, воскликнул:

— Все понятно! Теперь поедем!

Но Костя, в отсутствие Бориса возглавлявший ремонт паровоза, не желая из самолюбия так быстро поддаваться, сдержанно заметил:

— Сначала паровоз выкрасить нужно, а то на грязном ездить — люди смеяться будут.

Ребята раздобыли постного масла, развели в нем печеную сажу и получили таким образом отличную масляную краску.

Через день выкрашенный паровоз блестел на солнце, как новый.

Отойдя в сторону, растопырив грязные руки, ребята любовались своей работой.

В тот же день они распределили между собой обязанности. Решено было так: пока паровоз сохнет, Борис и Костя изготовят из дубовых досок недостающие детали, а Петька Деев натаскает дров и пальет в котел паровоза восемь ведер воды.

Кто-то из ребят нашел папиросную коробку, на крышке которой был изображен волосатый великан. Он стоял, вскинув руку в облака, а на спине у него лежал весь земной шар с голубыми океанами и морями. Великана звали Атлантом. Ребята решили назвать свой паровоз «Атлантом».

ГИБЕЛЬ «АТЛАНТА»

Возле бакалейной лавочки Бориса и Костю встретил Петька Деев. Вытянувшись перед Борисом, он доложил. дрова в топке, налито одиннадцать ведер воды, краска высохла, паровоз находится в полной готовности.

Отрапортовав, Деев достал деньги. Костя бросил в протянутую руку Деева свои сбережения. Очередь дошла до Бориса. Он смутился и покраснел: у него не было ни копейки.

Деньги собирались на покупку керосина. Выехать на паровозе ребята решили почью. Керосин нужен был для фонаря.

Петька, поняв по выражению лица Бориса, что денег у него нет, холодно сказал:

— Ну ладно, я за тебя внесу, после отдашь.

Борис, еще больше краснея, пообещал завтра же вернуть долг.

— Даю без сдачи. — И Костя швырнул Дееву новенький гривенник. Потом сказал грубым голосом: — Считаться хочешь — так забирай свои дрова обратно и уходи от нас. Раз такое дело затеяли, мы все равно что братья.

Костя вытащил из-за пояса жестянку добровольного страхового пожарного общества, содранную с калитки, и торжественно показал ее. На жестянке было написано: «Один за всех, все за одного».

— К паровозу приделаю, — гордо заявил он, — и кто этого правила соблюдать не будет — на первой же станции высадим. Согласны?

Борис и Петька согласились.

Купив керосину, а на оставшиеся деньги два фунта пряников, чтобы было чем питаться в дороге, ребята пошли на паровозное кладбище.

Взволнованный Борис, глядя сияющими глазами на своих приятелей, говорил о том, что, когда они наедятся вдоволь на своем паровозе и заработают много денег, можно будет построить аэроплан; сделать его не трудно, потому что Борис видел настоящий аэроплан: отец брал его в Москву смотреть на полеты знаменитого летчика Габера-Влынского. Борис в точности запомнил, как аэроплан построен, сделать его гораздо легче, чем паровоз, потому что аэроплан похож на парусиновую этажерку; пропеллер деревянный, его опять-таки можно выстрогать из дуба.

Чувство гордости и необыкновенного счастья переполняло приятелей. Они высокомерно поглядывали на взрослых, проходивших мимо них с озабоченными лицами. Эти взрослые люди не понимали, как прекрасна жизнь и сколько в ней таится неведомых чудес.

На заборах были расклеены афиши. Возле афиш толпились мужчины и женщины, обмениваясь горькими словами.

Это был приказ о мобилизации.

Подходя к кладбищу, ребята услышали грохот разбиваемого железа. Недоумевая, они сначала остановились, потом бросились бежать вперед. Добежав до забора, отодвинули доску, пролезли внутрь.

На кладбище стоял дымящийся паровоз, запряженный в длинную вереницу открытых платформ. Грязные, за-

саленные люди шумно грузили на платформы части разбитого «Атланта».

Все кончено. Все погибло.

Ребята возвращались с кладбища, подавленные горем.

Небо, покрытое черными, грязными тучами, роняло холодные капли. На станции кричали паровозы. С пустыря доносились глухие удары молота и визг раздираемого железа.

Шли молча.

Деев остановился и сказал, задумчиво моргая своими белесыми ресницами:

— Выходит, деньги я зря потратил, да?

Костя швырнул ему пакет с пряниками и крикнул:

— На вот, бери обратно!

Деев присел на корточки и стал бережно собирать с земли рассыпавшиеся пряники.

Костя спросил:

— Может, вернуться, дать ему как следует?

— Не надо,— тихо сказал Борис.

Потом он поднял голову, чтобы на лицо падал дождь,— от этого не видно было слез,— и произнес громко:

— Все равно сделаю! Умру, а сделаю!

Костя высморкался и сказал:

— А я за тобой хоть в воду.

Дома на Бориса никто не обратил внимания. Отец ходил по комнате, комкал в руках газету, лицо его было угрюмо.

Царское правительство объявило войну Германии. Для войны нужны снаряды, снарядов не было, и поэтому так поспешно на кладбище ломали паровозы.

Борис смотрел на отца и не понимал, что его могло так расстроить и разве есть что-нибудь тяжелее того горя, которое сейчас постигло Бориса.

Закрывая глаза, он видел страшные обломки «Атланта», слышал жалобный звон железа.

Ночью Борис проснулся. Было душно, и тело его горело. У постели стоял отец, держа в руке термометр. Повернувшись к матери, он тихо сказал:

— Тридцать девять и две. Нужно позвать доктора.

Борис проболел три недели.

После болезни его долго еще не выпускали на улицу. Бледный, худой, с провалившимися, окруженными тенью глазами, забравшись в укромный угол комнаты, скорчившись, припав подбородком к коленям и обхватив колени

руками, он сидел так часами, и только с трудом удавалось вывести его из этого оцепенения.

Думая о погибшем «Атланте», Борис увлекался и незаметно начинал мечтать о какой-то необыкновенной, волшебной машине. Она сверкала и щелкала колесами, двигала сотнями изящных лаково-стальных рычагов, была легкой, как аэроплан, сухощавой, как велосипед, сильной, как паровоз, понятной, как швейная машина.

Он вступал в битвы, и машина защищала его. Он летал, и машина прозрачно трепетала крыльями. Он мчался через бесконечные пространства, оставляя за собой голубые стреляющие клубы дыма.

Он путешествовал по горам, и машина, снабженная суставчатыми, как у паука, ногами, карабкалась вместе с ним через хребты и перевалы.

Он опускался на дно океана, плыл там, глядя в круглое окно из толстого стекла, и видел, как веерообразными лопастями машина разгребала воду.

Он несся со скоростью пули сквозь облака, задыхаясь и замирая, и попадал на луну, воевал там с великанами-чудовищами, потом, победив их, возвращался обратно на землю и торжественно дарил людям луну. Он стал рассеянным, отвечал на вопросы невпопад, произносил непонятные фразы. Мать, замечая это, беспокоилась.

Как-то отец принес комплект журнала «Мир приключений». Там был напечатан роман Уэллса «Борьба миров».

Борис прочитывал страницу за страницей, пораженный...

О своих мечтах он никому не рассказывал, боялся — осмеют, грубо уничтожат, как уничтожили «Атлант». И вдруг писатель, взрослый человек, рассказывает свои мечты, и никто не находит в этом ничего смешного и плохого...

Борис записался в библиотеку и с жадностью погрузился в мир фантастических романов.

Отдавая себя во власть чужих и дерзких похождений, он не хотел оставаться пассивным участником их. Ему хотелось выдумывать самому.

Но скоро он убедился: для того чтобы смело выдумывать, нужно много знать.

Вечером, когда отец пришел усталый с работы домой и, поужинав, лег на диван отдохнуть, Борис вызвал мать на кухню и попросил ее поговорить с отцом, чтобы тот устроил его куда-нибудь учиться. На всякий случай Борис

пригрозил, что уйдет «насовсем» из дому, как ушел Ломоносов, если отец не поможет ему.

Мать шутливо вытерла Борису фартуком нос и сказала: — Ломоносов собак репейником не обвешивал.

— Я больше не буду, — кротко согласился Борис и на цыпочках пошел вслед за матерью в комнату, где отдыхал отец.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Отец купил в магазине готового платья полную форму ученика Комиссаровского технического училища.

— Боря, — сказал отец, — я уверен, что ты сдашь экзамен, и поэтому купил форму заранее. Старайся!

Доверие отца ошеломило Бориса. Он знал, как дорого стоила эта форма, с каким трудом отец достал денег на ее покупку.

Картонную коробку с формой поставили на гардероб, чтоб всем было видно.

Борис занимался в отцовской комнате, ранее недоступной ему. И когда он слышал, как мать в кухне говорила вполголоса: «Боря учится», — Борис принимал твердое решение не спать всю ночь... Но, утомленный занятиями, он быстро засыпал.

Теперь ему снился не блестящий велосипед, а черные скрюченные головастики цифр, которые он ловил, как тараканов, ползая по полу. Ловил — и никак не мог поймать.

Лето кончилось, наступила яркая осень. По утрам земля покрывалась холодной, крупной росой. Деревья, сохраняя убранство оранжевых листьев, холодно пылали в прозрачном воздухе.

Торжественный и грозный день — день экзаменов — наконец настал

На вокзал Бориса провожал Тиграс; неприлично веселый, он шумно выражал свою радость.

Но Борис не смотрел на Тиграса, не смотрел он и на Костю, следовавшего на почтительном расстоянии сзади. Костя шел босиком, ноги у него были красные, как у гуся.

Когда мать пошла в вокзал за билетами, Костя подошел к Борису и сердито сказал:

— Ты смотри, в училище, когда про паровоз учить будешь, получше все запомни, чтоб наверняка теперь сделать! — Протянув руку Борису, хрипло посоветовал: —

Отвечать учителям будешь — в глаза смотри: они это любят.

Свистнув Тиграса, Костя ушел, вздернув худенькие плечи.

Борис надолго запомнил торжественные мраморные колонны, подпирающие своды огромного зала, где ребят выстроили на молебен. Священника в шелковой рясе, грозно произносившего слова молитвы. Огромный стол, покрытый красным сукном, и сидящих за столом людей в черных мундирах, с непроницаемыми лицами.

Борис запомнил, как кричал он слова басни, которую знал наизусть, черную доску, хруст мела, рассыпающегося в пальцах, запомнил замечание священника, от которого похолодел.

Священник сказал:

— Молитву нужно произносить не как стихи, а как вопль души, направленный ко всевышнему.

И Борис, думая, что он провалился по закону божьему, готов был издать этот вопль, но священник, кивнув кудлатой, как у Тиграса, головой, сердито повторил:

— Помни: вопль, а не декламация. Иди!

Борис выдержал экзамены.

Примерив форму, он не хотел вечером снимать ее. Он хотел и спать в форме.

ПЕРВАЯ ТАБУРЕТКА

В столярной мастерской пахло деревом и лаком.

Ученики выстроились у верстаков. Впереди каждого ученика стояла новенькая табуретка.

Вдоль шеренги табуреток ходил мастер Щептев, заложив за спину руки. Лицо его было сурово, сосредоточенно.

— Что есть арифметика? — спрашивал мастер, оставливаясь. И тут же отвечал: — Арифметика есть наука пропорции. Проверим сейчас вашу арифметику.

Щептев взял табуретку, поднял ее, осмотрел каждую ножку прищуренным глазом. Потом осторожно опустил табуретку на пол и спросил:

— Дважды два пять бывает? Нет! А если нст, то арифметика наука строгая, обмана не терпит.

Взяв деревянный молоток, мастер аккуратно разбил табуретку и бросил планки в угол, где лежала уже порядочная куча таких деревянных обломков.

Щептев перешел к следующей табуретке. Тщательно

осмотрев ее и, видимо, оставшись довольным, он ласково сказал:

— Умственная цифра хранится в голове у человека до самой смерти. Предмет, построенный по умственным правилам расчета, должен отличаться также долголетием. Проверим.

Щептев опрокинул табуретку на пол вниз сиденьем и, упершись руками в ножки табуретки, стал раздирать их в разные стороны.

Табуретка хрустнула и рассыпалась.

— Господину Дееву гробы строгать, мундир покойнику! — крикнул Щептев и сердито подхватил новую табуретку.

Борис вздрогнул и похолодел. Это была его табуретка.

Табуретка казалась ему литой из единого куска.

Тончайшую, как папиросная бумага, стружку научился снимать Борис с дерева. Шершавой наждачной бумагой он шлифовал каждую деталь.

Он наизусть помнил, в каких местах сквозь желтую ткань дерева просвечивают, как родимые пятна, коричневые срезы сучков. И это понятно, потому что вещь, с любовью созданная человеком, будет казаться ему всегда самой красивой вещью на свете.

Мастер держал в руках табуретку, осматривая ее с явным пристрастием. Он даже провел сиденьем по щеке, чтоб убедиться в качестве шлифовки. Потом грубо, с размаху, поставил табуретку на большую чугунную плиту и, присев на корточки, стал глядеть под ножки табуретки, ища просветов.

Борис не дышал.

Щептев встал, отряхнул с колен опилки и тихо, недоверчиво произнес:

— По форме предмет подходящий. Но мне характер важен.

Мастер припал к табуретке и, растопырив локти, стал рвать ножки ее в разные стороны.

Борис слышал сопение мастера, и сердце его стучало.

Вдруг Щептев, прервав испытание, посмотрел на учеников, слабо улыбнулся, словно собираясь сказать им что-то приятное; но внезапно лицо его снова приняло яростное выражение, и он вторично обрушился на табуретку.

«Что-то хрустнуло. Или это стружка под ногой?» — Борис закрыл глаза.

Он открыл их, ожидая увидеть кучу деревянных обломков.

Щептев сидел на его табуретке, задумчиво вытирая фартуком руки.

— Скворцов! — сказал Щептев, расправляя на коленях фартук. — Если тебе цифру надо, так я «пять с плюсом» выдам. Мне не жалко. — Потом, подняв голову, спросил: — Ты знаешь, где душа у человека? — Выждав, Щептев постучал пальцем по табуретке: — Вот где, в труде человека она спрятана.

Мастер встал, чистой изнанкой фартука вытер табуретку, снова внимательно и нежно осмотрел ее и бережно отставил в сторону.

Громко задребезжал звонок.

Ученики собирали инструменты.

Щептев подошел к Борису и тихо сказал:

— Я твою табуретку в мастерской пока оставлю. Отдыхать на ней буду. Понятно?

ФИЗИК ГУСЕВ

Он входил в класс всегда поспешно и как-то боком. Не дожидаясь тишины, он начинал говорить. На скулах его тощего лица вспыхивали и гасли розовые пятна.

Вицмундир висел свободно на его тощем и длинном теле, голая тонкая шея торчала в широком воротнике, как медный пест в ступке. Костлявое лицо выражало всегда мучительную тревогу и беспокойство.

Он не выносил, когда ему смотрели в глаза. Зная эту слабость Гусева, ученики с мальчишеской жестокостью не сводили пристального взгляда с его бегающих глаз.

Кроткий и безвольный Гусев был беззащитен перед учениками — они могли проделывать на его уроках все, что им было угодно.

Но даже самые дерзкие ученики, ведущие изощренную войну с учителями, не решались слишком обижать его.

И вот почему.

У Гусева в первые дни войны убили на фронте сына. И физик Гусев у себя на квартире устроил лабораторию — он работал над изготовлением нового, совершенного артиллерийского снаряда. Тощее жалованье учителя целиком уходило на эти работы.

Он иногда заговаривался на уроках. И ученики не перебивали его, терпеливо ожидая, когда учитель очнется сам. Бессонные ночи в лаборатории изнурили Гусева.

Во время переэкзаменовок, приходя на квартиру к физику, ученики не приносили с собой живых мышей, сверчков или ужа в мешке, как это они проделывали иногда с другими учителями.

Почтительно осматривая полки, уставленные различными приборами, они предлагали Гусеву помощь в его опытах.

Но Гусев, ставя отметку, заикаясь, торопливо говорил: — Благодарю, господи, но я ничего не изобретаю.

Провожая ученика в переднюю, он подавал ему с вешалки пальто и растерянно повторял:

— Вы не верьте, это только глупые слухи, я ничего не изобретаю.

Борис отдал бы все, чтобы попасть в лабораторию Гусева и стать его настоящим учеником.

Отвечая урок, Борис хотел отличным знанием предмета заслужить внимание физика. Но Гусев, рассеянно слушая, вдруг прерывал его и, попросив дневник, равнодушно ставил «пятерку».

И несмотря на то что ученики не могли побороть искушение смущать Гусева гипнотическими взглядами, они гордились своим учителем и были уверены, что за свой снаряд Гусев в скором времени получит награду.

И вот однажды Гусев пришел в класс, как обычно, проскользнув в дверь боком; покашливая и дергая плечом, стремительно пробрался он к кафедре. Но на этот раз он не заговорил сразу же, но бессильно опустился на кафедру и, держась ладонью за длинную шею, делая глотательные движения, не мог произнести ни слова. Лицо его было серым, как промокательная бумага; вокруг глаз черные, вдавленные круги; он тяжело дышал. Выпуклые глаза его воспаленно блестели. Несколько раз Гусев пытался начать урок и не мог. Потом, вдруг махнув рукой, он закрыл ладонью лицо и просидел так до конца урока, неподвижный, оцепеневший.

В классе все время стояла тишина.

Во время большой перемены стало известно, что военное министерство отвергло снаряд Гусева.

Рассказывали, что какой-то генерал разорвал чертежи Гусева, сказав, что он своим предложением оскорбил русское офицерство, которое может и без помощи штатских разделаться с пруссаками.

Рассказывали, что этот генерал написал инспектору училища гневное письмо, в котором сообщил, что Гусев, вместо того чтобы обучать молодое поколение, оклеветал

армию своим заявлением о непригодности существующих снарядов.

Через несколько дней ученики узнали: на экзамене по физике будет присутствовать специальная комиссия из округа. Ребята подумали: если знания у них окажутся посредственными, Гусев, наверное, будет уволен.

Борис предложил ребятам остаться после занятий.

Было решено подготовиться всем к экзамену по физике с особенной тщательностью. Самых ленивых и тупых учеников взять под особое наблюдение. А если кто провалится — бить втемную, лучше пускай из училища заранее уходит.

Члены экзаменационной комиссии расходились, недоуменно пожимая плечами.

— Это похоже на заговор, — бормотал лысый старичок из округа. — Подозрительная успеваемость! — И, разводя руками, он изрек: — Деев — ведь это же типичный тупица, а четыре с минусом. Нет, это мистика!

Инспектор, наклоняясь к старичку, вежливо заметил:

— Вы же, ваше превосходительство, вопросы сами задавали.

Старичок выпрямился и строго сказал:

— Задавал. Но ответам не верю, хоть и правильно. Заговор! Утверждаю! — И, сердито фыркая, он засеменил в канцелярию.

В воскресенье ученики пришли на квартиру к Гусеву.

Гусев вышел к ним навстречу; виновато улыбаясь, пожимая руки, он говорил всем:

— Благодарю вас, очень благодарю! — и кашлял так, что все его узкое тело сотрясалось.

В комнате его было пусто, на полках уже не было приборов.

Гусев кашлял, молчал и виновато улыбался. Ребята тоже чувствовали себя как-то стесненно и неловко.

И когда все встали, Гусев вдруг засуетился, на лице его выступили красные пятна, и он, подняв руку ко рту, произнес надтреснутым, дребезжащим голосом:

— Вспомните, господа, Гусева. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь захочет сделать открытие, полезное для своего отечества, то пусть он знает, что перед ним будут закрыты все двери. Он может кричать, стучаться в них, умереть на пороге — никто не поможет ему. Потому что пройти в эти двери можно, только сломав их. А сломать невозможно: швейцар в мундире даст вам по шее раньше, чем вы соберетесь с силами.

Гусев хотел улыбнуться, но снова закашлялся и больше не мог выговорить ни слова. Он так и остался в коридоре, одной рукой опираясь о стену, другой поднеся ко рту скомканный платок.

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ!

«Полотером» называли ученики преподавателя рисования за его манеру тщательно вытирать доску губкой перед началом занятий.

Маленький, седой, чрезвычайно опрятный, он до самозабвения любил свой предмет. Став спиной к классу, он рисовал твердой маленькой рукой античный орнамент. Отступив от доски на шаг в сторону, он подносил ладонь к глазам, увлеченно улыбался, забыв об учениках, облизывал испачканные мелом пальцы.

Ставя плохую отметку, он огорченно поджимал губы и бледнел. Выписывая же «пять с плюсом», краснел от удовольствия, и лицо его расплывалось в такую счастливую улыбку, словно эту отметку он ставил не ученику, а самому себе.

— Искусство художника, — говорил учитель торжественно, — заключается не только в умении повторить очертания и формы предмета на бумаге. Душа изображения — свет. Световые лучи находятся в постоянном движении. Запечатлеть это движение — значит открыть дивное живое свойство предмета.

Своими витиеватыми рассуждениями он напоминал мастера Щептева.

Борису не стоило особого труда занять место первого ученика на уроках рисования. Быстро, точно, не испытывая при этом никакого волнения, он переносил на бумагу очертания гипсовых слепков, античные носы, руки, головы. Борис так набил себе руку, что мог рисовать их с закрытыми глазами.

Легко доставшееся первенство вызвало у Бориса пренебрежительное отношение к урокам рисования.

Но вот в училище перевели из лица двух новых учеников.

Почему-то в училище прислали и парты этих учеников. Когда парты были установлены в классе, на внутренней стороне одной из них, принадлежавшей Виктору Дубровскому, была обнаружена вырезанная перочинным ножом картина, — она изображала морское сражение. Разбитый

корабль, захлестнутый волнами, погружался на дно, на мостике стоял капитан, гордо сложив на груди руки, и мимо его лица плавали удивленные рыбы.

Но ребята решили, что Виктор Дубровский врет, будто рисунок сделал он сам.

Внимательно разглядывая рисунок на парте, Борис испытывал щемящее чувство тревоги.

На первом же уроке рисования все выяснилось.

Борис, как обычно, сдал свою работу первым. Сдали свои работы почти все ученики, только один Дубровский сидел, склонившись над своей тетрадью, не обращая внимания на насмешливый шепот.

Прозвенел звонок.

Учитель подошел и взял у Дубровского работу. Тот растерянно протянул руку, жестом умоляя подождать еще немного. Учитель сердито сказал:

— Времени было достаточно.

— Ну еще секунду! — попросил Дубровский и потянул тетрадь к себе.

Бумажная стрела ударила Дубровского в щеку, он оглянулся.

Учитель взял тетрадь и направился к кафедре, перелистывая ее на ходу. И вдруг лицо его покраснело; резко повернувшись и обведя класс возбужденным взглядом, он поднял над головой тетрадь Дубровского и, показывая всем, воскликнул:

— Смотрите, господа! Скворцов, вы тоже смотрите!

Ученики увидели голову умирающего гладиатора, но не мертвый гипсовый отпечаток ее, а живое лицо страдающего человека с меркнущими глазами.

Столпившись вокруг Дубровского, ученики восхищенно поздравляли его. А Дубровский, поеживаясь, печально говорил:

— Мне бы еще полчасика! Морщины на лбу, как на голенище сапога, получились, неживые.

Борис решил не сдаваться. Он просиживал за тетрадью целые дни, но рисунки получались у него по-прежнему холодные и черствые.

Он подозревал, что Дубровский владеет каким-то особым секретом. Ревниво и внимательно Борис изучал рисунки Дубровского, но секрета раскрыть не мог.

Дубровский помог ему сам. Как-то во время большой перемены Борис увидел Дубровского у подоконника с листком бумаги. Борис спросил, зачем он рисует, когда

сейчас перемена. Дубровский, подняв голову, сказал удивленно:

— Но ведь я люблю рисовать, мне это нравится.

Борис отошел от него обиженный. И вдруг как-то внезапно пришла мысль:

«Но ведь я бы не стал рисовать во время перемены, — значит, я просто не люблю рисовать, значит, не в особенности моего «я» дело, а в чем-то другом. В чем же? Любить то, что ты делаешь... Пожалуй, верно... Вот если бы вместо урока рисования мне предложили...»

Но решить, что он выбрал бы в этом случае, Борис пока еще не мог.

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Замаскировавшись учебником Шапошникова и Вальцева, Борис весь вечер читал роман «Таинственный автомобиль».

Мать ходила на цыпочках, чтобы не мешать сыну заниматься. Отец мастерил синий колпак для лампы, осторожно бряцая ножницами.

Ложась спать, Борис вспомнил зловещее обещание математика вызвать завтра к доске.

«Опоздать на урок, сославшись на железнодорожную катастрофу? Купить в аптеке бинт и замотать голову, чтобы видны были только одни глаза? Или, может, обмазать йодом правую руку и подвесить ее к груди на ремне?»

В тоскливом предчувствии неотвратимой беды Борис искал способа избежать ее.

И тут он вспомнил о боже.

Поднявшись с постели, он стал голыми коленями на холодный пол и, уставившись в темный угол комнаты, начал креститься и кланяться.

— Боженька, помоги мне! Сделай так, чтобы меня завтра не вызвали к доске.

Дверь открылась, в комнату вошел отец; остановившись, он наблюдал за сыном.

Борис заметил отца, смутился и юркнул под одеяло.

— Боря, — помедлив, спросил отец, — если б тебе что-нибудь было нужно, ну, скажем, деньги, мог бы ты их попросить у незнакомого человека?

Борис лежал молча под одеялом и чувствовал, как горят у него щеки.

— Ну а если бы ты совершил дурной поступок и его можно было бы свалить на другого, скажем, с помощью меня или твоей матери, обратился бы ты к нам с такой просьбой?

Борис, тяжело дыша, молчал.

Отец нащупал в темноте руку Бориса и, взяв ее в свою, медленно проговорил:

— Унижаться, попрошайничать могут только трусы и лентяи. А настоящий человек, умный, сильный, не примет подавания ни у кого. Гордость не позволит. А ты что делал?

Борис молчал.

Отец, думая, что сын заснул, подоткнул одеяло и на цыпочках вышел из комнаты.

Борис подождал некоторое время, прислушался, потом встал, оделся, зажег лампу и сел за стол.

Утром, когда мать вошла в комнату, она увидела, что сын спит, сидя за столом, положив голову на раскрытый учебник Шапошникова и Вальцева.

Борис получил по математике «два с плюсом».

Двойное унижение — мольба перед иконой и жалкая, угодливая поза перед учителем, когда тот, помедлив, ядовито усмехаясь, подставил к «двойке» плюс, — болезненно уязвило самолюбие Бориса.

В одной из отцовских книг он нашел «Песнь о Соколе» Горького. Пораженный гордыми и гневными словами ее, Борис, не долго думая, в сочинении по русскому языку «Каким должен быть ученик технического училища» старательно и вдохновенно изложил мужественный и дерзкий призыв этой песни к человеку. И когда сочинение было готово, перечитывая его, Борис неожиданно почувствовал, будто нашел он нового, честного, смелого друга, который пойдет теперь с ним рядом, плечом к плечу.

Борис ждал урока русского языка томительно и нетерпеливо.

Учитель русского языка носил золотые очки, вицмундир, из которого торчали фарфоровые трубы манжет и воротничок с отогнутыми углами, подпиравшими висящие щеки.

Звали его «Душескребом».

Он умел доводить учеников до истерики вопросами, на которые невозможно было ответить. И радовался, когда добивался от мальчика признания в собственном ничтожестве. Облокотившись о спинку стула, вытянув перед

собой ноги в остроконечных штиблетах, он произносил назидательно:

— Господам ремесленникам умственная деятельность не может быть свойственна. В приготовлении деревянного сиденья для унитаза изящная словесность не может служить руководством. Но умение выражать некоторые свои элементарные мысли отличает человека от скота. Ну-с, проверим, что отличает вас от названных существ?

И вызывал к доске.

Сегодня Душескреб начал урок с неожиданного торжественного вступления. Подняв руку, он сказал, обращаясь к ученикам:

— Господа, в наш класс поступил новый молодой мыслитель и представил уже на пробу свое сочинение.

Учитель подошел к кафедре, взял тетрадь Бориса и прочел насмешливо:

— «Рожденный ползать — летать не может!» Очень правильное замечание. Позволю добавить: поросенок, вставший на задние копыта, еще не человек. — И вдруг, заливаясь синеватым румянцем, он швырнул в лицо Борису тетрадь, закричал, топая тонкими ногами: — Передайте тому, кто вам писал это сочинение, чтобы он нашел другое место для своих упражнений! А вам за непредставление работы — «единица».

Борис, вздрагивая, задышав, хрипло произнес:

— Это я писал.

— Ложь! — сказал учитель. — Откуда у вас могут быть такие мысли?

— Это я писал, — настойчиво произнес Борис и с искаженным лицом пошел на учителя, сжимая в руке линейку.

Очнулся Борис в коридоре. Старик швейцар настойчиво совал ему в лицо кружку с водой, но Борис не мог пить. Руки его тряслись, а горло было словно стянуто тугим костяным кольцом. Он икал, размахивая руками, отталкивая кружку, и пытался вернуться в класс, но швейцар не пускал его.

На следующий день отец Сковорцова пришел в училище. Несдержанный, вспыльчивый, он наговорил учителю таких вещей, что тот, перепуганный, хотел послать за полицией.

В результате уроки русского языка превратились для Бориса в нестерпимую пытку, изощренную, унижительную. Душескреб все силы своего ума направлял на то, чтобы оскорблять Бориса.

Борис просил отца взять его из училища. Но отец сказал:

— Не будь трусом. У тебя хотят отнять единственную возможность стать сильным, получив знания. Защищайся.

Борис защищался. Но только в мастерских, где он делал вещи, он мог вздохнуть свободно.

МЕХАНИК

Эта зима была памятна для Бориса тягучими днями ожидания чего-то необыкновенного, тревожного и значительного.

Занятия в училище прекратились.

В Москве шли бои.

Бориса не выпускали на улицу. Отец иногда совсем не возвращался домой; приходя же, тотчас валился на постель и спал не раздеваясь. Руки у него были грязные, в копоты.

Борис вместе с Костей целые дни бродил по опустевшему поселку. В оврагах, окружавших станцию, они часто находили поломанное оружие. В сарае, где Борис оборудовал целую мастерскую, они чинили это оружие.

В течение долгого времени деньги, получаемые на завтраки, Борис тратил, покупая различные инструменты на Сухаревском рынке. Он даже купил многопудовую наковальню и привез ее на салазках в Лосиноостровскую.

Наступили голодные дни разлухи.

Мать Бориса шила. Борис принимал от соседей в починку посуду. Достав кровельное железо, он делал котелки и ведра.

Однажды Костя приволок к нему в мастерскую синие стальные свитки буферных пружин. Он сказал, что из них можно делать лемеха для плугов.

Это был очень тяжелый труд — распрямлять пружины. От тяжелой кувалды ломило плечи, шею. Несколько ночей Борис не мог спать.

Как-то, сделав несколько лемехов, Борис и Костя отправились в деревню, на базар.

Целую ночь они пролежали на крыше вагона.

Ветер ледяной рекой мчался навстречу.

Борис привязал себя и Костю веревкой к вентиляционной трубе, чтобы ветер не сбросил их под колеса.

В деревне лемеха получили самую высокую оценку.

И когда Борис, краснея от гордости, признался, что он сделал их сам, один из покупателей, до этого неистово торговавшийся с ним, вдруг снял шапку и сказал кротким голосом:

— Гражданин механик, разрешите вас пригласить выпить и закусить...

Но вместо того чтобы вести к себе в хату, покупатель привел их в сельсовет и представил там высокому человеку в солдатской гимнастерке. Человек этот говорил свистящим шепотом, прижимая к шее пальцы: у него на войне было прострелено горло. Он оказался председателем сельсовета.

Пристально разглядывая Бориса, председатель недоверчиво спросил:

— Не брешешь, что механик?

— Пес брешет, — бойко сказал Борис, повторив слышанную на базаре фразу.

Председатель кивнул головой, набросил на плечи шинель и попросил Бориса пойти с ним «до одного места».

Посреди огромного двора в талой грязи лежала куча поломанных машин.

Председатель, показывая на них, глухо сказал:

— Помещик Иволгин машины испортил. — И вдруг, резко повернувшись к Борису, громко заявил: — Я на тебя сейчас мандат выпишу. Считаю мобилизованным до окончания ремонта.

— Дяденька! — взмолился Костя.

Председатель, глядя на Бориса, спросил:

— А этого тебе в помощь мобилизовать, что ли?

Борис кивнул головой. С трудом сдерживая волнение, Борис сказал председателю, смело переходя на «ты»:

— За кузницу ты мне ответишь, чтобы все было в порядке.

— Отвечу, — согласился председатель.

Машины, похожие на скелеты гигантских насекомых, были непонятны и загадочны.

Борис решил применить испытанный метод, использованный им когда-то для починки «Атланта». Он сделал чертежи механизмов. Но это уже не была детская живопись, населенная туземцами, крокодилами и жирафами.

Преподаватель черчения, отказавший Борису в «пятерке с плюсом» в училище, несомненно, за эту работу выставил бы заветную отметку.

В кузнице Борис грубым голосом кричал на помощников, раздувавших ему мехи. Наслаждаясь силой, не-

ожиданно обретенной властью, он командовал и председателем, ставшим вдруг искательно-покорным. Даже старики называли его почтительно Борисом Гавриловичем и щедро раскрывали перед ним свои кисеты, хотя от табака Бориса тошнило.

Первая машина была готова к испытанию. Вся деревня собралась во двор правления, где должна была произойти проба.

Словно очнувшись от волшебного сна, Борис стоял, испуганный, возле конюшни и следил за суетливыми приготовлениями.

Костя, стискивая горячую руку Бориса, успокоительно шептал:

— Ты не бойся: в случае чего сильно бить не будут. Держись ближе к председателю, он не позволит.

Наступила страшная минута.

Председатель устроился на металлическом сиденье машины, похожем на огромную раковину. Обратившись к людям, он сказал:

— Советская власть велела соху в печку бросить. Она велела нам, как и рабочему классу, машиной пользоваться.

Сняв шапку, он сунул ее за пазуху, поднял локти и крикнул на лошадей. Лошади взяли с места рысью. Толпа ринулась вслед за машиной.

Строгая тишина стояла в опустевшем дворе.

В колею, оставленную зубчатыми колесами машины, натекла желтая вода и зыбко дрожала в ней.

Солнце то вспыхивало, то гасло, закрываемое перистыми облаками.

Во двор прискакал всадник. Увидев Бориса, он соскочил с лошади и закричал:

— Садись на коня! Народ требует!

Борис с тоской оглянулся на Костю и взобрался на седло.

Провожатый бежал рядом, держась за стремя.

Сквозь молчаливую толпу Борис пробрался к машине, где стоял председатель.

Председатель обернулся к Борису и, показывая на железное сиденье, сказал:

— Стань сюда ногами, чтобы все видели.— Потом строго спросил: — Отвечай: кто ты такой?

— Ученик я,— пробормотал Борис,— технического училища.

— Громче! — приказал председатель.

Борис повторил.

— И много вас таких?

— Много.

— Слыхали? — спросил председатель и, обернувшись к Борису, строго произнес: — Бумагу объяснительную ты нам оставишь? Чтоб в случае чего мы могли сами починку делать?

Борис кивнул головой.

— А теперь, — крикнул председатель, — скажем товарищу спасибо! И отпустим его с мобилизации. — Усмехнувшись, он тихо добавил: — У него небось тоже мамка есть, заждалась. А чтоб уши зря не натрепала, мы ему официальную бумагу напишем. — И, подождав, пока одобрительные крики смолкли, председатель кратко огласил: — Митинг считаю закрытым. Машины принять. Механику благодарность мукой там, чем придется.

Возвращались обратно уже не на крыше, а в служебном отделении вагона, куда их устроил председатель.

Сидя на мешке с мукой и глядя на мелькавшие перед глазами телеграфные столбы, Борис думал о счастье, перед которым меркли даже самые необыкновенные фантастические дела героев его любимых книг, — о счастье, заключавшемся в простой истине: много уметь, много знать.

НАСТОЯЩИЙ ТРУД

Под стеклянной крышей бродили, как пенистые облака, кучи грязного пара.

В бетонных канавах стояли паровозы.

От удушливого сернистого газа, исходившего от топок, першило в горле, слезились глаза.

Мастер, присев на корточки, кричал изо всех сил вниз, в канаву:

— Тормозные колодки опять шлепают. Забыли, на кого работаете!

Борис подошел к мастеру и представился.

Мастер, яростно оглянувшись, сказал:

— Не успел поступить, а уж разгуливаешь? Развесил руки по сторонам! Нарезай болты шесть с осьмушкой, живо! — И, спрыгнув в канаву, мастер исчез под брюхом паровоза.

Борис нерешительно направился в глубину цеха, откуда слышались звон и скрежет металла.

Внезапно из канавы высунулась голова мастера.

— И чтоб не штопором, а под контргайку. Чистенько.

Борис, обиженный приемом, даже не оглянулся на крик мастера.

Разыскав в ящиках штыри, приладившись к тискам, Борис начал нарезать болты.

Сломанные ворота депо, сквозь которые ветер наметал в цех снежные сугробы, талая грязь в цехе, суетливость мастера вызвали у Бориса чувство унылого разочарования.

Он ожидал увидеть здесь людей, одержимых гордым сознанием нужности своей профессии, чистый и тщательно прибранный металл — и уж никак не жестяной чайник, стоявший в топке паровоза, как в печке.

Борис решил удивить мастера, с самого начала показав, с каким незаурядным слесарем ему придется иметь дело.

Нарезав болты, Борис стал полировать их, чтобы придать им тот свежий, отточенный блеск, каким отличались изделия училища, представленные на ремесленных выставках.

В дополнение к заданию Борис нарезал к болтам и гайки. И подогнал резьбу так, что почти от одного дуновения гайка, кружась, сползала до основания резьбы болта. В училище это считалось особым шиком.

К концу рабочего дня на верстаке лежали три болта, сияющие, скользкие, красивые — хоть для витрины технического магазина.

Забрав болты, Борис пошел отыскивать мастера.

Мастера он нашел в будке паровоза. Сидя на табуретке, мастер пил чай и доверительно объяснял расположившимся вокруг рабочим:

— Я почему теперь с одного как с двух спрашиваю? А вот почему. Половина ребят наших на фронте. И выходит, ты должен за себя и за товарища, который на фронте, работать. Понятно? Арифметика обыкновенная.

Увидев Бориса, мастер кивнул ему и спросил участливо:

— Сделал урок?

Борис торжествующе протянул три сияющих болта.

Лицо и шея мастера начали медленно заливаться багряной краской. Он уставился на болты, моргая, словно ослепленный их блеском.

— Это что же такое будет? — произнес он шепотом. И вдруг неистово закричал: — Где болты, где болты, я спрашиваю?

— Ослеп он, что ли? — пожав плечами, обратился Борис к рабочим в поисках сочувствия.

Мастер сгреб изделия в кулак и, потрясая ими над головой, гневно сказал:

— Голод! Люди хлеба ждут! Хлеб возить — паровозов нет. А он тут целый рабочий день уничтожил! Да за это время их полсотни настрогать можно!

Мастер бросил болты на пол и глухо сказал:

— Ты, парень, над голодными посмеялся! Как саботажник посмеялся!.. Пошел вон, с глаз долой! — И, выплеснув из котелка воду в топку, скрылся в облаках пара.

Уязвленный горькой обидой, встретив на следующий день мастера, Борис хотел пройти мимо него.

Но тот остановил Бориса и, вынув из кармана холодно блестящие болты, сказал проникновенно и тихо:

— Ты с них окалину содрал для лоска, а окалина металл от ржавчины бережет. Это раз. Болт должен деталь держать, а если на нем гайка со слабиной, кому такой болт нужен? Это два. Только дурак бессмысленную вещь любит. Во всякой вещи главная мысль должна быть. Какая она в болте? Держать! А как он держать будет, когда он у тебя весь скользкий? То-то! — И уже добрым голосом добавил: — В цирке я борца видел — он рельсы у себя на груди для хвастовства силой гнул. Здоровый, ничего не скажешь! А пошли его к нам в кузню — он через полчаса весь пар отдаст. Так что ж, по-твоему, я того борца больше уважать должен, чем Ефимова, когда Ефимов в смену четыреста пудов металла мнет; хоть и щупленький, а кует так, аж все звенит! — И, легонько оттолкнув от себя Бориса, мастер, насупленный и важный, пошел в цех.

Борис поставили на очистку паровозных котлов.

Только подростку, худому, подвижному, удавалось проникнуть в узкие ходы котлов.

Забрав связку ключей и огарок свечи, вставленный в гайку, Борис через сухопарник пролезал к самой стенке котла. С трудом расставив руки, он начинал зубилом отбивать камнем запекшиеся пласты накали. Приходилось при этом закрывать глаза — чтобы их не повредили острые осколки. Молоток вслепую опускался не на зубило, а на пальцы. На левой руке они стали пухлыми от ушибов.

Борис лежал в котле, как шахтер в тесном забое. После того как накипь была обита, нужно было вставлять инжекторные трубы. В отверстие, которое соединяло инжектор с котлом, слесарь просовывал проволоку с зажженной паклей. В духоте пакля гасла, источая удушливый дым. В это мгновение, пока отверстие освещалось факелом, Борис должен был вставить трубку. Задыхаясь от

ядовито-масляного угара, почти теряя сознание, Борис толкал трубу, как пику; иногда труба застревала, и ее невозможно было сдвинуть. Прищемленный трубой, Борис с ужасом думал, что ему теперь не удастся отсюда выбраться. Становилось так страшно, что хотелось кричать истощенным голосом, прося о помощи.

Но вот слышался глухой, словно из-под земли, голос мастера:

— Ну, как жизнь, ювелирных дел мастер? Котел шлифуешь? Чего молчишь?

И Борис, наваливаясь всем телом на трубу, снова задохнувшись от жирного чада гаснущего факела, наконец уставлял трубу как нужно.

Вылезать обратно было еще труднее.

Обитая накипь заполняла лаз мелким щебнем. Нужно было по-собачьи подгрести под себя этот щебень, чтобы выбраться наружу.

Никто не хвалил Бориса за этот труд, все держались так, словно иначе и не могло быть.

Но однажды на общем собрании, когда председатель цехкома предложил выпустить в честь праздника Октября внеплановый паровоз, мастер, задумчиво пожевав бородку, обратился через головы сотен людей, сидящих в зале, к Борису и негромко сказал:

— Ну как, Скворцов, сделаем? — И, не дожидаясь ответа, добавил громко: — Сделаем!

Рабочие, встречаясь на улице, серьезно здоровались с Борисом, как со взрослым.

МАШИНИСТ РЯБУШКИН

Множество вагонов столпилось на путях Сортировочной.

Здоровые и больные, классные и товарные, плоские платформы — все перемешалось.

Куций черный маневровый паровоз с хриплым визгом набрасывался на вагоны.

Вопили в медные трубы стрелочники. Свистели сцепщики. Бряцали буфера. Но выдать из этой сутолоки и давки вагоны на магистраль было почти невозможно.

Злобно пыхтя, шаркая колесами так, что из бандажей высекались сухие длинные искры, паровоз напрасно пытался растолкать вагоны.

Чтобы освободить место паровозу и получить наконец возможность с разбегу протолкнуть состав на магистраль, приходилось раскатывать вагоны вручную.

После чистки паровозных котлов Бориса поставили на ремонт тормозов Вестингауза. Тщательный, кропотливый труд оказался ему по душе.

Но когда открылась возможность попасть помощником на маневровый, Борис без сожаления покинул мастерскую.

Мечущийся на коротком пространстве паровоз, стойбище побитых вагонов, тупики, где в теплушках жили какие-то подозрительные люди, шныряющие по путям с озабоченными лицами зябнувших жуликов,— все это произвело на Бориса безотрадное впечатление.

И когда машинист Рябушкин послал его растаскивать вагоны, Борис неохотно пошел выполнять задание.

Рябушкин не рассердился, он внимательно посмотрел в лицо Борису и тихо сказал:

— Я тебя так понимаю, голубок ты мой сизокрылый: не хочется тебе свои перышки мять и пачкать. Тебе охота сразу порхнуть на курьерском. А помойку пускай другие чистят.

Рябушкин спрыгнул на землю и пошел в голову состава, где громко кричали люди, надсаживаясь над тяжелыми вагонами.

Вернувшись на паровоз, Рябушкин больше не разговаривал с Борисом и всем своим видом старался показать, что не замечает его присутствия.

И это было очень тяжело.

Вечером к паровозу подошел человек с желтым, послетифозным лицом. Покопавшись у себя в кобуре, он не спеша вынул наган и спросил:

— Состав под воинский эшелон будет или нет?

Рябушкин спокойно посоветовал:

— А ты постреляй в небо, по главному начальнику.

Лицо у человека с наганом дернулось и начало нехорошо темнеть. Он поднял руку и...

Вдруг из будки прямо в лицо ему ударила струя воды.

Человек, пятясь, отмахивался от воды. Наконец Борис отвел шланг в сторону.

— Ты, видать, контуженый? — соболезнующе спрашивал Рябушкин. — Да вытряси сначала из нагана воду, а то не выстрелит... Скворцов! — обратился машинист к Борису. — Пропусти товарища к топке, пусть пообсохнет.

Страна, объятая со всех концов пожарами войны, изнемогала в голоде и разрухе. Транспорт должен был по-

мочь армии в ее маневренных бросках туда, где силы врага угрожающе крепки. Транспорт должен был доставлять свежие пополнения фронту, из сытых районов в тощие возить хлеб, руду, уголь заводам. Транспорт не мог этого делать, он был разбит, разрушен. Лучшие люди его ушли на фронт. Среди оставшихся были и те, кто не хотел работать, саботировали, вредили, воровали. Эти люди создали здесь внутренний фронт, и с ними нужно было воевать.

— Но только не так, парень, — говорил Рябушкин полюбощенному человеку, присевшему у топки. — На фронте все понятно, там врага по форме отличишь, а здесь его тонкой разведкой обличить нужно.

Вздрагивая, человек сказал:

— А эшелоны с ранеными кто в тупик загнал?

— Вот за это, — кротко говорил Рябушкин, — прямо на месте! — и делал движение согнутым указательным пальцем, словно нажимая спусковой крючок. — А в данный момент ты не прав.

Всю ночь на Сортировочной гремели буфера вагонов.

Красноармейцы растаскивали вагоны. Маневровый паровоз в клубах пара с разбегу разбивал заторы.

К рассвету битва была закончена.

Возле перрона выстроился состав. Усталые красноармейцы, забравшись в вагоны, тут же заснули накрепко, — они и не заметили, как высококолесный пассажирский паровоз, бережно осадив эшелон, без сигнала помчал их со станции.

Наступил день. Бориса клонило ко сну.

Рябушкин, насмешливо глядя на Бориса, задорно спросил:

— Ты про изобретение Попова знаешь?

— Знаю, — вяло сказал Борис.

— Ты не перебивай! — рассердился Рябушкин. — Этот Попов, когда изобретал чего-нибудь, от сна совершенно отказывался, минут с десятка вздремнет — и опять за работу. Вот он полной порцией жизни и пользовался.

— А когда спать неведомо хочется?

— Сон клонит, если у тебя в голове электричества нет. Оно от трения мысли возникает. Ты о чем сейчас думаешь?

— Ни о чем, — сознался Борис.

— А ты думай, — посоветовал машинист. — От хорошей мысли к рукам и ногам энергия бросается, по себе знаю.

Борис стал послушно думать. И вдруг увидел сидящего напротив него в черном сюртуке человека, окруженного

тикающими приборами. «Вы Попов?» — спросил Борис неуверенно. Человек поднял седую сухую голову и сказал сердито: «Да, я Попов. А вы кто такой, сонная тетеря?» Он встал и начал вытягиваться и вытягивался до тех пор, пока не превратился в физика Гусева. Гусев протянул к Борису тощую руку и, тряся за плечо, закричал: «Куда вы спрятали мой снаряд, Скворцов? Отдайте мне мой снаряд!» — «Я не брал вашего снаряда». И Борис пытался оттолкнуть от себя костлявую руку Гусева. Гусев рассердился. Он полез в карман, вынул оттуда деревянную ложку и изо всех сил ударил Бориса по лбу.

Борис вздрогнул и ударился головой о кран.

— Так и голову расшибить можно, — сказал Рябушкин, кидая в топку уголь. — Как тебя, однако, развезло, парень!

Паровоз, подпрыгивая, катился куда-то в туманную мглу.

На подножке паровоза сидели два красноармейца, поставив винтовки между ногами.

Борис, потирая лоб, подошел к машинисту и, приняв у него из рук лопату, начал заправлять топку.

Рябушкин, наклонившись к Борису, шепотом сказал:

— Секретное задание получили: состав со снарядами подать нужно. А у нас трубы без проволоочной сетки. От одной искры полвокзала на воздух поднять можно. Что делать?

Борис задумался.

— А если струю из шланга поверх трубы веером пустить?

— Верно, — согласился Рябушкин. — Давай действуй.

Прежде чем подать состав, заехали заправиться углем.

По угольной насыпи бродили с мешками жители теплушек. Они торговали ворованным углем в городе, за пуд угля брали двести тысяч рублей.

Выйдя из машины, Рябушкин стал бросать в них кусками антрацита.

— Паразиты! — кричал он.

Но жулье не обращало на это никакого внимания и продолжало выбирать лучшие куски.

Неожиданно один из них подошел к Рябушкину. Застенчиво улыбнувшись, он сказал:

— Нехорошо, гражданин механик, как в собак, камнями бросать.

Машинист смутился и покраснел.

— Почему не работаете? — спросил он строго.

— А что делать, когда нечего делать?

— Грузи уголь.

— С тем и явился! — с веселой готовностью сказал человек и, поднявшись на тендер, высыпал из мешка весь свой уголь.

Потом, взявшись за лопату, он выказал в деле мало сноровки, но искупал свою неопытность старательностью. С грязного, морщинистого лица текли потоки пота. Остановившись, он вытирал пот и хвастливо говорил:

— Умеем работать!

Когда погрузка была закончена, Рябушкин вынес человеку полбуханки хлеба — все, что было, — и сказал поощрительно:

— Ты воровать брось! Оставайся на карьере. Я машинистам скажу — без благодарности не останешься.

Человек шаркнул ногой, поклонился и даже смахнул с подножки оброненные куски угля.

Паровоз покатился по направлению к воинским путям.

Возле стрелки паровоз остановился. Стрелочника не было. Стальное перо стрелки оказалось заклиненным.

Больше часа провозились, пока наладили стрелку.

Вернувшись на паровоз, Борис занялся топкой. Зажмурившись от слепящего жара, он швырял в топку уголь, потом закрыл дверцу, спустился на подножку и сел на нижнюю ступеньку отдохнуть и остыть.

Паровоз катился по грязным путям, и шпалы утопали под ним, как клавиши.

И вдруг паровоз дрогнул, из топки, глухо рывкнув, швырнуло пламенем и раскаленным углем.

Борис толчком взрыва бросило вниз, под откос. Ударившись челюстью обо что-то твердое, он потерял сознание.

Очнулся Борис от ощущения холода. Рябушкин сидел подле него на корточках, горстями черпая из лужи воду, выплескивал ее на грудь Бориса.

Борис поднялся и сел.

Паровоз, дымясь, валялся на рельсах с разорванным котлом.

— Боря, — сказал Рябушкин, проводя ладонью по лицу Бориса, — ты ходить можешь?

Борис поднялся.

— Давай! — крикнул Рябушкин и, хромя, волоча ногу, побежал.

Но бежали они не на станцию, не в ЧК, как думал Борис, а к тупикам, где стояли заросшие бурьяном теплушки.

Рябушкин на бегу подобрал с земли болт и, передавая его Борису, шепло сказал:

— Держи, пригодится.

Борис понял намерения машиниста.

Ворвавшись в теплушки, они заглядывали под полки, превращенные в нары, поднимали одеяла над лицами спавших людей, — человека, помогавшего грузить уголь, среди них не было.

Они поплелись обратно на станцию. От контузии голова Бориса нестерпимо болела, в глазах все время плавали какие-то радужные кольца.

Вдруг Рябушкин остановился и, больно сжав руку Бориса, показал ему глазами.

Возле товарного состава они увидели знакомую фигуру.

Но было поздно: человек, заметив их, метнулся в сторону.

Рябушкин уже не мог больше бежать. Он бессильно опустил на землю и, хрипя, замотал головой.

Борис один продолжал преследовать бегущего человека.

Только бы догнать!

— Дяденька! — вдруг жалобно крикнул Борис. — Обождите, что я скажу, дяденька!

На пустыре, пересеченном путями, голос его прозвучал тоскливо и одиноко.

И как ни странно, человек остановился, он даже сделал несколько шагов по направлению к Борису.

И, только приблизившись к нему почти вплотную, Борис с ужасом подумал, что он один и никого кругом нет.

Борис остановился. Человек с холодным спокойствием смотрел на него.

— Что надо? — спросил он, глядя в упор.

В смятении Борис не мог выговорить ни слова.

— Ложись! — тихо сказал «голодающий». — Ложись мордой в землю! — и показал Борису повеньким красивым револьвером место, куда нужно было лечь.

— Дяденька, милый, обождите, что я скажу, не убивайте! — лепетал Борис в отчаянии и даже сложил на груди руки.

— Ошалел, что ли? — строго спросил человек и придвинулся ближе.

И, почти лишаясь сознания, движимый какой-то молниеносно возникшей мыслью, Борис закричал, с ужасом показывая в сторону:

— Ой, смотрите, что ж это такое, на самом деле?

Человек машинально оглянулся.

Борис взмахнул рукой и изо всех сил ударил болтом.

Когда подбежали красноармейцы в сопровождении Рябушкина, человек сидел на земле, прижимая к ушибленной голове руку; лицо у него было тупое и удивленное. А Борис, стоя против него с револьвером в вытянутой руке, извиняющимся тоном говорил:

— Я не хотел очень сильно ударить, я просто так хотел ударить.

Спустя несколько месяцев Бориса перевели на обкатку отремонтированных паровозов по маршруту Бескудиновка — Лосиноостровская.

Бросая теперь в топку уголь, Борис надевал синие очки, тщательно разглядывал содержимое каждой лопаты.

Рябушкин лечился после ранения, причиненного взрывом, компрессами из олеонафта. Сидя напротив открытой топки, прогревая тело, он степенно рассуждал:

— Паровоз, Боря, машина крайне несовершенная. Коэффициент полезного действия семь процентов. Это же не машина, а прорва. Девяносто три процента энергии в воздух уходит. За это его судить надо, как расхитителя.

— Да ведь других машин нету, — замечал Борис, передвигая ручку реверса.

— А ты выдумай, разозлился и выдумай, — советовал машинист.

— Ладно, выдумаю, — говорил Борис, чтобы отделаться.

— Что значит выдумаешь? — сердился Рябушкин.

Из пустого котелка щей не нахлебаешься, ты учись!

И Рябушкин своего добился.

Борис узнал, что на базе Комиссаровского училища создан техникум, и поступил туда.

Но какими странными показались ему знакомые классы! И даже парта Дубровского, сохранившаяся в целости вместе с картиной морской битвы, вырезанной на внутренней стороне доски, говорила о чем-то очень далеком, таком забытом и вместе с тем очень родном...

Ездить на паровозе и учиться в техникуме было невозможно. Борис поступил на Мытищинский вагоностроительный завод машинистом дизеля.

Прощаясь с Борисом, Рябушкин сказал:

— Помни, Скворцов. Я тебя просто так больше видеть не желаю. Инженером приходи — обрадуешь. Чайку попьем, поразговариваем. — Дрожащими руками он отстегнул от серебряной цепочки толстые часы и, грубовато сунув их Борису, добавил: — Это я тебе, чтоб время помнил. Ступай! — И уж с подножки паровоза крикнул: — Не живи вприглядку да вприкуску. Дуй по главной магистрали — человеком будешь!

С чувством печали и скорби Борис покидал железнодорожные пути.

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

— Сейчас я тебя с Михаил Ивановичем познакомлю, — сказал Блажкин и плавным движением руки разделил свою бороду надвое.

— Кто это Михаил Иванович?

— А вот, — и механик торжественно кивнул на дизель, — личность почтенная, сто девяносто сил.

Борис подошел ближе.

Огромный маховик, окруженный проволоочной сеткой, беззвучно вращаясь, казалось, висел в воздухе в полурастворенном виде.

— Характер у него кроткий, — пояснил механик, — но капризный, обожает чистоту, на уход отзывчивый, возраст солидный. Примерно мы с ним однолетки! — Блажкин гордо посмотрел на Бориса. — Весь завод током питаем. Главное место, вроде как сердце. Разумеешь, куда попал? — Блажкин вынул гребенку, расчесал бороду, дунул на гребенку и спрятал ее обратно в карман жилета.

Голубой свет электроламп, мрамор распределительных досок, мерное жужжание динамо-машины, похожей на гигантскую улитку, простор и чистота, сверкающая, почти корабельная чистота. Действительно, было чем гордиться.

Механик поплевал на пальцы и, закрутив усы, надменно сообщил:

— У меня здесь в белом халате работать надо. Следующий раз в обыкновенной одежде не пущу.

Борис почтительно обещал сшить себе белый халат.

Конечно, механик немного преувеличивал. В белом халате нужды не было. Изношенная машина частенько фыркала перегретым маслом. Вместо медных щеток на динамо ставили самодельные угольные. Угольная пыль прилипала к промасленной одежде.

Очень часто приходилось останавливать дизель на ремонт. Разобранные части купали в керосине, протирали ветошью, отдельные изношенные детали изготовлялись тут же, на токарном станке, а для бронзовых подшипников имелась в полу специальная литейная форма.

Борису нравились эти ночные часы, когда при свете керосиновых коптилок он вдвоем с механиком копался в теле дизеля, расчлняя его огромные суставы, и потом на рассвете, замирая, следил за первым вздохом поршня. И когда машина приходила в движение и в угольной лампе волосок начинал медленно наливатьс я краснотой, они оба испытывали одинаковое чувство облегчения и радости, словно только что даровали жизнь близкому и родному существу.

На стене трезвонил телефон, похожий на аптечный шкафчик.

Блажкин, как обычно, вынимал гребенку, медленно и тщательно расчесывал бороду, дул на гребенку, прятал ее в карман и, подойдя к телефону, сняв трубку, говорил:

— Але! Электростанция слушает. Можете действовать! — и отходил от телефона, торжественный и важный.

Пользуясь затишьем, Борис садился на табуретку, поближе к дизелю, и начинал готовиться к зачетам в техникуме.

Он приучил себя даже во время самых сложных вычислений по высшей математике недремно прислушиваться к шелестящему шороху дизеля. Малейшее изменение звука заставляло Бориса срываться с табуретки и сразу безошибочно подходить к той части машины, которая нуждалась в помощи.

Перекачка ручным насосом отработанного масла из картера в бочку, приделанную у самого потолка, откуда масло снова по трубам стекало в машину, отнимало много времени.

Борис сделал деревянный пюпитр и, ставя на него книгу, мерно качая ручку насоса, читал. Если руки были грязные, страницы книги перелистывал Блажкин. Он проникся уважением к Борису не за его стремление к учебе, а за упорство, которое проявлял Борис, готовя здесь уроки.

Блажкин утверждал, что машине как бы передаются свойства человека, создавшего ее. И выучиться управлять машиной невозможно, если твои личные наклонности не совпадают с особенностями машины.

На досуге Блажкин «для души» готовил различные инструменты, он умел закаливать их как никто.

Погружая шипящий резец в масло, он говорил Борису:

— Один старик ученый нашел меч в земле. Этот меч стальные бруски рубил, как прутья. Изготовил его знаменитый в древности мастер, несколько тысяч лет тому назад. Заговоренный меч, особенный. Но ученый волшебству не поверил, сцарапал алмазом с того меча тонюсенькую стружку, принес к себе в лабораторию и начал кислотами пытаться. И выяснил: в сталь меча молибден входил. Вот где собака была зарыта. После этого молибден в оружейной стали применили. А почтенный мастер небось и арифметики не знал.

— Ну и что же? — вызывающе спрашивал Борис, ожидая подвоха.

Но механик печально произносил:

— А так, ничего, это я для себя больше. Ты учись, не сомневайся.

Электрокар, перевозивший из цеха в цех полуготовые вагоны, заглатывал электроэнергии на сто ампер.

Меркли контрольные лампы, трезвонил телефон, потому что в цехах сейчас же, обессиленные, замирали станки.

Блажкин, сердито щелкая рубильниками, кричал:

— На этого зверя току не напасешься! Прорва проклятая!

Он подбегал к окну, влезал на стремянку и, высунувшись до половины из форточки, вопил:

— Долго вы нас сосать будете? Лошадей купите. Лошадь сено жрет. Я вас на сорокаамперный паек посажу, дождетесь, черти!

Электрокар скрывался в огромных воротах цеха.

Контрольные лампочки вспыхивали.

— Грабители! — вздыхал Блажкин и вынимал гребенку.

Часто бывало и так: разозлившись, Блажкин хватал плетеную кошелку и устремлялся на улицу.

Бега по цехам, по коридорам заводоуправления, он вывертывал везде лампочки. Вернувшись на электростанцию, осторожно ставил набитую электролампочками кошелку в угол, снимал телефонную трубку с рычагов, а дверь запирали на железный засов.

Когда в клубе устраивались вечера или собрания, приходил секретарь комячейки и просил:

— Уж вы поддержите нас, товарищи, не пожалейте току!

— Ладно,— важно отвечал Блажкин,— но ты нам после индивидуальный доклад сделаешь. А то что получается: мы вам светим, а вы нам нет.

После работы на электростанцию частенько приходили токарь Нефедов и сборщик Агапов. Наслаждаясь чистотой, светом, мягким теплом, излучаемым машинами, закусывая пайковой воблой, они просиживали здесь до утра, рассказывая всякие истории.

Нефедов недавно вернулся с Царицынского фронта, где он служил в авиационном отряде механиком. О себе он всегда говорил немного насмешливо, грустно и неохотно. О летчике своем — с влюбленной пылкостью и обожанием.

— Мы как-то с Иваном Павлычем захворали,— с особой бережностью произнося имя летчика, начинал рассказывать Нефедов.— Отлежаться нужно было. Устроились мы с ним в землянке, пищи заготовили, ведро воды на стол поставили, от него тряпичные фитили провели, чтоб сосать и пить: людей отрывать неудобно для ухода, а вставать — слабость.

Но вот дней через пять забегает к нам в землянку пехотный командир и говорит, что нас требуют. Оделись мы и потихоньку пошли на аэродром.

Стоит в поле наша машина, латаная-перелатаная, одна нога у шасси из водопроводной трубы сделана. На аэродроме — группа военных. Откозыряли, ждем, что дальше.

«Вы летчики?»

«Мы летчики».

Подходит к нам — мы его часто в штабе видели — военный комиссар и говорит:

«Вы больны, товарищи? Почему у вас вид такой важный?»

Иван Павлыч вытягивается и возражает:

«Извините, мы только что спали, неумытые, потому и вид такой».

«Нужно пакет в отряд доставить. Сможете?»

Я молчу и глаза в сторону отвел. Иван Павлыч меня локтем подтолкнул и громко сказал:

«Раз партия приказывает, какие могут быть разговоры?»

«Хорошо ответить, товарищ,— это еще не значит хорошо сделать. Мы с вами пока советуемся».

А тут военному комиссару кто-то и скажи:

«И что вы с ними разговариваете? Они тифозные».

Иван Павлыч обиделся, сорвал с головы фуражку.

«Видите, говорит, голова кудрявая. Это что значит? Это значит, что я послетифозный, выздоровевший. Попрошу не оскорблять!»

Между прочим, у Ивана Павлыча волосы всегда кудрявые были.

Военный комиссар поверил Ивану Павлычу и попросил зайти к нему с обстоятельным докладом о возможности полета.

Облился я холодной водой, белье переменял и самолет готовить к отлету начал. Прикрутил в кабине пулемет «максим», мотор опробовал. Все в порядке.

Приходит Иван Павлыч.

«Ну, Степа, был я больной, а теперь совсем здоровый стал. Есть, брат, такие слова — они на человека как спирт действуют».

Поднялись мы и пошли. Ветерок в лицо хлещет, приятным холодком обдувает, в ногах у меня горшки глиняные, железным хламом набитые, лежат. Мы ими вместо бомб пользовались. Под сиденьем — чугунная сковородка для защиты от пуль. На голове пехотная стальная каска, войлоком подбитая. Одним словом — полное снаряжение.

К вечеру снизились мы в расположение отряда, передали приказ, обратно собрались. Но тут начальник нам рассказал, почему у них заминка вышла и они вовремя подойти к Царицыну не могут. Мост впереди них взорван. Строят они этот мост своими силами, но неприятель с утра с самолетов этот мост бомбит и всю проделанную за ночь работу разрушает.

«Помогите», — просит.

«Ладно, поможем. Только вот что, — сказал Иван Павлыч, — когда противник подойдет, мы стрелять по вас мимо будем, а вы по нас, то же самое, поаккуратней».

Расхохотался командир.

«Вот, говорит, хитрюги!»

Легли мы спать пораньше, а утром чуть свет в воздух поднялись и над мостом кружить стали.

Наконец показался над облаками самолет, видно по всему — новенький «Таубе».

Начали мы косить из пулеметов вниз по степи. Я еще для убедительности горшки скидываю. А в лагере огоньки вспыхивают...

Но не удалось обмануть противника, догадался он по нашим заплатам, что не свой. Сбросил в степи бомбы и, набрав высоту, сделав боевой разворот, кинулся к нам, как собака на кошку.

«Иван Павлыч, кричу, помахай ему крылышками, может, обманешь!»

Но Иван Павлыч только покачал головой и погнал машину в лоб.

Начал противник петлить, фигуры делать, из различного положения в нас из пулемета стучает.

Привалился я к «максиму», жду, пока Иван Павлыч руку подымет.

А земля то сбоку, то сверху, то вниз валится — это Иван Павлыч тоже акробатикой занимается.

И вдруг смотрю — выравнились мы с противником и навстречу друг другу на полном газу помчались.

У противника два спаренных пулемета, пламя так из стволов и хлещет.

А Иван Павлыч все руку не поднимает. Таранить его, что ли, надумал. И только мне эта отчаянная мысль в голову пришла — Иван Павлыч медленно руку поднял. Нажал я спуск, думаю — конец, не успею.

И вдруг... Что вы думаете? Смолк пулемет у противника. Заело? Нет. Вижу, летчик копошится, ленту меняет: израсходовал патроны. Тут я его последним пятком своих патронов и добил. Вот что значит свою секунду сберечь.

Мы и смотреть не стали, как он падал; развернулись и пошли к Царицыну.

Сели на аэродром, выходим. И что такое? Голова не болит, жару нет, и даже нормально холодно.

Спрашиваю Иван Павлыча, а он говорит:

«Это от сильного волнения болезнь у нас прошла, такие случаи бывают».

А я думаю: я-то, положим, волновался и должен выздороветь, а как же Иван Павлыч? Он волноваться совсем не способен ни при каких обстоятельствах — почему он выздоровел?

Нефедов замолчал, потом поднял глаза, печально оглядел слушателей и тихо сказал:

— А через три месяца разбился Иван Павлыч, при мне разбился. Израсходовал заряды и вражеский самолет своей машиной ударил. Таранить это у нас называется.

Подъехали мы к тому месту, куда самолет упал. Иван Павлыч на ремнях висит, плечи подняты, лицо бледное.

Поманил он меня пальцем и тихо так:

«Вася, передай военному комиссару, тому, знаешь. Передай,— шепчет он,— нужен пулемет большой ско-

рострельности. У «максима» очередь редкая. Нужно, чтобы...

Губы у него шевелятся, а сказать дальше не может.

Стал я Ивана Павлыча из машины вытаскивать и не могу, что-то держит.

Посмотрел — а штурвал у него наполовину в грудь вошел.

Крепкий был человек, на носилках мы его несли, а он всё глаза открывал, губами такое движение делал, словно сказать хотел. Хотел, да где уж тут!..

Мерно жужжало динамо, голубым пронзительным светом горели лампы, глухо топал дизель.

Но долго еще после рассказа Нефедова все сидели молча, в каком-то странном оцепенении.

Первым поднялся Блажкин. Вынув гребенку, он сердито дунул в нее и, пряча обратно в карман, произнес:

— Таким людям во веки веков жить надо. Их смерть не имеет права касаться! — и, громко стуча каблуками, пошел к машинам.

Из Мытищ в Лосиноостровскую дорога шла вниз, под уклон. Возвращаясь с работы, Борис всегда ходил домой пешком.

Деревья с обтрепанными осенними листьями стояли черными изваяниями. Луна стеклянно мерцала. С крылатым шорохом пролетал ветер. Борис жадно вдыхал настоящий на горьких и чистых запахах воздух.

Иногда он останавливался и подолгу смотрел на небо, глубокое, бездонное.

Что хотел сказать Иван Павлыч? Какую тайну познал он в то мгновение, когда его самолет с хрустом вонзился в машину противника?

Что значит скорострельность, равная оборотам мотора?

Возле деревьев на сверкающем инее лежали тонкие тени.

Борис наступал на эти тени и все шел, не замечая, что давно он миновал тропинку, сворачивающую к дому.

В гаснущем небе все сильнее просвечивала большая и ясная утренняя звезда.

Ломоносовский институт!

Так теперь гордо именовалось бывшее Комиссаровское техническое училище.

— Граждане студенты, — скорбно кричал швейцар, ложась грудью на гардеробный барьер, — вы хотя бы для смеха шанки оставляли! Я ж паек получаю. Обидно выходит...

Но студенты проходили мимо швейцара с надменными лицами.

Аудитории напоминали ледяные гроты. Окна промерзли насквозь. Стены поблескивали парчой инея и, когда зажигался свет, начинали сверкать разноцветными искрами.

Профессор Семенов поднимался на кафедру. Он был в башлыке, в валенках. Очки его тоже индевели.

В тишине торжественным голосом он начинал лекцию. Пар ровными толчками вылетал из его рта. Он подходил к доске, зажав огромной рукавицей, похожей на тюлений лап, кусок мела. Выписывал формулы и теоремы.

Но постепенно в аудитории возникал какой-то мерный гул: это студенты начинали топать замерзшими ногами об пол.

Профессор останавливался и серьезно произносил:

— Предлагаю восстановить кровообращение.

И все студенты вскакивали, яростно стучали ногами, били себя по бокам, как это делали извозчики на бирже. Профессор проделывал то же.

Занятия возобновлялись. И потом снова перерыв.

На зачетных книжках ставились отметки в получении пайка — четверти фунта хлеба.

Если в городе не горело электричество, студенты слушали профессора в потемках, поочередно ведя записи при свете тусклых отблесков принесенной кем-нибудь копилки.

В столовой вместе с преподавателями ели чечевичную похлебку без хлеба, потому что хлеб уносили домой и отдавали семьям. В столовой и отогревались.

Транспорт работал плохо, и Борису приходилось ходить в Лосиноостровскую пешком.

Шагая по пустынным улицам, выходя за город, Борис во весь голос повторял прослушанные лекции и, чтобы было веселее, подражал интонациям профессоров и их жестам.

Но часто он шел не домой, а в Мытищи, в ночную смену к дизелю.

Приняв машину, Борис садился на табуретку у стены, где висели ходики.

К ходикам он присоединил провода с током, концы этих проводов приделал к звонку. Каждые десять минут стрелка задевала контакт и звонок пронзительно дребезжал, не давая Борису заснуть.

Каждый раз, когда на электростанцию приходил Нефедов, Борис подходил к нему и снова и снова начинал выпрашивать, что, по его мнению, означали последние слова Ивана Павлыча.

Нефедов грустно вздыхал и говорил протяжно:

— Я сам мыслить над этим не перестаю. Когда на носилках несли Ивана Павлыча, я все наклонялся и в рот ему дул. Воздуху, дыхания нагнать пытался. Приникну к его холодным губам и дую. Не произнес он этого слова...

— Но почему он о пулемете вспомнил? Может, заело? — настаивал Борис.

— Пулемет в порядке был, мы осматривали, — задумчиво говорил Нефедов. — Ни одного патрона в ленте. — И, немного оживившись, пояснил: — Военный комиссар, когда еще у машины нашей стоял, так он тоже слово обронил, что вот, мол, самолет не тачанка, машина серьезная, а мы «максима», как буденновцы, к бричке приторчили.

«Да где же другой взять?» — спросил Иван Павлыч.

Военный комиссар сказал:

«А почему бы нам с вами не помечтать о хорошем авиационном пулемете? Я думаю, что сокол далеко и смело летает не потому только, что у него хорошие крылья, но и потому, что у него сильный клюв и когти. Как вы думаете?»

Что на это Иван Павлыч ответил, я не слышал: я в это время мотор стал опробовать.

Замолчав, Нефедов на некоторое время погружался в раздумье, потом начинал пылко говорить о том, что, если бы сейчас удалось сделать сто самолетов, можно было бы разбить врага на всех фронтах, а если бы еще удалось наладить штук десять больших машин, которые могли бы поднять трехдюймовое орудие, тогда уж совсем все было бы в порядке.

Встречаясь с Костей, Борис подробно обсуждал с ним причину гибели Ивана Павлыча.

— Нужно у пулемета в два раза ленту длиннее делать — тогда патронов хватит.

— Длинная лента запутаться может,— сомневался Костя.

— А я ее спиралью в коробку, как пружину, уложу, тогда не запутается.

— Нужно смерить сначала, какой длины лента у пулемета,— озабоченно предлагал Костя.

— И какие пружины в замке,— подхватывал Борис.— Они, наверное, слабые, потому и осечка.

— А что, если трехствольный пулемет, как твой пистолет, сделать? Вот здорово бы было?

— Я подумаю,— задумчиво произносил Борис и закрывал глаза, чтобы представить себе схему пулемета.

Но Костя решительно поправлял его:

— Мы вместе подумаем.

— Правильно, вместе лучше,— обрадованно соглашался Борис.

Но вместе думать им не пришлось...

Костя сидел за столом, сжав кулаками виски, и с отчаянием смотрел на кущее пламя керосиновой лампы.

Лицо у Кости, осунувшееся, покрытое серыми веснушками, было искажено так, что Борис растерялся:

— У тебя что, зубы болят?

— Нет, у меня не болят зубы,— не меняя позы, произнес Костя, с удивительной тщательностью выговаривая каждое слово.

— Так что с тобой?

Костя положил руки на стол и, внимательно поглядев на Бориса, сказал строго и просто:

— Отца убили, вот! — и снова уставился на лампу.

Борис опустил на стул. Нужно что-то делать, помочь, но как, чем?

Костя повернулся к нему и, кашлянув, спросил:

— Ты меня на поезд устроить можешь?

Борис кивнул головой.

— Сегодня, сейчас, можешь? — переспросил Костя.— Тогда пошли.

Он вынул сундучок, обвязанный веревками, взвалил на спину и вышел на улицу.

Снег таял. С голых деревьев капало. Дул теплый ветер. Он прилетел откуда-то с юга, хотя до весны еще было далеко.

Разыскав Рябушкина, Борис попросил его помочь Косте. Вытерев руки паклей, отдав несколько распоряжений помощнику, Рябушкин пошел с ними в дежурку и, обратившись к высокому худому машинисту, по фами-

лин Марсов, поручил ему довести Костю до того места, куда ему нужно.

Прощаясь, Рябушкин спросил Костю, зачем он едет.

Костя, отводя глаза, сказал неохотно:

— Отец давно обещал к себе в часть взять.

Рябушкин пожевал губами, потом деловито произнес:

— За отца, значит? Правильно, — и, пожав руку, пошел, волоча раненную во время взрыва котла ногу.

Паровоз сифонил, зияя раскрытой тонкой, Марсов кричал на кочегара, показывая ему рукой на часы, висящие на кронштейне вокзала.

— Так ты на фронт? — возбужденно спросил Борис.

— На фронт.

— И я поеду тоже. — Борис решительно взялся за железные поручни паровозной подножки.

Но Костя решительно заслонил ему дорогу.

— А ты не поедешь, ты здесь останешься. Я про Ивана Павлыча помню и в авиаотряд пойду, писать тебе буду, а ты думай. Пистолет свой еще помнишь? Так ты теперь пулемет придумай. Отец мой тебя в письмах оружейником называл, он тебе приветы посылал.

Заревел паровозный гудок. Выбросив сухую струю пара, локомотив медленно пополз, двигая шатунами.

Борис, спотыкаясь, бежал по перрону.

Костя, стоя на нижней ступеньке, крикнул:

— Я из твоего пулемета стрелять первый буду! Слышишь, Борька! Добивайся! — и помахал рукой.

Вагоны, стуча на стыках колесами, быстро катились мимо.

Добежав до конца платформы, Борис сорвался и упал вниз; когда поднялся и огляделся, где-то очень далеко сжимался и меркнул рубиновый огонек хвостового вагона, потом и он исчез.

С опустошенным сердцем Борис шел в институт.

Мясницкая улица, темная, с пустыми витринами, казалась бесконечным коридором.

Выйдя на Страстную площадь, Борис увидел над домами зубчатое пламя. Оно двигалось и дышало, выбрасывая лохматые кудри дыма. Покрытый тончайшей скорлупой льда, снег принял розовый оттенок. Белая луна стала синей.

Разбрасывая сугробы, проскакали пожарники на тощих лошадях. Борис побежал за ними.

Институт горел. От тающего на крыше снега из водосточных труб на тротуар хлестала вода. Лопались и высыпались со звоном стекла.

Борис, расталкивая людей, бросился к дверям института.

Студенты выносили парты, качающиеся в рамках черные доски.

Только к утру огонь был побежден.

Студенты толпились на улице и с тоской смотрели на обугленные, пустые амбразуры окон, на свисающие с карнизов клочья кровельного железа.

Грязные сосульки блестели и таяли в первых лучах мутного солнца.

Некоторые ребята улеглись спать здесь же на партах. Лица их были измучены, бледны.

Борис сел за одну из парт и, открыв крышку, хотел тоже лечь. И вдруг на крышке увидел картину морской битвы. Трогая выпуклое изображение, он вспоминал Дубровского, и в ушах его гордым упреком звучали слова:

«Я же люблю это!»

И Борис, глядя на почерневшие стены училища, стиснув зубы, сказал так громко, что на него оглянулись:

— Нет, еще не все пропало!

ПИСЬМА КОСТИ. ГОСПИТАЛЬ. РАССТАВАНИЕ

Это письмо во время отсутствия Бориса принес начальник снабжения Н-ского авиаотряда, куда поступил Костя. Конверт был сделан из газетной бумаги и скреплен тремя печатями из хлебного мякиша.

«Здорово, Борька! — так начиналось оно. — Врать не хочу: пока мне доверили только варить столярный клей. Варю я его из мездры, сухожилий и копыт. На этом клею мы чиним пробитые плоскости наших самолетов. И авиаторы мой клей хвалят.

Самолеты наши сборные, и про них я тебе сказать ничего не могу. После каждого боя мы из двух самолетов делаем один. У белополяков самолеты очень хорошие, фирмы «Таубе». Но про них я тоже ничего сказать не могу, потому что наши ребята подшибают их на большой высоте, и когда эти машины на земле оказываются, получается вроде винегрета. Таким образом, мы лишаемся возможности пополняться за счет противника.

Пулеметами Максима летчики вполне довольны, и, когда я сказал им, что один известный изобретатель, студент Ломоносовского московского института, желает им

сочинить новую машину, они сказали, что это очень приятно, но лучше «максима» ничего выдумать нельзя.

Начальник нашего авиаотряда Евгений Никанорович рассердился на них и сказал: «Есть «максим», есть «гочкис», есть «браунинг» и «кольт», и у всего этого оружия свои достоинства и недостатки».

И велел тебе передать, что он очень на тебя надеется, и просил пока получше учиться.

Про Ивана Павлыча здесь многие слышали, но объяснить смысл последних его слов тоже не могут. Говорят, что, наверное, пулемет сдал в бою, поэтому он так и сказал.

Со своей стороны замечу: очень важно, чтобы пулемет имел большую зону обстрела, то есть стрелял в любую сторону, куда хочешь. Над этим мы, Борька, позже подумаем.

Остаюсь твой друг и приятель. А над клеєм не смейся.

Будущий авиатор и ас *Костя*.

Все это время Борис был занят на субботниках по восстановлению поврежденного пожаром корпуса института. Студенты таскали на чердак стропила, настилали полы, делали рамы, вставляли окна.

Навыки, приобретенные в ремесленном училище, пригодились Борису.

Дни и ночи он пропадал на стройке, здесь спал и ел. И рабочие, присланные на помощь студентам, почтительно титуловали его «товарищем десятником».

Вернувшись как-то домой, он нашел на столе новое письмо от Кости. Написано оно было на странице, вырванной из какой-то книги, между печатных строк.

«Вчера,— писал Костя микроскопическими буквами,— наши ребята сбили, наконец, очень аккуратно машину фирмы «Фарман». На этой машине оборудована специальная высокая площадка, на которой установлен пулемет «гочкис». Благодаря этой башне наблюдатель имеет полную круговую зону обстрела. Но из-за этой же башни летчик лишен возможности делать фигуры высшего пилотажа. И поэтому его легко сшибить. Учти.

Помощник бортмеханика, известный вам ваш друг

Костя.

После ремонта в институте снова начались занятия.

Нужно было наверстывать потерянное время, и Борис целиком отдался учебе.

Но пришло третье письмо. Начиналось оно сразу поделовому:

«На моем самолете пулемет бьет через пропеллер благодаря особому механизму — синхронизатору. Выстрел происходит в тот момент, когда лопасть пропеллера проходит мимо дула пулемета. Правда, иногда механизм отказывает и от пропеллера остаются одни щепки. Поставил пока на лопасти броневую защиту. Имеется у них один жучок. Летаёт он на «хевеланде» с 37-миллиметровой пушкой. Пушка у него, говорят, расположена в развале цилиндров мотора фирмы «Испано-Суиза». А ствол пушки вставлен в полый вал редуктора, на котором вращается пропеллер. Думаю этого жучка сшибить, и тогда все устройство опишу тебе подробнее. У него выстрелы происходят каждые три секунды. Вот я во время этого интервала и ударю. С приветом.

Костя».

Взволнованный письмами Кости, Борис в тот же вечер уселся за чертежную доску с намерением одним махом вычертить схему необыкновенного пулемета. Но, измарав несколько листов ватмана, он убедился, что таким способом ничего путного сделать нельзя.

У Бориса возникли сразу две фантастические идеи: создать термический и химический пулеметы.

Вместо ударного механизма он предполагал вделать в замок нечто вроде паяльной лампы, пламя которой должно было пульсировать и своим прикосновением взрывать капсюль в патроне, после чего и происходил бы выстрел. Это был термический пулемет.

Принцип химического пулемета заключался в следующем: вместо паяльной лампы с узким пламенем устанавливался пульверизатор, тонкой струей подающий особую жидкость, которая, попадая в бескапсюльное отверстие патрона, воспламеняла бы порох.

Находясь в состоянии величайшего возбуждения от своего замысла, Борис хотел немедленно сообщить Косте о своем открытии и не сделал этого только из одного опасения, как бы его письмо не попало в руки шпионов.

Как о величайшем секрете, он поведал Нефедову о своем изобретении, ожидая восхищения и похвал.

Нефедов спокойно выслушал, потом долго задавал различные вопросы, и, когда Борис не смог на них ответить, Нефедов серьезно сказал:

— Вот что, Скворцов, ты думай над этим, выйдет у тебя или не выйдет. Война — дело серьезное, и инструмент, которым на войне пользуются, должен действовать безотказно, иначе человек жизнью расплачивается. А твои горелки и брызгалки — дело ненадежное... Так вот...

Удрученный, Борис ушел от Нефедова.

Но разочарование, постигшее его, было полезным: оно заставило отнестись к работе серьезнее.

С жадностью Борис копался в библиотеках, выискивая в старых комплектах журналов снимки, заметки, содержащие описание авиационного оружия. И хотя все эти материалы относились ко времени империалистической войны, Борис почерпнул немало полезного.

Он научился по снимкам с почти неразличимыми контурами узнавать конструкции пулемета и, дополняя все это своим воображением, вычерчивал их схемы.

Пулемет «максим», действующий путем отдачи, пулемет «гочкис», действующий специальным поршнем, приводимым в движение газом, — все это идеи двигателя внутреннего сгорания. Это Борис уяснил для себя твердо. Задача такого двигателя сводилась к цели выбросить за минимум времени максимум металла.

Но все искания Бориса, направленные к тому, чтобы заставить этот двигатель работать более интенсивно, чем «максим» или «гочкис», не приводили ни к чему.

Совершенная простота технической идеи этих двух пулеметов подавляла Бориса. И он в отчаянии уже готов был полностью признать в своем бессилии.

Однажды, когда Борис решил уничтожить все чертежи, сломать деревянные макеты пулеметов, наполнявшие его комнату, и в совершенном ожесточении признать в своей полной бездарности, в эту тяжелую минуту, полную отчаяния и боли, в комнату постучали и сказали, что его кто-то спрашивает.

Борис вышел в кухню. В кухне стоял незнакомый военный. Назвавшись, он сказал, что выписался из госпиталя, и передал Борису записку.

Записка была от Кости. Костя просил навестить его.

В тот же день Борис пошел в госпиталь.

Костя сидел на койке, опираясь спиной на пухлую подушку. Костлявое лицо обтянуто синеватой кожей, шея, как у ошипанного цыпленка, тонкая, жалкая...

Борис с трудом узнал его.

Костя, слабо усмехнувшись, сказал:

— Это меня тот жук подшиб. Помнишь, я тебе писал о нем? Подавился мой «максим» на самом интересном месте. Тут он меня и... — Костя сделал выразительный жест.

Потом он громко спросил:

— А с машиной как у тебя?

Борис ничего не мог ответить.

— Ну, ладно, — успокоил его Костя, — поправлюсь — разберемся. Я сам сначала думал, что это раз-два -- и готово.

Сиделка принесла на подносе в толстых фарфоровых чашках какао.

— Ты пей, — угощал с гордостью Костя, — мне оно надоело, я бы кваску выпил. — Наклонившись над тумбочкой, он вынул мешочек сахару и, протягивая его Борису, щедро просил: — Ты больше клади, не стесняйся!

Подождав, пока Борис выпил всю чашку, Костя сказал:

— А знаешь, о чем Иван Павлыч хотел в своем последнем слове сказать? — И, притянув слабой рукой голову Бориса к себе, одними губами произнес: — Нужна длинная очередь, чтобы, как пилот, шаркнуть по всей трассе. Понял? — и торжествующе откинулся на подушку.

Пришел врач. Он подошел к Косте и вежливо сказал:

— Товарищ командир, время для посещения кончилось.

Борис при слове «командир» восхищенно оглянулся на Костю.

— Ну, ладно, иди! — равнодушно согласился Костя. Но, задержав руку Бориса в своей, он тихо попросил: — Ты выйди, а потом вернись, как будто забыл чего-нибудь! — И, слабо улыбувшись, добавил: — Я так обрадовался, что ты пришел, посиди еще!

С каждым новым посещением госпиталя, с каждым новым разговором с Костей в Борисе все больше росла и крепла уверенность, что дело, на которое толкал его Костя, огромно.

— Ведь ты пойми, — говорил ему Костя, горячо дыша в лицо, — война кончилась, но ты не думай — так вот теперь все хорошо и будет. Нет, братуша, не воюют только с тем, кого боятся, кто сильнее. А нам нужно быть самыми сильными, чтобы нам не мешали. Ты вот хочешь стратоплан для дипломного проекта избрать, а его как из «гочки-са» ахнут, твой стратоплан, — одни щепки полетят. «Чем лучше сад, тем воры злее», — знаешь поговорку? Так вот, послушай! — Костя лез под подушку и, достав тоненькую

брошюрку, читал. Потом, показывая обложку, тихо и торжественно говорил: — Ленин. — И, словно оправдываясь, объяснял: — Если б я сам выдумал, а то видишь?

Костя пользовался каждым случаем, чтобы рассказать Борису подробности воздушных схваток.

И всегда у Кости выходило так, что победу одерживал тот, на чьей стороне было техническое преимущество.

— Раз я раньше по тебе огонь открыл, и длиннее у меня очередь, и пробойная сила больше, значит, я тебя сшибить должен, — безапелляционно заявлял Костя. — Здесь закон математики, ничего не поделаешь.

— Ну а личная храбрость, ловкость? — возражал Борис.

— Это все психология, — раздражался Костя. — Дон-Кихот тоже храбрый был, а насчет психологии, так я тебе просто скажу. Вильгельма Телля помнишь? Поставь его против меня с луком, так я хоть и мазилкой буду, а из винтовки с пятого выстрела ухлопаю, пускай он в тысячу раз меня и метче. Или возьмем Уэллса «Борьба миров»...

— Когда ты это все успел прочесть? — удивился Борис.

— Успел, — усмехнулся Костя. — В госпитале, ты что думаешь, только лекарства глотаем? Так вот представь, у нас завелись лучи, как у них, у марсиан, что бы мы тогда сделали?

Борис улыбнулся, вспоминая свои детские мечты.

— Мы бы, — продолжал горячо Костя, — все оружие со всего мира собрали, сложили в одну кучу и расплавили. После этого сказали бы людям мира: «При каком строе желаете жить: при коммунизме или капитализме?» Ну, те, понятно, что выбрали бы, а кто не захотел быть с нами — будьте любезны, либо работать, как все, либо на дикие острова, к обезьянам, для смеха, посмотрим, кто кого из них там эксплуатировать будет...

Потом Костя замолчал и после длинной паузы задумчиво проговорил:

— Конечно, у капиталистов свои техники есть — и неплохие. Насмотрелся я на их машины — зависть брала. Но только я так думаю: если у них там сто или тысяча изобретателей, то ведь наш рабочий класс больше капиталистов, мы можем выставить десять тысяч и сто тысяч изобретателей. Ведь это наше кровное дело — техника. Оружие нам, как никому, нужно. Значит, мы их в этом деле должны обязательно обставить! — И закончил своей

любимой фразой: — Тут уж ничего не поделаешь, закон математики.

Увидев на лице Бориса выражение тоскливого отчаяния, он поспешил утешить:

— Только ты, Борис, не огорчайся. Максим, знаешь, сколько над своим пулеметом работал? — И торжествующе заявил: — Двадцать лет. А ты сколько?.. Всего ничего. Значит, нечего нос вешать. Мы с тобой еще по-марсиански ударим. Помни: за мной право первого выстрела.

Воодушевленный Борис, возвращаясь домой, снова ночи просиживал над чертежами, мастерил макеты, скитался по библиотекам в чаянии напасть на идею, которая явилась бы толчком, послужила бы основой нового, необыкновенного оружия.

За это время Борис так основательно ознакомился со всеми существующими или существовавшими типами авиационного вооружения, что мог по крохотному намеку определить все конструктивные особенности машины. Но этого было еще слишком мало.

Открытие порой возникает так же, как кристаллы в насыщенном растворе: нужен совсем небольшой толчок для этого.

СПИРАЛЬНАЯ ТУМАННОСТЬ

Борису удалось найти работу в Институте торфяной промышленности. Здесь ему приходилось конструировать торфоотсасывающие, размалывающие, похожие на землечерпалки и огромные мясорубки механизмы. Но, сидя в конструкторском бюро института, Борис очень часто, вместо того чтобы работать над заданиями, принимался снова и снова вычерчивать схемы пулемета.

В результате в получку у него высчитывали за испорченный ватман и на руках оставалась одна мелочь.

Но Борис не очень огорчился этим. Основы будущей машины, действующей по принципу двигателя внутреннего сгорания, все точнее вырисовывались в его воображении. Работа поглощала все время, а учеба также требовала настойчивых занятий. Чертежный промысел не давал должного дохода. Сидеть на шее у семьи было стыдно. Борис поступил на временную работу — стендистом на Сельскохозяйственную выставку.

Сопровождая посетителей по выставке во всякую погоду, Борис простудился и сильно заболел ревматизмом.

Борис сидел дома. Опухшие ноги, засунутые в валенки, нестерпимо ныли.

По крыше стучал дождь, за окнами качались обтрепанные ветви деревьев.

Однажды Борис купил журнал «Вестник воздушного флота». Листая его, он с разочарованием увидел, что почти весь номер посвящен Сельскохозяйственной выставке.

И только на последней страничке журнала Борис натолкнулся на короткую статью, касающуюся авиации.

Это была заметка об изобретении моторного автоматического авиационного пулемета голландским ученым профессором Фоккером.

Не силой отдачи, не силой порохового газа, а с помощью передаточного механизма, приспособленного к валу мотора самолета, осуществлялась перезарядка пулемета со скоростью, почти равной вращению вала мотора.

Этот автоматический пулемет давал до тысячи двухсот выстрелов в минуту. Имя Фоккера для Бориса Скворцова и раньше было связано с машинами, изящными, сильными, прекрасными, как парящие птицы.

Новое открытие ученого потрясло Бориса.

Он не знал, что ему делать. Он растерялся.

Что мог противопоставить он, Борис Скворцов, студент Ломоносовского института, неудачливый изобретатель, этой совершенной смертоносной машине, грозно перевернувшей все основы принципов автоматике оружия?

В ощущении внезапно возникшей беды, которую нужно скорее предотвратить, Борис с ожесточенной отрешенностью от всего в жизни погрузился в работу.

Бесчисленное количество конструкций вступало в бесчисленные комбинации. Но решение не находилось.

Надеяться на случайную удачу? Нет!

Борис понял, что выход из тупика, в который он зашел в своих исканиях, мог быть только один: создать самостоятельную, новую, оригинальную теорию автоматике и с помощью ее решить поставленную задачу.

Нужно начинать все сначала, нужно искать первооснову законов движения.

В лаборатории гидравлических установок при Тимирязевской сельскохозяйственной академии Скворцову предложили взять работу по проектированию водяных турбин.

Работа была исключительно сложной и требовала напряжения всех сил, но Борис ни на минуту не переставал думать о своем пулемете.

Часто вместо турбинных лопастей перед глазами у него стояли детали иных механизмов, и, чтобы отделаться от этих навязчивых мыслей, Борис оставлял чертежную доску и шел в библиотеку.

Выбрав какую-нибудь книгу, он садился читать.

Как-то он вынул из шкафа объемистую книгу, посвященную вопросам мироздания, проблемам небесной механики. В этой, как ему казалось, отвлеченной области Борис хотел найти временный отдых от своих напряженных исканий.

«Движение воды в улитках турбины по спирали, движение туманностей по спирали, образование туманностей — все это явления одного и того же порядка».

Этим строками начиналась первая страница книги.

Крутящийся поток в турбине, гигантское космическое образование, в тысячи раз превосходящее по величине Солнечную систему, одинаково подчиняются общим законам механики!

Что же это?

Борис встал. Он схватил графин, налил в стакан воды, но не стал пить, а, подойдя к раковине, вылил воду себе на голову и снова бросился к книге.

«Движение по спирали есть самое простое и совершенное», — читал дальше Борис, еле дыша от волнения.

Он подошел к окну, толкнул раму. Окно раскрылось.

Ночь, полная звезд, стояла над Москвой.

Борис встал во весь рост на подоконник, ноги его дрожали. Потом он сел, свесив ноги наружу. Он ничего не хотел сейчас видеть, кроме раскрывшейся перед ним синей глубины. Голова горела, хотелось пить.

И вдруг Борис поднял руку и раздельно продиктовал в пустоту неба:

— Формулы движения спиральной туманности и воды в турбине объединить! Создать общую формулу поступательно-вращательного движения!

Он вскочил, встал на подоконник ногами.

Уборщица с веником замерла в дверях. Лицо ее было испуганно, словно она увидела привидение или самоубийцу.

Борис прыгнул в комнату и пробежал мимо уборщицы вниз по лестнице, стуча каблуками.

Уборщица вышла на площадку.

— Оглашенный! — крикнула она. — Кепку забыл!

Борис остановился, задумчиво посмотрел на уборщицу и серьезно сказал:

— Хорошо! Теперь я применю ее.

И, открыв дверь, выскочил на улицу.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Изобретать — это значит мечтать. Но мечтать так, чтобы расстояние от мечты до дела было самым кратчайшим.

Хирам Максим работал над своим пулеметом свыше двадцати лет.

С момента открытия Сковрцовым формулы поступательно-вращательного движения, выведенной им из теории движения спиральных туманностей и примененной к автоматике скорострельного оружия, прошло почти три года.

Все детали механизмов машины были рассчитаны. Но главного — конструкции деталей в их взаимодействии — еще не было создано.

Линии чертежа невесомо и бесшумно ложатся на бумагу.

Но если бы эти схемы со всеми бесчисленными вариантами облеклись в металл, дом и двор Сковрцова были бы погребены под гигантской многотонной кучей стальных обломков.

Уравнение, ставшее принципом автоматики, железная формула его превратилась для Сковрцова и в друга, и в тирана.

Сооружение, подчиняясь указанию цифр, складывалось в сухой и точный скелет механизма. Но стоило привести его в движение, как какая-нибудь крохотная косточка детали перемещалась — и все сооружение бесшумно и грозно рушилось.

Катастрофы следовали с жестокой закономерностью. И наступали они в тот момент, когда, казалось, труд достигал своего завершения.

Борьбу за создание пулемета Борис Сковрцов вел в полном одиночестве. С глазу на глаз с чертежами.

Он не мог ни к кому обратиться за помощью или советом.

Его открытие уже не принадлежало ему. Оно стало государственной собственностью. Он отвечал перед страной за сохранность тайны, заключенной в формуле. Разглашенная формула уничтожала грозную силу оружия.

Мучительно медленно обростала машина деталями. Уже некоторые соединения деталей действовали безукоризненно. Но это были только части механизма, до машины все еще было далеко.

Как-то он получил письмо от Кости из Средней Азии.

Костя работал в авиаотряде по борьбе с басмачами. Очень кратко он сообщал:

«Во время самумов мельчайшие частицы пыли реют в воздухе так высоко, что проникают в машину. Пыль прилипает к маслу, покрывающему детали пулемета, и превращается в густую мастику, которая тормозит работу пулемета, стирает его части, как наждаком. На земле температура достигает шестидесяти градусов. Масло испаряется или вытекает. Пулемет заедает после этого. Бывает, вылетая из сильной облачности, машина и вооружение покрываются обильной влагой. На большой высоте под действием низкой температуры пулемет обмерзает. Если покажется противник и пулемет откажет — конец. Учти».

Борис учитывал и это, снова меняя расчеты механизмов.

Наконец на исходе третьего года проект единственного в мире автоматического сверхскорострельного пулемета был готов.

Вычертив на кальке схемы в нескольких экземплярах, Скворцов отослал чертежи в учреждение, ведавшее военными изобретениями.

Но странно: чувство сожаления, чувство утраты от расставания с делом, ставшим таким родным и близким, приносившим столько горести и наслаждения трудом, — эти чувства сопровождали радость завершения работы.

Борис приступил к дипломному проекту в институте.

От жадности он взял себе одновременно две темы: проект гидросамолета и авиамотора.

Как хорошо было работать над этими проектами, читать богатейшую литературу, консультироваться с профессорами! Но та дисциплина, которая сковывала до сих пор Бориса в его работе над пулеметом, заставляла его иногда неожиданно замолкать на полуслове при ответе профессору или во время занятий в лаборатории института. Он машинально забирал с собой черновики расчетов и тщательно уничтожал их, хотя в этом не было никакой нужды.

Студенты, подметив в Скворцове эту странность, частенько подсмеивались над ним.

О судьбе своего пулемета Скворцов не беспокоился. Он передал его государству, и государство само знает, как теперь поступить.

Он защитил оба проекта и получил звание инженера.

АВТОТЕЛЕГА

Этот мотор шел.

Он брал верхнее «ля» и тянул эту ноту до бесконечности, с непостижимой чистотой и силой.

Заграничный гастролер солировал на стенде Научного автомоторного института, изумляя окрестных жителей и восхищая конструкторов, толпившихся у стенда.

Окружная скорость концов лопастей пропеллера превышала скорость звука.

Лист бумаги, втянутый в сверкающий нимб, рассыпался тончайшей лапшой от стремительных секущих ударов лопастей.

Шедевр иностранной техники поступил на пробу к нам в ту пору, когда во дворе НАМИ копошился слабеньким мотором, чихая и кашляя, давясь горючим, первенец советского автостроения автомобиль НАМИ-1.

Старший научный сотрудник Анатолий Игнатьевич, прозванный в институте «Денди», спасая ладонью пробор на голове от потоков воздуха, нагнетаемого пропеллером, патетически сказал:

— Сокол, прилетевший в курятник. Не правда ли, братья азиаты? У меня лично такое ощущение.

Александр Микулин и Владимир Климов переглянулись. Это было очень обидно. Но равного этому авиамотору в Советской стране пока еще не было.

Микулин не выдержал. Он подошел к Анатолию Игнатьевичу и громко крикнул ему на ухо:

— Этого сокола мы заткнем за пояс, будьте уверены!

— Буду уверен, что нет,— огрызнулся Анатолий Игнатьевич и ушел с таким видом, словно превосходство фиатовского мотора над нашим было его личным превосходством.

Скворцов, поступив в Научный автомоторный институт конструктором, с горечью убедился, что далеко не один Анатолий Игнатьевич придерживается мнения, что соперничать с иностранной техникой бессмысленно, нужно

взять самое простейшее и бесспорное у иностранцев и освоить. Но многие, прежде всего молодежь — Микулин, Климов и другие, — настаивали на использовании последних образцов иностранного моторостроения, но не для бездумного копирования их, а для того, чтобы извлечь лучшее из иностранного опыта и на этой основе создать оригинальный и более совершенный собственный советский мотор.

В одной из наших газет была напечатана большая статья, посвященная вопросу состояния автотранспорта в СССР. Основываясь на том, что Россия — страна отсталая, непривычная к технике, автор предлагал вместо современного автомобиля снабдить страну автотелегой.

Эта статья вызвала взрыв справедливого негодования.

— Мы должны ответить. Коллективно ответить! — кричал Скворцов, наклоняясь через стол к Анатолию Игнатьевичу.

Кто-то вскочил и стал стучать о пол табуреткой. Кто-то кричал:

— У вас у самого, Анатолий Игнатьевич, есть склонность экспериментировать по методу: что не от Европы, то от нечистого. Так ведь?

— Почему климовский мотор до сих пор не пошел в серию?

Анатолий Игнатьевич встал, лицо его осунулось и потемнело, нос вытянулся.

Он постучал вилкой по горлышку графина.

— Я вынужден, товарищи, — проговорил он хрипло, с усилием моргая веками, — я вынужден, товарищи... — И вдруг фистулой выкрикнул: — Я требую прекратить эти демагогические выходки против нашей прессы. — И, уронив стул, спотыкаясь, устремился к выходу.

Скворцов говорил собравшимся вокруг него встревоженным конструкторам:

— Мы им такую автотелегу покажем!..

— А вы попробуйте, отвезите ваше письмо с протестом в редакцию на НАМИ-1, — там вас похвалят, обрадуются, что так удачно и быстро реализовали идею автотелеги.

Скворцов оглянулся:

— Мы это письмо можем и на НАМИ-1 отвезти, а за ответом, увидите, на какой машине приедем.

На следующий день Анатолий Игнатьевич вызывал к себе всех конструкторов поочередно и, улыбаясь, просил

забыть инцидент и даже разрешил молодежной группе приступить к разработке новой конструкции автомашины, с учетом всех достоинств выдающихся марок иностранных фирм.

Скворцов тоже включился в этот коллектив. Возбужденный, радостный, полный воодушевления, он возвращался домой.

Дома он нашел в своей комнате на столе пакет с сургучными печатями. Он вскрыл его дрожащими пальцами. На глянцевиной бумаге с внушительным титулом официального бланка значилось:

«Проект вашего пулемета не заслуживает внимания как фантастический».

...Появилось сообщение о перелете через Атлантический океан. Качества необыкновенной машины вызвали у всей молодежи института восхищение.

— Ну-с, молодые патриоты, что вы на это скажете? — с такими словами вместо приветствия вошел в чертежный зал Анатолий Игнатьевич и, усевшись на стул, положив ногу на ногу, покачивая сверкающим ботинком, вопросительно посмотрел на конструкторов. На этот раз возражать было действительно нечего.

Молчал Микулин. Он уныло разглядывал серое небо в просторном окне чертежного зала. Разве он знал, что спустя несколько лет на его, микулинских, моторах Чкалов и Громов совершат перелеты через Северный полюс в Америку, перелеты, которые потрясут весь мир... Климов, нагнувшись, завязывал шнурки ботинок.

— Нужны века, — торжественно и протяжно произнес Анатолий Игнатьевич, откидывая руку за спинку стула, — нужны века, чтобы воспитать в человеке эту изысканную культуру естественного проникновения в сложную технику современной машины. — Потрогав пальцем воротничок, он продолжал усталым голосом: — Там особая наследственность, передающаяся из поколения в поколение, здесь...

Скворцов, зло, исподлобья следивший за медлительными, плавными движениями Анатолия Игнатьевича, вдруг громко сказал:

— Здесь особая твердая уверенность, что перекрыть полет через океан удастся, несмотря на существование некоторых личностей, которые всеми силами стараются помешать этому.

Тишина.

Анатолий Игнатьевич поднялся, взял стул, поставил его перед собой и, облокотившись на его спинку, как на кафедру, раздельно проговорил:

— Я старый инженер, я знаю, что такое подлинная техника, я знаю, что такое техническое невежество, я борюсь с ним, а вы...

Анатолий Игнатьевич вышел из зала с трясущимися плечами.

Скворцов смотрел ему вслед растерянно и взволнованно.

Неужели он ошибся и оскорбил человека?

Дружба сблизила Скворцова с академиком Крыловым, одним из самых выдающихся математиков нашей страны.

Крылов консультировал в «Нефтесиндикате».

Как-то Скворцов прочел в газете о пожаре нефтехранилища. Потрясенный величиной бедствия, он стал исследовать причины возникновения пожаров нефтехранилищ. Пожары возникали потому, что в нефтехранилище накапливались легко воспламеняющиеся испарения. Если заполнить свободное пространство цистерны каким-нибудь нейтральным газом, например азотом, то этот газ будет служить защитной оболочкой горючего. В нефтяную цистерну, заполненную инертным газом, можно бросить зажженную спичку — и она погаснет.

Крылов одобрил проект Скворцова и предложил ему работать по совместительству в Нефтяном институте.

Как приятно было заниматься в мирной тишине кабинета, как радостно было слышать одобрительные замечания Крылова, просматривавшего аналитические работы своего молодого ученика!

Уложенные в папки, эти работы стояли плотными рядами в книжных шкафах.

Но как трудно было осуществлять задуманное!

Разве перелет через океан не был новым жестоким напоминанием Скворцову о той грозящей опасности, которую несут в себе эти чужие мощные крылья? Пулемет Фоккера был таким же суровым напоминанием.

И вместо того чтобы снова идти к Крылову беседовать о новом проекте — проекте подводного крыла, придававшего кораблю парящую скорость корабля-птицы, волшебного полувоздушного фрегата, Скворцов пошел в Центральный Комитет партии, решив добиться там своего во что бы то ни стало.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

— Партия говорит...

— Я знаю, что говорит партия, — сказал инспектор Комиссии партийного контроля. — Что вы хотите сказать?

— Это и есть то, о чем я хочу говорить, — с отчаянием огрызнулся Скворцов. — Партия говорит, что наша страна должна быть индустриальной. А армия — это не страна? Армия не должна быть индустриальной?

— Продолжайте!

— Мы должны бить техникой. Знаете, кто это сказал? К кому это относится?

— К вам.

— И к вам.

— К нам в первую очередь.

— А чем мы будем бить фоккеровские пулеметы?

Инспектор выдвинул ящик, вынул оттуда пакет и, положив его на стол, сказал:

— Думаю — вот этим.

Скворцов, опешив, смотрел на знакомые, потрескавшиеся сургучные печати.

— Машина заслуживает внимания. — Инспектор начал перечислять ее достоинства.

Скворцов с замирающим сердцем слушал: речь шла о его собственной машине.

— И такая машина будет? — спросил он шепотом.

— Такая машина будет. Подождите. Куда же вы?

Поднявшись из-за стола, инспектор остановил Скворцова у самой двери.

— Да ведь все в порядке теперь! — радостно воскликнул Скворцов.

— Не совсем. Вы что же, не хотите закончить своей работы?

Инспектор Комиссии партийного контроля усадил Скворцова в широкое кресло и рассказал историю, как проект пулемета был разыскан в архивах военного наркомата и принят для дальнейшей разработки.

Скворцов шел по Гоголевскому бульвару, прижимая руку к карману, где у него лежала путевка на один из оружейных заводов. Там он должен был сделать эталон своей машины.

Печальный Гоголь сидел в своем кресле, кутаясь в толстые складки бронзового плаща. Круглая луна беспечно катилась по зеленому небу.

А Скворцов все шел и шел мимо деревьев, роняющих листья горького осеннего цвета, мимо площадей, освещенных огнями, мимо домов с окнами, украшенными яркими цветами абажуров.

И он уже жалел, что выбрал кольцо «А», а не «Б», которое вдвое длиннее: можно было бы ходить хоть до утра и подробно обдумать все детали будущей работы.

ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ

У этого города должна была бы быть такая эмблема: стальной щит, пересеченный полями из сверкающей эмали и выпуклой бронзы, по краям пистолеты, клинки и ружья; грозные острия штыков ограждают посреди зеленого поля чудесный сад, полный цветов и деревьев, изваянных из тончайших лепестков стали...

Ибо это один из наших древнейших городов, гордо несущий веками славу усердного оружейника своего народа.

До сих пор на улицах города можно видеть старинные, поздrevатые черного чугуна решетки вдоль безводных каналов. А когда-то каналы эти были наполнены шумной водой, приводившей в движение деревянные колеса, которые, в свою очередь, крутили станки, высверливающие в стальных болванках длинные отверстия — дула ружей.

Необыкновенные искусники оружейного ремесла живут здесь.

Они ведут свою родословную от древнейших мастеров, они соревнуются со сказочным искусством старинных оружейников и создают новое оружие, о котором складываются новые легенды.

Вот в этот-то город и приехал Скворцов работать над своим новым пулеметом.

Отдел опытных работ помещался в кирпичном приземистом флигеле, черные чугунные решетки толстой паутиной опутывали окна здания.

Сквозь глубокие, как крепостные амбразуры, ниши свет проникал внутрь узкими пучками.

Оружейники рассматривали чертежи Скворцова с нахмуренными, недовольными лицами. Эти люди хорошо умели скрывать свои чувства — они испытывали сейчас не оружие, а его творца.

— Ну как, товарищ, недельки за две сможете первый экземпляричк сострять? — обратился к Скворцову какой-то высокий с колючими усами человек.

— Какое две неделки! Он за одну сделает... Товарищ молодой, энергичный! — поддержал его другой, которого все звали Фаддеичем, и непонятно было, фамилия это или прозвище по отчеству.

Потом Фаддеич умильно сказал:

— Собственно, остались одни пустяки. Только сделать! Но ведь это и без вас слесари могут.

Скворцов встал, молча подошел к столу, свернул чертеж, перевязал тесемкой, медленно обвел глазами конструкторов и произнес раздельно:

— Я приехал сюда, чтобы сделать машину. Год, два, десять — сейчас меня такая арифметика не интересует. Подсчитаем после, когда машина будет готова.

— А товарищ для нас подходящий, — заявил Фаддеич.

Высокий, худой, с колючими усами сдержанно заметил:

— С другим характером за такое дело браться нельзя.

Присутствовавший при этой сцене изобретатель, чьим именем было названо немало оружия, тут же предложил Скворцову перебраться к нему на квартиру.

Богатейшую коллекцию оружия имел Федор Васильевич. Поставив перед собой масленку, он нежным шепотом произносил:

— А вот мы вас сейчас свежим маслицем попотчует! — и ласково протирал детали чистейшими тряпочками.

— Что муха? — говорил обидчиво Федор Васильевич, когда при нем упоминали о каком-нибудь снайпере. — Пускай муха капнет — мой Колька и в этот пункт попадет. У нашего у всего семейства зрак орлий.

У него был также какой-то необыкновенный шомпольный дробовик. Федор Васильевич рассказывал, что он по рассеянности забил однажды в дробовик тройной заряд. И когда выстрелил, то увидел, что ствол раздулся, почти как пузырь, и снова, мгновенно сжавшись, принял обычную форму. Вот из какой упругой стали был сделан этот ствол!

— Не верите? А что вы скажете на это?

В цехе с полукруглым сводчатым потолком, с чугунными плитами вместо пола старики в кожаных фартуках, с зелеными от льняного масла бородами и руками ударами молотка выпрямляли кривизну ствола — кривизну, которую можно было установить лишь с помощью самого сложного измерительного прибора. Разве не орлий глаза были у этих мастеров и не волшебны были их руки, когда они простым коловоротом, несколькими оборотами его,

придавали патроннику те качества, которые потом оснащали это оружие снайперскими свойствами, или, как принято у них говорить, свойствами гвардейского оружия?

Увидев все это собственными глазами, человек готов был поверить и в дробовик, ствол которого раздувается, как пузырь, и снова принимает натуральную форму благодаря необыкновенной, фантастической своей упругости.

Целыми часами простаивал Скворцов за верстаками граверов и, как замороженный, любовался их сказочным мастерством.

На замках охотничьего ружья люди эти изображали эпизоды охоты, полные дивных подробностей. На крошечном пространстве стали разыгрывались здесь целые сцены: охотник, убивший дичь, хвастливо крутил усы; тончайшим брабшихтелем, инструментом, уменщавшимся в ланках пинцета, вычерчивали мастера зримый лишь через стекло лупы каждый волосок этих усов. Но мало того — картинки получались цветными. У охотника был красный камзол, синяя шляпа, розовое перо. Серая борзая бежала по зеленой траве, и белый заяц скрывался в черных кустах, голубая река плыла вдали, а облака фарфорового цвета висели в лазури неба.

Эти краски добывались из стали. Сталь сама окрашивала себя. Металл при накаливании покрывается пленкой окиси, так называемыми побежалыми цветами. Цвета эти зависят от различной температуры накаливания. Выжимать огнем из стали краски — разве это не фантастика?

И часто в порыве восхищения Скворцов восклицал:

— Вы же настоящий художник, Авдеич! О вас книги писать надо!

Авдеич молча дул на стальную пластинку, потом говорил:

— Вот сын у меня — это художник по технической части. А я — так, людям для удовольствия! — и, осторожно повернувшись на своей высокой табуретке, замечал строго: — Нам не писанки теперь нужны, нам оружие строгое надо.

ЭТАЛОН

Может быть, в этот день следовало надеть новый костюм, какие-нибудь особенно красивые ботинки, пригласить духовой оркестр, с шумом раскупорить пузатую

бутылку шампанского, послать приветственную телеграмму или хотя бы выспаться накануне как следует?

Ничего этого не было.

Накануне Скворцов не спал всю ночь. Уже на рассвете он стоял у дверей цеха и, ежась от пронизывающей сырости, ждал гудка.

Нет людей, более ревностных к своему труду, чем изобретатели. Нет людей, более нетерпеливых и беспокойных, чем изобретатели оружия.

Скворцов хотел все делать сам.

Он сам хотел вырезать все детали механизма из стали, доводить их до блеска на шлифовальных кругах, вымерять штангенциркулем, закалять в огне, первым выкупать в масле, первым собрать и, заложив ленту, нажав гашетку, первым услышать голос своего детища.

Мгновение, когда из стали была вырезана первая деталь будущего пулемета, — это неповторимое мгновение не было отмечено ничем.

Мастер Аниканов, не обращая внимания на изобретателя, заложив в станок кусок металла, искося, через плечо, поглядывая на рабочий чертеж, включил ток; острый резец, облизывая болванку, выбросил первую голубоватую сияющую ленту.

За соседним станком примостился Скворцов. Он не покинул станок на время обеденного перерыва, и, когда гудок провозгласил окончание работы, Скворцов не мог оторваться от него. Уборщицы с сердитыми лицами возили возле его ног мокрыми тряпками, в цехе было безлюдно и темно, а Скворцов, склонившись над резцами, потеряв чувство времени и места, зачарованно следил, как видимые когда-то только мысленным взором очертания механизма приобретали форму, вес, твердость.

Каким-то обостренным чувством Скворцов научился различать малейший подозрительный скрежет металла, доносящийся именно с того станка, за которым изготовлялись детали его пулемета. И он бросался в противоположный конец цеха, чтобы узнать причину этого скрежета. Видя озабоченное лицо токаря, который обтачивал части его машины, Скворцов терзался подозрением, что у этого человека дома какие-нибудь неприятности и он не будет работать с нужной тщательностью. Скворцов настойчиво выспрашивал токаря о причине плохого настроения, готовый всем, чем можно, помочь ему.

А сколько было мук с металлом! С почти болезненной подозрительностью Скворцов относился к каждому вып-

тику; соскабливая тончайшую стружку, бежал в лабораторию и там испытывал здоровые металла, его поро-дистость, силу его и свойства.

В эти дни для Скворцова все сосредоточилось в машине. И когда в его присутствии говорили о чем-нибудь постороннем, не относящемся к работе, он смотрел на людей изумленными глазами, не в силах постичь смысл их слов.

— Так нельзя, Борис Гаврилович, — говорил механик Батов, — ты же совсем израсходуешься, береги силы!

— За меня не беспокойтесь, — коротко бросал Скворцов и мчался в кладовую добывать с бою лучшие резцы, которые кладовщик, скопидомничая, выдавал с большой неохотой.

И наконец все детали были изготовлены. Они лежали, новенькие, аккуратные, синевато поблескивая на чистом ложе верстака.

Механик Батов и Скворцов приступили к сборке.

Сборка происходила в тишине, в той многозначительной тишине, которая бывает лишь в операционной.

Сухощавая, стройная машина стояла на станке.

Бережно и торжественно машину отнесли в тир. Скворцов встал перед ней на колени и вдернул ленту. Потом, взявшись за ручки, оглянулся на своих товарищей. Те молча кивнули головами.

Скворцов нажал спуск.

Прозвучал одинокий выстрел — и все. Больше ни единого выстрела, хотя изобретатель изо всей силы вжимал палец в холодное железо спуска.

Пулемет молчал.

Скворцов поднялся с колен, движением руки стряхнул пыль с брюк и тоскливо и виновато посмотрел на Батова.

Батов, спокойно выдерживая этот взгляд, сказал просто:

— Что-то не так подогнали, нужно посмотреть.

И пулемет, снова расчлененный, лежал на досках грудой мертвой стали.

И снова расчеты, и снова цех. И снова новые и новые груды деталей...

Началась весна. Ветер, прилетавший из-за леса, приносил теплые и теркие запахи. Снег бурно и быстро таял.

Подпочвенная вода проникла сквозь стены старого подземного тира и затопила его. Новый роскошный тир, сияющий бетонным цоколем, еще не был готов.

Скворцов вместе с механиком сколотил из досок плот и на этом плоту, плавающем в черных водах подземного

тира, установил свой пулемет. В тире должны были проходить длительные испытания эталона.

С первых же выстрелов в тире разлетелись от детонации лампочки, с хлопанием попадали в воду осколки стекла. Заплесневевший потолок находился так близко над головами людей, что им приходилось передвигаться на своем хлипком плоту в полусогнутом состоянии.

В густой темноте, непроницаемо черной, словно заключенные в гигантский слиток угля, Скворцов и механик ощупью заряжали машину.

Холодная, скользкая сырость пронизывала насквозь. Зябнущие руки отогревали в перерывы о горячий ствол пулемета.

Пулемет работал так.

При медленном темпе из его ствола вылетало пульсирующее красное пламя. Темп ускорялся, и из ствола, как из дула паяльной лампы, вырастал почти неподвижный голубой усеченный конус фосфорического цвета.

Пулемет ревел на одной ноте; этот звук не был похож ни на какой другой; такой звук мог издавать только гигантский мотор, работающий на сверхскоростных оборотах, но не огнестрельное оружие.

Но пулемет неожиданно давился и смолкал то посредине, то в начале или в конце очередей, так и не дождав ленту.

Зажигали свечу, осторожно разбирали машину, тщательно запоминали, в каком положении заело детали механизма.

Удушливый угар горячим дурманом проникал в легкие, и голову начинало сводить судорожной болью. От холодной сырости ломило суставы. Тяжелые капли мерно падали с потолка в черную воду, и казалось — это отсчитывало секунды само неумолимое время.

Как прошло лето, Скворцов не заметил. Даже в жару он ходил в валенках: очень болели от ревматизма ноги. Климат в затопленном, старом тире не менялся. С каждым новым днем в машине обнаруживалось все меньше недостатков, и тем придирчивее, тем основательнее и дольше продолжались ее испытания.

Перебрались в новый тир — теплый, просторный, с отличной вентиляцией, оборудованный всевозможной измерительной аппаратурой. Здесь уже можно было не надевать полушубка и шапки, и для Скворцова началась весна, хотя на улице была уже осень.

Горячее, еще не остывшее солнце висело над лесом, окрашенным в яркие горячие осенние цвета.

В один из выходных дней Николай, сын Федора Васильевича, пригласил Скворцова прогуляться с ним за город.

Скворцов вначале и слышать не хотел. Худой, с провалившимися глазами, с темными, въевшимися в кожу пятнами от пороховой копоти, он не мог похвастаться свежестью своего вида.

Истратить целый день на глупую прогулку — нет, никогда!

Николай, унаследовавший от своего отца горячий талант изобретателя, понимая неистовую душу оружейников, пустился на хитрость:

— Да я тебя, Борис, в часть хочу сводить. Тут от нас недалеко. Зайдем на полигон, с людьми поговорим.

И Скворцов согласился.

За городом было чудесно.

Борис как будто все увидел впервые: глядя на соседний лесок, он даже заметил, как молодые деревца вежливо раскланились с пролетевшим мимо ветром, а холодные, как лягушки, лужи — не любят ветра, они любят тень и тишину — поморщились, когда пролетел ветер.

Увидев, что Скворцов улыбается, Николай спросил удивленно:

— Ты что?

— Так, — ответил Борис, — хорошо очень!

Через час они прошли в расположение части. Николая все здесь отлично знали и встретили радушно.

На полигоне постреляли в цель из винтовок, но красноармейцы из снайперской команды оказались куда искуснее.

Тогда Николай обидчиво предложил:

— Вы из пулемета в фитиль зажженной свечи попасть сможете?

Красноармейцы заинтересовались, добыли огарок, зажгли его и поставили в пустой будке, чтобы пламя не задул ветер, а дверь оставили открытой.

Стали стрелять. Конечно, никому не удалось попасть в пламя свечи и загасить его. Нашлись искусники, которые перебивали самую свечу. Но этого Николай засчитывать не хотел, утверждая, что нужно именно погасить свечу. И когда все стали говорить, что это невозможно сделать из пулемета с одного выстрела, Николай присел к машине и стал тщательно целиться. Скворцов увидел, что Николай

незаметно вытащил из кармана патрон, принесенный из дому, и вогнал его в ленту пулемета. Сковорцов недоумевал: зачем это ему нужно?

Грянул выстрел, пламя свечи, срезанное вихрем, погасло.

Все с восторгом окружили Николая, прося повторить номер. Но Николай, снисходительно улыбаясь, говорил:

— Хватит, хорошенького понемпожку. Вот научитесь стрелять сначала, как мы, оружейники, а после снайперами называйтесь!

Николай уходил с полигона, как главнокомандующий уходит с парада, сопровождаемый свитой почтительных адъютантов.

Возвращались обратно ночью. Белая расплющенная луна торчала в небе. Листья на деревьях висели, как черные тряпочки, туман заполнил овраги.

Сковорцов сказал:

— А я не знал, что ты так хорошо стреляешь.

Николай остановился, посмотрел на него и расхохотался.

— Хорошо? — переспросил он. — Да я боялся, что в дверь не попаду, а мне бы только в дверь попасть.

Вынув из кармана патрон, он протянул его Сковорцову и объяснил:

— Видишь, пуля наискось просверлена. Воздух в канальце попадает, и такое завихрение образуется, что не только свеча, а целый костер погаснет, если на метр от него такая пуля пролетит.

Через неделю Сковорцов с Николаем снова побывали в части. Придя на полигон, они увидели, что на месте будки лежит куча щепок. Очевидно, снайперы не могли примириться с преимуществом штатских, хотя бы и оружейников, и, продолжая опыты со свечой, разбили будку.

На этом прогулки кончились. Обильные снега засыпали город, началась стужа, метели, зато в новом тире было тепло, уютно, и работалось здесь необыкновенно хорошо.

СЛУЧАЙ НА ПОЛИГОНЕ

Всю зиму пулемет Сковорцова стучал в новом тире. Каждое утро на рассвете уборщица сгребала в кучу гору стреляных теплых гильз и складывала их в ящик. А Сковорцов с механиком шли в цех, где «дожимали» отдельные детали механизма.

Пулемет мужал и креп в своей непрерывной огневой тяжелой работе.

Федор Васильевич частенько навещался в тир, справляясь о «темпике». Он подолгу сидел, прислушиваясь к грозному реву машины. И однажды, когда машина работала особенно хорошо, а ключ от отделения блиндажа, где стоял темпометр, находился у механика, Федор Васильевич, не выдержав, снял пиджак. Он просунул свое тело в узкое отверстие амбразуры, исчез в нем. Через несколько секунд его голос, придавленный тяжестью броневых стен, прозвучал глухо, словно из подземелья:

— Борис Гаврилович, или темпометр врет, или твой пулемет. Но это же не темп, это сплошной посыл какой-то. Я даже не понимаю!

Взволнованный, он не мог выбраться обратно из блиндажа и только совал свою руку в амбразуру, чтобы поздравить Скворцова с победой.

И снова наступила весна.

Пулемет решено было испытать на открытом полигоне.

Батов вызвался отобрать капсюли для будущих испытаний, чтобы ни одной заминки не могло случиться из-за патронов. Это была изнурительная работа. Крошечные, как плоские чечевичные зерна, капсюли нужно было осмотреть, отсортировать и отобрать из них несколько тысяч штук.

Через два дня Батов пришел в тир с опухшими, красными веками и темными пятнами под глазами. Но выражение лица его было счастливым: в зеленой глянцевиной коробке лежали отборные медные зерна.

Полигон уже успел покрыться свежей зеленью, яркой и удивительно нежной. Желтые цветы одуванчиков на круглых стеблях покачивались под тяжестью шмелей. Небо было прозрачное, как озеро.

На огромных толстых столбах из вековых стволов деревьев лежал навес полигона, поддерживая толстую земляную насыпь.

Белые мишеньки, прижатые к щитам, казались с дистанции по своей величине не более листка бумаги, вырванной из блокнота.

Оружейники расположились на краю рва и вели отвлеченные разговоры, не имевшие никакого отношения к предстоящим испытаниям. Они даже не смотрели на стоящий на костлявых сошках пулемет.

Это особое безразличие почиталось правилом хорошего тона: нельзя было волновать и без того взволнованного конструктора.

Федор Васильевич нюхал желтый одуванчик, пахнувший медом. Авдеич рассказывал про свой дробовичок, которым он снял как-то с лету сразу трех уток и ни в одной из них не нашел дробин. «Насквозь бьет, вот это ружьецо!» — говорил он, обводя всех восхищенными глазами.

Николай лежал на спине и глядел в небо.

Представитель Наркомата обороны и Батов разговаривали об урожае, словно они всю жизнь были колхозниками и урожай для них сейчас — самое главное.

Скворцов возился у пулемета. Руки у него дрожали. Пытаясь победить эту дрожь, он старался все делать медленно и аккуратно.

Где-то далеко в лесу кричала кукушка.

Скворцов взялся за ручку пулемета, обвел глазами зеленое пространство полигона, посмотрел в сторону насыпи, где расположились оружейники, вздохнул, как вздыхает человек, стоящий на вершине обрыва, готовясь прыгнуть в неизведанную пучину, и нажал спуск.

Стопущий рев машины, протяжный, переходящий в сплошную, не существующую в музыкальной азбуке ноту, пронзил и заполнил собой все пространство.

Все вскочили и замерли, устремив глаза к щитам, к мишеням.

И вдруг вся гигантская насыпь, лежавшая на настиле, поддерживаемом толстыми бревнами, дрогнула и рухнула, погребая под собой мишени, с хрустом сокрушая щиты.

Когда пыль осела, оружейники подошли к месту, где раньше находился настил. Столбы, поддерживавшие его, были перерезаны пополам, подобно тому как перерезает механическая пила стволы многовековых деревьев.

Скворцов вытирал с лица пот и виновато улыбался.

Торжественно и молчаливо озабоченные члены комиссии возвращались с полигона на завод.

Вечером Скворцова спросил директор завода:

— Это вы сломали настил?

— Я,— застенчиво согласился Скворцов.

— Молодец! — сказал директор и протянул ему руку, но, быстро отдернув ее, сказал: — Но все-таки это безобразие! — И тут же с гордостью заявил: — На моем заводе

слабосильных машин не делают, в этом я могу вас заверить! — Он открыл стол и вынул оттуда разрешение на запуск эталона в серию.

Директор несколько раз прошел по кабинету, потом остановился и задумчиво сказал:

— В Центральном Комитете уже знают о вашем пулемете.

Сердце Скворцова сжалось. И почему это так бывает: когда человек ощущает себя безмерно счастливым, в это мгновение ему не хватает для дыхания даже всего неба?

Скворцов опустил на стул.

Директор отвернулся и стал смотреть в окно, хотя там не было ничего интересного, кроме ночи, блещущей звездами.

ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ

При серийном производстве пулемет Скворцова стал вести себя в точном соответствии с законом больших чисел.

Выдающиеся достоинства машины обернулись грозным бедствием для ее механизма.

Машина, казалось, уничтожала самое себя бешеной энергией темпа, заключенного в ее конструкции. Части деталей ломались вдребезги, не в силах выдержать сверхъестественного напряжения.

С каждой новой машиной темповые достоинства пулемета сказывались со все возрастающей силой, с каждой новой машиной эти скорости нащупывали новые и новые слабые точки в механизме и крушили их с жестокой беспощадностью.

Скворцов вступил в единоборство с собственным детищем.

Теперь он имел дело не с эталоном, а с целой армией порожденных им машин, грозно и озлобленно вступивших в последнюю борьбу со своим творцом.

Его пулеметы, нетерпеливо глотая, давясь от жадности, рвали матерчатую ленту обычного пулемета.

Скворцов сконструировал цепную металлическую ленту, которая могла полностью насытить прожорливую машину.

Но машина, как заколдованная, каждый раз останавливалась на сто десятом выстреле.

Снова бессонные ночи в тире; и вот выяснилось, что у капризного больного повышается температура — от нагревания ствол его расширяется и ровно после сто десятого выстрела вытянувшийся ствол заклинивает затвор. Новое крепление ствола — и все в порядке. Нужно не забывать, что температура газа в стволе достигает 2500 градусов.

И вдруг снова загадочное число — и одна из пружин каждый раз при этом числе выстрелов ломается.

Скворцов перепробовал все. Он делал пружины, похожие на свитки буферных пружин; он использовал берилловую бронзу квадратного профиля; он выпрашивал у Федора Васильевича разрешение соскоблить тончайшие стружки из пружин многочисленной коллекции его оружия; обжигая руки кислотами, он просиживал до рассвета в лаборатории, но решение не находилось.

Машина по-прежнему выбрасывала горячие осколки пружины и замолкала. Немота машины в холодном каземе тира, бессонные ночи поисков приводили Скворцова в отчаяние.

И как-то после длительных безрезультатных испытаний Скворцов заснул в тире у еще теплого пулемета.

Ему приснился сон, очень далекий, пришедший из детства. Ему приснился велосипед. Он шел рядом с велосипедом, он ощущал дуновение переливающихся спиц и заносил ногу, чтобы сесть на седло, и пружины...

Борис проснулся. В тире было холодно, свет выключен экономным сторожем; угольная, непроницаемая тьма заполнила длинные своды туннеля тира. И он увидел... да, увидел! — эти пружины велосипедного седла, увидел так, словно они висели в воздухе, они трепетали, содрогаясь, и были свиты из стальных волокон.

Он вскочил и стал стучать ногами в дверь.

Пробежав мимо сторожа, бросился в цех. И, найдя своего механика, заикаясь от возбуждения, Скворцов подробно описал, какой должна быть пружина.

Пружина, свитая из пучка стеблей проволоки, оказалась живучей и сильной, и никогда больше пулемету не удавалось сломать ее.

Но истребляющая энергия машины с каждым новым приростом своей мощи отыскивала новые слабые места.

На этот раз слабым местом оказался ударник. Ударники ломались, как спички. Металлические шпеньки, выточенные из стали самых высших марок, ломались, не выдерживая напряжения, как будто они были сделаны из дерева.

На этой крохотной и очень простой детали машина решила дать еще один жестокий бой своему творцу.

Яростную удасть разрушения не удавалось смирить ничем. Самые настойчивые поиски, самые оригинальные решения не приводили ни к чему.

Крохотный шпенек — копейка ему цена — вырос в гигантскую проблему, могущую разрушить весь труд, обратить замысел автора против него самого или заставить его снизить темп, то есть сдаться, или... И вот это «или» и не находилось.

Шли пустые дни.

Приходить на завод, видеть внимательно ждущие лица товарищей, выслушивать соболезнующие советы...

Скворцов находился в состоянии глубокого душевного уныния.

В одно из воскресений, когда завод и лаборатория были закрыты, Скворцов скитался по городу, угнетенный одной-единственной мыслью.

Он выбрался за город и шагал по проселочной дороге неведомо куда. Большой пятитонный грузовик промчался мимо него, обдав грязью. Но вот грузовик неожиданно остановился перед хилым деревянным мостом. Шофер, высунувшись из кабины, недоверчиво разглядывал дощатый настил. Скворцов решил выждать, пока грузовик переедет через мост. Очень медленно машина стала вползать на мост, доски настила со стоном гнулись под толстыми колесами, но машина все упорнее продолжала свой путь и наконец выкатилась на дорогу. Освобожденный от тяжести грузовика настил выпрямился, и с моста посыпались в воду подброшенные комья грязи.

Скворцов несколько минут стоял, глядя на мост, потом резко повернулся и пошел обратно, и чем дальше шел, тем быстрее, в городе он уже не шел, а бежал к заводу, не обращая внимания на удивленных прохожих.

Был выходной день, завод не работал. С трудом ему удалось упросить охрану пропустить его.

В темном цехе, ремонтируя станок, копошился старик механик. Как к своему спасителю Скворцов бросился

к нему. Волнуясь, он рассказал старику об эпизоде с грузовиком и как пришла ему мысль придать ударнику эластичность, подобную той, что присуща настилу досок моста, — тогда за счет этого механического резерва ударник сможет выдерживать нужную нагрузку.

Ток был выключен. Поочередно дергая руками за ремень привода, они крутили станок и фрезеровали на нем новый ударник. Шесть часов. Шесть изнурительных часов заняла эта работа.

Потом вдвоем со стариком они пошли в тир и приделали к пулемету новый ударник. И пустили пулемет на полную мощь огня.

Ленту за лентой пожирала машина, ни на мгновение не останавливаясь. К утру возле машины выросла огромная теплая куча стреляных гильз. В увлечении своем и молодой ученый, и старый оружейник не знали меры.

Они испытывали в эти часы подлинное вдохновение. А вдохновение и счастье — разве это не одно и то же?

Огромное весовое количество металла, выходящее из ствола пулемета с безумной скоростью, с немыслимой температурой и под большим давлением, стирало стенки канала так, словно он каждый раз подвергался действию закаленного, алмазно-твердого сверла.

Но Скворцов и здесь быстро нашел решение. Его давно занимала проблема хромирования металлов. И он решил хромировать каналы стволов в своих машинах.

Сверхтвердая пленка металла предохраняла стволы от изнашивания, от ржавчины и быстрого окисления. И если в ствол пулемета Скворцова посмотреть, как в подзорную трубу, вы увидите канал, сверкающий каким-то необычайным светом, в котором каждая пылинка на стенке видна, как бактерия под микроскопом.

Это была еще одна победа.

И машина, приобретая с каждым разом все новые качества, становилась еще могущественнее, еще сильнее.

Но Скворцов, памятуя коварные свойства закона больших чисел, теперь сам предусмотрительно выискивал слабые места машины, чтобы закон этот не мог больше властвовать над его пулеметом, а пулемет в своей конструкции сам сделался бы законодателем новой теории автоматизации скорострельности.

Так и случилось.

Снег, сухой и колючий, как песок, вихрь, мчался по бесконечному полю.

Ветер дул не переставая, пронизывая насквозь стужей. Казалось, что ты стоишь, погрузившись по горло в ледяную воду, движимую бешеным течением.

Красный самолет, с коротким туловищем и сильными, по-птичьи изогнутыми крыльями, стоял посреди поля, покачиваясь, словно переминаясь с ноги на ногу: это ветер толкал его.

Проваливаясь по пояс в снег, люди снаряжали машину к полету.

Мотор работал со стонущим ревом. Растворившись прозрачным нимбом, пропеллер нагнетал шквалистый воздушный поток; снег позади машины, подхваченный этим потоком, крутящимся смерчем уходил в степь и там опадал пылью.

На крыле машины, вцепившись в распорки, стоял Скворцов. Шла последняя проверка работы синхронизатора.

Грохочущий ураган ледяного пламенного воздуха хлестал твердыми струями. Тело уже не болело от этих ударов, оно оцепенело и стало пустым, и нужно было собрать все усилие воли, чтобы сделать самые простые движения. И когда последняя регулировка была закончена, Скворцов не спрыгнул с крыла, а просто свалился вниз.

Подошедший механик озабоченно зачерпнул горсть снега и стал оттирать им лицо Скворцова. Потом он вскарабкался на крыло и начал заряжать пулеметы. Но скрытые холодом руки плохо слушались.

Раздался короткий одинокий выстрел, и пуля, оставляя в воздухе длинную ленту дыма, промчалась в поле.

Механик с бледным лицом спустился на землю и стал дуть на посиневшие пальцы, зажав под мышкой меховые рукавицы и виновато улыбаясь.

Дверца кабины открылась, показалась коренастая фигура летчика. Он быстро шагнул на крыло, нагнулся над люком и зарядил пулеметы. Сбросив газ, он крикнул:

— Замерзли, сиротки?

— Замерзли, товарищ Чкалов, сил нет! — лязгая зубами, ответил механик.

— Борис Гаврилович, а вы бы в будку пошли, отогрелись, пока я кувыркаться буду.

— В будку? — усмехнулся Скворцов. — Ну нет, этого дня я, Валерий Павлович, очень долго ждал. Какая тут может быть будка!

Чкалов, пожав плечами, наклонился над приборами, поднял руку, дал газ. И машина, покачиваясь на сугробах, покатила вперед, оставляя на снегу широкий след от своих лыж.

По этим следам пошли за машиной и люди, но идти им долго не пришлось: машина, все сильнее набирая скорость, вдруг перестав подпрыгивать, оторвалась от земли и круто вонзилась в небо.

Пулемет Скворцова сдавал последний государственный экзамен в воздухе. И Чкалов, непреклонный в своих жестких и высоких требованиях к машине, испытывал его.

Но этот день испытаний пришел не сразу.

Могущественная энергия, заключенная в пулемете, прежде так изматывавшая его самого, теперь грозила разрушением самолету.

Сила отдачи могла оторвать у самолета крылья, разбить вдребезги центроплан. Нужно было победить эту силу. И таким победителем явилось сложное амортизационное устройство, это оно гасило бешеные удары отдачи.

Было еще много работ, связанных с установкой пулемета на машину. Об этих работах, хотя и очень интересных, как говорят оружейники, «лучше всего помолчать».

Скворцову надоело брести в снегу, словно в сухом и зыбком болоте. Он сел и, подняв голову, стал смотреть вверх, где под сводом неба билась и кувыркалась машина, оснащенная его пулеметами.

Это был Чкалов. Блистательный каскад эволюций сменялся гневным рокотом мотора, когда летчик тряс машину и с жестокой силой бил ее о воздух. Пулеметные ленты, уложенные в ящиках спиралями, питательные рукава, сами пулеметы в эти мгновения испытывали на себе то, что испытывал бы любой предмет, понавшийся в лавину, несущуюся с грохотом со склона горы.

Это продолжалось бесконечно. И вдруг самолет, сделав крутой боевой разворот, на бреющем полете устремился к кромке леса, и от машины протянулись по воздуху зеленые, синие и розовые дымящиеся тропы трассирующих пуль. Чудовищно длинная очередь заглушила своим протяжным трепетным ревом рокот мотора. И еще не смолкло

эхо грозного рева, как машина снова бросилась в небо и снова начала метаться, как бы оплетая самое себя петлями и бантами. Разгоняясь на полном газу, она ударялась из всех сил о толщу твердого воздуха. Падала вниз спиной, как падает пловец, и только у самой поверхности земли, скользяще нырнув, снова вспархивала вверх и там вступала в рукопашную борьбу с незримой своей тенью.

И снова боевой разворот — и снова по направлению кромки леса протягивались цветные струи чудовищно длинных очередей огня.

И так это продолжалось очень долго, но ни разу, приближаясь к темнеющей кромке леса, машина не возвращалась оттуда, не выставив воздух шелковыми лентами дымящихся трассирующих пуль.

Круглое солнечное пламя уже гасло за краем снежного поля. Небо потемнело и стало пятнистым от розовых облаков.

Сделав последний разворот, машина, как с крутой стеклянной горы, скатилась на поле аэродрома. Люди, ковыляя по снегу, бежали к ней.

Чкалов вышел из кабины. Движением плеч сбросил с себя парашют, шагнул к Скворцову, взял его холодную руку своей рукой, широкой и теплой, и негромко сказал:

— Спасибо!

— За что? Это тебе спасибо, Валерий Павлович!

Чкалов положил тяжелую свою руку на плечо Скворцову и, идя с ним рядом, произнес с глубоким волнением: — С твоими машинками мы теперь полные хозяева неба. Сквозь такую завесу огня ни одна машина не прорвется.

— А ты прорвешься? — спросил Скворцов.

— Я — другое дело! — гордо ответил Чкалов. Потом, спохватившись, добавил: — Ты счастливый, изобретатель! Открыватель! Народ тебя помнить будет.

— А ты не изобретатель?

— Я? — Чкалов серьезно, задумчиво посмотрел в небо, потом, подняв руку, показывая вверх, спросил: — Вот был я там — кое-что делал. А где след? Видишь — пусто, хотя бы пылинки осталась...

Медленно зажигались звезды. Ветер стих, и снег блестел, словно эмалированный.

В теплой будке, где собрались члены приемочной комиссии, Чкалов, отбрасывая падающую на лоб прядь волос, широко расставив локти, подписывал акты испытания.

Всю дорогу, пока ехали с аэродрома обратно в Москву, Чкалов молчал, сунил, и только когда уже появились огни города, похожие на гигантское созвездие, Валерий Павлович, притянув Скворцова к себе, прошептал:

— Борис Гаврилович! А ведь я тоже кое-что надумал!

Но что он надумал, сказать ему сейчас не удалось, так как машина уже остановилась у подъезда его дома.

ИСПЫТАТЕЛЬ

Всю неделю бушевал буран.

Семь дней бешеный белый ветер со свистом и гиканьем гонял по степи тучи. В сумеречном воздухе крутились ключья снежного пуха и перьев. И только твердые сосны в защитном одеянии, выстроившись повзводно у опушки березового леса, охраняли березки от бешеных ударов вьюги. Даже самые сильные толчки вьюги не могли нарушить сплоченного соснового строя, и, чуть покачнувшись, сосны тонко, насмешливо звенели. Наконец ветер занемог и обессилел; ворча, он зарылся в сугробы.

Пришел другой ветер — ветер юга.

И началась оттепель.

Дороги и тропинки в лесу потемнели и набухли. А мокрый снег уже не был косматым и пышным — он лежал тощим пластом и таял.

Вокруг деревьев обнажилась земля, и деревья стояли, как в чашах, — мокрые, продрогшие.

Но внезапно тихо вновь прокралась стужа.

Снег окаменел, вода окаменела, и все стало неподвижным, стеклянным, хрупким, безмолвным.

На гладком льду реки появились перистые кустики кристаллов — они назывались «корабликами». А березки, обледеневшие, походили на хрустальные люстры.

Ставший сухим воздух прозрачно и широко распахнул небо. Стояла тишина, сверкающая, необыкновенная.

И вдруг с тихим шелестом спустилась нежная снежинка, за ней другая, третья.

В чистоте, в свежести рождались они. И земля сделалась красивой, мохнатой и пышной.

Весь полигон был занесен этим снегом, и снег под лучами утреннего холодного солнца переливался самоцветами.

На линии огня была протоптана в хрустящем, как яичная скорлупа, снегу узкая тропинка. На тропинке выстроились десятки машин с синими узкими стволами.

Ни одна из этих машин не походила на другую. Каждая имела свои отличительные качества и свойства. И сегодня им предстояло после продолжительного огневого единоборства или стать оружием, или, сложив свои кости в ящики, уйти снова в опытные цеха конструкторских бюро.

Скворцов с механиком стоял возле своего пулемета.

Привычное чувство волнения и беспокойства было сегодня каким-то особенно острым. И хотя эта новая его машина являлась лучшей из всего уже многочисленного поколения пулеметов Скворцова, сегодня ей предстояла новая ответственная дуэль.

Дерзкое и пытливое племя советских оружейников выставило сегодня на арену только победителей, только — если так можно выразиться — чемпионов мира.

На утопанной снежной тропинке стояла стальная когорта лучших из лучших.

Фарфоровая, хрупкая тишина лежала на поле.

Снег цвета неба и небо цвета снега создавали такую широту и необъятность земного простора, что у человека захватывало дыхание и кружилась голова.

Испытания машины начались с правого фланга.

Пулеметы ревели, и вдоль поля вытягивались узкие ленты трассирующих огненных троп. Снег был исчерчен полосами.

Каждая машина имела свой собственный тембр голоса, но все эти голоса были протяжны, могущественны, и ни один из них, бесконечно вытягивая излюбленную ноту, ни разу не дрогнул на ней.

Все ближе и ближе подходили люди к левому флангу, где находился Скворцов со своим пулеметом.

Вот уже последняя машина, задрав высоко в небо узкое свое горло, с ликующим ревом выписывала в облаках дымные разноцветные вензеля.

Скворцов присел к своему пулемету.

Машина редела, выстилая в воздухе узкие струи трассирующих троп огня.

Снова и снова она с чудовищной силой вонзала в пространство яростный клинок огня.

И только когда в небе стали вспыхивать звезды, а снег сделался совсем синим и сосны, стоявшие навтыжку, превратились в сплошную стену с зазубренными высокими башнями, испытания закончились.

Новая машина Скворцова была принята на вооружение.

Прошло немало лет.

На столе, освещенном мягким зеленым светом, лежал тяжелый кусок брони. Посредине стальной плиты имелась круглая вдавленная пробойна; с обратной стороны этого отверстия металл выпер рваными лохмотьями.

Какая сила могла пронзить этот металл, о который гнулись самые сверхпрочные сверла?

И почему Борис Гаврилович Скворцов, изобретатель сверхскорострельного автоматического пулемета, с таким возбуждением и радостью рассматривает стальной обломок, с усилием приподнимая тяжелую плиту, хотя величиной своей она не превышает размера обычного формата книги?

Разве мог огонь пулемета пронзить эту плиту, если бы даже целый час бронебойные пули стучались об ее броню? Обычный пулемет не мог бы... Но автоматическая сверхскорострельная пушка Скворцова с одного попадания пробивала толщу сверхпрочной стали навывлет.

Новое грозное, могущественное оружие, конструкцией своей выведенное также из принципа небесной механики, встало на охрану безопасности советского неба.

Скворцов вынул футляр с приборами и начал замерять отверстия в броне, длину маслянисто-гладкого пробойного канала.

— Борис Гаврилович, вас спрашивают.

Скворцов прикрыл стальной обломок абажуром с лампы и недовольно поднял голову.

В дверях стоял военный и улыбался.

— Костя!..

...На улице уже светало, а друзья все не могли наговориться, хотя постели были давно постланы и шел третий час ночи.

Самолеты стояли на снегу, поставленные на широкие лыжи. Моторы машин работали на малом газу. Потоки воздуха, нагнетаемые пропеллерами, казались смертоносными на этом сорокапятиградусном морозе.

Крылья машин, покрашенные в белую краску, сливались со снежным покровом.

Механики, подставив под машины козлы, проверяли работу убирающихся шасси, очищали детали механизмов вооружения от густой смазки, промывали их бензином, потом снова покрывали незамерзающей смазкой и насухо вытирали.

После нескольких минут такой работы они бежали к паяльной лампе и отогревали сведенные стужей пальцы.

Тут же происходила набивка патронов в ленты. После набивки ленты эти пропускались через уравниватель и укладывались тяжелыми рядами в ящики. То была очень деликатная операция, требующая большой точности и сноровки.

Нужно было уложить ленту так, чтобы при самом легком усилии она выскакивала оттуда, как змея, свившаяся в спираль, выбрасывает самое себя черной стрелой.

Прозвучал сигнал боевой тревоги.

Летчики бежали к машинам, застегивая на ходу лямки парашютов.

После короткого разбега машина за машиной вонзались в небо.

Соединение выстроилось в воздухе клином и пошло навстречу врагу.

Это был третий вылет за сегодняшний день.

Две девятки новеньких самолетов, вооруженных каждый восемью пулеметами, разбившись на мелкие звенья, решили разрушить строй советских летчиков ударом с флангов.

Групповой бой завязался сразу на трех этажах неба.

Командир соединения, выбрав головной самолет противника, ринулся на него. Но враг, скользя на крыло, ушел в сторону. Здесь, вдали от гудящего клубка воздушной битвы, началось единоборство двух самолетов.

Выходя из различных фигур, противник каждый раз бил с длинной дистанции короткими очередями по самолету командира соединения. Но тот успевал увернуться от

дымящихся лучей трассирующих пуль и все ближе подбирался к противнику, и вот, когда расстояние сильно сократилось, машина, рванувшись на полном газу, ринулась в лоб врагу. Бешено ревущая, чудовищно длинная очередь огня заглушала все шумы битвы, и самолет врага в тех местах, где его фюзеляжа коснулись узкие цветные струи, стал распадаться на части. Словно отсеченное, падало крыло его, кувыркаясь в воздухе.

Это сливающийся в единый секущий удар пунктир пробоин разрезал машину на части.

Тактику секущего удара по трассе, одного-единственного удара, наносимого противнику при сближении, как наносят его кавалеристы клинком, — такую тактику применяли наши летчики, получив в свои руки этот длинный, нестигаемый клинок огня пулемета Скворцова...

Вслед за истребителями появились вражеские бомбардировщики; поблескивая стальной кольчугой, они скользко ринулись вниз, чтобы сбросить бомбы.

Командир соединения швырнул свою машину навстречу бомбардировщику. Не спуская взгляда с коллиматора, где в рамке прицела, в крестовине его нитей, запутался грозно растущий силуэт, командир нажал гашетку.

Орудийный залп, ударивший навстречу несущемуся с чудовищной скоростью бомбардировщику, пробил насквозь его кольчужное стальное тело.

Гигантская машина на мгновение, казалось, остановилась и вдруг в странной тишине стала разваливаться и многотонной грудой исковерканного металла посыпалась вниз.

Долго еще в воздухе кружились куски обшивки, черные клочья.

Советские летчики, разогнав и уничтожив противника, возвращались на базу.

За многие месяцы войны наши летчики накидали с неба на землю немало самых совершенных вражеских машин.

Приземлившись на аэродроме, устало скидывая с плеч тюки парашютов, летчики уходили в землянки, чтобы после работы, как следует поужинав, завалиться спать.

Возле одной из машин стоял молодой летчик, недавно прибывший в часть, и гневно допрашивал механика, почему он выдал ему неполный боевой комплект огнеприпа-

сов. Механик утверждал, что комплект был полный, а летчик, раздражаясь, повышал голос.

К спорящим подошел командир соединения. Выслушав жалобу летчика, он с улыбкой сказал:

— А ну, принесите сюда стволы пулеметов.

Механик, отвинтив стволы, положил их, еще горячие, на фанерный ящик.

Синяя сталь стволов была покрыта всеми цветами радуги: это были побежалые цвета, они свидетельствовали о том, что пулемет поработал как следует.

— Ну, что же вы скажете? — спросил командир летчика.

Тот виновато улыбнулся и, оправдываясь, сказал:

— Товарищ командир, ведь я только несколько раз гашетку нажимал.

— Но сколько, по-вашему, вы дали выстрелов?

Летчик назвал цифру.

Командир расхохотался, потом серьезно сказал:

— Это пулеметы Скворцова, тут не арифметика, а высшая математика огня. Теперь вы понимаете свою ошибку?

Командир подошел к машине молодого летчика и стал ее осматривать.

Несколько ребер на цилиндре мотора были отбиты вражескими пулями. А когда стали осматривать вооружение, оказалось, что пульей, пробившей питательный рукав, была заклинена пулеметная лента.

Но могущественная машина Скворцова не остановилась: оборвав заклиненную ленту, она достреляла из оборванного куска все патроны и этим, возможно, спасла жизнь молодому летчику.

Вытирая паклей руки, командир шел к землянке; он улыбался и что-то бормотал себе под нос.

Потом он остановился и стал писать в блокноте, вделанном в крышку полевой сумки:

«...Подумай, Борис, также об автоматическом указателе расхода боеприпасов, а то сегодня произошел такой случай...»

Так после каждого нового «испытания» командир эскадрильи, — а это был Костя, друг детства Скворцова, — давал новый технический заказ своему другу.

И он не сомневался, что этот заказ будет выполнен, потому что тот, кто в свое время мальчиком с московской окраины сделал самый лучший трехствольный пистолет, кто сумел потом мужественно и твердо пронести сквозь

всю свою жизнь любовь к настоящему труду, тот все может, а вещь, сделанная с любовью, всегда будет самой лучшей вещью в мире.

Командир быстро написал адрес:

«Москва.

Герою Социалистического Труда доктору технических наук Борису Гавриловичу Скворцову».

Константин Георгиевич запечатал письмо, закрыл сумку, прислонился спиной к стволу огромной ели, похожей на зеленую башню, и посмотрел вверх. Он увидел небо, широкое, просторное, чистое, наше небо, наш воздушный океан, где плавают наши могучие крылатые корабли.

1940

«...Ничего ужасного. И разве была твердая уверенность? Готовились-то к худшему!.. Так в чем же дело?.. Не удалось торжественно завершить работы задолго до срока... А сооружение водного перехода — это вам что, спектакль самодеятельности?..»

Еще накануне Балуев отдал приказание: если тысячетонная двухкилометровая труба не поддастся тяговым усилиям мощных тракторов,— разрезать и тащить по частям. Так чего же расстраиваться? Усталость?.. А если давно перевалило за полсотни и ощущаешь возраст как начало хронической болезни, к которой можно привыкнуть и даже забыть о ней, когда все хорошо?

Ну, а если плохо?

Тогда все становится тусклым, серым, и с едкой горечью думаешь о скверном, раздражающем в себе самом и в товарищах по работе.

— Нет, все-таки это ужасно! — сказал Балуев и испуганно оглянулся.

Сизые, влажные сумерки. Тонет в непроглядной мгле рабочая площадка... Угрюмо мерцают заполненные черной водой оттиски тракторных гусениц. Воздух набухает сыростью и становится тяжелым. А ведь только что был день — сухой, морозный, блестящий.

Небо полыхало голубизной.

Пророчески указанное в метеосводке похолодание точно совпало со сроком, назначенным для протаскивания дюкера ¹.

Вы что думаете, это так просто было сделать все к сроку? Превратить болото в рабочую площадку, уложить на нем бревенчатые подъездные пути, прорыть траншею, подобную каналу, в дряблом, раскисшем грунте? Заполнить

¹ Д ю к е р — участок трубопровода, прокладываемый ниже дна рек, оврагов и искусственных водных сооружений. (Примеч. автора.)

канал водой и удержать ее в песчаном, просачивающемся днище? Свезти сюда тяжеловесные стальные трубы, сварить их в нить протяженностью в два километра? Опресовать дюкер — под невероятным воздушным давлением испытать прочность каждого сварного стыка, зачистить эту нить до серебряного блеска, покрыть гидроизоляцией, бережно опустить стальную гигантскую кишку в канал, чтобы именно сегодня с ходу продернуть ее в подводную траншею, пересекающую полноводную реку? Выдержать натиск гневного течения, навечно прошить ложе реки трубопроводом, по которому будет мчаться тугим сиреневым потоком газ?

И весь этот водный переход надо закончить до того, как с обеих сторон реки подойдет наземная тысячекилометровая газовая магистраль, чтобы без промедления состыковаться с подводными дюкерами. Каждая мехколонна «трассовиков» проходит за сутки полтора километра. Нет большего позора для подводников, чем увидеть своими глазами, как неотвратимо приближается к ним наземная газовая магистраль. И этого до сих пор никогда не случилось. «Трассовики» подходили к водным преградам тогда, когда здесь уже не было подводников и стволы дюкеров высывались из берегов.

Шесть больших рек и множество мелких обнимают участок подводно-технических работ Балуюва.

Но этот переход оказался труднейшим. Заболоченная пойма простирается гиблым бесконечным болотом, дымясь кислым туманом.

Балуев решил остаться на этом водном переходе. Он снял всю ответственность с прораба и взял ее на себя.

И вот, когда по его команде дюкер, буксируемый стальными канатами, пополз из траншеи в реку, увлекаемый потоком воды, хлынувшим из траншеи с разъятой перемычкой, когда все, казалось, идет как по маслу, на том берегу что-то случилось. Буксирные канаты обвисли, ослабли, гигантская труба замерла. Траншея истекала водой, заткнуть ее перемычкой сразу не удалось. Вода прогрызла в ряде мест водонепроницаемый слой глины. Обнажились бездонные пески, вода уходила в них. В расщелины земных пластов пополз пливун. И когда бульдозером наваливали перемычку, вода сначала размывала ее, как кашу, потом стала проползать под нее, и, чтобы спрессовать, сдавить грунт, нужно было время и поистине виртуозное мастерство бульдозериста, чтобы в этой трясине создать преграду для воды...

Погас день, блещущий изморозью, голубым пламенем неба. Пыльного цвета сумерки почти мгновенно пропитали промозглый, сырой мрак ночи.

И вот Балувек украдкой бродит по опустевшей рабочей площадке, тяготясь одиночеством и одновременно испытывая необходимость остаться одному, чтобы тщательно, спокойно, вдумчиво оценить все случившееся, найти выход...

Размытая огромная траншея с обрушенными стенами зияла мраком, на дне ее лежал мертвой тяжестью полузасосанный размякшим грунтом, опозоренный, облепленный грязью дюкер, а пристропленные к нему бочки понтонов торчали в безводной глубине бессмысленно, уродливо.

Невидимая река выдыхала клубы тумана, и сизый дым его искрился снежной, осыпающейся порошей.

Было зябко, одиноко, тоскливо...

Не придумаешь более омерзительного места, чем эта заболоченная падь, превращенная в помойку химическими заводами, которые сбрасывают сюда, в отстойники, вонючую жижу.

И хоть бы расквашенная, расслабленная пойма полого сползала к реке! Так нет, чем ближе к воде, тем выше песчаный намыв, а у самого уреза — обрывистая круча. Участок выглядел как гигантское корыто, наполненное зловонной грязью.

Обычно проектировщики твердо придерживаются извечной истины: кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая. Здесь же, на этом участке, их уверенность поколебалась. Возник иной вариант — с обходом заболоченной пизины.

Ах, какую роскошную новую площадку наметили они для сооружения водного перехода! Курорт, великодушный песчаный пляж, золотистые ароматные сосны. Ну просто Рижское взморье! Ай да проектировщики!

Павел Гаврилович Балувек, начальник участка подводно-технических работ строительства магистрального газопровода, — человек многоопытный, волевой, не лишенный слабости ухватить иногда «про запас» лишнюю технику; правда, если уличали, возвращал ее по принадлежности... Так вот, ознакомившись на местности с новым проектом работ, Балувек пришел к воодушевляющему выводу: в таких благоприятных условиях он проложит дюкер на два месяца раньше срока, переход завершит с почетом и весьма существенной денежной премией.

Если в московской квартире Балугевых появлялись художественные изделия из магазина «Подарки», это означало: Павел Гаврилович совершил новый производственный подвиг. Он позволял себе отмечать такие события приобретением предметов искусства; их можно было рассматривать и как своего рода регалии, и как свидетельство добродушного, застенчивого, беспомощного вкуса.

Вручая премиальные суммы супруге, Павел Гаврилович всегда произносил одно и то же:

— А это тебе, Дуся, на всякий случай.

Ведя скитальческую жизнь строителя, Павел Гаврилович содержал себя на самой строгой денежной диете. Зато жена Павла Гавриловича по его настоянию купила себе в ГУМе беличью шубу, а цигейковую, почти новую, отдала дочери.

Водку Павел Гаврилович не пьет. Даже когда возвращается с работы озябший, вымокший. Но в компании, чтобы не приставали с уговорами, может выпить и даже считает это полезным. Почему? А вот, например, тросы.

Начальник соседнего участка Лужников после тоста за его выдающиеся производственные успехи поклонился к соседу и промямлил, расслабленный похвалами:

— А тросы знаешь где достаю? У нефтяников. Отслужат свой срок на буровых — списывают, а мне для протаскивания дюкера вполне годятся...

Через неделю запыленный грузовик привез две бухты пахнущего нефтью троса и на участок Балугева.

Лужников приехал ругаться. Павел Гаврилович по честному отдал одну бухту, но потребовал оплатить за счет участка Лужникова командировочные, а также вернуть израсходованное на поездку горючее.

— Попролам! — требовал Лужников.

— Нет, с вас полностью! — настаивал Балугев, испытывая торжество победителя.

Во всем этом, пожалуй, не было ничего иного, кроме желания показать свою «хватку»; хотя нужды в таком показе, собственно говоря, и нет, но хвастать друг перед другом этой хваткой хозяйственникам почему-то доставляет особое удовольствие.

Значит, как видите, Балугев не свободен от отдельных недостатков.

Павел Гаврилович считал: хозяйственник обязан быть психологом. Прибывая на новый объект, он непременно навещал местное начальство, но держался независимо, никогда заранее ни о чем не просил, а даже с этакой бес-

корыстной щедростью сам предлагал свои услуги: размыть земснарядом какую-нибудь мель, препятствующую местному судоходству, или пройтись бульдозером там, где районные власти мечтали начать строительство стадиона. Он посылал своих слесарей и монтажников в районную больницу и за два дня оборудовал там водопровод. Зато ко времени, когда на участке у Павла Гавриловича дело шло полным ходом, власть имущие, в свою очередь, с воодушевлением начинали оказывать ему полное содействие: без арендной платы разрешали пользоваться причалами, гостеприимно открывали для строителей двери местных культурных учреждений.

Редакция районной газеты, воспевавшая внезапное исчезновение мели на реке, появление нового стадиона и оборудование водопроводом больницы, с патриотической гордостью предоставляла свои страницы для корреспонденций со стройки и даже заботливо публиковала специальные статьи, посвященные вопросам сооружений водных переходов.

Многие товарищи соглашались с тем, что у Балуюева ум, что называется, «прицельный».

Ожидая, пока техника прибудет на новый объект, Павел Гаврилович ни разу не был на песчаном пляже, напленном здоровым ароматом сосны, где так счастливо определилось место рабочей площадки. Он предпочитал бродить в одиночестве по отвратительному болоту и, хотя надевал резиновые сапоги с голенищами до паха, возвращался с таких прогулок вонючий и мокрый, как утопленник.

Может, он посещал болото для утоления охотничьей страсти? Ну что вы, разве в такой гнили приютится хотя бы самая паршивая живность? Да и ружьишка у него не имелось. Была централка, полученная в премию, — отдал сыну. Так в чем же дело? И почему после каждой такой прогулки лицо Павла Гавриловича обретало все более тревожное и угрюмое выражение?

Коренастый и широкий в плечах, но уже обремененный брюшком, седовласый, с величественным тяжеловесным лицом, Павел Гаврилович выглядел очень внушительно.

Правда, штаны и пиджачок на нем подержанные. Надевая спецовку или ватник, Павел Гаврилович не расставался с галстуком, который завязывал толстым, широким узлом, отчего концы, сильно укоротившись, всегда вылезали наружу. Даже после самого тяжелого рабочего дня, в самых неподходящих условиях Павел Гаврилович

прежде всего мыл на ночь ноги. Эту укоренившуюся военную привычку он считал полезной и для строителя.

От постоянного пребывания на открытом воздухе цвет лица у Павла Гавриловича буровато-красный, голос сиплый, остуженный.

И хотя для начальника вовсе не обязательно все делать самому, Павел Гаврилович, если, допустим, возникла бы нужда, не хуже рядового сварщика мог сварить шов на трубе и, не уступая обычному трактористу, поработать на бульдозере целую смену. А если говорить о способности стойко переносить неудобства полевой жизни, то здесь Балусев отличала чисто солдатская сноровка: он умел выспаться до полной свежести, сидя в кабине грузовика; плотно пообедав ночью, чувствовал себя сытым весь следующий день; он знал, как можно зажженными обтирочными концами обогреться в тридцатиградусный мороз на льду реки, как вымыться с ног до головы зимой в палатке с помощью жестяного чайника и паяльной лампы. Года два Балусев просидел в главке за двухтумбовым конторским столом, уставленным роскошной канцелярской утварью. Поэтому, когда Павла Гавриловича спрашивали, не тот ли он Балусев, который занимал когда-то такой-то пост, Павел Гаврилович только загадочно и многозначительно улыбался с тем печальным достоинством, с каким улыбается пожилая женщина, когда в ее присутствии говорят, какой она раньше была красавицей.

В годы первой пятилетки стремительное, дерзкое выдвижение молодых кадров значительно опережало их опыт и знания. Одни понимали это и, будучи руководителями, не утрачивали ученического рвения, другие же в упоении головокружительными успехами приписывали себе то, что было порождено невиданными скоростями исторического процесса, и своевременно или с некоторым запозданием, но удалялись со своих вышек.

Итак, Павел Гаврилович когда-то тоже пережил и сладость взлета, и горечь падения. Но вспоминал он об этом периоде своей жизни хладнокровно, сожалея только об одном: что не успел получить высшее образование.

2

Балусев был из того поколения комсомольцев, которые в годину первого индустриального штурма стали строителями. Характерные черты таких людей угадываются сразу.

Теперь, много лет спустя, когда мы остаемся наедине с другом, нам нравится щеголять воспоминаниями. Мы хвалимся жизнью в обледеневшем снаружи и внутри бараке, супом из теплой воды и холодной воблы на первое и теплой воблы с холодным пшеном на второе. Мы упиваемся воспоминаниями о том, как зимой возили тачки с бетоном, накрывая его своими полушубками, как обогревали тепляками бетонные колонны и в мангалах сжигали доски нашего барака, взамен которого выкапывали для жилья землянку, и как нам приходилось отвечать потом за самовольное уничтожение жилого фонда.

Мы вспоминаем и о том, как беспощадны мы были в те времена к себе и другим, не зная снисхождения к отступничеству.

Двое наших ребят бежали со стройки, мы настигли их в заснеженной степи и до самого полустанка проводжали свистом. Потом на стене вагона, куда они забрались, мы написали мелом: «Дезертиры!» — и проводник, такой же парень, как и мы, выставил их из вагона, и другие проводники тоже не пускали их, и начальник «вокзала» — так именовалась дощатая будка — не разрешил им переночевать там до следующего поезда.

Они вернулись к нам обратно через двое суток — больные, промерзшие, и вскоре один умер от воспаления легких. В тот день мы все были на похоронах, но не этого парня, а Бориса Степченко.

Бориса завалило бетоном в несущей колонне. Он полез внутрь опалубки, чтобы пробить ломом застывающую бетонную массу. Степченко вырубил из бетона, и бетонные глыбы отваливались кусками с отпечатками вдавленного человеческого тела. Потом приехали родители Степченко. Мы показали им барачную улицу имени их сына, цех, в одной из колонн которого погиб Борис. Могила Степченко была размыта талым снегом, и мы собирались положить на нее плиту из первого металла первой комсомольской домны, но с пуском печи дело не ладилось. Погиб еще один наш парень, который спустился в шахту домны, чтобы подорвать там настыль. И на его могилу мы тоже хотели возложить плиту из первого металла.

Отец и сын Балугевы работали на стройке грабарами. Отец рассчитывал скопить на лошадь, но, поняв, как здесь трудно, уехал назад в деревню, прихватив полушубок и шапку сына: он отнял их у него, когда сын заявил, что остается на стройке.

Павел Балувев соорудил себе одеяние из мешковины, а когда мы достали для него ордер в ЗРК, он продал новую одежду на базаре и купил гармонь.

Ночью горел склад с горючим. Балувев полез в пламя и выкатывал бочки до тех пор, пока не упал без памяти. Он получил тяжелые ожоги, и мы гордились им — устроили митинг, а он выступил и сказал:

— Что же, граждане, одежда, сами понимаете, какая на мне. Чего ее жалеть, такую? Вот и полез в огонь. — Задумался и произнес сокрушенно: — В деревне керосина нет, лучину жгут, а здесь его полно в бочках. Какая же это смычка? Надо бы и мужикам в деревню отлить.

Он отказался лечь в больницу, не веря, что за время болезни ему будут платить, как и на работе.

Тощий, покрытый коростой, он угрюмо вязал арматуру по две смены подряд и стал ударником. Портрет его вывесили на Доске почета. Он глядел с нее злыми глазами, скулы торчали желваками, и, хотя фотограф заретушировал ожоги, лицо на фотографии осталось пятнистым... Балувев согласился вступить в комсомол, но когда узнал, что нужно платить членские взносы, сказал твердо:

— Не желаю! Хватит, в профсоюз собирают. Я думал, даром. А за деньги на кой вы мне сдались!

Если говорить о его стремительном преображении, то не только времени, штурмующему твердыни самых закореневших человеческих душ, был обязан Павел Балувев.

Арматурщица Дуся, хрупкая и решительная, озорная и застенчивая, вобрала в себя властную силу своего времени. Это она, дочь кровельщика из Ачинска, отважно выхаживала душу Павла, терпеливо снося деспотический эгоизм его мужицкой натуры, — недоверчивой, скрытной, но ничем не защищенной от самоотверженной доброты и нежности.

Да, Павел Балувев стал другим человеком. Но женился он на Дусе, пожалуй, из чувства долга и потом много лет страдал от уязвленного мужского тщеславия, сознавая превосходство над собой жены.

Это ее превосходство он чувствовал и тогда, когда вместе с ней учился на рабфаке и она помогала ему в учебе, и тогда, когда он учился в институте, а Дуся работала, одевала и кормила его на свои деньги. И когда он впервые стал начальником стройки, Дуся уберегла его от зазнайства в ущерб себе, своей любви. И тогда, когда Балувев ушел из главка, это его понижение как бы снова возвысило Дусю, потому что она утверждала: для того чтобы руково-

дить людьми, надо превосходить их знаниями, а не только характером. У Балуюева был властный характер, но без глубоких технических и научных знаний он мог быть только исполнителем чужих замыслов.

До войны Балуюев, да и все мы были моложе на восемнадцать лет. В главке Балуюева ценили за его беспощадность к себе, беспощадность, с которой он напрашивался на самые трудные стройки.

Он работал в Заполярье прорабом, ставил на берегу океана сооружения, нужные для обороны страны. Дусья работала в научно-исследовательском институте.

Была она тоненькая, худенькая, с большими тревожно-внимательными глазами, молчаливая и очень сдержанная. Только когда нервничала, у нее на руках и на высокой шее выступали багровые пятна и одно веко некрасиво вздрагивало. Но чем сильнее она нервничала, тем ровнее звучал ее голос и тем более тщательно она продумывала каждое слово, и фразы ее становились строгими и даже несколько книжными. Не менялись только глаза, цвет их не изменили и годы. Как и прежде, глаза у Дуси мерцали нежной вопрошающей мольбой, были чистые, как у подростка.

Возвращаясь домой в трехмесячный отпуск, обуреваемый жаждой вознаградить себя за все лишения, какие испытывал там, на Севере, Павел Гаврилович неизменно убеждался, что жена не может быть участницей беспечных развлечений на отдыхе.

Беспощадность к себе, которой так гордился Балуюев, была не в меньшей мере присуща и его супруге. Из памяти Евдокии Михайловны никогда не исчезала Дуська-арматурщица, коротко стриженная после обследования на вшивость, тощая, стыдящаяся ходить в баню оттого, что на ней мужское белье, и тело костлявое, и нет вовсе грудей, хотя ей уже и семнадцать лет... Конечно, она могла стать потолще, но обедала обычно без хлеба — пайковые буханки резала, сушила и сухари отсылала матери в Ачинск, также и сахар, и постное масло, и мануфактуру, которые получала по ордерам как ударница.

Но эта же скарредная Дуська щедро подписывалась на заем — на всю получку, а затем продавала с себя белье, чтобы оплатить обеденные талоны; она бросила брезентовые рукавицы парню, который «бузил», потому что не давали спецовок; вязала арматуру, оставляя лоскутья кожи на жгучих от сорокаградусной стужи железных прутьях. И когда в котлован зимой прорвался плывун, она не убежала, — стояла по пояс в ледяной зыбкой каше, в то время

как плотники, сидя на бревнах, терпеливо ждали, пока комсомольцы соорудят им подмостья, чтобы можно было сколачивать опалубку, не замочив ног.

Но чем больше преуспевала сейчас Балужева как научный работник в институте, тем сильнее росло в ней тревожное ощущение ответственности перед той Дуськой, которой она была когда-то и с которой не хотела расставаться до конца жизни.

Она любила ту Дуську и хотела, чтобы именно та Дуська, арматурщица, утверждавшая: «При коммунизме все люди станут такими хорошими и симпатичными, что даже невозможно себе представить», — и сделалась большим, чистым, прекрасным человеком.

Действительно, какой он, этот человек грядущего? Как узнать его черты, по каким признакам угадывать? А если попробовать внимательно и терпеливо взглядеться, скажем, в чету Балужевых: вдруг уже есть в них нечто такое похожее?

3

Евдокия Михайловна Балужева составила себе строгое жизненное расписание. Вставала в пять, занималась гимнастикой, в половине шестого завтракала, до восьми сидела над диссертацией, сорок минут в автобусе повторяла упражнения по грамматике французского языка, из института возвращалась в семь. Два часа помогала детям готовить уроки, до десяти снова диссертация. В постели читала, делала выписки. В двенадцать гасила свет и старалась, засыпая, думать на английском, который она уже знала очень неплохо.

В институте Балужеву уважали за поразительную настойчивую тщательность выполнения всех лабораторных заданий.

Но никогда она не могла преодолеть благоговейной робости перед авторитетами, покорного исполнительства, что во многом лишало ее работу духа творчества. Но что она могла поделать с собой, с той Дуськой, которая жила в ней и с восторженным восхищением, трепетно замирала перед властными, царственными именами известных ученых?

Да, она робела здесь, в институте, бывшая Дуська-арматурщица. Нечто подобное она пережила еще там, на стройке.

Как-то она обнаружила широкие зазоры между стыками железобетонных балок эстакады. Потрясенная обнаруженным вредительством, Дуська в ужасе бросилась в стройпартком. Инженер, обидно усмехаясь, объяснил ей суть законов физики. Она виновато слушала. Оказывается, тяжелые, мертвые балки ерзают, вытягиваются и сокращаются, словно живые тела, так же как и ртуть в термометре, по тем же законам. И только предоставленная им свобода в температурных швах предотвращала разрушение балок от этой неодолимой силы движения.

В маленькой Дуське жило тогда жестокое, злое и заносчивое предубеждение против интеллигенции.

— Они кто? Прослойка! Между кем и кем? Вот то-то же! Ходят важные, вроде снабженцев, и все у них советы выпрашивают. Подумаешь!

— Ты чего махаевщину прешь?

— Ничего я не прю, даже наоборот, согласная. Пусть спецам и платят много, и рабочие карточки, и ордера на одежду, и даже лошадь прикрепленная. Начальники они мне, пожалуйста. А в чем другом я от них независимая.

— Ну и дура!

— От такого слышу. Обучаться по специальности — сколько угодно, пожалуйста, но чтобы воображать после этого, что они что-то такое особенное, такого не будет!

— Всякий человек должен быть особенным, но не из каждого интеллигент получается.

— Раз вуз, значит, интеллигент.

— Интеллигент тот, который свое дело знает, — раз, и еще знает, что человек — высшая форма организованной материи, и за одно это каждого человека уважает.

— Если уж организованный, так только партией, — торжествовала Дуська, — а вовсе не ими, интеллигенцией.

К себе Дуська относилась беспечно и с озорной бесшабашностью уклонялась от всего, что могло как-то облегчить ее трудную жизнь.

— Ты, Дуська, потребуй от коменданта. Раз нет одеяла, пусть хоть топчан поближе к печи отведет.

— А на кой мне? Я же матрацем накрываюсь, а сама на стеганке сплю, так даже теплее.

— Дуська, есть путевка на курсы лаборантов по бетону!

— Вот еще, была охота рабочую карточку на служащую сменять! Что я, глупая?..

— Дуся, позвольте вас пригласить!

— Ну тебя! Потеею я от танцев в духотище.

- А зачем тогда в клуб ходишь?
- Поглядеть, посмеяться, как вы выдрючиваетесь.
- Ты циник, Дуська.
- А ты медник.

Но когда полюбила Павла Балуюева, объявила девочкам твердо:

— Вы на этого парня больше не смотрите. Я его на себе женю. Обязательно!

И она же сказала Павлу, когда он, томясь от застенчивости, молчаливый и робкий, бесконечно гулял с ней по барачной улице, занесенной сугробами:

— Ну, долго мне с тобой тут мотаться каждый вечер? Ну-ка, вот что! Посидим в тепляке, что ли.— И Дуська повела его в пустой цех, где за соломенными щитами стояли мангалы, обогревавшие бетон, села на поваленный щит, расстегнула полушубок, посоветовала: — Ты прижмись ко мне, так теплее.— И потом сказала, закрыв глаза: — Паша, я на все решившая.— Ободрила: — Ты не бойся, может, ты у меня не первый.

Когда же Павел, счастливый, тряс ее за плечи и спрашивал взволнованно: «Ты что же врала, дура?» — она сказала с торжествующей усмешкой: «А что? Это теперь неправда, да?»

— Да ты подумай, чего я понаделал!

— А чего мне думать? Ты думать обязанный.

— Ладно, распишемся,— сказал Павел.— Чего уж там! — И спросил, как бы извиняясь: — Выходит, ты только для этого меня обманула?

— Ага. А то как же! Я, знаешь, очень твердая. Раз тебя высмотрела, значит, на всю жизнь.

Евдокия Михайловна не боялась признаться себе в том, что пока она только аккуратная копировщица чужих знаний, лабораторная кухарка. Но в институте держалась с суровым достоинством.

Чем больше она приобретала знаний, тем сильнее росло в ней чувство протеста против того, что величайшие достижения науки невозможно еще быстро и широко обратиться на нужды промышленности.

— Ты пойми,— убеждала она мужа,— около миллиона гектаров железных ржавеющих крыш! А тут прозрачная пластмасса, легкая, вечная. Чердаки можно оборудовать в оранжереи, летние сады, и там будут гулять дети.— И она положила в руку Балуюева прозрачный брусок авиационного материала.

Павел Гаврилович, сощурившись, глядя сквозь брусок на жену, осведомился:

— Почему кило? — Выслушав, вздохнул: — Так-с... — Бросил брусок на стол. — Не пойдет, дорого. — Сказал снисходительно: — Вам бы в начальство моего калькулятора, он бы научил вас правильно экономически мыслить... — И произнес мечтательно: — Спиртишка бы полцистерны разжиться. Ставили причалы в ледяной воде. Резиновых сапог не хватает, так вот в качестве заменителя... — Усмехнулся. — Из спирта искусственный каучук добывается. — Подмигнул. — Видишь, я тоже сведущий в вашем деле. А то, выходит, научный метод имеется, а сапог в наличии нет. — И похвастал: — Моя химия простая. Флотские шли мимоходом, вдруг — стоп! Что такое? База. Вот какие мы химики.

На обороте обложки своего дневника Евдокия Михайловна написала слова великого Павлова: «Не давайте гордыне овладеть вами, из-за нее вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за нее вы утратите меру объективности». А ниже этой цитаты, от себя добавила: «Время — это жизнь».

4

Как-то, вернувшись домой после очередного многомесячного отсутствия, Балув предложил с удалью:

— А давай-ка, Евдокия, махнем мы с тобой!.. — Задумался. — В Тбилиси, что ли. Шашлыков поедим, а хочешь, в Сочи или в Ленинград. Поживем роскошно в «Астории». — Вспомнил, бросился к чемодану, вытащил красную кожаную коробочку, вытряхнул на стол тяжеловесные серьги, похожие на крошечные канделябры. — Видела, высший класс! — И приложил серьги к своим отмоороженным, опухшим мочкам.

— Но у меня даже уши не проколоты.

— А ты проколи.

— Что за дикость!

— Ну, тогда крючки на винтики переделаем, будут твои уши целы.

— Павел! Ты знаешь, я не люблю побрякушек.

— Маша! — крикнул Балув домработнице. — У вас уши проколоты? Натё, носите.

— Ты хотел меня оскорбить? — улыбаясь, спросила Дуся.

— Да, а как же!

— Ты у меня хороший и глупый, Павел.

— Правильно, — согласился Балуюев. — Дурак и жертва интеллектуального неравенства. — Отвернулся, произнес сипло: — Сنيшься ты там мне, до боли сنيшься. — И тут же ехидно: — Представь, кинулся с вокзала прямо к тебе в институт. Вхожу. Картина: солидный такой дядя поучает уборщицу: «Ты как метешь? Нужно легонько, без нажима. Пыль на поверхности. Если с нажимом, зря натирку стираешь. Надо, чтобы стебли веника слегка гнулись. Примерно градусов на пятнадцать...» Замер, благоговейно внимаю. Думал, главный ваш академик. Оказалось, комендант. Что значит общение с избранниками разума! Мне бы такие способности. — Хлопнул себя ладонью по лбу. — Емкости не хватает.

— Павел, ну зачем ерничаешь?

— Муж-заочник силой раздраженного воображения умножает достоинства жены на километры расстояния и сроки, отдаляющие от объекта размышления.

— Не остроумно.

— Пусть не остроумно... — Спросил резко, меняясь в лице: — Выходит, ты не хочешь поехать со мной отдохнуть?

— Не не хочу, а не могу!

— Хорошо. Все хорошо и все понятно! И, прости, я действительно какой-то взвинченный и глупее сразу, как увижу тебя. Через неделю это пройдет. Я снова стану выдержанным и, возможно, даже мудрым, как тот ваш комендант. И ты перестанешь замечать, что в доме появился посторонний, — не тебе, а тому кругу людей, к которому ты привыкла...

Но чтобы там ни случалось, они были счастливы, хотя никто из них не думал, что это — счастье, и не считал, что счастье бывает таким.

— Слушай, Паша! Не спи, — тормошила Дуся Павла Гавриловича. — Скажи! Можно так привыкнуть к красоте, чтобы перестать замечать ее?

— Ты это к чему? — спрашивал сонно Балуюев.

— Допустим, у тебя жена — красавица.

— А ты хуже ее, что ли?

— Кого ее? Отвечай сейчас же!

— Ну, этой самой, о ком сказала.

Дуся заявила мечтательно:

— Я хотела бы только из-за тебя быть красивой. Понимаешь, я заметила, когда входит красивая женщина, лица у мужчин сразу становятся заискивающими.

— Стану я перед всякой бабой унижаться!

— Но ведь унижаетесь.

— Сказать по-честному?

— Да, как мужчина мужчине.

Балуев достал папиросу, закурил, усмехнулся.

— Разве настоящий мужик будет про это с другим говорить? Только мышинные жеребчики для бодрости.

— Мне можно, я своя.— И Дуся смиренно положила голову на выпуклое, сильное плечо мужа.

С усилием подбирая слова, Балуев говорил озабоченно, разглядывая папиросу:

— У нас, понимаешь, стыдимся мы, что ли, или не умеем, или черт знает отчего... Вот и в книгах, если муж любит и она его тоже, получаются вроде скучных дураков. А вот слева чь кто-нибудь из них, тут сразу...— И признался: — Я ведь, знаешь, читаю так мало, ну, только чтоб заснуть. Возьмешь нашего или иностранного писателя; у всех левачат, и здорово так у них выходит, убедительно!

— Павел, у тебя там есть женщина?

— Вот это, как говорится, научная логика. Сама заставила про баб говорить, и здравствуйте!

— Ну хорошо, верю. Не сердись.— Нежно погладила его руку.

— Хотел человек выразить что-то, а ему сразу: «Бац! Руки вверх! Признавайся!»

— Ну, не буду.

— Я тебе лучше конкретно, из жизни.— Задумался, произнес неуверенно: — Значит, так. Увел там у меня теплотехник жену от прораба. Тот, понятно, запил. Вызываю. Так и так, я в ваши личные обстоятельства не вмешиваюсь, но если еще раз нетрезвым на производстве замечу, выгоню. Супругу я его знал. Ничего себе, глазищи сплошь синие, глубины безмерной, и габариты у нее все как полагается. Ну и теплотехник тоже ничего — брюнет... Пить мой прораб бросил, но начал гулять с бетонщицами безжалостно. Одну бросит, другую, словно за обманувшую женщину со всеми хочет рассчитаться. Снова вызываю. Дело такое деликатное, личное. Прошу, уговариваю. Слушает спокойно, вежливо, только губы дрожат. Дал слово. А через два дня — чепе. Влепил этот прораб теплотехнику заряд из охотничьего ружья. И тут же разулся, надавил пальцем ноги спусковой крючок и из другого ствола —

в себя. Неприятностей мне не было. Если бы несчастный случай на производстве, то, как говорится, «Ванька, держись», а тут бытовая драма, администрация не отвечает... Скажем, допустил человек очковтирательство, обманул доверие партии, проявил уступку буржуазной идеологии или просто казенное спер. С такими типами как себя вести, научены... А в этом деле мы застенчивые. Жулика поймаю, который левачит, — сматывай манатки и катись. А тут... — Сказал жалобно: — Вроде как слесарным инструментом в часовой механизм. — Усмехнулся: — Баб красивых в процентном отношении меньше, чем прочих, обыкновенной внешности. И при коммунизме такое соотношение останется. Что же, и там стреляться из-за них будут?

— Разве в этом виноваты одни женщины?

— Да я не про то, кто виноват, я говорю: жадность на все красивое.

— А ты мне никогда не изменял?

Балуев озорно улыбнулся, спросил:

— Перечислить? Была у меня девка, арматурщица, — раз. Рабфаковка одна — два. Студентка — три. А потом одна инженерша, интеллигентка, кандидатка наук... Вот бабы-академика не было. А надо бы для полного ассортимента.

— Это же все я! — воскликнула Дуся счастливым голосом. И потом встревоженно: — А ты не врешь? — Задумалась: — И почему ты именно сейчас решил рассказать мне про этот случай у вас?

— Не знаю, хотел про любовь что-нибудь фактическое. Не умю так, чтобы красиво и отвлеченно.

— А меня ты любишь?

— Говорю нахально: люблю.

— Но почему нахально?

— Подожди, не мешай. — Балуев, посветлев лицом, проговорил смущенно: — А знаешь, прораб тот, по-моему, стоящий парень оказался. Я бы тоже мог за тебя...

— Павел, ты что! Ты же коммунист, ты...

— А что? Могу. — Упрямые и суровые складки сжали переносицу. — Не отдам даром! И презираю тех, кто даром отдает. — Взял в ладони ее плечи, стиснул, произнес сквозь зубы: — Ты мое знаешь какое? Всё. От начала жизни и до самого ее последнего кончика. Я тебя всю помню, разную, и всегда ты мне одинаковая. Понятно?

— Отпусти, мне больно.

— Я свою рожу забываю. В зеркало там не гляжусь. В шапке умываюсь, зарастаю шерстью: намаешься, сам себе отвратен. И вдруг ты! И все во мне на место обратно становится. Вот черт, повезло человеку, какую бабу отхватил! Самую лучшую из всех возможных. Даже неловко. Думаю: а она про себя все знает, какая она. И хочется, понимаешь, чтобы ты похуже стала, чтобы не так другим в глаза бросалась, понезаметнее стала. Окривела, что ли. Я бы все равно не замечал. Мне ж ты всегда одинаковая, какую придумал и какая есть, и другой не станешь!

— Павел, ты замечательный, когда соскучишься, просто замечательный!

— А всегда хуже?

— Не хуже, а другой, совсем другой.

— Значит, все-таки хуже?

— Нет, но я же знаю, какой ты на самом деле.

— Ну какой?

— Такой, как ты сейчас, но этого никто на свете никогда не узнает. Ты клянешься? Не узнает?

— Теперь ты меня душишь,— радостно бормотал Балуюев.— Ух, ручишки крепкие! Что значит старая арматурщица! — И, ликуя, хвастал: — Я сам там прутья без станка руками гнул. Показывал, чего мы еще можем.

— Ну, молчи!

— Молчу,— сказал Балуюев. И закрыл глаза, чтобы запомнить лицо Дуси таким, каким он видел его сейчас...

Но когда к Балуюевым приходили гости, главным образом сослуживцы жены, сотрудники института, Павел Гаврилович держался заносчиво и, пожалуй, неумно. Говорил развязно:

— У вас, товарищи, отношение к науке набожное, а мы народ чернорабочий — строители, лишены такой роскоши, как наслаждение умственными деликатесами. У нас все конкретно. Если ставлю барак на сто человек, значит, при нем сортир на десять очков. И вынуть под него я обязан двадцать кубометров грунта. А кубометр стоит...

— Павел, пожалуйста...— встревоженно просила Дуся.

Балуюев отодвигал рюмку, наливал себе полный стакан водки и объявлял лихо:

— Мы там, на Севере, ее за напиток не считаем, вместо чая. А то вот случай: копали котлован, нашли целехонь-

кого мамонта, думал в дар музею направить. Прихожу в барак, ребята ужинают и смеются. Что такое? А это они котлет из мамонта нажарили.

— У вас же сгорел склад с провиантом, пурга, и авиация не могла доставить продукты, — сказала Евдокия Михайловна.

— Все равно сожрали б. И правильно. Что там благовещать перед древностями? Вот экскаватор — это вещь. Теперь он в тундре вместо мамонта топает.

Беляков, маленький, с заткнутыми ватой бледными ушами, все время испуганно озирающийся на неплотно прикрытую форточку, сказал:

— Представьте, в зоне вечной мерзлоты существует очень разнообразная флора бактерий и на довольно больших глубинах. Какая поразительная жизнеспособность! — заявил он восторженно.

— А вы откуда знаете? — грубо спросил Балугев. — Про наши там бактерии?

— Еремей Федорович возглавлял экспедицию на Севере. Он изучал там...

— Это вы-то? — спросил Балугев.

— Именно я-то, — с достоинством произнес Беляков. — И я имею честь быть автором некоторых химических исследований вечной мерзлоты, которыми вы, несомненно, пользуетесь как строитель даже и для того, чтобы поставить упомянутое вами на десять очков сооружение.

— Голубчик! — сказал растроганно Балугев. — А я вас считал за образованного, только когда вы о своих болезнях рассказываете.

— Мое заболевание, — гордо сказал Беляков, — крайне любопытно. До научной работы я был шахтером на свинцовых рудниках. И я полагаю, что метод флотации, который сейчас применяется в промышленности для добычи редких металлов, применим и в медицинских целях для исцеления заболеваний, связанных с отравлением организма свинцом, ртутью и так далее. Если это удастся осуществить в области медицины, несомненно, кое-что мы перенесем и в промышленность для более тонкого и тщательного выделения редких металлов из руд. Но все это область, как вы выражаетесь, умственных деликатесов. — И, встав, Беляков торжественно объявил: — Предлагаю за Евдокию Михайловну, тонкого и настойчивого научного работника, поражающего нас своей спартанской дисциплиной. — Поклонился, подошел к Дусе и почтительно поцеловал ей руку.

И Дуся при этом с таким странным волнением смотрела на Белякова, на его склоненную плешивую голову, так радостно заулыбалась и такое выражение блаженства появилось на ее лице, что Павел Гаврилович не выдержал и сказал злобно:

— А помнишь, Дуська, на рабфаке Сорокина? Теперь художник. Так вот тоже, как ты, режим соблюдает. Спит при открытой форточке, принимает холодные души, гимнастикой занимается. Курить бросил, а картины как писал бездарные, так и до сих пор такие же пишет. Не живопись, а сплошная косметика. Был на выставке, глядел, тошнило.

Евдокия Михайловна вздрогнула, как-то вся съежилась, побледнела. Хотела улыбнуться, не смогла.

Еремей Федорович сел снова рядом с Балугевым, сказал неприязненно:

— Извините! Я человек тоже грубый, невожатан-ный, но гордиться этими качествами избегаю. Что же касается вашей аналогии, скажу... — Сжал толстую руку Балугева сильными, как у слесаря, пальцами. — Мы в науку пришли, как в революцию, потому что наука — это всегда революция. И гордимся при ней быть даже черно-рабочими. Понятно? — Отбросил его руку, встал, объявил громко: — Люблю, знаете, к докторам ходить, привлекать к себе персональное внимание. И лечиться — занятие тоже приятное. Представьте, Евдокия Михайловна, смастерил я лично себе приборчик для скоростного анализа. Содержание свинца в крови. Показал Евгению Давыдовичу — одобрил. Но знаете, уважаемая, что сейчас самое увлекательное? Радиохимия. С помощью гамма- и бета-лучей перспективы умопомрачительные...

Белякова все слушали с таким увлечением, что никто не заметил, как Балугев встал из-за стола и вышел из комнаты... Павел Гаврилович не нашел в себе мужества извиниться перед женой, и она не нашла в себе душевных сил помочь ему преодолеть себя. Весь следующий день они тяготились мучительной отчужденностью. Ночью Балугеву позвонили из больницы и сообщили, что жена его пострадала при взрыве летучих веществ в лаборатории, но жизни ее не угрожает опасность.

А на следующее утро началась война. Он отвез детей к теще и уехал на фронт.

Он получал письма от жены, она писала подробно о детях и почти ничего о себе.

Тяжело раненного Балуюева эвакуировали в сибирский госпиталь. Здесь, отупевшего от страданий, его нашла жена и выходила.

Когда Балуюев в первый раз осмысленно взглянул на жену и узнал ее, он произнес слабым счастливым голосом:

— А знаешь, Дуська, на лице у тебя... ожогов совсем незаметно. — И положил свою руку на ее руку.

Дуся не рассказала мужу, как жила она с детьми в эвакуации.

Институт разместили в здании пивного завода. Первое время часть сотрудников жила в землянках. Дуся переделала оконную нишу в землянке и, так как стекла не было, заменила его бутылками. Сложила из кирпичей печь, для дымохода достала канализационную трубу, которую привезла на салазках из города.

Во дворе бывшей нефтяной базы собирала в ведро пропитанный мазутом снег, оттаивала его и потом макала поленья в мазут, чтобы перед уходом на работу можно было быстро растопить печь.

Евдокия Михайловна Балуюева завершила в эвакуации вместе с группой сотрудников института многолетнюю коллективную научно-исследовательскую работу, означавшую революцию в целой отрасли химии.

В эвакуации умер Беляков. Насмешливо улыбаясь, он перед смертью говорил не о своей «загадочной болезни», как сам ее называл, а о том только, что сильно устал. Евдокии Михайловне он сказал ласково и нежно:

— Вот, Дуся! Попали мы в благодетели человечества... И вовсе мы не гении какие-нибудь, сверхчеловеки, а просто рабочие от науки. А если у нас что-то получилось, так оттого, что заставили себя сверхчеловечески работать — и поэтому достигли. — Потом поманил пальцем, сказал, слабей: — Ты не обижайся, Евдокия. Теперь у тебя золотая медаль лауреата, но иди-ка ты на преподавательскую работу — перед молодыми посторонись. Старательная ты, а вот чего-то особенного в тебе нет. — И попросил: — Пусть только особенные ребята в науку идут. Ладно? — Закрыв глаза, прошептал: — Каждый человек особенный, ты это помни. И чем дальше, тем это заметнее будет. Мало мы себя для себя искали, надо больше. Человек, он самое занятное на земле, он всему начало; всему есть свой конец, кроме человека.

Умирал Беляков непокорно и до последнего мгновения сопротивлялся смерти. Умер с открытыми глазами.

Детей Евдокия Михайловна устроила в интернат, а сама осталась жить в землянке. Сюда после госпиталя перебрался и Павел Гаврилович.

Впервые в жизни Евдокия Михайловна испытала щемящую тоску, унижительную боязнь самой себя. И хотя она густо намазала сухие бледные губы сладкой липкой помадой и накрутила кудельками волосы, вымылась в санпропускнике туалетным мылом, все время она мучительно ощущала свое тело — ребрастое, как стиральная доска, высохшее, изможденное, утратившее женственность и нежность.

Она судорожно боялась той минуты, когда муж захочет ее обнять. А тут еще получилось так, что Павел Гаврилович, потрясенный всем тем, что узнал о жизни жены, и увидев эту землянку, бутылки в оконном проеме вместо стекла, самодельную печь с дымоходом из канализационной трубы, витаминозную настойку из хвои, стеганные брюки, засунутые в наволочку, чтобы сделать для него подушку, пришел в состояние такой душевной растерянности, что, боясь впасть прямо в молитвенное благоговение перед Дусей, начал бодриться и глухо подшучивать над ее «самодеятельностью». Он совсем некстати напомнил, что здесь, пожалуй, все-таки лучше, чем было тогда, в том тепляке, на стройке. И, страдая оттого, что говорит пошлые слова, впал окончательно в петушиный задор и стал рассказывать, как воевал, вроде оправдываясь этим перед Дусей. Чтобы выбраться из мучительной душевной спазмы, он начал поспешно разливать спирт в кружки и, не дожидаясь, пока поджарится картошка и Дуся накроет ящик, заменявший стол, торопливо выпил и заставил выпить жену.

Оба они стыдились сейчас друг друга, и это было невыносимо тяжело. Потом они снова сели за ящик, снова выпили, но и это не принесло облегчения; у обоих от выпитого спирта только разболелась голова.

Когда Балув, улыбаясь одной щекой, притянул к себе жену и обнял ее, она съежилась, опустила голову, и на склоненной шее обозначилась глубокая впадина. Дуся жалобно попросила:

— Подожди, я лампу задую. — И не могла, не было сил дохнуть на огонь. — Павел, — сказала она тоскливо, — только ты, пожалуйста, мне потом ничего обо мне не гово-

ри, я все сама знаю. — И потребовала с отчаянием: — Дай сначала руку. И не смотри.

Она провела его рукой по своей ключице, по ребрам. Подняв подбородок, сказала с закрытыми глазами:

— Вот видишь, какая я, Павел. Теперь знаешь... — Вытерла тыльной стороной ладони помаду с губ, сказала озлобленно: — А вот все-таки хотела тебя обмануть, понравиться хотела, накрутилась, брови выщипала! Слышишь, Павел, тебя обмануть хотела!

Балуев опустил на земляной пол, уткнулся лицом в брезентовые туфли жены... И ни тогда, ни потом Балуев не нашел слов, чтобы сказать Дусе, что он испытал в эти минуты благоговения перед ней.

А Дуся только стыдливо отодвигалась, пытаясь подобрать под себя ноги, и молила:

— Паша, отпусти, Паша, они же грязные. — И, счастливо улыбаясь, шептала: — Пашка. Ну чего ты чужие ботинки целуешь? Я их у Зои Александровны одолжила. Вон мой, на печке. — И смеялась тоненьким, беззаботным голосом, которого давно не слышал Павел Гаврилович, пожалуй, с тех времен, когда его жена была Дуськой-арматурщицей.

Вернувшись на фронт, Балуев воевал с тем жестоким, осматрительным бесстрашием, которое для врага было страшнее истощенной мстительности.

В Сталинграде с тонким инженерным расчетом, скредно экономя каждый килограмм взрывчатки, виртуозно подрывал оборонительные сооружения врага и даже сделал изобретение — приспособил обычный буровой станок к горизонтальному бурению, чтобы прокладывать минные галереи под доты.

Это он пробрался по канализационной сети и взорвал немецкий склад горючего. Потом, когда полз обратно, пылающая нефть растеклась по подземной канализации, и он выбрался из люка уже горящим, и бойцы гасили его, катая в снегу... И хотя Евдокия Михайловна уже жила в Москве и получала академическое снабжение, Балуев упорно отправлял в посылках свой сухой офицерский дополнительный паек и выменянные у товарищей на табак и фронтовую порцию водки масло и сало. Жена писала, что он напрасно беспокоится, она теперь поправилась, и тревожно спрашивала: неужели он не может забыть, какой она была худой в эвакуации?

Потом с фронта Балуева вызвали в Москву. Он получил секретное задание: отправиться на Дальний Восток про-

кладывать дюкер под водой для снабжения флота топливом в открытом океане. Вылететь на объект он должен был в тот же день.

Балуев позвонил жене в институт, чтобы она приехала на аэродром.

Тяжелые, сочные тучи низко свисали с неба. Отвесно падали сизые струи дождя. Из санитарного самолета выгружали тяжелораненых, обмотанных с головы до ног бинтами и похожих на мумии.

Провели немецкого генерала в серой шинели, в серой высокой фуражке, с серым лицом и с глубоко впавшими щеками. Он шагал надменно, не сгибая ног в коленях. Но глаза у него были как у сумасшедшего, с неподвижными зрачками.

А в белой будке, где до войны продавали боржом, сидела на ящике девушка. Коленопреклоненный майор примерял ей туфли-лодочки на высоких каблуках. В коляске мотоцикла, на котором приехал майор, лежало еще несколько коробок с дамской обувью. Девушка была парашютисткой-диверсанткой. Только в последний момент здесь, на московском аэродроме, заметили, что на ней сапоги, и вот примчался майор с дамскими туфлями. Девушка с увлечением выбирала туфли, и по всему было видно, что ей хочется взять те, которые покрасивее, с бантиками. Майор говорил:

— Главное, чтобы не были тесными. — Он посмотрел снизу вверх на склоненное лицо девушки, добавил деловито: — В нашем деле любой пустяк... — И взял себя двумя пальцами за шею под подбородком.

Девушка ответила так же деловито:

— Но это не обязательно, можно успеть застрелиться.

Из «дугласа», крашенного известкой, через открытый десантный люк выгрузили корову — тощую, желтую, с голубыми глазами. Летчик, пожимая плечами, сказал дежурному:

— Мое дело маленькое. Приказал командир партизанского соединения — выполнил. Говорят, мировая рекордистка, гошценность. А черт ее знает, пастухом не был, в скотине не разбираюсь!

Корова стояла под плоскостью самолета, как под навесом, равнодушная и спокойная; видно, она уже привыкла ко всяким передрыгам.

Дуся шла в расстегнутой, мокрой беличьей шубе. Шла под зонтиком, оберегая красиво причесанную голову. На ней было легкое, облегающее фигуру платье, в ушах серь-

ги. Балувев сразу увидел ее. Подошел, обнял и стал молча жадно целовать, почти вытаскивая из расстегнутой шубы.

— Павел, что ты, смотри!

Но никто не смотрел, здесь ко всему привыкли: и к корове, и к девушке, идущей на смерть, и к полумертвым тяжелораненым, к целехоньким пленным генералам и к иступленному, отчаянному прощанию с близкими.

Идущие к самолетам обходили Балувевых так же невозмутимо, как обходили только что носилки с мертвецом, которого санитары оставили, чтобы унести его после тех, кто еще жив.

Балувев гритронулся пальцем к оттянутой серьгой мочке, спросил:

— Не больно? Не надо было, раз больно.— Взял за плечи, отстранил от себя.— А в общем тебе идет.— И вдруг рассердился: — Зря это ты без меня такая будешь! Зря, могла бы подождать!

— Павел, ты смешной! Посмотри. Вот! — Она разобрала волосы на виске.— Видишь, седина. Я уже старею.

— И правильно! — удовлетворенно сказал Балувев.— Нечего.— И снова восторженно объявил: — Какая ты! — И пожаловался: — Всегда как новенькая.

— И ты у меня тоже всегда новый.— Закрыла глаза.— Я так рада, что тебя теперь не убьют!

— Да, совестно даже,— сказал Балувев. Поморщился, кивнул на корову, все еще стоящую под плоскостью самолета.— Выходит, нас с ней обоих в тыл.

— Павел, но ведь у тебя задание очень важное.

Балувев раздраженно дернул плечом.

— Советскому человеку никто не имеет права теперь угрожать, никто и ничем! Фашисты — это другое дело, пожалуйста. А так никто и никогда.

— Ты о чем, Павел?

— Знаешь, Дуська,— сказал Балувев, думая о чем-то своем,— ты считаешь, война — это только плохо? Нет, сейчас окончательно ясно, какие мы все. Вот подойди здесь к любому, скажи человеку только вежливо: «Кровь раненому надо!» — «Пожалуйста, будьте любезны». Или вот вместо той, видела, на высоких каблуках по грязи щеголяет — к немцам в тыл на смерть? Спроси: кто вместо нее? Тоже пожалуйста.

— Павел,— сказала Дуся,— ты сегодня весь какой-то влюбленный, и кажется, не в меня вовсе. Я даже ревную.

— Кончится война,— продолжал Балувев, блестя глазами,— самый огромный памятник из нержавеющей стали надо

поставить не кому-нибудь персонально, а просто советскому человеку. Человекопоклонниками должны стать. Вот чего нам самое главное после войны надо...

Улетающий на Дальний Восток самолет весь в залатанных пробоях. У летчика и бортмеханика на груди тоже, как заплаты на пробоях, золотые и красные нашивки ранений. И летчик, словно оправдываясь, сказал Балуюеву:

— После госпиталя отдыхаем на гражданской.

Лицо у летчика было глянцевито-красное, неподвижное, туго стянутое тонкой, прозрачной, как пленка, кожей. Такие опаленные, обожженные лица Балуюев видел и у танкистов...

6

Четыре раза океан разбивал подводный дюкер, выбрасывая искореженные трубы на обледеневший берег, и все приходилось начинать сначала. Производственной базой служил куций скалистый остров. Во время бурь его почти захлестывало гигантскими волнами, и все покидали барак, стены которого прогибались от ветра. Люди собирались у тракторов и держались за растянутые между тракторами тросы.

Когда волна уходила, нужно было пересчитывать рабочих. На тракторах зажигали фары, чтобы проверить, не обеспамятел ли кто. И тогда весь остров голубовато мерцал ледяной скорлупой, так же как и одежда на людях.

После шторма на подводных работах были заняты почти все. Оттаскивали каменные глыбы, наваленные на дюкер океаном, вырезали измятые звенья и вместо сорванных с болтов чугунных грузов навешивали новые.

У водолазов изощренное осязание, как у слепцов. На глубинах почти нет видимости. Поэтому для уплотнения времени водолазную работу вели ночью, а днем подготавливались к ней. Пресной воды хватало только для приготовления пищи. Чтобы морская вода не так разъедала тело, мазались с головы до ног рыбьим жиром, и все уже привыкли к его зловонию...

Монтажника Пухова убило концом лопнувшего троса. А остров — каменный монолит, там нет земли, где можно было бы похоронить убитого. И тогда сколотили ящик, проконопатили, покрыли битумом и положили туда тело Пухова. Потом ящик забили, крышку снова облили битумом

и с помощью крана шатром сложили над этим ящиком гигантские обломки скалы.

Но и на острове, хотя и жили в нечеловечески трудных условиях, свято соблюдали все советские обычаи. Вывешивались портреты лучших рабочих, нарисованные угольным карандашом на промасленной бумаге. Устраивались вечера самодеятельности с неизменной программой: водолаз Бубнов отщелкивал чечетку в морских бахилах, техник по монтажу читал, заывая, стихи Есенина, мастер по изоляционным работам Медведев показывал карточные фокусы. Когда концерт самодеятельности кончался, Балуев всегда произносил одни и те же слова:

— Ну, товарищи, повеселились, отдохнули, теперь с новой бодростью за работу.

Закрытые партийные собрания проводили в неотапливаемом помещении склада. Но ни один из коммунистов не являлся на эти собрания в обычной рабочей штормовой одежде. Все переодевались, и было странно видеть в полутемном, холодном складе терпеливо зябнувших людей, наряженных в довоенные куцые пиджаки, — строгих, торжественных, гладко выбритых, наодеколоненных.

И когда на торжественных митингах выступал Балуев, читая по бумажке речь, где все формулировки были взяты из радиопередач, и выкрикивал то, что все и без него отлично знали, лица у людей все равно делались растроганные. И когда он в заключение произносил: «Да здравствует наша Советская Родина!» — у него и у всех появлялись слезы, и что-то радостно дрожало внутри, и каждому хотелось сделать нечто особенное, потому что здесь никто не считал, что изо дня в день совершает это особенное...

Наступило время, когда джукер был положен и всем стало нечего делать. Люди блуждали по мшистым камням острова в ожидании корабля. Все испытывали чувство огромного счастья за сделанное ими и одновременно грусть расставания с собою, такими, какими они были здесь и какими никто не может быть и не станет за все блага и кары на земле. Такими могли быть только люди, которые стыдились, что здесь их не убивали, в то время когда другие, подобные им, гибли на фронте.

И только когда уже на материке, после долгого перерыва, строители снова пошли в баню и увидели свои тощие тела, покрытые ссадинами и кровоподтеками, тела, какие бывают у только что перенесших тяжелую болезнь, они поняли, сколь невероятную волю нужно было иметь, чтобы не утратить душевные силы в борьбе с океаном. А как со-

средоточенно они жили на этом острове! Семьям раз в месяц посылали одну типовую радиограмму: «Здоров, целую», а уже телеграф на материке добавлял к ней адреса тех, кому предназначалась эта весточка.

Все они считались тыловиками, да и чувствовали себя тыловиками, потому что, повторяю, здесь не убивали, как там, на фронте. На острове можно было только умереть от простуды, быть смытым волной, можно было захлебнуться в разорванном скафандре, быть ушибленным бетонной опорой, поваленной ураганом, или разрубленным лопнувшим тросом, бьющим с силой осколка снаряда.

Слово «островитяне» им не нравилось. Они строго требовали, чтобы их называли самодельным словом «островики»; оно казалось им более уважительным. Но их подвиг остался неназванным. Надобность заправлять горючим в открытом океане советские военные корабли отпала. И сведения иностранных разведок об этом сооружении в соответствующих генштабах были расценены как фантастические, ибо генштабы считали, что для любой воюющей стороны несбыточно такое сложное и грандиозное сооружение.

Древние греки оставили после себя лестную память — изваянных из драгоценного мрамора пропорционально сложенных женщин и мужчин со спортивно развитой мускулатурой. Совершенная телесная гармония восхитительно воплотилась в известных всему миру скульптурах.

Среди строителей, работавших на дне океана, особенно в водолазной группе, тоже были ребята, будто повторявшие эти волшебные скульптуры. Круто выпуклая гордая грудь, великодушный втянутый живот с плоскими доспехами мышц. Руки и плечи в тугих слитках мускулатуры. Ну, прямые родственники Давидов, Голиафов, Геркулесов. Однако многих из строителей все же нельзя было показать в трусах и в майках даже на стадионе районного масштаба. Тяжелый труд предшествующих поколений и столь же тяжелая еда наложили свой отпечаток на их телесный облик. И все-таки именно они являли собой образец физической выносливости в коллективе «островиков».

Скажем, у слесаря-монтажника Петухова ноги изогнуты рахитом — следы голодовки в Поволжье; глаза водянистые, смиренные; грыжа со времен гражданской войны в Сибири, когда, партизана, вдвоем с полуживым наводчиком выволакивал из снега трехдюймовку на новую позицию. Но ведь только он, именно он мог по десять часов подряд, захлестываемый океанской волной, навешивать

грузы на трубы дюкера. Возвращался в барак Петухов в остекленевшей ото льда одежде. Но чтобы не ломать брезентовую казенную спецовку, он долго не раздевался, стоял перед печуркой и дожидался, пока одежда оттает и можно будет снять ее, не портя. И ни разу Петухов не простудился, даже не чихнул! Переодеваясь в сухое, он только замечал огорченно:

— На худом теле бельишко быстрее снашивается. Стирается о кость, вот чего.

Развешивая для просушки брезентовую робу, Петухов говорил:

— Снабжают нас здесь сильно. Но вы имейте в виду: как уничтожим фашистов, до самого Берлина народ освобожденный голым и голодным предстанет. Его надо одеть, насытить. Поскольку мы здесь в привилегированном положении, надо копить, что для тебя излишнее, а потом — в подарок освобожденному населению.

По предложению Петухова, «островики» натопили десять тонн рыбьего жира и отправили его ленинградцам, правда, не в бочках (их не было), а в кусках бракованных труб, к которым приварили заглушки. Эти заполненные жиром куски труб, тяжелые, словно гранитные колонны, они погрузили на корабль.

И откуда бралась сила в согбенной спине Петухова с торчащими плоскими лопатками, когда он выдирал из льда примерзшие чугунные седловины грузов, прилаживая их на дюкер!

— Мы народ двужильный,— шутил Петухов.— Одна жила наружная, а другая внутренняя, главная. На ней и играем, как на струне.

— Что же у тебя за песня такая особенная?

— Мотив обыкновенный, в семнадцатом году запомнил,— серьезно отвечал Петухов.— Плясать под него нельзя, а для работы годится.— И спрашивал сурово: — Понятно, про какую музыку говорю?

А водолаз Бубнов с тяжелым, отечным лицом! Он медленно и осторожно работал под водой, постоянно испытывая кислородное голодание. Потел в скафандре так, что потом его шерстяное толстое белье можно было выжимать, как мокрую тряпку. Когда Бубнов работал, к воздушной помпе становилось по четыре качальщика, но ему всегда не хватало воздуха. Только он один обладал геркулесовой силой и оттаскивал от дюкера обломки скалы весом в четверть тонны. И этот же Бубнов не мог выжать штангу весом в семьдесят килограммов. Объяснял виновато:

— Нет у меня азарта зря надрываться.

А вот молодой водолаз Петькин брал рывком все сто. Но сколько раз поднимали того же Петькина, обессиленного на скальных работах да еще и при неполной смене! Тяжеловесный и медлительный Бубнов утверждал, что водолаз обязан быть нервным.

— Когда от нервов работаешь, всегда через силу можно сделать, а когда на одной силе, то через не могу не получится.

Бубнова спрашивали:

— Ты чего не спишь? Сопишь, ворочаешься.

— Нервы,— говорил он сипло.— Нервы расстроились. Опять Информбюро ловчит. Что значит «упорные бои с превосходящими силами противника»? Если превосходящие, значит, наших бьют? А если на данном участке их поболе, а нас поменьше, значит, мы их превосходим, если держим? Так и пиши по-русски, по правде!

А сварщик Босоногов, молодой паренек из Минусинска! Глаза у него напоминали кровавые раны.

Стекло защитной маски все время обдаёт водяной пылью, и она, обсыхая, мгновенно покрывает его соленой коркой. Сварщик вынужден работать иногда без защитного стекла. Но если во время опрессовки труба лопалась, то только по заводскому шву и никогда по тому шву, который варил Босоногов.

Ему говорили:

— Володька, переходи на другую работу. Ослепнешь, дурак!

— А где еще сварщик? Дубов третью неделю с койки не встает. Кто сваривать трубы будет?

И этот девятнадцатилетний паренек заранее готовил себя к слепоте. Учился писать, накладывая на бумажный лист деревянную решетку, ходил по ночам в радиорубку, и радист обучал его своему делу. Босоногов уже умел, не глядя, разбирать и собирать аппаратуру, заполнять бланки, принимать на слух морзянку. Говорил удовлетворенно:

— Выходит, я здесь квалификацию себе повышу. Радист — это же классом выше, чем сварщик.

Воспаленные глаза у Босоногова были всегда заплаканы. И всегда он при этом улыбался и пошучивал:

— Мне все одно, когда последние известия передают. Немцы город взяли — плачу, наши что-нибудь освободили — тоже плачу. Объективизм проявляю, сознаюсь...

И когда океан извергал из себя растерзанный дюкер, и волны катали и били разорванные трубы о камни, и люди застропливали эти трубы и выволакивали тракторами, спасая их от ярости волн, впереди других был щуплый, согбенный Петухов. Он не знал страха и, неторопливо уходя от набегавшего на него вала, оглядываясь, кричал:

— Давай-давай, хулиганичай, сволочь! — и плевал в воду с ожесточением.

Но вот океан пятился для нового разбега, и Петухов успевал добежать с тросом до трубы и застропить ее и отступал только в то мгновение, когда новый водяной холм уже почти накатывался на него.

Балуев обнаружил, что на глубине в двадцать пять — тридцать метров океанская толща не подвержена колебаниям, и перед штормом строители стали стаскивать плети стальных труб с мелководья и спокойно хранить их на глубине. Бывало, всю отмель и побережье вздыбливало от ударов твердого, спрессованного бурей воздуха, много-тонные массы воды перекатывали тяжелые валуны, и галька скрипела и визжала, гонимая вперед и назад штормовыми порывами, а трубы лежали себе в глубине мирно и тихо.

После того как наловчились сохранять плети труб от ярости океана в самом океане, Петухов в брезентовом балахоне выходил в штормовую погоду на берег и разговаривал с океаном:

— Что, слабак против нас оказался? Слабак!

И отмахивался рукой от белых клочьев сохнувшей солью пены. Однажды, вернувшись в барак, он сказал:

— Силен человек, силен.

И это было правдой.

Когда Петухова позднее спрашивали: «Ну как у вас там, на Дальнем Востоке, с дюкером получилось?» — он отвечал с равнодушным спокойствием: «А ничего, все аккуратно, согласно графику. — И оживленно добавлял: — Главное, там блаженство рыбу ловить. На пустой крючок и то хватала. Вот где настоящее место для любителя!»

Что касается Балуева, то он в течение месяца, отчитываясь перед соответствующими организациями за каждую поврежденную океаном трубу, успел вместо выпавших от цинги зубов вставить искусственные и настолько в этих хлопотах позабыл о трудностях строительства, что, когда его спросили в главке: «Ну как, Павел Гаврилович, досталось вам там?» — с горячностью согласился: «Совер-

шенно верно, запустил отчетность, думал, не распутаюсь, хватил лиха. Спасибо флотскому командованию, составили для меня метеосводку. Она и выручила как оправдательный документ».

7

С этим же коллективом Балугев выехал в освобожденный Донбасс, и те же люди в водолазном одеянии спустились в затопленные шахты, чтобы откачать океан затхлой, тинистой воды. И здесь эти же люди повторили свой островной подвиг. Отказывали клапаны водолазных шлемов, и, задыхаясь в раздутых скафандрах, обливаясь холодным потом, с налитыми кровью глазами, навесив дополнительные грузы, чтобы продавить собой вязкую глинистую гущу, заполнявшую доверху ствол шахты, эти люди работали уже не только под водой, но и под землей, грозящей обвалами; они испытывали удушье, почти равное тому страданию, которое только на мгновение испытывает повешенный.

Люди приходят и уходят, а их личные дела остаются.

Через несколько лет после войны таинственная, как алхимия, канцелярская наука кадровология была упрощена. Буря войны перемешала всех советских людей, и она же сплотила их. Миллионы познали армейское братство, миллионы, изгнанные нашествием врага с родных мест, познали на пространствах Сибири и в азиатских республиках силу социалистического родства, и ощущение отчизны стало еще более глубоким и полным.

В горниле военных бедствий кристаллизовались души людей, твердости и красоты необычайной.

Миллионы людей запомнили друг друга и во фронтовом братстве, и в братстве трудового подвига в тылу, равного ратному.

Павел Гаврилович Балугев возглавил работу по сооружению подводных переходов на строительстве магистрального газопровода.

Дело было новое, неизведанное. Балугев знал, что газификация страны равна по своему значению электрификации. Азарт нового великого созидания обуревал его. Но вопреки инстинкту хозяйственника нахватать где только возможно побольше техники Павел Гаврилович проявил неслыханную жадность на людей.

Балугев заставил отдел кадров не подбирать и проверять для него работников, а разыскивать адреса тех, с кем он

вместе воевал, с кем строил в годы войны и кого запомнил на всю жизнь.

На должность старшего механика участка Балугев взял бортмеханика Сиволобова. Этот Сиволобов, когда немцы подбили самолет, пытался погасить огонь, а потом заставил Павла Гавриловича выпрыгнуть вместе с собой на одном парашюте.

Павел Гаврилович испытывал к Сиволобову не только чувство признательности за спасенную жизнь. Ему была понятна и скорбь Сиволобова по поводу подбитой немцами машины, подбитой именно тогда, когда в ней только что сменили одряхлевший мотор на новый. Гибель нового мотора приводила Сиволобова в отчаяние, и в те дни он невыносимо надоед Балугеву своими причитаниями о технических достоинствах нового двигателя и томительной надеждой, что если самолет упал на мягкие грунты, то мотор можно будет найти и восстановить в парке, который у них в авиационной части славится почти заводским оборудованием.

В те дни раздражало Балугева и то, что Сиволобов, оказавшись в тылу врага, на все лады расхваливал немецкие газовые турбины, установленные на их новейших бомбардировщиках. Это казалось Балугеву не только непатриотичным, но и политически подозрительным.

Но после того как Сиволобов ловко подстрелил из крохотного дамского «вальтера» немецкого мотоциклиста и, очень недолго повозившись над полуразбитым мотоциклом, починил его, а потом, благодаря мотоциклу, они значительно облегчили себе путешествие, недоверие Балугева к Сиволобову совсем пропало, хотя тот вновь не преминул напоследок очень одобрительно отозваться о трофейном мотоцикле марки БСА.

А разве можно было забыть сержанта Лягушина, всегда брюзгливого, с заплывшими сизыми хитрыми глазами? Этот Лягушин как-то заявил:

— Я, товарищ командир, такой глупости недоступен, чтобы в траншее, как мышь, плавать, простужаться.

И показал трофейный движок, который он «приспособил» к самодельному деревянному роторному насосу.

Действительно, все отделение Лягушина расположилось в сухой траншее, тогда как окопы других подразделений затопило подпочвенной водой.

Нужно было подорвать вражеский дот — Лягушин посоветовал подползти к доту вплотную, перекатывая перед

собою чугунную канализационную трубу диаметром в двести пятьдесят миллиметров.

Под прикрытием трубы подрывники сделали свое дело. Лягушин объявил гордо:

— Если башка у человека работает, то и тело в сохранности. На одном «ура» такие дела не делают.

А старшина ремонтной летучки Пивоваров! Он приезжал на артиллерийские позиции на велосипеде, обвешанный брезентовыми сумками с инструментами, и, какой бы плотный огонь ни вел противник, с невозмутимым лицом занимался починкой, утверждая, что слесарь на фронте — «главный человек, а стрелять любого дурака обучить можно».

О Гитлере Пивоваров отзывался пренебрежительно:

— Он только своей подлостью знаменит. Зачесал челку на лоб — хулиган, фашист!.. А вот инструмент у них «Золлинген» марки, моторчики «Сименс-Шуккерт», сталь крупновская — это да, товар качественный.

— Ты тут пораженческую агитацию не разводи!

— Дурачьё,— не обижался Пивоваров.— Я же вас возвышаю для бодрости. Вы же челябинской болванкой крупновскую сталь расколачиваете. Значит, и наша неплоха, вот я к чему веду. Выходит, провел я среди вас политработу по совместительству. Потому что политбойцом числюсь. Только тезисы мои на слесарном материале составлены. Что твердо знаю, то уж знаю, о том и говорю.

Пивоваров сказал однажды Балуеву:

— Культурный человек — это не тот, который дерьмо калом зовет, а тот, кто с людьми в атаку бежит и помнит, что он образованный, и своему в нос наган не тычет, не обзывает, а под огнем ведет себя спокойно, с достоинством, интеллигентно... Наш народ на уважительность падкий, любит, чтобы с ним интеллигентно обращались. Война — та же работа, только тяжелее, чем в гражданке, а убивают, конечно, как положено. Чего же нам из-за этого на войне теряться и друг на дружку собачиться? И все мы тут «выкать», по-моему, друг дружке обязаны. Особо почитать друг друга надо. А офицер в первую очередь, как инженер на производстве, должен с солдатом себя держать интеллигентно.

— Ты это к чему все, Пивоваров?

— Да вот вы, к примеру, меня при всех бойцах унизили. Отремонтировал оружие, пожелал покрасить для красоты, а вы мне при всем расчете: маляр!

— Ну, извини.

— Я вам тогда глубокомысленно сказал: солдат, он тоже рабочий, он любит, чтобы станок или все равно оружие красоту имело. Аккуратнее тогда человек за ним работает. И по нынешней обстановке стреляет прицельнее. А вы меня за это при всем расчете обозвали. Неправильно!

Начальник боепитания, младший воентехник Вильман, пожилой, солидный, в очках с дужкой, обмотанной ваткой, являлся на огневые позиции в самый разгар боя и требовал:

— Прошу всех стреляные гильзы сдавать. Цветной металл — ценность. Ваша батарея отстает по сдаче металлолома.

— Вы что, хотите, чтобы нам орудия подбивали?

— Но вы же и у них там что-то подбиваете! Пошлите разведчиков, пусть сюда доставят. — И кричал сердито: — Подумаешь! Наступление! А позади вас что? Бывшее поле боя. Это же целая свалка металла! Пожалуйста, продвигайтесь на новую позицию, но что у них наломали, соберите в кучу. Цветные металлы отдельно, черные — отдельно.

На складе у Вильмана царили порядок, чистота. Выдавая новый ствол для пулемета и рассматривая на свет старый, он страдальчески морщился. Глядя в ствол, как в подозрную трубу, упрекал:

— Еще недельку могли бы пострелять. И не такая уж степень амортизации, чтобы получать немедленно новый.

Выдавая взрыватели для гранат, каждый раз предупреждал:

— Попрошу только в самый последний момент разворачивать из промасленной бумаги: она оберегает от сырости.

Спрашивал безнадежно:

— А тару от снарядов опять не вернули? Ну сколько бой длится? Ну час, два. Ну сутки же, наконец! А остальное время? Надо, товарищи, порядок соблюдать. Нельзя оправдывать войной пренебрежение к материальным ценностям.

Вильман пробовал даже навязать пулеметчикам коробки, чтобы они подставляли их к пулеметам и туда падали стреляные гильзы.

Он являлся на совещание, где происходил разбор боевой операции, и в конце совещания просил слова.

— Извиняюсь, — говорил он, поднимая на лоб очки и глядя в записную книжку. — Я, конечно, не Суворов, но должен обратить внимание на следующее...

Далее он зачитывал целый обличительный список. В нем упоминались и обнаруженные брошенными на поле боя боеприпасы, и многое другое. Он даже предъявлял вещественное доказательство — найденный им лом-лапу.

— Это что же, инструмент или бутафория? — спрашивал он запальчиво. — Так нельзя, товарищи. Воевать нужно хозяйственно!

Заполучить такого вот Вильмана к себе на стройку в качестве хозяйственного десятника разве не находка для руководителя?

И в конце концов отдел кадров отыскал для Балуева и Вильмана.

8

Чтобы не быть заподозренным в подхалимаже, я должен оговориться: среди хозяйственников попадают граждане, не соответствующие назначению не только по своим деловым, но и по душевным качествам.

Мне кажется, я даже убежден, что самый важный и ответственный момент в жизни человека — это когда он вдруг обретает право власти, право командовать другим человеком. И это — высшее испытание. Пройти его может далеко не всякий.

У меня были знакомые, которые слыли словоохотливыми, остроумными, общительными людьми, но, получив право старшинства, становились вдруг столь многозначительно молчаливыми, что создавалось впечатление, будто они все время боятся выдать какую-нибудь государственную тайну. Лица их обретали необычайно серьезное выражение. И если даже они давали порой полезные советы и указания, то столь зловещим тоном, что от одного этого тона делалось не по себе.

Словом, на высоких постах мои знакомые выглядели гораздо хуже того, какими они были на самом деле и какими я их знал — сердечными, простыми, неглупыми и почему-то вдруг пренебрегшими этими своими первородными качествами.

Да, духовный мундир начальника — штука тяжеловесная, и тот, кто носит эту тяжесть легко и незримо для окружающих, заслуживает самого искреннего уважения.

Выполнять должность хотя бы самого маленького начальства — очень первное занятие. Многие тысячи людей в нашей стране, занимающие начальственные должности,

вероятно, согласятся со мной. Среди некоторых моих знакомых, ставших начальниками, были люди особенных способностей. Они знали все, что не нужно делать, но вот что нужно... Здесь они проявляли прямо-таки героическую скромность. Находясь в зрелом возрасте, они не стеснялись оставаться отроками, и им даже доставляло странное наслаждение спрашивать обо всем у старших.

Были и такие, которые испытывали особенное умственное оживление, давая руководящие указания. Скажем, приходил человек и спрашивал: «А что, если котлован копать не экскаватором, а размывать монитором? Не будет ли это рентабельнее?» Вместо того чтобы взять карандаш и бумагу да подсчитать и решить, насколько это выгодно или невыгодно, начинали с приятностью обсуждать, какими качествами должен обладать человек при решении подобных вопросов.

И человек уходил, ошеломленный количеством слов, произнесенных за кратчайшее время, сопровождаемых таким богатством мимики, при котором невозможно запомнить лицо начальника. Какое же оно на самом деле, в нормальном состоянии? И, несмотря на огромные разносторонние познания начальника, обнаруживалось, что двух самых важных и простых слов, «да» и «нет», он просто не знает. И жалко было такого начальника не только потому, что к вечеру у него болело все лицо от бесчисленных улыбок, необходимых, чтобы произвести приятное впечатление, жалко было, что он чувствовал себя застенчиво на высоком месте и воображал, что вызывать симпатию — его главная служебная обязанность.

А ведь наши люди не любят смиренных и хладнокровных тоже не любят. Наш народ норовистый, отважный. И сурово-деловой.

Сварщик Босоногов сказал как-то про Павла Гавриловича Балужева:

— Он только тогда смиренный, когда всё в порядке. А в случае чего — держись. Ум у него сокрушительный. Всю сердцевину из тебя вынет, обчистит и обратно на место поставит. Нравится ему людьми командовать. Поэтому не подобострастничает перед нами и лучшего, чем он на самом деле есть, из себя не строит. Умственного качества достиг, понял, что каждый человек насквозь другого видит. Вроде как в башке атомный изотоп имеет, каким у нас сварные швы просвечивают, все сразу наружу видно, где раковина, где шлаковое вкрапление, ничего не скроешь... Так и меж людьми. На должностной подставке выше лю-

дей не устоять, если ты ей не соответствующий. Приземлим и заставим для умственного здоровья на рабочей площадке ногами ходить, при конкретном деле. Дело не терпит. Оно всегда важнее. Коммунизм строим. Уже в самой натуре получается. Ответственный момент...

Более непокорного, такого самостоятельно мыслящего индивидуума, совершенно непригодного для бездумного подчинения, чем советский человек, нет на планете. И у каждого, видите ли, свой характер, своя мечта, необычайно высокое чувство достоинства и негасимая гордость в глазах. Каждый считает себя лично ответственным за выполнение плана. Ну, пожалуйста, пусть бы по своей части производства! Так нет, по всей стране и попутно за судьбу человечества в целом.

Балуев, человек страстный, нетерпеливый, знал свои недостатки и очень боялся их. Но, подобно врезавшемуся пьянению, эта страстность и эта нетерпеливость овладевали им и понуждали совершать поступки, которым он противился, негодовал на себя, но тем не менее повторял их.

В личном деле П. Г. Балуева записаны правительственные награды и благодарности, взыскания и выговоры. И если он, скажем, перечитывал бы на сон грядущий свое личное дело с целью извлечь для себя урок, может быть, это и было бы полезным занятием. Но каждая новая стройка — все равно что сражение: здесь невозможно все предугадать заранее. Стройка — это всегда поединок техники с первобытными, грубыми силами природы.

Кроме того, многое изменилось сейчас в методах руководства. На прокладке первого магистрального газопровода начали работать десятки тысяч людей. Но с каждым годом все больше приходило новых, совершенных машин и все меньше становилось людей на трассе. Если раньше просто невозможно было запомнить в лицо даже одну сотую рабочего коллектива, то теперь, когда рабочих стало совсем немного, возникла необходимость знать каждого не только в лицо, ибо один рабочий, управляя мощным механизмом, делал теперь столько же, сколько раньше сто.

Раньше руководитель, разговаривая с многотысячным коллективом, становился на ящик из-под болтов и произносил речь. А теперь? Один только машинист роторного экскаватора выполняет программу двух сотен землекопов. Зачем же перед ним становиться на ящичный пьедестал и с этой высоты произносить зажигательную речь, будто перед тобой сотни людей?

С таким человеком нужно сесть на подножку роторного экскаватора, чтобы быть, так сказать, на одном уровне от земли, закурить и беседовать, глядя прицельно в глаза, — быть человеком против человека; найти душевные слова, соответствующие новым историческим условиям и новым методам руководства.

Павел Гаврилович обладал проникновенным умением говорить душевно одновременно с тысячами строительных рабочих, словно перед ним стоял один человек. Но долго он не мог отучиться говорить с одним рабочим так, словно перед ним тысяча.

И он со скорбью стал ощущать, что люди относятся к нему с какой-то добродушной иронией. Машинист трубоочистного агрегата Гаврилов (раньше трубу облепляли сотни рабочих и драили ее металлическими жесткими щетками, словно гигантское голенище), одиночествуя в степи со своей машиной, терпеливо выслушивал Балуюва, но каждый раз по окончании разговора насмешливо спрашивал:

— А вы, товарищ начальник, в газеты не пишете? А надо бы: здорово у вас получается!

В технических советах Гаврилов не нуждался, потому что был студентом-заочником машиностроительного института. А между тем не все у него ладилось. Был нервным, раздражительным, несколько раз подавал заявления об уходе с работы и забирал их обратно. Он был женат, жена его работала здесь же, на стройке, учетчицей. Несколько раз ее видели в клубе, но не с мужем, а со старшим водолазом, специалистом Кудряшовым — балтийским моряком, весьма ценным и опытным работником, которым Балуюв очень дорожил.

Как мы уже сказали, Балуюв не перечитывал своего личного дела, где были зафиксированы все его прошлые заслуги и ошибки. Но прожитую свою жизнь он помнил твердо и, руководствуясь этой памятью, пригласил к себе Кудряшова и предложил ему подать заявление об уходе. Балуюв грубо заявил, что не потерпит здесь, у себя на стройке, чтобы людям ломали жизнь.

Кудряшов, понятно, отказался подавать такое заявление и сказал, что будет жаловаться в партком на недопустимые методы администрирования со стороны Балуюва.

Павел Гаврилович пришел в ярость и отдал приказ об увольнении Кудряшова. Этот приказ вывесили в коридоре управления строительного участка.

Дело не в подробностях, как происходило заседание парткома, где обсуждалось заявление Кудряшова. Дело в том, что после этой истории все рабочие как-то совсем иначе стали относиться к Павлу Гавриловичу. Всем были известны на стройке заслуги Балуева и то, что нынешний министр когда-то работал у него десятником на Кузнецкстрое и называет его Пашей, и что маршал Рыбалко за сооружение переправ лично от себя подарил ему сеть для ловли рыбы, и что у Павла Гавриловича орденов от пупка до ключицы, и что держит он себя с любым начальством независимо и дерзко. Все это, даже в несколько преувеличенном виде, было ведомо людям.

Так же хорошо было известно, что Павел Гаврилович очень любит повластвовать над провинившимся человеком, и чем поспешнее человек признает свою вину, тем сильнее ярится Балуев, тем старательнее ищет слова побольнее.

То, что Павел Гаврилович обожал, когда при нем вспоминали о его высокомудрых решениях, благодаря которым находили выход из трудных положений, или то, что Павел Гаврилович не боится простуды, что он знает много строительных профессий и может изболтать любого потому, что подноготную каждого дела прошел сам, и то, что ему нравится произносить торжественные речи и устраивать митинги, когда людям некогда, — это тоже было всем известно.

Даже то, что Павел Гаврилович любит хвастать, какая у него жена культурная женщина — научный работник, и что она у него получше, чем жены у других, и то, что он «свалил деревцо себе по росту», многие слышали не раз. Все также знали, что он перед тем, как явиться в Москву домой, обязательно посещает косметический кабинет, где делает себе паровую ванну и массаж лица, замазывает краской седины на висках и обязательно шлифует ногти на сбитых о всякое железо, опухших, обмороженных пальцах. Все было людям известно.

Но то, что он обладает способностью душевно волноваться и даже терять при этом голову, когда дело вовсе не касается производственных вопросов, — этого люди не знали. В коллективе к Кудряшову относились с симпатией, за ним числилось немало рабочих подвигов, совершенных под водой. До знакомства с супругой Гаврилова он держался с женским персоналом крайне неприступно, и его считали по этой линии даже гордецом. А Гаврилова не любили. Его уволили из института за какую-то нехорошую историю, и поговаривали, будто он пошел на произ-

водство, чтобы уже в рабочем облиии получить возможность стать студентом-заочником. И свою жену, говорили, он увел от мужа, который был его товарищем. Все это было правдой, и вместе с тем партийный коллектив стал на сторону Балуюева, хотя Балуев уже признался, что погорячился, недопустимо садминистировал, поступил необдуманно.

— Ничего, товарищ Балуев, не садминистировал, — выступал уже против Балуюева мастер по монтажу, известный нам Петухов. — Человек брак допустил или мотор заporол — чепе? Администрация что — обязана взыскать! А если жизнь человеку портят, администрация ни при чем? Так, что ли? Мы не только, согласно расписанию семилетнего плана, магистральный газопровод кладем — материальную базу коммунизма, но и сами должны ему соответствовать личными качествами. Я за поддержку приказа администрации, — объявил Петухов. И, уже садясь на место, изрек: — Советский человек — существо священное, и мы обязаны его оберегать всеми имеющимися у нас в наличии средствами.

Павел Гаврилович взволнованно пожал руку Петухову и сказал шепотом:

— Спасибо, поддержал. А то, знаешь, был у меня производственный случай: выпалил один из двустволки сначала в него, а потом в себя.

— Ну, это чистая уголовщина, при чем тут производство? — поправил его Петухов и спросил озабоченно соседа: — Ну как, я не очень загнул?

— Нет, в самую точку.

Петухов от похвалы зарделся и произнес:

— Совесть, она хоть и не оратор, всегда слова подходящие подскажет.

9

Стремительное вторжение сложной, богатой техники в строительное дело привело к большей зависимости руководителя от каждого подчиненного. Ибо, повторяем, теперь производительность труда человека, управляющего один на один могучей машиной, стала равна труду сотен людей.

Два машиниста двух трубоукладчиков да два машиниста: один — изолировочного агрегата, другой — очистной машины и один машинист роторного экскаватора за-

менили полтысячи рабочих. Раньше руководитель не мог «влезть» в душу каждого рабочего. Раньше, для того чтобы управлять людьми и понять их, он прибегал к помощи воображения, создавая для себя эдакий коллективный портрет, в котором смешивались одновременно черты сотен людей, объединяемых по признаку неких общих достоинств или недостатков, изучаемых в канцелярии стройучастка по ведомостям зарплаты, графику выполнения работ и рапортам бригадиров. Теперь эти методы уже никуда не годились.

Ныне возникла необходимость руководства один на один, с глазу на глаз. И чем больше руководитель проникал в особенности душевного склада, улавливал черты несхожести, знал подробности жизни людей, тем лучше удавалось ему найти к ним подход, завоевать авторитет и уважение.

Достоинство советского человека пропорционально мере труда, который он вкладывает в великие сооружения коммунизма.

Только явный глупец может не замечать, как от властного обращения с новейшими и все более совершенными машинами стремительно вырастает гордая уверенность советского человека, а вместе с нею и крайняя его обидчивость, если кто-нибудь не способен понять, сколь резко и ярко проявляются его индивидуальность, его особые свойства, помноженные на количество сил управляемого им механизма. Чем меньше людей оставалось на строительном участке, тем больше они ощущали свою взаимозависимость, больше узнавали друг друга и взыскательнее относились друг к другу по самому высокому человеческому счету.

Говоря откровенно, та горячность, которую проявил Павел Гаврилович Балув по отношению к старшему водлазному специалисту Кудряшову, имела личную подоплеку.

Не знаю, насколько это типично для граждан пожилого возраста, но Павел Гаврилович, оторвавшись от семьи, чувствовал себя в последние годы тревожно и тоскливо. С ним произошла странная история. Он вдруг стал особенно возвышенно мечтать о семейной жизни. Этому, конечно, немало содействовало то, что он видел свою жену редко и неподолгу. И при каждой встрече очень волновался, не постарел ли, не слишком ли огрубел в трудной походной жизни. И не сможет ли когда-нибудь роковым об-

разом сказаться различие в культурном уровне, которое он внутренне ощущал между собой и женой.

Павел Гаврилович даже попытался стать студентом-заочником строительного института, но его заявление отклонили по мотивам возраста. Правда, он не сдался и брал задания у студента-заочника сварщика Босоногова, который учился на физико-математическом факультете. Настойчиво, до головной боли Павел Гаврилович трудился над этими заданиями. Даже изучал английский язык. И однажды, подвыпив, прочел наизусть на английском языке строфу из Байрона. Трезвый, он, конечно, постеснялся бы своего произношения.

Чем больше в одиночестве Балугев думал о своей супруге, вспоминая, какая она хорошая, тем сильнее ощущал себя беззащитным перед возможными бедами.

Беллетристика, которую он, несмотря на занятость, ныне поглощал в значительном количестве, еще сильнее разжигала его беспокойство. Во множестве произведений авторитетно доказывалось, что в жизни бывает всякое и даже самые верные жены не властны над собой.

Терзаемый такими размышлениями, сознавая свою беззащитность, Павел Гаврилович и выступил против Кудряшова в роли блюстителя семейного благополучия своих подчиненных.

Этот свой поступок, как уже говорилось, Балугев готов был признать неправильным, считал его проявлением административного произвола, но в коллективе он вызвал к Павлу Гавриловичу симпатию. Мало того, после этого случая люди стали обращаться к Балугеву по самым сокровенным вопросам жизни, советоваться, искать наставлений, поддержки. И со всей ошеломляющей ясностью Павел Гаврилович ощутил, что руководитель — это не только повелитель, он нечто гораздо большее, чем просто начальник.

Как и многих отцов, война лишила Балугева сладостной, чистой радости видеть, ощущать всей душой, как его дети из младенчества и отрочества постепенно входят в юность и большая жизнь страны становится их жизнью.

Он оставил своих ребят совсем маленькими, а встретился с ними, когда они стали уже почти взрослыми.

Он с умилением вспоминал на фронте, как Ляля — теперь она звалась Еленой — каждое утро прибегала в рубашонке будить его. Говорила встревоженно:

— Ты знаешь, как уже поздно на часах! — Лезла под одеяло, сворачивалась калачиком, задумчиво спрашивала: — Мне сны снятся, а кто их там показывает? — Принесла на ладошке высохшую муху, воскликнула горестно: — Смотри, муха умерла! Чего теперь делать будем?

Она считала отца всесильным. Говорила:

— А Москву ты тоже сам построил? — И советовала: — Надо вместо простых домов и заводов дворцы строить. Пускай все люди, как принцы и феи, в них живут.

Кока — так сам себя называл когда-то Костя — всегда стремился к самостоятельности. Однажды он зарыл ступни ног в землю и долго стоял под дождем во дворе.

— Ты что, простудиться хочешь?

— Я так себя выращивать буду, — сказал Костя.

Как-то, диктуя сыну, Балугев спросил:

— Ну что, готово, написал?

— А что я тебе, стенографистка? — ответил Костя и тут же заявил: — Я придумал, из чего живая вода. Надо настой из бессмертника делать, пить его, и тогда никто никогда не умрет. — Упрекнул сердито: — Ты почему пещеры людям не строишь? В пещерах жить интересней. Там на полу костер можно жечь, а в доме нельзя. Метро — тоже пещера, только длинная, а жить туда не пускают. Почему?

Вернувшись после войны, Балугев вынужден был заново знакомиться со своими детьми.

Подобно многим советским людям, вышедшим из «низов», испытавшим голод, холод, тяжкий труд, Балугев как бы хотел вознаградить своих детей за те лишения, которые когда-то вынес сам. Он щедро покупал им дорогие вещи, не только ни в чем не отказывал, но даже навязывал путевки на курорт, хлопотал, чтобы вузовскую практику они проходили у его приятелей, где им создавали соответствующие благоприятные условия. Он радовался, что его ребята могут пользоваться благами жизни, но втайне чувствовал себя оскорбленным: его раздражало, что они с такой беззаботной легкостью принимают эти блага, будто иначе и не могло быть. Однажды он не удержался и упрекнул их в этом.

Костя спокойно ответил, пожимая плечами:

— В сущности, ты прав, но не могу же я искусственно создавать себе трудную жизнь. Благодаря тебе я получил возможность учиться и не заботиться больше ни о чем, кроме учебы. Если бы я не считал целесообразным сосредоточить всю свою энергию на образовании, я, очевидно,

давно бы где-нибудь работал. Вообще до некоторой степени мне, возможно, было бы даже лучше переселиться в общежитие и жить только на стипендию. Но зачем обременять собой государство, когда твоего заработка хватает, чтобы содержать меня? Это ведь тоже твой долг перед государством.

Елена поддержала Костю:

— Ты пойми, папа, мы просто вынуждены пользоваться тем, что ты нам даешь! В эвакуации, когда было трудно, мы с Костей работали в совхозе, а деньги отдавали маме. А теперь зачем? Ведь нам же хватает!

— А если вы белоручками, барчуками станете? Без всякой закалки в жизни? В случае чего, когда понадобится, на что вы будете годиться? Вот я, например... — И Балуюев взволнованно, в который уже раз, рассказывал о своем тяжелом детстве.

— Но ведь все это в прошлом! — возражала Елена. — Почему ты боишься будущего и воображаешь, будто может повториться что-нибудь подобное? Нам эти опасности не угрожают, трудно совсем другое.

— Что же именно?

— Главное для нас — это стать людьми высокой духовной культуры.

— Ах, ах, как красиво сказано! — сердился Балуюев. — Книжками жизнь не делают.

Костя сказал солидно:

— На мраморных стенах Дельфийского храма в Древней Греции была высечена на камне надпись: «Человек — мера вещей». Понял? Человек!

— Ага, — обрадовался Балуюев, — на стенах здания, говоришь? Вот! — И торжествующе заявил: — Сначала человек его построил, здание, и только тогда стал мерой вещи, им созданной. Это правильно, согласен с твоими греками. Без дела ни человек, ни его культура существовать не могут. Начало всему — деяние.

Увидев на столе у сына книгу модного западного литератора, Балуюев сказал пренебрежительно:

— Не люблю я этих искателей улики низкого в человеке. Какие-то собиратели нечистот.

— Но ведь капитализм и порождает мерзость!

— Он порождает себе могильщиков, вот что главное.

— Автор не марксист, и даже наоборот, но он талантлив и по-своему правдив.

— Вроде слепого музыканта, значит. Любой мотив в тоску перекладывает. Кто-то из них сказал, что «искус-

ство — высшая форма ремесла». А по-моему, искусство — высшая форма человеческого самосознания. А если так, все низкое в человеке ему чуждо.

— Значит, идиллии сочинять?

— Врать искусство не может. Если врет, оно уже не искусство. Но когда они объявляют, что «обречены на одиночное заключение в собственной шкуре», я этому не верю. Индивидуализм — штука злая, агрессивная, а вовсе не пассивная. Мир индивидуализма жаден, жесток и так же баснословно живуч, как сорняк. О нем нужно писать с ненавистью, а не с жалостью, так, как о нем наши беспартийные классики всегда писали, — тоже марксистами не были, но человеческое в человеке уважали.

— Но ведь у нас тоже есть плохие люди!

— Правильно! И всегда будут. Но зачем к ним сочувствие вызывать?

— Что ж, уничтожать как класс?

— Уничтожать как класс, только не людей, а причины, порождающие плохое в людях. Если у человека отсутствует правильное понятие о труде, нет любви к труду, — плохое идет прежде всего от этого: и неуважение к другому человеку, и стяжательство, и вместо ума — хитрость.

— Значит, по-твоему, о человеке можно судить в основном по тому, как он работает?

— А как же иначе! В нашем обществе это самая точная мерка морали, нравственности и чего хочешь. Дело простое, ты пойми. Все мы хотим жить лучше, чтобы материальные условия соответствовали нашим потребностям. И какой бы у тебя «талант» к личному благоустройству ни был, самостоятельно, если ты не жулик, без общегосударственного действия, жизнь себе не улучшишь. Все мы друг от друга взаимно зависимы, взаимно заинтересованы. Все идет от общего к частному, от частного к общему. Вот мы, газовики, дадим стране на одном только сырье и топливе сто двадцать миллиардов экономии. А это цена всей жилплощади, которая вступит в строй за семилетие. Значит, от меня, Балугева, кроме всего прочего, зависит, получают или не получают дополнительно несколько тысяч квартир совсем незнакомые мне люди. Вот, значит, какая у нас карусель. И это каждый должен сердцем понимать и беречь каждого человека, для себя беречь, потому что все на всех работают и все во всех заинтересованы. А отсюда мораль: от нравственности каждого человека зависит мое материальное, жизненное благополучие. Так, значит, дерись за каждого человека, как за свое личное счастье! Вот про это бы пи-

сать надо. За такие книжки мы, хозяйственники, да и все прочие, литераторам в ноги бы кланялись. А то — плохой человек! Если он сам по себе плохой, это не так уж важно. Важно, что от него другим плохо. Вот про это надо яростно писать, беспощадно! — Балуев положил руку на плечо сына. — Вы на меня с Лялькой не обижайтесь, когда я вас шпыняю. Очень охота мне, чтобы вы коммунистическими людьми стали. И не хочу я для вас легкой жизни, чтобы не размякли в ней, не обездушились. А вместе с тем чувствую: зря иногда паникую. Что значит легкая жизнь? Нет у нас легкой жизни. Я так считаю: время — штука материальная. И все весомее оно от созданий рук человеческих. И сейчас, смотри, как красиво жить на свете! Вот-вот уже оно в руках, это время коммунизма, и в каждом человеке хоть чуточку, да светит оно. Вся задача в том, чтобы во всех оно побольше светило.

Бывает ли так, что советский человек, да еще член партии, начинает вдруг мечтать о накоплении личного денежного капитала? А это случилось с Павлом Гавриловичем Балуевым.

В каком бы планетарном количестве сейчас страна ни выдавала метры жилой площади, все-таки ее еще не хватает для быстрой и полной организации всеобщего семейного счастья, ибо каждая семья в соответствии с законами природы постоянно находится под угрозой нашествия со стороны.

Двухкомнатная квартира Балуевых тоже подверглась оккупации. Дочь вышла замуж и привела в дом застенчивого, скромного юношу в очках. Спустя некоторое время юноша, краснея, объявил:

— Извините, но скоро нас, кажется, будет трое.

Со стороны сына тоже нависла подобная угроза. Он предупредил родителей:

— У меня с Люсей чисто товарищеские отношения, я ценю ее за математические способности. Без нее давно нахватал бы троек.

Павел Гаврилович сказал жене пророческим тоном:

— Скоро нас из дома окончательно вышибут.

— Павел, ну зачем так грубо?

— Пожалуйста, могу выразиться интеллигентнее. Старое должно уступать место молодому, прекрасному и искать себе убежище на кухне.

— Почему же обязательно на кухне? Я тебе буду ставить в коридоре раскладушку и оставлять дверь на цепочке, полуоткрытой, чтобы поступал свежий воздух.

— Спасибо! — сказал Павел Гаврилович. — Спасибо за заботу! Свежий воздух для меня — главное, мне там, на стройке, его не хватает.

В конце концов Балув вступил в члены жилищного кооператива, и поэтому ему понадобился капитал; денежная премия за досрочное сооружение водного перехода была бы сейчас очень кстати. Приезжая домой, Павел Гаврилович все чаще становился раздражительным. Истосковавшись по жене, он не находил дома покоя и уюта. Он чувствовал себя как командировочный, которого приютили друзья, умеющие деликатно мириться с теми неудобствами, которые им причиняет гость. Он стал ссориться с женой и нередко уезжал к себе на стройку с болью в сердце. Особенно часто он испытывал чувство одиночества после того, как жена, обиженная его ироническими рассуждениями, сдержанно прощалась с ним.

Вообще я убежден, что классики имели перед современными писателями баснословное преимущество в материале для драматических коллизий, ибо в досоветские времена денежные отношения лежали в основе всех человеческих отношений. Пользуясь этим обстоятельством, классики могли успешно создавать душераздирающие столкновения и вызывать чувство глубокого сострадания к нуждающимся. В нашем обществе деньги утратили свое бывшее величие. Даже наоборот, сосредоточение чрезмерного количества денег в руках какой-нибудь личности может вызвать утрату общественного доверия и уважения к ней. Поэтому не знаю, смогу ли я вызвать чувство сострадания и сочувствия к П. Г. Балуву, когда он в силу житейских обстоятельств стал остро нуждаться в капитале. Хотя, конечно, есть у нас немало граждан, которым близки и понятны его трудности. Но из одних трудностей трагедийную коллизию не соорудишь: для этого необходимы злодеи и жертвы...

Обычно гражданские подвиги, проникнутые духом высокой сознательности и самоотверженности, совершаются в атмосфере напряженной, героической борьбы и являются выражением красивых, пленительных черт человеческого характера.

Но очень странно стал вести себя Павел Гаврилович после множества своих путешествий по заболоченной пади.

В обычае строителей всегда поносить проектировщиков. И как бы ни был удачен проект, хорошим тоном счи-

тается бранить его, чтобы взбодрить коллектив и в самом процессе работ пайти лучшее решение.

И вдруг вопреки сложившейся традиции Павел Гаврилович стал безудержно восхвалять проект с обходом. Но делал он это весьма своеобразно.

— Вот, — говорил Павел Гаврилович, — учили меня, будто прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Конечно, у меня незаконченное высшее, многого не знаю, но в этом факте был убежден твердо. А что оказалось? Оказалось, что я человек узкий, не широкий. — Он хитро щурил глаза на собеседника и произносил восхищенно: — Какую щедрую заботу о нас, строителях, проектировщики проявили! Просто пролетарское им спасибо! — И с подозрительным простодушием объявлял: — Славные ребята, добрые! Подумаешь, действительно, что такое лишние четыре километра труб? Две тысячи тонн стали ради того, чтобы мы в сырости ноги не промачивали, не простужались. — Вздыхал завистливо: — Видите, они, проектанты, не только люди с инженерным образованием, но и с медицинским тоже!

— Вы что, полагаете, не надо обхода?

Павел Гаврилович мечтательно глядел в небо:

— Я так полагаю, металл нам сейчас девать некуда, если на Луну его швыряют. Вот что я думаю.

— Павел Гаврилович, вы не виляйте, скажите прямо. Про обход как считаете?

— На тонны, — уклонился Павел Гаврилович, — а еще точнее, на погонные метры трубы. — Похлопал собеседника ободряюще по плечу, пообещал: — А премию мы сорвем за досрочное выполнение. Тут полная моя гарантия. Не грунт — волшебная сказка!

— А если через болото?

— Премию, возможно, утопим. И технику в грязь окунем, но она штука могучая, выдюжит. — Произносил сурово: — Загонять людей самовластно в трясины не хочу. Конечно, если ты, допустим, вдруг на партийном собрании на меня навалишься, что ж, я — коммунист, воля большинства, согласно Уставу. Я с партией всегда заодно.

— Что-то ты крутишь, Павел Гаврилович!

— А у тебя что, своего ума нет? Понимай, раскручивай, — сердился Балуев. И завершал уже официальным тоном: — Проект утвержден, мое дело ясное: руководствуйся проектом — и все.

Но таких разговоров Павлу Гавриловичу было мало. Он будто случайно, ненароком привел своих соратников на

линию телеграфной передачи, где рабочие-связисты меняли на телеграфных столбах рельсовые опоры на бетонные. Объяснил:

— Чем больше страна металла дает, тем больше его требуется на всякие серьезные сооружения. — И добавил иронически: — Американцы на спутниках экономят, они у них легковесные, а наши что ни бросят — полторы тонны. Сколько нашего металла в космосе валяется! Подсчитай. Цифра! — Потом обвел взглядом строительную площадку, сказал: — Вот наш обходик — две тысячи тонн стали. А нам разрешили ради гигиены труда, чтобы в болото не залезать, эти две тысячи тонн в обход засадить.

— Зачем же так делать, Павел Гаврилович?

— А разве это я? Проектировщики.

— А вы не соглашайтесь с проектом.

— Да ведь они не для меня, для вас же старались, вы и возражайте!

— А вы нас поддержите?

— Нет, озарен глупостью свыше меры, для меня проект — документ священный и неприкосновенный.

— Значит, понятно, Павел Гаврилович!

— Ну и ладно, а то я доверчивый, думаю про каждого, что у него голова есть и он сам ею думает.

Почему Павел Гаврилович решил разжечь у своих строителей этот дух непокорного самостоятельного мышления, я бы даже сказал, до весьма опасного для него самого накала, понять, конечно, можно. Но он мог применить и другие методы, более для него удобные и даже выгодные. Скажем, обратиться в соответствующие инстанции и во имя экономии столь ценных труб отказаться от обхода. Если б предложение приняли, то ему наверняка полагалась бы большая премия за экономию металла. А если бы даже не приняли, все равно высоко оценили бы патристический порыв. Зачем же он поступал столь нецелесообразно, невыгодно для себя, принося в жертву свой авторитет хозяйственника? Может быть, без этой жертвы можно было обойтись?

Обследуя хлипкое болото с вымершей растительностью, не однажды увязая в нем по пояс, Павел Гаврилович пришел к твердому убеждению, что развернуть работы здесь можно, но при одном условии — если рабочие сами взвесят все трудности и сами захотят их преодолеть. Поэтому он на всех собраниях равнодушно, отвратительно спокойным, ровным голосом перечислял только трудности, с которыми придется столкнуться, доводя людей до высокой степени

раздражения против себя, Балугева. И ловко скрывал ликование, когда его доводы страстно опровергались, хотя при этом ему приходилось выслушивать обидные и несправедливые слова, сказанные сгоряча.

В общем, по настоянию коллектива, а не Балугева проектные организации вынуждены были согласиться на отказ от обхода, сопроводив свое согласие оговоркой, что вся вина за возможные неприятности возлагается на начальника участка подводно-технических работ товарища Балугева. В чем он, товарищ Балугев, и расписался в уголке нового, исправленного проекта.

После всего этого Павел Гаврилович сказал старшине водолазной станции Бубнову:

— Ты размер ноги моей помнишь? Пошли на склад за резиновыми сапогами, свои я уже истоптал на болоте вдрызг. И ты тоже надень. Погуляем там на сон грядущий, посоветуемся.

10

Огромное гниющее болото цвета плесени, сырой дым тумана. Солнце сквозь влажную мглу — как сальное пятно. От огражденных земляными валами отстойных водоемов химических заводов воняет пронзительно остро, до слез.

Вязкая, словно жидкий битум, трясина разит своим собственным химическим зловонием. Выброшенные паводком стволы деревьев раскисли в торфяной кислоте. Ноги проваливаются сквозь рыхлую древесину.

Ковыляя в трясине, Балугев машинально, по привычке поносил проектировщиков:

— Тоже самодержцы! Стратеги конторского двухтумбового стола! Подсунули идеальную прямую. Их бы сюда, в эту помойку! Провидцы бумажные!

Огромный, тяжеловесный, могучего сложения, Бубнов, обладатель девически тонкого голоса, сказал робко:

— Павел Гаврилович, это же ваша инициатива.

Балугев, сердясь на то, что Бубнов сказал правду, осведомился ехидно:

— Что-то ты толстеешь, Сережа, с чего бы это?

— Не знаю, — жалобно проблеял Бубнов. — Дал клятву: ни жирного, ни мучного, ни сладкого, — а организм у меня все равно самостоятельно прет во все стороны.

— Ладно. Тут он тебя послушается. Растрясай жир.

— Надо полагать, не мне одному достанется, — уточнил Бубнов и весело добавил: — Зато совесть будет у всех чистая по линии трубы.

Пробираясь по набухшим водой, гнилым кочкам, Балув балансировал руками, нацеливаясь, приседал для прыжка и прыгал с лихим возгласом, выбивая ногами фонтаны жирной грязи. Усохшее с годами, узкое облупленное кожаное пальто принимало на себя шлепки грязи, а ноги в резиновых сапогах хлюпали, как поршни насоса.

Нелегко ему давалась миссия отважного землепроходца. Уже несколько раз тяжело проваливался в трясину. Лицо осунулось, покрылось мелким, нездоровым потом, сперло дыхание. Он расстегнул пальто, затем пуговицу на воротнике рубашки, оттянул галстук — все равно было душно и нехорошо.

Но, тщеславно и молодцевато стараясь скрыть свое состояние, он безостановочно говорил, прыгая с кочки на кочку. От этих скачков слова его обрели определенный ритм, и он, будто повинаясь этому ритму, упорно продолжал прыгать по войлочным шарам кочек, стараясь не оборачиваться, чтобы Бубнов не видел его изможденного, усталого лица, не видел, как тяжело дается ему это путешествие.

— Сергей Петрович, ты как теперь — не пьешь? — спросил он Бубнова.

— Шампанское только.

— О супруге скучаешь?

— А что ж, я на ней добровольно женился, — уклончиво сказал Бубнов.

— Кончим здесь, будем через Обь и Иртыш водные переходы класть. Тоже речки солидные.

— Наше дело такое. Всё разные климаты.

— Здоровье не беспокоит?

— Я к нему не присматриваюсь, на это врачи есть.

— Не удалось мне поспать на лаврах, — грустно сказал Балув. — Залез в болото, а вот как вылезу...

— А это вы правильно ребят раздражили по линии трудности, — оживился Бубнов. — Только ишаку надо зеленые очки надевать, чтобы он солому жевал, а думал — сено. — Остановился, чиркнул спичку и, держа ее между ладонями, сложенным ковшиком, нагнулся и прикурил, с наслаждением вдыхая дым. Продолжал: — Я, конечно, в науке несведущий, но для себя полагаю: особо сильно наш народ раздражился от спутников, ракет и портрета

Луны. Разгорячили народ до невозможности. Во время войны «катюшей» себя показывали, а кто другого рода войск, он хуже, что ли? Каждый на свое место представлен и по силе возможности показать себя может.

— А вот Петухов на пенсию уходить хочет.

— Это он от злости грозит. Полотенец стальных ему не выписали. На тросах трубу подымать — прогиба боится. А уходить ему нельзя: помрет сразу же от тихой жизни. Он сам себе здесь пружину закручивает. Заводной мужик, яростный! Тоже вчера весь день по болоту лазил, примеривался. Но он тощий, легкий, как птица, его трясина держит. Не так, как нас с вами. Солидному человеку здесь вязко. А техники-ребята уширенные траки налаживают, соображают. Ну и лежневку рубят, все как положено.

— Остров наш помнишь?

— А как же, тепло жили, душевно!

— Досталось там!

— Так ведь как сказать! По водолазной части в океане работать свободнее и видимость лучше. Вот речушку мы недавно проходили, обидели ее названием — Моча. Милая речушка, а дно у ней, сами понимаете, завалено лесом. Намаешься, пока очистили. Тоже попотели под водой. А ничего, прошли. Нам теперь не привыкать под водой лесорубами быть.

Вышли на бугор, присели, стали переобуваться, вылили из сапог ржавую воду.

В серебряной туманной мгле простиралась беспредельная равнина.

Сюда, на эту исконную, древнюю, кроткую русскую землю, давшую начало народу русскому, на эти русые хлебные нивы и голубые поля льна, совсем недавно вышагала стальными мачтами электромагистраль. На белых длинных гроздьях изоляторов протянулись тяжелые обвислые провода. А вот и другие стальные башни радиорелейной связи, и у подножия каждой белые новые домики с окнами, таинственно озаренными пронзительным голубым светом.

Рассекая белые березовые рощи и красные сосновые боры, укладывается массивными плитами бетона самая длинная в мире трансконтинентальная автомагистраль. К линии высоковольтной передачи присосались новые электрограды, бездымные производители электростали и всевозможных изощреннейших из нее изделий.

А вот еще более новые, поспешно поставленные меж деревень корпуса химических заводов. Их кишечники, за-

тейливо скрученные из труб высокопородистой стали, омываются воздухом.

Квадратными раструбами дымит огромная ТЭЦ, стоящая посредине равнины. Из своих топок она навалила целую гору шлака.

Магистральный газопровод — только частица гигантских появившихся здесь сооружений. Он даст сырье и топливо химическим заводам. Из газа будут изготавливаться изделия мягче пуха — искусственные меха, ткани и — прочнее металла — детали для машин, корпусов кораблей, подводных лодок, автомобилей и, как знать, возможно, кабины космолетов, материал для которых природа не способна создать самостоятельно. Нет в природе таких прочных материалов, их выдумывают люди, и они оказываются прочнее существующих на земле.

ТЭЦ тоже присоединится к газопроводу. Умрут дымы в ее трубах. Не нужна будет железнодорожная ветка с угольными составами для ее ненасытного жерла. В топках будет пылать сиреневатое чистое пламя. И кочегары выбросят павечно свои совковые лопаты и запеченные шлаком ломы. Не будет расти больше шлаковая сопка, не будет она уродовать зеленую равнину. Заблещут на ней, как зеркальные поверхности водоемов, стеклянные крыши оранжерей, отапливаемых газом. Колхозники не будут больше вырубать деревья на дрова: в каждой избе будет газовая плита и паровое отопление от котла с газовыми горелками. Сотни тысяч крестьянок получают газ, который освободит их от унылой обязанности таскать дрова, растапливать печи. А сколько времени, средств сэберегут люди!

«Трассовики» тянут газовую магистраль за многие сотни километров от подземного океанохранилища газа. И скоро они подойдут к реке, и их появление должно быть упреждено сооружением водного перехода, чтобы можно было мгновенно состыковать магистраль. И тогда по ней с авиационной скоростью хлынет тугой поток кисло и едко пахнущего, невидимого глазу сырья и топлива, способного быть почти невесомо легким или тяжелым, твердым, как сталь.

Вот она такая сейчас, эта древняя Россия! В кротких, скромных бревенчатых избах, обрастающая стальными громадами выше ее рощ, боров и лесистых холмов.

Бубнов сказал с мечтательной улыбкой:

— К природе я здесь, Павел Гаврилович, все-таки присматриваюсь. Красивая, как на картинке.

— Это ты про болото так выражаешься?

— На болото я гляжу как на резерв, — спокойно сказал Бубнов. — На досуге люди обладают, подсушат.

— Может, тогда и дюкер класть думаешь?

— Зачем? Мы народ скоростной. Главное хозяйство налаживаем. Мелочишки попутно, само собой. Обещали, говорят, вы колхозникам после нас дренажную канаву подарить. А вообще-то полагается, если в срок уложимся, чучело из бронзы на сквере о себе поставить.

— Именно чучело, — сказал сердито Балувев. Встал, дотянул до паха резиновые голенища. — Пошли дальше шлепать. Поищем, где столовку соорудить, чтобы люди, доходя до нее, не топили.

Но не они одни бродили по заболоченной низине.

Машинисты кранов-трубоукладчиков, бульдозеристы, монтажники, вооружившись шестами, вышагивали по болоту, выискивая подходы для своей тяжелой техники. И каждый чувствовал себя немного виноватым перед другими, потому что каждому казалось, что именно он горячее всех предлагал отказаться от обхода.

В Америке и Канаде для протаскивания дюкеров применяется следующий способ. Строится железнодорожная ветка, устанавливается состав из открытых вагонеток с рольгангами, на них укладывается плетъ дюкера, и она с ходу сволакивается через водную преграду тракторным поездом, от которого тянутся тросы к дюкеру.

Америка значительно обогнала нас в использовании природного газа. И в строительстве магистральных газопроводов накопила огромный опыт.

На XX съезде партии была утверждена идея газификации страны. XXI съезд принял грандиозную программу осуществления ее в семилетнем плане. Это самая юная отрасль индустрии. И почти все здесь осуществляется впервые. Страна снабдила строителей газопроводов техникой, не только не уступающей американской, но и превосходящей ее мощностью и совершенством механизмов. Но способ протаскивания дюкеров через водные преграды оказался чисто русским по дерзости, простоте и экономичности решения.

Открыл этот способ Павел Гаврилович Балувев. Но по тем же странностям своего характера, по каким он не захотел стать персональным патриотом экономии металла, уклонился патентовать и этот способ.

Балувев говорил в управлении раздраженно:

— Ладно! Бросьте вы мне меня навязывать. А коллектив что? Выходит, ни при чем? А мне надо, чтобы у всех людей шарики крутились. Наш способ, нашего участка, — делите на всех премию.

— Так ведь в денежном выражении пустяки будут, если на всех, даже неловко вручать.

— Людям моральный момент дороже ваших денег. А мне выгода: каждый себя изобретателем почитать будет. Звание обязывает — глядишь, будут другое придумывать. В итоге мой выигрыш. Чей участок впереди? Мой, Балугева. Я, знаете, человек тщеславный, люблю славу.

Протаскивание дюкеров по способу стройучастка Балугева заключалось в следующем. Прорывали траншею, глубокую, как канал, закладывали ее перемычкой и заполняли водой. В этот канал опускали готовый дюкер с приваренными с обоих концов заглушками, и он оказывался на плаву. С противоположного берега перебрасывали тросы от тракторного поезда, закрепляли за серьгу оголовков дюкера и, по команде проломив перемычку, вместе с хлынувшей из канала водой дюкер стаскивали в реку.

Дешево, быстро, никаких механических повреждений и каждый раз сотни тысяч рублей экономии. Только этот метод обеспечивал возможность протаскивать дюкер в широких заболоченных поймах.

Протаскивание его — столь же торжественное и захватывающее зрелище, как спуск со стапеля нового корабля, но более тревожное, опасное, чреватое всякими неожиданностями. Ведь всего коварства многослойной почвы, рассеченной траншеей, предугадать невозможно, тем более в подводном канале, по которому гигантской анакондой, виляя гибким стальным телом, трепеща и извиваясь, ползет дюкер. А вес этой трубы со всеми облепившими ее грузами без малого полторы тысячи тонн.

Павел Гаврилович выработал для себя правило: непременно беседовать с каждым вновь поступающим на работу, хотя по должностному его положению это было совсем не обязательно. Собственно, для этого существовал начальник отдела кадров, но его Балусев называл не то по-

чительно, не то насмешливо «кадролог». Балуев сказал ему как-то:

— Вы действуете по линии официальной, я — по линии психологической. Мне, видите ли, очень нравятся люди симпатичные. — И объяснил, чтобы не обидеть недоверием: — Получаю новую технику, все кидаются смотреть, пробовать, испытывать, чтобы с дефектом какой-нибудь механизм не всучили. Не доверяют заводскому документу со всеми печатями и подписями ОТК, и такую мнительность я одобряю. А вот человека нового берут, даже в глаза как следует не взглянут, в бумагу же глядят пристально. А этот человек, он над механизмом главный, от него механизм в зависимости. Вот и получается петрушка. К вещи, подчиненной человеку, огромное внимание, а к самому ее хозяину, от которого она зависит, должного почтения не обнаруживаем.

— Что ж, я каждого, как в загсе, должен поздравить и, может, букет вручить?

— Букет — это что ж, красивый символ! — сказал Балуев. И предупредил: — Когда человек на работу поступает, это в его жизни всегда событие историческое, и подчеркнуть мы это обязаны.

— Я со всеми вежлив, — возразил начальник отдела кадров и пообещал: — Учту ваши указания по линии торжественности. В процессе оформления и формулировку поздравления продумаю.

— Именно, — согласился Павел Гаврилович, — думать — это каждому полезно.

Во время бесед со вновь поступающими рабочими своего возраста Балуев обнаруживал по всем вопросам самую обширную осведомленность и неотразимую проницательность. Вел он эти беседы уверенно и страстно.

Но вот когда приходили молодые ребята прямо со школьной скамьи, тут Павла Гавриловича охватывало жадное любопытство. И при всей своей житейской мудрости ему не всегда удавалось сразу понять их, проникнуть к ним в душу, составить для себя отчетливое, ясное представление. Внешне он сохранял начальническую самоуверенность, но частенько чувствовал, что она покидает его.

Вот, например, Виктор Зайцев явился к Павлу Гавриловичу в берете и габардиновой куртке на «молнии». В одной руке туго набитый портфель, в другой — стопка книг, перевязанная брючным ремнем.

Павел Гаврилович, предвкушая сладостную, увлекательную беседу, добродушно попросил:

— А ну, покажи, дружок, что это у тебя за такая походная библиотека. Может, что-нибудь почитать одолжишь? — и потянулся к книжной стопке.

Но паренек поспешно отодвинул книги ногой и сказал неприязненно:

— Для вас тут нет ничего интересного.

— Это почему же? — удивился Павел Гаврилович.

— А так, — ответил Зайцев, — не интересно вам. — И снисходительно объяснил: — Тут астроботаника.

— Ты что же, астрономом собираешься стать?

— Никем я не хочу стать, — обиделся Зайцев. — Просто интересно мне, и все.

Балуев оглядел Зайцева с ног до головы:

— Что же ты на стройку таким франтом явился? Или, может, у тебя спецовка в портфеле?

— Я полагаю, — заявил гордо Зайцев, — на производстве люди не обязательно должны надевать грязные лохмотья. Аккуратная внешность рабочего должна соответствовать технике, к которой он приставлен.

— А ты разве уже рабочий?

— Если примете, значит, буду рабочим.

— Ты что же, сразу к нам после школы?

— Нет.

— Где же болтался?

— По домашнему хозяйству, — шепотом произнес Зайцев. У него внезапно побледнели щеки, покраснел лоб, а губы дрогнули. — Мама наша умерла, отец сразу женился, а мы от него из-за мамы отказались, стали сами без него жить, одни. — Он вдруг вздохнул, захлебнулся воздухом.

— Ты извини меня, Витя, — попросил Балуев. — Я ведь не знал про это, может, не станем больше разговаривать, прямо оформим тебя, и все?

— Нет, зачем же! Я скажу, раз вы спросили, — упрямо продолжал Зайцев. — Я ведь не только братишкам обед готовил, квартиру убирал, но и воспитывал их, как нас мама воспитывала. Меня домоуправ в истопники взял в ночную смену. Потом я электромонтером по квартирам подрабатывал — в школе физикой интересовался, электроприборы людям ремонтировал и даже холодильники.

— Молодец.

— Неправда! — вдруг горячо сказал Зайцев. — Это неправда. Я ведь от злости на отца от его денег отказывался и братишкам велел с ним не встречаться.

— Отец у тебя плохой, что ли?

— Нет, он ничего, он даже как-то меня на улице ждал и деньги на землю бросил, когда я их взять не захотел.

— Так чего ж ты так его прижал и отверг? Жизнь, она штука трудная. Ну, женился он. Отцом-то все равно тебе остался.

— Мама у нас всегда очень больная и нервная была. Она с ним часто ссорилась, это верно. Но, знаете, ведь он с ней вместе в партизанах был. Она из отряда только потому на самолете улетела, что я должен был родиться. И даже не все ордена из-за этого получила. Она же там, когда они вообще еще женой и мужем не были, рекомендацию в партию ему дала. Он сам меня за грубость к маме, ну, даже бил. Святая, говорил, она у нас, самая наилучшая.

— Ну и правильно.

— А тогда зачем на другой женился? И с нами даже не посоветовался. Разве мы это терпеть будем?

— Может, она, эта новая, тоже ничего, хорошая.

— Ну как вы не понимаете?! — уже раздраженно пожал сухонькими плечами Зайцев. — Здесь вопрос принципиальный. Мы и без вас понимаем, что это главным образом в старой детской литературе мачеха обязательно традиционная злодейка. Наша — обыкновенная советская женщина, и даже скромная. Она извинения у нас просила. Ну, мы, конечно, уклонились с ней беседовать.

— А кто это конкретно — мы?

— Ну, я, Коля — он уже ремесленное кончает, и Вовка, в четвертом.

— Где же теперь твои братишки?

— Николай у себя в общежитии, а Вову я в интернат устроил, через райком помогли.

— Витя, а тебе отца совсем не жалко?

— Жалко.

— Ну и что же дальше будет? Использовал ты против него все удобства Советской власти — и интернат и общежитие. И оправдом тебе помог. А отец небось переживает.

— Да, переживает.

— Он кто по специальности?

— Заведующий складом «Гортопа».

— Да ты не сомневайся. Это я так, для себя лично. Для

оформления на работу нам вовсе родительское благословение не требуется. Мы ведь все тут формалисты. Паспорт, справка с места последней работы. Ну, раз комсомолец, по комсомольской линии характеристика, и все. Остальное — анкета. Она у тебя пока, конечно, куцая. Родился, учился, работал в домоуправлении истопником. Тоже мне биография называется!

— Я же не виноват, что она у меня такая.

— Ничего, потом подлиннее будет... Значит, так, — уже сурово и деловито заключил Балуюев, — приставлю я тебя учеником к бульдозеристу Друнину Федору Захаровичу. И платить ему буду по сотне в месяц за твое обучение. Видишь, пока от тебя строительству один убыток.

— Но я не хочу, чтобы за меня платили, я согласен в чернорабочие и сам буду платить за обучение.

— Чернорабочий? А где ты их у нас здесь видел? Отстал ты, паренек. У нас без механизма человека нет. Все аристократы, все титулованные. Так что по нынешним временам в рабочие попасть — не меньше знать нужно, чем твоим астрономам, которые траву на Марсе изучают.

— А там нет вовсе такой, как у нас, растительности, — оживился Зайцев.

— Нет так нет. Пошлем своих людей, посеют, что требуется. Но это дело, как говорится, пока не к спеху. Земли на всех хватает, и дел на ней тоже. Так вот, ступай в отдел кадров и скажи: Балуюев по всем статьям тебя обследовал. Заполни чего надо, погуляй до конца дня. А вечером ко мне зайди, и не сюда, а в крайнюю избу, я там помещение снимаю, у колхозного завхоза. Насладимся яичницей. Утром я тебе койку подберу в общежитии.

— Только, пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, — дрогнувшим голосом произнес Зайцев, — больше не заставляйте меня на личные темы говорить. Я совсем вам не обязан об этом говорить.

— Подумаешь, тоже мне личность! — улыбнулся Балуюев. — Вот я — это личность. Я тебе про себя буду рассказывать. У меня биография что надо! Послушаешь, а?

— Ладно, если вы настаиваете, — снизошел Зайцев.

— Ну, заходи, заходи, уважь человека, снизойди к его слабости о себе поговорить, а то мне здесь некому исповедаться: люди все деловые, напряженные.

— Пожалуй, зайду, — согласился без особого пыла Зайцев и, взяв стопку книг и пузатый брезентовый портфельчик, отправился по коридору в следующую комнату, где находился отдел кадров.

Лаборанткой по изоляции работала Изольда Безуглова. Взял ее на работу Павел Гаврилович, не ведая, кто она, без всяких документов, при следующих обстоятельствах. Переправлялись на пароме через Волгу — и вдруг, когда паром достиг середины, раздался всплеск. Кто-то испуганно крикнул:

— Кинулась! Девушка в воду кинулась!

Бубнов сбросил ботинки, вместе с пиджаком и кепкой передал их на хранение Павлу Гавриловичу и прыгнул в воду.

Река здесь мчалась со скоростью поезда.

— Товарищи, это же водолаз. Вы не беспокойтесь, — объявил Павел Гаврилович пассажирам.

Бубнов выволок утопленницу на отмель, пожаловался удивленно:

— Сыскал на самом дне. Будто не человек, а гиря какая-то. Смешно даже. Тяжесть у нее в костях, что ли?

Оказалось, что девушка насыпала себе под туго затянутое поясом платье песок с галькой, а в кошелке, которую она сжимала в руках, лежал огромный булыжник, завернутый в раскисшую бумагу. Когда ее привели в чувство, Павел Гаврилович строго сказал Бубнову:

— Чтобы никому ничего!

— Понятно, — сказал Бубнов. — Надо сначала самим по-человечески разобраться.

— Вот и разберемся! — пообещал Балуюев.

Но как ни бился он с этой девицей, разобраться ему не удалось. Во-первых, она не чувствовала себя ни пристыженной, ни смущенной. И хотя ее голубые, чуть навывкате глаза блестели тревожно и испуганно, держала она себя вызывающе спокойно, дерзко и, пожалуй, даже нагло.

— Вам что от меня надо? — спросила она Балуюева. — Протокол хотите составить?

— Чайку хочу с вами попить, горячего, крепкого. Вот, пожалуйте, варенье.

— Идите к черту с вашим чаем!

— Так, — сказал Павел Гаврилович, стараясь не обижаться. Но, обидевшись, не выдержал: — Кто тонет, тот пить, конечно, не просит. Отвращение у вас к водичке, понятно.

— У меня к вам отвращение, а не к воде. Отпустите меня. Вы не милиция и не имеете права задерживать.

— А какое вы имеете право подобное над собой делать?

— Я ничего не делала, я просто упала.

— Знаете что? — предложил Павел Гаврилович. — Выпейте тогда водки.

— Что?

— Вы дрожите, губы синие, я же в смысле простуды беспокоюсь. А может, тройчатку, ну, одну таблеточку?

— Принимайте сами, хотя вы со мной в реке и не купались.

— Именно не купался, если вы это так называете. А вот товарищ Бубнов решил с вами вместе искупаться. Погода самая подходящая, температура воды плюс десять, освежающая.

— Я могу идти домой?

— А где вы живете?

— А вам какое дело?

— Слушайте, давайте по-человечески, ну что вы ершиться? — Задумался, решил приврать: — У меня тоже в жизни, может, подобное было, жена чуть не бросила. Я ее оскорбил, она меня тоже. Дошли до точки, вышел на улицу, ночь, дождь, черно внутри и снаружи...

Девушка взяла со стола «Огонек» и стала листать с нарочитым интересом. Лицо у нее было худенькое, остроносое, черты мелкие, светлые волосы лежали копной. А вся она — тощая, плоская, ключицы торчат, словно плечики, на которые вешают платье. Небрежно отложила журнал, зевнула, откинувшись на спинку стула, потянулась, положив под затылок руки, скорее ощутила, чем заметила, как при этом остро обозначилась грудь, смутилась, ссутулилась, поджала под столом ноги и прикрыла колени руками со сбитыми, обкусанными ногтями. Тут же запальчиво, с усмешкой сказала:

— Ну, ну, я вас слушаю, говорите сколько вам угодно.

Но глаза у нее тоскливо погасли, и вся она как-то съежилась. На шее возле уха забилась голубоватая жилка.

Павел Гаврилович решил все-таки найти к ней подход.

— Вы, пожалуйста, не думайте, будто мне вас жалко. Я, если хотите знать, просто возмущен. Мне на стройке людей не хватает, а они, видите ли, в Волгу кидаются. — Попробовал шутить: — Мы вас выловили, — выходит, теперь вы наша добыча. Сегодня же куда-нибудь зачислим.

Девушка смотрела на Балуева отсутствующим взглядом, губы ее были сурово сжаты. Она видела сейчас перед собой только одно — лицо Игоря в то утро, когда он, уже уходя на работу, сказал: «Не клади больше ключ за плинтус». — «Почему?» — «Не надо. — Он печально уставился на свои ботинки, запачканные известью. — Не вернусь я к тебе больше, извини, или, лучше сказать, прости. — И продолжал с простодушной солидностью: — Не могу я на тебе жениться. Разве можно на первого попавшегося так поспешно кидаться! Хотя я у тебя и первый. Не спросив даже, захочет ли человек жениться на тебе или нет...» — «Значит, ты врал, что любишь, врал? Значит, ты подлец, да?» — «Ну вот видишь, ругаешься, а притворялась всегда вежливой, ласковой». Помолчав, снова заговорил: «Я даже рад, что ты так ругаешься. Видно становится, какая ты на самом деле. — Усмехнулся. — А может, я это просто так, пошутил. Хотел испытать, как ты мне преданна. А раз так реагируешь, тогда, пожалуйста, уйду. И теперь действительно насовсем». Он стоял у двери, чего-то выжидая. «Уходи, — попросила она, — уходи». — «Уйду, и по твоей инициативе, понятно? — сказал Игорь и сощурился насмешливо. — Папа у тебя, видите ли, Герой Советского Союза! — Спросил зло: — Может, тебя и бригадиром нашей штукатурной бригады за это выдвинули, и передо мной все время фасонилась отцом, а я за своего отца перед тобой мучился. Но я же сразу сказал: мой отец плохой... Никому не говорил, только тебе сказал и плакал. Помнишь, плакал?» — «Да, плакал». — «А ты гладила по затылку, утешала: дети за отцов не отвечают. С высоты своего величия гладила. А я думал: как же я в вашу семью полезу с таким отцом, совестно мне перед твоим отцом. Помнишь? Значит, я перед тобой мучился, но правду сказать не побоялся, потому что любил. А ты, выходит, смеялась со своими утешениями. И я твоему этому Герою письмо написал и все про своего отца выложил, чтобы он знал. Я же не мог перед ним трусом объявиться. И он мне доверчиво ответил. И все ясно теперь, что и как. Мне даже это все равно, кто у тебя отец на самом деле. Но раз ты любила, могла сказать откровенно, если любишь как следует. А ты до последней секунды молчала. Теперь обругала. Значит, поверила, что я таким гадом, каким прикинулся, могу быть. А я не такой. Я же сейчас самый несчастный, я же люблю тебя! А выходит, обманулся, раз ты в меня не веришь. Какая же это любовь? А я в тебя верил и не боялся, что любовь может пострадать от того, что

у меня такой отец. Так кто же из нас худший, кто лучший?» — «Прости меня, Игорь, — хрипло попросила она. — Прости».

Игорь прислонился к стене и, глядя себе под ноги, словно не слыша, что она сказала, говорил, говорил свое, с отчаянием: «Ну почему с фронта отец побежал? Смерти испугался? Я все думаю: почему? А вдруг я тоже когда-нибудь от чего-нибудь побегу, испугаюсь? И себя я тоже стал опасаться. Все проверить хотел, чего боюсь, чего нет. Помнишь, на кране трос заело? Я по стреле полез, чтобы трос освободить. Все думали — из производственного интереса, чтобы время не тратить, пока верхолаза вызовут. А я это просто для себя, только для того, чтобы себя проверить. Спустился на землю, меня поздравляют, а я только одно думаю: вдруг заметят, как я весь трясусь. Знаешь, как страшно на стреле было! Броситься вниз тянуло. Хотел броситься. Может, и отец побежал, вроде как вниз бросился. Я его там, наверху, отца, понял, отчего он трусом оказался. И не его убили, а он себя убил, когда бежать кинулся. А я, его помня, не кинулся, долез до конца стрелы, ветром шатало во все стороны, а я ползу и про отца думаю... — Поднял несчастное лицо и, твердо глядя ей в глаза, сказал: — Я же тебе говорил. Мне даже вовсе не обязательно, чтобы ты такая красивая была. Я тебя отчего полюбил? Прямой ты мне казалась. Вот в школе рабочей молодежи мы физику проходили. Световой луч, он не гнущийся, и ничем его вилать не заставишь. Световые частицы прямо, как пули, летят. Я про тебя думал, ты такая же — и светлая и прямая. А выходит, ты со мной петляла, и не могу я этого перенести. Вот и все». — «Врешь ты все, врешь! — крикнула она. — Ты просто застыдился меня, когда все узнал». — «Эх ты, существо, — презрительно произнес Игорь, — и сейчас даже понять меня по-человечески не можешь! Я же с тобой по-человечески, по-советски говорю, я против всякой подлости. И распишусь с тобой из-за своей совести. Я тебя понял, а другой может не понять. Если бы ты мне сразу сказала, я бы даже ничуть тебя не пожалел, потому что это никакого значения для нас с тобой не имеет. А теперь тебя жалею. Слабая ты, вот чего! — Надел кепку, объявил снисходительно: — Так ключ, как всегда, за плинтус положи. Я вернусь. Сегодня в вечернем пять уроков. — Поколебался, попросил: — Только ты без меня тут одна не переживай очень все, что я говорил. Может, и вырвусь раньше из школы, тогда погуляем. Поговорим еще, чтобы больше про это никогда не гово-

рить». — «Нет, — сказала она с отчаянием, — нет, не приходи больше! И не шарь за плинтусом, ключа там не будет...» — «Ладно, — сказал Игорь, — там поглядим, будет ключ или нет». И ушел, не оглянувшись. Лицо у него было суровое, озабоченное...

— Вот ваши ботинки, высохли, — сказал Павел Гаврилович. И положил к ее ногам красные туфли на микропористой подошве — подарок Игоря.

— Значит, вы меня отпускаете? — жалобно спросила она.

— Э, нет, — улыбаясь, сказал Павел Гаврилович. — Я же с вами совсем еще не познакомился. Разве можно быть такой невежливой?

— Можно, — сказала она, снова заметно озлобясь.

Павел Гаврилович походил по комнате, остановился.

— Могу я вам рассказать про один эпизод на фронте?

— Рассказывайте, мне все равно, раз не отпускаете.

— Значит, так, — сказал Балуюев. — Было это на севере, зимой. Ползли мы по снегу. И зарывались головой в него не потому, что снег — защита, а потому, что страшно, а на нас — танки и авиация тоже. И от каждого удара земля под тобой, словно гигантское брюхо, то вздымалась, то опускалась. И, как водится, в такие минуты молишь только об одном, невесть кого молишь: только бы выжить, только бы выжить! И больше ни о чем не думаешь. И весь ты сплошная судорога мыслей и тела. И ты сам себе кажешься огромным и единственным на всей земле. И будто только по тебе одному бьют. Невдалеке от меня полз Зеленцов, смирный такой солдат. Он прямо из школы в армию попал. И старшину слушался, как в школе учителя. И вот стукнула бомба, обдало жаром, швырнуло меня. Очнулся. Сел. Щупаю. Цел, кажется. Только ноги, как ватные, не действуют. А Зеленцов все ползет, а на лице у него вместо глаз кровавые раны: вышибло глаза взрывной волной. Ползет он боком, упираясь на локоть, и, положив два пальца в рот, свистит. Знаете, как свистят ребята, когда голубей гоняют? Помешался? Нет, это он чтобы внимание к себе привлечь. Подобрался к нему другой солдат, гляжу, хочет перебинтовать ему лицо, но Зеленцов его оттолкнул, о чем-то поговорил, снял с себя пояс, обвязал взятые у солдата гранаты вместе со своими в пачку и пополз дальше один навстречу танку. Как он гранаты бросил, я не увидел: меня снова подшибло, и уже основательно. Но вот как этот ослепший паренек свистел, подзывая к себе товарища, я запомнил до конца своей жизни.

Не для того свистел, чтобы тот ему помощь оказал. Решение, значит, он сразу принял, гранаты ему понадобились, чтобы как следует танк рвануть. И рванул. Там сейчас, на берегу водохранилища, обелиски поставлены, и на них имя Зеленцова и мое тоже.

— А вы как в мертвые затесались?

— Санитар посчитал убитым, документы взял. А я ночью очнулся, другой, тоже сильно раненный, мне помог выползти, потом нас партизаны подобрали.

— И вы свое имя с памятника не соскоблили? Зачем же людей обманываете? Вас люди небось почитают, которые к памятнику приходят. А вы живой.

— Правильно. Хотел соскоблить, а потом раздумал.

— Странно. Такой человек солидный — и вдруг на обман согласились.

— Видите ли, — сказал Павел Гаврилович, — мы все, кто живы, обязаны жизнью тем, кого сейчас нет. Если бы Зеленцов не подорвал танк, тот бы по мне прокатился и еще других расплющил. Понятно?

— Спас он вас, чего уж тут яснее.

— Так вот, я свое имя с памятника потому и не соскоблил, чтобы все время свою зависимость от него, Зеленцова, чувствовать. И вам я хочу сказать, что все мы, советские люди, друг от друга зависим. И не имеем права никогда, ни при каких обстоятельствах чувствовать себя независимыми. Вот что я хочу вам сказать. Поэтому бросьте хорохориться. Никуда я вас не отпущу. Ложитесь спать, вот вам постель. А завтра сами решите, как вам лучше: здесь остаться или иначе как-нибудь. Сами решите, понятно?

Балуев оделся и ушел на водный переход.

13

На следующий день Безуглова попросила Павла Гавриловича оставить ее на строительстве. Балуев зачислил ее на курсы лаборанток, а потом она пришла к нему и сама рассказала все о себе беспощадно.

Мать — ткачиха Ярцевской ткацко-прядельной фабрики. Город взяли немцы. Мать болела брюшным тифом и не могла уйти. После обыска в доме больную изнасиловал эсэсовец. Она подожгла немецкий склад и ушла к партизанам. Там узнала, что беременна, хотела сделать выкидыш, но каратели все время преследовали отряд, и

у нее не было даже нескольких часов, чтобы отлежаться. Потом оказалось поздно. Она родила девочку и с отвращением выкармливала ее. Когда город освободили, мать вернулась на фабрику. Здесь получила «похоронку» о муже — убит под Кенигсбергом. Мать была гордая женщина и, не желая ничего скрывать от людей, дала дочери имя Изольда. Но относилась к ней отчужденно, не могла перебороть в себе брезгливого чувства. Обидев, иступленно рыдала и тратила почти все деньги, чтобы хорошо ее одевать, кормить, будто стремилась искупить постоянную свою вину перед ребенком. А Изольда все время жила в ощущении вины перед матерью, да и перед всеми. Потом приехал друг мужа, бывший наладчик фабрики Федор Фомич Безуглов — Герой Советского Союза. Семья его вся погибла во время бомбежки города. Он часто заходил к матери Изольды, но никогда не разговаривал с девочкой, только молча смотрел на нее своими тяжелыми мрачными глазами.

Однажды он сказал матери:

— Знаешь, Глаша, уезжаю завтра. Тяжело мне здесь быть. — Потер ладонью колено и неожиданно предложил: — А Изольду ты мне отдай, я ее удочерю. Не получается у тебя с ней.

— Ты думаешь, у тебя получится? — глухо спросила мать.

— Получится, — сказал Безуглов. — Я много про нее думал. Решил твердо. И прошу, будь ко мне милосердна, нужна она мне. Я с ней сам душой поправлюсь. — И произнес шепотом: — Когда узнал там, на фронте, что моих уже нет никого, знаешь, душой зашелся. Очень беспощадным стал. Разведка — вообще дело азартное. Ну, словом, убивал, и не как-нибудь культурно, на расстоянии из автомата... Словом, чего тут говорить! И все мне их куча мало была. Ведь были, которые просили, на коленях стояли. Командование за это с меня даже два ордена сняло. Ну, да ладно, чего там поминать! Словом, отдай, я отцом ей буду. Как следует быть, с полной душой. А ты молодая, ты еще замуж выйдешь. А она как же? Она же наш человек, Глаша, наш... Война! Мало она жизнью сподлила, так что, кланяться ей, войне? Теперь день, а не ночь у людей. Давай по-человечески поступи, а? — И глаза Безуглова блеснули нежностью, тоской, мольбой, кроткой и застенчивой.

И таким он был всегда и с удочеренной им Изольдой — кротким, застенчивым, любящим, тревожно озабоченным.

Безуглов работал механиком на многих стройках страны. И она кочевала всюду вместе с ним. Он попросил ее изучить немецкий язык.

— Дурочка, — говорил он ласково. — Что же ты стесняешься? Мы же своих, демократических немцев братьями называем, они же нам по социализму родственники. Так в чем дело? Ты же в основе русская. Это главное. А русский человек души широченной, он все обнять и понять умеет. Он башкой в коммунизм уже залез и оттуда на все смотрит. А голова у человека — самое высокое место. И имя тебе мать правильное дала, из сказки. По-русски говоря, Золушка. Как я тебя одеваю, — принцесса! А отчего? Промтоваров до черта стало. Только вот опасаясь, — говорил он тревожно, — забалую я тебя для своего удовольствия. А какое я имею право отцовскую совесть забывать? Нету у меня такого права. Ты должна по своему отцу жизнь кроить. Жестокая она у меня была. Вот я получился человек. И номер мой в партии не последний. С двадцатого года. Сначала отвоевал в Красной гвардии, потом вступил.

Когда Изольду принимали в комсомол, он был на бюро, и на общем собрании, и в райкоме. И, слушая, как она, потупившись, рассказывала свою биографию, кивал одобрительно. Говорил потом наедине с ней, мечтательно:

— Ну, спасибо. Прямо ты светилась вся. Достоинно биографию доложила, по-коммунистически. Очень подняла во мне отцовскую гордость. Я ведь перед двумя народами за тебя ответственный: и перед своим, и перед другим. Понятно? О народе надо по его вершине судить. У нас наверху Ленин, у них — Карл Маркс. Если ты в трудных обстоятельствах выросла, ничего тебе теперь не страшно. Пиши не колеблясь в анкете: русская. И правильно будет.

Читая газеты, Безуглов недовольно хмурился, рассуждал:

— Ну, чего они нам перед носом бомбой крутят, чего? Мы ж войну знаем... Каждый так, прищурившись, про себя думает: не все ли равно, чем в тебя стреляют: пулей, снарядом или атомкой. Эффект один для себя лично: если сильно заденет — покойник. Однако война — дело взаимное. После войны поостыли. Но затронь — это же невозможно сказать, как остервенеем. А при помощи нашей высокой науки и техники ужасно что можно понаделать. Скажу про себя. Ну, встревожат, так прежде чем с меня пепел посыплется, я же скоростным способом их достигну. В окончательную войну окончательно действовать будем. На это у нас пружина в сорок два витка завитая. По годам

Советской власти, каждый год — виток, как у дерева. И с каждым витком мы крепче, основательнее. Так ежели эта пружина от войны враз развернется, это же немисливо, как она стукнет. И уже не война, а просто стихийное бедствие получится. — Помолчав, закончил с горячностью: — Все очень понятно, и зря они там кочевряжатся. Об их же здоровье мы думаем, по соседству, по-человечески.

Монтируя башенный кран в тридцатиградусный мороз на ветру, отец простудился и слег. Из медпункта прислали в качестве сиделки медсестру Ольгу Ивановну Колесень. Полненькая, с нежным лицом, ласковая, она ухаживала за Безугловым энергично, не утрачивая при этом женственного обаяния. Когда отец выздоровел, она продолжала навещаться, справляясь о состоянии здоровья, а потом стала ходить просто так, в гости. Она узнала за время болезни Безуглова, где что лежит в доме, вела себя не как гостья, а как хозяйка, накрывала на стол, готовила блюда, которые понравились Безуглову еще тогда, когда он был болен, и однажды упрекнула Изольду:

— Что же ты так плохо об отчине заботишься? Сам себе белье стирает. Разве это можно?

Безуглов не позволял Изольде стирать на него, а также не позволял никому называть его отчимом. Изольда ничего не ответила Ольге Ивановне. Ответил Безуглов. Он сказал:

— Вы извините нас, Ольга Ивановна, но поскольку я здоров, больше в медицинском контроле не нуждаюсь.

— Это как понять? — спросила Ольга Ивановна, побледнев.

— А так вот и понимайте, — сказал Безуглов. И начал объяснять Изольде урок по химии, заданный ей в школе, будто в комнате, кроме них, никого не было.

Колесень ушла обиженная, со слезами на глазах.

— Папа, ты почему не женишься? — спросила Изольда. — Потому что я? Или ты свою жену очень любил? Из-за ее памяти?

Безуглов ответил хмуро:

— Оставь. Зряшний разговор.

— Нет, если я твоя дочь, значит, имею право спрашивать.

— Значит, за горло такими словами берешь. — Усмехнулся. — Ну что ж, бери.

— Ты же одинокий, я хорошо чувствую.

— Прямо сирота, — улыбнулся Безуглов, — кругом людей нет.

— Я серьезно говорю. Вот видал, как Ольга Ивановна к тебе относится? Даже заплакала. Ты заметил?

— Ну вот что,— рассердился Безуглов.— Я за бабскими чувствами не наблюдатель. И ты мне это не навязывай. И тут точка. Понятно? Не желаю я с тобой, сопливой девчонкой, на такие темы рассуждать.— У него дрогнули пальцы, когда он стал чиркать спичкой, чтобы закурить. Закурив, все еще не успокаиваясь, предупредил сурово: — Я тебе папа-мама. Понятно? — И, улыбнувшись понравившимся ему словам, повторил: — Раз я тебе папа-мама, чего тебе еще надо? Мачеху захотела, что ли? Так я могу такую выдру в дом привести, что оба сбежим от нее. Знаю я эту капитель, когда люди на склоне лет на тех, что помоложе, женятся. И больше чтобы цыц! Не дочернее это дело — отца сватать.

Прошло несколько месяцев, Изольда узнала, что ее отец сблизился с Колесень и она ждет ребенка. Но он не хочет на ней жениться. Партбюро разбирало заявление Колесень. Отец ничего не мог сказать в свое оправдание, и ему записали выговор за безответственное отношение к женщине, хотя некоторые члены партбюро высказывали предположение, что Колесень подловила его: многие замечали, как она навязывалась ему, ждала конца смены, чтобы идти в поселок вместе.

Колесень стала преследовать Изольду. Она умоляла девушку воздействовать на отца, утверждала, что он ее любит, но не хочет жениться, потому что боится стеснить дочь.

Изольда сказала отцу, что получила от райкома путевку на строительство химзавода и скоро уезжает.

— Так,— протянул печально и растерянно Безуглов.— Раз комсомол решил послать, дело это окончательное и пересмотру не подлежит! Валяй! — Отвернулся и спросил: — Про то, как я влип, все знаешь?

Она молча кивнула.

— Некрасивый я человек оказался. Думал, во всем железный, а тут рыхлость обнаружил. Не хочу вот, а женюсь, раз уж потомство обнаружилось. Я перед ним ответчик. Погряз в суете. Корыто вот купил, чтобы его купать.— Произнес грустно и виновато: — Ты, Изольда, меня прости. Не довел я тебя до намеченной точки. Думал, сдам в вуз, а там полный стратегический простор откроется. Не довел, осекся.— В первый раз он назвал Изольду не Золушкой, а ее настоящим именем, которое она так не любила. И даже не заметил, как назвал. И это было самое

ужасное, что он не заметил. И это было той болью, которая надолго осталась в ней. Чтобы не растревать эту боль, она больше никому не рассказывала о себе. Она уже не могла делать это так просто, с достоинством, как делала, когда рядом был отец, радостно гордившийся ее мужеством.

Ощутив одиночество, она стала бояться одиночества...

Балуев съездил на стройку химзавода, оформил все документы уже после того, как зачислил Безуглову к себе на работу, и с великолепным душевным тактом больше никогда не возвращался в разговорах с ней к драматическому событию, с которого началось их знакомство.

Павел Гаврилович разыскал также Игоря. Беседовал с ним. Но вынес о нем нехорошее впечатление. У паренька было слишком раздражено самолюбие. Игорь так много говорил о себе, что Павел Гаврилович прервал его властно и холодно:

— Вот что, молодой человек. Я Безуглову в Сибирь отправил. Там газопровод гоним. Хотите, завтра к ней слетайте. У меня как раз хозяйственник туда в командировку едет.

— Но почему же завтра? — спросил Игорь. — Я не могу сразу так сорваться.

— Не можете? — сказал Павел Гаврилович. — Не надо.

— А вы мне лучше адрес Безугловой оставьте.

— Могу. Пиши. Земля. До востребования. Человеку.

— Я серьезно.

— Ты сам еще не человек и не серьезный, — грубо оборвал Балуев. — А станешь таким, мне напишешь. Только честно про то, что я и ты знаем, тогда решу, давать тебе адрес или нет. Все будет зависеть от твоей аргументации. — И ушел, простившись не очень дружелюбно.

Безугловой он сообщил о встрече с Игорем кратко и неохотно.

— Этот парень сразу с солидным лицом на свет родился. Не решился на опрометчивый поступок — к тебе на самолете в Сибирь кинуться.

— Какая Сибирь, от химзавода всего двадцать километров!

— Что ты говоришь! — притворно удивился Балуев. — Значит, спутал, другую дивчину в Сибирь послал, не тебя. Так что же, сообщить об ошибке? Сказать, что ты к нему, выходит, ближе находишься?

— Не надо, — попросила Безуглова.

— А когда надо будет, скажешь мне? Дашь слово?

— Даю.

— Он думает, и ты думай,— посоветовал Павел Гаврилович.— А на досуге — я про вас обоих. Не возражаешь?

— Пожалуйста,— тихо произнесла Изольда и потупилась.— Я отцу письмо послала. Написала, что все хорошо у меня.

— И правильно,— обрадовался Балуюев.— Коллектив у нас самый передовой на всей трассе. Пускай знает.

14

Павел Гаврилович как-то сказал жене, смеясь:

— Иду по улице Горького, вдруг кто-то шлеп меня по плечу. Оглядываюсь — старичок. Ухмыляется, физиономия лиловая. «Здорово, говорит, Пашка». Смотрю, шуба с бобровым воротником. Шапка пирожком, серый каракуль. Щурюсь: что за тип? А он: «Ты что ж, подлец, забыл, как я тебе свои выходные портки ссужал, когда ты за Дуськой ухаживал?» Колька Снигирев! Гляжу и думаю: ведь мы с ним однолетки. А он уже полностью оформился в старикашку. По носу только и узнал. Нос у него всегда солидный был. И на жратву чуткий. Стоит кому-нибудь в общежитии сало на сковородку бросить, он уже тут как тут. Обвинит в индивидуализме и на еду наваливается. «Обжорство, говорит, наследие капитализма, с ним надо бороться, беспощадно и коллективными действиями». А свой паек на базаре продавал. Правда, библиотеку скопил себе тогда порядочную.

— Что же он сейчас делает?

— Какая-то обыкновенная знаменитость по линии электроники. Пробки из-за него всегда в общежитии перегорали, мастерил из всякого хлама приборы, а мы из-за него без света сидели. Теперь веселый, довольный. «Запачил, говорит, ты у меня, Пашка, портки. Скидавай с себя теперь немедленно, а то милиционера позову». Зашли в ресторан, спрашивает: «Что у вас тут есть диетическое?» Дожил!

— Почему ты так о нем нехорошо отзываешься?

— Да ведь морда дряхлая, а мы с ним одного года рождения. Обидно. Сверстник называется! Выходит, наше поколение уже того, кандидаты на сошествие с мировой сцены.

Но, откровенно говоря, тут Павел Гаврилович лицемерил. Просто ему хотелось, чтобы жена запротестовала и сказала возмущенно: «Неправда, Павел. Ты у меня сильный, и годы пока еще не могут ничего с тобой поделаться. У тебя здоровье как у водолаза. И все потому, что работаешь на открытом воздухе».

Действительно, на стройке Павел Гаврилович держал себя молодцом. В любую стужу одевался легко, любил, по старой памяти, показывать себя мастером на все руки. Становясь иногда рядом с монтажниками, не уступал им в умении. Старым рабочим нравилась эта черта в начальнике и внушала к нему особое дружеское доверие. Молодые рабочие, наоборот, иронически посмеивались, считали, что начальник таким наивным способом просто подлаживается к ним.

Вообще с молодыми рабочими все обстояло далеко не просто. Эта молодежь, в большинстве своем с законченным средним образованием, не была на фронте, но познала горести и беды, причиненные войной. Война разорила человеческие семьи и оставила неизгладимую памятную боль в сердцах, но война же помогла выкристаллизоваться характерам этих ребят и в тяжелом детстве, и в видении самого страшного, самого великого, на что способен человек, ставший насмерть во имя защиты отчизны. По своему культурному уровню они так резко отличались от старых рабочих-строителей, что казались людьми, пришедшими сюда из будущего. Но школа не вооружила их профессиональными знаниями, и они, особенно в первые месяцы, болезненно переживали свое унижение, вынужденные на глазах у всех начинать учиться заново, чтобы обрести звание рабочего. Самолюбивые, с легко уязвимым чувством собственного достоинства, смущенные тем, что старым рабочим за их обучение платят сто — сто пятьдесят рублей, они были оскорблены и тем наконец, что их рвение немедленно стать на самостоятельную работу отвергается со снисходительной улыбкой, потому что здесь нет места для ручного труда. Сложнейшими, привередливыми машинами управляют только механики-дизелисты, величественные самодержцы, которые с самим Балухевым ведут себя, словно спортивные чемпионы с тренером, — уважительно, давая, однако, при этом почувствовать, что это они — добытчики производственной славы участка.

Но больше всего Балухев тревожился, чтобы эти новые молодые рабочие в суровой и трудной обстановке не утратили те мечты, которые разжигала в каждом из них школа,

мечты о яркой, широкой жизни, о неутомимой страсти познания. Может быть, им это никогда прямо и не пригодится в работе, но без этого человек оказывается духовно маломощным. Павел Гаврилович радовался тому, что его молодые в поразительно короткие сроки овладевали техникой, — здесь плодотворно сказывалось их умение учиться. Но уже огорчительной ему представлялась та легкость, с которой иные вчерашние ученики обретали солидную умиротворенность, довольство достигнутым и растворялись в старом поколении рабочих, словно ничем качественно от него не отличаясь.

Павел Гаврилович не пропускал ни одного комсомольского собрания, часто бывал в молодежном общежитии, навещал также и тех ребят, которые селились по избам, снимая углы и койки.

Ему очень нравился Виктор Зайцев — вежливый, аккуратный, деловитый, избранный комсоргом стройки.

Зайцев купил патефон. С патефоном он приходил к ребятам. Пластинки носил в портфеле, иголки — в нагрудном кармашке, вместе с бруском, о который точил их.

— Понимаете, Павел Гаврилович, — говорил Зайцев, счастливо сияя глазами. — Музыка — это чудесное средство для того, чтобы с человеком по душам поговорить. Я даже сам не думал, что она такими возможностями располагает. — Пояснил с достоинством: — Вы понимаете, комсорг — это же официальное лицо! Попробуйте с человеком без достаточных оснований на морально-этические темы заговорить — обидится. По какому праву, мол? — Расплывался в мечтательной улыбке. — А тут вдруг музыка, да еще если Чайковский. Молчим, слушаем. Федька только сопит вначале. Это, говорит, точно наматывание нервов на катушку!

— Это кто — Федька Медведев?

— Да нет, Железнов. Вы же его знаете!

— Тот, что все вокруг завстоловой увивался? Скверная баба. Вечеринки у себя устраивает.

— Правильно! — обрадовался Зайцев и похвалил: — Вот вы тоже человек наблюдательный, как и я. Но я по комсомольской линии, конечно, особо обязан. Так вот, кручу Седьмую рапсодию Листа. Он: «Хватит, довольно». А у самого губы дрожат. Я говорю: «Как же так, Федя? Такая музыка светлая, чистая. Что же тебе, румбу поставить, как у заведующей столовой дома?» Он, знаете, весь так побледнел и сдался. Даже попросил: «Ставь еще что-

нибудь свое». И начал про любовь говорить. Какая она должна быть настоящая у человека.

— А сам что же пакостился?

— Это не просто, Павел Гаврилович. В нашем возрасте вы уже дискуссии устраивали публичные о свободе любви, и Луначарский даже на эту тему выступал и еще кто-то из старых большевиков. Но ведь итогов вы не подвели. Я спрашиваю в библиотеке, ничего такого авторитетного библиотечарша не предложила.

— А тебе постановление ЦК надо, что ли?

— Зачем же вы сердитесь, Павел Гаврилович? — упрекнул Зайцев. — Для вас, может быть, все давно ясно, а вот, представьте, Федя мне говорит: не нужно преувеличивать значение женщины в жизни человека.

— Тоже мне человек нашелся!

— Да, человек, — горячо сказал Зайцев. — И хороший человек, раз он переживает и мучится. Он придумал такую глупость, будто женщины, поскольку они больше всего были угнетены неравенством при капитализме, в своем историческом развитии сильно от мужчин отстали.

— Завстоловой эта подлая, — раздраженно сказал Балуев. — И если бы общественное питание находилось в нашей системе, я бы ее давно со стройплощадки выставил. Что же твой Федя по одной лахудре на всех женщин клеветает!

— Да он и не клеветал вовсе. Он же мне так, раскаивался, — сказал Зайцев счастливым голосом. — Он же нарочно демагогически сказал, чтобы я ему про Капоногову стал доказывать, как он перед ней виноват и обязан во всем признаться. Я ему про Добролюбова рассказал. Он на эту тему тоже очень мучился.

— А при чем тут Капоногова?

— Ну, как вы не понимаете! Она сказала Феде: сначала я комнату получу, а ты — седьмой разряд, тогда распишемся. Тогда, пожалуйста, семья.

— Ну что ж, правильно, — одобрил Павел Гаврилович. — Крепкая девчонка.

— А он считал, будто она только практически мыслящая, а когда любишь, нужно поступать, исключительно подчиняясь чувству.

— До чего же договорились?

— А я ни о чем с ним и не собирался договариваться, — с добродушным лукавством ответил Зайцев. — Поговорили еще о Рахметове, о Дзержинском, ну и о вас тоже.

— Что же ты меня сравниваешь с такими вершинами? — Балуев даже возмутился.

— А мы не сравнивали, — ухмыльнулся Зайцев. — Мы просто говорили. Вы же с самой первой пятилетки свою жену любите... Есть начальники, которых нужно только по работе слушаться, и все... А другие — которых по-человечески слушаются. — И тоном обличителя заявил: — Вы жене отсюда на самолете сирень посылали? Посылали. Ну и все! Чего же вы отпираетесь? Вот мы и говорили: это — любовь. А ведь тоже могли на всяких стройках, как Федя, с легкомысленными женщинами связываться. Вот нам, значит, конкретный пример. — И произнес деловито: — Федя к вам на днях придет советоваться. Я с ним твердо договорился, чтобы больше никакой Крейцеровой сонаты.

— А о чем же со мной советоваться, если все решили?

— Как о чем? — изумился Зайцев. — Чтобы вы его на курсы механиков послали, а Капоноговой — по окончании им курсов — насчет жилплощади хлопотали. Нужно же его моральное решение организационно подкрепить! Как же!

— А его Капоногова после всего от себя не погонит? Или решили про завстоловой от нее скрыть?

— Нет, зачем скрывать! Мы вместе с ним исповедь для нее писали, и дневник он ей тоже приложить обещал. Лев Толстой тоже так сделал, перед тем как жениться.

— Ты что же, классиков специально для беседы подчитывал? — иронически осведомился Балуев.

У Зайцева порозовели скулы, признался шепотом:

— Я, Павел Гаврилович, самовоспитанием тоже для себя занимаюсь. — И вдруг поддел насмешливо: — Или вы рекомендуете дожждаться на эту тему какого-нибудь постановления? Им руководствоваться?

Балуев добродушно рассмеялся, похлопал одобрительно Виктора по плечу и вдруг, растрогавшись, махнув рукой, с отчаянной решимостью объявил:

— Эх, была не была, даю из директорского фонда на телевизор «Рубин». Ставь в красном уголке и собирай к нему всех ребят каждый вечер в кучу.

— А лыжи? — спросил Зайцев. — Вы же спортивный инвентарь обещали?

— Да что вам, мало на работе свежего воздуха, чтобы еще на лыжах шляться?

— Павел Гаврилович, — сухо сказал Зайцев, — физическая нагрузка современного высокотехнологизированного рабочего совершенно недостаточна для гармонического

развития всего организма. Спорт — необходимость. Кроме того, вам угрожает переход на семичасовой рабочий день, и вы должны подумать о культурном досуге рабочих.

— Да,— сказал Павел Гаврилович,— коммунизм теперь превратился для нас, пожилых граждан, в реальную опасность. Как бы не отстать, а то вот застряну в социализме, а вы потом к себе пускать не будете.

— Нет, почему же? — сказал Зайцев.— Пожалуйста, милости просим.— Потом спросил озабоченно: — Павел Гаврилович, вот эта новая, Изольда Безуглова, странная какая-то. Держится отчужденно, в общежитие пойти не захотела, сняла на стороне койку...

— Ну ладно,— нетерпеливо перебил Балув.— Безуглова — это не так просто. Жизнь ее — не дважды два. Пусть сначала с ребятами сдружится, акклиматизируется. Душа у нее сейчас вроде как струна, слишком сильно натянута: чуть заденешь — больно. Чтобы без меня ничего. Понятно? Тут я тебе просто как коммунист предлагаю. И все...

Беспокоясь, как сложатся отношения комсорга с Безугловой, Балув еще раз вызвал к себе Зайцева и сказал:

— Ты, Виктор, вот что, побеседуй с ней осторожно и анкету помощи правильно заполнить.

— Да что она, неграмотная? — удивился Зайцев.

Балув поморщился и сказал резко:

— Ты вникни. У человека отчим — Герой Советского Союза. Муж ее матери погиб на фронте, а родилась она от кого?

— Она-то не виновата? Пусть пишет в анкете Героя.

— А почему у нее немецкое имя Изольда? Вдумался?

— Неправильно, глупость это! Какая она там Изольда?

— Мать у нее гордая, решила не скрывать, потому и имя такое дала. И она тоже решила всю жизнь его носить и не отказываться, не менять.

— Чего же она сама себя мучает?

— Вот правильно! Человек мучается.

Зайцев воскликнул горестно:

— А я, Павел Гаврилович, ничего этого вначале не знал и даже вывод о ней ошибочный сделал. Пришла. Смотрит, прищурившись, губы кривит, что ни скажешь — усмехается. Держится заносчиво, а оказывается, это все оттого, что она мучается, а признаться не хочет.

— Верно, мучается. А вот то, что не хочет признаться, неправда. Она сразу про себя все первому встречному выкладывает. Только один раз не сказала.— И тут же по-

спешно добавил: — Ну, про этот случай не будем. Так что вот предупреждаю: скажет.

— Да ведь она мне уже сказала, — признался Зайцев, — сразу и сказала, как всем. А глаза у нее, я заметил, тревожные все время, даже когда смеется. Смеется-то она громко. Спросил ее: «Небось тебе в канцелярию охота?» Это когда я на ее прическу взглянул, волос целая охапка, цвет красивый, вроде как светятся. Наверное, оттого что она против окна сидела. Так вот, сказал ей про канцелярию. А она свои руки мне под нос сунула: «Гляди, маникюр самый для канцелярии подходящий». Взглянул я, а они у нее в мозолях, в болячках, в трещинах.

— Штукатуром она работала.

— Понятно, ручной труд. При механизации таких рук у рабочего не бывает.

— Ты понял, что я тебе о ней сказал? — спросил Балув, продолжая тревожиться о том, что Зайцев не сумеет достаточно глубоко вникнуть в трагедию девушки.

— Понял, — сказал Зайцев, — и ничего особенного в этом не вижу. — Смутился, поправился: — То есть надо, чтобы никто в этом ничего особенного не видел. — Помедлив, произнес с волнением: — И главное, чтобы она перестала так мучиться. Мало ли что война с людьми понаделала! А они тут при чем?

— Ей многие уже так говорили.

— Ну и что?

— Сказать правильные слова — это еще не все. Одними словами душу человека не лечат.

— А что делать?

— Ты меня спрашиваешь, а я тебя. Будем в викторину играть? По-моему, ничего пока делать не надо. А вот самому за нее душой заболеть стоит. Тогда найдется, что делать.

— А вы заболели?

— Заболел, — сказал Балув доверительно. — Сильно заболел. Опрессовывают дюкер, момент ответственный. Она стоит с изолировщицами, разговаривает, а я не за дюкер волнуюсь, а за нее. Вдруг кто из новых девчат спросит: кто, что, откуда? Она сразу и ляпнет. А они у нас, знаешь, какие острые, сгоряча любое могут отмочить. — Задумался. — Ты вот про руки ее говорил. А они ведь не от работы такие. Это у нее заболевание трудноизлечимое, нервное — экзема называется.

— Почему же трудно? — возмутился Зайцев. — Если она нервная, так и от нас всех зависит, чтобы она излечилась и руки у нее навсегда от болячек очистились.

— Что ж, буду о наших комсомольцах по ее рукам судить! — сказал Балусев. — Учти, строго буду судить, как член партийного комитета буду о вас судить.

Зайцев встал, одернул вельветовую куртку со множеством застёжек «молний», сказал, твердо глядя в глаза Балусеву:

— Павел Гаврилович, я вам как перед партией говорю: будет Изольда у нас здоровая. Клянусь вам, чем хотите...

15

Зина Пеночкина и Капа Подгорная — два «светила». Они работают радиографистками. Обе в равной мере горды своей профессией.

Атомные изотопы — это вам не шуточки. Ощущая близость к столь могущественным силам природы, радиографистки любят таинственным тоном рассуждать о губительном воздействии атомных излучений.

У Капы это получается особенно внушительно. У нее черные, печальные, удлинённые глаза, вокруг головы венок из косы цвета вороненой стали, голос грудной, глубокий.

Зина Пеночкина — полненькая, белокурая, смешливая. Голос у нее нежный, мяукающий. Она всегда портит трагические рассуждения Капы легкомысленными замечаниями, отличается живостью характера и имеет склонность сочинять про себя смешное.

— Подумаешь, — говорила она презрительно, — тоже мне — атом! Гнилушки и те светятся. — Пожимая округлыми плечами, заявляла решительно: — Раз свинец излучения не пропускает, значит, и атом бессильный. Люди на все могут найти управу. Товарищ Несмеянов обещал в газете: после того как ученые наловчатся управлять термоядерными реакциями, у нас исчезнет забота об источниках энергии, и мы досрочно вступим в полный коммунизм. Только о своей морали останется забота... А материальные вопросы для людей решаются сразу и окончательно. Одежду будем носить из пленки и не шитую, а клееную. Атомами уже сейчас котельные на электростанциях топят и на ледоколе «Ленин» тоже. — Вздыхала мечтательно: — Надоест на трассе — поступлю на ледокол матроской. Возьмут

беспрекословно. У меня производственный стаж больше, чем у всех моряков, которые только недавно спохватились, что атомами можно отапливаться лучше, чем углем, и дешевле...

Капа и Зина снимают койки в одной избе с уговором, что хозяин сдает им и деревянной сарай.

В деревянном сарае они выкопали две глубокие ямы и хранят там контейнеры, внутри которых — ампулы с радиоактивным кобальтом.

Свинцовые цилиндрические слитки контейнеров снабжены грубо кованными железными дужками. Пропиная дужку палку, девушки относят в грузовик сначала один контейнер, потом другой.

В кладовке они оборудовали фотолабораторию, где проявляют снимки сварных швов.

У каждой брезентовый чехол с дефектометрами. В чехол закладывается фотопленка, и им опоясывают стыки труб для получения снимка.

Чтобы от химических реактивов не портился маникюр, не чернели ногти, девушки купили резиновые перчатки, пять рублей пара, и обрабатывают пленку в резиновых перчатках.

В первый день знакомства хозяин избы спросил:

— Вы что, девчата, фотографией занимаетесь? Может, портретик сделаете?

Узнав, что в свинцовых тяжелых кругляках хранятся ампулы с атомными изотопами, с удовольствием отметил:

— Ишь ты! Загнали атом, как мышь в порку. Услужать приспособили. Он с чего себя начал? Людей пепелить в Хиросиме! А мы его, сукиного сына, в дело обуздали. Сила на силу наскочила, и, выходит, наша взяла. — Советовал: — Вы, девчата, все-таки с ним поаккуратнее. Может, для него нужно конуру кирпичную сложить? Говорите, не стесняйтесь. Скажем председателю колхоза — выпишет и кирпич, и пару ведерок цемента. Он у нас высшего ума. Хочет громадные парники строить, от вашего газопровода их отапливать. На одних круглогодичных овощах доход будет выдающийся.

Если, перед тем как сдать помещение, хозяева упорно и умело торговались, то, узнав о профессии девушек, решительно отказывались от денег. Говорили с укоризной:

— Вы нас монетой не обижайте. Нашему дому почет оттого, что в нем атом хранится. Соседи, как на экскурсию, являются. Колхоз на свои средства сторожа определил. Ходит с берданкой, бдит до рассвета. Тоже небось всю ночь

про атом думает. Говорят, этот атом на урожайность может воздействие оказать, если с умом растение облучить...

Но сварщики не обожали радиографисток. Называли тиранихами. Здоровались с ехидцей.

— Привет светозарным сыщицам! — Кивая на контейнер, осведомлялись: — Видать, атомных бомб перепроизводство, раз материала для них девать некуда! Раньше как хорошо было, при технической отсталости! — Вспоминали мечтательно: — Вырежут кусок шва, проведут только механическое испытание — на разрыв, сжатие. Порядок! А теперь в самую твою душу в упор светят, каждую тютельку обыскивают. — С шутливым возмущением требовали: — Пускай нам тоже сварной аппарат на атоме придумают. Он мгновенно все, что хочешь, сплавит. Чуть прикоснешься — и готов! Одиннадцать рубликов в кармане, согласно тарифу.

У «трассовиков», работающих на сварочных автоматах, просвечивание изотопами выборочное. Но у подводников просвечивают каждый шов дюкера, и на каждый шов составляется акт лабораторных испытаний.

Обычно пишущие граждане покорно признают умственное превосходство критиков, и если ропщут, то молча, в душе, не от робости характера, а потому, что критик всегда может учинить над тобой вежливую научную расправу.

Родственные нашим горестные чувства возникают и у критикуемых сварщиков, когда их обличают в непроваре, вкраплении чужеродных тел, пористости и во всяком ином браке.

В брезентовом поясе радиографов находятся эталоны — металлические пластинки дефектометров. С их помощью определяются размер, глубина и точка нахождения обнаруженного брака.

Критики тоже располагают своим набором эталонов.

Прислонят тебя к гигантской тени, и почувствует себя «прислоненный» литератор этакой оробелой таракашкой, и тогда с ним можно делать все, что угодно, и дрессировать под кого угодно: обучать роскошным фразам кокетливой жеманной словесности или сухощавому диалогу.

Оробевший сочинитель — самая сладостная добыча для беспощадно эстетствующих. И они будут внушать ему, что жилой площади литератора и соседей по квартире вполне достаточно, чтобы выкроить сочинение на бытовую тему.

Радиографов роднит с литературными критиками то, что от них требуют высокой принципиальности и столь же

высокой нравственности, ибо обличаемые мстительно жаждут сами стать обличителями.

Быучиться радиографии на краткосрочных курсах не столь сложно. Но стать радиографистом, чувствовать, что от тебя в какой-то степени зависят трудовые судьбы тысяч людей и сооружение стоимостью в десятки миллионов рублей, для этого нужно обладать чертами рыцарской непоклонности.

А Капа и Зина были самыми обыкновенными девчатами. Одна окончила десятилетку в Вологде, другая — в Рязани в одном и том же 1958 году.

Строительный участок подводно-технических работ, как мы сказали, обнимает сооружение одновременно пяти-шести больших водных переходов, не считая укладки дюкеров через множество мелких речушек.

Начальник участка маневрирует людьми, техникой. И здесь он уподобляется командиру современной механизированной дивизии, где утверждено демократическое равенство между количеством техники и числом людей, ею повелевающих.

Современные могучие самодвижущиеся механизмы обладают барскими замашками. Их не утруждают самоходным путешествием. Их почтительно подсаживают кранами на гигантские металлические платформы трейлеров, скаты которых похожи на монолитные валки прокатного стана.

Так строительные мехколонны кочуют со скоростью железнодорожного эшелона, и если во время пути по пересеченной местности им встречаются препятствия, бульдозеры слезают с трейлера и проскабливают для них дорогу своими стальными ножами.

Я глубоко убежден: если бы маршал танковых войск стал свидетелем действий строительной мехколонны, он испытал бы чувство глубокого умиления от того, с какой безукоризненной четкостью она сразу с марша разворачивается на штурм земных твердынь, атакуя преграды не только на суше, но и под водой, и, как знать, может быть, маршал даже взгрустнул бы, мысленно прикинув на мирные нужды человечества баснословную мощь своей грозной затаившейся техники. Ведь он бы тоже мог со своими людьми и техникой стать гражданским строителем, скажем, плотины в Беринговом проливе, чтобы отеплить земной шар, его полярное темя, теплоцентралью Гольфстрима.

Но, увы, множество совещаний на самом низком человеческом уровне НАТО с СЕАТО и прочих заговорщицких против мира военных союзов препятствует мечтам наших маршалов переквалифицироваться в мирных строителей грандиозных, планетарных, международных кооперативных сооружений. Им приходится пока довольствоваться одним гордым сознанием того, что они служат миру как его непреодолимые щиты.

Работа Зины Пеночкиной и Капы Подгорной была сопряжена не только с моральными трудностями — быть «критиками» труда сотен людей. Жизнь их проходила на колесах. Сотни километров отделяют один водный переход от другого. Пока не будет произведено просвечивание швов дюкера, нельзя начинать изолировочные работы, укладывать трубы в траншею.

В определенные дни радиографистки становились главными фигурами на стройке.

Капа Подгорная, будучи членом бюро комитета комсомола, увязывала свои поездки с планом комсомольской работы. Она была полностью согласна с утверждением Босоногова, что человек с дурным характером никогда не может стать хорошим сварщиком. Но в это утверждение вносила свою поправку — с характером не рождаются, характер человека формируется. Нужно только избрать для этого идеал.

Капа и Зина по-разному судили о людях.

Капа составила для себя идеал человека и твердо его придерживалась. Она составила этот идеал из нескольких слагаемых.

Изысканное мастерство Бориса Шпаковского плюс вдохновенная страстность Василия Марченко, заключенная в обаятельную оболочку Босоногова, — все это вместе вызывало у нее даже влюбленность. Но к каждой из названных личностей в отдельности она относилась с критической отчужденностью. С неотразимой логикой она умела доказать всем трем сварщикам, что обнаруженные в их работе дефекты являются не только следствием технических просчетов, но и причиной их собственного морального несовершенства.

Зина не могла преодолеть субъективного подхода к людям. Ей нравились все, кому нравилась она. Зина не умела поучать людей, когда обнаруживала дефект в работе, и вся ее душевная энергия уходила на то, чтобы выразить соболезнование «потерпевшему». Она тут же влюблялась в него, не потому, что этот человек нравился

ей больше других, а потому, что он становился признательным за высказанное сочувствие, и ей казалось, что они духовно близки друг другу. Она объявляла Капе с восторженным удивлением:

— Ты знаешь, Капка, все ребята в горе становятся такими хорошими, что просто невозможно сказать, который из них лучше.

— Даже Шпаковский? — недоверчиво спрашивала Капа. — Ведь он не человек, он же надменная сосулька.

Капа Подгорная брала уроки сварного дела у Босоногова, чтобы полемизировать со сварщиками, вооружившись всеми тонкостями их профессии.

Она уже сама могла стать сварщицей и зарабатывать значительно больше, чем радиографистка. Но она предпочла положению посредственной сварщицы репутацию одной из лучших радиографисток, такой, которая в случае нужды может взять в руки газовый резак и сдуть шов, чтобы воочию убедить спорщика и показать ему дефект в натуре.

И не познаниями сварного дела стяжала она себе почетную репутацию, и даже не безукоризненным мастерством, с которым производила съемку стыков труб. Высокое право обличать других она заслужила безукоризненностью всего своего бытия на стройке.

— Ты, Капка, не человек, а формула, — упрекала ее Зина. — Смотри, засохнешь в старых девах.

Таковыми злыми словами Зина пыталась уговорить Капу пойти на вечеринку.

Гневно блестя радужно-черными глазами, Капа отвечала презрительно:

— А я не желаю переступать официальных отношений со своими сварщиками.

— Так там не только сварщики — и водолазы тоже. А они знаешь какие?! Фигуры у всех как у чемпионов мира, а зарабатывают побольше, чем инженеры.

— А мне с ними разговаривать не о чем. Один Бубнов знает подводную сварку, но он чуть ли не с дореволюционным семейным стажем.

— Вечеринка — это тебе не кружок повышения квалификации, — отрезала Зина и ехидно сообщила: — Борька Шпаковский будет. Он же тебе нравится. Вижу, как ресницами на него машешь, когда его шов обсуждаешь, и губы для него красишь.

— Это оттого, что я его поклонница, — спокойно сказала Капа.

— Да что он тебе, Козловский или Лемешев?

— Вроде.

— Так я сегодня сама скажу, что ты в него влюбленная, — решительно заявила Пеночкина. — Нужно сразу вносить ясность, раз это отражается на твоей психике.

Подгорная, печально и пленительно улыбаясь, произнесла снисходительно:

— Да что я, дура — в такого влюбиться как в мужчину? Он же спесивый, воображает о себе. Он любит, когда его хвалят. А скажи, что у него в коренном шве непровар, в ГОСТ еле укладывается, он сейчас же на тебя сверху вниз взглянет, как на насекомое.

— Значит, ты от самолюбия только его не признаешь?

— Нет, просто идеал мой лучше во сто раз.

— Значит, есть уже определенный товарищ? — деловито осведомилась Пеночкина.

— Да.

Обняв подругу, лстиво заглядывая ей в лицо, Зина спрашивала:

— Ну, скажи, скажи, кто?

Глаза Подгорной грустно померкли. Отстраняя Пеночкину, она произнесла медленно, осторожно, как-то не очень уверенно:

— Дело в том, что я сама себе хочу сначала понравиться и уважать себя без сомнений хочу. И когда я это почувствую в себе, только тогда стану рядом с тем, кто будет для меня и на всю жизнь самым лучшим.

— Ну и правильно, — согласилась Пеночкина. — Кидаться собой нечего. Знаешь, как теперь ребята уважают девушек, у которых высокий моральный уровень? Витька Зайцев сказал: перед нами сейчас безотлагательная задача — впитать в себя черты человека будущего.

— А как ты этого человека себе представляешь?

Зина пожала полненькими плечами.

— А мне сегодняшние люди нравятся. Например, я всегда Витьке Зайцеву подчеркиваю, как он мне сильно нравится. А он вместо всего замечание делает за фасон прически «я у мамы дурочка». Но разве я виновата, если она мне идет? — Произнесла задумчиво: — Конечно, если бы он мне сказал определенно: «Остригись под машинку в доказательство, что я тебе нравлюсь», — пожалуйста, готова на жертву, остригусь в два счета. Буду ходить в косынке, пока снова не отрастут. Но он же от меня ничего не требует! Вася Марченко — тот совсем другой. «Тебе, говорит, Зина, косы к лицу будут. Косы — это

очень женственно». Если человек так просит, пожалуйста начну отращивать.

— Что же тебе, все равно, Зайцев или Марченко?

Пеночкина сказала со вздохом:

— Я хочу за того замуж, кто меня больше, чем я его, любить будет. Чтобы я потом могла его за это из всех сил любить.— Грустно добавила: — Но пока у меня как-то наоборот получается. Но все равно я считаю, что любят за любовь к себе, а не за что-нибудь другое.

— Значит, уже все продумала.

— Ничего я про это не думаю,— почему-то обиделась Пеночкина.— Страдаю — верно, а думать не думаю, мечтаю только. Конечно, как все, стараюсь правильнее мечтать, с учетом своих недостатков. Я несерьезная, так надо, чтобы муж у меня был серьезным, вроде Бори Шпаковского. Тогда у нас гармония получится. Но Шпаковский мне ни капельки не нравится.— И вдруг объявила восторженно: — А Марченко знаешь почему мне ужасно нравится? Веселый он, дерзкий, все ему нипочем! Шли с собрания, лед такой гладкий, прозрачный, словно из пластмассы. Я как разбегусь, а он подо мной рухнул. Вася, по пояс в ломаном льду, добрался до меня, взял на руки и вынес на берег и сказал мне на ухо... Но это наша тайна, что он мне сказал. Когда на руках нес, дышал мне так нежно в лицо и губами щеки касался. Но не чмокал, а так вежливо, прижимался только слегка.

— Но что он тебе сказал?

— Да неважно. Он же это только для публики назвал «дурой», а по глазам его я понимала, что он высокого обо мне мнения. Я ему понравилась за свою отчаянность, потому что он сам отчаянный. Загорелся в лаборатории ящик с пленкой, он схватил горящий ящик и, отворачивая от огня лицо, на вытянутых руках на улицу вынес и там закидал песком. А ведь пленка могла взорваться каждую секунду! Такой смелый! Я ему после руки кремом «Снежинка» мазала. Всю банку вымазала. А он от веснушек помогает. Не побоялась, что могу перед ним с веснушками остаться.

— Ничего, поедет Вильман в город, попроси, он тебе новую банку купит.

— А если забудет? Им же надо пользоваться систематически. Может, Марченко веснушчатые не нравятся, а они на мне за это время выпячат. Я и так, если кто на

меня внимательно смотрит, смущаюсь. Кажется, что в это время на моем лице веснушки считает. Почему-то люди думают, веснушки — смешно. А это вовсе не смешно. Мнительному человеку одно страдание...

Кочевая походная жизнь была нелегкой. Подгорная и Пеночкина приспособлялись к ней каждая по-своему.

Капа, выезжая на новый объект, надевала старенький лыжный костюм. Брезентовый рюкзак с плечевыми ремнями набивала книгами. А в жестяную трубу, сделанную по ее заказу слесарем-ремонтником, опускала свернутые в свиток агитплакаты.

Зина тоже одевалась в лыжный костюм. Но вместо рюкзака брала чемодан с парадным платьем, голубой из пластика плащ, туфли-лодочки и большое зеркало, обернутое в белье. Китайский термос с чаем, банки консервов и судки с обедом размещались в плетеной авоське, так же как мыло, мочалка и брусочки сухого спирта.

Зина считала, что от сухомятки может испортиться цвет лица, и всегда перед выездом, ночью, готовила обед на двое суток, который она разогревала в пути на брусочках сухого спирта.

Когда Капа ехала одна, она довольствовалась хлебом с салом. Но зато ей никто не мешал всю дорогу читать. Погрузившись в чтение, она теряла ощущение времени. И поэтому, когда она ездила с Зиной, ей казалось, что дорога почему-то становится длиннее. Зина, как только садилась в машину, начинала неумоимо говорить. И если Капа сердилась, отвечала без всякой обиды:

— А ты не слушай, я же только себя развлекаю. Молча думать мне неприятно. Когда молча думаешь, почему-то всегда приходит в голову что-нибудь грустное. Я заметила, все люди, которые много молчат, обязательно от этого становятся пессимистами. А я верю, что когда-нибудь обязательно должна стать счастливой.

— А сейчас ты что, несчастливая?

— Я же не о себе волнуюсь, — укоризненно сказала Зина. — Ты вот у меня какая-то совсем бесперспективная, даже платье новое в командировку не берешь. А вдруг человека особенного встретишь! А в чем ему понравиться? Не в чем. — Великодушно обещала: — Конечно, я тебе

в таком случае свое синенькое одолжу. Но оно твою фигуру не покажет. Оно на тебя очень свободное будет.

— Ну, что у тебя в голове все одно и то же? — упрекала Зину Подгорная.

Та прижималась к Капе, заглядывала нежно в глаза.

— Так ведь я про все это только понарошку говорю. Если у тебя или у меня по-настоящему будет... разве можно тогда в шуточку? Если вся жизнь начнет решаться?..

И часто, когда машина намертво застревала в жидкой хляби проселочной дороги или в бездонном снегу зимой, им случалось почевать втроем с шофером в кабине грузовика. Потом приходилось тащить на жерди свинцовые контейнеры до ближайшего населенного пункта, клянчить подводу, чтобы понасть на водный переход, где их ждали сотни людей.

Перед тем как отправлять радиографисток на объект, Балусв вызывал их в контору, но беседовал с каждой отдельно.

Задумчиво разглядывая белокурые кудельки Пеночкиной и латунные клипсы в толстенных розовых ушах, он спрашивал укоризненно:

— Ну что ты так о своей внешности тревожишься? И серьги вот какие-то кричащие.

— О чем, Павел Гаврилович? — с нарочитой наивностью осведомлялась Пеночкина.

— Что «о чем»?

— Да клипсы мои, по-вашему, о чем кричат?

— Ты пойми, — строго внушал Балусв, — ошибешься с кем-нибудь, жизнь себе испортишь.

— Да что вы со мной, как с дочерью, разговариваете? — возмущалась Пеночкина. — Вы и так слово взяли, когда на работу поступала, обо всем личном с вами советоваться. Даже обидно. Чем я виновата, раз у меня наружность такая обманчивая, будто я легкомысленная.

— А ты еще прической и клипсами подчеркиваешь.

— Если вы мне официально велите, пожалуйста, сниму клипсы, а голову платком обвяжу. Только это неправильно, если начальник строительства будет в такие вопросы вмешиваться.

— Почему неправильно? Берут же люди в коммунистических бригадах на себя целый комплекс моральных обязательств. — Признался со вздохом: — Я в тебе, Зинаида, и себя вижу. Тридцать лет назад тоже таким был. Думал, все просто и ясно. А знаешь, сколько моих това-

рищей себя тяжело покалечили таким легким подходом к личной жизни?

— Не понимаю,— пожала плечами Пеночкина,— на что вы конкретно намекаете?

— Ни на что я не намекаю. Я прямо говорю: береги в себе женское достоинство. Пойми, мне хочется, чтобы вы все, молодые, были лучше, чем мы.— Задорно улыбаясь, заявил: — Я, как хозяйственник, считаю: хороший человек хорошо работает, а плохой — плохо. И чем больше у нас хороших людей будет, тем скорее коммунизм настанет. Понятно?

— Но я же согласна быть хорошей! И не нужно вовсе для этого меня уговаривать. Но Рахметова из меня тоже не получится. Это Капа считает его литературным образцом для подражания. Я же про себя считаю, что я не должна ни под кого притворяться.

— Притворяться не нужно, но вот мечтать про себя хорошо всегда следует.

— А вы тоже про себя мечтаете? — кокетливо осведомилась Зина.

— А как же! — живо согласился Балуюев.— Мечтаю, будто я хороший, и поэтому все ребята на стройке обязательно должны быть какими-то особенно хорошими.

— Ладно,— согласилась Зина,— помечтаю, это вовсе не трудно.

Выйдя из конторы, она сердито сдернула с ушей клипсы, а белокурые, красиво взлохмаченные волосы туго стянула косынкой.

Капе Подгорной Балуюев строго заметил:

— Ты вот что: нельзя с каждым сварщиком разговаривать прокурорским тоном. И потом, что ты щеки помять боишься? Улыбнись человеку! Ну, в знак дружелюбия, что ли! Расположи его к себе на доверие. Плохой шов получается не только из-за нарушения технологии. Поссорился сварщик с женой,— в шве сразу видно: дрыганный. Ты ему толкуешь о неравномерном продвижении электрода, а он думает о том, как с женой помириться. Выполнение производственного плана, если хочешь знать, начинается с быта, с дома. А как ты сварщика наведишь, если у тебя с собой даже партикулярного платья нет? Так в замызганных лыжных портках и сядешь за стол с людьми чай пить, если они тебя об этом попросят? — Сказал сердито, тоном приказания: — Ты брось себя бояться, что ты красивая! Красота, она на благородное настраивает человека. Взглянет на тебя, потом на шов, увидит вопиющее

противоречие, и захочется красиво шов варить... И потом вот что,— сказал Балувев, немного конфузясь,— не бойся ты ребятам нравиться. Пускай говорят, что ты нравишься. Ты слушай и присматривайся, какой из них самый лучший окажется, с тем и подружись... на всю жизнь.

Капа спросила дрожащим голосом:

— Вы, кажется, хотите меня здесь замуж выдать?

— А как же,— простодушно согласился Балувев,— обязательно! Хорошего работника закрепить надо. А то что получится: курсы ты у нас окончила, мы тебя воспитали, и вдруг, пожалуйста, явится какой-нибудь шибздик со стороны и увезет в неизвестном направлении. А ты девушка серьезная, умная; можешь даже выбрать себе парня и с недостатками, сама его после довоспитаешь. Вот Зинаида твоя совсем иного склада экземпляр. Ты за ней смотри как старшая.

— Да я ее на полгода моложе!

— Бывают люди и в полсотни лет подростки.— Посоветовал: — И со словами будь легче. Скажешь зря «бракодел», а ведь это слово убийственное. Самое легкое карать. А вот не допустить до кары — тут сам с ним помучаешься. Зато приятно: вроде человека спас.

— А говорят, вы очень суровым были.

— Что значит был? — обиделся Балувев.— Я и сейчас такой!

— Значит, вы всегда одинаковый были?

— Зачем? Все растет, все изменяется; скажем, после Двадцатого съезда всех нас партия улучшила. Я, например, для себя, как хозяйственник, какой вывод сделал? Ищи у каждого человека в первую голову его лучшее, а не худшее. Нашел — наваливайся, эксплуатируй в государственную пользу.

Подгорная, потупившись, спросила шепотом:

— А во мне вы нашли что-нибудь хорошее?

— А как же! — весело сказал Балувев.— Вот это самое хорошее нашел, что ты в себе хорошее ищешь. А нехорошее в тебе пока то, что ты хорошее мало у других ищешь.

— Я буду стараться, Павел Гаврилович.

— Знаю! — сказал Балувев весело и снова строго предупредил: — Значит, помни: ты по своей должности поставлена людей обличать. Но не каждый из нас до своей должности душой дорос. Значит, надо подтягиваться к ответственности. Тогда даже требовать будут, чтобы ты ими руководила по всей линии жизни, а не только согласно штатному расписанию, кто над кем поставлен...

После таких разговоров Подгорная, собираясь в отъезд, стала укладывать в свой рюкзак выходное платье. Заметив это, Пеночкина с торжеством воскликнула:

— Ага, попалась! Тоже, значит, в кого-то влюбленная?

— Да,— сказала Капа,— именно влюбленная.

— Ну скажи, Капочка, дорогая, в кого, скажи!

— В Балуюева, вот в кого!

— Да что ты! — ужаснулась Зина. У нее даже лицо побледнело и сразу обозначились все веснушки. — Он же женатый и детный! Это же ужас, что может получиться! — И тут же объявила: — Хоть это и нехорошо с моей стороны будет, но я про него в партком скажу, а про тебя — Витьке Зайцеву. — Она всплеснула полными короткими руками и, ломая пальцы, с горестным ожесточением воскликнула: — А я еще тебя лучше себя считала!

Капитолина обняла подругу, сказала на ухо:

— Глупая, я же пошутила. Я же в него совсем иначе влюблена.

— Все равно, никак нельзя, раз человек женатый,— сердито упиралась Пеночкина. — Скажем, он тебе с идейной стороны понравился. Все равно нельзя. У нас в школе преподаватель физкультуры был. Офицер, на войне раненный. Я ему письмо просто как герою написала. А он меня почище, чем Онегин, отчитал. Еле упростила письмо на педагогическом совете не обсуждать. Ты не думай, что я жизни не знаю. Я все свои ошибки из нее помню. И просто решительно тебя предупреждаю: не смей!

Но на этом Пеночкина не успокоилась. Каким-то путем собрав сведения о жизни Балуюева, она как бы между прочим говорила Подгорной:

— А наш-то начальник перед своей женой подхалимничает. Отправляли в Москву на ремонт водолазные компрессоры, он с ними ей цветы отослал. Другие люди рыбу свежую, а он — цветы. Она же у него ученая, а он просто так, недоучившийся практик.

В другой раз сказала небрежно:

— Нас Балуюев все воспитывает, а у самого дочь привела на квартиру парня и сказала родителям: «Знакомьтесь: мой муж». У себя дома не может порядок навести, а нас здесь считает какими-то от него зависимыми. А линейного механика Сиволобова, с которым на фронте дружил, знаешь как унижительно на жилплощадь оформил? Пришел Сиволобов с Кринкиной в контору объявляться о женитьбе, а Павел Гаврилович говорит: «Ладно, квартиру я вам выхлопочу, только ордер будет на имя Крин-

киной». А она меньше года на производстве. Понятно, механику стало неловко. А Балугев ему так неприлично сказал: «Ты, говорит, уж раз был неправильно женатым, подорвал доверие. Вот поэтому и закреплю тебя за женой жилплощадью». Очень он грубый человек, нетактичный. Разве можно с бывшим летчиком, как с крепостным, обращаться?

— Ну, а что Сиволобов ответил?

— Совсем человек без самолюбия оказался, снова перед Кринкиной начал извиняться, что ошибка в жизни была. И даже поблагодарил Балугева за строгое предупреждение. И с Безугловой своей Павел Гаврилович носит, будто она не человек, а цветок какой-то особенный. Изольду все и так без него уважают. Я сама первая ей в подружки навязывалась, только она не захотела.

Подгорная гневно блеснула черно-лиловыми глазами, спросила:

— Ты о чем с ней говорила?

— Пожалуйста, не вскакивай, — оборвала Пеночкина, — и глазами на меня не сверкай, не скалься. Я сама, как и все, чуткая. Предлагала у нас третью койку поставить. Хвалилась: у радиографисток работа чистая и заработок большой.

— А еще что говорила?

— Про тебя только. Что ты самая наилучшая мне подруга и дружить с тобой — одно удовольствие и что она тебе больше, чем я, понравится.

— Значит, уступала свою подругу?

— А как же! Я тоже на самопожертвование готова. Нельзя, чтобы человек себя одиноким чувствовал.

— А ты себя никогда одинокой не чувствуешь?

— Ну что ты, Капочка! — снисходительно улыбнулась Пеночкина. — Ведь полно у нас людей хороших! Что я, дуручка, вдруг от них на отшибе оказаться! Мне все улыбаются, и я тоже. Разве в такой обстановке можно одиночество испытать? Даже если захочешь, все равно не получится.

Но как ни пыталась Подгорная следовать советам Балугева, чтобы проще держать себя со сварщиками, плохо это у нее получалось.

Василий Марченко каждый раз, когда она приступала к просвечиванию стыков, напускал на себя легкомысленный, беспечный вид.

— Привет, светоноска! — восклицал он, расшаркиваясь, и, склонившись, делал кепкой движение, словно обметал землю у ее ног. — Позвольте вашу кастрюльку!

Брал свинцовый контейнер и нес к трубе.

— Клянусь! — говорил он торжественным тоном. — Все шовчики непорочные, как и я сам лично. Не верите на слово, желаете убедиться? Предупреждаю: бесчестия не потерплю, стреляюсь в висок соленым огурцом. — И спрашивал умиленно: — А что ты, Капочка, такая сосредоточенная? Томишься одиночеством? Желаете, могу по доброте на тебе жениться! Предлагаю одну пару рук, одну штуку сердца и титул супруги сварщика седьмого разряда.

— Не паясничай! — сердито отстранялась от него Подгорная.

— Я же не паясничаю, — усмехался Марченко. — Это я так, перед тобой раболепствую.

— Ты побереги веселость, — зловеще советовала Подгорная. — Просвечу стыки, что тогда скажешь?

— А у меня лицевая мускулатура чрезвычайно развита. Умею скрывать любое состояние духа. Гляди: го, го! Смеюсь. А у меня в данный момент только скорбь и отчаяние.

Пока Подгорная просвечивала стыки, Марченко не отходил от нее. Вытягивая, как гусь, длинную шею, следил за каждым ее движением.

— Я человек добродушный, — говорил он насмешливо, — не думаю про каждого, что он на плохое способен. А ты только подлости в людях ищешь. Магазины без продавцов пооткрывали, люди без кондуктора в автобусах ездят, на честность. А ты взяла себе сыщицкую специальность и гордишься. Вы для нас, если хочешь знать, типичное наследие капитализма.

У Капы от обиды побледнели нос и щеки. Она произнесла металлическим голосом:

— Опять! Смотри: подрезы! Работаешь на чрезмерно большой силе тока. Я же тебя в прошлый раз предупреждала!

— Извиняюсь, слова ваши запомнил, — иронизировал Марченко. — Остались в памяти только ваши дивные гневные глаза цвета мазута. — Не выдержав тона, произносил с отчаянием: — А если я принципиально за скоростную сварку борюсь и против фасонистых художеств Шпаковского за счет темпов?! Ты это понять можешь?

— А качество?

— Я в ГОСТ укладываюсь.

— Что ты сторожишь меня? Иди работай! — просила Подгорная.

— А я из-за тебя веру в себя теряю. Не могу новые стыки варить, пока старые не просветишь. И все ребята так. На нервы ты нам действуешь.

— Трусые вы!

— Ты! Ты что тут про нас лепечешь? — угрожающе подступил к ней Марченко, и темные брови его сошлись в сплошную линию на переносице. Вдруг пренебрежительно объявил: — Ладно, некогда мне с тобой заниматься. Холодная ты к людям, как котлеты, которые у нас в буфете продают.

Он ушел, не оглядываясь, провожаемый тоскливым, встревоженным взглядом Подгорной.

Да, ей трудно было ладить со сварщиками.

Борис Шпаковский выслушивал замечания с выражением скуки и брезгливости, говорил с деланным пренебрежением, будто в пространство:

— Некоторые гражданки очень сильно сведущи в ширпотребе, а в технике смыслят, как таракан в телевизоре.

— Однако ты много о себе воображаешь!

— Я человек гарантийного шва, — объявил Шпаковский. — Меня пока еще в скромности никто не уличал. — И посоветовал: — Ты бы поменьше людей угнетала лекциями. Они бы к тебе получше относились.

— Я не хочу ни к кому подлаживаться! — с отчаянием воскликнула Подгорная.

— Для того чтобы, как я, гордым быть, тебе самого главного не хватает.

— Чего же именно?

— У меня талант, — спокойно сказал Шпаковский. — Я им горжусь, а не собой вовсе. Он надо мной, а не я над ним, понимаешь?

Коля Семечкин вел себя с Подгорной почтительно. Толстые губы его были постоянно полуоткрыты, как у маленького. Он тревожно шептал ей, конфузливо озираясь:

— Ты мне, Капа, пожалуйста, все сразу скажи — только не на людях, а в сторонке, — какие глупости и промашки допустил. Марченко и Шпаковский — орлы, а я только начинающий! Мне все полезно, чего ни скажешь.

Слушал почтительно и моргал от напряжения, чтобы все запомнить. И при этом хлюпал озябшим носом. Потом,

томясь от переполнявшего его чувства благодарности. советовал искренне:

— Ты знаешь, Капа, отчего тебя ребята сторонятся? Ты какая-то с ними официальная. Ну зачем? Ты же сама понимаешь, что красивая! Все люди к красоте тянутся. И, конечно, обидно, когда ты с каждым надменна. — Признался: — Ты поверь, если я тебе так говорю, то только потому, что я для такой девушки, как ты, совсем безнадёжный. А ты на каждого адского гнева глазами глядишь. Неправильно это.

Капа шла в лабораторию. Деревья, шатаемые ветром, отряхивались после дождя, как собаки. Было сыро, зябко. У дюкеров, где проводила просвечивание Пеночкина, столпились сварщики, слышались смех, шутки.

Марченко говорил громко:

— Я тебя как увижу, Зиновья, сразу обмираю до полного изумления. На одном человеке столько арматуры: серьги, бусы, браслет! С таким вооружением ты же любого из нас к своим стопам положишь! Борька Шпаковский только в свою специальность влюблен, а и тот от твоего металлического звона начинает мечтать о личной персональной радиографистке, которая будет при нем пожизненно зарегистрирована посредством загса.

Зина просила:

— Вы мне под руку не хрюкайте.

— Мы не хрюкаем, мы по тебе вздыхаем, — сказал басом Коля Семечкин.

— А вот подожди, — пообещала Зина, — обнаружу шлаковый непровар, забудешь все свои смешки.

— А я не обижусь, — сказал Семечкин. — Я не Шпаковский. Это он гордый. Скажи: у него тень серая, — сразу обидится.

Но даже надменный Шпаковский говорил с ней добродушно:

— Ты, Зинаида, нам человек сочувственный. Если ругаешь, то рыдающим голосом, со слезой. И хочется тебя утешать за свою ошибку сразу же, подручными средствами: с помощью рук и губ. А твоя Капитолина — палач. Как начнет четвертовать на оперативке, только хруп своих костей слышишь.

— Она справедливая, — сказала Зина. — Вы про нее не смейте!

— Она трусиха, — сказал сурово Марченко. — Она себя трусит. Боятся, если начнет дружить с нами, так от этого

принципиальность свою утерять. Вот и корчит из себя снежную королеву.

— Это правильно, — согласился Семечкин, — она очень красивая.

Когда Капа проходила мимо дюкера, увидев ее, все смолкли. И только Семечкин бросился к ней, чтобы помочь донести контейнер до лаборатории. Марченко крикнул ему вслед:

— Давай, давай, носильщик, старайся! А после она тебя на собрании отблагодарит, всё из души вытрясет и как уголовные улики на суд общественности представит.

Действительно, был такой случай. Сразу после окончания курсов, просвечивая сварные стыки Марченко и обнаружив в одном шлаковый непровар, Подгорная выступила на комсомольском собрании с требованием, чтобы Марченко прекратил эксперименты по скоростной сварке на трубах дюкера, где малейший изъян может иметь самые тяжелые последствия.

И это скоропалительное осуждение одного из лучших сварщиков произвело на всех неприятное впечатление. Хотя Подгорная, в сущности, была права и ей никто не возражал, но все считали, что она должна была сначала поговорить с Марченко и убедить его самого признаться на собрании в допущенном промахе, должна была помочь ему, а не высокомерно, на людях клеймить, как она это сделала. И никто не хотел простить ей этой ошибки, хотя никто и не сказал ей, что она совершила ошибку. Не сказали потому, что она держала себя с ребятами отчужденно.

Но хотя Подгорная и страдала, ощущая эту отчужденность, у нее не хватало душевных сил самой преодолеть ее.

Когда бригадир сварщиков Босоногов жаловался Павлу Гавриловичу на то, что Подгорная «на всяком мелком дефекте большую демагогию устраивает», Балувев сердился:

— Неврастеники вы, вот кто! Что ни сварщик, воображает: народный артист республики. А их тоже почему зря критикуют. Вот, читал воспоминания Шаляпина, как его Горький жучил. И ничего, всю жизнь пел лучшим своим басом!

— Так то Горький! — возражал Босоногов. — А тут с высоты своего среднего образования девчонка чистописанию учит.

— Ну и правильно учит!

— Так пускай с глазу на глаз, а то каждый раз ассамблею созывает, публично людей унижает.

— А ты что, хочешь тут конспирацию развести?

— Так по-человечески тоже можно, если с душой!

— По-партийному с вами поступают! — непреклонно отрезал Балуев. — Партия о недостатках учит во весь голос, на весь народ говорить, а вовсе не исподтишка, шепотом.

— Ну уж, тоже нашел что с партией сравнивать! — обиженно укорил Босоногов.

Успокаиваясь, Балуев посоветовал:

— Ты бы тоже подумал, заглянул в душу Подгорной. Увидел бы там кое-что для размышления.

— А что именно? — забеспокоился Босоногов. — Внешность у нее счастливая: красавица! Такой аванс от природы. Остановит на тебе глазищи на секунду, и готов человек поплыть в неизвестность с полной покорностью. С такой наружностью она гарантирована на счастье, с кем захочет.

— Поверхностный ты человек! — досадливо сказал Балуев. — Ведь ты же когда-то, на острове, слепой был. Знаешь, что такое переживания.

— Ну был, в нашем коллективе все пережил. Коллектив у нас хороший, душевный.

— А ты кто?

— Ну, тоже частица.

— Так и думай своей частицей, которую ты кепкой накрываешь, — посоветовал Балуев. — Люди нуждаются не только чтобы с ними душевно говорили о производстве, но и о них самих.

— Согласен. Надо всесторонне подходить.

— Вот и найди подход к Подгорной. А то пришел жаловаться: обижают маленьких!

— А что у ней, ты не скажешь?

— Нет, — решительно объявил Балуев. — Сам думай.

— Выходит, тайна?

— Именно. Поэтому и касаться чужой души надо благоговейно. И не оттого, что начальник велел, а потому, что твоя собственная совесть этого требует. Она в этом деле нам всем главный начальник.

В районном центре Гребешки нижний этаж новенького четырехэтажного дома был отведен для общественного питания.

С восьми часов вечера столовая называлась «ресторан» (без права подачи спиртных напитков). В качестве заменителей подавали пиво, шампанское, плодоягодное вино.

На фанерной стойке, выкрашенной масляной краской под дуб, — блюдечки с закуской: баклажанная икра, селедка с картошкой, котлеты с макаронами. На жестяном блюде желтой горой возвышались пончики, жаренные в постном масле. На дощатой полке, прибитой к стене за стойкой, стояли отечественные и зарубежные консервы и ананасы с неувядаемым хвостом зеленой листвы на макушке.

Все столики покрыты новенькой клеенкой, и на каждом глиняный горшочек с геранью, обернутый разноцветной бумагой. Свитки бумажных салфеток торчат из тяжело-весных подставок, отлитых местным стекольным заводом по специальному заказу. С противоположной от стойки стороны возвышается дощатая эстрада. На ней венский стул, предназначенный для аккордеониста.

В прихожей, возле вешалки, чучело волка.

С потолка в зале свисает большая хрустальная люстра. Раньше она освещала кабинет директора элеватора. Но потом, когда его послали работать «на низовку» за чрезмерную склонность к усовершенствованию собственного быта, люстру передали в общественную столовую.

По субботам все столики в столовой-ресторане заняты. Граждане, посещающие ресторан, главным образом строители, держали себя несколько чопорно, натянуто, изысканно вежливо делали заказы, долго и привередливо выбирая блюда: брать ли, например, винегрет или салат «оливье», то есть тот же винегрет, в котором обнаруживались частицы курицы. Знатоки приказывали заранее открыть две-три бутылки шампанского, чтобы ушел газ: от него, кроме отрыжки, никакого удовольствия. Хлопать же шумно пробками при открывании шампанского считалось неприличным.

Люди беседовали вполголоса, главным образом о производственных делах. А если кто начинал слишком шумно говорить, все на него оглядывались и ждали, пока человек не поймет, что он не в «забегаловке», а в ресторане.

Заведовал рестораном инвалид-подполковник, два года прослуживший после войны в наших частях в Германии, человек, понимающий толк в заграничной цивилизации и, конечно, в дисциплине.

Все посетители чувствовали себя обязанными заведующему за тот дух суровой благопристойности, который он строжайше установил во вверенном ему учреждении общественного питания. Что же касается скромного выбора блюд, на это он отвечал твердо:

— Днем, когда у меня столовая, трудящиеся имеют полное изобилие: четыре первых, шесть вторых, десерт — компот, кисель, а также желе. Ресторан — это не едальня. Место приятных встреч, бесед с легкими напитками и сопровождающей закуской.

По инициативе заведующего желающие могли получить шахматы, шашки. Он же одалживал свой бритвенный прибор тем гражданам, которые, опоздав в парикмахерскую, нуждались в нем.

Так как заведующий по совместительству был также и председателем местного ДОСААФа, на стенах ресторана висели плакаты с изображениями старинного оружия периода Отечественной войны, имеющего сейчас только музейную ценность.

Строительство газопровода контролировали представители множества организаций: от дирекции будущего газопровода, от технической станции, от бассейнового управления речного флота, от генерального подрядчика, от промбанка, имелся также представитель котлонадзора. Исполнял его функции молодой человек с неестественно солидными манерами, разговаривающий с притворной одышкой, отучившийся улыбаться, как только получил эту должность. Фамилия его была Крохолов.

На стройке он тосковал по коммунальным услугам города и о западных фильмах, которые работники кинопроката стыдливо снабжают предупредительными рекомендациями: «Детям до шестнадцати лет смотреть не разрешается» и широко пускают на так называемые «вторые экраны».

Крохолов предпочитал именно эти вторые экраны первым, комиссионки — универсамам, всем книгам увлекательные истории «про шпионов». В отношениях с женщинами он придерживался того удобного для себя взгляда, что после крушения матриархата мужская часть человечества заняла ведущее положение и утрачивать его ни при каких обстоятельствах не следует.

По роду своей служебной деятельности Крохолов надзирал за работой сварщиков и лаборантов. Свое внимание он остановил на Зине Пеночкиной. Будучи человеком по своему честным, Крохолов сразу объявил, что он принципиальный холостяк. Но Зиночка по наивности поняла это как перспективное признание.

Крохолов ей нравился солидностью, строгой внешностью, вежливостью и даже начитанностью, то есть тем, чего не хватало ей самой. Она не колеблясь приняла как-то приглашение Крохолова посетить под выходной столовую-ресторан.

Сказать, что Зиночка никогда не пила спиртного, — значит, сказать неправду. На вечеринках она пила водку, две-три рюмки, морщась, будто принимала лекарство. А потом начинала хохотать и притворяться опьяневшей больше, чем это было на самом деле, так как пьяному человеку разрешалось веселиться в полную меру.

В ресторане Крохолов держал себя с Зиной крайне вежливо, разговаривал скучно, неинтересно, танцевать под аккордеон отказался. Зине хотелось есть, а он заказал только печенье в пачках и ананас, говоря, что есть котлеты под шампанское неприлично. Зина пила шампанское, заедала его печеньем и скорбно поглядывала по сторонам, ожидая, что кто-нибудь из знакомых водолазов пригласит ее танцевать. Но водолазы не любили Крохолова, они только неприязненно поглядывали на Зину и вели за своими столиками дискуссию на тему, какой скафандр лучше: двенадцати- или шестиболтовой.

Но потом Крохолов сжалился над Зиной и пошел с ней танцевать, крепко обняв ее. Зиночка смутилась, съежилась от прикосновения руки Крохолова, сбилась с ноги и объявила, что у нее кружится голова и танцевать она больше не хочет.

На базарной площади Крохолов взял такси и велел ехать на строительство. В машине он держал себя вполне прилично и даже сказал Пеночкиной, что считает поцелуй в такси пошлостью.

Зиночка была голодна; от шампанского с печеньем и от тряски в машине ей стало плохо; не доезжая до стройки, она сама предложила Крохолову пройтись пешком.

Они шли сквозь белую березовую рощу. Опавшие листья устилали землю золотистым ковром. Небо светлело сквозь голые тонкие, как проволока, ветви. В роще было чисто, сухо и пахло молодым льдом. Зиночке стало лучше на свежем воздухе. Она восторженно говорила:

— Знаете, когда долго смотришь в небо, кажешься себе легкой, воздушной, как во сне! И можно даже заставить себя почувствовать, будто летишь и никого нет на свете, кроме тебя и неба. И такое предчувствие счастья, будто ты растворяешься в нем, и нет тебя, и все можно, все, что ты ни захочешь!..

Она прислонилась спиной к дереву и подняла лицо.

Крохолов подошел, обнял ее вместе с деревом, больно придавил к стволу. Она смотрела на него испуганно. Он улыбался, внимательно глядя на беззащитные ее губы, и опытно молчал, боясь вспугнуть каким-нибудь неподходящим словом...

Потом Зина избегала встреч с Крохоловым. Но однажды, когда она проходила мимо и вокруг никого не было, он сам остановил ее и сказал одобрительно:

— Однако вы девушка тактичная: не придали особого значения. — Приятно улыбаясь, заявил: — Не ожидал даже, что вы такая умница. — Помолчал, добавил: — А насчет последствий не беспокойтесь. Я полагаю, ваша специальность при некотором нарушении правил охраны труда даст вам возможность полной гарантии.

— Что? — с ужасом спросила Пеночкина. — Что вы сказали?

— Предупреждаю, — строго объявил Крохолов, — я ничего не советовал. Это — ваше личное дело. Я только как образованный человек знаю, что облучение, не дюкера, конечно, а организма, может иметь определенный медицинский смысл.

С погасшими, мертвыми глазами Зина пришла не к Подгорной, а к Виктору Зайцеву. Она попросила мертвым голосом:

— Витя, ты не смотри на меня, а то мне стыдно, что я буду про себя рассказывать...

Лицо Зайцева было бледно, руки дрожали. Он спросил с отчаянием:

— Но зачем, зачем ты мне все это рассказала?! Ты же знаешь, что я к тебе испытывал!

— А я не тебе, — беспомощно прошептала Зина. — Я просто как комсомолу... — И воскликнула с отчаянием: — Куда же мне теперь деваться после всего?!

— Ты Подгорной говорила?

— Нет.

— Почему?

— Она такого понять не может.

— А я, я почему должен понимать?!

— Ты не должен, — сурово сказала Пеночкина, — ты обязан понимать. — Ломая пальцы, она произнесла с ожесточением: — Ты подумай: люди наш атом добрым называют за то, что он людям служит, а я бы решилась...

— Ладно, — сказал Зайцев, — ты посиди у меня, я к Павлу Гавриловичу сбегая.

У Балужева в это время находился старшина водолазной станции Бубнов. Балусев сказал Зайцеву:

— Говори при нем.

Выслушав, приказал Бубнову:

— Ступай разыщи и приведи.

Уходя, тот предупредил:

— Только ты, Павел Гаврилович, прошу, без излишеств, спокойненько, не превышая административной власти. — И ушел, ссутулив тяжелые плечи.

Бубнов нашел Крохалева у заполненной водой глубокой траншеи, подготовленной для опускания в нее дюкера.

Старый водолаз шагнул к Крохалеву, посмотрел ему в глаза так, что тот сразу стал будто ниже ростом. Произнес задумчиво:

— Вот смотрю на твою рожу и думаю: она как у микроба лицо. Учти, я человек несоразмерный: смажу, могу насовсем изувечить. — Приказал: — Цыц! Молчи! Ступай на когтях к начальнику. Он тебе аккуратно скажет.

— Пустите! — жалобно попросил Крохалев и громко крикнул: — Прекратите хулиганство!

Бубнов теснил Крохалева на самый край траншеи, где были перекинута мостки из жердей.

— Иди, — сказал водолаз, задыхаясь. — Иди, — воскликнул с отчаянием, — ведь ударю же!

Крохалев, пытаясь, отступил на мостки. Они прогибались под его упитанным телом. Одна нога попала между разъехавшимися жердями; он провалился до паха, ухватился рукой за жердь — пальцы скользили в грязи, жерди разъезжались. Он повис на раскинутых руках. Голова с открытым ртом торчала над настилом.

Водолаз стоял на краю настила и внимательно, задумчиво глядел на голову Крохалева. Осторожно вытянул руку, поправил сползшую на глаза шляпу и снова стал глядеть — внимательно, спокойно, равнодушно. Распростертые руки Крохалева скользили по грязи, и он с шумом рухнул в наполненную черной водой, с тонкой коркой льдин траншею.

Бубнов отошел, сел на трубу дюкера, взглянул на ручные часы со светящимся циферблатом, выкурил сигарету,

вразвалку подошел к складской будке, снял с деревянного гвоздя гидрокостюм, влез в него, съехал на задуг по откосу траншеи в воду.

Водолаз привел Крохалева в контору. Тот бессильно, всей своей тяжестью вис на нем всю дорогу.

Бубнов сказал Павлу Гавриловичу:

— Ты не очень горячись. Видишь, человек чуть не утоп. Надо иметь снисхождение. А то я тебя знаю: пого-
рячишься и снова на бюро попадешь. А дело ведь ясное. Он же сам попросится, чтобы его спокойно отсюда выгнали. Ну и котлонадзор, там тоже люди, не потерпят такого. Надо их информировать, чтобы больше таких надзирателей не присылали.

— Он меня убить хотел, убить! — иступленно закричал Крохалев и потребовал: — Вызовите представителя МВД!

— Вы не нервничайте, — вежливо попросил Бубнов. — Я же вас спас некоторым образом. Мне, может, медаль за это полагается. Только за всякую дрянть ее не дают. И тут я вроде погорел на вас в смысле медали.

Павел Гаврилович взял слово с Бубнова и Зайцева, что они об истории с Пеночкиной никому ничего не скажут, и упрекнул Зайцева за то, что тот оставил девушку одну в общежитии.

Когда Зайцев вернулся, он застал Пеночкину спящей на его койке с заплаканным, опухшим лицом. На подушке, рядом, лежала любимая книжка Зайцева: учебник для вузов по астроботанике.

Но на первом же комсомольском собрании Зина Пеночкина потребовала слова и рассказала прерывающимся от волнения голосом все, что с ней случилось. Ребята слушали, растерянные, подавленные ее горестной и отчаянной откровенностью.

— Есть желающие высказаться? — спросил Зайцев, пугливо оглядывая собрание, и поспешно объявил: — Значит, примем к сведению и перейдем к следующему вопросу.

— А как же я? — спросила Пеночкина.

— Что — ты? Хватит с тебя, приняли к сведению.

— Нет, я не согласна, — сказала упрямо Зина и снова обратилась к собранию: — Вы думаете, мне так легко было сказать? Знаете, я как перед этим мучилась? Сколько раз у Павла Гавриловича плакала, просила отпустить на другую стройку. И сейчас я тоже замученная. Похудела вся, даже на скамейке сидеть больно.

Кто-то громко фыркнул.

Зайцев постучал карандашом по столу, произнес сокрушенно:

— Не стыдно, а? Человек искренне переживает и не скрытно. А чтобы сильнее было, на коллективе. — Произнес неуверенно: — Так что же ты, Зина, хочешь? Мы же, видишь, все как взволнованы! Потому и не высказываются товарищи, что этот вопрос не для тебя одной очень болезненный. И я тут один выход вижу: не надо бояться нам таких вопросов. Нет об этом книг, брошюр. Да разве все случаи опишут? Я одно могу заключить: давайте друг с другом про все в жизни советоваться. Ну, как у людей при коммунизме будет: друг с дружкой все обсуждать и ничего стыдного, плохого не бояться! Тогда и плохого среди нас меньше будет. — Взволнованный, сказал вдруг с предельной искренностью: — Мне ведь Зина раньше нравилась, а сказать об этом я стеснялся.

— А теперь? — жалобно спросила Пеночкина.

— Теперь нет, — сказал потупившись Зайцев — поднял голову и, глядя в лица ребят, произнес твердо: — Может, это и неправильно, но я не могу по-старому к ней относиться, хотя она и очень высокий образец правдивости перед коллективом показала. Вот!

Глаза у Зайцева потускнели, он глубоко вздохнул и объявил:

— Значит, по этому вопросу все. Переходим к обсуждению красного уголка. Слово товарищу Подгорной.

Как ни странно, Подгорная никогда не говорила с Пеночкиной об этой истории и всякий раз брезгливо пресекала попытки Зины затронуть эту тему.

Через несколько месяцев и сама Зина успокоилась, но, знакомясь с новыми ребятами, сообщала о себе загадочно:

— Вы не думайте, что я такая веселая, я вовсе совсем другая и многое уже пережила.

Душевная чистота и доверчивость Пеночкиной вернули к ней прежние добрые чувства коллектива, и только один Павел Гаврилович покаянно жаловался Бубнову: газопровод любой с дипломом построить может, а вот ребят довести до «человека» — штука тяжелейшая и ответственнее чего хочешь. Разводил руками:

— И как я этого Крохолева сразу не раскусил! Нет, пора на пенсию, раз зоркость души утратил. Место упрядома — самое для меня подходящее. — Жаловался: — Сейчас человеком трудно быть. Очень много с него, поми-

мо должности и специальности, спрашивается по линии духовных, неписанных обязанностей.

Конечно, Балугев говорил это, несколько преувеличивая обязанности человека на земле. Но если бы побольше людей так про себя думали и усиливали свою «общественную» душевную нагрузку, жить на свете всем было бы много легче.

18

Не могу ручаться, что при коммунизме чувство ревности отомрет, подобно прочим нежелательным явлениям минувшей эпохи. Думаю только, ревность примет другие формы: утонченные и красивые. Что же касается производственной ревности, убежден: она надолго останется в коммунизме как наследие социалистического прошлого, и коммунистическая общественность медленно и с сожалением будет расставаться с таким азартным стимулом труда. И по этой линии люди тоже будут долго совершать ошибки и каяться в них, подобно нашим современникам.

Когда «трассовики» узнали о подвиге «подводников», решивших ради экономии металла класть трассу напрямик, через болото, они тоже загорелись отчаянным желанием отличиться и решили до срока сделать подземный переход под дамбой, ограждающей заболоченную пойму.

Действительно, они досрочно пропихнули с помощью гидравлических домкратов шестидесятиметровую обсадную трубу — патрон и этим скоростным строительством, как говорится, «вставили фитиль» «подводникам».

Но вот чего не учли «трассовики»: в обсадную трубу надо было еще вдеть плетъ газопровода, а они с этим делом замешкались. Начала дуть низовка, тугой ветер задирает волны, река отяжелела, раздулась, распростерлась по всей низине сизым морем. Дамба превратилась в длинный полуостров. Обсадная труба до половины заполнилась водой. «Трассовики» были вынуждены прекратить работы.

Ревность «трассовиков» к «подводникам» и «подводников» к «трассовикам» — стародавняя традиция «трассовиков».

Если «подводники» до срока заканчивали водный переход, «трассовики», терзаясь, начинали давать такие нормы проходки, что потом сами удивлялись на свою прыть.

Если газопровод подходил уже к побережью, «подводники», понукаемые угрозой со стороны «трассовиков»,

начинали «вкалывать со страшной силой». И все это сопровождалось обоюдными насмешками, ехидными предложениями оказать помощь людьми, техникой, поделиться опытом.

Павел Гаврилович Балув, воспользовавшись бедственным положением «трассовиков», и на этот раз предложил им помощь, которую они приняли с покорным смирением потерпевших.

И хотя у самого Балуева на строительной площадке было нехорошо: в затопленной пойме увязала техника, машины стояли на бревенчатых постаментах, и рабочие добирались до них по колено в грязи, а для сварных работ пришлось класть высокие лежаки, и над болотом все время клубился парной, зловонный туман, так что даже днем приходилось работать с прожекторами, траншея для дюкера все время заполнялась пловуном, и каждый человек в таких условиях был особенно дорог, — несмотря на все это помочь ближнему было для Балуева не только долгом, но и доставляло ему злорадное наслаждение. Он послал на подмогу своих водолазов, не преминув при этом составить счет для оплаты услуги.

Но водолазы в своем громоздком снаряжении не могли пролезть в обсадную трубу, чтобы протащить сквозь нее трос, которым потом полагалось втянуть внутрь ее плетъ газопровода. Выходит, осрамились не только «трассовики», но и Балув.

Между тем наступило похолодание, вода покрылась льдом. Если температура и дальше станет понижаться, внутри обсадной трубы может образоваться ледяная колонна, способная порвать трубу.

И, как это водится, пока все шло хорошо, люди охотно, каждый в меру способностей посмеивались над непроторными «трассовиками» и неуклюжими «подводниками». Но когда появилась угроза делу, руководители подводного и трассового участков объединились для решения сложной задачи. Все откачивающие средства «подводников» были переброшены к дамбе.

Балуев теперь даже мысли не допускал предъявить «трассовикам» смету за аварийные работы или хотя бы намекнуть на то, что его собственный участок без откачивающих средств еще больше пропитается влагой. В такие моменты хозяйственники утрачивают практическую хватку и гибкость экономического мышления, а становятся, как и все люди, одержимыми одной целью: отразить общими усилиями коварное нападение природы. И только

позднее будет сочинена смета, и от каждой ее цифры начнет упорно отбиваться спасенный хозяйственник. Не потому, что он плохой человек, а потому, что все хозяйственники равны между собой в скаредности, когда дело касается государственного целкового. Выдрать эти деньги после оказания помощи иногда труднее, чем выручить терпящего бедствие.

Балуев решил устроить себе «штаб-квартиру» на этом водном переходе.

Прежде чем пустить жильца, хозяин избы Василий Карнаухов осведомился:

— А телевизор у вас имеется? — И упрекнул: — Выходит, вы культурно необеспеченный. — Уведомил строго: — Когда химзаводы строили, в этой самой горнице у меня член-корреспондент Академии наук жил. Так у него целая рота таких, как ты, начальников в подчинении была. А он по утрам мне дрова колол.

— Ладно, — согласился Балуев, — физкультура мне тоже полезна.

— Потом вот чего, — сурово предупредил хозяин, — человек я разговорчивый, и если дешево сдал, так потому, что не все меня терпят.

— Тогда не с меня, а с тебя причитается.

— Если ты умственно осведомленный, что ж, могу от себя пол-литра выставить. Хотя от вина веселье мнимое...

Алюминиевую раскладушку Павел Гаврилович поставил подальше от печки и застлал с солдатской аккуратностью. Вынул из чемодана бритвенный прибор, тапочки, байковую пижаму, технические справочники, поставил на этажерку, рядом с хозяйскими книгами. Задвинул чемодан под койку, и этим завершилось его вселение.

Наблюдая за Балуевым, Карнаухов заметил:

— Видать, ты к скоростной жизни привычный. Сегодня здесь, завтра там. — Осторожно осведомился: — Должностью от семьи оторван или до седых волос в холостом состоянии продержался? — Узнав, что Балуев семейный, сказал уважительно: — Ну, тогда — герой! В мирных условиях по-фронтовому жить может только человек ответственный. — И пояснил: — Есть люди, которые полагают, что жизнь им дана только для собственного удовольствия, а есть — которые себя только в деле помнят. Ну, словом, партийные. — Обрадовался: — Выходит, мы с тобой единомышленники и можем политику обсуждать.

С жильцом-академиком я воздерживался: беспартийный товарищ. Влиял на него помаленьку успехами нашего колхоза, водил, показывал, цифры называл до и после ленинского съезда — так мы для ясности Двадцатый называем. — Спросил, хмуро сощурясь: — А ты понял, чего это значит, что наши девки при всем параде, в новых ботиках по субботам возле вашей стройки стали гулять? — Выждал, улыбнулся снисходительно: — Значит, слаб ты еще на анализы и синтезы. Ежели анализ, то так надо рассуждать: строители всегда кто были? Бездомные люди, сезонники. Придут чуждой оравой, и от них только страх и беспокойство колхозным жителям. А теперь, когда каждый к машине приставлен — все механики. Наш лозунг такой: лови для колхоза кадры, хватай женихов, тащи их в клуб, заманивай культурой. Всех ваших с Доски почета на стройке списали и в клубе рядом со своими вывесили, чтобы нацелиться правильно. Я сам для дочери со стройки химзавода таким манером паренька увел. Теперь живут отдельно. В комбайнеры переквалифицировался.

Балуев не на шутку забеспокоился.

— Вы это бросьте, — сказал он сердито, — молодежь у меня сманивать.

— А это уж не от тебя зависимо, — ухмыльнулся Карнаухов. — Хоть и начальник, а против объективной обстановки не пойдешь.

— А у меня голова приставлена для того, чтобы ею соображать, — ворчливо сказал Балуев. — Смотрел я ваше хозяйство. Видал получше. Соберу ребят, растолкую, какие у вас еще недостатки, ну и плакали ваши девки.

— Силен ты свой интерес держать, — одобрил Карнаухов. — Только если ты нашего колхоза опасаясь, что клеветать на него хочешь, из этого мой синтез и получился. Получшела жизнь к обоюдному совершенствованию. И тут ты против факта, который я тебе сейчас скажу, пешка. Вам кто рабочую площадку радиофицировал? Мы, колхоз, от себя. И это наши девки решили для смеху над вашими ребятами, чтобы не зазнавались. В порядке культурного шефства своими передачами будем обеспечивать. Мы и над химиками уже посмеялись: они на кинопередвижку позвали, а у нас у самих стационар в два аппарата. Как стал их механик части картин заправлять с перерывом, — срам, смех сплошной, ножной топот. — Спросил строго: — Ты с нас какую цену заломил ирригационный канал прокопать? Накладные расходы приписал. А мы тебе своими тракторами лес подвезли. Прикинули: все

равно наша техника поздней осенью простаивает, — взяли дружески, самую малость.

— Мы же вас газифицируем! — мирно сказал Балувев. — В каждой избе газовая плитка. На одних дровах сколько сэкономите! Потом, парники: зимой свежие овощи — миллионный доход.

— А ты вот сюда погляди, — ткнул пальцем в окно Карнаухов, откуда были видны железные мачты электрической магистрали.

— Мы еще прикинем, чем нам дешевле пользоваться. — Похлопал снисходительно по плечу. — Так не думай — благодетель, мол; в пояс кланяться не будем. И насчет парней своих не опасайся: у нас своих механиков комплект, да из армии еще привалют. — Улыбнулся добродушно: — Это я тебя просто задираю, интересно было пощупать, какой ты человек на вкус.

Балуев любил на ночь, перед сном, помудрствовать с Карнауховым на отвлеченные темы.

Карнаухов говорил о себе уважительно:

— Я человек полувековой давности, и всю нашу советскую эпоху наизусть помню, и в душе, как был первый сельский комсомол, таким и остался. К новому меня всегда сразу кидает. Видал, лимоны в квартире выращиваю? А зачем? Склоняю председателя целую теплицу им отвести. Не для дохода, а для агитации возможностей. При наличии средств науки и техники климат во внимание не принимается. Вроде психической атаки лимон должен быть. А то привыкли по погоде урожай мерить, погодой оправдываться.

В свою очередь, Павел Гаврилович предавался размышлениям и говорил, что полено и уголь в качестве материала для топлива — это уже все равно что каменный топор для плотника. Природный газ — вот наша прямая линия. Что, кроме нефтепроводов и газопроводов, ему придется скоро строить продуктопроводы — по ним не только жидкости можно транспортировать: скажем, молоко, растительное масло или фруктовые, овощные соки, — но и все сыпучие продукты. Если делать трубы из стекла особой прочности, то они будут лежать в земле вечно: материал гигиенический, никаким окислениям не поддающийся. Такой трубопровод не только транспортное средство, но одновременно подземное хранилище. Для этого нужно только выкачать из них воздух — и готово! Вроде стеклянной консервной банки длиной в несколько сот километров. Можно также оборудовать трубы такой пневма-

тикой, чтобы в них носились с космической скоростью в безвоздушном пространстве контейнеры с товарами и продукцией. Таким образом весь грузовой транспорт можно засунуть под землю. И все это не будущий коммунизм, а вполне сегодняшнее, технически возможное дело. Если сладить семилетку досрочно, на освобожденный и сэкономленный капитал такие сооружения можно построить очень быстро по всей стране и войти с ними в коммунизм, не ожидая, пока другие сделают это уже при коммунизме.

— Лично я рассчитываю, — говорил Балув, — что мне с этими стеклянными трубами будет морока большая. Что ни говори, все ж таки стекло есть стекло, материал бьющийся, и работать с ним придется особо аккуратно.

Иногда беседы Балуву с Карнауховым приобретали довольно, я бы сказал, странный характер. Балув проявлял особый интерес к тому, что мы попросту называем сплетнями. Он выведывал у Карнаухова, кто из жителей этой деревни считается людьми, подверженными пережиткам капитализма, и в чем именно это у них проявляется. Слушал внимательно, увлеченно, распаляя Карнаухова на роль обличителя. А потом вызвал прораба Фирсова, дал ему список жителей деревни и сказал строго:

— Чтобы у этих, кто галочками отмечен, никто из наших не поселялся. А вот кто крестиками, тут обязательно договорись об углах и койках: люди положительные.

Отличаясь умом практическим, Балув исподволь натолкнул Карнаухова на мысль, что заболоченная пойма — это доход для колхоза.

— Торф — роскошное удобрение. Если район поймы осушить, лучшей земли для овощных культур не придумаешь. Сто тысяч дохода минимум в первый же год.

И тут же заявил, что будто бы только ради интересов колхоза он готов прибавить к колхозным тракторам свои, если колхозники захотят сейчас же, немедленно, проложить осушительные каналы.

Карнаухов, будучи членом правления колхоза, загорелся подсказанной идеей, добился на правлении решения. И в течение двух недель заболоченная пойма была иссечена ирригационными канавами, и почва на ней стала вполне доступной для человека. Колхоз обрел дополнительную земельную площадь под будущие огороды, а Балув без дополнительных, сверх сметы, затрат подсушил рабочую площадку.

Балув никогда не боялся технического риска и всегда

смело шел на него. Даже если произойдут на переходе срывы по техническим причинам, его репутация дерзкого на новое строителя не пострадает. За плечами у него резерв успехов на других переходах. Но он принял на себя моральную ответственность за рабочий коллектив, решивший ради экономии четырех километров труб, для большого хозяйства страны, рискнуть своими премиальными деньгами. Балуев знал: если что случится, он окажется перед своими людьми в неоплатном долгу. А пользоваться кредитом чужого подвига начальнику не положено без отдачи, если он думает оставаться начальником.

Чтобы вознаградить труд рабочих высокой премией, слагающейся из множества показателей, нужно выполнять их все до единого, иначе премия летит. А ведь весь график работ и сроки составлены в расчете на твердые грунты, с обходом болота. Изменить сроки было уже невозможно. Газовая наземная магистраль все ближе и ближе подходила к водной преграде.

Балуев все дни проводил на этом трудном водном переходе, выезжая только ночью на другие участки с тем, чтобы через ночь снова быть уже здесь. Наметив по метеосводке день для протаскивания дюкера — операции, завершающей работу, — большим напряжением всех своих умственных и физических сил он создал такое положение на стройке, когда все плановые показатели прочно обеспечивали коллективу премию. Он стал скареден до того, что вызывал отвращение у своих ближайших помощников. Для работы по изоляции и футеровке трубы он объявил субботник, созвал служащих, шоферов, лаборантов и вместе с ними сам стал к дюкеру. Вечером Балуев вознаградил участников субботника концертом, выпросив артистов у местной филармонии в порядке культурного шефства. Но щедро платил художнику за портреты рационализаторов, которые выставлялись на фанерных щитах лицом к реке, чтобы их созерцали пассажиры пароходов.

Вместо того чтобы тратить деньги на паром для перевозки техники, он сконструировал из труб, заварив их заглушками, стальной плот-понтоп. Водолазов, завершивших работы по прокладке подводной траншеи, он уговорил поднять в свободное время затонувшую в годы войны самоходную баржу и, разрезав ее на куски автогенном, сдал в металлолом. Взялся отремонтировать для местной организации трелевочную лебедку. Продержал ее у себя после ремонта неделю, используя для скреперования траншей. Привез газовые баллоны и горелки и здесь, прямо среди

болота, создал столовую в зимней палатке и теплую душевую комнату. Приволок тракторами передвижные лавки на колесах. Организовал торговлю в кредит высокоценными предметами, заявив представителю торгующей организации:

— Здесь у нас девушки-качалыщицы и те хорошо зарабатывают, народ гарантированный. Одни водолазы могут всю вашу галантерею раскупить. Носят только золотые часы, в сырости другие ржавеют.

Днем болото раскисало, к ночи холод сковывал грязь. Балует установил на рабочей площадке прожекторы, и монтажники смогли стыковать трубы, не увязая в грязи. На свалке обнаружил старые, негодные автомобильные покрышки, привез их на рабочую площадку для того, чтобы отапливать ими котлы с битумом. И вместе с тем проявил расточительство: выделил специальный грузовик с брезентовым верхом, поставил в кузов скамьи и каждый вечер гонял грузовик в город, почти за пятьдесят километров, чтобы рабочие после тяжелого труда в грязи, в болоте могли, принарядившись, провести время, кто как хочет в городе.

— Нельзя, чтобы ребята привыкали к болоту, — говорил он прорабу Фирсову. — Это неправильно, чтобы привыкали. Нужно все время чем только возможно подчеркивать, что люди работают в исключительных условиях. Я сам люблю, когда мне говорят, что моя работа — это не бумажки строчить. Без знания психологии легко подъем людей по мелочишкам растерять. Я им еще триумф устрою, когда протаскивать дюкер начнем: и прессу, и кино, и радио приглашу. По героизму труда мы план обеспечим полностью. Как взглянут на нашу картинную галерею рационализаторов — ахнут. И тексты под каждым готовые подклеим. Надо и печати удобные рабочие условия создать.

Хотя за эти дни Балует сильно похудел, осунулся, глаза его блестели молодо, задорно. Как никогда, он следил за своей внешностью, избегал надевать старенький кожан, резиновые сапоги, армейскую шапку-ушанку. Щеголял, как в городе, всячески стремясь показать, что на болоте он чувствует себя «в полной форме».

Но вместе с тем, оставаясь все время на этом переходе, Балует знал, что лишает себя тех преимуществ, какими он умел пользоваться, заранее отправляясь на следующую трассу с тем, чтобы там провести всю разведку предстоящих работ, еще до окончательного утверждения проекта,

и этим выиграть время. Но сейчас, пока дюкер еще не проташен, он не мог оставить этого перехода и тем самым отнимал у себя отпуск, который теперь ему придется использовать для обследований будущей трассы. Другого выхода не было. Значит, он лишал себя счастья в нынешнем году прожить месяц дома с семьей.

Чтобы выполнить все пункты производственно-финансового плана, люди создавали резервные накопления.

Экипаж земснаряда предложил отказаться от экскаватора при рытье траншеи, а промыть ее с помощью удлиненного шланга. Водолазная группа решила вести размывку подводных траншей таким образом, чтобы грунт из второй траншеи одновременно использовать для засыпки первой, когда труба будет уложена.

Монтажники решили монтировать обе нити трубы одновременно и при опускании в траншею обходиться тремя кранами-трубоукладчиками с тем, чтобы по два бульдозера тросами удерживали их на самом краю траншеи. Для футеровки трубы создали приспособление — сменный обрuch — наборы планок. Раньше шесть футеровщиков давали сто метров, теперь два футеровщика — триста метров.

И как это ни удивительно, такой высокий творческий накал у людей возник оттого, что они убедились, как трудно им работать во впадине, где в болотной испарине даже в стужу не удерживалась тонкая ледяная корка.

За всю его практику Балуюеву не случалось еще вести строительство водного перехода при подобных трудностях. Но странно, все время, пока шли подготовительные работы, он чувствовал себя вроде как лишним. Никто не обращался ни с жалобами, ни за советами. Даже Петухов, всегда строго соблюдавший ритуал ежедневных оперативных докладов, не являлся к нему. Всю ответственность принял на себя и сердился, когда спрашивали: «Есть на это санкция Балуюева?»

— Я над собой сам высокопоставленный! — говорил он обидчиво. — Ну, увяз трубоукладчик по самую стрелу! В нормальных условиях — чепе, обязан доложить. А здесь же нормально, что он увяз. На то каждому башка придана, чтобы соображать, как его из трясины, словно репку, вытянуть!

Механики, машинисты, когда надо было, становились плотниками и сооружали из бревен плоты, на которые ставили машины, и не позволяли нормировщикам записывать им плотницкие работы. Они боялись, что Балуюев

воспользуется этим как фактом, подтверждающим удорожание строительства без обхода. Водолазы в свободное от подводных работ время помогали монтажникам.

Бубнов заявил нормировщику:

— Ты нас не записывай. Наш тариф самый наивысший, грабиловка получится. Мы их тут просто торопим. А за то, что над теменем чистый воздух, а не вода, — мы за это с государства денег не берем. У нас с ним только под водой расчет...

Людам нравилось поддевать Балуева:

— А мы, Павел Гаврилович, здесь все вроде Иисусов стали. Под ногами хлябь, а глядите — не тонем!

— Трубоукладчик-то утопили?

— Да что вы, вон он стоит как новенький. Даже всю грязь шлангом вымыли!

— На плоту стоит. Угробили кубометров двадцать леса!

— Зачем угробили? Мы после бревна разберем, в реке ополощем, распилим, и населению можно на дрова продать, стройке никакого убытка.

— Тросов много рвете!

— Это согласны. Но уже придумали вместо тросов из рельсов отковать вроде вагонной автосцепки и ими вытягивать механизмы, которые заваливаются.

— А что это за будка?

— Сушилка для людей, которые случайно выше пояса в трясину окунутся. Для скоростного переодевания приспособление. И в медицинских целях от простуды очень полезное. А то можно на одних бюллетенях прогореть.

— Много больных уже?

— Так ведь про это как выразиться, прямо-таки эпидемия! От аппетита хворают. Сговорились самостоятельно с колхозом, по древнему обычаю, в складчину артельную пищу готовить. Двух бычков уже скушали, свиней — пять. Рыбку тоже кушаем. Товарищ Бубнов в скафандре на дне омота сомов и налимов острогой бить наловчился. Есть экземпляры выдающиеся. Он электрической лампой рыбу подманивает. Клюет на свет рыбка почище, чем на червяка. Какие возможности техника для рыболовства дает, те и используем. Просто роскошно живем с техникой. Животный инстинкт на еду удовлетворяем полностью. Электрическую плиту сделали: обмотали кирпичи проволокой, включили ток от передвижной электростанции. Действует, как в квартире.

— А пловун траншею топит!

— Топит, тут ничего не скажешь. Но мы так себе позволили: монитор на закачку воды поставили, а земснаряд — обратно на отсос; он пловун вытягивает.

— Все равно пловун давит.

— Давит, а мы с ним боремся!

— А может, его рядом, где-нибудь под землей, целое море?

— С морями тоже люди управляют.

— А за перерасход горючего кто ответит?

— А мы же на экскаваторах да на трубоукладчиках экономию дали, обошлись! С них цифрой и покроем. Ребята с карандашиком подсчитывали. На литры будто все сходится.

— С карандашиком! Неделя осталась до планового срока.

— Это мы в суматохе просчитались. Думали, всего пять дней. Скажите, какая неприятность! Надо пойти ребятам сказать, обрадовать.

Все эти дни Балуюев испытывал радость и даже наслаждение, предвкушая победу, добытую ценой риска и тем, что он пожертвовал собственным авторитетом начальника ради того, чтобы каждый человек ощутил свое начальствование на стройке.

Осень есть осень — сезон, узаконенный для выражения печали, грусти и даже лирических переживаний. Осень — это та пора, когда и очень ответственные работники позволяют себе вдруг прервать служебную беседу, чтобы печальным, отсутствующим взглядом проследить за оконным стеклом парение желтого листа.

Но Павел Гаврилович считал осень и весну (как, впрочем, и все строители) личным для себя несчастьем. Машины тонут в грязи, буксуют, происходит перерасход горючего; приходится класть лежневку, не предусмотренную сметой.

Только одни водолазы относятся к погоде с полным безразличием. Под водой всегда сыро, мокро, дно рек и водоемов всегда в толще тинистой грязи. Ходить по ней по колено или по пояс — не все ли им равно?

Психологи убедительно доказали в своих сочинениях, что погода может оказывать большое влияние на душевное состояние человека. Особо же остро она воздействует на натуры нервные, восприимчивые, обладающие способностью к тончайшим переживаниям. Очевидно, в силу

этого обстоятельства мировая поэзия столь богато насыщена описаниями природы в различные времена года. И вовсе не случайно в произведениях отечественной и иностранной классики наиболее высокие драматические коллизии обычно разворачиваются в сопровождении самых тяжелых метеорологических условий. Душевным бурям, вызванным личными и общественными причинами, грозно аккомпанируют бури в природе.

Для наиболее впечатляющего изображения безысходного состояния человеческого духа из всех сезонов предпочтительнее осень, как официальная, всеми признанная пора увядания, длинных, сивых дождей, когда небо тускло, а от разбухших облаков цвета плесени несет захлаблостью, сыростью, тиной.

Именно такая омерзительная погода — помесь дождя со снегом — властвовала сейчас над трассой строительства магистрального газопровода.

Балуев крайне оскорбительно отзывался о небе и земле, которые в эти дни как бы соприкоснулись меж собой рыхлым, водянистым туманом. Но то, что в пору осени он залез в болото, совсем не отражалось на состоянии его психики. Даже наоборот: Павел Гаврилович выглядел весьма бодрым.

— Обстановка у нас здесь самая лучшая, — потирая руки, говорил Балуев Фирсову. — Это же душевный подъем людей! Им надо пользоваться. Водолазы, они хладнокровные! Их профессия к этому обязывает. А вот вчера является Бубнов вместе со своими водяными, требует: «Давай счеты, прикинем, сколько мы с подводной стороны экономии выдадим». В проекте с учетом береговой крутизны и профиля речного дна обозначены вставки в дюкер труб соответствующей кривизны. Это штука дорогая и осложняющая протаскивание. Так вот, водолазы промыли плавный глубокий выход, прямо-таки подводное ущелье, и никаких кривых теперь не требуется. Бубнов сказал: «Вы, Павел Гаврилович, после того как протащим дюкер из первой траншеи, слейте оставшуюся воду во вторую. Знаете, почему нам кубометр воды при накачке обходится?» Видали, как человек светло мыслит! — ликовал Балуев. — И каждый с таким приходит да еще ругается, если сомневаюсь в целесообразности. Это и должно называться максимально благоприятной обстановкой для работ. И скажи: с чем мы обязаны больше считаться — с хорошим настроением людей или с плохой погодой? — Задумайся.

мался, произнес задумчиво: — Настроение коллектива — это же и есть главный запас скрытых мощностей!

— Все-таки,— возразил Фирсов опасно,— плывет грунт, а плывун — стихия...

19

Виктор Зайцев организовал культпоход в районный центр на лекцию «О моральном облике советского человека».

Всего только четверо ребят откликнулись на его призыв.

Подгорная — потому, что она считала это необходимым для Пеночкиной. Сама же Зина сказала ей:

— Ну что ж, раз я такая, пожалуйста, веди.

Марченко пошел потому, что готов был следовать за Капой куда угодно.

Изольда Безуглова согласилась потому, что Зайцев попросил ее:

— Ты же мой актив, поддержи мероприятие!

Полнотелый широкобедрый мужчина зачитывал вырезки из газет, в которых были запечатлены различные факты, подтверждающие правильность его формулировок. Он сообщил, что какой-то гражданин из Зарайска нашел в кино дамскую сумочку и не присвоил ее, а передал администратору. Милиционер Каралов, увидя, как тонет школьник, не побоялся покинуть свой пост и вытащил мальчишку из воды. Гражданка Исакова взяла на воспитание девочку из детского дома и обращается с ней неплохо. А потом много говорил про воров, которые раскаялись и стали работать, как все люди. Лектор отвечал только на вопросы, которые задавали в письменной форме.

Зина Пеночкина долго писала лектору записку, но у нее все не получалось, и она разорвала записку.

После того как лектор ответил на записки, которые он считал благоразумными, он сам задал присутствующим вопрос: как ближе пройти к Дому приезжих, собрал газетные вырезки в портфель и удалился с озабоченным выражением лица, подрагивая полными, как ягодички младенца, щеками.

Марченко предложил пойти поужинать в столовую-ресторан. Пеночкина воскликнула с отвращением:

— Нет, туда ни за что!

Капа заявила гордо:

— Я матери отослала почти всю получку, а на чужие не желаю питаться.

Изольда предложила:

— Я могу одолжить, пожалуйста.

Зайцев сказал, что на ночь много есть вредно.

— Ты правильник! — рассердился Марченко.

— Просто я считаю, каждый человек обязан продлевать свою жизнь, — сказал Зайцев, — и при коммунизме вполне нормально будет жить до ста пятидесяти.

— Подумаешь! — воскликнула Зина. — Разведут стариков, тоже мне достижение!

— У Гомера, — сухо произнес Зайцев, — есть описание, как старик перепрыгивал через лошадь с помощью копыя.

— Может, он какой-нибудь бывший чемпион был. А конь не настоящий, а пони. Писатели всегда чего-нибудь преувеличивают.

— Классики не искажают фактов.

— Но он же слепой был, как же он это увидел?

— Он ослеп потом и в зрелом возрасте пользовался старым материалом действительности, который запомнил, когда был зрячим.

— Витька! — расхохоталась Пеночкина. — Ты прямо вроде патефона, по голосу с этим лектором одинаковый.

Зайцев обиделся и смолк.

Марченко произнес задумчиво:

— Конечно, рыгучиться вежливости и стать вроде Шпаковского можно. Но разве только с этим в коммунизм принимать будут?

— А ты какой показатель считаешь главным? — поинтересовалась Капа.

— Геройство, — угрюмо объявил Марченко.

— А умереть вовсе не страшно, если это для других надо, — заявила Пеночкина.

— Нет, страшно, — сказала Изольда.

Зайцев испугался за Безуглову и, чтобы пресечь разговор на эту тему, сказал:

— Для меня самый главный показатель — это готовность человека целиком отдать себя служению родине!

— Ты, Витька, всегда так говоришь, будто ты один за Советскую власть! — сердито упрекнул Марченко.

— А мне нравится, когда люди говорят возвышенно, — заступилась Подгорная. — И нечего нам стесняться возвышенного.

— Я считаю, Виктор прав, — вмешалась Изольда. —

Каждый должен гореть на работе, все равно как первый спутник, который сгорел на работе для всего человечества.

— Красиво выражаешься, — подзадорил Марченко. — Вроде Виктора.

— Красиво сказать легче, — тихо произнесла Изольда, — просто говорить — самое трудное.

— А отчего у тебя всегда глаза такие душераздирающие?

— Не знаю.

— Вот! — задорно объявил Марченко. — Смотрю я на тебя и на Капитолину и не знаю, в какую из вас в первую очередь надо влюбиться.

— Можешь с Зайцевым посоветоваться: он среди нас самый умный!

— Ну, пошел молотъ! — рассердился тот.

— А я сейчас одну тайну выдам, — пригрозил Марченко. — Видел тебя с букетом, а потом гляжу, этот же букет у Капочки с Зиной. Стоит он в тухлой воде, весь сгнивший, поскольку хозяйки находились в командировке. Но главная загвоздка — их две, а букет один. А ты человек целеустремленный, кому же букет предназначался персонально?

Капа возмутилась:

— Ну что ты пристал к Виктору!

— Ага, попалась! — торжествующе воскликнул Марченко и спросил Зину: — А ты чего так хохочешь? Ничего тут смешного нет.

— Я смеюсь не потому, что мне весело, — призналась печально Зиночка, — а потому, что ужасно нервная. На все стала реагировать только смехом.

Изольда сняла платок с головы. На ворох ее сверкающих волос стали падать влажные хлопья снега.

— Надень, простудишься, — сказал ей Марченко.

Она обернулась.

— Ты зачем сказал, когда мы сюда шли, что идешь по моим теплым следам, и нарочно плелся сзади, чтобы наступать на них, и говорил, что от этого тебе становится теплее?

— Ну, просто так, — смутился Марченко. — Чтобы веселее было идти.

Изольда произнесла спокойно:

— А я думала, что ты специально для меня придумал так хорошо сказать. А ты, оказывается, просто остроумный товарищ.

Марченко конфузливо замигал и оглянулся на Капу. Она отвернулась.

Прошли березовую рощу, полную белого свечения. Бледные стволы деревьев сверкали в сумерках.

Зина взяла под руку Капу и шла зажмурившись, спотыкаясь.

— Ты что на мне так повисла? — спросила Капа.

— Устала я, — пожаловалась Зина, — так устала, что, пожалуй, зубы не буду на ночь чистить, сразу спать лягу.

Потом долго шли по разможенной трактором проселочной дороге, и окаймлявшие ее столетние корявые дубы сердито рычали на ветер. Черномазые вороны взлетали со скрюченных ветвей.

Снег падал нехотя, осторожно на грязную, мокрую землю. Марченко похвастал:

— Глядите, как у меня на лице снег сразу тает, словно на печке!

— Верно! — изумилась Зиночка и потрогала его лоб. — Да ты же страшно горячий! — воскликнула она.

Марченко оглянулся на Капу.

— Пошел простуженный, а теперь еще жар поддал. Вы, чудaki, зябнете, а мне тепло, даже распахнуться охота.

Зина ухватила его за руки:

— Не смей!

— Ступай сейчас же в медпункт! — приказала Капа. Зайцев предложил:

— Я тебя провожу.

— А как же лекция? — сказал Марченко. — Ведь учили быть вежливым! Девушек оставлять не положено. Надо проводить до помещения. — И лихо сдвинул кепку на затылок.

20

Огромная дамба возвышалась, как крепостная стена. У подножия ее горел ярким, желтым огнем костер.

У костра сидел дежурный моторист, маленький, тощий, с красным носом.

Насосы чавкали вразнобой. Черная плеть полузатопленной газопроводной трубы покоилась на лежаках. В откосе дамбы зияло жерло обсадной трубы; из него свисали большие сосульки.

Моторист сказал, обрадовавшись, что одиночество его нарушено:

— Ты послушай, Витька, мое неудовольствие. Толклись здесь весь день начальники, ходили, как петухи, а придумать ничего не могли. Ушли печально, как Чаплин по дороге, не оглядываясь. Совались в трубу водолазы, но где им просунуться! Ходить среди дремучих водорослей в водяных потемках могут, а здесь — никак. Одна медная манишка почти весь диаметр кроет. А на кой черт они сдались, водолазы, когда воды в трубе только наполовину! Сыскали бы лучше малогабаритного человека, пообещали б рублей тысячу. Может, какой-нибудь отчаянный и нашелся. И запустили бы его в трубу. Я сам лазить пробовал, но духотища в ней. Еле задним ходом обратно подался.

— А далеко долез? — спросил Марченко.

— Метров десять, не менее. — Сняв шапку, моторист показал темя. — Чуть башку не расшиб, но ничего, обошлось. Волос у меня крепкий, толстый, у других такой только на усы идет. И мокро, конечно, в трубе. Балую приказал водолазного спирта выдать. Выпил разведенного собственной слезой, сразу отогрелся.

Марченко скинул пальто и приказал мотористу:

— А ну, поддержи! — и шагнул к трубе.

Моторист, держа пальто в охапке, радостно объявил:

— Это правильно, ты можешь: ты отчаянный и холостой пока! — Обращаясь к девушкам, спросил: — Верно я говорю, девчата, что он в краткосрочном холостом положении? — Потом сказал озабоченно: — Тут без геройства не обойтись. Радио погоду заявило на понижение. Если до завтра сквозь трубу не пролезть, то потом из орудия лед не пробить — вода к утру вся закаменеет! Насосы-андижанцы взять всю воду не смогут. Одно слово — дрыгалки, хлюп-хлюп, а ее тут целый потоп.

Зайцев подошел к жерлу обсадной трубы, сказал решительно:

— Василий, ты простужен, тебе лезть нецелесообразно.

Марченко хотел оттолкнуть Зайцева, но вступился механик.

— Раз бюллетенишь, не суйся. — И тут же объяснил: — По роже вижу, без градусника: тридцать восемь, не меньше. Я здесь за главного оставлен. Не разрешаю, и конец обсуждению! — Набросив пальто на плечи Марченко, приказал: — Надевай в рукава, застегивай все пуговицы и ступай отсюда! А будешь скандалить, позову рабочих, мы тебя коллективно сопроводим к начальнику. —

Потом внимательно оглядел Зайцева, сказал: — А ты по телосложению даже малогабаритней его, если здоровье и совесть позволяют, я не возражаю.

— Спасибо, — сказал Зайцев и стал раздеваться.

Увидев на вельветовой курточке Зайцева множество «молний», моторист спросил подозрительно:

— Может, ты, только чтоб перед девушками покрасоваться, в трубу лезть хочешь? Если из-за этого, то тоже не допущу.

Зайцев действительно думал сейчас об Изольде. Он с ней одинакового роста, только копна волос делала ее выше. Но ему казалось, даже когда ее глаза были на уровне его глаз, что она все равно выше. Встречая Изольду, он всегда разговаривал с ней официальным тоном, чувствуя, однако, что не имеет права изображать перед Изольдой руководителя. Ему приходили на память слова Балуева: «Начальников назначают, а руководителей избирают. Чем ближе мы будем подходить к коммунизму, тем меньше станет начальников и больше руководителей. Руководитель — это человек, который превосходит других не только знаниями, но и драгоценными душевными качествами».

Это правда: Зайцев решил полезть в трубу, потому что здесь была Изольда. Но он сказал мотористу строго:

— Я комсорг. Понятно? И беру на себя полную ответственность.

— Ну, тогда конечно, полезай, — согласился моторист и попросил: — Обожди, я народ крикну: надо этот факт обставить торжественно, пускай другие на примере тоже воспитываются.

Моторист вернулся с двумя рабочими, сказал им внушительно, кивая на Зайцева:

— Вот комсомол в трубу полезет. Вы там в тепляке грелись, а он за всех нас решился. — Предложил: — Давайте поприветствуем товарища. — И стал хлопать в ладоши.

Один рабочий снял брезентовые рукавицы, другой аплодировал в рукавицах.

— А теперь, — деловито произнес моторист, — подавай трос.

Рабочие приволокли от лебедки жирный, скрученный из тонких стальных нитей трос. Дали конец мотористу. Моторист примерил на Виктора петлю и конец из растрепавшихся острых проволоочек обмотал снятым с шеи платком. Объяснил:

— Это чтобы об острые концы зря не пораниться. — Накинул петлю косо через плечо Зайцева. Оглядел с ног до

головы, сказал: — Галоши не снимай. Резина лучше цепляется; когда ползти в трубе будешь, удобнее ногами отталкиваться. Ну, давай пять, как говорится, счастливого пути! — И пожал руку.

Рабочие тоже пожали Зайцеву руку.

Марченко сказал хмуро:

— Зря ты, Витька, я все равно тебя ловчее.

Капитолина, крепко сжимая пальцы, прошептала:

— Я тебя очень уважаю, Виктор, очень!

Зина воскликнула с отчаянием:

— Ты вылезай скорее! Я буду очень за тебя переживать!

Изольда спросила тихо:

— А ты там в ней не задохнешься? Может, противогаз надо?

Виктор сказал громко и молодцевато:

— Ну, привет! Встречаемся с другой стороны дамбы!

— Послушайте! — обратилась Изольда к мотористу. — А если он там начнет задыхаться?

— Помереть окончательно не дадим, — сказал моторист. — Вытащим на тросе, как пробку. — И пояснил угрюмо: — Когда я струсил дальше лезть, меня обратно тросом волокли. Как говорится, опыт уже накоплен.

Зайцев опустил ся на колени перед обледеневшим жерлом обсадной трубы и сунул в затхлый мрак голову.

Остальные выстроились в линию, держа трос в руках, чтобы подтягивать его, когда Виктор начнет ползти в трубе.

Моторист дал Зайцеву карманный электрический фонарь, объявил:

— Если плохо станет или на ледяной настывь наткнешься, через который нельзя проползти, — мигай, сразу обратно потянем. И если струсишь, — тоже мигай, не бойся. Тут не я один, многие совались, и у всех не вышло. Значит, ничего особенного нет, если у человека душа замирает. Понимать надо, — произнес строго: — Это же не война, мирное дело, самопожертвования тут не требуется. Так что не дури, не упрямствуй. — Спросил: — Спиртного для бодрости и согревания не примешь?

— Нет, — сказал Виктор.

— Ну, тогда валяй! — И моторист отдал Зайцеву свои брезентовые рукавицы.

В это время по дамбе катился длинный товарный железнодорожный состав. Уже наполовину лежа в трубе, Зайцев ощутил глухое колебание почвы, и труба наполни-

лась тугим грохотом колес. От этого звука она, казалось, стала еще более тесной и угрюмой. «Как в длинную могилу лезу,— подумал, ужасаясь, Зайцев,— в узкую, бесконечную могилу». И чтобы взбодрить себя, продекламировал громко:

— «Труп, который останется после тебя,— это не ты, а дерьмо!»

— Ты чего? — спросил обеспокоенно моторист.

— Американский поэт Уитмен,— объяснил Зайцев,— его слова.

— Нельзя о покойниках говорить без уважения,— вроде как обиделся моторист. Сказал грустно: — Я на фронте твердым был. А выходит, мой нерв здесь слабее оказался. На фронте, не мигая, в атаку бегал, а тут зажмурился и пошел задним ходом. Ну, валяй-валяй, исправляй положение в создавшейся ситуации!

Зайцев с трудом протиснулся сквозь обледеневший вывод трубы. Моторист, держа за ноги, толкал его. Дальше толща обледенелости была меньше, и только вода хлюпала под грудью и животом, одежда намокала и тяжелела.

Зайцев полз, отталкиваясь локтями, ногами, и галоши скользили по ледяной коросте, покрывающей стенки трубы.

Труба гудела, в ней роились мрачные бормочущие звуки.

Когда наверху, грохоча стальными жерновами бесчисленных колес, катился железнодорожный состав из металлических вагонов и безмерная тяжесть его давила на грузный хребет дамбы, казалось, вот-вот расплющится обсадная труба-патрон, пронизавшая тело земли.

Повинуясь этому ощущению, ребята невольно бросились к круглой железной норе.

Труба грозно, басово гудела, как бы всосав в себя весь гул мчащегося поезда.

Состав уже бесшумно исчезал в сивом тумане, а труба продолжала взволнованно рычать, словно через мощный репродуктор воспроизводили звук мчащегося поезда, записанный на магнитофоне.

Сидя на корточках возле разверстого жерла, ребята ждали, пока из трубы вытекут заполнившие ее звуки.

Марченко крикнул в отверстие трубы:

— Виктор!

Труба ответила гулко:

— Чего тебе?

— Ну, как ты там?

— Маленько озяб,— протрубил голос Виктора.
— А сам как?
— Сам ничего, ползу помаленьку.
— Не сильно жмет?
— Тесно вначале! Где труба наружу выходит, там промерзла! Под дамбой она еще теплая, только воды много!

Пал липучий снег. Низкое, заваленное сырыми, толстыми тучами небо тоже давило на дамбу своей тяжестью. Насосы громко хлебали воду. Моторист включил дизели на полные обороты, озабоченно замерил уровень воды хвостриной.

Ребята, выстроившись в ряд, подтягивали трос, медленно сматывая его с железной катушки лебедки.

И когда он, изгибаясь, вдруг упирался в невидимое препятствие, все тревожно замирали. Моторист шагал к жерлу трубы, залезал туда и кричал. Труба все тише и долговзвучнее отвечала слабеющим голосом Зайцева.

Вернувшись, моторист объявил:

— Скоро шестнадцатидюймовой глотки не хватит, чтобы с ним разговаривать. Шуршит голос, а смысла слов уже нет, далеко пролез, значит... Я же вам приказывал: тяните! Трос ему с каждым метром все тяжелее становится. Вы его пикой суйте, облегчайте человеку продвижение.

Капа посоветовала Зине:

— Ты бы пошла погрелась у костра, а то лицо у тебя совсем ультрафиолетовое.

Зина ответила деловито:

— Ты сначала ступай, а я потом, перед тем как Витя снова появится. А то опять засинею. И ему вовсе на меня смотреть будет противно.— Произнесла мечтательно: — Я в него сейчас так страшно влюбилась, что все поджильки трясутся!

— Ну, подумай, что ты городишь? Зайцев в таком положении, а ты глупости порешь!

— Я просто очень откровенная,— сказала кротко Зина,— а то, что мои чувства без всякой надежды, это же вполне ясно.

Долговязый рабочий, тот, который аплодировал Зайцеву, не снимая рукавиц, вдруг сказал Изольде:

— А ты бы не глядела на меня, как на гада, что не я в трубу полез, когда при ней состою. Я лазил, но сердце зашлось. Меня во время войны в блиндаже завалило. Просунул сквозь землю ствол винтовки, вынул затвор,

двое суток через винтовку дышал, пока выкопали. В трубе снова, как тогда, все пережил, ну, и не смог.

— Я про вас ничего такого не думала. Должно быть, у меня глаза какие-то нехорошие. Я просто смотрю, а людям часто кажется что-то обидное.

— Вы извините, — вмешался маленький курчавый рабочий, — но Егоров правильно вас информировал. И я тоже считаю долгом про себя сказать: под Вильнюсом жил восемь месяцев в земле, в катакомбах. Это был сплошной ужас. Я свою дочь и жену там, в земле, под землей похоронил. И я тоже лазил в трубу, содрогался и лез. Но вы же понимаете, что такое душевная травма! Война — это такая сволочь! Стоит перед вами нормальный человек, а он травмированный. А вы знаете, сколько таких?

— Знаю, — прошептала Изольда и отвернулась, чтобы не сказать. Но, не удержавшись, все же сказала громко: — Я вот от немца родилась. — Она зачерпнула снег, вытерла им лицо и спросила еле слышно: — Вот какая я, понятно?

— Ну, это вы извините! — возмутился курчавый. — Никакая вы не такая. Вы просто хороший советский человек. И совершенно неправильно, когда хотите внушить окружающим о себе что-то такое особенное. Ну и что? Надо себя мучить? — сказал он с укоризной. — Не всякая правда есть правда. При чем здесь вы? Ни при чем. При чем мы все? Ни при чем. Повторяю: война — сволочь! И каждый согласится, что она сволочь.

— Это ты правильно, Матвей, — поддержал долговязый. — Если каждый из нас начнет из своего горя от войны веревочку всю жизнь вить, опутаешь душу и не выпрямишься. — Спросил Изольду: — Вы как, сыр плавленый признаете? Отведайте. У меня его целая коробка. Купил, упаковка поправилась. Попробовал — вроде мыла. Поешьте. Ползти парню долго, зачем же патошак ждать?

— Спасибо, — сказала Изольда, — я очень люблю плавленый сыр, очень!

— А глаза у вас сногшибательные! — сказал Изольде курчавый и подмигнул в сторону трубы. — Гарантирую, что этому парню они там в темноте, как фонари, светят. Вы же, конечно, заметили, как он именно на вас в последнюю секунду оглядывался?

— Вы веселый! — улыбнулась Изольда.

— Именно, — согласился курчавый, — природный юмор. Зачем отказываться, если можно доставить людям удовольствие?

Виктор Зайцев все сильнее ощущал тяжесть троса, тяжесть промокшей одежды, задыхаясь в промозглой, едкой духоте, продвигался уже не ползком, а корчась всем телом. Ободрал рукавицы, порвал штаны на коленях о выступы накладных колец. Потерял галоши, ботинки тоже ободрались о выступы.

Он разбил о шершавый свод лоб. Кровь, стекая, склеивала глаза. Но все равно здесь ничего нельзя было разглядеть, в этой тьме. Он чувствовал себя всего замкнутым, стиснутым в стальной бесконечной дудке. От удушья тошнило, кружилась голова. Временами казалось, будто труба начинает вращаться и он вращается вместе с нею. Тело стыло в мокрой одежде, лицо покрывалось холодным потом. Скрежет троса о стены трубы, зловеще усиленный эхом, чудился грохотом обвала.

Был момент, когда Зайцев вдруг стал быстро пятиться и пятился до тех пор, пока свившийся в спираль трос не остановил его. Виктор ужаснулся сначала оттого, что оказался закупоренным в трубе, и только потом, когда сознание медленно вернулось, панически испугался, поняв, что он только что хотел сделать... Тогда он лег и лежал, вытянувшись, отдыхая, глушил стук сердца, больно отдававшийся в висках.

Чтобы не было так страшно думать о смерти, он стал думать вслух. Слушая свои слова, грозно усиленные эхом, разговаривал уже с ними, с этими оторванными от себя словами.

— Мне больно дышать! — жаловался один Зайцев.

— Может, тебе вентилятор поставить? — издевался другой Зайцев.

— Сбросить петлю и ползти обратно, ведь нет же больше сил.

— Первое, что увидят, это твою мокрую задницу, и ты ею вывалишься из трубы на землю!

— Стоит лечь на спину, положить на грудь фонарь, помигать — и тебя вытянут тросом обратно. Выползешь на спине ногами вперед. Скажешь честно: «Не смог».

А мама ползла с обеспамятевшим раненым отцом! Потом, когда сама обеспамятела, ее нес отец... И она лежала на нем вздутым животом, где, скорчившись, как сейчас, был уже ты... будущий Виктор Зайцев. Они ползли через болото. Шлепали пули. А в партизанской базе фашисты добивали раненых. Болото было покрыто хрупким черным

льдом, и они проваливались в этот лед. И всё ползли. Отец приказал: «Ползи, ты же скинуть можешь, а я отлежусь, отдохну и поползу за вами». Будто мать уже была не одна. А она сказала: «Что же я потом скажу, если ребенок вырастет? Бросила отца умирать, да? Я не хочу, чтобы он меня презирал».

Они, полуживые, спорили, как отнесется к ним их будущий ребенок, став взрослым. И снова ползли, поочередно волоча друг друга. Про это ему рассказывала мать. Рассказывал и отец, когда матери не стало. «Она родила тебя еще здоровой, а потом ее от простуды скрутило. От боли полупомешанной делалась. Кололи ее каждый день. А потом и уколы не действовали, так ее сводило всю. Гладил я ее утюгом через шерстяную шаль. Сутками синим светом прогревал, а она все мучилась и даже кричать уставала». И просил: «Ты прости меня, Виктор, я с ней очень замучился, но никогда виду не подавал. Сколько лет вроде домработницы при вас был. На пенсию жили. А я же здоровый человек. И от всего отошел. Можешь ты понять меня?»

Но Виктор все-таки не мог простить отцу и даже перестал называть его отцом.

И теперь, замкнутый в трубе, обессиленный, он впервые за два года громко и нежно сказал:

— Папа, папочка! — И совсем по-детски: — Я больше не буду так с тобой, папочка! Я сегодня же у тебя письмом прощения попрошу. Сегодня же, сразу, как вылезу, сразу напишу!

И он стал быстро двигаться по трубе, цепляясь за стены всем телом, волоча за собой тяжелеющий трос.

Когда Виктор лежал, вытянувшись, не зная, что он делает — отдыхает или уже сдался, трос недвижимо свисал из жерла трубы.

По эту сторону дамбы остались двое рабочих, Пеночкина и Подгорная.

Моторист, Марченко и Безуглова перебрались на противоположную сторону дамбы.

Снегопад прекратился. Стало сухо в воздухе. Раскрылось чистое, твердое, сияющее небо.

Моторист сказал встревоженно:

— Боюсь, труба на выходе промерзла, и тогда парню не выкарабкаться. Надо выход прочистить.

Взяв скапель и кувалду с короткой ручкой, он стал карабкаться на откос. Марченко и Изольда молча последовали за ним.

Моторист оказался прав. Выходящая из-под дамбы обсадная труба промерзла.

Сначала лед отбивал моторист, потом Марченко, потом Изольда. Они все дальше углублялись в трубу. Обвязавшись веревкой, выволакивали поочередно друг друга, когда от усталости рука уже не подымала кувалду.

Трос обессиленно и неподвижно свисал из трубы, и из нее не доносилось ни звука, как ни кричала в жерло, доходя до полного иступления, Пеночкина.

Зина сбросила на землю пальтишко. Оставшись в одном легком платье, она решительно полезла в трубу. На мгновение оглянувшись, крикнула:

— Я только погляжу, что с Витей, и сейчас же обратно! — и скрылась в темном зеве.

Курчавый рабочий, который стоял ближе к трубе, кинулся в ее жерло. Он что-то кричал оттуда, но что, понять было нельзя.

Долговязый рабочий успел схватить Капу Подгорную, заломил ей за спину руки, когда она стала отбиваться погами. Он только просил:

— Вы по колену не бейте, оно у меня разбитое, срослось кое-как. Не ломайте, а то снова охромею.

— Пустите! — молила Капа.

— Нет, не получится. И так начинка в трубе — дальше некуда. Натворили делов! А все почему? Это же геройство как зараза... — Попросил: — Вы будьте умная, и я вас отпущу. Бегите к Балуеву, информируйте про чепе. Надо людей спасать. Они же теперь только трубу собой закупоривают, друг дружку душат. Паренек-то сквозняком дышал. Бегите, скажите: прямо беда.

На объединенном техническом совещании «трассовиков» с «подводниками» было решено протащить трос через обсадную трубу с помощью компрессора. Засадить в трубу деревянный пыж соответствующего диаметра, прикрепить к нему конец троса и продуть трубу сжатым воздухом, как это делают, прогоняя через газопроводные плети металлический ерш для очистки их от мусора.

И вот, когда решение было найдено, в контору ворвалась Подгорная и сообщила, что в обсадной трубе погибают люди.

За многие годы Павел Гаврилович Балуев выработал у себя защитный рефлекс. В самые критические, грозные минуты он мгновенно обретал невозмутимое, пожалуй,

какое-то ленивое, равнодушное спокойствие, зная, что нет ничего опаснее горячей суетливости.

Снисходительно улыбаясь, он попросил Подгорную успокоиться. Одеваясь, расспрашивал, вполголоса отдавал приказания и даже успел похвастать начальнику СМУ-8 Жаркову:

— Видал, какие у меня орлы!

Но шоферу приказал:

— Саша, включай реактивную скорость, беда у нас: люди гибнут!

«Газик» мчался, будто им выстрелили.

В машине Балуев снял ботинки и натянул сапоги, которые у него всегда хранились здесь, завернутые в брезентовый балахон вместе с батоном и банкой консервов.

Балуев помнил все несчастные случаи, которые когда-либо происходили с людьми на строительствах.

В прежние годы чаще всего причиной их было равнодушие к технике. Но война научила сноровистому, неутомимому вниманию. Солдатское бесстрашие — это, в сущности, мудрое умение ни на секунду не утрачивать вдумчивой, спокойной осмотрительности. Молодежь, которая приходила сейчас на стройку, была воспитана на глубоко уважительном отношении к механизмам. Но что для хозяйственника являлось поистине опасностью — это отважная героика в труде. Предотвратить ее почти невозможно, тут не помогают никакие самые суровые правила техники безопасности. Предусмотреть и предотвратить такой героизм — задача непосильная даже для самых маститых и высокомудрых начальников строителей, прославленных высоким мастерством организаторского искусства.

Хозяйственники не любят, когда на их объектах обнаруживаются факты героизма. Они считают: если потребовался героизм, значит, я что-то просмотрел, недоучел, недодумал.

Но педаром в строительстве существует термин «фронт работ». Это не только топографическое понятие. Оно проникнуто духом борьбы, музыка его звучит мажорным, волнующим боевым маршем. И как ни лукавят некоторые хозяйственники, как ни отрекаются, как ни уверяют, что героизм — это случайность, форс-мажор, чепе, порожденные непредусмотрительностью администрации, — дерзость, отвага берут над ними верх.

Хозяйственники частенько и сами бросаются очертя голову навстречу опасности.

То же случилось с Балусвым. Он твердо решил сам лезть в трубу, чтобы вытащить оттуда потерпевших. У него уже был опыт: в Сталинграде он, пробираясь по подземным канализационным коммуникациям, подрывал доты врага.

Обернувшись к водолазу Кочеткову, Балусв сказал:

— Я лезу первым, а ты сзади будешь мне светить фонарем.

Водолаз промолчал, потом сказал загадочно:

— Ладно, там на месте будет виднее, кто кому откуда светить будет.

Выскочив на ходу из машины, Балусв бросился к трубе.

На земле лежала бледная, в изодранном в клочья платье Зина Пеночкина. Курчавый, сидя подле нее, оттирал снегом свои исцарапанные в кровь руки.

Долговязый рабочий сказал угрюмо:

— Я его за ноги волок, а он за ее ноги держался, так и отбуксировал. Спасибо, не далеко пролезли, а то бы не вытащил.

Очнувшись, Пеночкина старалась стыдливо прикрыть себя руками. Она вся скорчилась, голубые трикотажные трусики были разодраны на боку, и она пыталась натянуть на колени обрывки юбки.

Балусв снял пальто, поднял Пеночкину, завернул в пальто и понес в машину. Когда он нес ее, просыпались на землю розовые бусы.

Водолаз Кочетков разделся и, оставшись в одном шерстяном водолазном белье, уже бодро шагал к трубе. Но долговязый рабочий остановил его:

— Ты обожди, не суйся без ума. По тросу видать: парень уже много прошел, с той стороны путь к нему короче.

Водолаз молча полез на откос дамбы. Рабочий крикнул ему насмешливо:

— Ходите там, среди дремучих водорослей, в сырых потемках, как водяные цари, а в трубу слазить побрезговали. Да ежели бы она даже канализационная была, раз стройке надо,— забудь, что водяной, лезь, и все.— Пригрозил: — Подожди, я вас на собрании обнаружу. Ты мое лицо запомни, я человек твердый.— И тоже полез на дамбу.

Балусв карабкался вслед за ними...

Подгорная, обняв Пеночкину, уехала с ней в медпункт. Зина говорила возбужденно:

— Все мое оборудование пропало. Бусы порвались, клипсы потеряла. Один клипс всю щеку разодрал. — Сказала: — В медпункте сразу потребую лекарство для бесчувствия от боли. — Наклонясь над зеркальцем, недовольно оглядела свое лицо. — Ну и рожа! Глядеть страшно.

В медпункте выяснилось, что, кроме других повреждений, у Зины сломан нос. Она молила в отчаянии:

— Доктор, пожалуйста, он ведь не только для того, чтобы им нюхать! Это же главное украшение лица!

— Слушайте, — попросил доктор, — давайте так: плакать будем тихо, а смеяться громко.

Зина спросила доверчиво:

— Значит, нос у меня по-старому останется?

— Вполне, — заверил медик.

Лежа на раскладушке в медпункте с забинтованным лицом, уже успокоившись, Зина доверительно говорила:

— Знаешь, Капа, есть я очень хочу. Когда от переживаний стала тощая, аппетит прибавился. Сейчас я бы всю жизнь могла питаться одной любительской колбасой и ситро.

— Ну о чем? О чем ты говоришь? — возмутилась Подгорная.

Глаза Зины стали испуганными, она простонала в отчаянии:

— Ну, Капочка, только не расстраивайся. Могу же я одна на всех быть глупая!

Подгорная обстоятельно расспросила врача о здоровье Зины. Узнав, что той ничто не угрожает, на всякий случай предупредила:

— Товарищ Пеночкина совершила подвиг, она спасала человека в обсадной трубе.

— Скажите! — удивился врач. — А на вид пичужка!

Когда Подгорная уходила, Зина сказала жалобно:

— Я ведь, Капочка, никаких мучений не люблю: ни физических, ни нравственных. А почему-то мне всегда достается. — Спросила испуганно: — Ты не знаешь, меня резать не будет доктор? Или, может, у меня мозг сотрясенный? Знаешь, как сильно за ноги тащили!

— Спи, — сказала Капа, — спи. Завтра тебя уже домой отпустят.

Пеночкина притянула подругу к себе за шею и попросила тихонько:

— Я бы очень хотела, чтобы Витя меня навестил, чтобы он увидел, как я здесь лежу пострадавшая, забинтованная. Он ведь меня всегда чернил, а я его всегда бе-

лила. — И тем же шепотом: — Или, может, Вася Марченко навестит? Он тоже хороший.

Капа сокрушенно вздохнула и закрыла за собой фанерную крашеную дверь с плакатом на наружной стороне — жирный желтый младенец с самодовольным лицом важно восседал на белых весах.

Капа невзначай подумала:

«Если у меня когда-нибудь будет ребеночек, я обязательно куплю вот такие же эмалированные красивые весы и буду взвешивать его каждый день».

...Съехав на спине с дамбы, Балугев, прихрамывая, побежал к выходной плети обсадной трубы.

Моторист и Марченко, положив на плечи трос, вытягивали его из трубы.

Рядом в рифленой железной, стоящей торцом бочке дымным столбом горел солидол.

Виктор Зайцев в лохмотьях черной, влажной, источающей пар одежды поворачивался к огню то спиной, то боком. Жирная копоть уже успела покрыть его лицо, и только белки сверкали перламутром.

Изольда подошла к Зайцеву и вдруг поцеловала его. Зайцев сказал ошеломленно:

— Я же грязный! Ты же испачкаешься!

Марченко, увидев Балугева, бросил трос, доложил:

— Порядочек, товарищ начальник! Можно плетъ в обсадную трубу протягивать, согласно отстающему расписанию «трассовиков».

— А вам кто разрешил?! — закричал вдруг Балугев, испытывая пьянящее ощущение переполнявшего его сейчас счастья. — Безобразие! — Он сам с удивлением слушал свой зычный, начальнический голос. Но не в силах удержаться, топнул ногой и снова крикнул: — Я спрашиваю, кто разрешил?

Подошел вразвалку моторист. Вытирая ладони о штаны, сказал:

— Привет Павлу Гавриловичу! Меня обсудить надо, я допустил... — и улыбнулся, — такое безобразие.

Балугев притянул моториста, потряс за плечи, потом обнял Марченко и Зайцева.

— Витенька, — сказал Балугев, — дорогой ты мой человечиска!

Он тискал и прижимал к себе Зайцева, гладил его по голове, сбивчиво шептал нежные слова. Потом отвел от пылающей бочки и вдруг заявил непреклонно:

— А отцу твоему я сейчас же телеграмму, понятно?

— Я папе сам по телефону позвоню, — сказал Зайцев тоже шепотом.

— Вот это, Виктор, будет по-человечески... Настоящее решение.

Подошли тракторы «трассовиков», чтобы протянуть газопроводную плетть сквозь обсадную трубу.

По приказанию начальника строительно-монтажного участка Жаркова на обеих сторонах дамбы уже были вкопаны столбы с фанерными дощечками. На них торжественные надписи: «СМУ-8».

Балуев, оглядевшись, произнес печально:

— Подперли нас «трассовики». Вставили нам фитиль нашими же руками.

Уже вступил в действие пережиток производственной ревности. Терзаясь ею, Балуев думал сейчас только о том, как можно опустить с высоких и рыхлых песчаных откосов траншеи дюкер, чтобы обойтись своими трубоукладчиками, а не «одадживать» их у «трассовиков», которые, конечно, «пойдут навстречу» и даже с удовольствием, но пришлют потом счет с графой «Накладные расходы».

Жарков любил рекомендовать себя такими гордыми словами: «В экономических вопросах я тигр. Никого не щажу».

Как всякий добрый и мягкий человек, он проявлял иногда даже излишнюю скаредность, когда дело касалось государственных средств. Но в данном случае он решил быть щедрым. Подойдя к Балуеву, великодушно предложил:

— Дай список своих ребят. Представлю к денежной премии из своего директорского фонда.

— Сами не нищие, — сказал, недовольно морщась, Балуев. — Ты к чужой славе не подлаживайся, моих орлов я сам награжу. Присутствовать — приходи, пожалуйста. Можешь даже в ладоши похлопать. — И добавил: — Из толпы, конечно.

Пошли к машине. Впереди шагали Балуев и Зайцев. Безуглова шла чуть позади, стараясь своей тенью касаться Виктора.

Моторист, провожая Марченко, говорил, кивая на Изольду:

— А она девка неудержимая! Не хуже шахтера в трубе лед вырубала. А я думал: маникюр, куда ей.

Марченко молчал. У него болело все тело. Было мутно в глазах, сухо во рту.

Он сказал раздраженно, для того чтобы хоть что-нибудь сказать и отвязаться от моториста:

— Два года стыки на трубах варю, а в первый раз как следует внутри облазил.

— Это верно, — вздохнул моторист, — неуютное помещение. А на кой вы столько обручей внутри ее засаживаете, пошкрывались об них все до крови.

— Без подкладного кольца стык не сварить.

— А я думал, для особой прочности, — сказал моторист. — Так это, выходит, только из-за вас, сварщиков, столько металла зря натыкано!

— Из-за нас, — покорно согласился Марченко, думая совсем о другом: почему это Изольда ни разу не оглянулась на него. Он шагнул к ней, взял бережно за локоть и спросил, заглядывая в лицо:

— А здорово мы все-таки Витьку из трубы извергли. Ведь это ты до него первая долезла и, как утопленника, за волосы тянула.

Губы у Изольды были строго сжаты. Марченко подумал: «Если она когда-нибудь поцелует человека, то все равно сурово сжатыми губами. Такие же суровые губы у Подгорной. А вот у Пеночкиной они добрые, мягкие». И он вспомнил, как Зина сказала ему однажды: «Я, Вася, никаких мучений не люблю: ни физических, ни нравственных, и на собрании я про себя рассказала не потому, что очень принципиальная, а потому, что не умею одна, сама с собой мучиться...»

Изольда сказала мотористу:

— Я вашу спецовку дома постираю и принесу.

Моторист галантно заявил:

— Мне после вас ее надевать — одно сплошное удовольствие.

Изольда обратилась к Марченко:

— Так ты не забудь Зину навестить в медпункте. Ты и не знаешь, какая она хорошая.

Марченко кивнул головой и ничего не ответил. Ему было очень плохо, от жара тошнило, и перед глазами все расплывалось.

Сварщик-потолочник Борис Шпаковский, белобрысый, статный, с голубыми надменными, алюминиевого отблеска глазами, за свое высокомерие получил от девушек-радио-

графисток прозвище «Граф Шпаковский». Он обладал личным клеймом сварщика, на котором, как на старинном фамильном перстне, были вырезаны его инициалы. На работу являлся в синей, всегда выглаженной спецовке с множеством карманов, прошитых двойной стежкой белых ниток.

Профессиональное тщеславие и гордость у Шпаковского были развиты непомерно.

Он переписывался с академиком Патонем, считая, что делает этим ему большое одолжение. Подобно тому как литераторы, пишущие ручкой, подозрительно относятся к тем, кто отстукивает свои сочинения на машинке, Шпаковский, будучи «ручным» сварщиком, пренебрегал теми, кто работает на автоматах.

У каждого мастера-потолочника есть свой собственный огненный каллиграфический почерк. По этому почерку, застывшему в металле, сварщики безошибочно узнают друг друга.

Образцы почерков древних восточных каллиграфов вывешиваются в музеях. Ими восхищаются, перед ними благоговейт, им посвящены монографии, тяжелые, как надгробные плиты.

Стрекоза, подобно вертолету, может легко поднять тростинку кисти для китайской письменности. Мастер-каллиграф берет кисть за верхний ее конец и со снайперской точностью безусловным движением кладет на бумагу изображение иероглифа — изящное и прихотливое, почти живое, как цветок океанской водоросли. Я видел, как они это делают, и замирал от восторга и изумления.

Держатель электродов весит почти полкило, металлический стержень электрода, прочно покрытый обмазкой, куда длиннее кисти для письма. Солнечные капли расплавленного металла, белое едкое зарево электродуги ослепительны, как пламя прожектора, бьющее прямо в лицо.

Перед тем как приступить к написанию шедевра, каллиграф моет руки и трет их пемзой, чтобы лучше осязать тростинку кисти, и сидит с закрытыми глазами, чтобы дать им отдых. Он надевает легкую одежду, чтобы ничто не отягощало свободы его движений. Сварщик работает в брезентовой куртке и в брезентовых рукавицах. Жгучий вихрь, начиненный огненными искрами, с шипением крохотного фонтана рождается в его руках.

Каллиграфы берегут свои драгоценные глаза и работают обычно на заре или при заходе солнца. Даже легкое

парение комнатного воздуха может поколебать движение их кисти... Каллиграф может оторвать свою кисть от бумаги, чтобы окинуть сделанное оценивающим взглядом, прежде чем продолжать труд с новым вдохновением. Если рука его дрогнет, он соскоблит с бумаги след неверного движения или даже возьмет новый лист, и никто не упрекнет его за измаранный.

У сварщика все по-другому. Огненная строка его не должна остынуть ни на долю мгновения, пока он не завершит ее всю. Одно неверное движение, незримый глазу брак — трагедия, жертвой которой может стать труд многих тысяч людей.

Созданное каллиграфами, благоговейно сдерживая дыхание, изучают эксперты, вооруженные увеличительными стеклами. Сделанное сварщиком изучают с помощью изотопов, магнитографических и ультразвуковых установок. В лабораториях-летучках изощренно истязают сварной шов, подвергают пыткам сложнейшими приборами, пока не убедятся в его вековой прочности. Щеголеватое изящество текучей огненной строчки сварщика столь же прицельно, как и у строки, написанной тушью. Только и вся разница, что творчество художника называют искусством, а творчество сварщика — работой.

Я видел работу Бориса Шпаковского и, замороженный ею, испытывал такое же благоговейное восхищение, как и тогда, когда удостоился чести видеть, как пишут свои изумительные шедевры китайские каллиграфы.

Знаменитые пианисты берегут свои руки, словно джарки. Шпаковский, снимая койку у вдовы Злобиной, отказывался утром — перед тем как идти на работу — наколоть или принести дров. Он никогда, несмотря на высокий рост, не соблазнялся волейболом, боясь повредить мячом сухие длинные свои пальцы. Утром он занимался только легкой гимнастикой.

Отправляясь на работу, он избегал встреч, раздражающих разговоров. Любимое его изречение: «Сварщик, как и снайпер, должен быть спокойным, равнодушным, сосредоточенным и даже бездыханным, как покойник, чтобы биением сердца не колебать руку». Он славился своей холодной вежливостью. А вежлив он был для того, чтобы не раздражаться, ибо, по его мнению, любое волнение сказывалось на шве сварки.

На заболоченном лимане Шпаковский сваривал стыки дюкера, когда внезапно начался подъем воды, гонимой

тяжелым, твердым норд-остом. К лежкам, на которые опиралась труба, приближалась вода.

Защищая от мокрого снега и грязного нещадного ветра шов сварки, Шпаковский накрылся куском брезента с головой. И хоть ветер толкался в этот брезент, как в парус, он приспособился ритмично сжиматься под ударами спрессованного в глыбы, ревущего бурей воздуха.

Он закончил работу по колено в воде, освободился от давящего брезента, и шквальный порыв ветра унес этот брезент, как тряпку. И только тогда он спросил моториста:

— Это что же такое, Вася? Потоп получается...

Моторист согласился:

— Натекла с моря водичка, правильно.

— Что же ты молчал?

— Я вас тревожил, — почтительно сказал моторист, — но вы велели мне не вмешиваться, а только силу тока вам прибавить, поскольку труба от ветра и снега сильно стынет и в силу этого точка плавления потребовала высоких градусов.

— Ну что ж, пошли до дому.

— Кос-где вылавь придется!

...Их подобрал в воде катер с прожектором. Сидя на спасательном круге, Шпаковский сказал задумчиво:

— Беспокоюсь за последний шов: труба неравномерно на ветру охладилась, могут образоваться трещины.

Лязгая зубами, моторист ответил:

— Вы же только что утопленником были, я вас за прическу вытащил. А вы тут про шов рассуждаете. — И заявил с отчаянием: — Нам с вами водки надо как следует выпить, чтобы с простуды не заболеть!

— Нет, — твердо сказал Шпаковский, — водку я пить не буду. Не имею права расслаблять нервную систему. Может, завтра мне придется этот шов сдуть и новый варить. Тогда, значит, испортил я себе биографию браком.

— Никакой у вас биографии не было бы, если бы вы утопли, — сердито возразил моторист. — Лучше бы радовались, что не утопли!

— Если шов не будет трещиноватый, вот тогда я сильно обрадуюсь, — пообещал Шпаковский и, глядя в лицо моториста прозрачными, ледяного цвета глазами, бросил высокомерно: — Силу тока ты хорошую давал. Абсолютная вина моя будет, можешь не волноваться.

— А чего мне волноваться, когда я сейчас живой, а не покойник! — сказал обидчиво моторист. — Для меня сейчас это главное.

Шпаковский, поджав губы, отвернулся.

Мне кажется, если человек умеет работать для собственного удовольствия, испытывая самозабвенное наслаждение от своего труда, то можно считать, что он уже стоит одной ногой в коммунизме. Что же касается его характера, склонностей, то чем ближе мы к коммунизму, тем ярче, разнообразней и оригинальней становятся наши люди, и так уповательно наблюдать свободный расцвет особенностей каждого — эти особенности нужно только научиться понимать, уважать и отдавать свою симпатию не самым покладистым, а тем, кто яростно стремится стать лучше, чем он есть.

Для того чтобы сделать даже фотографический портрет, надо, чтобы человек окаменел перед тобой. Но как бы он ни походил на свое изображение, одного физического сходства мало. А как передать душевное? Нельзя же приказывать человеку: «Замри!» — в момент, допустим, самого высокого проявления духа и после объявить всем, что таков и есть этот человек, всегда и во всем такой! А он вовсе не всегда такой, он разный, и быстрота смены его душевных переживаний опережает прыткость литератора, пытающегося подогнать его под конструкцию своего героя, созданную в муках бессонницы.

Но попытаемся разобраться в Шпаковском методом параллельных сравнений.

Шпаковский варит в смену на семисотмиллиметровой трубе три стыка.

Марченко — восемь — десять.

Шпаковский никогда не зачищает сам фаски. Это делает его моторист. Шпаковский требует, чтобы кромки шва после зачистки зеркально сияли. Он привередлив, капризен и, оберегая руки, даже если свободен, не помогает монтажникам. Запрещает мотористу давать слишком высокое напряжение, чтобы не рисковать пережогом металла. Он чужд торопливости, работает с щеголеватым изяществом. Шов его шелковисто-гладок, как черная лаковая лента.

После работы он выглядит таким же свежим, как и до нее. И настолько самоуверен, что никогда не бежит в лабораторию-летучку, чтобы узнать, не обнаружен ли брак.

Фотографические и звукометрические ленты, на которых запечатлена внутренняя структура сварного шва, он изучает по воскресеньям, когда в лаборатории никого нет. И предается наедине размышлениям. Изучение этих лент доставляет ему наслаждение, такое, какое испытывает

художник, рассматривая давно написанную им картину, вспоминая, при каких обстоятельствах ему удалось положить наиболее удачные мазки, придавшие такую живость изображению.

Марченко работает без моториста, он сам поснешно зачищает фаски напильником и стальной щеткой. Работает он обычно на самом высоком напряжении и выжигает на кромках все, что оказалось недостаточно зачищенным. Если он вдруг почувствует, что в какой-нибудь точке шва сварка была не совсем надежной, он сам обводит куском мела это место, чтобы обратить внимание контролеров. У Марченко огарки электродов остаются совсем крохотные. У Шпаковского — подлиннее. Шпаковский работает самозабвенно, но без азарта. Марченко, когда свободен, помогает монтажникам навешивать груз на дюкер и стягивать его болтами. Он веселый, общительный, у него короткие сильные руки. И ему нравится восхищать людей своей силой.

Если труба с эллином, он умело исправляет ее ударами кувалды. Шпаковский требует, чтоб был составлен акт, и только после этого разрешает исправить трубу. Но если ему кажется, что абсолютно цилиндрическая форма нарушена, никакое начальство не может заставить его сваривать такую трубу с другой трубой. При центровке труб монтажниками Шпаковский всегда стоит в сторонке. Потом, выверяя точность центровки, величину зазора, он, даже если обнаружит неправильность, ничем не проявляет своего недовольства. Немного словно, тихим, спокойным голосом просит поправить положение трубы, не забывая при этом с достоинством поблагодарить монтажников за исправление их же ошибок.

Марченко становится рядом с машинистом трубоукладчика, взволнованно, яростно кричит на него, когда труба состыковывается не сразу, не точно. Он все время бежит от трубы к крану-трубоукладчику, горячится, показывая увесистый кулак. Когда труба наконец становится на место, лицо его обретает умиротворенное, счастливое выражение, но при этом он не преминет напомнить монтажникам, как неприцельно они возились с трубой.

Марченко пользуется очень светлым стеклом светофильтра, потому что больше доверяет своим глазам, чем руке. Шпаковский применяет самый темный светофильтр: щадит глаза. Но зато путем долгой тренировки он научился с такой же точностью работать левой рукой, как и правой. И всегда, когда он работает, получается, что одна

рука отдыхает. Марченко может работать только одной рукой. И после работы он идет слегка скособочась, ощущая, как онемела от утомления рука.

Марченко зарабатывает в два раза больше, чем Шпаковский, и считается рекордистом. О нем часто упоминают в газетах. Портрет его висит на Доске почета. Но среди сварщиков наилучшим мастером почитается Шпаковский, хотя высокомерный характер его никому не нравится. Работа Шпаковского вызывает у сварщиков чувство восторженного, благоговейного восхищения; работа Марченко — почтительное удивление его сноровкой.

У Шпаковского не было ни одного случая брака. Марченко неоднократно бродил по площадке подавленный, с выражением отчаяния на лице. После работы он мчится в лабораторию-летучку и сидит там на ступеньках в томительном ожидании результатов анализа. С радиографистками, магнитографистками он держит себя подобострастно, как пациент у врача, и каждый раз, шаркая ногой, кланяется, благодарит, жмет руку, если в его шве не обнаружено вкрапления шлака, пористости, непровара. И уходит счастливый и каждому встречному сообщает, будто это всем интересно, что «светила» у него ничего плохого в шве не обнаружили.

Этим летом он купил себе мотоцикл ИЖ. А прошлой зимой в комиссионке — старомодную шубу с воротником из выдры шалью. Он холост и очень беспокоится, как бы благодаря его высоким заработкам на него не польстилась какая-нибудь нестоящая девица. Поэтому ведет себя с девушками грубо, заносчиво, насмешливо. И очень тоскует по настоящей любви. Любимый его поэт — Степан Щипачев.

Шпаковского не раз сманивали работать на автоматах. При своей высокой квалификации он мог бы на линейной трассе зарабатывать в два, в три раза больше, чем здесь, на ручной сварке. Но он отказался. Работа на подводных дюкерах, где каждый шов решает успех труда многих людей и должен быть сделан с виртуозной тщательностью, ему нравится больше, потому что на такой работе он может во всей полноте проявлять изысканное свое мастерство. И люди знают, какой он мастер, почтительно мирятся с его заносчивым характером, и другие мастера превозносят его умение, любят его огненным почерком. А это ему дороже всего на свете.

Самая сладостная награда для человека, когда он уверенно и увлеченно владеет трудом, — сознание своего

прочного места в жизни. А если он еще и страстно стремится познать в своем деле все до конца,— ощущение бессмертия мастерства окрыляет человека, вселяет радостную дерзость исканий.

И чем больше укрепляется у человека убежденность в своем мастерстве, тем сильнее растет в нем чувство собственного достоинства, тем бережнее он охраняет его.

Щепетильная гордость мастеров — это то, с чем смело могут входить люди в коммунизм, не жмурясь от его сияния и не склоняя головы перед его величием.

Но чем полнее наслаждение, приносимое мастерством, тем острее муки и горечь мастера, когда он терпит неудачу.

23

Подкладное кольцо — железный обруч, предохраняющий расплавленный металл от протекания сквозь зазор, от металлических сосуль, свисающих внутрь трубы, когда сварщик формирует корень шва.

Зина Пеночкина обнаружила трещину в шве, сваренном Борисом Шпаковским. Она принесла ему еще влажную после проявления рентгеновскую фотопленку. И глаза Зиночки были тоже влажными и глянцевитыми, как эта фотопленка. Толстые пальцы ее, с черными от химических реактивов ногтями, вздрагивали.

Она сказала с отчаянием:

— Вот, Боря, смотри, какой ужас.

Шпаковский взял пленку и поднес ее к лампе — зигзаг трещины, как застывшая черная молния, ударил ему в глаза. Он зажмурился, опустил на табуретку, шея его вспухла, на висках выступили капельки пота.

Зина, не глядя на него, стала рыться в сумочке.

— Вот,— объявила она,— купила два билета на заграничную картину. А пойти мне не с кем. Ты со мной пойдешь. Ладно?

— Нет,— сказал Шпаковский, и лицо у него стало равнодушным.— Нет,— мертвым голосом произнес он.— Это не моя трещина.

— Боренька,— скорбно попросила Зиночка,— пожалуйста, не волнуйся.

— Это ты волнуешься,— сказал Шпаковский.— А я тут ни при чем.— И повторил упрямо: — Не моя трещина. Нет.— И сделал отстраняющее движение рукой.

Зина смотрела на его руку с открытой ладонью, смуглую, чуть опаленную руку сварщика, жалостливо и нежно. И вдруг она сунулась лицом в висящую на стене спецовку Шпаковского и разрыдалась. Шпаковский терпеливо ждал. Всклипывая, девушка выкрикивала ожесточенно и горестно:

— Я подлая, я очень подлая! Из-за того, что в Марченко влюблена, хотела его осчастливить, обрадовать, зазвала к себе в летучку и там ему твою пленку показала.

— Ну и что он сказал?

Повернув к Борису мокрое лицо, Пеночкина заявила гордо:

— Он сказал правильно, что я подлая.

— А еще что?

— И дрянь еще. Но это неправда. Просто я сумасшедшая стала оттого, что он мне так сильно нравится.

— Ты вот что,— сказал Шпаковский задумчиво,— не расстраивайся, я тебе верю. Моя трещина.

Он взглянул в лицо Пеночкиной остановившимися глазами, сделал с усилием глотательное движение, попросил:

— Воды дай.— Лязгая о кружку зубами, говорил глухо в кружку: — Ты призналась, что подлость сделала! А я не мог даже себе признаться. Значит, ты лучше, чем про тебя думают, а я хуже. Ты ступай, спасибо, что сказала. Ступай.

И он держал кружку у лица, будто стыдясь его и от стыда закрываясь кружкой.

Девушка произнесла с мольбой:

— Я с тобой побуду. Ты не гони, мне ведь тоже после всего одной быть трудно. Марченко сказал, что теперь он меня всегда с удовольствием презирать будет. Ты понимаешь, так и сказал: «С удовольствием».

Шпаковский, надевая спецовку, не мог попасть рукой в рукав; девушка помогла ему, но он этого даже не заметил.

Была уже ночь, лил черный дождь. Тяжелые струи громко шлепались на раскисшую землю.

Шпаковский шагал к реке, где на берегу лежал дюкер. Зина семенила рядом с ним, и он не замечал ее.

У дюкера, возле забракованного стыка, обведенного красным суриком, Борис увидел Марченко.

Работал дизель сварочного агрегата, включенный Марченко. При свете прожектора Марченко рассматривал шов. Увидев Бориса, он сказал душевно и просто:

— Не верю, ходил, думал. Не верю.— И предложил: — Давай вскроем.

— Уходи,— сказал Шпаковский,— уходи.

Марченко покосился брезгливо на Зину Пеночкину, потянул за рукав Шпаковского, спросил:

— Хочешь, я тебе одну сволочь покажу?

— Ты про нее так не смей! А то знаешь!..— И Шпаковский с силой отбросил руку Марченко.

— Я не про Пеночку, я про себя говорю,— сипло произнес Марченко.— Ты из какой кучи подкладные кольца брал?

— А тебе какое дело!

— Там одно кольцо подозрительное было, я его отбросил, а отметить не отметил: спешил свои девять дать. Давай сдую шов, вынем кольцо — сам увидишь.

Марченко оказался прав. Подкладное кольцо, просвеченное в лаборатории Зиной Пеночкиной, обнаружило трещину. Значит, шов Шпаковского был безупречен.

Держа возле лица фотопленку, Шпаковский сначала все смеялся, а потом расплакался.

Марченко и Пеночкина деликатно оставили его одного в вагончике-лаборатории.

Марченко сказал Пеночкиной угрюмо:

— Я не нарочно кольцо без отметки выбросил и не хотел вовсе, чтобы так получилось. Но когда тебя обругал, все-таки обрадовался, что с Бориса спесь теперь слетит. Выходит, во мне тоже, если на свет взять, какой-то шлаковый непровар гнездится.— Вздохнул, глядя в печальное, осунувшееся за бессонную ночь лицо Пеночкиной.— Думал, я уже человек, а получается, даже до нормы не хватает. Считал себя выше, а на деле одного с тобой росточка.

Зина сказала серьезно:

— Я ведь от любви к тебе поглупела. А на самом деле я лучше.

— Ну и брось глупеть,— посоветовал Марченко, сердито блеснув коричневыми, почти бронзового цвета глазами.

— А тебе не все равно,— робко спросила Пеночкина,— какая я, дура или умная?

— Значит, не все равно! Если человек не доволен твоим внутренним содержанием, значит, он в нем заинтересован.

Пеночкина встрепенулась, зарделась. Марченко предупреждающе поднял руку.

— Только ты вот что, — сказал он испуганно, — будь со мной поспокойней, я нервных не люблю. — Произнес мечтательно: — Когда я маленький был, придумал — чтобы меня уважали, — будто могу спать с открытыми глазами. — Поморгал рыжими короткими, опаленными ресницами, сказал грустно: — И теперь мне тоже всегда хочется, чтобы за что-нибудь уважали.

— А знаешь, — сказала Пеночкина с воодушевлением, — ты, наверное, хороший, раз умеешь про хорошее у плохого человека догадаться.

— Это к кому же я такой догадливый?

— А ко мне, — сказала Пеночкина и, зябко ежась, придвинулась ближе к Марченко.

Но он решительно отстранился и сказал уже раздраженно:

— Слушай, ты! У тебя же над башкой целая вселенная висит! И Луна тоже, на которую вымпел залепили. Ну, уважай себя, держи свою марку!

Пеночкина вздрогнула от нанесенной обиды и пообещала зловеще:

— Больше никогда в жизни, никогда к тебе не прислонюсь... хоть ты мне три часа будешь говорить, что любишь!

— Я регламента нарушать не стану, — усмехнулся Марченко. — Спрошу: согласна?

— Ну, согласна, — робко сказала Пеночкина.

— А я еще не спрашиваю.

— А ты спроси!

— Ну, спрашиваю!

— А я тебе говорю: нет! — гневно сказала Пеночкина. — Хватит, я из-за тебя чуть подлой не стала. Уходи, не желаю больше тебя видеть. Не желаю из-за какой-то паршивой любви к тебе унижаться!

И, решительно поднявшись на ступеньки, захлопнула за собой дверь...

На следующий день Шпаковский сварил три шва без применения подкладных колец. Это была поистине работа виртуоза. Марченко, раздевшись, полез в жерло трубы. Выбравшись наружу, объявил восхищенно:

— Ни сосульки, ни бахромы, вроде витого шнура. — Схватил за плечи Шпаковского, притянул к себе, расцеловал в обе щеки, оттолкнул: — Ты понял, чего достиг?

Шпаковский с медленной улыбкой сказал:

— Высокого класса сварки.

— Дурак! — восторженно крикнул Марченко. — Подлец! Ты же пойми: если варить без подкладных колец, это же тысячи тонн экономии металла по трассе — раз. И еще больше экономии — два — на том, что внутренний диаметр трубы из-за подкладных колец не будет сокращаться. Это же умопомрачительная экономия! А три — что газ, задевая за выступы подкладных колец, на них всю свою грязь будет оставлять, эти же настыли тоже диаметр сокращают! — Отступил на шаг, объявил: — Борька, ты гений!

Шпаковский подумал, спросил:

— А ты можешь варить без подкладного кольца?

— Нет, — сказал Марченко.

— Тогда я низкий человек, только и всего, — спокойно произнес Шпаковский. — Ты думал, как коммунист, что это даст всей трассе, а я думал только о том, что без подкладного кольца, кроме меня, шва не сварит никто.

— Правильно, — согласился Марченко, — никто.

— Значит, я барахло, — вынес себе приговор Шпаковский и горячо заговорил: — Ведь все ребята для того, чтобы обход не делать, две тысячи тонн металла на этом сэкономить, потребовали, чтобы через болото трассу гнать, себя в болоте мучить. А я что? Только чтобы фитиль вставить.

— И вставил! — сказал радостно Марченко.

— Ты обязан меня обозвать, — сурово изрек Шпаковский. — И если ты не обзовешь меня, я тебя уважать перестану.

Марченко положил руку на затылок Шпаковского, заставил его пригнуться к жерлу трубы, приказал:

— Глади и думай!

— О чем? — спросил Шпаковский.

— Про подкладное кольцо, — велел Марченко. — Ну, думай.

— Пусти голову!

— Нет, пока не придумаешь! — И стал диктовать: — Значит, ты можешь без подкладного кольца, я не могу. Но главное не в том, что ты можешь, а главное в том, чтобы можно было обходиться без подкладных колец. Металл сберегать по кольцам и по диаметру трубы. Слушай, а если сделать совсем малый зазор?

— Пусти!

— Не пущу.

— Все равно металл протекать будет.

— А если фаску с большим углом?

— Зазор останется.

Марченко выпустил Шпаковского и горестно признался:

— Не получается. А надо, чтобы получилось, у всех получилось!

Шпаковский поднял с земли тяжелый обруч подкладного кольца и стал сосредоточенно прикладывать к жерлу трубы, то вталкивая его внутрь, то вытаскивая обратно.

Марченко напряженно следил за ним и вдруг произнес шепотом:

— Борис, ты нашел! Съемным подкладное кольцо сделать, да?

— Да,— сказал Шпаковский.— Только это ты нашел, а я еще даже не думал, что оно съемным может быть. Но мне казалось, его можно передвигать вроде щита, что ли... Надо теперь искать, чтобы оно к металлу не прилипало.

— Может, футеровку из огнеупора? — спросил Марченко.

— Может, футеровку,— рассеянно согласился Шпаковский, продолжая двигать кольцо внутри трубы. Закусив губу, он думал о чем-то своем, еще не высказанном никому.

Уже к середине дня о замысле Шпаковского стало известно всей трассе.

Он, принимая поздравления, каждого сердито поправлял:

— Шпаковский — Марченко, или, точнее, Марченко тире Шпаковский.

— Ладно, не задавайся, не скромничай!

— Я всегда был чужд скромности,— с достоинством напоминал Шпаковский.

— Это верно, задавака!

— А еще что?

— А еще,— человек задумывался,— ну, мастер, конечно.

— Может, взглянешь, как без подкладного кольца варил? — И в тоне, каким произносил Шпаковский эти слова, звучала, пожалуй, даже робкая мольба.

Что говорить, сваркой Шпаковского без подкладного кольца восхищались! Многие, сбросив верхнюю одежду, лазили в жерло трубы, и оттуда, усиленные гулкостью трубы, доносились возгласы изумления. Но больше всего люди выражали свое одобрение не виртуозному мастерству

Шпаковского, а его идее варить стыки труб с помощью съемного подкладного кольца.

Но выслушивал Шпаковский похвалы, даже иногда чрезмерные, спокойно и, кивая на Марченко, объяснял:

— Собственно, если бы он не обосновал принцип сварки без стационарных подкладных колец, я бы сам не дошел! Потому что ставил перед собой только личную задачу.

— Ладно, не строй из себя воробушка. Молодец, Борька! Окончательный молодец!

Но когда знаменитый сварщик Босоногов стал осматривать шов Шпаковского и выражал свое восхищение тем, с каким необыкновенным чутьем Борис умел удерживать расплавленный металл, не давая ему стекать в зазор, и клал шов не каплями, а тянул завитками, словно жгут, Шпаковский зарделся. Он давал объяснения томным голосом, желая сейчас только одного: чтобы знаменитый сварщик его слушал и понимающе кивал головой.

И когда Босоногов сказал убежденно: «Музейный шов. Такую вещь выставить надо, как произведение искусства», — глаза Шпаковского радостно заблестели. Он пожал руку Босоногова своей опаленной рукой.

— Знаешь, я сейчас счастлив, как Пушкин, когда его Державин за стихи отметил.

Босоногов смутился и сказал:

— Ну, какой я мастер! Любитель. Красоту понимаю. Это верно. — И добавил горячо: — Мне твой шов теперь снится будет — это перуковотворное! Вот что я тебе прямо скажу.

Прораб Алексей Игнатьевич Фирсов — человек по-жизненно осторожный. Грузный, медлительный, тяжело-весный, обладал редкой памятью, знал до мельчайшего винтика всю многосложную материальную часть своего хозяйства. Математические способности у него тоже развиты, а вот людей он запоминал плохо и относился к ним с таким же равнодушием, как к самому себе. Он славился своей исполнительностью: не «работал» на строительстве — жил им и никогда не отдыхал, как человек не может отдыхать от жизни. Вне работы люди не интересовали его, они для него просто переставали существовать. Он никогда не брал отпуска: выходные дни изнуляли его больше, чем

авральные работы, во время которых он оставался таким же медлительным, спокойным, как в обычную смену. Опытный строитель, бывший моряк, со здоровьем как у водолаза и весом больше ста килограммов, а с чего начал свой доклад Балуюев?

— Сердце что-то пошаливает. — Приложил к груди огромную, толстую ладонь, замер, тревожно вслушиваясь. — И сейчас тоже стучает. Даже ночью от него просыпаюсь, закурю — не помогает. Полпачки выдымлю — не идет сон. От этого нервы. — Поморгал задумчиво. — Траншея с загогулиной. Прижмет к стенке трубу, когда потащим. Обязательно прижмет!

— А ты чего смотрел?

— Там химический отстойник. Обошел маленько. В нем даже сапоги резиновые раскисают. — Поднял глаза к потолку, произнес с неожиданным воодушевлением: — Больше не капает. Изба старая, дешево нанял. От бессонницы вчера крышу толем покрыл. Теперь хорошо.

— Кровельщиком заделался?

Фирсов опустил лысую, окруженную венчиком волос голову, сказал сухо:

— Я, Павел Гаврилович, такой работой себя сдерживаю, чтобы на людей не бросаться. Проектанты, не слезая со стула, по справкам свое сочинение для нас написали. Их на стройплощадку теперь не выманишь, чтобы хоть в бинокль посмотрели, как здесь, в болоте, все на натуре выглядит.

— Ты давай конкретно.

— А что говорить? — уныло сказал Фирсов. — Хуже перехода не было. Труба — трехсотка. Зеркало — два километра. Грунт в траншее — пывун, зато в проекте крепкий суглинок.

— Значит, не готовы?

— То есть как это не готовы? — изумился Фирсов. Он встал, выпрямился, будто его оскорбили. — Будет команда, — пожалуйста, хоть завтра.

— Ну что ж, погляжу, как у вас получится!

— Значит, даете команду? — И по той живости, с какой произнес Фирсов эти слова, по его мгновенно изменившемуся лицу, которое из плачевно-скорбного стало энергичным и выражало полную готовность решительно и незамедлительно действовать, сразу стало ясно: Фирсов лицемерил, канюча о трудностях, об опасностях. Его обуревало только одно желание — получить «добро» от начальника.

Но Балует давно привык к дипломатическим приемам Фирсова. Они не раздражали его. Наоборот, он считал их даже естественными. И Павел Гаврилович сказал мягко, добродушно:

— А знаешь, Алексей Игнатьевич, крепко у нас сидит с тобой это отжившенькое — перекладывать ответственность со ступеньки на ступеньку! Отвыкать надо от этой привычки. Сейчас каждому на инициативу крылья пристегнули. — И, согнувшись, похлопал себя ладонью по лопатке.

Фирсов оглянулся, будто для того, чтобы посмотреть, пристегнуты ли у него крылья.

Согласился:

— Правильно. Научились мы артистов из себя строить. Все никак не отучимся. Так я пойду, значит, от себя скомандую.

Бывший летчик, ныне линейный механик Сиволобов считался среди руководящих работников стройки человеком с опасными идеями. Он внушал машинистам кранов-трубоукладчиков и бульдозеристам: «Вы что думаете, чкаловский характер — только порождение авиации? Ничего подобного. Каждый человек, стоящий у механизма, должен понять: проектные мощности скрывают в себе действительные мощности. Обнаруживать их на полную железку — это и есть чкаловский характер». Сиволобов обожал Григория Лупанина, лучшего на строительстве машиниста крана-трубоукладчика, говорил ему: «Ты в максимальном расцвете лет. В твои годы я на фронте из одной любознательности смерти не боялся. На их отремонтированном «фокке-вульфе» в разведку летал. Интересовался заграничной техникой». Поучал: «Человек может недостатки иметь, и из уважения к человеку с ними считаться надо. Нельзя с каждого требовать, чтобы он был наилучшим. А с техникой совсем наоборот. Мне ее уважать за то, что она работает, нечего. Я с нее обязан требовать, чтобы она самая наилучшая в мире была. С нее надо все до тютельки брать. Тут у тебя обязательно в голове должен быть высокий идеал машины, и ради него — никакого примирения».

На совещании у Балуета Сиволобов объявил решительно:

- Техника для таких болот не приспособлена.
- Значит, не пойдет?

— Она не пойдет, а люди мои на ней пойдут, — сказал многозначительно Сиволобов. — Люди, понятно, которые ею командуют, а не она ими. — Заявил хвастливо: — Гришка Лупанин, как индийский многорукий бог, на крапе-трубоукладчике восседает. Гляжу, как работает, так каждый раз на него молиться готов!..

Хоздесятник Вильман объявил торжественно:

— Я в аренду плот нанял, будем гатить им болото. После бревна соберем, обратно в плот свяжем. — Наклонился к Балуюеву, зашептал: — Я тоже за экономию стал бороться. Конечно, дерево не металл, но по цене тоже близко к металлу. А тут, напрокат, совсем по дешевке обойдется.

Лицо у Вильмана лиловое, обветренное, небритое, в мраморных прожилках. Он всегда в брезентовом балахоне и с большой кошелкой. В ней командировочная смена белья, два пол-литра, белая плита сала, обернутая в газету, и термос. Он не говорит, а торжественно изрекает:

— Что такое снабженец? Доставка? Нет. Это человек, который координирует материальные ценности. Я скряга? Нет. Я лично был бы самым беспощадным к тем, кто хапает про запас оборудование, когда оно им в данный момент вовсе ни к чему. — И с яростью смотрел на Фирсова.

Фирсов произносил уклончиво:

— А кто без резервов живет, тех я презираю за лопухость...

К строительному начальству можно было бы причислить еще двух молодых инженеров: Константина Разуваева, мастера по монтажу, и Владимира Голикова, мастера по изоляционным работам.

Но рабочие никогда не обращались к ним по фамилии, а звали по имени: Костя и Володя.

Костя — высокий, тощий, Володя — полненький, блондин.

Костю уважали за то, что он был отличным волейболистом.

Володя испытывал большие затруднения, будучи руководителем девушек-изолировщиц. Они называли его Володечкой, спрашивали, кто из них самая красивая, интересовались, какие сейчас в Ленинграде самые модные прически и какие новые книги самые увлекательные. А от бесед на производственные темы всячески уклонялись.

Утешали:

— Наш бригадир Клава — десятилетка плюс курсы. Фамилия ее Босоногова. Отец — знаменитый сварщик, а еще она в строительном заочница. Просто пересбор своей технической интеллигенции.

Павел Гаврилович, поселившись в избе Карнаухова, часто покидал свою «штаб-квартиру». Разъезжая по объектам, спал на раскладушке в строительных конторах. Ночью его будили телефонные звонки. Завернувшись в кожан, поджав босые ноги, он беседовал с прорабами ухватков.

Если положение после разговора оставалось неясным, говорил:

— Обожди, я сейчас приеду. — Одевался и ехал на переход за двести — триста километров от места ночлега.

Большую часть своей строительной жизни Балугев проводил в машине. Если подсчитать весь проделанный им в машинах километраж, он мог бы носить звание сухопутного миллионера. Проснувшись ночью и вспомнив, что на одном из множества водных переходов, которые он строил одновременно, лучше было бы, например, попробовать не размывать траншею, а скреперовать ее ковшом, который будут тянуть на тросе тракторы, как стальную челюсть, он будил шофера Сашу и к утру оказывался на переходе — обсуждал предложение, мчался на другой переход, куда перебрасывал освободившийся земснаряд, мимоходом заезжал на двести километров в сторону на железнодорожную станцию и долго уговаривал там представителя железнодорожной «державы» сдать ему в аренду тупичок, потому что это было дешевле, чем платить штрафы за простой вагонов.

Он почти никогда не бывал один, всегда с людьми. И с чем он совершенно не умел справляться — это с одиночеством. Когда ему приходилось одному ночевать в избе или в строительной конторе, он начинал испытывать мучительное беспокойство и даже страх и тягостную тоску. Он томился мыслями о доме, о жене, детях, о жизненных удобствах, которых много лет был лишен. Он жил в сопровождении минимума вещей, набора предметов солдатского обихода. В чемодане — ничего лишнего. Он как-то пошутил печально:

— Если помру, из уважения к покойнику могилу должен выкопать экскаватор. Гроб, где буду лежать с чемоданом в ногах, пускай опустит кран-трубоукладчик, и бульдозер засыплет землю.

О подвиге строителей — жизни без семьи — не принято говорить как о подвиге. На фронте я никогда не слышал от наших людей, чтобы они жаловались на близость смерти, но тоска по дому была душевным страданием миллионов воинов. Тоска по близким была непреодолимой для тех, кто преодолевал страх смерти.

Кочевая жизнь строителей магистральных газопроводов обрекает их на постоянную разлуку с семьей, но ни разу я не слышал, чтобы они жаловались на это. Кстати, нигде я не видел такого безлюдья, как на трассе строительства газопровода, такого одиночества человека, остающегося наедине с машиной. Пожалуй, здесь машин было столько же, сколько и людей.

И то, что Павел Гаврилович считал, что по нынешним временам хозяйственник отвечает за состояние души человека не меньше, чем за состояние техники, — в этом была немалая доля правды. Действительно, у хороших людей машина всегда в хорошем состоянии. И если машина оказывалась в плохом состоянии, — исправлять ее надо было, начиная с человека.

Вот почему Балусев знал наизусть всех своих людей и требовал того же от своих подчиненных.

Он говорил:

— Мы все здесь должны быть чистыми, по-человечески чистыми. Все мы живем здесь как в одном помещении, и ничего тут друг от друга не скроешь. Авторитет руководителя состоит не из одной только должности, а из всего, из чего человек человеком делается.

Заведующая технической лабораторией Ольга Дмитриевна Терехова — смуглая, с бронзового цвета волосами, летчица в годы войны. Она — вдова генерала, командовавшего десантной частью, человека, который был старше ее на десять лет, и столь отважного, что многие операции, в которых он участвовал, считались легендарными. Но его блистательные черты командира тускнели, когда он оставался один на один с женой. Он ничем не интересовался, кроме своего военного дела, и относился презрительно ко всему, что не касалось армии.

Хотя Павел Гаврилович Балусев называл свое умение располагать к себе людей чисто служебным свойством, обязательным для хорошего хозяйственника, Ольга Дмитриевна отнеслась к этому его свойству совершенно иначе и стала искать встреч с ним. Этих встреч он и сам не избегал, потому что ему нравилось беседовать с умной и интересной женщиной. Шутя, он признавался, что его,

как пехотинца, тянет к ней, и если в первый год войны авиация плохо прикрывала пехоту, то теперь Ольга Дмитриевна в качестве заведующей лабораторией может полностью искупить свою вину и прикрывать кое-какие грешки в работах по изоляции труб.

Вытесненный из дома увеличившимся семейством, Балугев вынужден был реже бывать в Москве. Жить в гостинице, чтобы встречаться с женой, как с любовницей, — еще чего не хватало! Даже от очередного отпуска Павел Гаврилович уклонился, предпочитая получить наличными все, что ему полагалось. К тому же он очень беспокоился за этот водный переход. Но он не рассчитал запаса своих душевных сил, тоска по дому тяготила его все больше и больше. Правда, Фирсов, Сиволобов и Вильман неизменно являлись к нему под выходной с кошелками, набитыми различными продуктами, и готовили обеды и ужины, где каждый хотел блеснуть личным кулинарным искусством. Вильман специализировался на настойках, приписывая им лечебные свойства. И хотя все заранее договорились, что друзья собираются только на пир и не скажут о производстве ни слова, эти клятвы оказывались напрасными.

Уже после закуски и первой рюмки кто-нибудь нарушал данное себе и другим обещание. Неумирающая тема — прохождение грунтов со слабонесущей поверхностью — начинала бушевать за столом. Пир вырождался в обычное производственное совещание с едкими замечаниями, упреками, насмешками.

Фирсов убежал в контору, возвращался оттуда с папками технической документации и заставлял такую картину. Вильман кричал на Сиволобова:

— Ты привык сверху вниз на землю смотреть, а лежневка — это же кошмар! Она все твои моторесурсы сожрет, когда машины увязать в ней будут!

— Капитальный ремонт на месте — это дикарский способ обращения с техникой! — вопил Сиволобов. — Дешевле купить новую машину, чем чинить ее. Нужно перенимать опыт Америки!

— Проектер! — обрывал его презрительно Вильман. — Ты посмотри, какие станки я для ремонтных летучек достал, не на каждом заводе такие! Нужно только иметь голову на плечах!

— Из-за твоих станков мне теперь план по ремонту увеличат, — упрекал Балугев. — Вот увидишь. «Трассовики» с ремонтом к нам теперь полезут.

— Так я же и виноват? — негодовал Вильман. — Я же их вам из Сталинграда приволок, выпросил. Специально свою сталинградскую медаль для этого на грудь навесил! А ты считаешь, что я только обременил техникой план? Ну, спасибо! — Он облачался в брезентовый балахон и грозил: — Подождите, скоро вы будете унижаться передо мной. Но я — человек-скала! Не надо так не надо! — И уходил, хлопнув обитой рваным войлоком дверь.

— Та-ак, отдохнули, повеселились, — говорил Балуюев, просил: — Ну, давайте, ребята, споем, что ли!

Сиволобов, кивая на Фирсова, заявлял:

— Не буду я с ним петь. Раз говорит в оскорбительном тоне, будто я механиков готовлю для неизвестного пространства, пусть один поет. Про плывун пусть поет. Лирическую. Жалобную.

25

Мысль приглашать на ужин для облагораживания компании Терехову пришла Вильману.

Действительно, при Ольге Дмитриевне меньше ссорились, и она вовремя гасила своей приятной улыбкой резкости, неизбежные в споре о технике протаскивания дюкера.

Сначала провожать ее в вагон-лабораторию ходили по очереди, но потом как-то незаметно это стало привилегией одного Балуюева.

Балуюев никогда не чувствовал себя несчастным. Он был самоуверенным человеком не потому, что самообольщался или преувеличивал свои достоинства, а потому, что он, как и многие миллионы наших людей, чувствовал себя в жизни всегда незыблемо прочно.

Одним независимость Балуюева нравилась, другим нет. Одни его поддерживали, другие, наоборот, старались подмять.

Балуюев признавался своим приятелям:

— А я, знаете, с удовольствием жизнь свою почти прожил. Строитель — главная на земле специальность.

С возрастом стало труднее вести кочевой образ жизни, но так же как кадровый командир вживается в армейский быт, так и Балуюев вжил в свою жизнь строителя и не допускал, что она когда-нибудь сможет стать у него иной.

Провожая Ольгу Дмитриевну в вагон-лабораторию, Балуюев испытывал каждый раз приятное чувство. Не-

большая, тоненькая, со складной девической фигуркой, Ольга Дмитриевна одевалась всегда настойчиво нарядно. Любила прозрачные кофточки и бесстрашно топала по грязи в туфлях-лодочках. Женственная, миловидная, с седой прядью в каштановых, еще не потускневших волосах, разговаривая, она смотрела на Балую с низу вверх своими дымчато-серыми глазами. И когда она так внимательно вглядывалась ему в глаза, все вокруг становилось ярким, сияющим и будто даже далеко видимым.

Павла Гавриловича охватывало какое-то странное, восторженное чувство, и он начинал вдруг рассуждать о том, о чем никогда не думал:

— Представьте, возраст Земли — около пяти миллиардов лет, а человек на ней существует уже восемьсот тысяч лет. Как медленно шло наше развитие! А сейчас не исключено, что в ближайшее время будет установлена прямая связь с обитателями других планет. И если они опередили нас в своем развитии, даже, знаете, как-то неловко. Вроде как перед ними отчитываться придется за наше земное, еще неполное благоустройство.

Ольга Дмитриевна смеялась:

— Вы рассуждаете как хозяйственник.

— Конечно, из их передового опыта мы много для себя полезного извлечем, — смущенно оправдывался Балую, стесняясь взглянуть в глаза Ольги Дмитриевны. — Но я не исключаю того, что именно мы окажемся по сравнению с ними передовыми, поскольку с нашей стороны началась эпоха освоения космического пространства, а не с ихней.

— Если бы я была марсианкой, я обвинила бы вас в зазнайстве.

Белый, тусклый свет луны искрился в заиндеветшей жухлой траве и в синей скорлупе луж. Бездонная тишина нарушалась слабым звоном обледеневших ветвей берез. А над болотом, как всегда, копошился туман, сгущаясь в белый непроглядный сумрак.

Когда переходили через канаву, Павел Гаврилович, бережно притрагиваясь к локтю Ольги Дмитриевны, предупредил:

— Осторожно. Доска имеет опрокидывающий момент...

Иногда он заходил в вагон-лабораторию выпить чаю, который Ольга Дмитриевна кипятила на электрической плитке.

Раскладная койка занимала весь проход. В углу стоял шкафчик величиной с будку телефона-автомата. В него

Ольга Дмитриевна вешала пальто, раздвигая плечики с платьями.

В проеме оконной форточки устроена полочка, на ней бумажные свертки с едой и широкогорлая бутылка с молоком, прикрытая станиолевым колпачком.

На стене фотография Ольги Дмитриевны — молодой, еще более тоненькой, в гимнастерке с двумя кубиками в петлицах.

— Это вы, воздушное создание? — Балусев наклонился к фотографии.

— Да, это я.

Почему-то здесь, в помещении, надине, они оба начинали ощущать неловкость и стеснялись друг друга.

Прощаясь, Павел Гаврилович непременно напоминал:

— Так прошу вас, поосторожнее следите за изолировкой. Болотный газ метан — весьма едкая штука.

Склонив голову, спускался по ступеням, свисавшим из вагончика над землей, и брел обратно кратчайшей дорогой, через овраги.

Белая от изморози трава скользила под ногами. На дне оврага лежал мертвенно-синий лед и блестел, словно отполированный прозрачный камень.

Балусев никогда не испытывал рабской привязанности к женщинам. В жизни его были случайные сближения, но он легко расставался, добродушно и неоскорбительно убеждая в том, что серьезные чувства ему чужды.

Война внушила ему, как и многим, отвращение к упрощенному отношению к жизни. И то, что он в годы войны открыл для себя в своей жене, тоже в какой-то степени повлияло на его отношение к людям. Он понял: в каждом человеке есть прекрасное, особенное, редкостное. Нет выше радости, чем уметь увидеть это в человеке, и важно вовремя сказать другому, каким он может быть.

То, что Балусев после войны с одержимостью отдался работе, было вызвано не только тем, что выросли ее масштабы, но и тем, что нет ничего важнее, чем чувствовать и делать все, что от тебя зависит, чтобы каждый стоящий рядом становился лучше, и знать, что от этого успешней осуществляется порученное тебе большое дело.

И теперь Балусев был всегда озабочен душевным состоянием людей почти так же, как озабочен командир в канун боя, ибо в конце концов всегда побеждает та сторона, на чьей не только материальный, но и моральный перевес в силах.

Ольге Дмитриевне нравился Балуев, она с увлечением слушала размышления о методе стройки, радостно поражалась его проницательности и тревожному беспокойству о том, как будут складываться дальше судьбы людей. Его хлопоты по налаживанию личной жизни то одного, то другого человека умиляли ее. Балуев говорил:

— Надо добиться такого положения, чтобы в нашем коллективе люди чувствовали себя семьей, чтобы рабочая площадка была для них цехом, а еще лучше — домом. Когда у человека такое ощущение, можно смело проводить дальнейшие сокращения административного состава. Чем больше рабочий чувствует себя хозяином, тем меньше нужно для него начальства. Надо, чтобы было меньше инженеров — наблюдающих начальников, а больше инженеров — мастеров, бригадиров, консультантов. А вам, Ольга Дмитриевна, я бы советовал соединить свою профессию лаборантки с производством непосредственно, днем бы в бригаде работали, а вечером вместе с девушками проводили лабораторные испытания. Им полезно, и вы бы смогли на месте осуществлять контроль и тем самым предотвращать брак, а не быть только его фиксатором.

Балуев искал спасения в производственных темах и всячески старался не замечать ласкового, задумчивого взгляда дымчатых глаз Ольги Дмитриевны.

При встречах с ней его тянуло совсем на другие разговоры: о чем-нибудь грустном, душевном. И тогда она сама вдруг однажды в порыве откровенности спросила:

— А как вы думаете, Павел Гаврилович, почему я пошла на производство?

— Что же тут думать? — нахмурился Балуев. — Расшиблись вы на своем самолете счастливо. Помню, был на фронте случай: «мессер» нашего «ястребка» сбил. Бросились мы к месту падения, собрали то, что осталось от летчика, для похорон, грамм двести. А вам повезло. Вспаханное поле амортизировало. Раз здоровье позволяет, чего ж тут! Потом, на стройке всегда свежий воздух, полезно.

— Но я же москвичка.

— И я тоже не с Камчатки.

— Вы допускаете возможность чистой дружбы между мужчиной и женщиной?

Балуев опустил глаза, пробормотал:

— Как вам сказать, вообще это и возможно при обоюдной устремленности к какой-нибудь высокой цели. — Подняв голову, объявил сердито: — Но я лично всегда против! Не люблю никакого мошенничества. — Посовето-

вал сухо: — А вам, Ольга Дмитриевна, следовало понять себя отчетливо и не прикрываться седым клочком волос. Никакая вы еще не пожилая женщина, и туалеты свои вам нужно целеустремленно использовать. Сколько у нас инженеров среднего возраста! Вот нацелились бы на кого-нибудь и организовали семью. Болтаться одинокой женщине ни к чему.

— Вы так грубо со мной говорите! Я в чем-нибудь виновата?

— Да нет, извините, просто погорячился.

На эту грубость Павел Гаврилович решился после того, как заметил, что его встречи с Ольгой Дмитриевной стали вызывать добродушные усмешки Фирсова, Сиволобова и даже всегда невозмутимого Вильмана. А бригадирша изолировщиц спросила его:

— Товарищ Балуюев, не знаете, где бы зонтик купить?

— Зачем он тебе понадобился? — зная остроязычность бригадирши и заранее улыбаясь, спросил Балуюев.

— Так мы не для себя, для Ольги Дмитриевны, а то когда дождь со снегом, чтобы прическу себе не испортила. Она же, видать, голову красит, только один клочок краска не берет. А вы думаете, она уж такая молодая?

Девчата фыркнули.

Балуюев смутился и не нашелся что ответить.

Он почувствовал, что и Безуглова стала избегать откровенных разговоров с ним. Зина Пеночкина презрительно отворачивалась, когда он проходил мимо.

Даже Виктор Зайцев больше не говорил с ним на свою любимую тему о том, что нужны книги по всем вопросам жизни, потому что надо учить людей смотреть на самое трудное прямо и чисто и указывать во всех случаях на конкретный идеал.

Хотя Павел Гаврилович и не очень верил в возможность длительных чисто дружеских отношений с Ольгой Дмитриевной, ему иногда все же казалось, что у них они могли бы существовать.

Оставаясь один, он иногда предавался почти юношеским мечтаниям о такой дружбе, которой у него никогда не было. Он вспоминал свои беседы с Ольгой Дмитриевной, вспоминал, как она доверчиво, с откровенным, внимательным любопытством слушала его рассуждения о том, как человек станет еще прекрасней и что реальный коммунизм и сводится к освобождению человека от всяческой магерпальной зависимости.

Он говорил с ней о том времени, когда все вещи утратят свою первоначальную ценность и будут иметь только один смысл: нужна или не нужна человеку данная вещь.

Ольга Дмитриевна тоже делилась своими мечтами, более скромными, более личными, более откровенными. Жаловалась, что устала жить одна, очень боится одиночества и, понуждаемая страхом одиночества, боится совершить ошибку, слишком поспешно избрав себе спутника жизни. Она даже призналась как-то, что чувствует себя мелкой воровкой, когда стремится видаться с Павлом Гавриловичем, твердо зная, что все это, в сущности, ни к чему хорошему привести не может.

— Это верно, — печально соглашался Балуюев. — Я еще недостаточно стар для такой дружбы. А вы еще можете проникнуться ложной иллюзией, что все мужчины столь простодушны, как я перед вами. — Балуюев помолчал. — Я свою жену, если хотите знать, по-настоящему полюбил, когда всей жизнью испытал, какая она.

И он рассказал Ольге Дмитриевне о том чувстве благоговейного восторга, каким проникся к жене, узнав, как жила она в эвакуации, с негасимой, гордой любовью к нему.

— И представьте, — говорил Павел Гаврилович взволнованно, — была она тощая, постаревшая, некрасивая, а вот заполнила всю душу мою собой именно тогда. И теперь на всю жизнь. — Разведя руками, признался: — Если бы она узнала, что я про это другой женщине рассказал, наверно бы возмутилась.

— А вы ей расскажете?

— Не знаю, — сказал Павел Гаврилович. — Не знаю; впрочем, все может быть.

— Наверно, трудно быть человеком полностью счастливым.

— А я презираю людей, сытых счастьем, — негодуя воскликнул Балуюев. — Человек и в будущем, и на вечные времена должен жадно стремиться к самому лучшему, а ему, этому лучшему, нет предела.

Пили чай с гренками, поджаренными на электрической плитке, намазывая гренки джемом.

Ольга Дмитриевна рассказывала о своей службе в авиационной части.

— У меня там были подруги, замечательно хорошие. Но после боевого вылета... сами знаете. Как погибали они, не видела. Улетали — и всё. Не возвращались. А все думаешь, что они где-то существуют. А с новыми было так

трудно сдружиться! Ляжет на койку, которую твоя подруга занимала, и ты за это ее ненавидишь. Прямо ударила бы.

— А ваш муж?

— Я ведь его не выбирала. Послали в тыл, должна была вывезти его, а машину зениткой повредили. Выкарабкивались оттуда вместе. Он был раненый, но веселый, беспечный. Убил немецкого связиста на дороге, забрал шнапс, еду; потом в лесу пиршествовали. Вышли из вражеского тыла, поженились. Он очень храбрый человек был. Десантник, сами понимаете... Ходил на самое опасное, не любил обременять себя размышлениями о том, как мы дальше с ним жить будем. Смеялся: «Пенсии тебе хватит, я человек посмертно обеспеченный». А я летала, пока не сбили. После госпиталя поступила в институт. От пенсии за мужа отказалась. У него жена была, но он с ней не расписывался, уже немолодая женщина. Он мне о ней не рассказывал. Он вообще не придавал значения ни прошлому, ни будущему своему: он для себя в него не верил.

Слушая, Павел Гаврилович пытался проникнуть в тайный для него смысл ее слов и разгадать, почему эта красивая, гордая, смелая женщина одинока, почему она избегает общества молодых инженеров и ищет встреч с ним. Не влюбилась же она в него? Впрочем, он иногда допускал эту столь лестную для себя надежду и тотчас отвергал, даже с некоторым негодованием, вспоминая, с каким искренним, сочувственным волнением она слушала его, когда он говорил о своей любви к жене. Не лицемерила же она? Скорее он дал повод заподозрить его самого в лицемерии, когда с увлечением предавался мечтаниям о будущем прекрасном человеке. Не подавал ли он ей невольно какие-то надежды найти нечто увлекательное в нем самом?

— Вообще я вам вот что скажу: не имеете вы права быть несчастной!

Ольга Дмитриевна удивленно посмотрела на него:

— А разве я несчастна?

— Но что-то есть неладное, что вас мучит.

Ольга Дмитриевна склонила голову и, водя тыльной стороной чайной ложки по блюдцу, спросила:

— Вы убеждены, что это так?

— Убежден,— не очень уверенно произнес Павел Гаврилович и настойчиво повторил: — Но все-таки я просил бы, если вы мне доверяете, если вы как-то ко мне расположены...

— Расположена,— сказала Ольга Дмитриевна и, прямо глядя в глаза, заявила: — Именно рассчитывая на ваше расположение, я и ждала этого вопроса.

Павел Гаврилович, испытывая смещение от твердого, несмущающегося ее взгляда, робко попросил:

— Я ведь не настаиваю. В сущности, у каждого человека что-нибудь может быть и не так.

Ольга Дмитриевна встала с табуретки, подошла к нему вплотную и сказала сухо и неприязненно:

— Я ведь сбежала сюда. Скрылась от человека, которого любила и который, как он говорил, любит меня. Сбежала, потому что струсил.

— Чего же именно вы трусили?

Она, как-то мгновенно обессилев, опустилась снова на табуретку и, вытянув перед собой на столе руки, сказала, шевеля пальцами:

— После того как я разбилась, в госпитале мне самой вернули жизнь, но дать жизнь другому существу я не могу. И вообще, если бы вы были более внимательны, вы бы давно заметили,— она улыбнулась насмешливо,— что своей чудной талией я обязана металлическому корсету: повреждены позвонки.— Побарабанила пальцами по столу.— Но все же надо признать, вы не лишены некоторой проницательности. Вот.— Отвернулась, спросила: — Может, включить радио? «Маяк» всегда передает что-нибудь развлекательное.

Павел Гаврилович включил приемник. Лицо его было бледно, губы сурово сжаты.

— А вы того... к какому-нибудь знаменитому хирургу не обращались?

Откинув устало со лба волосы, она сказала безнадежно:

— И не к одному и не однажды. Сказали, что, если буду настаивать, можно повторить операцию. Понимаете, повторить, а в исходе ее они не уверены. А я не могу, не могу больше переносить никакой боли!

— Но сейчас существуют какие-то новые совершенно обезболивающие средства.

— Вот! — негодуя воскликнула она. — Вы тоже... — И тут же перебила себя: — Я вас не упрекаю, но почему он, который меня любит, сказал: попробуй еще. Ведь это, знаете, какие мучения? Разве любящий может толкать на это?

— Может,— сказал Павел Гаврилович.

И вдруг Ольга Дмитриевна вся преобразилась. Лицо ее осветилось улыбкой, и она сказала счастливым голосом:

— Ну, про возлюбленного моего я соврала, конечно.

— Почему же «конечно»? — спросил, непонятно обрадовавшись, Павел Гаврилович.

Но она не обратила внимания на его слова.

— А вот операцию мне действительно предстоит сделать. Но не воображайте, будто вы уговорили. Ходила смотреть на обсадную трубу, сквозь которую прополз этот Зайцев. Подумала: как страшно там было ему ползти в этом узком, тесном туннеле, да еще в воде, задыхаясь! А ведь он прополз. И вы думаете, только производственный интерес им руководил? Вы так считаете?

— А вы?

— Остроносенькая Безуглова, наша лаборантка, по ту сторону трубы его ждала. И я тоже могу сквозь мучения проползти, если меня ждать будут. Понимаете, ждать!

— А кто именно вы хотели, чтоб ждал вас? — волнуясь, спросил Балуюев.

— Ну, уж не вы, во всяком случае, — рассмеялась Ольга Дмитриевна. Смутилась до слез, сказала шепотом: — Я понимаю... Вы хороший, добрый. Но добрый не потому, что вы такой всегда, а потому, что считаете: сейчас добрым правильнее и нужнее всего быть. — Говорила она как-то по-детски, бесконечно повторяя это слово «добрый» и каждый раз вкладывая в него свой особый и не совсем ясный для Павла Гавриловича смысл. — Но я хочу, я прошу вас: помогите мне самой стать доброй и чтобы я искренне простила его за то, что он соглашался, чтобы я решилась на операцию!

— Значит, все-таки есть у вас этот близкий человек?

Она ничего не ответила. Она плакала.

Павел Гаврилович осторожно погладил ее по голове. Сказал со вздохом:

— Вы мне адресок не скажете этого товарища?

Она указала глазами: там, возле зеркала, лежали письма.

Павел Гаврилович, оторвав от газеты клочок, записал адрес, свернул бумажку, сунул в нагрудный карман.

Спросил:

— Может, пройдемся? — взглянул в окошко. — Луна.

Она отрицательно качнула головой.

Павел Гаврилович оделся, взял ее за руку, наклонился, бережно поцеловал в ладонь и ушел.

В эту же ночь он отправил письмо по записанному адресу и подписался полным своим служебным званием, боясь, чтобы некоторая взволнованность стиля не внушила бы адресату ненужных подозрений.

И хотя авторитет Балугева несколько пошатнулся в коллективе после того, как он еще чаще стал приходить в свободное время в вагон-лабораторию Тереховой, он упорно старался не замечать насмешек и той возникшей отчужденности, о которой мы уже говорили.

А потом приехал из Ленинграда высокий бледный человек неопределенного возраста, с серьезным, замкнутым лицом. Он навестил Балугева, без улыбки пожал ему руку, сказал:

— Поверьте, вы нам обоим сделали такое добро, такое чрезвычайное... его нельзя оценить меньше, чем возвращение к жизни.

— Это не я, а Зайцев, — сказал угрюмо Павел Гаврилович.

— Простите, но ваша фамилия — Балугев?

— Именно, — сказал Павел Гаврилович. Взял телефонную трубку и начал ругаться с Вильманом из-за того, что тот до сих пор не привез с другого перехода трос, необходимый для протаскивания дюкера.

На следующий день Терехова подала ему заявление с просьбой освободить ее от работы. Павел Гаврилович прочел, проставил дату, подписал и уложил в папку.

— Приказ вступит в силу после того, как протащим дюкер. — Объяснил: — Если повредят изоляцию, новому человеку трудно будет сразу уследить. — Положил на папку ладонь, сказал сухо: — Так что вот. Такое решение.

— Но он тогда уедет один. Он больше не может оставаться! — жалобно воскликнула Терехова.

— Пусть едет! — отрезал Балугев. — У него свое начальство, у вас свое. Оттого что неделей позже отбудете, ничего с вами не случится. А производственные интересы я считаю превыше всяких личных дел.

Почему Павел Гаврилович принял такое решение? Руководили ли им чисто производственные соображения или что-либо другое, сказать затруднительно. Как говорится, начальству виднее.

Оставаясь теперь в одиночестве, Павел Гаврилович испытывал не только томительную тоску по семье, по дому. Он подходил к зеркалу, внимательно и досадливо разглядывал свое лицо и однажды признался Фирсову:

— Вот, Алеша, есть такой тяжелый переходный возраст у человека, когда от полстолетия он стремительно катится к шестому десятку. А все ему кажется, что он человек не только не пожилой, а даже не взрослый. И вспоминаю я все чаще и чаще свою первую любовь. Была у нас в деревне такая конопатая девушка. Имени уже не помню. А помню ее, как будто сейчас передо мной стоит. Кофточка линиялая нараспашку, на шее шнурок, а на нем ключ от дома. Ноги босые в цыпках, косточки ключиц торчат. Пахло от нее всегда куриным пометом: кур пасла у попа и курятник сама чистила. А я как-то с сарая прыгнул и на борону ногами. Пропорол ноги. А орать боюсь: отец строгий, страда, а я, выходит, как нарочно обезножил. Так вот она меня с бороны стащила, ноги подорожником обложила, обвязала онучками, села на землю, мою голову на колени положила и стала боль и кровь заговаривать. Наклонится к самому уху и шепчет, шепчет. А слезы ее теплые мне на лицо, на шею каплют. Вот на всю жизнь ее в сердце храню. Уговаривал ее, когда на стройку с отцом уходил, вместе идти. Забоялась. А потом она умерла. Бык ее рогом зашиб. И понимаешь, чем старше становлюсь, тем яснее ее в мыслях вижу.

Фирсов согласился:

— Это верно, всякую чепуху с детства хорошо запоминаешь. А вот как на заочный пошел — не идет, нет памяти на условность.

Спросил официальным тоном:

— Так даете, Павел Гаврилович, команду дюкер опускать?

— Если без моей команды — давай, — устало сказал Балуюев. И упрекнул: — Я же тебе ясно говорил, Алексей Игнатьевич, не ищи чужой спины, когда своя голова есть.

Фирсов поежился и ничего не ответил.

Павел Гаврилович вышел на крыльцо, провожая Фирсова.

Ночные заморозки убелили землю. Темнота, прозрачная, сверкающая, омытая лунным светом, заморожена, недвижима. Поднял голову, посмотрел на небо. Круглый белый слиток луны тяжело висел на небе. Вспомнил, что не так давно любовался луной вместе с Ольгой Дмитриевной и шутливо говорил ей: «Каждый человек весом

в шестьдесят килограммов при наличии лунного притяжения теряет семь миллиграммов. Но легче человеку становится жить на земле не благодаря лунному притяжению, а потому, что существует такая штука, как дружба, товарищество, любовь и так далее...» А Ольга Дмитриевна смотрела на него внимательно, доверчиво своими дымчатыми глазами и кивала головой, соглашаясь...

Павел Гаврилович постоял на крыльце, прислушиваясь к тишине, сильно и жадно вдыхая холодный, душисто пахнущий снегом воздух.

Вернулся в избу, разделся, лег на койку, прикрылся поверх одеяла кожаном и погасил свет. Но уснуть сразу не удалось: зазвонил телефон, стоявший на табуретке у изголовья. Павел Гаврилович, не зажигая света, взял трубку, и начался длинный разговор с прорабом другого водного перехода, который находился от этого на расстоянии полтысячи километров, но числился за Балуевым. Чиркнув спичкой, Балуев закурил, слушая обстоятельный доклад прораба и изредка вставляя свои замечания.

Окошко избы синевато светилось от лунного света. В открытую форточку тянуло холодом. Убедившись, что молодой прораб все делает толково, Павел Гаврилович положил трубку, свернулся калачиком и вдруг с удивлением почувствовал себя счастливым, умиротворенным...

И, свободно и легко отрешившись от всего на свете, мысленно стал представлять себе этапы завтрашнего опускания дюкера в траншею. И все ему виделось так отчетливо и гладко, как это бывает только в кинохронике или во сне.

Под печью скреблись мыши, сильно дуло из открытой форточки. Павел Гаврилович спал, и его рука машинально сжимала трубку телефона.

27

В столь недавнее время Москва непрерывно подвергалась мощным нашествиям командировочных. Они оккупировали гостиницы, министерские и студенческие общежития, туристские и спортивные базы, подмосковные дома отдыха, квартиры московских знакомых. Коридоры, кухни, ванн, комнаты москвичей обращались в спальни.

Энергичные периферийцы теснили жителей столицы, захватывали лучшие места в театрах, рестораны и столо-

вые и покидали город, навьюченные, словно трофеями, сувенирами широкого потребления.

Хозяйственники и доныне избегают точной характеристики былой роли снабженца. В этом вопросе они придерживаются пресловутой теории «живого человека», гласящей, что в человеке обязательно должно сочетаться хорошее с плохим.

И здесь хозяйственники смыкаются с некоторыми литературными критиками — «правдолюбцами», которые настаивают на том, что даже самый положительный герой обладает пищеварительным аппаратом со всеми вытекающими из такого факта процессами, и скрывать это от читателя не следует. Пускай он знает всю правду о человеке.

После того как снабженцы утратили титул великих путешественников, их роль и деятельность сильно потускнели, а наша литература лишилась завлекательного, в духе средневекового плутовского романа, героя.

А жаль! Представьте приключенческий роман, героем которого является старинный снабженец. Сколько в таком произведении было бы игры ума, предприимчивости, сокровенного знания психологии быта, хитросплетений сюжетной интриги, когда, кажется, вот-вот будет нарушена законность! Ан нет, герой, ловко балансируя, прошел по самой грани уголовно наказуемого и общественно порицаемого. Нет, такое произведение нельзя было бы читать без волнения...

Но, увы, жизнь кладет предел некоторым жанрам. И ничего не попишешь, чего нет, того уж нет! Время для написания плутовского романа из жизни «великого путешественника»-снабженца кануло в Лету.

В упомянутую эпоху квартира Балуюева, как и многих москвичей, подвергалась интенсивным нашествиям захватчиков — друзей-сослуживцев Павла Гавриловича.

Балуев, находясь на стройке, благодаря этим посещениям сослуживцев был всегда хорошо осведомлен о том, что делается дома, а близкие всё знали о Павле Гавриловиче. Отпадала нужда в письмах, телефонных разговорах. Живые свидетели ярко и красочно, со множеством подробностей передавали все, что могло интересовать Павла Гавриловича. И вдруг такой правдивый источник информации иссяк.

Балуев набил себе руку в деловой переписке, особо при составлении годовой отчетности. Но когда возникала необходимость писать душевно, искренне, не касаясь вопро-

сов производства, он испытывал чувство смущения и обычно прибегал к помощи междугородного телефона.

Как-то в разговоре Евдокия Михайловна, заслоня трубку ладонью, спросила:

— Павлик, а ты меня любишь, хоть я уже старая-старая?

Услышав, как фыркнула местная телефонистка, Балугев с упреком сказал ей:

— Лиза, не мешай.

И сколько после этого возгласа Балугев ни дул в трубку, ни вызывал снова Москву, столица не отвечала.

В письменной форме он отослал домой объяснение.

Привыкнув искать и находить в служебной переписке особый, не доверенный словам смысл, Балугев при помощи той же психотехники вчитывался в письма жены. Когда жена упомянула, что шла как-то с работы пешком, он срочно вновь вызвал Москву: по-видимому, она страдает кислородным голоданием на почве сердечной недостаточности, пусть немедленно берет отпуск, путевку в Kisлoвoдск получит в главке.

Супруга была вынуждена выслать Балугеву официальную справку из поликлиники о состоянии своего здоровья.

Зато в служебной переписке проникательность никогда не подводила Павла Гавриловича. Так, например, когда начальство просило оказать «трассовикам» техническую консультацию при прохождении ими грунтов с высоким уровнем подпочвенной воды, это значило, что придется отдать «трассовикам» свои откачивающие средства. Здесь все ясно. А вот когда жена написала, что видела в квартире Козленковых очень удобное кресло-кровать, которые продают в Мосторге по семьсот рублей, Балугев, вместо того чтобы благословить такую покупку, написал только: «Не забудь передать привет Козленковым». И Евдокия Михайловна очень расстроилась, считая, что этими словами супруг осудил ее намерение.

Но скоро Павел Гаврилович нашел выход. Симпатичных ему отпускников он убеждал проездом через Москву останавливаться у него на квартире. Живая связь через очевидцев вновь возобновилась.

Так, Изольду Безуглову он послал в Москву, чтобы забрать там после зарядки дозиметры для радиографисток. Она привезла Балугеву исчерпывающие сведения о его сыне, который проявил особое внимание к госте. И когда Изольда с восторгом рассказывала о Химкинском речном порте, Павел Гаврилович озабоченно щурился, зная, что

Химки в равной степени знамениты и своим рестораном. Он спросил деловито:

— А пили вы что там, не воду же из Москвы-реки?

Изольда возмущенно всплеснула руками и сказала:

— Вы просто Костю плохо знаете! Он даже извинился передо мной, сказал, что мышление, каким бы сверхчувственным оно ни казалось, является продуктом вещественного, телесного органа — мозга, алкоголь, воздействуя на кору, ослабляет его деятельность.

— Выходит, с учебой у него неважно, — констатировал Павел Гаврилович.

— Зато он институтский чемпион по волейболу, и их команду за границу скоро повезут.

— Для волейбола этого вещественного телесного органа немного требуется.

— Неправда! Он сказал, что в волейболе, как в шахматах, надо мыслить за много бросков вперед. И нам тоже надо волейбол у себя устроить, — очень содействует гармоническому развитию.

— Ну, а дочь как?

— Леночка у вас ужасно серьезная. Она сказала, что собирается посвятить свою жизнь жизни микробов.

— А этот, ее супруг?

— Он уже себя посвятил чему-то по медицине. Но пока не получается. Просится в Индию. Говорит, там материал чумы, холеры и проказы есть. А у нас ничего такого для него нету. Очень большая бедность по носителям смертельных заболеваний. А по раку у них с Леночкой большие расхождения, ссорятся, и даже очень некрасиво.

— Евдокия Михайловна ничего себя чувствует?

— Здорова. Утром и вечером холодные души принимает. Она у вас такая тонкая в подходе к человеку! Очень культурная. Я сразу угадала: либо она дочь академика, либо народного артиста! Про все-все знает! — Осведомилась кокетливо: — Вы, наверное, в молодости очень ничего были, Павел Гаврилович, раз такую девушку из интеллигентной семьи увели.

Павел Гаврилович внезапно обиделся.

— Не я ее увел, а она меня увела. — Но тут же смущенно согласился: — Жена у меня культурная, верно. — Спросил строго: — Ну, а ты как? Растешь культурно? Рассказывай, какие книги в последнее время прочла. — Выслушав, выразил недовольство: — Слишком много и очень быстро читаешь. Значит, некачественно. Хорошую книгу не читать, а переживать надо. Настоящая книга не

для удовольствия пишется, а для познания жизни. Как жить, так и читать вприпрыжку не следует. А фильмы какие в Москве видела?

Безуглова подробно докладывала. Балувев задумался, потом сказал:

— В мои молодые годы, когда кино шло, специально человека назначали вслух надписи читать для неграмотных. Люди пешком двадцать — тридцать верст ходили, чтобы на экран поглядеть. Глядели, как на чудо. Переживали, как взаправдашнюю жизнь. Нынче наш народ по всем показателям в коммунизм входит, а ты мне про всякие житейские подробности из жизни мелких людей рассказываешь.

— Да разве я виновата! — обиделась Безуглова. — Я как вы просили, только содержание рассказала.

— Ну ладно, — сказал Балувев, — будем наличными средствами в своем деле обходиться. Я вот тут накидал тексты для наглядной агитации, послушай.

Павел Гаврилович надел очки, откинулся на табуретке и, держа на вытянутой руке листок, прочел торжественно:

— «Знаете ли вы, что газ — самое экономичное топливо? Он дешевле угля в двенадцать раз и керосина — в семь раз». И еще для полной конкретности добавляю: «Литр воды, вскипяченной на газе, обходится 0,9 копейки, на керосине — 6 копеек, а на дровах — 11 копеек». Теперь сразу обобщение: «Жители трех крупных газифицированных городов экономят в год благодаря газу 350 миллионов рублей». Теперь факт уже не бытовой, а государственный: «Одна газовая скважина дает в сутки количество топлива, равное тысяче тонн угля». Перспектива: «Только в одной Саратовской области хватит газа на сто лет. А сейчас по стране выявлено более ста пятидесяти мощных газовых месторождений». Ну как, убедительно? — Приказал: — Тогда возьмись с ребятами, размножь и расклей вроде плакатов. — Пожаловался: — Прогноз получил на выпадение больших осадков. Значит, снова наше болото промокнет. — Вздохнул мечтательно: — Мне бы кинокартину сейчас вроде «Комсомольска», что ли! Не считаются киношники с хозяйственниками. Самостоятельно приходится объяснять коллективу, что одоление природы — факт неизбежный, но что он возвышает души, когда ясна конечная цель.

Помолчали. Изольда сказала потупившись:

— Павел Гаврилович, я с Игорем виделась, на обратном пути к нему заезжала.

— Так, ну и что?

— Я ведь знаете почему это сделала? Чтобы он из-за меня не переживал. Не хочу, чтобы он обо мне думал, будто я какая-то несчастная была.

— А что тут плохого, если человек о другом думает? Это всегда лучше, чем только о самом себе.

— А мне просто не хочется...

— Вот и зря, — сказал Балуюев, — от этого только на душе жир наращивается. — Поправился: — Не о тебе речь, а вообще о людях. Гладкая жизнь не бывает. Теперь, когда мы норму человека так завысили, каждый от другого полную высоту души требует; никакого снижения на духовные ценности, понятно? Внимание к человеку — это одно, а умиротворенность — это совсем другое. Благодушие, оно вроде равнодушия. — Заключил уверенно: — Нет, несчастные люди есть, но чем больше о них думать, тем меньше их остается. — Спросил, отводя глаза: — А как Терехова? От сырой погоды самочувствие у нее, должно быть, неважное?

— А вы разве сами не знаете? — улыбнулась Изольда и смутилась.

— Вот видишь, самой стало неловко, — покачал головой Балуюев и упрекнул: — Не так ты про нее думаешь, не так. — Закурил, признался: — Конечно, вообще я лично к ней расположен, ну, а почему же вы ее не признаете? Одиноким товарищ. Это же факт? Сколько подруг-летчиц у нее погибло! Допустим, то, что вы про меня с ней думаете, — правда, хоть это совсем не правда. Разве нельзя вам поближе к ней держаться, даже если неправильно она, с вашей точки зрения, себя ведет? Сказать задушевно, просто, как подруги про такое разговаривают. А то — бойкот! Это что ж такое? Толкать человека на плохое, если считали, что он плохо поступает? — Наклонился, погасил папиросу о каблук, произнес глухо: — Так ты передай девушкам: Балуюев сказал, все это неправда. — Задумался: — И никогда правдой не будет, хотя она мне и нравится. Вот уедет она от нас, а помнить я ее все равно буду. — Он застенчиво улыбнулся: — Ну хоть помнить начальник свою подчиненную имеет право? Или, может, и этого нельзя?

— Павел Гаврилович, — взволнованно сказала Изольда, — вы хороший, и мы вам верим, что вы хороший! Мы просто ее нехорошей считали.

— Вот и зря. И вообще людей, получивших патент на одно хорошее, нет. Человек, он сам для себя разный быва-

ет. Ему самому с собой одному не справиться. — Развел широко руками. — А когда он вот в такой куче людей живет, глядишь, что-нибудь путное из него получается. И даже сам собой он иногда доволен бывает, — не удержался от хвастовства Балув и, почувствовав, что Изольда это заметила, сказал сухо: — Ну вот, спасибо за информацию. Поговорили. Привет. — Взял телефонную трубку, вызвал переход через Лучанское водохранилище, где он собирался опускать дюкер прямо со льда, что сулило большую экономию, и начал допытываться у прораба, как нарастает прочность льда и какими способами они там проверяют эту прочность.

— Снег сгребайте, снег! — кричал в трубку Балув. — Снег как одеяло на льду! Сгребайте! Заливайте водой, наращивайте плотность, тогда через неделю и приступим! Я вам Фирсова денька на два пришлю. Он во время блокады Ленинграда на Ладожском озере лед для дороги обследовал, имеет опыт. А я тут без него покомандую, отдохнет без начальства.

Лицо Балув было сосредоточенным и даже более воодушевленным, чем тогда, когда он говорил с Безугловой о всяческих сложных проблемах жизни. В производственных вопросах Балув никогда не утрачивал самоуверенности, любил повелевать и не скрывал, что ему очень нравится быть начальником.

28

В сельпо поступили в продажу чехословацкие фетровые шляпы. Неизвестно, кто первым совершил соблазнительную покупку, но скоро у дощатой будки хозяйственника Вильмана образовалась очередь. Вильман озабоченно проминал шляпы желающим и предавался воспоминаниям:

— До двадцатых годов ношением шляп занимались или сумасшедшие, или граждане, еще не достигшие лояльного состояния по отношению к Советской власти. Во времена нэпа шляпы росли, как поганки, на гнилой почве частной торговли и спекуляции. Потом словом «шляпа» стали называть хозяйственника, неспособного твердо проводить политику партии. Модной сделалась фуражка. Шляпы носили из принципа только некоторые интеллигенты. Но что мы видим сейчас? Началась полная путани-

ца. Головной убор уже ничего серьезного не означает. Важно одно — что под ним.

Протягивая Марченко промятую тарелочкой зеленую шляпу, советовал:

— Ниже двух пальцев до бровей натягивать не следует. Должна сидеть на голове независимо.

Виктору Зайцеву сказал:

— Правильно купил черную. Студент-заочник, законспирированный под рабочего.— Произнес: — Готовить уроки на производстве, без отрыва от науки,— это же только мы можем.

И лишь старшина водолазной станции Бубнов не позволил Вильману проминать шляпу:

— Зачем вещь мять? Ее и так красиво носить можно. В промятину дождь и пыль только собирать.

Словом, когда на рабочую площадку пришел Балуев, встревоженный предстоящей операцией опускания дюкера, первое, что он увидел,— шляпы.

— Это что за маскарад? — спросил он возмущенно прораба Фирсова, устоявшего перед шляпным соблазном.

— Стирают грани,— уныло сказал Фирсов, беспокоясь только об одном: удастся ли наличным количеством кранов-трубоукладчиков благополучно опустить дюкер.

— А может, они нарочно именно сегодня вырядились?

— Конечно, нарочно,— согласился Фирсов.— Народ нахальный: считают, все благополучно пройдет. На рассвете репетировали, вроде как получалось.

Краны-трубоукладчики стояли в излюбленных своих позах: стрелы подняты, противовесы опущены. Позади каждого трубоукладчика выстроились цугом два бульдозера, сцепленные тросами в один поезд.

Обшитый дощатой футеровкой, обвешанный неуклюжими чугунными грузами и черными бочками понтонов, просмоленный битумом, спеленатый гидроизоляцией, дюкер возлежал на земле мощной двухкилометровой колонной, почти столь же тяжеловесной, как порожний железнодорожный состав. Его предстояло поднять на воздух и бережно опустить с песчаной кручи в глубокую траншею, заполняемую водой уже вторые сутки.

Конечно, если бы Павел Гаврилович был человеком более самокритичным, он не стал бы обвинять рабочих за то, что они именно сегодня надели новые шляпы. Ведь и сам он, когда проходили решающие операции, являлся на площадку одетым особенно тщательно. Не в резиновых сапогах, а в ботинках с галошами, не в затрепанном ко-

жане, а в драповом пальто, тщательно выбритый, пахнувший одеколоном «Шипр». И на лице у него при этом было такое беззаботное, скушающее выражение, будто забрел он сюда случайно и его присутствие здесь вовсе не обязательно, все заранее предусмотрено, и вообще он тут сейчас лишний. У него правило: в последние минуты перед решающими операциями говорить с людьми только на посторонние темы, чтобы ни в коем случае ни у кого не возникало сомнения, будто что-то может оказаться не в порядке.

Следуя этому правилу, он подошел к машинистам трубоукладчиков, спросил весело:

— Ну что, артисты, как жизнь? До обеда управитесь? — Мельком бросил Зайцеву: — Тебе что, бюллетень погасили? — И осведомился сердито: — Это ты для ребят кару придумал — шляпы носить?

— Нет, это они сами.

— Пижоны! — Пригрозил: — Если завалите трубу, чтоб головы обратно переобуть в кепки, понятно? — Грозно набросился на машиниста Мехова: — Это ты на всех в столовой блины заказал? Превышаешь полномочия общественного контролера по питанию! Ты должен объективно к меню подходить. А если не все, как ты, блины любят? Опроси, потом повелевай! — Отозвал в сторону Зайцева: — Почему в красном уголке только первомайские плакаты?

— Наглядной агитацией Подгорная ведает.

— Рассуждаешь как бюрократ.

— Павел Гаврилович, а тросов хватит?

— Не интересуюсь. Надо было на планерке думать. — Упрекнул: — И пыль в красном уголке. Может, уборщицу для вас специально нанять?

Бережно, щадя ботинки, отошел на цыпочках, поманил пальцем Вильмана, приказал выложить запасные тросы.

— Уже, — сказал Вильман.

— Крюки?

— Тоже.

— Пиво в столовку?

— Со вчерашнего дня.

— Когда подавать, знаешь?

— Товарищ Балуюев, — возмутился Вильман, — об чем разговор! — Наклонился, произнес доверительно: — Будет два ведра раков.

На crane-трубоукладчике шестнадцать ручных рычагов и четыре ножных. Трубоукладчик весит семнадцать тонн.

Машинист трубоукладчика во время операции опускания дюзера похож на органиста. Ноги и руки его совершают сложные плавные движения, которые должны совпадать с такими же плавными движениями других машинистов. Они работают без дирижера. Музыканты имеют перед глазами ноты, а партитура опускания трубы не пишется. Слишком сильно задранная труба может обрушиться на машину, а если движение крана окажется замедленным,отягощенный трубой, он может перекувырнуться.

Утрата момента устойчивости наказуется опрокидывающим моментом.

Краны-трубоукладчики выступают дуэтом, трио, квartetом, отрабатывают ритмику тяжеловесных движений, как слоны на арене, но без дрессировщика.

Машинисты трубоукладчиков — корифеи среди трактористов, и даже линейный механик Сиволобов, спустившийся с авиационных высот на землю, привыкший к изысканной воздушной технике, не решается давать им советы во время репетиционных занятий.

До своего ранения Сиволобов был летчиком-истребителем. Он проделывал высший пилотаж в небе, как гимнаст под куполом цирка. Он отлично помнил, как обидчиво выслушивал в небе замечания инструктора с земли, вперявшего ввысь двустволку морского бинокля. И здесь, на рабочей площадке, Сиволобов был деликатен. Он молчал и не подавал советов.

Дирижировал занятиями Григорий Лупанин. Он был худ, долговяз. Почти две трети его тела — высокие ноги, обутые в сверкающие резиновые болотные сапоги с отвернутыми голенищами.

Короткая стеганка, кепка на затылке, яростное, хищное лицо с большим, хрящеватым носом и разверстыми широкими ноздрями, выпуклые коричневые глаза под взъерошенными бровями, плечи сухие, развернутые. Человечество, несомненно, потеряло в Лупанине чемпиона-десятиборца, но строители обрели в нем лучшего машиниста крана-трубоукладчика. Он обладал удивительным свойством ощущать машину как продолжение самого себя. Он был влюблен в новую технику, привередничал, мучил Вильмана капризами. Он пробовал автол, нигрол, солидол, костяные и турбинные масла, прежде чем решиться умащивать ими свою машину.

Запасные части он выбирал как-то брезгливо, иронически называл их протезами. Оскорблял министров ядовитыми письмами, бранил за то, что инструмент к тракто-

рам выпускают у нас грубый, некрасивый и рабочие машины красят в мрачные цвета простой, а не эмалевой краской. Когда его кран ставили на капитальный ремонт, он оставался жить в мастерских, как живут в больнице, если туда попадает близкий тебе человек, и делал все сам, принимая от других только необходимую помощь.

Лунанин закончил заочно машиностроительный техникум. Получив диплом, небрежно положил на дно чемодана. Отказался принять должность начальника мехколонны, заявив: «Машиной командовать — пожалуйста, а людьми мне не интересно».

На своем кране-трубоукладчике он сделал множество различных усовершенствований. Но когда ему предложили стать машинистом-испытателем на полигоне научно-исследовательского института, тоже наотрез отказался.

— В дачных условиях машины испытывать — занятие унылое, для этого пенсионера ищите. Разве на полигоне такие трудности придумаешь, какие на производстве бывают? Так нечего над машиной домашние спектакли устраивать. Присылайте образцы на рабочую площадку, там мы сразу определим, на что они годятся.

Отец Лунанина работал экскаваторщиком на строительстве волжского гидроэлектрического каскада, потом в Сибири. Переписка отца с сыном могла бы быть издана в качестве образца великолепного технического пособия для машинистов.

Мать работала крановщицей и сопровождала мужа во всех его путешествиях по стройкам. Младший брат был монтажником гидротурбин и тоже скитался по стране, следуя за отцом и матерью, но никогда не встречаясь с ними. Старший брат — летчик. Приезжая в отпуск, он многозначительно отмалчивался о делах службы, но исключительно толково объяснял возможность космического полета человека на ближайшую планету. Григорий, делая соответствующий вывод, замечал завистливо:

— Понятно, куда метишь.

Во время отпуска старший брат занимался дыхательной гимнастикой по системе индийских йогов в качестве замены упражнений в барокамере. Он так же, как Григорий, отличался свирепой целеустремленностью. Не курил, не пил, не тщился стать чемпионом спорта, хотя обладал для этого всеми данными. Оставался холостяком, говоря доверительно младшему брату:

— Ну их, еще рано мне в плен сдаваться. — И жалобно: — Да и некогда.

Когда он разговаривал даже с весьма непривлекательными по внешности девицами, потуплял глаза, становился таким застенчиво-нежным, что просто было его жаль. Но зато, проплыв под водой почти сто метров, дышал так же спокойно, ритмично, будто прошел это расстояние пешком по земле.

Григорий говорил брату сочувственно:

— Здорово вас школят на планетное путешествие. — И добавлял насмешливо: — В случае неудачи в дипломаты иди: от них это тоже требуется — выдержка и сохранение служебной тайны.

На стройке Григорий Лупанин дружил почти со всеми ребятами. И хотя, казалось, его натура родственна Борису Шпаковскому, ему не нравился надменно сжатый рот Шпаковского, его неподвижные чванливые глаза мраморного изваяния, невозмутимое спокойствие, упоенное сознание своей исключительности.

Но если сказать правду, Лупанин ревновал к Шпаковскому и мстил ему откровенным равнодушием, хотя порой, скрытно, после всех, ходил любоваться его работой.

Очарованно созерцать чужую работу — разве это не то же, что наслаждаться музыкой, возникшей в сердце другого человека, ощущать себя слитным с ним, хотя тебе неизвестно, как он всего этого достиг. Ведь профессия сварщика далека от профессии машиниста крана-трубоукладчика. Но наслаждение мастерством труда так же доступно каждому, как и наслаждение искусством.

Не вызывают симпатии люди, которые, обладая силой воли, любят повелевать только окружающими, а к себе относятся с всепрощающим добродушием и сердечностью.

В противоположность таким людям Лупанин был необычайно суров, требователен к самому себе и снисходителен к приятелям.

Он составил жизненные правила и никогда не отступал от них.

Есть люди, которые, только что прочитав книгу, испытывают нетерпеливую жажду немедленно порассуждать о прочитанном. Лупанин читал много и всегда брал с собой на всякий случай книгу, чтобы на досуге не сорить временем в никчемных разговорах. Однако он не любил высказывать свое суждение о прочитанном и в равной мере судачить о товарищах по работе с посторонними. Если книга ему не нравилась, он все равно обязательно дочитывал ее до конца, считая, что проявлять неуважение к книге столь же недопустимо, как выказывать пренебрежение к чело-

веку только за то, что он тебе чем-нибудь не по душе. Натура горячая, страстная, Лупанин жестко подавлял в себе порывы гнева или чрезмерного восторга. Он приучил себя не торопиться в выражении своих чувств, прибегая к внутренней дискуссии с самим собой, со своим двойником. Одного Григория Лупанина он считал опасно невыдержанным, другого — спокойным, волевым. Таким был его отец, заслуженно гордившийся родословной Лупаниных, берущей начало от уральских крепостных-горнорабочих.

С особой щепетильностью Григорий оберегал свое рабочее достоинство. Он боялся уронить его даже при таких обстоятельствах, в каких самые властолюбивые люди обычно теряются, занскивают и мямлят о своих чувствах, утратив всякую власть над собой.

Лупанину нравилась Капа Подгорная. Больше того, когда он видел ее, его охватывало чувство восторга и хотелось немедленно совершить что-то необычайное или хотя бы сказать ей какие-то удивительные слова.

Лупанин считал Капу особенной; обыкновенные люди, казалось ему, не могут привлечь ее внимание.

Работая на поддержке трубопровода краном-трубоукладчиком при очистной или изоляционной машинах, центруя трубы для монтажников, Лупанин всегда завидовал сварщикам, чей труд контролирует Подгорная.

Ему думалось, если б Капа контролировала его работу, она сразу, без слов, поняла, что он, Лупанин, обладает нежной душой. Ведь только он один способен с такой бережной точностью заставить свою могучую машину выполнять сложнейшие движения столь же умело, как это делают человеческие руки. Он всем своим существом как бы сливается с машиной.

Когда инспектор Госкотлонадзора производил испытание с перегрузкой крана-трубоукладчика Лупанина, записывая результаты проверки в шнуровую книгу, он каждый раз повторял восхищенно:

— Если ты, Григорий, и за девицами будешь так ухаживать, как за машиной, считаю, любая за тебя кинется. Надо же такую любовь иметь! — И скептически прибавлял: — Человек цельный, пока он один. Обрастет семьей — внимание расстраивается. — Советовал: — Так что держись, пока можешь. Лучше тебя механика здесь нет. А отчего? Душа пустяками не замусорена. Оттого и машина у тебя вся блестит — хоть сейчас на выставку!

Но Подгорная не интересовалась ни работой Лупанина, ни его машиной. Она нежно и восхищенно проводила рукой по глянцеvито-лаковой поверхности сварного шва Шпаковского и произносила благоговейно:

— Даже внешне структура свидетельствует — шов гарантийный.

И Шпаковский благосклонно соглашался, вежливо носил за Капой свинцовый контейнер и, будучи убежден в гарантийных качествах своей сварки, разговаривал с Подгорной вовсе не на производственные темы.

Конечно, Лупанину иногда тоже открывалась возможность побеседовать с Капой и даже проводить домой. Но мешали ее глаза. Он не мог смотреть в черно-сияющие глаза Капы: столько в них было таинственной глубины, мягкого, проникающего в душу блеска!

Он видел ее всю, такую необыкновенную, и жаждал говорить необыкновенными словами, а их не было. Простые слова шершаво застревали в горле, и он уныло лепетал о чем-нибудь скучном. Капа удивленно и как-то сочувственно-растеряннo смотрела на него. И от этой ее жалости к нему Лупанин приходил в еще большее смятение. Но разве он был в этом виноват? На одних красота действует, как музыка марша: внушает бодрость, энергию, уверенность в себе. А у других красота вызывает чувство возвышенной печали, жажду мечтаний о несбыточном... И какая из этих натур человеческих достойнее, сказать затруднительно, тем более что и той и другой наличие таких душевных качеств не мешает в работе на производстве. И не всем везет, как Шпаковскому: отчитываться в производственных успехах красотой своего труда перед самой красивой девушкой и молчаливо пленять ее только тем, что ты умеешь делать свое дело лучше всех. Счастливы те, кто, как Шпаковский, может возвышать себя в глазах любимой одним только высоким мастерством своим, без всяких прочих вспомогательных средств, принятых в человеческом обиходе для того, чтобы поправиться тому, кому больше всего хочется нравиться.

Обычно в опускании трубы в траншею принимали участие три крана-трубоукладчика. Встав в одну линию, приняв свои классические позы — стрелы подняты, противовесы опущены, — они одновременно поднимали трубу и держали ее на весу. Крайний правый начинал медленно опускать ее на дно траншеи и, опустив, сделав разворот, мерной поступью отходил в конец; там, подняв трубу, ждал, пока следующий трубоукладчик повторит все дви-

жения первого. То же делал и третий. И так, грациозно, именно грациозно, кружась и семена стальными подошвами гусениц, они повторяли фигуры, пока вся плеть трубы не укладывалась на свое ложе.

Сегодняшняя работа была усложнена до крайности. Каждый кран-трубоукладчик сопровождало по два бульдозера, сцепленных с ними стальными буксирами. Григорий Лупанин был беспощаден, он добивался полного ритмического совпадения маневра и заставлял во время репетиции при малейшем нарушении ритма начинать все сначала.

Если учесть, что на рычаг поворота требуется усилие, равное шестнадцати килограммам, а разможенная траками земляная арена превратилась в кратер, полный грязи, можно понять, как нелегко доставалось все это машинистам. От них несло острым звериным потом. Но в репетиционном балетном зале пахнет тоже не только одеколоном и пудрой. Каждый раз, кончая репетицию, машинисты долго отмывали и приводили в порядок машины и только потом сами отправлялись под душ. Сначала заправляли машины горючим и маслом, затем сами шли «заправиться» в столовую. Здесь, отодвинув тарелки, продолжали горячо обсуждать детали операции опускания джукера и на оборотной стороне меню чертили схемы.

Лупанин сказал Балуюву:

— Ваше место сегодня в партере. Нам командующих не требуется.

Балуюв согласился с покорной поспешностью:

— Ты, Гриша, не нервничай, пожалуйста; ладно, согласен — я только зритель.

И отошел в сторону. Он любил и поощрял людей, которые в ответственные минуты умели сами командовать собой. И хотя Лупанин говорил о себе с сожалением, что он не мастак ухаживать за девушками, сегодня, идя мимо Капы Подгорной к машине, он взял из ее рук стебель сухого конского щавеля, которым она обметала снег с плеч Зины Пеночкиной, отломил веточку, засунул ее за черную ленту фетровой шляпы, подмигнул, сказал:

— На счастье! — И, небрежно волоча длинные ноги в резиновых ботфортах, пошел, не оглядываясь, широкоплечий, вертикальный, с гордо поднятой головой.

Перед тем как начать спуск джукера в траншею, Григорий Лупанин объявил короткий перекур.

Машинисты и бульдозеристы собрались в кучу.

Падал липкий снег. Над болотом, поросшим взъерошенным кустарником, напухал рыхлый сизый туман. От реки несло сырой стужей, облезлые песчаные берега были оторочены тончайшей ледяной кромкой.

На холмах возвышались высокомерными башнями огромные старые ели.

В ложбине сверкали стеклом гигантские корпуса химического завода младенческого возраста. Он стоял в березовой роще. И многие рабочие еще предпочитали ходить на завод не по бетонному тротуару, а по старым тропкам. Тяжелые, солнцenneпроницаемые тучи затеняли землю.

Глубокая длинная траншея рассекла болотистую низину и береговую кручу.

Песчаный остров прососан насквозь земснарядом. В промоине плавает водолазный баркас, и там, где работа идет под водой, на поверхности реки ритмично клокочет пенистый бурун.

Перекуром называют краткий перерыв на отдых. Но машинисты еще и не начинали работы. О каком же отдыхе могла идти речь? Просто нужно было собраться с мыслями. Представить себе картину опускания джукера в траншею по этапам.

Сейчас напряженно работало воображение, и хотя каждый примерно знал, о чем думает другой, никто не считал нужным в силу особой, интимной рабочей деликатности говорить об этом. Здесь сказывалось целомудренно-щепетильное отношение к труду, я бы даже сказал, некая стыдливость переживаний, тревожных, напряженных, глубоко личных.

Притворно-унылое равнодушие, скучающие лица и глаза, сонные, невидящие. Не так ли, стоя в сумерках кулис перед выходом на блистающую светом сцену, собирает всю свою душевную силу артист, чтобы мгновенно стать иным, чем он был секунду назад, и властно подчинить себе человеческие сердца.

Машинист Мехов сказал:

— Брат в Индию нанялся, завод строить, оставил в дар полушубок и валенки, там они ему ни к чему: жара одна.

— В Бухаре тоже климат теплый.

— Климатов много, всех не перечесть.

Зайцев вставил задумчиво:

— Бывают книги, которые от времени портятся, а другие, наоборот, даже лучше становятся.

Мехов произнес мечтательно:

— Вот прибавит нам техника скоростей, досрочно в коммунизме все очутимся! Интересно пожить в нем, а?! Сиволобов оборвал сердито:

— Про технику рассуждаешь, а в авиации ноль согласишь!

— Ты напрасно: авиацию я признаю, — возразил Мехов, — на одних харчах в пути экономия громадная.

Падая, снег слипался в воздухе в крупные, рыхлые хлопья. Было зябко в его белых сумерках.

Затоптав ожесточенно окурок, Лупанин объявил:

— Ну, пошли! — И мельком взглянул на ручные часы.

Погода, как было сказано, стояла дурная — унылая, сырая и зябкая, но люди здесь не обращали на нее никакого внимания. Они вели себя под пакостным, мокрым, студеным небом так, как если бы над головой у них простиралась стеклянная кровля цеха.

Может, все они были особо закалены или являлись натурами, невосприимчивыми к тонким переживаниям? Как раз наоборот. Именно в силу исключительной нервной напряженности они не замечали мерзкой погоды, сосредоточив всю свою душевную и физическую энергию на задаче, которую им предстояло решить.

Некоторые полагают, что художник, охваченный вдохновением, выглядит примерно так: глаза пылают, из уст исходят торжественные слова, приличествующие моменту. Он весь — нетерпение. Он спешит запечатлеть нечто — яростно, воодушевленно, боясь упустить счастливый миг внезапного озарения.

Все это ерунда! Вдохновение — это уверенность ясно понятой задачи, достигнутая ценою огромного, тщательного предварительного труда и размышлений, более тяжелых и мучительных, чем самый труд. И здесь мы полностью согласны с французским авиатором — писателем Сент-Экзюпери, сказавшим: «Видимо, совершенство достигается не тогда, когда нечего больше добавить, а тогда, когда ничего больше нельзя отсечь».

Взобравшись на железное сиденье крана-трубоукладчика, Мехов тут же перестал думать о том, что личная жизнь ему не удалась. Жена, подмосковная колхозница, спекулирует клубникой на кунцевском рынке, клубнику она высаживает на всем приусадебном участке. Заведующий продуктовой палаткой кунцевского рынка ночует в его доме. Но у Мехова нет сил бросить жену. Он любит ее

и боится одного: чтобы люди не узнали о его унижении. Он содрогается, когда думает о жене, а не думать о ней не может. У него всегда несчастное, удрученное лицо. Но только не тогда, когда он работает. «Мишка в работе — орел!» — говорят о нем почтительно товарищи, не зная еще, какой поистине высокой, вдохновенной волей обладает этот человек, способный отсекал от себя все, что так мучительно тяготит его душу, все, что может помешать его труду.

Но разве в ведомстве, где служил Балуюев, могли принять в качестве отчета о служебной командировке его поездку к супруге Мехова, беседу с председателем колхоза, совместное с ним посещение заведующего рыночной палаткой? Балуюев считал эту командировку более важной в служебном отношении, чем все прочие. И все безуспешно! Мехов потом пришел к Балуюеву и сказал: «Спасибо, Павел Гаврилович, за то, что вы их там поругали, — развеял растерянню руками, — а я вот сам не мог. — Потупившись, признался: — Но все равно я ей письмо официальное послал для правления колхоза. Будто оклеветал из ревности. Такой я, значит, слабодушный».

Мехов, возложив руки на рычаги, сидел на трубоукладчике с царственно спокойным выражением лица, и в голове его отчетливо складывалась по этапам вся картина операции опускания дюкера в траншею.

Лупанина все эти дни терзала мысль о подвиге Виктора Зайцева, протащившего трос сквозь обсадную трубу. Он относился свысока к этому «правильнику», как прозвали Зайцева ребята за его склонность к возвышенным рассуждениям и к выпрненным, книжным выражениям. Лупанин считал, что ему, потомственному рабочему, нечего форсить словами о своей преданности Советской власти, что у него это сидит внутри.

Встретив как-то Виктора, он сказал язвительно:

— Ну что, через трубу пролез в члены бюро райкома комсомола, в кабинете теперь сидеть будешь? Там небось не трясет, не дует со всех сторон, как на бульдозере.

Безуглова взглянула на него презрительно:

— А ты примерялся к этой трубе? Для трусов она тесная!

Зина всплеснула руками и воскликнула с отчаянием:

— Гриша, ты подумай, какую ты ужасную глупость сказал!

А Подгорная произнесла спокойно:

— Ты не забудь эти слова, чтобы потом по нашей просьбе перед всеми комсомольцами повторить. Если, конечно, у тебя духу хватит!

И только Зайцев, растерянно улыбаясь, сказал мягко:

— Конечно, ты самый у нас сильный и мог быстрее, чем я, сквозь трубу проползти. А я плохо полз, медленно, и от этого все волновались и тоже туда полезли.

Стыд, который испытал Лупанин после слов Зайцева, жег его все эти дни. Он понимал, что ни при каких обстоятельствах не мог бы сказать о себе так, как сказал Зайцев. Когда машинисты и бульдозеристы избрали его старшим на операцию по опусканию джукера, он чуть не расплакался от волнения. Лупанина мучила совесть, что ребята думают о нем лучше, чем он есть. Во время репетиции, когда машинами отрабатывали маневры, Лупанин всл себя с людьми крайне скромно, кротко, что было совсем не в его обычае. Рабочие приписывали это волнению, естественному перед ответственной работой.

Но, усевшись в машину, мгновенно забыв все, что его мучило, Лупанин властно крикнул, полный сознания своего главенства над всеми:

— Ну, вы там, слушай своего высокопоставленного! — Приказал Мехову: — Сдай на полтрака назад! Равняйся по мне. — И встал, опираясь рукой о предохранительную стальную балку, изогнутую в дугу над сиденьем.

Все тракторные машины, как известно, снабжены кабинами. В них сравнительно тепло и не дует.

Машинисту крана-трубоукладчика необходим круговой обзор. Поэтому на тракторе С-80 нет кабины. Изогнутая дугой стальная балка только предохраняет машиниста от случайного удара поднятой трубы или от падения.

Но все машинисты кранов-трубоукладчиков оделись сегодня легко, почти по-летнему. И было зябко глядеть на них, как на футболистов, выходящих в снежную пургу на поле в финальный матч сезона.

Федор Филиппович Вавилов, грузный, отяжелевший, с обвислыми щеками, но и сейчас еще, несмотря на свой возраст, человек огромной силы. У него округлая спина, это не лопатки торчат — выпирают пласты мышц. Но если бы вы видели, как он после работы учтиво подтягивает ключом крепления катков, башмаков гусениц, наводит легкий технический туалет машине, вы подивились бы нежности его точных прикосновений к деталям механизма.

— Машину лелеять надо. Тогда работа на ней — отдых. А уход — труд, это правильно, тут ничего не подела-

ешь, закон вселенной.— В этом, как он говорил, вся его «идеология механика».

Федор Филиппович — прекрасный семьянин, предан супруге, взрослым детям, томится по ним тоской, живет на расстоянии их интересами, постоянно тратится на междугородные телефонные разговоры. За три минуты все семейство Вавиловых, включая внуков, успевает передать из рук в руки телефонную трубку. Федор Филиппович не успокоится, пока не услышит голоса всех.

На строительстве он потому, что здесь можно заработать больше, чем на заводе. Сын и две его дочери получили высшее образование. Вавилов самолюбив и, пока превосходит своих детей заработком, твердо чувствует себя главой семьи. Вне рабочего времени он нелюдим, озабочен. Считает, что его сын и дочери — личности выдающиеся. Сам он не стремится расширить свой кругозор чтением. Надевает очки только тогда, когда идет в лес за грибами. Обладает даром почти мгновенно понять конструктивные особенности каждого нового агрегата. У него изумительная зрительная память. Почти без всякого усилия может представить, в какой динамический момент, в каком взаимодействии находятся все многочисленные детали машины. Он не добр, не приветлив, скуп.

Однако на машине Вавилов преображается. Живость и возбуждение охватывают его. Он первым бросается к товарищу, чтобы оказать помощь. Мгновенно, прозорливо и умно обнаруживает неполадку в чужой машине, сам устраняет ее.

Однажды он сказал Лупанину:

— Прямо тебе пророчески заявляю: подтяни сальник водяного насоса, улики нет, но чую, слабо он себя держит, не внушает доверия.

Месяц назад он получил тревожное письмо от жены, она писала, что младшая дочь собирается замуж за бывшего своего пионервожатого, теперь учителя ремесленного училища. Вавилов не помнил этого пионервожатого, но почему-то он представлялся ему престарелым соблазнителем, чем-то вроде Мазепы, прельстившим его дочь рассказами о фронтовых подвигах. Раздраженный этими мыслями, он стал страдать бессонницей и сделался еще более нелюдимым, стгоряча подал заявление об уходе, решив ехать домой. Но когда узнал, что ребята настояли на том, чтобы класть трассу через болото и сэкономить государству металл, застыдился уходить в самое трудное для стройки время. Теперь он досадовал на свое «малодушие»,

задирался со всеми, капризничал на «репетициях», насмехался над Лупаниным:

— Ну, ты, низкопоставленное высокое начальство, скажи, долго нам вхолостую машинами еще куролесить?..

Сейчас, положив могучие руки на рычаги, Вавилов весь замер, скосив глаза на Лупанина, и ощущение счастливого отдыха от всех забот заполняло его существо, преданное в эти мгновения только одному — работе.

Да, люди, которые обладают дивным даром самозабвенно, с великим, всепоглощающим сосредоточием отдавать себя целиком колдовскому, завораживающему очарованию труда — счастливые люди. Это ощущение отрешенности от всего, страстной нацеленности, пожалуй, и есть настоящее, чистое вдохновение, в равной мере доступное Пушкину, Гете, Шекспиру и... миллионам граждан обычных, скромных профессий.

29

Когда посторонний человек прочтет сотню-другую приказов, инструкций, которыми направляется деятельность хозяйственника, у него может возникнуть совершенно неправильное представление, будто достаточно быть только грамотным, чтобы исполнять эту должность.

Действительно, во множестве документов прописано наперед все, что надлежит делать и чего делать не следует. С пылким и пронизательным воображением в них предусматриваются возможности почти всех нежелательных поступков ответственного лица. И вместе с тем в этих документах ощущается и огромная сила обобщения. Их могут читать с равным увлечением деятели любой отрасли промышленности на любой географической точке, не испытывая при этом сомнения в том, что бумага адресована им персонально. Пишутся, конечно, такие инструкции вовсе не для того, чтобы избавить человека от необходимости самостоятельно мыслить и действовать. Они существуют в качестве объективной истины, которая обретает карающую силу, если производственный план не выполняется. А если все идет хорошо, то чтение таких документов обогащает познаниями, вызывает восхищение лаконизмом стиля. Так как в конце всегда заключена мораль, — значит, они имеют и воспитательное значение.

Приказы можно разделить на три категории:

1. Технические — пишутся в жанре производственного очерка.

2. Благодарности — выдающийся образец самой краткой хвалебной рецензии.

3. Наложение взысканий, выговора — богатейший материал для собирателей отрицательных явлений действительности. Кладезь негодующих выражений для разностной критики.

Павел Гаврилович обычно погружался в чтение этой ведомственной литературы на ночь. Это было его ошибкой. Она вовсе не обладала полезными усыпительными свойствами, как некоторые произведения беллетристики. Наоборот, волновала, беспокоила, внушала тревогу, взывала к действию, а иногда и к противодействию.

Скажем, все ведомственные инструкции, касающиеся укладки труб в траншею, написаны в духе классических идиллий. События происходят на некоей территории, где круглый год царит весна и люди озабочены только тем, чтобы украшать эту землю собой и слушаться старших. Но как, скажем, быть с гиблым болотом, да еще когда с последними днями гнилой осени смыкается свирепое наступление зимы? И не земля в этой пойме, а сплошная рухлядь. Разве можно поставить на такой земле краны-трубоукладчики согласно требованиям инструкции, где выписаны формулы опрокидывающего момента, основанные на идиллическом представлении о нашей суше?

Павел Гаврилович вместе с машинистами решил применить для данного случая тракторные поезда из бульдозеров. Они должны удерживать краны-трубоукладчики от сползания в траншею, когда краны поднимут тяжелую колонну дюзера, а потом начнут медленно опускать ее на дно. А вдруг какой-нибудь трубоукладчик завалится? Что тогда? Кто будет отвечать? Он, Балуев. И отвечать не только за то, что кран завалился, а и за то, что нарушил инструкцию. Чем нарушил? Да ведь там ничего не сказано о тракторных поездах, о том, что на свете существуют болота. А он посмел применить тракторный поезд! Но ведь без страховки кран может завалиться. Однако нужно страховать не только краны, но и себя. Послать в инстанцию докладную: так, мол, и так, в связи с грунтами слабо несущей поверхности приостановил работу, жду указаний. Такой-то.

Что ж, Павел Гаврилович когда-то прибегал к подобным способам самостраховки! Это помогало ему, но не делу. Некоторые обстоятельства прошлого вынуждали хо-

зайственников вырабатывать для себя этот иммунитет от возмездия за рискованную инициативу.

Павел Гаврилович сказал как-то прорабу Фирсову в порыве дружеской откровенности:

— Мы с тобой Двадцатый съезд еще во всю глубину даже не осмыслили. С каждым днем все светлее, люди окрылились дерзостью дела, осмелели. Помнишь, раньше? Каждый хозяйственник на себя кольчужку надевал из приказов, инструкций, докладных. В случае чего — пожалуйста — прикрыт. Сколько наших под суд попадало. Каждый знал законы в объеме высшего юридического образования. Кто был главный человек на стройке? Прокурор. Сколько я с ними папирос выкурил! С некоторыми дружил даже. Вместе, бывало, советовались, как дело по-новому сделать и за статью при этом какую-нибудь не задеть, чтобы не рухнуть. Попадались башковитые, сами стройкой зажигались, помогали.

Придешь к секретарю обкома, скажешь: «Есть возможность при нарушении проекта быстрее дело сделать». Выслушает, одобрит, а ты у него бумажку просишь. Даже для мелочей официальное благословение выпрашивали. Ну там нас, конечно, понимали, содействовали самосохранению, если ты человек стоящий и предложение твое стоящее. Ну, словом, ладили с прокурором. Дело дороже и самолюбия и прочего.

Теперь, конечно, наш брат, хозяйственник, тоже труса празднует. Но это уже боязнь другого сорта, высшего качества, я бы сказал, боязнь. От своего времени отстать боишься: скоростное оно. Будто всю страну, как спутник, на полную мощность запустили.

Фирсов, слушая, кивал, соглашаясь, но потом сказал:

— Я все-таки за тракторные поезда беспокоюсь, а вдруг кран завалится? Может, позвонить, информировать?

— По-братски хочешь ответственность разделить? Эх, Алексей Игнатьевич, ну на черта нам сейчас сдалась эта старая «закалка»? — Душевно спросил: — И тебе не известно?

— Совестно, — согласился Фирсов, — но позвонить все-таки надежней, я за вас беспокоюсь, на вашу голову неприятности.

— А когда человек ее высоко держит, всем виднее, какой он, и тогда зря ему ничего не грозит, кроме собственной глупости, которая всегда главная опасность.

Приминая болотный кустарник, ползал мокрый, грязный ветер. Снег в полужидком состоянии, как серая плесень. Выходы глинистых пластов в скользкой, желтой слизи.

Сыро, серо от холодного, дымного тумана. Тусклая река тяжело влачится в обглоданных паводками берегах.

Отвратительное место эта заболоченная пойма, полная раскисшей грязи!

Кольчатое горло шланга тянется от земснаряда, как серое пресмыкающееся, выхлупывая из себя воду толчками в траншею.

Земснаряд, притулившийся к оползшему берегу, — гордость Балуюева.

Плавучий земснаряд стоит добрый миллион. Подводники возят его за собой в разобранном виде на трейлере. Земснаряд Балуюева состоит из металлических паглухо сваренных самодельных ящиков, понтонов, купленного по дешевке, устаревшего для армии танкового мотора и центробежного насоса, добытого у торфяников. Для того чтобы смонтировать из этого добра плавучий земснаряд, нужно всего несколько суток, а стоимость его меньше ста тысяч. Балуюев любил эту машину за ее дешевизну. Он требовал у Вильмана:

— Надо покрасить. — И объяснял смущенно: — Для красоты вида. — Хвастал: — Я же его сам придумал. — Усмехался: — Человек — животное исключительно умное.

Земснаряд окрасили щедро. Представители речного флота находили окраску неэстетичной, но мощность, безотказность механизма восхищала их так же, как и дешевизна.

Павел Гаврилович дал земснаряду гордое имя — «Отважный».

Вода в траншее грязная, мутная, плавают на поверхности бурые торфяные клочья и радужные пятна нефти. Чем ближе к урезу реки, тем круче, выше берега траншеи. Она похожа на глубокое ущелье.

Краны-трубоукладчики выстроились вдоль траншеи, и там, где они стоят, стены откосов медленно оползают песчаной осыпью.

Затянутая в деревянный корсет футеровки, оседланная чугунными грузами, обвешанная бочками понтонов, которые должны облегчить ее тяжесть, стальная двухкилометровая колонна возлежит на земле, опираясь на куцые бревна.

Одновременно приподнятая стрелами кранов-трубоукладчиков, труба гибко повисла, словно упругая кишка. Первый трубоукладчик медленно приблизился к срезу траншеи. Грунт из-под него выпер и стал оползать, тросы, соединявшие кран с бульдозерами, натянулись, тросовое масло выступило на скрученных стальных волокнах. Трубоукладчик, казалось, держался только на том, что его траки прилипли к глине.

К Павлу Гавриловичу подошел Сиволобов. На нем надета фронтовая, защитного цвета меховая безрукавка. Губы сухие, жестко сжаты. Кивнув на краны-трубоукладчики, пожаловался:

— Когда на цель во время бомбежки заходил, не волновался, а тут, видите... — Вытянул руку — пальцы дрожали.

Балуев ничего не ответил, он смотрел... Почти стоя, Лупанин держал руки на рычагах. Шея вытянута, хрящеватый нос бледен. Кожа лица натянута, капельки пота на висках, и при этом беззаботная улыбка, добытая ценой нечеловеческого усилия.

Сиволобов сказал:

— Товарищ Вильман считает, что геройство на производстве — только от переизбытка сил и пренебрежения к здоровью.

— Тихо ты! — крикнул Балуев Сиволобову, хотя для опускания трубы тишины не требовалось.

Труба медленно обвисала, сползая все ниже и ниже по песчаной круче.

Стропальщик освободил трос, и, медленно разворачиваясь, кран с облегчением величественной поступью протопал в конец машинной шеренги.

Второй кран безукоризненно проделал все, что свершил первый. За ним то же повторил третий.

Скошенная труба уже легла своим концом на дно траншеи. Змеиное тело ее все дальше и дальше вытягивалось вдоль русла канала. Стоящие на противоположном берегу тракторы подтянули застропленную трубу на середину канала. Бочки понтонов, как поплавки, высоко торчали из воды.

Казалось, что мгновенно померкнул слабый утренний свет и хлынула чернота ночи.

Краны-трубоукладчики пырнули темноту белыми лезвиями прожекторов. Дюкер лежал в траншее на плаву, вытянув гибкое трубчатое тело.

Лупанин, сойдя с машины, небрежно волок по грязи свои длинные ноги в резиновых ботфортах. Фетровая шляпа сдвинута на затылок, хищное лицо спокойно. Подойдя к Балуюву, сказал:

— Павел Гаврилович, это верно Зайцев говорил, что по Шекспиру уже не одну сотню лет идет мировая дискуссия, будто не он автор, а какой-то аристократ? Неужто до сих пор разобраться не могут? — Произнес задумчиво: — Смотрел зарубежную картину по его пьесе: горбун провожает вдову, идущую за гробом супруга, а горбун выдающийся оратор, ну и уговорил. Здорово показано, какая сила в слове имеется даже на подлость!

Балуев смотрел на Лупанина растеряннo и изумленно. Потом схватил его жесткую сильную руку, пожал.

— Спасибо, Гриша.

— А как же, — сказал Лупанин, — столько репетировали, да чтобы после этого не вышло, смешно даже думать.

Подойдя к Балуюву, усталый, осунувшийся Мехов вдруг задрал подбородок, высоко вскидывая ноги, не сгибая в коленях, держа руки по швам, протопал мимо, как солдат при церемониальном марше.

Балуев крикнул:

— Товарищ Мехов! Администрация пиво выставила, а от водолазов отдельно — раки. И, простирая руки к парусиновому шатру столовки, пригласил: — Прошу!

Лицо у Мехова было счастливое. Он улыбался своей шутке, довольный, что может шутить и чувствовать себя сейчас легко и свободно после отлично слаженной работы, где он показал себя не хуже других.

Подошел Вавилов, сказал угрюмо:

— Ты, Павел Гаврилович, мое заявление об уходе во внимание не принимай. Съезжу только, выдам дочь замуж. — Добавил сердито: — За одного товарища, и вернусь. — Откашлялся. — Дюкер аккуратно в канаву уложили, как ребенка в люльку, даже футеровки не подрали. А отчего? Душа в душу действовали. Вроде как в хоре спелись, и получилось.

— А меня что ж на свадьбу не зовешь?

— Павел Гаврилович, дорогой человек! Так это мне такой сюрприз будет, высшая премия!

— Пришлешь телеграмму за два дня — прилечу или на машине махну. Я человек точный.

Балуев бывал почти на всех семейных торжествах своих рабочих. Это он считал для себя более обязательным

и нужным, чем присутствие на некоторых ведомственных совещаниях.

То, что маститый машинист Вавилов решил остаться на стройке, дополнило радость благополучного спуска дюкера и укрепило уверенность Балужева, что медлить с протаскиванием больше не следует. Эта завершающая все работы самая ответственная операция требовала не только точной подготовки, но и душевного подъема людей. И Балужев понимал, что сейчас самое для этого благоприятное время, не по состоянию погоды, а по состоянию духа строителей, что он считал паиважнейшим условием успеха.

Чтобы воздать почести, обессмертить деяния, увековечить славу героя, из всех благородных материалов, годных в качестве сырья для этих высоких целей, человечество избрало из металлов — бронзу, из минералов — мрамор, из растительности — лавр.

Что такое слава? Это доза бессмертия. Она животворна, полезна, но при излишествах пагубна. Сколько кому и за что причитается этого ценнейшего продукта человеческого уважения, в конечном итоге определяет история. Но пока слава не подверглась усушке, утруске времени, даже крохотная ее доза излучает дивное сияние. Нет на земле человека, который бы отверг такое украшение для своего чела! Этот светоносный обруч обладает свойствами упругости. Его может носить один человек бубликом на темени. А можно опоясать им целую кучу людей, того заслуживающих. Одно время считался более модным бублик на темени, чем целый светоносный ореол, достойно венчающий народ. Но вообще я за индивидуальные памятники: чем больше их в городе, тем больше примечательных мест для встреч влюбленных. О них тоже надо думать деятелям коммунального хозяйства, потому что еще не выяснено, что приятнее: любовь или слава. Но, конечно, можно предположить: граждане, назначающие свидания у памятников, подчеркивают этим как бы и любовь к славе, потому что одной любовью долго не проживешь. В нашей стране уважают славу. Но не как средство украшения: она, подобно расщепленному атому, обладает способностью излучать энергию для новых свершений и своей цепной реакцией побуждает тысячи, миллионы людей творить бессмертные деяния. Свет их не меркнет в веках.

Павлу Гавриловичу, как хозяйственнику, приходится по роду своей деятельности отдавать много душевных сил

предметам грубым, материальным. Однажды зимой, лежа ночью на раскладушке, он увидел в окне избы дрожащие блики автомобильных фар. Сунув босые ноги в валенки, накинув поверх белья кожан, он выскочил на улицу. Долгожданный грузовик, в кузове которого возвышалась гигантская деревянная катушка с намотанным на нее тросом, остановился посреди деревенской проселочной дороги. Балув кинулся к кабине, выволок из нее одетого в тулуп, а поверх тулука в брезентовый балахон Вильмана, звонко расцеловал в синие обмороженные щеки и, лепеча восторженные слова, привел к себе, влюбленно держа за руку. Усадил на табурет, стащил с хозяйственника застывшие кирзовые сапоги, заставил надеть свои теплые валенки, мгновенно вспорол ножом две банки консервов, выплеснул холодный чай из кружки, наполнил ее коньяком «три звездочки», высыпал на стол таблетки кальцекса, приказал: «Прими!» Схватил телефонную трубку, стал названивать другим начальникам участков и, захлебываясь, хвастал, какой у него выдающийся снабженец товарищ Вильман. Снова оделся, вышел на улицу, попросил разложить трос по проселочной дороге, ходил вдоль разматанного троса, щупал, светил электрическим фонариком и не успокоился до тех пор, пока трос при нем не смазали автолом и не смотали обратно на катушку. Потом, улегшись на свою раскладушку, Балув долго ворочался, вздыхая, а иногда даже счастливо хихикал. Заснуть он не мог от возбуждения. Встал, завернул в носовой платок кофейных зерен, разбил их молотком на подоконнике, высыпал в большую алюминиевую кружку и, поставив на керосинку, сварил кофе, густой, как каша. Потом опять оделся, вышел во двор, куда закатили деревянную катушку с тросом, разбудил кладовщика и приказал:

— Без моего личного разрешения ни одного метра никому. Пускай старыми пользуются. Я его на Иртыше обновлю.— Добавил уважительно: — Это же не трос — зверь.— И нежно погладил жирные волокна толстого, жилистого стального каната.

Восторг и воодушевление, которые испытывал Павел Гаврилович, обрета в запас несколько сот метров троса, были чистосердечными, и душа его ликovala.

Но это вовсе не означает, что предметы материальной культуры заслоняли у него интерес к духовной культуре. При благополучной производственной обстановке Балув обожал газетчиков, фотокорреспондентов, а перед кинохроникерами прямо-таки благоговел. Конечно, служебный

долг этих товарищей повелевает им перерабатывать человеческие деяния в славу, подобно тому как нервные волокна мозговых клеток перерабатывают химическую энергию организма в электрические токи, трансформируя их в мысли и мечты. Поэтому Павел Гаврилович дал указание Фирсову пригласить на операцию протаскивания дюкера представителей печати из области. Фирсов сказал уклончиво:

— Может, потом по телефону сообщим как о состоявшемся факте?

— Нет, пусть присутствуют, — твердо сказал Балувев. — Нужно людям порыв создать, воодушевление, уверенность. — Потер лоб ладонью, признался: — Конечно, в один день может не получиться, но важен первый рывок.

— А если сорвется?

— Тогда... — жертвенным тоном произнес Балувев. — Я их знаю: дадут критическую информацию, объект — я. — Оживился: — Но одновременно отметят героев производства, а это все равно в нашу сторону плюс.

— Все ж таки я бы воздержался.

— А я человек невоздержанный, — сердито заявил Балувев, — люблю славу, прямо-таки обожаю ее сверх всякой меры. — И в который раз раскатал на столе свиток ватманской бумаги, где была изображена схема протаскивания дюкера с обозначением мест, маршрутов машин и точным, до секунд, расписанием их сложного взаимодействия.

Репетиции по операции протаскивания дюкера через водную преграду проводились ежедневно. Все было отработано до мельчайших подробностей.

30

Вечером с водного перехода через речку Сорочка Балувеву позвонил мастер Бекбулатов и сказал, что при промывке траншеи обнаружен огромный валун. Павел Гаврилович немедленно решил «смотаться» на переход с тем, чтобы на рассвете вернуться.

Он прихватил с собой Капу Подгорную, которая должна была просветить там стыки дюкера.

На небольших расстояниях Балувев обычно вел машину сам.

— Ну, как жизнь, ваше сиятельство? — спросил Павел Гаврилович Капу, блаженствуя за баранкой машины,

счастливый оттого, что несколько часов можно ни о чем не думать.

Подгорная сидела прямо, плотно прижавшись к спинке сиденья. Губы — сжаты, длинные глаза излучали черное мрачное сияние.

Покосившись на Капу, Балусев произнес беспечно:

— Лицо у тебя какое-то угрожающее, как у разгневанной индийской богини. В чем дело? Может, не твоя очередь на переход ехать?

— Моя.

— Ты посмотри, какая красота — природа! Деревья обледенели, кусты тоже. Вроде как выставка стекла. Недавно слушал по радио выступление ученого, — из стекловолокна можно канаты делать прочнее стальных, и, конечно, никакой коррозии. Нам бы такие, для протаскивания дюкеров.

— У вас красота вызывает только хозяйственные идеи.

— Да ты что?

— Ничего, просто сказала правду.

Балусев сбавил скорость, спросил озабоченно:

— Может, ты не совсем здорова? — Положил ладонь на лоб Капы.

Она закрыла глаза. Лицо стало жалобным, губы дрожали.

— Да ты что?

— Уберите руку.

Подгорная повернулась спиной, скорчилась на сиденье. Балусеву показалось, что она плачет. Он остановил машину, вылез, зашел с другой стороны, открыл дверцу, сказал растерянно:

— Я же не могу машину вести, если рядом человек страдает. Объясни определенно, что случилось? Гололедица, а тут внимание раздваивать приходится.

— Ну да, — всхлипывая, сказала Капа, — вы же человек цельный и несчастных не любите.

Балусев деловито попинал скаты, сел за руль, сосредоточенно глядя перед собой, молча вел машину. Через некоторое время сказал с облегченным вздохом:

— Вот теперь дорога получше. Так отчего же ты несчастная? Если оттого, что твоя Пеночкина твердо нацелилась замуж за Марченко выйти, так не стоит. Подруги — существа непрочные. Может быть, тебе самой Марченко правится?

— Еще чего не хватало! — возмутилась Подгорная и даже брезгливо передернула плечами.

— Напрасно. Человек он перспективный. Как он политически сильно талант Шпаковского в большое народнохозяйственное дело обратил! Приезжал тут один ответственный товарищ из сварочно-монтажного треста, поглядел, как Шпаковский без подкладных колец стыки варит. Пофыркал, назвал виртуозным номером, а не понял, что это сотни тысяч тонн металла стране, или просто не захотел понять. Новая технология! Зачем ему ввязываться? Он масштабами своего треста только мыслит, а вот рабочий Марченко — масштабами страны.

— А вы, Павел Гаврилович, когда-нибудь мысленно можете освободиться от стройки?

— Что значит «освободиться»? — сердито сказал Балуев. — Это же моя жизнь, мое удовольствие. Посади меня в учреждение, я там, в спертом воздухе, на корне сгнию. А здесь пространство, люди, всякие производственные неприятности, живешь на высокой скорости. Я даже мимо своего среднего возраста проскочил, а как — не заметил. Проснулся однажды, пощупал себя, гляжу — брюхо, сунулся к зеркалу — рожа пожилая, потасканная. Плюнул, конечно, символически, сказал сердито: «Я себя каким все время помню? Молодым. А другим помнить не желаю. Самовнушение — великая вещь».

— Вовсе вы не старый, — горячо воскликнула Капа, — и вид у вас хороший, как у моряка, который все океаны проплавал! И под воду вы в скафандре лезаете и оттуда по телефону ругаетесь, если что сделано не по-вашему.

— Ладно. Ты меня не успокаивай, — сказал Балуев, испытывая все-таки лестную для себя приятность от опровержений Подгорной. — Ты со мной не петляй. Говори прямо, что у тебя случилось? Почему при холодном лбе глаза воспаленные и носом хлюпаешь?

Капа склонила лицо и, нажимая кнопку замочка от крышки ящика, где шоферы обычно хранят обтирочные концы, произнесла шепотом:

— Я, Павел Гаврилович, влюбиться хочу так, чтобы всю себя забыть и жить только этим человеком.

— Ну что ж, валяй, правильно, — согласился Балуев. — Только и в этом деле зачем же крайности? Ты себя все-таки помни. Ты девица важная, умок у тебя есть, специальность дальнобойная. — Объезжая выбоину, озабоченно прищурился, похвастал: — Видала, как вожу! Тоже кусок хлеба, если в случае чего.

— А в кого, вы знаете?

— Что именно? — спросил Балуюев, шаря вниз рукой рычаги, чтобы отключить переднюю ведущую ось.

— Ладно, — сказала грустно Капа, — не хочу вас отвлекать, а то вмажетесь в столб, и я же буду виновата.

Приехав на переход, Павел Гаврилович немедленно облачился в гидрокостюм, полез в узкую речушку, уже покрытую сизыми ледяными заберегами, обшарил обнаруженный под водой валун.

Выйдя на сушу, спросил Бекбулатова:

— Так что ты предлагаешь?

Рабочие столпились вокруг. Бекбулатов сказал:

— Подрывать надо. Пробовали тракторами оттащить — не получается.

Павел Гаврилович, видя, что напряженные взоры рабочих прикованы к нему, картинно задумался, хотя решение созрело у него еще перед отъездом, и вдруг объявил небрежно:

— Да закопайте вы его, сукиного сына, поглубже, туда, откуда он вылез. Вот и все дело. — И, наслаждаясь произведенным эффектом, спросил, будто ничто касающееся перехода его больше уже не интересовало: — Вы как, ребята, в кино «Балладу о солдате» видали? Советую поглядеть, душевная картина... — И стал рассказывать о фильме с таким воодушевлением, будто специально сюда для этого и приехал.

Павел Гаврилович любил театральность, любил, чтобы на него смотрели с восхищением и поражались легкостью, с какой он, вдруг будто чем-то внезапно осененный, принимал неожиданное, единственно правильное решение.

Конечно, никто не знал, что перед этим Павел Гаврилович звонил в Москву, разыскивал приятеля-инженера, который долго работал на Севере и немало помаялся с этими валунами, то корчуя их, то взрывая или при определенных условиях глубоко хороня в грунте. Мысль о похоронах валуна и была подсказана Балуюеву этим приятелем.

Чтобы найти соответствующее решение, Павел Гаврилович порой перерывал десятки книг. И так бывало множество раз. Но не поддаваться искушению и не выдать свое решение как техническую импровизацию он не мог. Ему хотелось, чтобы люди любили его, и добывал он эту любовь самыми различными средствами.

Когда Бекбулатов спросил:

— Ну, как на большом переходе? Правда, что четыре километра трубы ребята стране подарили? Выходит, те-

перь не двадцать шесть тысяч километров труб за семилетку проложим, а двадцать шесть тысяч и четыре. — Добавил скромно: — Мы со своей речушки тоже, конечно, внесем. Отказались от чугунных грузов, одели трубу в бетонные. Пришлось траншею против проекта поглубже и пошире под водой проложить, поэтому и на валун напорились. Но ребятам приятно, довольны, что и от них личный взнос в семилетку поступил: чугун — тоже металл, и его тоже беречь надо.

— Молодцы! — сказал Балуюев. — Работают шарики.

Бекбулатов пригласил Балуюева отведать ухи. Балуюев согласился, сказал хвастливо:

— Это правильно! У меня закон: с каждого своего водного перехода рыбу пробовать. — Пообещал: — Скоро из морской рыбы ущицу хлебать будем. И в Сибири нам предстоит из всех рек пробовать, и среднеазиатскую тоже. К концу семилетки смогу любого ихтиолога забить. Опутаем страну трубами не хуже, чем электроэнергетики проводами...

Он хлебал уху собственной деревянной ложкой, считая, что металлическая вкус портит. Шутил, велел пригласить «ее сиятельство» радиографистку Подгорную, которая успела за это время просветить стыки дюкера. На водку посмотрел скорбно, заявив, что хоть у него и любительские права, но терять их тоже не следует.

Несколько раз уже звонили с большого перехода, и, накрывая тарелку ухи другой тарелкой, чтобы не остывала, Балуюев говорил то с Фирсовым, то с Сиволобовым. И каждый раз в конце разговора объявлял:

— Обожди, сейчас приду, вместе поглядим, — и говорил это таким тоном, будто находился рядом, в соседнем помещении, а не за сотню километров.

Ночь сверкала чистотой студеного неба, льдистой чешуей, изморозью леса.

Усаживаясь в машину, Балуюев объявил, взглянув на месяц:

— Всего полкуска луны. Скажут еще где-нибудь, что советские остальную часть ракетой отшибли. А мы народ заботливый, даже дезинфекцию выпела своего делали, чтобы, упаси бог, лунным жителям земного гриппа не занести. Вот до чего мы во всем предусмотрительные! — Напоследок приказал Бекбулатову: — Так ты поглубже могилку валуну копай, чтобы его не размыло и труба на жесткость не легла.

Протянул Бекбулатову через плечо руку, сел за баранку и дал полный газ.

Чуть погода спросил Подгорную:

— Ну как, портреты всех стыков получились? Претензии есть?

— Шпаковский варил.

— Его ребята теперь Ван Клиберном зовут,— сказал Балуюв.— Что ж, правильно: по своей линии виртуоз.

Капа сказала задорно:

— Зина считает, мне нужно за него замуж выходить!

— И то дело,— рассеянно согласился Балуюв.— Он паренек серьезный.— Обгоняя грузовик, вобрал голову в плечи, сосредоточился, объявил счастливым голосом: — Вот мы его и обжали! Видать, лихач: девятисто давал, да еще по такой дороге!

— А если мы с вами убьемся?

— Происшествие будет.

— А мне было бы приятно вместе с вами убиться,— сказала Капа и повторила вызывающе: — Да, приятно! Потому что вы мне из всех больше всех нравитесь! Понимаете? Вы!

Балуюв молчал и, казалось, не слышал слов Подгорной.

Машина мчалась стремительно. Покрытая изморозью, стена леса сверкала, сливаясь в сплошную блистающую полосу. Было такое ощущение, словно морская полупрозрачная высокая волна накатывала с обеих сторон на стекла машины. Белыми дымными столбами света фар машина вонзалась в мрак и неслась в нем в шорохе жестких снежных частиц.

Сбавив скорость, Балуюв блаженно отвалился на спинку сиденья и отдыхал после упоительного напряжения. Губы стали мягкими, добрыми, ленивыми, глаза широко и спокойно открыты. Нашарил на сиденье папирсы, закурил, спросил:

— А ты чего притихла? Устала? — И согласился: — Конечно, за такое короткое время с двухпудовой гирей контейнера трубу облазить намаешься. Что ж, там ребята некультурные, поднести не могли?.. — И вдруг осекся.

Подгорная смотрела на него с отчаянием, страданием, стыдом и такой ненавистью, что Павел Гаврилович пришел даже в смятение, и будто откуда-то издалека стали возвращаться к нему последние ее слова. Он молчал, потрясенный их смыслом, возмущаясь и одновременно испытывая сострадание к девушке.

Павел Гаврилович выработал себе правило: во всех затруднительных случаях жизни прибегать к грубой ясности. Он спросил сурово:

— Да ты что, одурела? — И стал упрекать: — Я тебе кто: начальник или не начальник? Ты знаешь, как это называется? Самый возмутительный подхалимаж... А учитывая его возраст, — Балует стал говорить вдруг о себе в третьем лице, — это же совсем безобразие! Такое канцелярские девицы себе позволяют. А ты кто? Крепкая, рабочая девушка, и вдруг на тебе, помер, как из заграничного фильма! — Балует даже пригрозил: — Ты это брось, возле старых мужиков увиваться! — Сказал огорченно: — А я-то тебя из всех самой серьезной и гордой считал! И вот, нате вам, обмишурился. Воспитывают вас, воспитывают, книги специальные для молодежи пишут. У Пушкина даже есть поучительное на эту тему. А вы поворите сызнова чужие глупости повторять...

Павел Гаврилович чувствовал, что он говорит не то, но остановиться не мог: говорить было легче, чем молчать.

Капа спросила слабым голосом:

— Павел Гаврилович, остановите машину, пожалуйста.

— Это зачем еще?

— Я вылезу. Пойду дальше пешком. Пожалуйста, не заставляйте меня мучиться. Я дальше не могу с вами ехать. Понимаете, не могу!

— Пешком идти пельзя! — деловито сказал Балует. — Далеко и холодно. Но если не желаешь больше со мной рядом сидеть, — пожалуйста, дождемся грузовика. Остановлю, посажу с шофером.

Они вышли из машины.

Тишина стояла в замороженном лунным светом лесу, бездонное небо сияло.

— Может, я лишнюю грубость сказал, так ты извини, — попросил Балует. — Конечно, кое-что необдуманно допустил, самому, знаешь, неловко.

Подгорная смотрела на Балуета со спокойным любопытством. Даже трудно поверить, что минуту назад она была так сильно взволнована, несчастна и унижена. Она сказала отчетливо и громко:

— А вы знаете, я ведь из вас только выдумала себе человека, которого люблю или, точнее, хотела бы полюбить. Не за то, что он такой, как вы, а за то, что он может быть таким, каким вы иногда бываете, ну, с Безугловой, с Виктором Зайцевым и еще с некоторыми. Я решила сказать,

что люблю, для того, чтобы этот человек меня полюбил так же, как тех, кого он любит. — Пожаловалась: — Мне ведь, знаете, как трудно жить со своим характером. Ну вот, я решилась унизиться. Вот прочтите.

— Что такое?

— Письмо Бори Шпаковского.

— А зачем мне?

— Я ведь, наверное, за него замуж выйду.

— Я же сказал, одобряю. Чего же мне ваши письма читать?

— А он не такой, как вы. И, может, никогда таким не станет. Он сам для себя живет. А вы совсем иначе. И мне показалось...

— Ну ладно! — сказал Балусев. — Будем считать, что и мне и тебе все показалось. — Приказал: — Полежай в машину, поехали!

— Нет! — твердо объявила Капа. — Я больше никогда не буду с вами рядом, ни за что не буду!

Показались огни грузовика. Подняв руку, Капа пошла навстречу машине. Заскрипели тормоза, хлопнула дверца. В окне грузовика мелькнуло сочувственно ухмыляющееся лицо шофера.

Павел Гаврилович сел за баранку, включил мотор и медленно поехал вслед за грузовиком, почему-то стесняясь обгонять его.

Вернулся к рассвету. Побрился, переоделся. В избе уже ждали его Фирсов и Сиволобов. Оба были в приподнятом, торжественном настроении.

Еще ночью они дали указание посыпать песком дорожки в заболоченной пойме, чтобы хоть чем-нибудь скрасить ее неприглядность в глазах посторонних.

31

Одевшись, Балусев обрел парадный, властный, самоуверенный и даже, можно сказать, высокомерный вид. Он говорил отрывисто, резко и глядел соратникам не в глаза, а в лоб или в переносицу. Рост у него обычный средний, но он приподнял плечи, выпятил грудь и стал казаться даже несколько выше.

Таким, каким он выглядел сейчас, обычно изображают на сцене зазнавшихся бюрократов, упоенных должностью и своей собственной особой. Это сходство усиливали брезг-

ливое, скучающее выражение лица, капризно оттопыренные губы.

Балуев считал, что таким своим видом он внушает людям уверенность и спокойствие. Раз начальник важничает, значит, все в порядке. И он шел на эту жертву во имя традиционного взгляда на начальство. Но на душе у него, как говорится, скребли кошки. Он дал команду протаскивать дюкер сегодня, но в верховьях прошли ливни, и скорость течения реки стала значительно больше, чем значилось в схеме протаскивания. Река могла снести дюкер или выворотить его из подводной траншеи. Усилился и напор подпочвенных вод. Они выдавливают пловун — он уже начал просачиваться в траншею, засасывая дюкер. На месте изгиба траншеи, там, где химический отстойник, следовало бы поставить трактор и им оттягивать трубу, чтобы ее не прижало к стене при протаскивании. Но лишнего трактора не оказалось.

Дно траншеи — тонкий глинистый пропластник; в некоторых местах он прорвался, и вода из траншеи уходила, фильтровалась в бездонных песках. Словом, множество коварно подстерегающих опасностей. Можно ли их заранее предусмотреть и превозмочь? Можно! Но расплачиваться за это пришлось бы временем и дополнительными большими материальными расходами.

Подобно командиру, в канун сражения тревожно размышляющему о том, как неплохо было бы получить лишний боекомплект, дополнительное количество артиллерийских стволов, танков, самоходок, увеличить число самолетовылетов, Балуев мечтал сейчас о том, что хорошо было бы для полной гарантии успеха еще кое-что доделать, обзавестись мощностями, поставить пару гидромониторов для заполнения водой траншеи, усилить тракторный поезд на той стороне реки, да и здесь прибавить хотя бы парочку тягачей. Но не зря же говорится: фронт строительных работ. Нельзя сосредоточивать технику только в одном месте, когда идет рабочее наступление по всему фронту.

А потом фактор времени. Ну, отложишь протаскивание дюкера на неделю, чтобы обезопасить себя всесторонне. Но враг-природа тоже не дремлет. Река со дня на день пойдет шугой, затянет ее прочными, широкими берегами, и стиснутая льдом вода еще увеличит скорость течения на фарватере. Труба начнет вмерзать в застывающий грунт, и вместо пловуна нагрянет другая угроза — впаивающая в лед труба. Сколько тонн нефти нужно тогда будет сжечь, чтобы оттаять этот ледяной припай! Нет, в строительном

деле нужна такая же осмотрительная дерзость, как и в бою, в ходе которого только и решается победа! Какой бы тщательной ни была подготовка, опасности битвы не избежать! Расточительство — это путь труса. А Балуюв никогда не был трусом. Поистине мужественный человек не тот, кто не испытывает страха, а тот, кто, испытывая его, ничем не выдает своих переживаний.

Павел Гаврилович явился на площадку в сопровождении свиты подчиненных. Он пренебрежительно оглядел выстроившиеся машины, прошел вдоль траншеи, искоса в нее поглядывая, похвалил погоду и направился к командному пункту, расположенному на круче песчаного мыса. Оттуда он оглядел окрестности, будто видел это место впервые, и сделал замечание: почему не выдрали кустарник (хотя кустарник этот был хилый и сквозь него все было отлично видно)... Он закурил, угостил Фирсова и Сиволобова сигаретами «Тройка» из заветной початой коробочки, которую он считал «счастливой» и брал из нее по одной сигарете только во время протаскивания самых тяжелых дюкеров. Мечтательно улыбнулся и сообщил:

— А я у Бекбулатова такой ухой насладился, роскошь! — И как будто между прочим сказал: — Надо думать, они свой сегодня протащат. — Заметив недовольство на лице Фирсова, закончил строго: — У вас здесь техники до черта, а у него всего один трубоукладчик и трактор, а все ж свою репку вытянет, будьте спокойны!

Балуюв понимал, что сейчас он тут уже ничего не может добавить к сделанному, но подзадорить Фирсова и Сиволобова считал своим служебным долгом.

Солнце и стужа могут великолепно разукрасить самое неуютное место на земле. Ну, что здесь? Дрянь. Болото, гиблое, воющее. Наступишь на застывшую, черствую корку грязи, так и прет начинка — трясина, теплая, лиловая, жирная. Болото накрыто гатю измочаленных бревен. Ворочается кран-трубоукладчик, кажется, что вся земля начинает под тобой трепыхаться. Глянешь вдаль: волосатые шишки кочек, всклокоченный кустарник, рыжая щетина камыша. Вот, пожалуй, и все подробности болотного пейзажа. А что сделали с ним стужа и солнце? Просто фантастика! Все блещет, все сверкает, а с каким вкусом и тонкостью отделаны изморозью бревна гати — чеканка из серебра! Застывшая трясина обрела сходство с базальтом, чернеет отполированной поверхностью, будто гигантское изделие треста «Русские самоцветы». Каждый кусти́к в ледяном чехле обрел сходство с люстрой, подоб-

но той, которая украшала потолок столовой-ресторана районного центра. А кочки! Это же драгоценный мех, вроде горностая! Каждая камышинка обратилась в стеклянную нить — и все это на фоне неба чистейшей голубизны.

Красиво, очень красиво выглядела в данный момент природа! Но, не вполне доверяя ей, строители посыпали песком дорожки, идущие к машинам и к командному пункту, и для полноты картины водрузили красный флажок на оголовке дюкера.

Хотя дело происходило под открытым небом, люди разговаривали вполголоса, легко одетые, словно находились в закрытом помещении, а некоторые даже без головных уборов.

Во всем ощущалась торжественная напряженность.

Развернув свиток схемы протаскивания дюкера, последний раз сверяя чертеж с тем, что было в натуре, Павел Гаврилович никак не мог сосредоточиться на обозначениях на бумаге. Его не беспокоило, совпадает ли начерченное на бумаге с действительностью, — здесь все было правильно, его тревожило другое: не произошло ли за эти сутки что-нибудь такое, что могло нарушить самочувствие людей, от которых зависел исход операции. Может, следовало отозвать в сторонку Лупанина и, разговаривая о чем-нибудь постороннем, заглянуть в глаза, нет ли в них отчаяния, какое бывает у человека, отвергнутого любимой девушкой. А вдруг Шпаковский признался ему, что написал письмо Подгорной, и сказал, что она дала согласие? Тогда катастрофа. Тогда Лупанину нельзя сегодня доверять машину. Ведь он крутился сейчас возле Капы, и она могла ему рассказать о письме со свойственной ей прямоотой и откровенностью. Может, лучше спросить об этом Подгорную? Но после вчерашнего разговора уже неловко касаться таких вопросов. А вместе с тем так, как понимал свой служебный долг Балугев, ему надо было это выяснить, чтобы предотвратить опасность. Хотя, пожалуй, сейчас уже поздно...

С Вавиловым тоже следовало поговорить. Человек решил остаться на стройке — радость. А если Лупанин во время репетиций задел чем-нибудь самолюбие маститого механика и он сейчас обижен? А обиженный человек утрачивает инициативу и в ходе дела ничего не захочет подсказать Лупанину, когда тот будет нуждаться в совете.

Павел Гаврилович взял бинокль, нацелил сначала на Лупанина: «Нет, кажется, все в порядке». Лицо хищное,

сосредоточенное, за лентой фетровой шляпы торчит, для лихости, что-ли, какая-то веточка.

Если бы человека постигло горе, разве он стал бы себя так украшать? Конечно, нет. С чувством облегчения Балувев перевел бинокль на Вавилова. Сидит, развалившись, важный, губы оттопырены, правильно — оттопырены. Если обижен, он бы их поджал. Он всегда поджимал губы, если был чем-нибудь недоволен. Значит, здесь тоже все в порядке.

А вот Мехов. Вдруг опять из дома злобное, оскорбительное письмо и чувствует он себя сейчас бесконечно униженным и несчастным? Ну как взбодрить его, как?

Балуев долго смотрел в бинокль на лицо Мехова. Но Мехов привык к своему горю, трудно о чем-нибудь догадаться по его лицу. Нет, никак не поймешь. Да и где найти такое, чтобы утешить скорбящего человека, вселить в него надежду?! И Павел Гаврилович, не опуская бинокля, с досадой на себя думал, что следовало ему еще раз съездить домой к Мехову и осторожно, а не как прошлый раз, в горячах, поискать возможность создать жизненное равновесие для этого столь ценного на строительстве человека, невзрачного по внешности, но наделенного великолепным даром понимать машину и нежно обращаться с ней, на что машина отвечала ему безукоризненным послушанием. Балуев напряженно, вдавливая до боли в глазницах окуляры бинокля, наблюдал за выражением лица Мехова, стараясь обнаружить то, что сейчас беспокоило его и тревожило.

Низкорослый, желтоволосый, с печальными глазами, униженный своим горем, Мехов не дружил ни с кем из крановщиков. Терехову он знал еще по фронту. Был водителем бензозаправщика в той части, где служила она. Здесь, на стройке, он приходил в ее летучку-лабораторию, приносил конфеты «Клюква в сахаре» и говорил, застенчиво улыбаясь:

— Вот пришел повспоминать, как вместе служили.

Ольга Дмитриевна ставила на электрическую плитку чайник.

Мехов, сидя на табуретке и растирая колено ладонью, рассказывал ей:

— Девчонка от меня растет, очень даже замечательная. Прибуду к ней в отпуск, и каждый раз сюрприз: быстро в человека оформляется. — Вынимал пачку фотографий из пластмассового прозрачного пакета, раскладывал. — Вот

она какая, во всех экземплярах! — Сообщал с гордостью: — И заметьте, папа вылитый.

Ольга Дмитриевна смотрела на фотографии, а Мехов, не зная, какую он боль причиняет, говорил добродушно:

— Человек без потомства — ноль без палочки. Я, главное, за нее теперь почему беспокоюсь? Чтобы войны не было. Война, первое, по кому бьет? По детям... Я человек смирный. Один раз только на фронте провоевал как следует. Зажгли немцы бензозаправщик во время налета на аэродром. Я из машины, понятно, не выскочил. Полный газ — и подале от самолетов. А меня как двинуло взрывом цистерны, я и воспарил: опалило! Хорошо, лужа рядом просторная оказалась. Вполз, обвалился в грязи, погасил себя и выжил, а то сгорел бы до самого основания. — Пояснил: — Я это к чему. Если теперь... я же за свое дитя просто страшным могу стать.

— Войны не будет.

— И я так думаю, — согласился Мехов. — В таком случае, полагаю, дочка моя уже при коммунизме жить будет. Приятно. Радуюсь за нее, как подумаю.

— А почему вы на завод не устроились, чтобы с семьей жить? Скучаете ведь сильно без дочери?

Мехов задумался, потом объяснил:

— Я человек низкорослый, а жена у меня здоровая, я ей по плечо только. Но дочка меня выше матери считает. А за что? За то, что я ей рассказываю, как газопровод кладем и что это для родины значит. Ну, и выдвигает она меня над всеми. Даже в школьном сочинении отметила. Так и написала: «Мой папа — машинист на стройке семилетки». — Произнес мечтательно: — Одолею втихую вечернюю школу, подамся без отрыва в техникум. Стану начальником мехколонны, выпрошу от жены дочь за алименты, по соглашению, и проживу, как бог. Вот, значит, какая моя перспектива!..

Сейчас, сидя на крапе-трубоукладчике, кончив позировать перед фотокорреспондентом, Мехов просил, наклонившись так, что почти вываливался из машины:

— Товарищ, сделай отдельно фотокарточку — дочери послать.

— Я вам пришлю два экземпляра газеты.

— В газете я мелкий получусь. А мне надо, чтобы внушительно.

Федор Филиппович Вавилов выслушал корреспондента, рассердился:

— Что значит «старый рабочий»? Вы это бросьте! Техника устаревает — это правильно. А ежели я на ней, а не на пенсии, как некоторые, — значит, нечего моими годами читателей в заблуждение вводить.

Кинохроникеров пленила внешность Лупанина. Но Лупанин объявил:

— Вот что, ребята, у меня под руками инструмент тяжелый. Если стукну, плохо будет.

— Вы в списке передовиков, вы обязаны сниматься.

— Я же объяснил, — взмолился Лупанин, — протащим дюкер, после всё инсценируем, как пожелаете. А сейчас не могу: у меня, глядите, лицо злое. Мы сигналы должны видеть, а вы тычетесь, заслоняете.

Собрав машинистов в сторонке, Лупанин сказал:

— Мне вам говорить нечего. Просто так, одним побыть, оглядеться.

Высушенный стужей воздух сверкал. Огромной реке, казалось, было туго в берегах, окованных ледяной кромкой. Посреди реки шатался на волнах понтон. Через него перекинуты стальные канаты; их тяжесть понтон облегчал своей плавучестью.

На противоположной стороне траншеи стоят цугом бульдозеры с высоко поднятыми щитами, блистающими пасмурного цвета сталью. От бульдозеров тянутся тросы, пристропленные к дюкеру.

Против каждого бульдозера кран-трубоукладчик, также пристропленный тросом к дюкеру.

Шесть машин, по три с каждой стороны, должны одновременно начать волочить гигантскую трубу, когда канаты, продетые в клюзы оголовка дюкера, натянутся шестью тракторами по ту сторону реки.

Там глубоко в землю вкопана пачка бревен — мертвяк, на нем закреплены лежащие сейчас плоско на земле огромные, тяжелые блоки с продетыми внутрь их канатами. Тракторный поезд впряжен в них. Для каждого трактора вешками отмечена линия его движения.

Дюкер будет проползать по дну подводной траншеи, русло которой еще раз только что обшарили водолазы.

Всеми такелажными работами на поверхности руководят водолазы. Схемы и расчеты они разработали с инженерной точностью. Сиволобов сказал о водолазах одобрительно:

— Башковитые ребята! Для авиации кадры пропадают. С их дыхательными способностями можно и в межпланетную рекомендовать.

Бубнов рассердился:

— В океане глубины подходящие, тоже найдется нам куда лазить!

Могучими руками он вязал толстые стальные канаты с такой легкостью, будто пеньковые.

Молодой тракторист Коля Зенушкин сказал завистливо:

— Из вас мог бы чемпион мира получиться по борьбе или по поднятию тяжестей.

Бубнов сощурился.

— А я и есть чемпион мира! Клади с унылой техникой по дну океана дюкер во время войны — поставили всемирный рекорд. И нигде не отметились. Сейчас любой чижик персонально к машине поставлен или к агрегату, а мы трубы на деревянных катках вручную гоняли... А ты на тракторе за бидоном масла к причалу катался. Не мог так принести, истратил моторесурс! И после этого еще со мной в разговор лезешь...

Сиволобов упрекал Вильмана за то, что тот пожалел сурик и олифу для окраски блоков.

— Что значит, срок не вышел? Облезлый вид, он же удручает. Их бы красным цветом, с того берега могли бы любоваться.

Виктор Зайцев поддержал Сиволобова:

— Я книгу иностранного автора читал о том, как цвет на психику действует. Например: оранжевый — вызывает чувство благожелательности, голубой — создает впечатление пространства и отдыха, зеленый — умиротворяющий, фиолетовый — внушает чувство достоинства. Для больниц рекомендуется ободряющий тон — персиковый.

— А он откуда это знает?

— Изучал с помощью дождевых червей. Накрыв ящик с землей разноцветными стеклами и смотрел, какой цвет предпочитают.

Вильман обрадовался.

— Вот, — сказал он Сиволобову, — слышал? И ты тоже, как червяк, рассуждаешь. Сурик ему нравится! А я его даю только для покрытия подводных поверхностей, не для красоты, а для долговечности.

— Нет, ты все-таки жила, без начальства у тебя ветоши не выпросишь.

— А что мне начальство? — обиженно спросил Вильман. Объявил решительно: — Я действую по указанию моих чувств. Хоздесятник — беспощадный к расточителям человек, а вовсе не добрая фея. — Потом предупредил во-

долазов: — Чтобы все камни и железки с пути следования тросов убрали. Если хоть одну жилочку порвете, я из вас ваши вытяну. Дал новую вещь, так вы ее всю уже в грязи запачкали. После в реке ополоснете и в смазанном, чистом виде вернете. И чтоб без меня не сматывать, лично проверю!

Сиволобов успокоил водолазов:

— На фронте на него тоже люди обижались: не давал воевать. Спокойно, стреляные гильзы обратно требовал по счету. Однажды только решился на расточительство, собрался себя подорвать вместе со всем боезапасом. Не захотел немцам даром отдавать. Жадина...

Вильман слушал о себе с удовольствием. Но потом спросил подозрительно:

— А ты под этот разговор случайно чего-нибудь выпросить не собираешься?

— Собираюсь, — чистосердечно сказал Сиволобов.

Вильман замахал на него руками.

— Я знаю, о чем ты мечтаешь. Турбинное масло?

— Десять, ну пять килограммов! — жалобно заныл Сиволобов и устремился за Вильманом к катеру.

32

Фирсов в последний раз вместе с Балуевым обследовал всю трассу протаскивания дюкера.

Механизмы стояли на положенных местах. Люди уже томнились ожиданием.

Когда Балуев испытующе глядел в бинокль на Лупанина, ему думалось, будто он знает все главное об этом рабочем. Но даже самому прозорливому хозяйственнику не дано знать все о каждом человеке.

Как иногда дети испытывают тайное желание жевать мел, уголь, известку, так и Григория Лупанина тянуло к краскам. Он не умел и не хотел учиться рисовать, он просто испытывал наслаждение от цвета. В брезентовом мешке для инструментов, складывающемся наподобие портфеля, он держал масляные краски в свинцовых тюбиках. Он покупал их, конфузясь, в киоске культтоваров, считая необходимым соврать при этом продавцу:

— Профуполномоченный велел — для самодеятельности.

С этим вот плоским брезентовым мешком под мышкой Лупанин уходил в лес, садился на поваленное дерево, клал

на колени фанерную дощечку и начинал мазать ее краской, прислушиваясь, озираясь при каждом шорохе, чтобы кто-нибудь не застал его за этим недостойным занятием. Необычайное волнение охватывало его, когда вдруг на испачканной доске, сквозь разноцветную грязь нервных мазков, проступало невнятное сходство с рябиной, с ее опаленной стужей черной листвою, с яркими, до боли в глазах на фоне светящегося неба коралловыми гроздьями ягод. Его умиляло сходство, пусть только в цвет: большего ему никогда не удавалось достичь.

Он мог сидеть так бесконечно долго и как завороченный глядеть на внезапное, поразившее его, словно чудо, это цветное подобие. Потом он тщательно соскребал краску с фанерной дощечки, вытирал ее сухой травой и клал обратно в мешок. Его вдруг охватывала странная усталость, он отдыхал, улегшись там, где было посуше, и, лежа с закрытыми глазами, курил и ни о чем не думал.

Может быть, этого парня тревожил талант? И если его обучить, Лупанин стал бы знаменитым живописцем? Не исключено. Значит, по неведению, наивности и даже некоторому невежеству он не подозревает, что может сулить человеку его дарование в искусстве? Но это неправда! Уже двух ребят выпроводили со стройки. Одного — в театральный институт: он здорово выступал в самодеятельности. А другого — в музыкальное училище: у него оказался голос. Лупанин знал: стоит ему признаться в своей склонности к живописи, как сейчас же начнется суматоха, и тот же Балугев усадит его на рассвете в машину, привезет в областной центр, утром из гостиницы начнет звонить в горком, обком и с тревогой, словно Лупанин опасно болен и его надо немедленно лечить у самого лучшего специалиста, будет требовать: «Кто тут у вас самый понимающий в живописи? У нас лучший машинист крана-трубоукладчика... Обнаружилось — картины рисует. Очень, знаете, беспокоимся, вдруг талант...» Так, по крайней мере, поступил Балугев с теми двумя парнями.

Но Лупанину нравится только наслаждаться красками. Он совсем не хочет стать художником. С практичностью рабочего человека он понимает, что в основе искусства, как и в каждом серьезном человеческом деле, лежит труд. А он любит свою профессию машиниста крана-трубоукладчика, строительство считает самым значительным сейчас и самым важным делом на земле. Поэтому он так тщательно скрывает свою страсть к живописи, чтобы, обнаружив ее,

начальство и коллектив не заставили его начать иную жизнь.

Если бы Виктор Зайцев или Капа Подгорная догадались о тяготении Лупанина к кисти, они бы до ЦК комсомола дошли, а своего добились, и из знаменитого уже на всю трассу машиниста Григорий Лупанин превратился бы в обычного ученика художественного училища. Все это он хорошо понимал и, тяготясь неудобствами социализма, где искусство принадлежит народу, вынужден был скрывать свое дарование от людей. Он хотел остаться лучшим машинистом, каким и был на самом деле. Но наслаждение от красок Григорий получал всегда и всюду.

Вот и сейчас, когда Лупанин стоял среди других машинистов, погруженных в последние перед протаскиванием дюкера размышления о том, кто и чего не предусмотрел для этой важнейшей операции, он с высоты своего роста глядел на рабочую площадку и испытывал волнение, но не оттого, что беспокоился за исход дела, а оттого, что виденное сейчас казалось ему необычайно красивым.

Стужа высушила, очистила воздух. Он сверкал и вибрировал от встречного светового излучения дебряной изморози и сизой отполированной глади реки. Матово-зелеными облаками на грядах белых массивных холмов возвышались вершины соснового бора.

Пойма, присыпанная порошей, заштрихована камышом и нежнейшими тенями от него.

Распахнутая траншея, ярко-желтые жирные ломти глины. Песчаные сухие осыпи, начиненные крохотными частицами кварца, сине сверкающими острыми блестками, как бы простирали к глазу тончайшую стеклянную нить.

Редкие всклокоченные облачка на низком краю неба слепили своей резкой белизной, которая на снегу была окрашена в фиолетовые тона — тяжелые, земные.

Не одетая в футеровку оконечность дюкера, осмоленная битумом, лежала на береговой круче, лоснясь, будто колонна, высеченная из черного мрамора. В нацеленном остром оголовье дюкера было нечто ракетообразное. Красный флажок на приваренном штыре между разверстыми ноздрями клюзов обжигал зрение упоительно ярким цветом. Голубая крученая сталь тросов, струнами натянутая от трубы, была унижена, словно росой, каплями влаги, выдавленной из тросов силой их натяжения. Эти капли, будто крохотные снегири, радужно светились и, казалось, со щебетом падали на землю.

Лупанин как завороченный смотрел на все это. Всегда жесткое его лицо припыло детски восторженное выражение.

Мехов, взглянув на «старшего», сказал тревожно:

— Ты, Григорий, я знаю, что сейчас думаешь. Мол, Мехов, огорченный жизнью, может в какую-нибудь секунду мыслью про себя ослабеть и что-нибудь по курсу нашего маршрута промажет. — Произнес, обнадеживая: — У меня всегда в такой момент перед глазами человек один растущий есть — дочка моя. — Признался: — Я для нее в начальники мехколонны выйти хочу. Для меня сегодняшнее протаскивание — карьера... Балув обещал моему повышению содействовать. Понятно?

Вавилов спросил у Лупанина:

— Ты картину «Три богатыря» на коробке высшего сорта папирос видел? Так это мы сейчас такие. Не томись, не беспокойся. Не зря же столько репетировали, будто танкисты для парада на Красной площади. Все согласно расписанию получится. — Произнес задумчиво: — Сороковой это на моем счету дюкер, не считая мелочишки — через речки, у которых даже путного названия не было...

Из окрестных деревень и рабочих поселков, с химических предприятий, неведомо какими путями прослышав о протаскивании дюкера, явилось множество людей. Некоторые прикатили на такси и на мотоциклах, облепленных пассажирами так, словно демонстрировали цирковой номер «пирамида на мотоцикле». Живущие за сорок — пятьдесят километров совершили путешествие по ужасной распутице. В дорогу отправились еще накануне, запасшись едой.

Расположились эти люди на скате песчаного бугра, как в древнем амфитеатре.

Я помню, как умилялись и восхищались мы, советские граждане, когда увидели в Индии, в штате Мадрас, представление народного театра, где склон горы служил амфитеатром для зрителей, собравшихся сюда задолго до начала зрелища.

Пальмы; невыносимо синее пламенное небо; коричневые тела людей, шершавые, тощие, с тусклой от недоедания кожей, и сверкание их черных глаз, мудрых, благородных человеческих глаз в оправе костистых лиц. Индийские крестьяне шли на этот спектакль через джунгли, неся на бамбуковых жердях в корзинах детей. Шли поча-

ми. Отогревали ребят тем, что клали им в корзины глиняные горшочки с тлеющими углями. В дороге питались побегами бамбука, его корнями.

Артисты народного театра, такие же, как и крестьяне, — босоногие, черные, сотни миль шагающие от одного места представления до другого, неся корзины со скудной едой и узел театральной, сверкающей блестками одежды, — сказали нам, что стечение чуть не ста тысяч зрителей объясняется тем, что крестьяне прослышали: здесь будут советские люди.

На нас надели дурманящие липким ароматом венки из тубероз и вывели к подножию горы, живой человеческой горы, вершиной вонзившейся в жгучее небо, неистово пылающее синим огнем и подпертое суставчатыми, гнущимися колоннами пальм с листвой на макушке, похожей на зеленые страусовые перья, и они были как бы капителями с растительным орнаментом. Мы стояли у подножия этой человеческой горы, охваченные гигантской, как океан, любовью народа к народу.

А когда началось представление, женскими голосами запели струны ситар, под твердыми пальцами грозно и мерно зазвучала туго натянутая кожа барабанов, и птичий хор камышовых свирелей возвестил гимном бессмертия человеческого искусства, рожденного в тысячелетиях, искусства обожествлять свою мечту, свой труд, свой идеал справедливости.

Конечно, усевшиеся на склонах заиндевевшего холма советские граждане располагали множеством иных возможностей, чтобы культурно использовать свой досуг. Сейчас в индустриальных молодых центрах продают билеты в кино, театры, цирк, на концерты и в продуктовых магазинах, и даже в киосках для минеральной воды. Для доставки на место зрелищ арендуют автобусы или снаряжаются грузовики, крытые брезентом. Пожалуйста, будьте любезны! Каждый хозяйственник заинтересован, чтобы в его отчетности, в графе «культработа», имелась внушительная цифра охваченных соответствующими мероприятиями.

Но к самому древнейшему из всех искусств — к искусству труда — у нас почему-то не относятся, как к великому зрелищу.

А между тем самый распространенный у нас знаток-любитель, тонкий ценитель труда, — это же наш человек. Тысячелетиями складывалась у него эта особая черта — наслаждаться хорошо сработанной вещью. Не всем, ко-

нечно, довелось поглядеть, пощупать, как сработаны наши искусственные планеты, но не они ли знаменуют собой художественный гений народа, его дерзновенную мечту, воплощенную в космической вещи столь совершенно и дивно, что в ней наиболее полно выразилось слияние мечты с могущественным деянием рук человеческих.

Желающими увидеть зрелище протаскивания дюкера никто не руководил, им не оказывали содействия ни транспортом, ни брошюрами с объяснением существа операции. Это был типичный самотек.

Конечно, такое обилие посторонних на рабочей площадке, с одной стороны, льстило строителям, с другой — толпа, как и всякая неорганизованная масса, внушала опасение: как бы она не помешала работе.

Балуев распорядился выдать для наиболее почтенных зрителей, главным образом семейных, доски, чтобы не сидели на мерзлой земле. Тем же, кто явился обвешанный орденами, поставили даже бочки из-под горючего. Для инвалидов Отечественной войны и престарелых вынесли скамьи из столовой и красного уголка. Но, совершив этот акт вежливости, Балуев строжайше потребовал, чтобы никто не смел ступать на рабочую площадку: могут ушибить тросы; чтобы никто не смел подходить к краям траншеи и заглядывать в нее: он опасался обвалов рыхлого грунта.

Приятное возбуждение охватило Павла Гавриловича. Конечно, этому немало содействовали и публика, и корреспонденты, и торжественное выражение лиц рабочих, которые в связи с таким стечением народа тоже чувствовали себя персонами весьма значительными.

Командный пункт Балуева находился на крутой оконечности песчаного мыса. Здесь из береговой кручи, из перемычки торчал высоко вздернутый, конусообразный оголовок трубы, и стальные канаты свисали из него в реку. Посредине реки стоял понтон, облегчавший вес каната, и сквозь прозрачную даль тумана виднелся противоположный берег.

Фирсов в последний раз прошел вдоль двухкилометрового русла канала. Труба всюду лежала на плаву, и железные бочки понтонов выпуклым пунктиром обозначали фарватер.

Краны-трубоукладчики выстроились по правую сторону траншеи; по левую, напротив каждой машины, — бульдозеры. Туго натянутые тросы врезались в берега траншеи и были пристроплены к дюкеру.

Рабочие в лягушиного цвета гидрокостюмах, по грудь в воде, проверяли узлы тросов на дне траншеи. Вода была студеной. Плоские ледяные пластины плавали на поверхности. Голые руки рабочих покраснели, словно ошпаренные.

Публика считала их водолазами, а они вовсе не были ими. Они были кто сварщиком, кто дизелистом — все добровольцы, любители показать себя. И потому, что были они добровольцами, они дольше, чем это было нужно, бродили по воде, щеголяя перед зрителями своей закалкой.

Шпаковский, в шляпе, в коротком пальто, в пушистом шерстяном шарфе и кожаных перчатках, неодобрительно смотрел, как Марченко, одетый в гидрокостюм, бултыхается в грязной воде и, не щадя своих рук, перевязывает заново понтоп, крепление которого показалось ему слабым.

Рядом со Шпаковским стояла Зина Пеночкина. На берет она нацепила вуаль, опустив ее до верхней губы. Нос у нее еще не зажил, но она оптимистически говорила:

— Он у меня все равно нашлепкой. Зато я его своими длинными ресницами компенсирую и теперь их даже крашу, чтобы было для всех заметнее. — Спрашивала кокетливо Шпаковского: — Я тебе, Борис, сейчас никого не напоминаю? — И сама же подсказала: — У меня, по-моему, взгляд сейчас, как у Любви Орловой, когда она в «Цирке» иностранку играла.

— Заработает ревматизм Васька, загубит руки. Нам же нельзя ими баловаться. Ты позови его, — попросил Шпаковский.

— Вот еще! — сказала Зина. — Не хватало, чтобы я супружескую власть на производстве над ним проявляла.

— Расписались, значит?

— Ну что ты! — рассердилась Зина. — Разве можно, пока дюкер не протащим, праздники устраивать? Мы решили свадьбу справлять после, чтобы одновременно и за трубу нас чествовали. — Спросила: — Ты не знаешь, на каком пальце обручальные кольца посят? А то мы с Васей решили по всей форме, с кольцами, и столовку на всю ночь снимем для свадьбы-банкета. Договорились с поваром:

кроме сухой закуски — котлеты, гуляш. А для самых знакомых друзей даже шашлык будет. Знаешь, я Васю среди всех людей самым лучшим считаю! Он теперь со мной во всем согласный.

— А как же Зайцев, ты ведь про него тоже так говорила?

— А я ему теперь даже вовсе не улыбаюсь. — Поправилась: — Разве иногда только, из вежливости.

— Кто же теперь с Капитолиной?

— Она мне давно уже совсем не подруга. Безуглова к ней переселилась. Интересно, о чем они друг с дружкой могут разговаривать, раз обе такие гордые! — Сказала Шпаковскому доверительно: — Мне с Васей счастье задаром досталось. Хотя бы я за ним в трубу полезла, а то за Виктором. Вася — человек очень благородный; я чувствую, как от него сама лучше стала. Выучусь на мотористку САКа — и буду всегда при Васе состоять не только дома, но и на производстве. Ты знаешь, во мне этот пережиток ревности ужасно действует. Решила подруг иметь только самых некрасивых, чтобы на их фоне еще лучше для Васи выглядеть. Нельзя уж очень самоуверенной быть.

Капа Подгорная и Изольда Безуглова пришли на протаскивание дюкера в спецовках и помогали матросам земснаряда наращивать гибкий шланг металлическими трубами, чтобы подавать воду в верхнюю оконечность траншеи.

...Вернувшись в ту памятную ночь на грузовике, Подгорная немедленно разбудила Изольду и сказала ей трагическим тоном:

— Ты про меня сейчас же все обязана знать, все! Раз мы подруги, должна понять, с кем имеешь дело. — Не выдержала взятого тона, разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку.

Изольда, растерянная, испуганная, закутала холодную, избыточную Капу одеялом, прижала к себе и, нежно отдувая падающие ей на лицо волосы, только жалобно приговаривала:

— Ты ради бога не простудись, не заболей. Если заболеешь, я буду самая несчастная! Я всю ночь мучилась, почему ты мои валенки не надела. Они же в углу за дверью. Я тебе записку на столе оставила. А ты их не надела. Я решила, ты не хочешь мое своим считать, и очень это переживала.

Задыхаясь, всхлипывая, Капа сбивчиво, путано сказала о ночном разговоре с Балуюевым. Прерывая рассказ, спрашивала с отчаянием:

— Нет, ты понимаешь, как я теперь унижена и что он обо мне думает! Как мне совестно, стыдно! Ведь я воображала, он такой необыкновенный, хороший — поймет, что я о нем просто для себя мечтаю. А он решил, я навязываюсь. Я теперь, как его увижу, вся содрогаться буду — не за него, а за себя, конечно. Как я могла вдруг таким ничтожеством перед ним оказаться!

Изольда гладила Капу по лицу, говорила сочувственно, ласково:

— И вовсе ничего особенного не случилось. Такое могло с каждой девушкой случиться. Например, я. Я тоже влюблена в товарища Балуюева, и совсем не как в определенного мужчину, а просто за то, что он такой душевный. И на Терехову я стала смотреть с подчеркнутой официальностью. За что? За то, что она Павлу Гавриловичу нравится. Я думала, раз она ему нравится, он теперь ко мне не так расположен будет. Он как виноватый, бывало, ко мне подходил, спрашивал: «Чего не заходишь?» Вижу по глазам, будто извиняется. А я от него нарочно глаза отворачивала. Ему нехорошо, вижу, нехорошо. И жалко мне его так делается, прямо бы на шею бросилась, прощения попросила. Тоже мог подумать — вешаюсь. А он для меня только человек хороший, и другого ничего особенного нет. И у тебя точно такое же переживание. — Продолжала со вздохом: — Вот если тебя заденут, обидят, сразу знаешь, как среагировать. Очень просто. Скажешь что-нибудь такое нахальное, долго не забудут! А вот когда с хорошим, с задушевым — это самое трудное. Размякнешь вся, разволнуешься, ну и что-нибудь непродуманное от чувства и ляпнешь. А потом ежишься, содрогаешься вся, как ты сейчас... Я понимаю, даже лучше тебя понимаю. Тут ко мне многие ласковы ни за что ни про что. Вот Витя Зайцев. Ну, просто шефствует, а мне неловко! Он мне ужасно нравится. Но никогда ему не признаюсь, до самой смерти. Скажет: «Я с ней по комсомольской линии работу вел, в активистку вытягивал, а она сразу на личность все перевела, на чувства. Какая ограниченная». Даже подумать мне неприятно, такие слова от него услышать. — Посоветовала: — Ты все-таки Борису про свой идеал намекни, пусть приглядывается к Павлу Гавриловичу. Сама говоришь: надо пример всегда перед глазами иметь. А если к наружности Шпаковского душевность Балуюева приба-

вить — это же прямо замечательный человек получится, и я тебя с ним поздравляю.

Капа постепенно успокоилась, вымыла лицо, переоделась.

Так как обе девушки, не в пример Зине Пеночкиной, пренебрегали хозяйством, они поели варенья из банки, макая туда хлеб, и Капа, снова став гордой и независимой, объявила:

— Все равно я страдать еще долго буду. Но Балуюв теперь для меня — просто существо. Что служебное — пожалуйста, а так никакого внимания.

— Ну и правильно, — согласилась Безуглова. — Нечего ему думать, что он уж такой необыкновенный...

...Когда налаживали шланг, все время напором воды выбивало трубу и всех окатывало водой. Подошел Балуюв, посмотрел, сказал:

— А ну! — Встал над трубой, приподнял ее, раскачал и с силой глубоко всадил в шланг. — Вот и все. — Посмотрел снисходительно. — Так, по-нашему! — Похлопал Подгорную по плечу, сказал громко, чтобы все слышали: — Человеку, рожденному в далекую эпоху ручного труда, это — дело плевое! — И пошел на командный пункт, важный, довольный тем, что смог так лихо показать себя ребятам с земснаряда...

Тяжесть дюкера, его гигантская весомость, дополнительно отягченная выпуклыми чугунными грузами, рождала ощущение, будто эта монолитная колонна протяженностью в два километра раздавила непомерным весом почву и земля сама раздалась под ней длинной расселиной. Оттянутые машинами тросы глубоко врезались в стены траншеи.

Продетые сквозь клюзы оголовка стальные канаты, вяло обвисая, утопали в реке. Канаты выползали из воды на противоположном берегу, обкручивались вокруг тяжелых жерновов блоков и с разворотом в сто восемьдесят градусов обращались в «упряжь» тракторного поезда, путь которого вдоль поймы был устлан истерзанной тракторами лежневкой.

Балуюв, сбросив на землю кожан, стоял на обрывистом мысу. В опущенных руках он держал белый и красный флаги. На груди на тонком ремешке у него висел длинноствольный морской бинокль.

Из береговой кручи торчал остроконечный оголовок дюкера с отвисшими канатами и красным флажком между позднями клюзов.

Близилось мгновение, когда труд всех должен был завершиться этим торжественным шествием дюкера сквозь речную глубину. Труд тех, кто в болотной, угрожающе трепыхающейся хляби стальными челюстями экскаваторов прокладывал траншею, дни и ночи накачивая воду, которую поглощала ненасытная трясина. Труд монтажников, укладывавших и центровавших трубы, стоя по колено в болотистой жиже.

Сварщики-потолочники, чтобы сварить стыки, копали приямки, и насосы качали гнилую воду, пока согбенный сварщик все больше и больше погрязал в расквашенной почве.

Изолировщицы смолили трубу, бинтовали ее гидроизоляцией и отдыхали, сидя на ней — единственном куске тверди в этой заболоченной пойме.

Машинисты кранов-трубоукладчиков выволакивали свои машины, как древних ископаемых, затонувших в первобытной топи. На все это люди пошли, движимые уважением к труду горняков, добывающих железную руду, к тем, кто выплавляет из нее в домнах и мартенах металл, прокатывает его на станах и скручивает стальные свитки труб.

Люди отказались от обхода заболоченной поймы. Пошли через болото, чтобы вернуть стране четыре километра труб — две тысячи тонн металла, добытого другими людьми, состязаясь в своем подвиге с их подвигом.

Сейчас, в эти мгновения, решалась судьба общего дела. Люди знали, что протаскивание трубы вовсе не парад и все в этом процессе чревато неожиданностями. Дюкер, сползая с береговой кручи, может замедлить движение — провиснуть, образуется вмятина, и тогда нужно будет вырезать кусок, вставлять новый, то есть почти все начинать сначала. Дюкер в своем движении может напороться на скрытый валун, ободрать футеровку, изоляцию. А что, если он утратит плавучесть в траншее? Если оттуда выльется до времени вода, его не пошевелить, не сдвинуть, распростертого мертвенной тяжестью на грунте. Тогда его нужно резать на части и протаскивать кусками. Кусками! И, значит, опять начинать все заново, когда река начнет уже смерзаться и в крепнущем льду придется прорезать двухкилометровую майну... Этот тяжелый, медленный труд может надолго отодвинуть срок стыкования линии

газопровода с дюкером. Значит, промышленные районы страны не получают в положенное время газ...

Балуев простер над головой руку с белым флажком — подал сигнал начать протаскивание.

Медленно, очень медленно стали натягиваться висящие из оголовка трубы канаты, они вздымались над поверхностью реки, роняя тяжеловесные капли.

Столь же медленно, торжественным шествием начали двигаться по обе стороны траншеи краны-трубоукладчики и бульдозеры с высоко поднятыми вогнутыми ножами.

Остроконечный оголовок дюкера, торчащий из береговой перемычки, стал сочиться водой, проникающей из траншеи, от еле заметного шевеления дюкера. Если движение трубы не усилится, траншея истечет водой и дюкер ляжет на дно ее, утратив плавучесть, и тогда конец, тогда всё.

Но вот на жирной смазке раскисшей почвы дюкер пополз из глинистой стенки перемычки, сокрушая ее своей тяжестью, и, медленно склоняясь к береговому урезу, вполз в воду, скрылся в ней. Прямая борозда на поверхности реки обозначала след его подводного движения. Вот уже кран-трубоукладчик и бульдозер на противоположной стороне траншеи достигли края берега. Отцепив тросы, машины развернулись, зашли в хвост колонны. Их снова пристроили к дюкеру, и они снова поволокли его, приближаясь к берегу, пока другая пара машин повторяла их эволюции.

34

Стояла такая тишина, что было отчетливо слышно клокотание воды, ниспадающей с береговой кручи, шорох и скрип песка, тонкое струнное гудение натянутых тросов.

В побелевшие губы Балуева Сиволобов вложил сигарету, зажег спичку. Балуев стоял как изваяние, с поднятым белым флагом, повернувшись лицом к противоположному берегу.

— Не вижу, — сказал Балуев.

Сиволобов поспешно поднес к его глазам бинокль.

Тракторный поезд медленно шествовал на том берегу вдоль поймы. Над поверхностью показалась всплывшая оконечность дюкера. Мокрый флажок сначала свисал тряпочкой, потом от движения распростерся и отчетливо сверкнул своим рубиновым цветом в серых волнах реки.

Балуев выплюнул сигарету, попросил:

— Дай закурить.

Сиволобов не удивился, так как сам волновался. Глаза слезились, и он с ожесточением тер их тыльной стороной ладони.

Сидящие на скате холма зрители вскочили, стали кричать, размахивать руками.

Фирсов попросил почему-то шепотом:

— Тихо вы, граждане.

Величественно и мощно дюкер переползал реку.

Балуев, ослабев от ощущения счастья, попросил Сиволобова:

— Подержи флажок.

Сел на землю и стал медленно переобуваться, будто это было так неотложно. Он прятал лицо, на котором блуждала глуповатая, неудержимая ухмылка. Ему хотелось сейчас кричать, прыгать. «Ну что же это такое?! — с возмущением думал Балуев. — Ведь я пожилой человек, виски белые... А вот вскочу и начну орать, прыгать, и ничего с собой не поделаю».

Он глядел между расставленных ног Сиволобова на реку, где все дальше и дальше удалялся в серебристый туман красный флажок на оголовке дюкера.

Да, Балуев все предусмотрел, до последней мелочи, и время для атаки — протаскивания дюкера — выбрал именно тогда, когда душевное состояние людей достигло наивысшего подъема, — все правильно.

Но он промахнулся, Балуев. Он не учел, что высокий душевный подъем тоже необходимо регулировать. Он этого не сделал, не подумал, что некоторая доза охлаждения чувств столь же необходима для полной гарантии протаскивания дюкера, как резервные тросы, как запасы при расчете мощностей и многое другое.

Молодой тракторист Коля Зенушкин, состоявший в упряжке тракторного поезда, волочившего трубу с противоположного берега, бросил взгляд туда, где была душа его, на красный флажок приближающегося к середине реки дюкера. Он знал, что этого не следует делать, но не мог превозмочь себя.

Мне рассказывал командир танковой части, участвовавший в параде на Красной площади, что, когда машины приближаются к Мавзолею, они вдруг неувовимо и непроизвольно начинают приближаться к запретной черте. И он жаловался мне: «Я приказывал: «Забудь, что идешь мимо Мавзолея. Нет для вас Мавзолея. И никого для вас

в данный момент нет! Понятно?» И вот каждый раз чувствую: отжимаем машины к линии. Прямо выскочил бы из башни. Теряют прямую. Гражданским незаметно. А я понимаю: идут не по волоску. Гнется линия, на волосок, а гнется. Будто рука, которая лежит на рычаге реверса, в этот момент не рукоять сжимает, а твое сердце».

Нечто подобное, верно, испытывал и Коля Зенушкин. Победоносное движение дюкера заворожило его на какое-то мгновение. Трактор подался вправо, сошел гусеницей с лежневки, накренился, залез в трясину, заскреб отчаянно обеими гусеницами, машину развернуло, и она сначала кормой, а потом вся сползла в рыхлую грязь, забилась, заметалась, ослабевший канат провис, машина завалилась боком в поддавшийся грунт. Тракторный поезд остановился. Канат погрузился в реку. Дюкер тоже остановился, красный мокрый флажок поник. А на том берегу шесть машин еще несколько мгновений продолжали упорно выталкивать дюкер из траншеи, но тяжесть его оказалась непомерной, и, раздирая в щепу бревна, машины буксовали, не в силах дальше толкать трубу.

Из разломанной, размытой береговой перемычки бурым водопадом хлестала вода, уходящая из траншеи, дюкер все ниже и ниже обвисал в ней и уже местами ложился обессиленно на мягкое дно.

Балуев, лицо которого мгновенно обрело выражение спокойного равнодушия, приказал Сиволобову: «Подыми красный флажок», — что обозначало: прекратить протаскивание.

Он вразвалку подошел к траншее, крикнул:

— Эй, вы там, механики! Заваливай перемычку! Антракт! Перекур! — И добавил укоризненно: — А воде убежать не к чему. Дави ее перемычкой.

Виктор Зайцев, опустив щит бульдозера, сгреб огромную кучу грунта и стал сваливать ее в стремительно несущуюся из траншеи воду.

Удержать воду, не уронить трубу на дно, где разжиженный грунт присосет ее с непомерной силой, — это сейчас было главным.

Балуев со злобным нетерпением смотрел, как бульдозер Зайцева, накренившись на откосе, сваливает в траншею грунт, мгновенно размываемый и уносимый течением.

Река в устье траншеи желто и жирно раскрасилась растворенным грунтом, вынесенным бурлящим потоком.

Жгуче ненавидя сейчас Зайцева за медлительную, казалось, осторожность, с какой он сталкивал грунт с кручи, Балувев, преодолевая себя, снисходительно посоветовал:

— Не горячись, Витя, спокойненько.

Хотя Балувеву именно хотелось, чтобы Зайцев горячился и не спокойно, а яростно атаковал воду.

Балувев знал, как опасно горячиться в такие напряженные минуты. За многие годы он научился владеть собой. Он сказал журналистам, с деланным удовлетворением глянув на ручные часы:

— Ну что ж, полреки одолели точно по графику. А сейчас перерыв на обед. — Посоветовал: — Обратите внимание, какое ощущение баланса у парня. В машине сухим весом, без горючего и масла, двенадцать тонн, а он ею просто играет.

И отошел с благодушной, сановной улыбкой, всем своим видом показывая, что все идет согласно плану. Но он знал: если минут за сорок не удастся удержать воду в транше, спуск дюкера сорвется. И еще неизвестно, не промнется ли труба, недвижно провиснув с береговой кручи. А это уже авария.

Угрюмый, тяжеловесный поток выдавливал песчаную жидкую кашу перемычки. Вода буравила перемычку, раздирала на куски, сносила в реку.

Лупанин в сверкающих резиновых ботфортах спустился в траншею. Повернувшись лицом к бульдозеру, он, как укротитель, подняв руку, ласково и повелительно покрикивая, указывал жестами, куда сгребать грунт. Из разодранных откосов траншеи тек серый, как пыль, истертый веками в тончайший порошок плавун, он погребал в себе трубу.

Растерзанная, размтая траншея оползала: огромные глыбы, образуя глубокие трещины, сперва отделялись от почвы, потом со скрипучим вздохом валились вниз.

И вот в эти решающие минуты раздался отчаянный вопль, и бульдозер Зайцева ухнул в расквашенную жижу.

Когда Лупанин успел выскочить из траншеи и, ринувшись в нее на кране-трубоукладчике, застопорить бульдозер и выдернуть его из трясины, Балувев сказать не мог. Не мог он объяснить также, как он сам очутился на дне траншеи и откуда взялась у него чудовищная сила, чтобы вытащить Зайцева. Все это, казалось, слилось в одно короткое мгновение.

Выбравшись из траншеи в тесной, тяжелой от воды одежде, Балувев медленно приходил в себя, испытывая

странное ощущение спокойствия, воодушевления, радости. Сначала он не мог понять причину такого противоестественного для данной обстановки чувства, но потом понял, откуда оно пришло.

На обледеневшем бульдозере, обретшем сходство с гигантской каменной глыбой, у рычагов стоял, полусогнувшись, Лупанин и с дерзновенной, артистической удалью месил песчаную кашу. Ставя машину почти на дыбы, выкарабкивался из этой каши, полз на откос, пятясь, обрушивал в воду огромные пласты земли, скатывался вслед за ними с кручи, подминал, прессовал, вдавливал, снова выкарабкивался, и снова машина стальной глыбой, плашмя почти падала на перемычку.

Это было восхитительное, тончайшее мастерство! Это был земной высший пилотаж. Двенадцать тонн стали обрели почти невесомое проворство.

Хищное, с оскаленными в улыбке зубами лицо Лупанина с напряженными мускулами, туго обтянутыми кожей, блестело, словно вырезанное из кости.

Сиволобов произнес благоговейным шепотом:

— Такого посади в космолет, он же любой планеты достигнет! — Дергая за рукав Балуюва, умолял: — Ты смотри, смотри, рожа у него! Это же настоящий орел! — Сиволобов вытирал глаза от умиленной влаги и вдруг сполз на спине по откосу в траншею. И как прежде, Лупанин с видом укротителя, стоя перед грозно нависающей на него машиной, движением руки сигнализировал, куда лучше валить грунт.

Стрекотала киносъёмочная камера. Бело вспыхивали фотоаппараты. Балуюв сказал корреспондентам взволнованно:

— Вы отметьте, товарищи, с протаскиванием мы сегодня больше чем сорвались бы, если бы не он, Лупанин. Спас воду в траншее, не дал трубе упасть на грунт. Григорий Лупанин, понятно?

Вода, остановленная перемычкой, тяжелая, усталая, лежала побежденной на дне траншеи.

Лупанин откинулся на сиденье машины. Только сейчас он ощутил изнеможение во всем теле. Руки его, отдыхающие на рычагах, мелко, нервно дрожали. От мерного биения мотора дребезжал инструмент в ящике.

Он вылез из машины, ухмыльнулся корреспондентам и, волоча длинные ноги в глянцевиных, высоких, до самого паха резиновых ботфортах, пошел к своему крану-

трубоукладчику. Встретился взглядом с восхищенными глазами Зины Пеночкиной, сказал развязно:

— О красивобедрая, о прекрасная в талии...

— Гриша, — умоляюще произнесла Пеночкина, — не говори в такой момент гадости.

— Это не я, — сказал Лупанин, — это индийский эпос, форма вежливого обращения к женщине.

Остановился перед Подгорной, снял шляпу и, вынув из ленты веточку конского щавеля, галантно преподнес:

— Можете вручить по назначению утонченному мастеру изысканного шва. Скажешь ему: на семейное счастье от Лупанина. — Вздернул плечи, отвернулся и, провожаемый печальными, тоскующими глазами Подгорной, влез на трубоукладчик и отвел его подальше от береговой кручи, расколотой трещинами.

На бульдозер сел Мехов, он продолжал уминать перемычку. Почти так же, как Лупанин, он бесстрашно карабкался на кручу, но не мог преодолеть неуклюжую тяжеловесность машины. Мехов свирепо дергал рычаги, обливался едким, точно соляная кислота, потом, — это был тяжелый труд.

К Лупанину подошел Вавилов, долго откашливался, сипел, потом сказал глухо:

— Я, Гриша, не думал, что в нашем занятии можно такой красоты достигнуть. Сидел, млея, понимаешь, как обалдевший. Учинил ты сегодня цирк для народа. Спасибо тебе настоящее от всех нас! — И протянул толстую, грузную руку.

Лупанин молча пожал. Лицо его было усталым и грустным. Он печально рассматривал свою шляпу и трогал пальцем ленту в том месте, где недавно носил веточку, взятую из рук Капитолины.

Вчера вечером Шпаковский вызвал его из общежития на улицу и сказал:

— Я тебя, Гриша, очень уважаю и хочу прямо сказать: Капитолина дала согласие. — Спросил: — Может, ударить меня хочешь? Поэтому на улицу и позвал. Зачем нам при общественности драться?

— А я не собираюсь, — сказал Лупанин.

— Ты смотри, после не передумай, — попросил Шпаковский. — Я ведь понимаю, как тебе тяжело.

— Понимаешь, так проваливай! — Лупанин повернулся, пошел в барак. Но почти тотчас, крадучись, выскользнул оттуда.

Почти всю ночь он бродил в лесу, натываясь на деревья, пробовал малевать красками на фанерной дощечке, чтобы запечатлеть лунный цвет на бледных березовых стволах. Обличал себя, что притворяется и больше всего ему сейчас хочется плакать. Вытряс на землю из мешочка в черную чешую истлевшей листвы тюбики с краской, раздавил ногами и, почувствовав от этого какое-то странное облегчение, на рассвете вернулся в общежитие. Разделся, сделал физзарядку, облился в сарае водой, первым пришел на водный переход и смотрел, как медленно вставало из-за холмов солнце и розово окрасило реку и заболоченную пойму, покрытую сверкающей изморозью. Чтобы не было скучно ждать одному людей, включил мотор и успокоенно прислушивался к его живому, мерному биеанию. Но немеркнуше виделись ему черно-лучистые глаза Подгорной, ее гордое лицо и всегда грустно опущенные уголки губ.

А сейчас Лупанин испытывал только одно чувство — упоенной мести. Она видела его сегодня самым лучшим и пусть запомнит таким навсегда. Он больше не подойдет к ней, не взглянет. Пусть будет счастлива со своим спесивым монументом. Лупанин, быть может, даже когда-нибудь придет к ним в гости. На прощание они спросят его адрес, и он скажет небрежно: «Луна, до востребования, мне». Скажет теми словами, какими иногда шутит его брат, подвижнически тренирующий себя к каким-то особым, сверхдальним и сверхскоростным перелетам...

35

Бесследно исчезли добродушные улыбки представителей организаций, контролирующих стройку. Их лица обрели сурово-озабоченное должностное выражение.

Директор будущего газопровода Фокин, специально прибывший на протаскивание дюкера, плененный захватывающей картиной всеобщего подъема, решился на широкий, вдохновляющий жест. Он объявил, что готов подписать форму № 2 на выполнение всего объема работ в сумме один миллион двести сорок восемь тысяч рублей девяносто восемь копеек немедленно, не дожидаясь завершения всей операции.

Акт был торжественно подписан Фокиным, представителем генерального подрядчика, промбанка и, наконец,

самим Балуюевым. Весть об этом еще больше воодушевила рабочих. Их радовало такое доверие.

Теперь Фокин, насупившись, размышлял, наложить ли санкцию немедленно или подождать до завтра и тогда оштрафовать Балуюева из зарплаты на пятьсот рублей за завышение против показанного в форме № 2 объема работ, и, понятно, лишить премиальных...

Конечно, участок Балуюева дал экономию — четыре километра труб. Сварка без подкладных колец, в сущности, будет иметь огромное народнохозяйственное значение, когда это новаторство распространится по всем стройкам. На участке Балуюева отказались от дорогостоящих кривых, сделав пологий ввод в подводную траншею; осуществили и множество других значительных рационализаторских предложений. Все это очень приятно. Но дело есть дело.

Поставил свою подпись Балуюев под тем объемом работ, какие там записаны? Поставил! Попался? Попался! Все остальное теперь будет рассматриваться как превышение. Конечно, форму № 2 следует составлять тогда, когда работы полностью завершены. Балуюев — мужик опытный, сам знает. Захотел своих людей еще чем-нибудь особенным воодушевить. Воодушевил! Вот теперь пускай и расплачивается. Уж очень он любит, чтобы его все любили. Обжалует. Поправят, ясно, но не сразу, и попереживать ему придется.

Фокин не называл теперь Балуюева Пашей и больше не интересовался тройной ухой, которую Павел Гаврилович такой мастер варить. Лицо Фокина обрело неприступное выражение. В руке он держал тяжелый, многоременный портфель, где лежал подписанный акт. Он то вполголоса, то зловещим шепотом разговаривал с представителем промбанка, лицо у которого было разочарованно-грустное. Владелец этого лица явно раскаивался в том, что поддался атмосфере всеобщего воодушевления и тоже поставил свою подпись под актом.

Представитель бассейнового управления речного флота сразу же бросился в лодку, чтобы замерить, вышел ли дюкер на фарватер реки и насколько. Если окажется препятствие для судоходства, он составит акт, наложит на Балуюева штраф за все убытки речного флота в связи с тем, что придется приостановить ход судов.

Контролер теплотехнической станции, облачившись в гидрокостюм, обследовал состояние изоляции трубы. Не повреждена ли она, нет ли вмятин в тех местах, где труба легла на грунт и провисла.

Словом, каждый из представителей был сейчас занят, каждый добросовестно выполнял возложенные на него функции.

Когда труба шла нормально, они были только зрителями и, как зрители, бескорыстно наслаждались зрелищем отлично отработанной операции, захватывающей своими масштабами и мощностью. Теперь же для них нашлась работа, и они с упоением отдались ей.

Не знаю, как научился управлять своим лицом Павел Гаврилович и каких усилий ему это стоило, но лицо его сейчас приняло оживленно-беспечное и даже благодушное выражение.

Потирая руки, он объявил, что очень доволен сегодняшними результатами (дюкер протасчен почти наполовину, а ведь он полагал, что при данном наличии техники целиком его стащить не удастся, и даже назначил уже газорезчиков, чтобы в случае чего сразу резать на части и тащить трубу по частям), поздравил машинистов кранов-трубоукладчиков, бульдозеристов с отличной работой и тут же в присутствии представителей демонстративно подписал приказ, где им объявлялась благодарность.

Сиволобов привел тракториста Зенушкина, сказал хмуро:

— Вот это он трактор завалил, загляделся, как дюкер идет, и свалился в болото, сорвал всем протаскивание.

Зенушкин бледен, губы дрожат, глаза впали. Он сказал покорно:

— Я виноват, верно.

Балуев спросил:

— Ты первый раз на протаскивании?

Зенушкин кивнул.

— Ну, тогда все ясно! — улыбнулся Балуев. — Это же трудно — тянуть и не глядеть на такое торжественное дело. — Снисходительно похлопал тракториста по плечу. — Ну, теперь увидел, в следующий раз оглядываться не будешь!

Зенушкин молитвенно сложил руки.

— Товарищ Балуев, клянусь... чем хотите...

— Ладно, — сказал Балуев, — иди отдыхай. — Зевнул, прищурившись, посмотрел на Фирсова, объявил: — Ну и я на боковую. А ты как, небось преферансик? На весь вечер? Что ж, дело полезное. Содействует умственному развитию. — Сел в машину и уехал.

Фирсов сказал Сиволобову восхищенно:

— А накопил в себе железо Пашка, до конца жизни накопил! Козырным тузом себя держит. Вот это выдержка, я понимаю! Скала мужик, ничего не скажешь!

А «мужик-скала» велел шоферу свернуть с проселочной дороги в лес, вышел из машины, приказал отрывисто:

— Давай до хаты, а я погуляю, проветрюсь.

Торопливо пошел в чащу; продираясь сквозь кустарник, черпал на ходу снег, ел, выплевывал и снова ел, пока не свело зубы. Он шел, натыкаясь на деревья, как слепой. Распахнув пальто, расстегнул рубашку, снегом потер грудь, думая этим смирить сердечные спазмы. Сел на пенек, бессильно уронил сцепленные руки меж колен, склонил голову, зажмурился. Глаза давило изнутри мучительной болью.

Сверкающий зимний день погасал стремительно. Дождавшись темноты, Балувев воровато пробрался обратно на водный переход, чтобы одному осмотреть, обдумать, взвесить все случившееся, принять решение: продолжать протаскивание трубы целиком или разрезать и волочить по частям.

Конечно, такие вопросы следует решать не в одиночку. А разве когда человек один, он одинок? Разве мысленно не чувствует он себя вместе со всем окружавшим его миром, разве его не сопровождают те, с кем он работает, с кем он прожил жизнь? И даже те, кого уже нет в живых, но кто бессмертен, пока жив ты сам?

Балуев бродил по площадке, светя карманным фонариком. Он останавливался, сосредоточенно глядел на дюкер, замерял воду в траншее жердью, задумчиво растирал в руке жесткий, как толченное стекло, плавун, засасывающий дюкер; глядел на яркие звезды, насквозь пронзившие небо, подсчитывая вес оставшейся в траншее части трубы, отягощенной ледяной настылью и в ряде точек плотно всосанной в грунт; прикидывал, как перегруппировать мощности, чтобы можно было сдвинуть уже уложенную часть трубы, а потом побыстрее перебросить технику на тот берег. Но над всеми этими его деловыми размышлениями властвовало совсем другое — мысли о своей жизни, которая уже почти прожита, о себе самом, так и не постигшем многих ее уроков и не способном все их постигнуть, оставшись, в сущности, тем же Пашкой, каким он был и двадцать и тридцать лет назад.

Павел Гаврилович стоял в дыму туманной мглы на обрыве. Из траншеи исходило зловоние прокисшей грязи. В длинной земляной могиле лежал опозоренный дюкер.

Чугунные грузы вдавливали его в дряблое днище траншеи все глубже и глубже. Из кольчатого горла шланга в траншею хлюпала вода. Дюкер медленно тонул в ней, а на дне размытой траншеи уминал перемычку одинокий бульдозер. Он елозил по крутой седловине куцевого пространства, высоко подняв истертый до зеркального блеска вогнутый нож.

Белые столбы фар то вытягивались, бледнея, то упруго сжимались, упираясь в откос, и тогда на глиняной стене зыбко дрожали яркие световые пятна.

Бульдозер барахтался в рыхлом грунте, утопал в нем и, казалось, гибельно зарывал сам себя. Увлекаемая оползнем машина кренилась на борт, повисала на краю перемычки, и вот еще мгновение, и она свалится на черное болотистое дно траншеи. Словом, это была обычная работа бульдозериста на грунтах со слабо несущей поверхностью.

Балуев подошел ближе к обрыву. Машина выползла навстречу, развернулась. С шорохом осыпался песок.

Зайцев вылез из кабины, разулся, вывалил из резиновых сапог влажный песок, поднял глаза, сказал задумчиво:

— Вот, Павел Гаврилович! Читал я у Эдгара По, что ли, страшный рассказ: человек в зыбучих песках тонет. Очень сильно его ужас описан... — Деловито осведомился: — Выходит, мы тоже напоролись?..

— Да, плывун, — виновато согласился Балуев. — Геологи не обнаружили, а он прокрался между плотными пластами. Все дело нам портит.

— Ничего, мы его уговорим, — обнадежил Виктор Зайцев.

Низкорослый, озябший, он рядом с могучей и еще горячей машиной выглядел заморышем.

— А ты чего не отдыхаешь?

— Остался для самосовершенствования.

— Технику вождения отработываешь?

— Да нет! Я же сегодня, видели, утопленником был. — И взволнованно стал объяснять: — Если бы в воде тонул, это нормально, не испугался бы. А то в песке. Ну и закричал на всю стройплощадку. Как вспомню, самому неприятно — такой визг поднял.

— Я за тебя перепугался, — сказал Балуев, — тебя же машиной привалило.

— Ее от меня песком пружинило, а так, верно, очень больно было.

— Больно!.. Раздавило бы — и все!

— Тоже правильно,— согласился Зайцев. Приблизил лицо к Балуюеву, произнес доверительно, шепотом: — Я, Павел Гаврилович, хочу страх, который испытал, окончательно из себя выгнать. Буду всю ночь перемышку уминать. А то, знаете, когда отошел в медпункте, очень себя презирал за крик. Вспомнил стихи о разведчике Пашкове, и совсем мне неловко за себя стало. Его фашисты заживо похоронили, потому что он нарочно мертвым притворился, чтобы после из могилы выползти и снова с ними воевать... Я это стихотворение про Пашкова на вечере самодеятельности слышал, когда в Вышнем Волочке дюкер тянули. Но тогда особого значения не придал. А вот сейчас вспомнил...

Холодное тело реки мерно плюхалось в заиндедевших берегах. Кроткий огонек бакена светился зябко, сиротливо. Падал мокрый снег с дождем, но в темноте дождя и снега не было видно. От болота несло сыростью погребя и мертвенной гнилью.

Зайцев, поеживаясь от озноба, сказал сердито:

— Вот сейчас на химнию, на пластмассы всей страной после Двадцать первого съезда навалились. А почему трубы для газопровода из нее не придумают? Сколько металла в землю вгоняем, а он на что-нибудь другое пригодится. Из пластмассы же дешевле, и коррозии не поддается — вечная штука. И чего ученые с таким важным делом тянут!.. Вот академик Семенов — читал его в «Правде» — здорово пишет. Может, ему заказ на трубы дать? Это же его специальность — пластмассы. Хорошо придумал, а?

— Хорошо,— согласился Балуюев и спросил: — С учебой у тебя как?

— Плохо,— грустно признался Зайцев.— Мятущийся я человек. Сначала на заочном машиностроительном был, а сейчас на астрономический хочу. Дело уж очень перспективное...

— Что ж, наше строительное тебе уже не нравится?

— Почему? — удивился Зайцев.— Я механик до конца жизни.

— А чего в небеса лезть собираешься?

— И вовсе я никуда не лезу,— обиделся Зайцев.— Это я чтобы вселенную понять и что человек во всеобщем масштабе значит. Техника для межпланетных полетов самая высокая, можно что-нибудь от них перенять и в нашу строительную пользу.

— Да увязли мы со своей техникой здесь в болоте,— печально сказал Балуюев.— Куда ни ступи — трясина.

— А вы, Павел Гаврилович, не расстраивайтесь, — утешил Зайцев. — Ну, не вытянули мы сегодня дюкер. Считайте за репетицию... Помните, вы же сами рассказывали о фронте. Прежде чем немецкий укрепрайон штурмовать, сначала у себя в тылу копию его строили и на нем репетировали наступление! А с Луной как мы поступили? Сначала в нее прямой наводкой советский выпел вцепили, навесили ей свою пломбу. А уж после петлей ракету запустили с полной фотолабораторией. И все получилось, как хотели. — Поднял лицо, сказал: — Павел Гаврилович! Ведь Ленину на будущий год девяносто лет будет. А я даже не верю, чтобы Ленин мог стариком стать. — Прижал опухшие, ободренные ладони к радиатору; лицо в синих пятнах озноба. Спросил раздумчиво: — Как вы считаете, Ленин был бы нами сейчас доволен? Я не о дюкере, понятно. Дюкер мы все равно протащим, а вообще — про все, как Ленин угадал, а мы сделали. Ведь правильно сделали?

— Правильно, — подтвердил Балувев.

— Партия, как самое себя, народ знает. От этого у нее все и получается правильно.

— Ты что, решил со мной политработу провести? — улыбнулся Балувев.

— Ну что вы, Павел Гаврилович! — Зайцев смутился. — Это я просто для себя самого, вроде вслух думаю. Я ведь комсорг. — И прибавил доверительно: — У нас в библиотеке на Уэллса очередь. Ребята к библиотечарше подлизываются, даже духи дарят. Я его научную фантастику почти всю читал. Ничего особенного, отсталая техника. А вот его «Россия во мгле» мне понравилась. Как он с нами здорово просчитался! Хорошая книга, вдохновляющая!

С реки подул протяжный сырой ветер; влажный снег залеплял лицо, тут же таял и затекал за воротник.

Зайцев вжал голову в плечи, съезжился.

— Пойду помну перемышку, погреюсь маленько.

Поднялся в кабину, включил фары. В стеклянных световых трубах густо роился снег. Бульдозер заскреб гусеницами, у края обрыва замер и квадратной тяжелой глыбой стал сползать в глинистое ущелье почти по отвесному откосу.

И снова в ущелье размытой траншеи, наполненной мраком, гибельно накренаясь, барахталась в засасывающем дряблом грунте машина.

Для бульдозериста это была самая тяжелая и невыгодная работа. Ну, сколько ему выпишет нормировщик? Са-

мую малость. Ведь бульдозерист не перемещал кубометры грунта, а только месил их. И нет норм для такого труда, и ценника нет. Но бульдозерист работал сейчас по самым высоким нормам труда советского человека.

«Если перемычка не удержит воду,— думал Павел Гаврилович Балуев, стоя на краю обрыва траншеи,— дюкер снова завязнет в трясине, и пловун будет засасывать стальную трубу. И придется резать его на части, выволакивать из мякины грунта кусками и все начинать сначала!»

На землесосном снаряде, притулившиеся к берегу, мерно гудели центробежные насосы. Кольчатое горло шланга тянулось по земле. Оно ниспадало с перемычки, и из его зева в траншею жирно хлюпала вода.

Но дюкер по-прежнему лежал на грунте мертвой тяжестью. Только там, где не выступали пловуны, бочки понтонов приподняли его ствол, изгибающийся, словно живое тело.

Балуев старался сейчас сосредоточить все свои мысли на дюкере. Этап за этапом, с учетом всего того, что случилось сегодня, он пытался представить те неожиданности, которые будут грозить завтра, при новом протаскивании трубы. Лицо Зайцева в синих пятнах озноба, озабоченное, с немеркнувшим сиянием мечты в глазах, стояло перед ним. И Балуюву казалось, что он сейчас не так одинок, каким чувствовал себя, когда бродил по истерзанной тракторными гусеницами рабочей площадке.

И он думал, как всегда старался думать в тяжелые мгновения своей жизни, и уговаривал себя, обращаясь только к себе: «Когда человек остается один, он не должен испытывать отчаяния полного одиночества. Что значит один? Это я такой, какой сейчас есть, и такой, каким должен быть. И всегда, всю жизнь эти двое существуют во мне. И когда второй, каким должен быть я, побеждает, я становлюсь лучше, чем был... Нужно и теперь перебороть себя самим же собой; таким я хочу быть, каким и должен быть человек и каким я тоже иногда умею быть».

Балуев не мог точно вспомнить, когда он пришел к подобным раздумьям.

Может, похожие мысли появились у него сразу после того, как однажды на фронте он понял, что сегодня его не убили, и завтра, возможно, тоже не убьют, и он останется жить, хотя еще и не ощущал себя, а только мучительно осязал нестерпимо оранжевое пламя разрыва, удар такой

силы, от которого его словно расплющило и тело стало одной сплошной болью.

Боль могла убить, но она же и спасла Балуюева. Спасла, потому что его, ползущего, стонущего, успел заметить и втащить в окоп кто-то из бойцов, и почти тотчас же над его головой, скрежеща, прополз гибкий, суставчатый потолок из натертых до блеска гусениц танка.

В ненависти на заполнившую все его существо боль Балуюев оттолкнул кого-то, выполз из окопа и, лежа на боку, опираясь на локоть, бросил вслед танку гранату. Блеск взрыва безболезнен, но взрывная волна толкнула его, и в это-то краткое мгновение огненной вспышки гранаты Балуюев успел подумать, что сейчас он лучше, чем был, когда полз и визжал от боли. И тут он снова с облегчением утратил себя и очнулся только от тошнотного, мерного покачивания носилок.

И вот, наверное, тогда-то он ясно понял, что его не убьют ни сегодня, ни завтра, что он живой. Осторожно, словно прислушиваясь к боли, которая не была теперь такой нестерпимой и, словно устав, отдыхала, но, отдохнув, снова могла стать чудовищно сильной, он думал: «Человек никогда не бывает один. В нем всегда противоборствуют двое: один — лучше, другой — хуже, и тот, который лучше, никогда не бывает одинок, он в тебе как бы представитель всех людей, которых ты знал и любил, и этот, второй, лучший, повелевает тобой».

А может быть, Балуюев стал думать об этом в самом начале боя, когда «юнкеры» волна за волной роняли бомбы, и от разрывов вздрагивали глиняные стены окопа, на дне которого он сидел, и каждая бомба, казалось, падала на колени, меж которыми он судорожно сжимал автомат. Да, конечно, он начал думать так именно тогда, но с отчетливой ясностью мысль эта пришла потом. Она не успела прийти сразу, потому что боец Егоров вдруг крикнул:

— Ух, мать честная! — и лег на Балуюева грузным телом, и тяжкий удар бомбы будто выгнул дно окопа. Когда же все это прошло, Егоров продолжал лежать на нем и становился с каждым мгновением тяжелее и тяжелее. Балуюев с трудом вылез из-под Егорова, и тот твердо стукнулся о дно окопа лицом, и Балуюев увидел спину Егорова, будто иссеченную топором: осколки так туго и глубоко вошли в тело Егорова, что крови почти не было.

Первое, что Балуюев почувствовал, — это счастье. Остался жив! А Егоров? Могло быть и наоборот. И его

охватила блаженная слабость. Потом Балувев вылез из окопа, от горячих дуновений разрывов несколько раз падал, вставал и не торопясь шел молча, но слышал свой силпый, страшный голос, призывающий солдат в атаку.

Он неторопливо шел по колеблющейся, извергающей осколки земле и молил невесть кого, чтобы его не убило до тех пор, пока он не рассчитается за Егорова сам...

Увидев, что бегущие бойцы опережают его, он сердито побежал, злясь на то, что другие могут оказаться впереди, и не он, а другие рассчитаются за Егорова.

А кто ему был Егоров? Никто! Боец, который потеснился в своем окопчике и с лукавой скаредностью выкурил все офицерские папиросы Балувева. И совесть, что курит чужие, рассказывал о себе с насмешливой, веселой откровенностью: воует он с умом, осторожно, потому что тронх ребят без отца оставлять не имеет права. И никаким орденом его не смазать на лишнее геройство, — вот и окоп вырыл поглубже, чем другие... Говорил он о себе, усмехаясь, будто призывая посмеяться и других.

За табачок, что ли, решил Егор развлечь офицера или понял, отчего у офицера так окаменело покрытое мелким холодным потом лицо?

Этот Егоров и прикрыл собой Балувева, придавил его ко дну окопа своим большим, сильным телом рабочего.

Нет Егорова. Но осталось что-то в сердце и повелительно командует в те мгновения, когда наступает душевная усталость, когда становится очень трудно и тянет словчить, отойти в сторонку, вывернуться и переложить на другого то, что должен тащить сам.

Павел Гаврилович пытался сосредоточить сейчас все свои мысли на дюкере. Не хотелось думать о себе — какой он несчастный и какими неприятностями ему грозит вся эта история. Но даже когда он думал об этих неприятностях, он не мог вызвать у себя ощущение страданий, боли. Не получалось. Не получалось даже тогда, когда нарочно старался возбудить в душе эти горестные чувства. А вот думать о Викторе Зайцеве и о многих других рабочих ему сейчас хотелось больше, чем размышлять о способах, какими можно было бы поднять дюкер на плав.

Как человек во мраке инстинктивно движется к светлой точке, так, блуждая мыслями, Балувев невольно устремлялся в поисках душевного успокоения к человеку же...

Одиноко стоя у края траншеи, где на дне ее утюжил рыхлую перемычку бульдозер, Балуев увидел тоненькую фигурку девушки, сползающую вниз с откоса с узелком в руке, и услышал голос Изольды:

— Витя, ты что, заболеть хочешь, весь день не ел, заставляешь других за тебя переживать!

Бульдозер смолк, и в тишине отчетливо раздался голос Зайцева:

— А я тебя, Зорька, не просил подавальщицей быть. У меня еще с полкило любительской осталось недожеванной.

— Смотри, ты же весь потный, прохватит на ветру, полезай в кабину! — приказывала Изольда.

— А ты? Тебя не прохватывает? Садись тоже в кабину!

Хлопнула дверца. Погасли фары. Значит, Зайцев берег аккумуляторы. Всю ночь ему придется работать с проекторами.

По-прежнему с мокрым чавканьем плюхались в лужи сырые, тяжелые хлопья снега. Снег падал на кепку, на плечи Балуева. От сырости ломило мозолистый шов на груди — след осколочного ранения.

Подсвечивая себе карманным фонарем, Балуев бродил вдоль траншеи и совал в воду жердь, проверяя уровень наполнения.

На протяжении метров трехсот труба всплыла, но остальная часть лежала на дне траншеи. Но то, что триста метров оказались на плаву, — в этом уже было что-то обнадеживающее.

Балуев наткнулся лучом фонаря на Изольду. Она улыбнулась и сказала:

— Гляжу, бродите один в темноте, решила составить компанию.

Балуев посветил на ноги Изольды. Красные туфли на микропористой подошве — в грязи и совсем мокрые. Осветил лицо. Глаза ее сияли. Но она быстро зажмурилась, закрылась рукой от света, сказала:

— Вы, пожалуйста, не мучайтесь, Павел Гаврилович: Зайцев обещал перемычку удержать, сколько бы воды ни накачали. А вы знаете, какой он человек твердый. Раз сказал, так и будет.

— А ты, Зорька, изоляцию проверяла? Не подрали?

— Я в гидрокостюме всю трубу облазила, — гордо объявила Изольда, — как водолаз, по самое горлышко в воде была. И все в порядке. — Потом удивленно спросила: — А чего вы меня Зорькой назвали?

— Так ведь это не я тебя так первый назвал!

— Не вы, верно!

— А кто?

— Да я даже и не помню. Все вдруг сразу придумали так звать. А я ничего, откликаюсь. Раз ребятам нравится — пожалуйста.

Балуев сказал строго:

— Чтобы завтра снова изоляцию проверила.

— А завтра разве не сегодня?

Балуев посветил фонариком на ручные часы: да, правда, завтра уже сегодня, и сегодня все должно получиться лучше, чем вчера.

Густой невидимый снег стал валить почти сплошной мокрой лавиной.

На дне траншеи, размытой прорвавшейся вчера водой, упорно рычал мотором бульдозер, в белом зареве прожекторов снег был виден. Он падал отвесно, тяжелой, слипшейся массой, чтобы сделать еще более трудной работу людей на этой дряблой, черной земле.

Партия научила Балуева сквозь горечь, боль, отчаяние различать то, на что он был нацелен всей своей жизнью.

И сейчас в прозрачных сумерках он видел небо над заводами, запятнанное дымящимися трубами. Черный дым — печальный траур, возмутительное свидетельство неполного сгорания топлива. Он, Балуев, должен дать в топки этих заводов газ, и тогда небо над ними станет навечно чистым. Он слышал шелест газовых приплюснутых турбин, в которых будут замкнуты чудовищной силы смерчи, вырабатывающие могущественную энергию. Он видел безлюдные цеха, светлые, как оранжереи, где бесшумно, изящно и грациозно работают автоматические линии, без прикосновения человека создающие из газа самые сложные, утонченные изделия.

Осрамился на этот раз Балуев. Ну и что? Фокин будет рассказывать об устроенном им параде с публикой. А разве не красиво шла труба, не замечательное было зрелище? И люди всё сделали больше и лучше, чем могли, увлеченные помпой, да, помпой, с которой хотел протащить дюкер Балуев. Да, он любит помпезность. Уж как хотите, а любит! А за что? За то, что с ней лучше идет дело, вдохновенней работают люди. Завалил трактор Зенушкин? Значит, у парня душа восторженная! Завалил потому, что с восторгом работал. Восторг подвел! А завтра этот восторженный парень может с такой же дерзновенной удалью, как Лупанин, сделать такое, что считается невоз-

можным. Побольше бы таких людей восторженных! Сам Балувев тоже поддался восторгу, подмахнул форму № 2 до полного завершения всего объема работ. Попался, попался! Придется поплатиться. А есть ли на свете такая цена, которой можно оплатить сегодняшнее ощущение счастья людей? Нету такой цены! Ему угрожают штрафами! Штраф! Ничего не поделаешь: формально правильно, а по существу обидно — и все.

Постепенно Балувев начал сердиться на себя за то, что раскис и предался отчаянию. От раздражения на себя он даже стал лучше видеть в темноте. Бродя по площадке, он обнаружил, что он здесь вовсе не один. Кроме Виктора Зайцева, уминающего перемычку, он встретил Лупанина. Тот тоже возводил перемычку, работая на бульдозере, хотя дополнительная перемычка вовсе не была обозначена в проекте протаскивания трубы. Балувев спросил сердито:

— Чего своевольничаешь? Зачем лишнюю перемычку наваливаешь? Кто разрешил?

Лупанин, ласково, встревоженно заглядывая в глаза Балувева, объяснил смиренно:

— Я, Павел Гаврилович, прикинул: надо первую волну создать, чтобы шевельнуть трубу. Вот этой перемычкой, как разломим, воду и поддаст, а за ней вторую вскроем, потом третью, и все на одной волне — дополнительное тяговое усилие вода даст.

— Молодец! Правильно! — согласился Балувев и сказал жалобно: — А я тут, понимаешь, гуляю от бессонницы и прочих переживаний.

Лупанин вздохнул:

— У меня тоже в наличии такое имеется.

— А что такое? — встревожился Балувев.

— Так, ничего, мелочь, — пренебрежительно махнул рукой Лупанин, — личная драма на почве воображения, обычный сюжет в кино: он мечтал о ней, она предпочла другого. Конфликт не получился в связи с политикой мирного сосуществования, перенесенной из международной обстановки в гражданскую.

Он включил мотор и, сгребая щитом бульдозера грунт, ринулся в черную расщелину траншеи и исчез в ней.

Балувев вышел на берег реки. В туманной мгле на оголовке дюкера горел рубиновой звездочкой красный фонарь.

Кто-то возился в темноте, стуча вдеваемыми в уключины веслами. Балувев подошел ближе.

Представитель речного флота — сухой, жилистый, еще так недавно не без злорадства объявивший о наложении штрафа за выход дюкера на фарватер, — улыбнулся Балуюву приветливо и озабоченно.

— Я, Павел Гаврилович, на лодке прожектор с аккумулятором наладил; думаю закинуть якорек повыше на фарватере, рыбку, конечно, половлю, ну и суда светом предостерегать буду об опасности. Фарватер мы хоть и не перекрыли, а все-таки выход трубы на него есть. Если суда благополучно по сигналам пойдут, значит, порядок, без формальностей обойдемся.

— Спасибо, — сказал Балуюв.

Речник хитро прищурился.

— Что вы, я ведь только за рыбкой, остальное попутно, так сказать. — Оттолкнул лодку и, сильно выгребая, скрылся в голубоватом сверкании, излучавшемся поверхностью реки, залитой недвижимым голубым заревом светящегося неба.

Недалеко от берега стоял водолазный баркас, на нем ярко горела голая электрическая лампа, доносился звук компрессора, подающего воздух. Под водой сейчас находился Бубнов; он размывал грунт вокруг дюкера, лежащего в подводной траншее.

На земснаряде, притулившемся к берегу, горела тоже такая же яркая голая лампа, гудел дизель и ворчали центробежные насосы. Балуюв по трапу зашел на земснаряд, спустился в металлическую квадратную яму машинного отделения. Здесь было жарко и невыносимо шумно от работающих агрегатов. Команда «забивала» козла на днище железной бочки из-под масла. Командир земснаряда Ветошкин доложил:

— Порядок, товарищ начальник, к утру насует воды опять полную траншейку.

Балуюв кивнул и вышел. Он не хотел, чтобы ребята видели, как у него от благодарного волнения дергается подбородок и стоит какая-то влажная дрянь в глазах. Не годится начальнику быть таким растроганным.

Вильман отгружал горючее. Лицо его было важным, губа, как всегда, оттопырена, что придавало ему капризное и властное выражение. Он даже не оглянулся на Балуюва, Фирсов шагами мерил тросы, разостланные на земле. Балуюв спросил строго:

— Это ты дал команду утром продолжать протаскивание? Ты, я спрашиваю?

— Никакой я не командующий, — уклончиво ответил Фирсов и, помолчав, сказал сердито: — Все тут считают себя командующими. Просто зашел поглядеть на площадку, как тут новый сторож действует. Из местных взял, не обученный. Смотрю, людей полно, самодеятельно работают, каждый за себя. — Заявил решительно: — Я, знаешь, Павел, против коллектива не пойду, как ты там хочешь. Мне с ними еще не один год работать. Желаешь — отменяй. А я тут тебе не попутчик. — Закричал, обращаясь к стропальщику: — Эй, милоч, давай рваные тросы сращивай! На тройной тяге завтра рывок делать. В два не выйдет: лопнут, — собирай все, какие есть!

Бавилов — уже не в новых сапогах, а в грязных, стареньких валенках, с ним Зайцев, Марченко волокли толстый шланг за перемычку, которую навалил Лупанин. Вода хлюпала из шланга тяжелая, упругая. Уложенный за перемычку шланг забулькал, уткнувшись окончательно в траншею. Вода заполняла ее. Балуев спустился в траншею, сел на корточки и нежным, порхающим движением ладоней погладил поверхность воды. Вода заливала его ноги и вкрадчиво размывала песчаный откос. Было зябко, холодно, но уже совсем не одиноко.

Балуев подумал о Бубнове. Он один в крошечной тьме под водой работает твердой струей гидромонитора, который при неверном движении может поломать ребра у водолаза, перешибить руку. По норме за один кубометр выемки подводного грунта полагается семьдесят одна копейка. Но Бубнов только смывал грунт с дюкера. На таком деле много не заработаешь. Да и вообще сверхурочные запрещены, и все об этом знают. А ведь пришли ночью на переход, и все работают. Радиографистки, лаборантки, изолировщицы ходят с лопатами вдоль траншеи и там, где вода заполнила ее до краев, наваливают насыпь, чтобы удержать как можно больше воды для сегодняшнего протаскивания дюкера.

Белый мрак тумана напух над рекой. Река зябко подрагивала, и рубиновый фонарь в оголовке дюкера мерно качался в сизой мгле.

На фарватере упорно мигал свет прожектора. Там представитель речного флота мерз в лодке и все вглядывался зоркими, как у птицы, глазами в русло реки, ожидая прихода судов, которые он взялся провести мимо вылезшего на фарватер стального ствола трубы.

Постепенно сумерки смывало светом зари. И снег и изморозь больно сверкали неистойвой белизной.

Начался новый день, сияющий, студеный. Балуев снова стоял на крутой оконечности мыса, с биноклем на шее и с белым и красным флагами в руках. Небритое лицо его казалось грязноватым. Но глаза, как всегда, блестели неутомимо и ясно.

Балуев поднял белый флаг. Фирсов держал у его лица бинокль. Канаты натянулись, и дюкер, разрушая перемычку в бурлящем водопаде низвергающегося потока, пополз.

Красный мокрый флажок на оголовке дюкера все дальше и дальше пересекал реку. И когда флажок уже почти миновал фарватер, натяжной трос лопнул, и труба стала всплывать.

От баркаса отделилась лодка. Водолаз Кочетков греб размашисто, сильно. Приблизившись к оголовку, нырнул с веревкой, долго не показывался, потом всплыл, держа в руке конец, уселся на трубе верхом, подтянул трос, продел сквозь клюз, завязал, снова бросился в воду, залез в лодку и начал выгребать обратно к баркасу. Караван барж, который увидел Кочетков из-за поворота, благополучно миновал фарватер. Натяжным тросом труба была вовремя погружена в воду.

К Павлу Гавриловичу подошел Бубнов, потоптался, сказал с достоинством:

— Ты думал, у тебя один такой Зайцев, а у меня — видал! Момент — готово. А до этого нам как обидно было: не наша специальность сквозь обсадную трубу пролезать. — Закурил, предложил папиросу Балуюву, признался: — А я, понимаешь, все-таки вспотел от волнения. Вода холодная, а он купаться. — Пожаловался: — Трудно народом руководить, когда он такой отчаянный. Мог бы и багром подцепить, ан нет. Надо на публике геройство показать. Молодость, она горячность любит. Не то что мы с тобой, мудростью и годами охлажденные.

— Ты сколько кубометров за ночь вынул? — спросил Балуев, не оборачиваясь, не отрывая глаз от бинокля.

— А это уж моя тайна, — сказал Бубнов, — мой личный интерес.

Дюкер уткнулся в низкую заболоченную косу, вспахал ее остроконечной головой, лоснясь грязью, весь в комьях глины, стал выползать на берег. Балуев снял с шеи бинокль, положил на землю флажки, огляделся, сказал Фирсову:

— Я бы, знаешь, картошки со сметаной сейчас поел.

— Что ж, это организовать можно,— одобрил Фирсов. Спросил озабоченно: — А как с новым переходом, когда погружать технику будем?

— А чего тянуть?

— Грунты там тоже тяжелые,— мрачно сказал Фирсов.

— Хуже здешних,— согласился Балуев.— С учетом вчерашнего одолеем. Ты вот гляди,— оживился Балуев,— я тут прикинул.— Сел на корточки, разгладил ладонью песок и стал чертить щепкой схему.— Значит, я вот что предлагаю,— говорил Павел Гаврилович.— Ну ее к черту, траншею! Давай так договоримся с «трассовиками». Возьмем у них на день в аренду десяток трубоукладчиков, добавим шесть своих, поставим в одну линию, разом поднимем дюкер на стальных полотенцах и снесем в реку. А с другого берега двух тракторов хватит. Они тянуть будут, только чтобы течением не сносило. На плаву весу в нем останется только сорок процентов, понятно? Экономия это нам даст тысяч восемьдесят. И главное — время. Всё подготовим, соберем за ночь технику в кулак — за день протащим.

Фирсов, впорыв глаза в схему, начертанную на песке, долго сосредоточенно соображал, жевал обветренными губами, сопел, будто нес сейчас на спине невыносимую тяжесть. Потом объявил с облегченным вздохом:

— А что ж, пойдет! Невиданно, а вроде получится. И вся техника на сто процентов сработает.

Подошел Фокин, пожал Балуеву локоть, сказал:

— Я вот чего. Бумага наша не очень годится. Давай новую подпишем с учетом сегодняшнего.

— Давай,— рассеянно сказал Балуев.

— Так ты что, полено, не благодаришь, не радуешься? — возмутился Фокин.

— Ты погоди,— сказал Балуев.— Видишь, занят.— И сказал Фирсову, продолжая разговор: — Сначала репетировать будем, метров двести потолкаем, поносим, а потом целиком и затарим в реку...

Ранняя весна для строителей — крупная неприятность, личный выпад природы. Щебет тающих льдинок, парафиновые звездочки подснежников на проталине вызывают у них отвращение. Если бы можно было без больших капитальных затрат остановить солнце, они остановили бы его. Никто так не чувствителен к погоде, как строители.

Такая уж у них патура — нервная, впечатлительная. О весне и осени отзываются равно раздраженно: «И то и другое дрянь!» Землю они называют просто грунтом.

Пусть стоит невыносимая жара или столь же невыносимая стужа, если плотность грунта обеспечена, значит, условия созданы. Но когда все течет, все изменяется, то какая разница, кто тебе пакостит — весна или осень. От обеих только сверхсметные расходы. Так рассуждают строители о двух чудесных временах года — весне и осени...

Полчища дородных деревьев стояли на влажном буром грунте. У подножия их — черная, истлевшая листва берез и осин, листья дубов — крепкокожие — оставались нетленными. Мелкий серый дождь неустанно размывал грязный снег в оврагах.

Замурованное сырыми, толстыми облаками солнце чуть теплилось.

Балуев с друзьями ехал на «пикапе» вдоль тысячекилометровой трассы большой газовой магистрали. Работы здесь почти завершены. Бесконечно тянулась в пространстве ровная полоса рыжей насыпи, под которой погребена стальная пить трубопровода. С ненавистью глядя на расквашенную дорогу, Павел Гаврилович Балуев сказал саркастично:

— Пожилой возраст, он все равно что болезнь, от него лечить людей надо.

— Рано тебе о летах говорить.

— А если они на меня лезут? Вот и память уже не та. — Обернулся к Сиволобову: — Хотел на производственном совещании тебя обругать, позабыл, придется на следующем.

Обычно все привыкли видеть Сиволобова верхом на мотоцикле. Если бы его мотоцикл был конем, он наверняка отказал бы в первые же дни службы, надорвавшись от бешеной гонки по трассе. Сиволобов обращался с двухколесной машиной яростно, принуждал ее скакать даже по болотным кочкам, ибо газопровод пересекал и топи, и горы, и лесные чащобы. Вильман называл Сиволобова кентавром. Сейчас, без мотоцикла (разбитого и привязанного сзади к машине), Сиволобов выглядел обездоленным, словно всадник, потерявший коня.

Поеживаясь под пронзительным взглядом Балуева, Сиволобов предпочел поддержать разговор о долголетьи человека. Он сказал задумчиво:

— Я жить сколько угодно согласен. Но медикамента на продление пока нет. А жить, как некоторые долгожители, на одном медленном темпе в горах среди овец и чистого воздуха, без всякой общественности, я против. Это не жизнь, а резинка; тянуть такую я не желаю.

Фирсов, не меняя выражения угрюмого тяжелого лица, вздохнул:

— А меня Павел Гаврилович жилплощадью одобрил, выхлопотал; я бы теперь до скончания этого века с удовольствием со внуками пожил.

Балуев усмехнулся:

— Проживешь с ними долго, как же! — Пожаловался: — Уволокли от меня внуков. И зять и сын по квартире себе оттапали. Вот приеду домой — пустыня. Ходи к своим детям в гости, унижайся.

Сиволобов сообщил растроганно:

— Мне вот скоро от супруги должок получить причитается: сынка бы! Я его по своему образу и подобию в авиации вырастил бы.

— К тому времени совсем устарел твоя авиация, — сказал Балуев. — На ракетах только летать будут.

— Мне все равно, лишь бы летал.

Машину мотало на ухабах. Из рытвин, заполненных бурой водой, она, лягаясь, с трудом выскреблась на сушу. Ветровое стекло заливало потоками грязи.

Когда проезжали длинный, туго натянутый арочный железный мост, под которым в обломках льда лежала огромная река, никто из строителей даже глазом не повел в ту сторону, где в широких пойменных берегах в подводных траншеях покоились трубы дюкера, одного из множества водных переходов, проложенных ими на этой трассе.

Строители не любят предаваться сентиментальным воспоминаниям. Все это сегодня было для них уже прошлым. Кроме того, они сейчас отдыхали в машине, или, как выражался Балуев, «омывали души чистым трепом».

На берегу вытащенные из земли «мертвяки» — пачки бревен, окованные обручами. Они уже отслужили свое. Когда по стальным жерновам блоков, подвешенным к «мертвякам», звенящей и горячей от напряжения струной полз трос, волоча по дну реки гигантскую трубу дюкера, древесные волокна трещали и лопались от неимоверного напряжения. Теперь усталая, надорвавшаяся древесина годилась только на распил, на топливо. Устает не только дерево, устает и металл. Вон рядом с «мертвя-

ками» лежат части каких-то машин. Они тоже отслужили свое, и стальные тела их уже не способны дольше выносить рабочее напряжение. Они пойдут в переплав, в мартен.

Береговые откосы продавлены стальными ступнями тракторов, кранов-трубоукладчиков, трейлеров, следами откочевавшей на новый водный переход техники.

Но и сейчас никто из строителей не остановил даже взгляда на этих илистых берегах, где они одолевали реку, прошивая ее дно стальными туннелями.

Только когда река скрылась из виду и машина запрыгала по жестким корням соснового бора, Фирсов произнес задумчиво:

— А сазанчики там ничего были, жирные.

Но никто не поддержал его гастрономических воспоминаний.

Нежная дымка, словно сотканная из тончайших стеклянных пылинок, висела в воздухе. Сквозь промоину в небе высунулся жаркий слиток солнца. Все заблестело, засияло. Лужи, затянутые скорлупой льда, будто хромированная поверхность металла, сине сверкали. Стекло чокались сосульки на ветвях елей. Белая бахрома инея на телеграфных проводах таяла, и полновесные капли, радушно сияя разноцветным бисером, осыпались на землю.

Гигантскую платформу трейлера волокли два трактора. На трейлере стоял кран-трубоукладчик, два понтона вододлазной станции; лежала стрела экскаватора и стальная челюсть ковша.

ГАЗ выскочил на обочину, потом снова свернул на дорогу.

В серебристом тумане простиралась огромная равнина, пятнистая от снега в оврагах, золотистая на буграх, с нежнейшей прозеленью новорожденной, тончайше благоухающей травы. Этот аромат казался запахом самого весеннего светозарного неба.

Павел Гаврилович сказал растроганно:

— Вот, ребята, послушайте, что я у Чехова вычитал. — Полузакрыв глаза, произнес торжественно: — «Я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость... Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!» — Балувев выпрямился,

с силой сжал колено Сиволобова. — Нет, ты подумай, как он точно наше время назвал — смелая жизнь. — Сказал задумчиво: — Сколько на свете ни живешь, сколько ни работаешь, а все кажется, только сегодня к настоящему, большому делу приступаешь.

— Масштабы меняются, — согласился Фирсов. — По состоянию науки и техники — и соответствующие задания. — Информировал солидно: — В Сибири весна короткая, осень сухая, для строителей большие удобства в смысле состояния грунтов. Не как здесь, одна долгая слякоть, дождь со снегом вперемешку и высокая подпочвенная вода. Что касается сибирских рек, то Антон Павлович правильно говорит — наедемся. Силища в них богатырская, скорость течения огромная. Дно реки веками заскользилось. Если я его нарушу, так начнет лохматить грунт, трубы выламывать — только держись!..

— В Сибири скоро все реки рабочими станут, турбины закрутят, — поддержал Балуев. — «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Это еще Ломоносов пророчествовал. Призвание Сибири — перекрыть индустриальным богатством Америку. Как зажмурюсь, подумаю, сколько дела там предстоит, — душа поет!

— А чего ныл? Лета! Лекарство от них спрашивал!

— Это я для разговору. А так считаю, до окончания жизни возраст мой непреклонный!

— Согласен, — вставил Сиволобов. — Мы на первое место вышли среди человечества по продлению жизни — факт огромного значения!

— Ну вот и будем этим фактом пользоваться.

На железнодорожном полустанке грузили на платформы технику строительного участка Балуева.

В пассажирском вагоне висело на деревянных распялках резиновое водолазное одеяние. На багажных полках стояли начищенные медные шлемы.

Вильман, как всегда, в брезентовом балахоне, озабоченно оттопырив нижнюю губу, торжественно распоряжался погрузкой. Марченко и Зина Пеночкина, сверкающая серьгами и бусами, бережно накрывали брезентом и обвязывали веревками сварочный агрегат.

Борис Шпаковский наблюдал, как это же делает его моторист. Лицо Шпаковского было надменно и равнодушно. Но когда показалась Капа Подгорная со свертком плакатов под мышкой, его лицо приняло восторженное выражение. Он взял у Капы сверток и, бережно поддерживая ее под локоть, помог подняться на подножку вагона. Потом

Шпаковский снова вернулся на платформу, и лицо его обрело прежнее выражение высокомерия. Молча, одним лишь движением руки, затянутой в перчатку, он показывал мотористу, как лучше обвязать веревкой его сварочный агрегат.

Лупанин на кране-трубоукладчике устанавливал на платформе гидромонитор. Стрела крана, будто продолжение руки Лупанина, точно поставила огромный сундук гидромонитора на колеса между дизелем и понтоном. Вавилов, обвешанный гирляндами лука, с двумя чемоданами в руках, замер на подножке вагона, наблюдая, как Лупанин погружает гидромонитор. Крякнув от удовольствия, когда машина тютелька в тютельку стала на предназначенное ей место, Вавилов вошел в вагон, сохраняя на лице выражение удовольствия, вызванного мастерской работой Лупанина.

Мехов прогуливал по перрону пушистого щенка. Лицо его было задумчиво и грустно. Изольда Безуглова, присев на корточки, стала гладить щенка. Мехов объявил:

— Дочке везу в подарок. А если жена не позволит дома держать, заберу обратно вместе с дочерью. Буду сам из дочки человека растить.

— И правильно,— сказала Изольда.— В нашем коллективе обязательно должны быть дети, мы им детский сад устроим в стандартном доме на колесах. Потом из них всех строители вырастут.

Виктор Зайцев, согнувшись, нес завернутый в кошму телевизор. Объявил:

— Попробуем в поездке включить. А если не получится, пускай как приемник работает. Мы на всю дорогу план культмассовых мероприятий разработали.— Остановился возле Балужева, спросил деловито: — Павел Гаврилович, надо бы от коллектива товарищу Тереховой в больницу приветственную телеграмму для бодрости послать.

— Уже,— сказал Балусев, полез в боковой карман, показал квитанцию, похвастал: — Видал, какой предусмотрительный!

— Так вы, наверное, от себя,— с подозрением взглянул на него Зайцев.

Балусев смутился:

— А я что, не официальное лицо?

— Павел Гаврилович, тебя тут спрашивают,— сказал Фирсов. И усмехнулся: — Кадры спрашивают.

Долговязый застенчивый паренек и полненькая девушка с раздраженным, недовольным лицом стояли

в ожидании возле станционного кипятильника. Балувев подошел к ним. Девушка вызывающе сказала:

— У нас от райкома путевки к вам. А вы чуть было без нас не уехали.— Кивнула на паренька: — Ему нужно обязательно у вас быть водолазом. Он меня в прошлом году из пруда спас, замечательно ныряет и плавает всеми стилями.

— А вы что, провожаете? — спросил Балувев.

— Нет, зачем,— смутилась девушка.— Райком почему-то нам на обоих путевку выписал.

— Она сама выпросила,— сердито сказал паренек.

— Я считаю,— твердо заявила девушка,— после того как его мама умерла, я не должна оставлять его в одиночестве. Он, видите ли, очень застенчивый и к жизни не приспособлен, а я энергичная...

— Так,— сказал Балувев,— понятно. А еще что о себе можете сказать?

— Вам биографию надо? — спросила девушка.

— Вы извините, мы про это думали,— сказал паренек.— Но у нас ее пока нету. Школу окончили в этом году. Отметки приличные. Оба мы с ней совхозные. Моя мать учительницей была, а ее отец птицефермой заведует. Но она сама вот птиц не любит.

— Я кур не люблю,— поправила девушка.— А птицы, которые свободно летают, мне, как и всем людям, нравятся.

— А почему вы именно к нам наниматься решили?

— Ну, это же понятно! — удивилась девушка.— Газ в кухни подать всем людям — такая им радость!

Балувев обиделся:

— А мы не только в кухни газ даем.

— Мы всё про газ знаем,— примиряюще сказал паренек,— всё прочли, что про него написано.

Балувев спросил подозрительно:

— А вы того, ребята, может, просто-напросто жених и невеста и думаете, что мы вам быт обставим?

— Ну что вы! — возмутилась девушка.— Почему сразу так примитивно о нас судите? Мы с ним просто школьные товарищи. А разве нельзя без этого друг к другу правильно относиться?

— Можно-то можно. А потом влюбитесь, вот и семья — давай вам жилплощадь.

— Пожалуйста, можем дать расписку,— сказал паренек.— Никакой нам жилплощади не надо. И вовсе даже не обязательно, чтобы нас в одну бригаду зачислять, можно

в разные. Во время уборки мы с ней по месяцу не встречались, и ничего.

— Ну, если так, тогда ладно,— благодушно согласился Балуев.— Только вы с нашим комсомольским вождем беседовали?

— А как же,— сказала девушка.— Товарищ Зайцев очень внимательно к нам отнесся и даже просил машиниста Лупанина на обучение Толю взять.

— А почему не сам?

— Лупанин — лучший машинист, зачем же Толе у худшего обучаться. Я просто не понимаю! — И девушка пожала плечами.

— А вы какую себе специальность наметили?

— Мне все равно,— равнодушно пожала плечами девушка.— Пускай трудное, лишь бы с перспективой. Я на все согласна.

— Ну ладно,— сказал Балуев,— ступайте к товарищу Фирсову. Вон, видите, толстый, лицо такое важное, он вас и оформит.

Глядя вслед ребятам, Балуев задумчиво сказал Сиволобову:

— Вот еще две человеческие жизни к нам прибавились. Тоже ответственность за них тащи. А дело может получиться сложнее, чем дюкер протаскивать. Парень квёлый, а девушка — огонь.

— Веселая, чистенькая, как рыбка в воде, к таким худое не прилипнет,— заметил Сиволобов.— А паренек что ж, приучим по земле твердо ступать.

Смыкая вагоны, попятился электровоз: погрузка была завершена.

Заваленное сырыми облаками, померкло солнце. Легкие снежинки роились в воздухе.

Балуев и Сиволобов вошли в вагон. Здесь уже по-хозяйски расставлял на откидном столике различную снедь Фирсов.

Пахло вагонной краской. Двойные оконные зимние стекла были покрыты внутри серой пылью. Как всегда перед отъездом, всем было неизвестно отчего немного грустно.

Бесшумно и легко электровоз взял состав с места и все сильнее и сильнее убыстрял ход. О стены вагона шершаво терся ветер. Мелькали леса, рощи, холмы, реки. Как много было уже разных рек — смирных и тихих, буйных и быстрых. А еще больше их впереди, там, куда мчал электровоз, в новые широты страны, где людям предстояло

одолевать водные преграды, прошивать их большими и малыми газовыми магистралями.

Маслянисто блестяли рельсы железнодорожного пути, казалось, суживаясь в бездне пространства. Давно исчез железнодорожный состав, и вместе с ним погасло струнное звучание рельсовой стали, но новые мчащиеся по ней такие же рабочие эшелоны пробудят ее пение. Эта чудная музыка скорости, музыка пространства поет в сердце каждого.

Люди смелой жизни! Они делают ее лучше, и с каждым днем лучше становится сам человек. Все свободнее и ответственнее проявляются особенности каждого в неохватной широте жизни, и нет меры душевному росту человека, разве что мерить его доступными нам теперь космическими масштабами.

Ветер продул небо. Сейчас оно насквозь просвечено звездами. Тихо на полустанке. В оттиски гусениц строительных машин натекла вода и застыла льдом. В отвердевшей глине остались отпечатки следов тех, кто уже уехал отсюда.

Обдувая запахом ветра и железа, промчался без остановки новый состав. На платформах стояли, прикрытые брезентом, гигантские машины, косая бахрома сосулек свисала с крыш вагонов...

В закопченном ведре, подвешенном над костром, вскипала похлебка. Начальник строительной мехколонны деревянной ложкой снимал пену. Дорожный мастер Грицина, прижимая к груди буханку, резал хлеб перочинным ножом. Студент-практикант Игорь Гликин сидел перед костром на корточках и оцепенело смотрел в огонь.

Просека в тайге походила на бесконечное ущелье.

Насыпь строящейся автомагистрали обрывалась у берега речушки Горюхи, с илистыми берегами, заросшими болиголовом. Серые бетонные фермы моста лежали на платформе трейлера.

Окна двух жилых автовагончиков лаково блестели чернотой, в большой, госпитального типа палате тускло горел свет.

Тайга пахла тепло — древесной гнилью и терпко — папоротником.

Цыплаков сказал, ни к кому в особенности не обращаясь:

— Я всю войну чай пил вприкуску. Но теперь обязательно внакладку, четыре куска. Другой попробует — сироп. А мне такая консистенция дает приятные вкусовые ощущения. Кроме того, сахар успокаивающе действует на нервную систему.

Грицина, пряча скользящим движением ножик в карман, усмехнулся:

— Если б мы с вами, Сидор Иванович, на фронте и по десять кусков в кружку клали, все равно одной сладостью нервы не перехитришь.

Цыплаков потуже натянул облезлую меховую шапку, которую он всегда надевал по вечерам, боясь простудить плешивую голову, задумался, потом заявил решительно:

— Полагаю, температура уже достаточно снизилась. Как вы, Петр Иванович?

Мастер молча пошел к реке. Нашупал на берегу колышек с веревочкой, вытянул за веревочку из воды поллитровку и, обернув травой, чтобы она не согрелась от рук, вернулся к костру.

Сидор Иванович стоял все в той же задумчивой позе. Костлявое лицо его с блеклыми голубыми глазами могло показаться необычайно грустным, если б не большой, толстый, сановитый нос. Он поднял глаза на мастера и сказал, словно в продолжение начатого разговора:

— Если помните, Петр Иванович, меня зубы всегда выручали. Как начнут бомбить переправу, я уже от зубной боли вне себя. Командую людьми в полном остервенении. А как поставим новые понтоны взамен потопленных, войска нормально передвигаются, представьте — воскресаю. Никаких болезненных ощущений. Просто загадочный защитный рефлекс. Как что — так зубы. Такая кошмарная боль, перед которой все остальное меркнет.

— А теперь? — спросил мастер. — Разве теперь неприятностей не бывает?

— Бывает, конечно, но зубами на них не реагирую.

Цыплаков зажмурился, склонился над костром, снял ведро с похлебкой, поставил на землю и, обратившись к практиканту, пригласил:

— Прошу! — И почти продекламировал: — Есть наслаждение в еде. — Произнес торжественно: — Надо уметь радоваться приятностям жизни. Радость — это величайшее достояние души человеческой. Все, что было создано поистине великого, было создано на базе высочайшей человеческой радости.

— Если под сто грамм — тост вполне подходящий, — высказался Грицина, отковыривая станиолевый колпачок с горлышка поллитровки, и тут же посетовал: — С пробкой оно раньше аппетитней получалось. — Разлил водку в кружки, выжидающе уставился на Сидора Ивановича, попросил: — Давайте команду, товарищ гвардии инженер-майор. Под команду она лучше проходит.

— Ну что ж, поехали, — сказал Цыплаков. Выпил. Громко вздохнул, вытянул губы дудочкой, морща в улыбке впалые щеки. — Напиток богов!

Грицина громко рассмеялся и разлил еще по одной.

А Игорю Глинкину от всех этих слов, казавшихся ему притворными, произносимыми только для того, чтобы сделать вид, будто ничего не случилось, было невыносимо тяжело.

Сегодня он перед всем коллективом показал себя трусом и чуть было не стал виновником гибели человека...

Несмотря на уже внушительный возраст, Сидор Иванович Цыплаков считает себя молодым инженером. На войну он ушел со второго курса дорожно-строительного техникума, а из армии его демобилизовали не сразу после окончания войны. В составе инженерных войск он вел восстановительные работы в Германии, в Польше, потом в западных районах Украины и Белоруссии. Окончил заочное отделение строительного института лишь недавно. Игорю он доверительно сообщил:

— Хотя я теперь специалист с дипломом, но выдавать себя за интеллигентного человека не имею права в силу своего недостаточного общекультурного развития. Вот пообщаетесь со мной, сами убедитесь...

Дорожно-строительная мотомехколонна, возглавляемая Цыплаковым, считалась самой передовой на трассе.

— Какие же у меня особые методы? — пожимал тощими плечами Цыплаков. — Слежу, чтобы люди были сыты, жильем обеспечены, чтобы каждый понимал свое задание и знал, сколько за что заработает. Вон на щитах — ценники. И кассиру дал указание: перед выдачей зарплаты ведомости вывешивать. Пусть все знают, кто сколько получил, а это, в сущности, означает пропаганду хорошей работы. Вот и вся моя наглядная агитация. — Поднял палец, произнес внушительно: — Главное что? Текучести в рабочей силе нет. Коллектив сложился. Значит, нравятся люди друг другу, уважают друг друга. И в этом тоже наша мощь...

Неделю шли тяжелые ливни. Небо, став морем, беспрерывно рушилось водопадом на землю. Механизмы заливало, раскисший грунт расплзся, график срывался.

В палатке собрались строители. Ливень громко стегал по брезенту толстыми струями.

Долговязый, с мокрыми, налипшими на лоб волосами, Цыплаков встал, печально оглядел обвисшие серые своды; помолчал, вздохнул, кивнул на брезентовую кровлю: «Не капает?» Снова помолчал, потом вдруг заявил с искренним изумлением:

— А знаете что? Во время войны из-за дождика ни разу ни одного сражения не отменяли. Честное слово! Так и шли в бой в самый дождь, и не боялись промокнуть, и простуды тоже не боялись. Шли на «ура» без зонтиков,

без галош, и — ничего, от сырости энтузиазм не линял... — И вдруг, добродушно улыбнувшись, спросил: — Что? Здорово я вас за живое поддел! — Хитро подмигнул: — Я же ваше самолюбие знаю. Вы же сейчас от такого оскорбления прямо на трассу работать побежите — и правильно, на подобную демагогию один может быть ответ: делом. Если хотите, перед вами извинюсь. Есть желающие выступить, добавить, поправить? Все! Собрание закрываю. Информация: сушилка для одежды будет работать круглосуточно.

Цыплаков обладал удивительным даром воодушевлять людей, неподдельно, искренне восхищаясь их трудом. Он говорил скреперисту Сазонову:

— Ты же, подлец, виртуоз, тебя в цирке надо показывать. Есть такой номер цирковой: мотоциклисты по отвесной стене катаются, — так это же для детей спорт. А ты смотри, по осклизлому откосу, на такой громадно тяжелой машине, как муха по стеклу, ходишь, — ты же, Пашка, в своем деле гений...

Экскаваторщика Трифонова Цыплаков упрекал:

— Недооценил ты себя, Фома Давыдович, недооценил. Твоя машина по срокам давно на капиталку должна стать, а ты за ней, будто собственник за «Волгой», ухаживаешь, и машина у тебя в самом лучшем состоянии. Это же и есть в тебе коммунистическое сознание. А ты в партию вступать стесняешься, хотя для нас всех ты давно уже нелегальный коммунист. Вот и подавай заявление, легализуйся. А я за тебя обеими руками проголосую...

Бетонщику Ованесяну Сидор Иванович говорил:

— Слушай, Рачия, это в тебе способность к камню от предков, ты же его чувствуешь, как плотник дерево. — Обещал: — Вот дойдем до середины трассы, закажем из чугуна дощечку с надписью «Бетонное покрытие мастера Р. Ованесяна» и впаем дощечку в дорогу. Водители прочтут, будут знать, кому обязаны...

Цыплаков так восхвалял важность дорожного дела:

— В истории описано, что в древние времена реки были единственным видом путей сообщения и человеческая культура распространялась только вдоль русла рек. А в нынешнюю эпоху мы, дорожники, играем исключительную роль в развитии человечества. Без хорошей дороги какая же это культура — срам! Одна порча автотранспорта. А мы с вами кладем трансконтинентальную сибирскую автомагистраль — бетонную полуопояску на земной шарик. Но теперь из-за космоса все обалдели, все ходят с за-

дранными головами, а по чему ходят, не соображают, — по земле, по ней ходит и ездит большинство человечества. А кто человечество обеспечивает передвижением по земному пространству? Мы, дорожники.

— А не устареет скоро наша специальность?

— Никак нет, — отвечал Цыплаков. — Если даже пассажирскими ракетами из города в город стрелять начнут, разве это путешествие? Бац, и слезай — приехали. Никаких серьезных впечатлений. А тут, скажем, кати Москва — Владивосток: пейзажи, города, музеи — и отдых, и пополнение образования. И потом, главное, ракетами массовые грузы доставлять все равно будет накладно. Даже при высших достижениях науки. А по нашей автостраде будут шелестеть автопоезда на сверхобыкновенной для грузового автотранспорта скорости. Это ближайшая перспектива. Это, я уверен, останется на все дальнейшие времена.

Жена Цыплакова — толстая, грузная, с кругленьким маленьким личиком, на котором живо блестели темно-коричневые глаза под нежно припухшими веками, — совмещала должность заведующей складом горючего с обязанностями медицинской сестры.

— Люсенька! — говорил Цыплаков, и лицо его обретало выражение полного счастья. — Люсенька! — Он наслаждался самой возможностью лишний раз произнести имя жены: Люсенька! — Я тебе в сельмаге белые чешские ботики купил.

— Белые? — спрашивала жена. — А почему не черные?

— Ну, Люсенька! Ну, сделай мне удовольствие, походи в белых. Это же красиво.

— Ну ладно, пусть белые, — соглашалась Людмила Порфирьевна и сконфуженно призналась: — Но только я их не надену, в моем возрасте стыдно в белых ботиках ходить.

— Какой же у тебя возраст! — возмущался Цыплаков. — Нет у тебя возраста, не выдумывай себе возраста...

Современная передовая эстетика с помощью кибернетических счетных машин, возможно, уже установила возрастные лимиты, за пределами которых не рекомендуется описывать любовь пожилого мужчины к пожилой женщине, но, пока эти научные изыскания еще не стали эстети-

ческими законами, мы позволим себе сообщить отдельные факты из биографии Людмилы Порфирьевны Цыплаковой.

В июле 1941 года Людмилу Порфирьевну направили через военкомат в саперный батальон санинструктором. До армии училась в десятом классе школы. Медицинскую специальность получила в кружке Осоавиахима, созданном при домоуправлении.

Батальон поставили на строительство оборонительных рубежей в Смоленщине. Но получилось так, что сами саперы вынуждены были оборонять эти рубежи.

Саперный батальон был укомплектован из людей, которые до этого не служили в армии. Это были гражданские люди-труженики, недавно надевшие военную форму; такими они оставались до начала военных действий. Солдатами они стали уже потом, в бою.

Цыплаков был в этом батальоне командиром взвода.

В начале боя, действуя по уставу, Цыплаков находился впереди своего взвода, и его сразу контузило разорвавшейся миной. Цыплаков потерял дар речи, оглох, левым глазом не видел. У него все время непроизвольно дергались веко и щека. Ходить прямо не мог: все заносило куда-то в сторону и шатало. Он получил множественные порезы осколками; на раны ему наложила повязки санинструктор Люся. Лицо Люси рассмотреть тогда Цыплакову не удалось. Все двоилось у него перед глазами и как бы растворялось в тумане. Ни сидеть, ни лежать на спине Цыплаков не мог, потому что осколками были рассечены и ягодицы. Лежать на животе он тоже не мог, потому что грудь и живот были тоже посечены крохотными, как кусочки от лезвия безопасной бритвы, осколками. Цыплаков стоял в окопе, опираясь руками о земляную стену, и бессмысленно смотрел в стереоскопическую трубу, в которую, как в бинокль, были хорошо видны трава, цветы и даже черные букашки на цветах.

Но когда один за другим погибли все командиры, бойцы вспомнили, что есть еще один живой, и Цыплакову стали докладывать обстановку и требовали приказаний.

А Цыплаков ничего не испытывал, кроме боли в голове, сводившей с ума боли.

И тут санинструктор Люся выступила не то в качестве адъютанта Цыплакова, не то в качестве переводчика, потому что разобрать смысл мычания Цыплакова, кроме нее, никто не мог.

И получилось так, что саперы доблестно отбили все танковые атаки врага, не разбежались от нефтяного пла-

мени огнеметов, переходили сами несколько раз в контратаки. А ночью по приказу, переданному Люсей от имени Цыплакова, в полном порядке отступили, унося лежащего на боку на носилках своего командира. Командир дивизии представил Цыплакова к ордену Красной Звезды и по возвращении Цыплакова из госпиталя назначил его командовать батальоном. В армейской газете напечатали статью, в которой восхвалялись умелые действия комбата Цыплакова. Статья была хорошая, умная, в ней содержались и ценные мысли о тактике ведения боя.

Саперы также чрезмерно восхищались военным мастерством своего командира. И все они сошлись на том: «Если бы не он (Цыплаков), мы бы без него пропали».

То, что исключительно Цыплакову приписали подвиг саперов, было, конечно, ошибкой, и Цыплаков даже пытался в рапорте начальству разъяснить эту ошибку.

Больше всего Цыплаков стеснялся своей славы перед санинструктором Люсей, пробовал ей объяснить, что, поскольку сейчас война народная, саперы в бою действовали все как самостоятельные личности и поэтому проявили личную инициативу, массовый героизм без личного участия его как командира.

На что Люся отвечала:

— Неправда. КП был?! Вы на КП были?! Значит, порядок!

Чтобы оправдать свою незаслуженную славу, Цыплаков запрашивался на опасные задания. Он много раз бывал ранен. И Люся, ухаживая за раненым Цыплаковым, привыкла к его слабости, беспомощности. И крайне удивилась, когда, выздоравливая после очередного ранения, Цыплаков проявил инициативу и обнял ее. Люся только беспокоилась, как бы у Сидора Ивановича не открылась от этого рана, с которой еще швы не были сняты. И всю войну она заботилась о Цыплакове, не придавая особого значения их близким отношениям. При всех обстоятельствах называла его не иначе, как сперва — «товарищ лейтенант», затем — «товарищ капитан» и уж потом — «товарищ майор».

И Цыплаков не придавал особого значения их отношениям, считая, что, раз он так часто подвергается опасности быть убитым, стоит ли вводить в заблуждение хорошего человека, сулить Люсе возможность длительной совместной жизни.

Когда Берлин был уже взят, Люся пробиравлась в развалинах, чтобы оказать медицинскую помощь женщине.

только что освобожденной из концлагеря. Обвалилась стена разрушенного бомбежкой здания, и Люсю завалило кирпичной лавиной. Только на следующий день ее извлекли из-под обломков.

Сидор Иванович и в то время был тощ, долговяз, но зато обладал мощной шевелюрой, которая сильно скрадывала масштабность его носа, величественно властвующего над усталым, худым лицом с впалыми щеками и висками.

И получилось так, что после победы над фашистской Германией главным в Берлине стал, пожалуй, Цыплаков со своим саперным батальоном. Сам маршал, опасливо оглядывая пол и стены своей штаб-квартиры, говорил тревожно:

— Вы, Сидор Иванович, внимательно все проверьте, ничего глупее не придумаете, как теперь погибнуть.

Цыплаков, надев наушники, с докторским выражением лица выслушивал миноискателем стены, полы охотничьего дворца; обнаружив мину в цветнике, он окапывал ее так же бережно и тщательно, как ботаник окапывает баснословно редкое растение, страшась повредить его тончайшие корни.

Минер работает, как и археолог, щупом, маленькой лопаткой, совочком, метелкой. Бережны, легки, словно дуновение эфира, его движения, как и у археолога, когда тот обнаруживает хрупкий, состоящий из тончайшего праха величайший шедевр древнего искусства. И достаточно одного неосторожного прикосновения, чтобы этот шедевр навсегда погиб для человечества, так же как достаточно саперу одного неловкого движения, чтобы его самого не стало. Или, точнее, остались от него какие-то пустяки, которые собирают потом в брезентовую сумку из-под противогаза.

Не один легкий гроб с остатками минера провожал Цыплаков на братское кладбище в Берлине. В эти дни — дни мира — война для саперов продолжалась, и в этой войне жертвы несла только одна сторона.

Война началась вновь для Цыплакова. Ее вели минеры.

Когда Цыплакову доложили о том, что санинструктора Люсю завалило обломками упавшей стены и только на следующий день откопали, он спросил:

— Жива?

— Пока еще.

— Ну давай,— сказал Цыплаков, стоя по горло в затхлой воде берлинского затопленного метро, и, наклонившись, натянул маску противогаса с наращенным длинным кольчатым шлангом. Он скрылся под водой, чтобы приступить к поискам провода, идущего к заминированному участку туннеля.

Цыплаков обследовал подземные коммуникации города, ползал в зловонном, влажном, черном мраке. Изоощренным, как у слепца, осязанием обнаруживал минные устройства, подобные хитроумным головоломкам. Сложные, как головоломки, минные устройства обладали множеством обманных и гибельных ловушек.

Это было состязание гроссмейстера минного дела. Причем лишь одна сторона имела преимущество — она ставила смертоносную загадку, другая же — должна была разгадывать, и если проигрывала, то свою жизнь.

Цыплаков достиг такой нервной острой нацеленности, что ему было почти достаточно одного взгляда, одного касания, чтобы с проницательностью ясновидящего разгадать конструкцию минной ловушки.

Обследуя район, он приучал себя тщательно обдумывать, соображать, как бы он сам минировал этот район, если б был на месте противника. Это истязание души, перенапряжение ума помогали точно раскрывать систему вражеского минирования. Но изнурительная бессонница и происходящая от нее нервная возбудимость привели к тому, что Цыплаков однажды разрыдался: генерал, с которым он беседовал, вдруг отдернул свою папиросу, когда Цыплаков, позабыв спросить разрешения, склонился, чтобы прикурить.

Все здесь высоко ценили Цыплакова, и генерал сделал отстраняющий жест вовсе не потому, что усмотрел со стороны Цыплакова некое нарушение субординации. Просто генерал хотел дать ему прикурить от зажигалки. И вот — нате вам: Цыплаков рыдал, кусал губы.

Уж если кого обвинять в душевной грубости, так только Цыплакова. вспомните, как равнодушно он отнесся к тому, что близкая ему женщина находится при смерти.

Член Военного совета приказал направить Цыплакова в санаторий для высшего комсостава, учитывая его особые героические заслуги в послевоенные месяцы.

Адъютант члена Военного совета сопровождал Цыплакова до санатория. Цыплаков всю дорогу молчал, сконфуженно улыбался и стеснялся смотреть людям в глаза.

В санатории Цыплакова одели в полосатую пижаму, выдали ему белую матерчатую панаму и легкие тапочки.

В этой одежде Цыплаков совсем ослабел. Очевидно, его организм, привыкнув отдыхать только в раненом состоянии, рефлекторно сработал на санаторий, как на госпиталь.

Вялый и безразличный ко всему, Цыплаков выполнял все положенные процедуры и засыпал в любое время дня, как старик.

Однажды Цыплаков пришел на пляж перед ужином и почувствовал, как его невыносимо кидает в сон. Он добрал до берегового откоса, где лежали поломанные тончаны, и, притулившись к старому спасательному кругу, из которого выпала пробка, мгновенно, почти обморочно заснул.

Приснился ему самый обыкновенный, привычный сон. Будто он окапывает мину и вдруг задевает тонкую проволоку, скрытую до этого от глаз. Взрыватель сработал. Мина с вулканической силой швырнула его ввысь. Потом он долго падал. Услышал, как глухо, влажно и мокро ударились его тело о землю. И вот он лежит и думает о том, что еще неизвестно, в каком состоянии находится его тело. Может, оно все вдребезги разбито и никуда не годится. И когда он очнется и очутится в этом уже совсем не годном теле, он, естественно, почти тут же умрет. Но возможно, тело не очень значительно повреждено, — как только он очнется, ему придется здорово помучиться от боли. Лучше было бы подольше полежать без памяти, отдохнуть перед ужасной болью. Ведь бывает же, везет минерам: швырнет взрывной волной метров на двадцать, а скелет весь целый и внутренности не оборвались. Может, ему тоже повезло? И вот Цыплаков героически решает очнуться. Он очнулся, но глаза открывать еще боялся: вдруг вместо тела одна расшлепанная говядина?

И он хитрит во сне, так же как хитрил не раз наяву в подобных обстоятельствах. Решает поднести к уху левую руку с часами, чтобы послушать: если часы идут, не поломались после взрыва, — значит, и его не так уж сильно шлепнуло о землю; если же часы не идут, тогда худо — тогда, значит, и тело тоже все изломано. Тогда, наверное, надо умирать, а умирать все-таки не хочется. И вот Цыплаков во сне тихо, жалобно стонет, хнычет — так он боится послушать, идут у него часы или не идут. Все тело покрывается испариной, ему душно, страшно, так страшно, как никогда не было страшно умирать наяву. Потому что

во сне он не только умирает, но, умерев, видит себя мертвым, и жалеет себя, мертвого, и брезгает собой, мертвым.

Когда он был тяжело ранен, то тоже, конечно, боялся умереть и чувствовал, что умирает, но ощутить себя совсем мертвым — такое он не разрешал себе, даже когда другие считали его уже покойником. Был случай, когда его накачивали чужой кровью так, будто у него вся своя вытекла до последней капли. С гордостью еще живого он презирал все то, что от него останется после смерти, и брезговал об этом думать.

И чтобы не видеть себя во сне мертвым, Цыплаков делал усилие, просыпался. «Черт с ним, — думал Цыплаков, — я должен очнуться, даже если сильно ранен и будет ужасная боль; все равно лучше очнуться и потом умереть, если сильно ранен, чем бредить в забытии, хотя и без боли, и воображать, будто тебя уже вообще нет на свете».

Весь в испарине, в муках, он проснулся. И увидел небо — прозрачное, всеобъемлющее, самосветящееся, с глубоко вонзившимися вглубь звездами. И от неба пахло чисто, прохладно, терпко. Цыплаков приподнялся и сел.

И он увидел море, такое же всеобъемлющее и самосветящееся, как небо. Море бежало от него невыносимо гладкими волнами, которые, набегая на берег, падали в изнеможении на песок, простирались по песку и пахли влажным теплом своего морского тела.

И на песке светилась женственно-кружевная пена, и песок упивался ею, пока набегали новые, сверкающие глянцем тела волны, влажные, гибкие, и изнеможенно опадали, опрокидывались навзничь с водяным вкрадчивым шелестом.

И небо светилось в море, и море светилось в небе, и они смыкались, и небо и море, и лились всеобъемлющие, как сама Вселенная.

Цыплаков сидел, обхватив колени руками, позвоночник выпирал бамбуковыми суставами под полосатой курткой, на впалых щеках и висках лежали темные тени. Сухие губы закушены, в глазах блеск. И у него было такое ощущение, будто он один сейчас во всей Вселенной, и мало того, что один, — он самый умный в ней, самый великий, и он сейчас сделал такое величайшее открытие, такое величайшее открытие, что даже боится пошевелиться, чтобы не выдать эту распирающую все его существо огромную тайну. А тайна эта заключалась в том, что он, Цыплаков, знает, единственно он, Цыплаков, знает, как продлить почти на всю жизнь вот это безмерно счастливое ощущение

Вселенной, которое он постиг сейчас. Для этого надо только стать счастливым. А для того чтобы стать счастливым, надо сделать одну очень простую вещь. Надо, чтобы была Люся...

Когда нянечка доложила Люсе, что ее хочет видеть майор Цыплаков, Люся сказала покорно:

— Ладно, пусть посмотрит.

Люся попудрилась зубным порошком и покусала губы, чтобы они не были такими бледными. Переменить белую госпитальную косынку на штатский ситцевый платок в цветочках, чтобы покрасивее обвязать бритую голову, она не успела — Цыплаков уже вошел.

Люся сказала:

— Здравствуйте, товарищ майор! — И похвасталась: — Вот какая я живучая.

Она лежала на спине, под серым одеялом, воротник бязевой рубашки завязан тесемками. Лицо рыхлое и очень усталое.

Цыплаков жадно схватил белую, пухлую, безвольную руку, лежащую поверх одеяла, прижался губами и, горячо дыша, сбивчиво, невнятно, путано стал говорить о том, как понял, что она нужна ему на всю жизнь.

Люся слушала и плакала. Но лицо ее оставалось неподвижным. Она водила по щекам указательным пальцем, стряхивала слезы и говорила:

— Товарищ майор, вы считаете, если полный комплект рук и ног, так я не калека? А вы даже не представляете, какое у меня сейчас уродливое тело. Я же от сердечной слабости тучницей стала, и ужасно некрасивые швы. Дадут немножко отдохнуть и снова оперируют, одна морока врачам. — И, ласково улыбаясь, убеждала: — От меня прежней только лицо осталось, а туловище — как у слонихи или гиппопотама — это в Африке такая большая речная свинья есть. Ну, на что я вам сдалась такая, в самом деле? Мне с вами на фронте было хорошо, вам со мной тоже ничего было, и я вам за это благодарна. Но давайте теперь считать все по нулю. Вам не надо из вежливости себя мне навязывать. Живите спокойненько... Это же вы от переутомления нервной системы обо мне так много думали. Отдохните — и все пройдет. Я, например, вначале здесь тоже нервничала: положили от мух липкую бумагу, увидела, как на ней мухи умирают, лежу, только что врачами изрезанная, и не выдержала, встала и начала их освобож-

дать; долго потом рыдала, когда меня насильно снова в постель уложили, — так мух жалко. И у вас ко мне чувство тоже от одних нервов.

— Дура, — сказал Цыплаков, бледнея. — Дура ты, и больше ничего. Но я не позволю тебе быть дурой. Все равно мы всегда будем вместе.

Люся с радостным испугом смотрела на майора, ресницы придавали ее глазам бархатистую нежность, мерцающую глубину.

Она сказала:

— Я знала, ты придешь, ты хороший! И я тебя ждала.

Никому не удалось описать семейное счастье так, чтобы оно казалось привлекательным юношеству; вместе с тем, несмотря на слабость художественной литературы по этой части, люди упорно продолжают жениться, выходить замуж, создавать семьи, и каждый делает это на свой страх и риск. Зато все, что относится к предыстории семейной жизни, имеет богатейшую библиографию, и каждый гражданин нашей планеты может получить самую квалифицированную литературную консультацию по всем вопросам увлекательного дозагсовского периода жизни.

Но после загса все обречены на парное одиночество; обречены решать сложнейшие задачи семейного существования самостоятельно, не опираясь при этом на драгоценный положительный опыт семейного счастья, который, к сожалению, так слабо отражен в произведениях искусства.

Став супругами, Цыплаковы ужаснулись тому, что у них нет никакого опыта ни семейного, ни штатского существования.

В армии все — от солдата до маршала — живут на всем готовом. Образ жизни регламентирован. Существует строгая пирамида, которая соединяет людей в один монолит.

Демобилизовавшись, Цыплаковы оказались в удручающем одиночестве в многосложном, гигантском штатском таинственном мире. Они чувствовали себя сиротами без армейской семьи, людьми совершенно иной общественной формации. Например, деньги. Они отвыкли от денег. Несколько раз их задерживал официант, когда после обеда они уходили, забыв заплатить.

В армии они имели ограниченное количество самых необходимых вещей и не подозревали, что могут понадо

биться какие-то предметы, в которых нет каждодневной нужды.

Привыкнув на фронте к ощущению, что не сегодня, так завтра кто-нибудь из них может погибнуть, они и теперь, не думая о будущем дне, спокойно тратили заработную плату на обеды и ужины в дорогом ресторане, на покупку никчемных, но так называемых красивых вещей, над которыми, придя домой, дружно хохотали — настолько эти вещи выглядели нелепо в пустой комнате, с рваными обоями, деревянным топчаном, накрытым плащ-палаткой, с наваленной в углу картошкой.

Люся, блаженно улыбаясь, говорила:

— Знаешь, майор? Это такое удовольствие — жить, зная, что ни тебя, ни меня не убьют ни завтра, ни послезавтра, и вообще никогда не убьют. Просто удивительно приятно жить, когда вокруг никого не убивают.

Цыплаков, посапывая солидным носом, соглашался:

— Это правильно, сейчас, когда нет войны, все обязаны быть счастливыми.

Люся вошла в жизнь Цыплакова как свежее, светящееся утро.

Он считал себя незаслуженно счастливым. Стесняясь этого счастья, озабоченно спрашивал:

— Может, снова усы отпустить?

— Это зачем еще?

Объяснял деловито:

— Рожа у меня очень самодовольная стала. Вроде как у счастливчика. Может, за усами не так заметно будет?

— А разве счастливым быть стыдно?

— Да я не привык.

— Но почему прятаться?

— Почему, почему! — рассердился Цыплаков. — Зачем же я буду радость свою выставлять, когда не у всех она есть?

— Не у всех, — согласилась Люся, — у многих еще горе после войны не зажило.

— Ну вот, — хмуро сказал Цыплаков, — а я сияю.

Как и многие бывшие фронтовики, Сидор и Люся навещали семьи товарищей, павших в бою.

В таких семьях обычно работали все, кто мог работать. И вызывающе подчеркивали, что сами справляются с трудностями.

Ореол павшего отца, сына, мужа как бы освещал жизнь этих людей. Называя имя погибшего, ссылаясь на него, они произносили с благоговением: «Он хотел, чтобы...»

И, словно выполняя волю павшего, они труженически, самоотверженно помогали друг другу быть такими, какими хотел бы видеть их отец, сын или муж.

На войне погибали не только люди, гибли города, селения, поселки, сотни тысяч человеческих жилищ были разбиты бомбами, снарядами. Старые здания, словно старики, брошенные на произвол судьбы, стояли больными развалинами.

Немало семей бывших фронтовиков жило в удручающей тесноте и, не вмещаясь в отведенную для жизни жилплощадь, выносили на почь в кухни или в коридоры раскладушки. В домах обвисали, как брюхо, отсыревшие потолки; истлевшие, иссеченные осколками зенитных снарядов, кровли протекали; из форточек торчали железные трубы жестяных печурок.

Но в семьях погибших фронтовиков Цыплаковы редко слышали жалобы на трудную жизнь. Сурово и мужественно жили эти люди. Они гордо охраняли гордость свершенной их отцами, сыновьями победы от всего, что хоть тенью могло ее умалить.

И Люся говорила взволнованно:

— Надо какую-нибудь огромную всенародную награду дать людям за то, что они все такие замечательные!

Цыплаков напомнил:

— А сколько городов званиями героев наградили, возвысили население в массовом порядке!

— Я про другое, — сказала Люся. — Ну, чтобы отблагодарить всех самым простым, нужным, добрым.

Сидор сказал беспечно:

— Лично я уже получил высшую благодарность.

— Ну? — спросила Люся.

— Тебя, — объявил Цыплаков. — А ты знаешь, что больше всего не хотят люди? Новой войны, понятно?

— Да, и еще неправды! — горячо произнесла Люся.

— Где ты ее обнаружила, неправду?

— А вот хотя бы сейчас в тебе. Если б ты был уверен, что мы уже имеем право на полное счастье, не говорил бы про усы.

— Да я в шутку.

— Нет, — решительно сказала Люся, — это не шутка. Это правда.

Сидор Иванович Цыплаков, как и многие сотни тысяч советских людей, работал по восстановлению разрушенных войной фабрик, заводов, шахт. И если обнаруживал в развалинах неразорвавшуюся торпеду, бомбу или снаряд,

продуманно, тщательно извлекал их и очень гордился тем, что оставался живым, хотя бывало, что от неосторожного движения часовой механизм торпеды вдруг оживал.

И когда из восстановленных мартеновских печей давали первую плавку стали, а из шахт — первый уголь, люди во всей прекрасной полноте ощущали свое всемогущественное трудовое величие, победный подвиг, но выражали эти чувства только тем, что, оглядывая друг друга, удивлялись самим себе.

Разобрать и выстроить заново тысячи заводов, погибших в пламени взрывов, в хаосе спекшегося металла и камня, — это чудо совершил наш народ, как бы мстя войне за смерть бессмертием.

Сидор Иванович любил строительное дело, и, когда он видел в газетах эскизы новых зданий, у него посасывало внутри от желания поработать в аккуратных условиях на подобной стройке и как бы заслуженно отдохнуть в тылу после бессленных боев на восстановительном фронте.

Бывший член Военного совета армии, который знал и ценил Цыплакова, став штатским гражданином, пригласил к себе Сидора Ивановича.

И с той же стремительностью, какой генерал отличался на фронте, он предложил Цыплакову высокую должность в строительном тресте и тут же объяснил, что делает это не из благодарности за ту любезность, которую оказал ему как-то Цыплаков, когда спас от смерти, а по чисто деловым соображениям. И генерал обстоятельно и точно изложил все положительные качества Цыплакова, исходя из которых он принял такое решение.

Но Сидор Иванович отклонил этот лестный и почетный пост.

— Может, ты заведовать каким-нибудь заведением желаешь? — обиделся генерал.

Генерал откинулся на спинку кресла и посмотрел на Цыплакова так презрительно, как он смотрел однажды, еще в начале войны, на майора интендантской службы, который держал себя чрезмерно нагло.

Но Цыплаков разъяснил:

— Партия решение приняла дать побольше жилой площади. Вот на такой плацдарм я бы хоть на любую должность.

— Так, — согласился генерал. — Ясно, куда метишь. — И, с облегчением развалившись в кресле, сказал с улыб-

кой: — Вот я тебя сразу и расшифровал. Прорабом хочешь быть? Из собственных рук людям ключи от квартир выдавать?

— Да,— сказал Цыплаков.— Именно ключи.

— А у тебя самого как? — хитро сощурился генерал.— Может, тебе авансом ордер выдать, с тебя и начать, ободрить для начала жилплощадью?

— У меня порядок,— сухо сказал Цыплаков и встал.

— Обиделся! — воскликнул генерал.— Обиделся! Ну и правильно, что обиделся. Извини, брат, сидит это еще — на человека щуриться. А он сейчас вот какой! — И, поднявшись, генерал определил вытянутой рукой высоту современного человека.

Потом генерал показал Цыплакову эскизы зданий с колоннами, похожие на катафалки, похлопал себя по сильной веснушчатой шее — вот они, дескать, где у нас сидят, такие зодчие. Ты понимаешь?

— Я понимаю,— сказал Цыплаков,— и поэтому хочу поработать, как говорится, на деле для помещений человеческого счастья.

— Обожди,— попросил генерал,— это я запишу, это ты очень здорово выразился.— Когда генерал наклонился над столом, одна рука его глухо стукнула, и он сердито сунул ее за борт пиджака. Поймав взгляд Цыплакова, объяснил: — Оторвалась в Кенигсберге.— Пожаловался: — Мы все, армейские люди, привыкли к вольному воздуху, я бы сам на строительную площадку попросился. Ты думаешь, мне не лестно прямо из своих рук людям ключи от квартир выдавать?.. Нет, очень лестно.

Прощаясь, генерал подал Цыплакову живую левую руку и, крепко сжимая руку Цыплакова, спросил:

— Ты, я слышал, на санинструкторше Люсе женился? — Вздыхнул: — Будь бы у тебя тогда звание повыше, а у меня пониже, я бы у тебя ее обязательно отбил. Хорошая девушка. Помню, ранение получил — пришла, как этакая белая фея, поверх полушубка белый халат, а мне перед ней неловко. Физиономия небритая, а волос у меня рыжий. Ну, пока кипятила свои медицинские штучки, я взял да и стал бриться, но ослабел и — свалился. Потом с ней вместе смеялись.

— То есть как это вместе? — багровея, спросил Цыплаков.— Это что значит — вместе?

— Товарищ майор,— испуганно сказал генерал,— я тебе честно говорю: прошла она мимо меня, как мечта,

и все. И с ее стороны, естественно, как же не смеяться? Валяется на полу генерал, щека в мыле, в одной руке помазок, а в другой — бритва. Ведь смешно, а?

— Смешно, — сказал без улыбки Цыплаков, — очень смешно...

Статистики подсчитали, что на Землю ежедневно выпадают десятки тысяч тонн космической пыли. Но умственные математические взоры статистиков, обращенные в пространство Вселенной, не удосужились подсчитать, какое количество ключей от новых квартир получают ежедневно советские граждане из рук строителей, или, например, сколько тонн металла весят такие ключи. А это же не пылинки, это же ключи к счастью.

Да, товарищи, к счастью. Но прежде чем говорить о счастье, порассуждаем о несчастье.

Если б наши статистики сочли для себя возможным изучить в архивах народных судов дела, которые там слушались и слушаются, то они убедились бы в том, что большинство дел возникало и возникает на почве отсутствия достаточного количества жилой площади. Наука утверждает, что одно из основных свойств живой материи — раздражимость. Человек фактом своего существования не опровергает, а подтверждает это научное положение, будучи сам формой высокоорганизованной материи.

Но, сознавая этот факт и считаясь с этим фактом, человек, наделенный способностью мыслить, используя эту свою способность, пришел к выводу, что есть полезные, возвышающие его источники раздражений и есть вредные и что источником вредных раздражений в большинстве случаев служат условия плохого жилищного существования.

И если, скажем, только за последние годы миллионы наших граждан, то есть почти одна треть населения, получили ключи от новых квартир, то эту цифру очень отчетливо ощутили и работники правосудия, констатирующие резкое уменьшение гражданских исков, вызываемых тем, что основное свойство живой материи — раздражимость.

А любовь, брак, семья? Вы что, думаете, эти категории жизни возникают, упрочиваются, облагораживаются только в силу воздействия художественной литературы?

Да литераторы сами могут подтвердить, что на них благотворным образом воздействует при изучении этих проблем наличие собственной жилой площади.

Словом, жилая площадь не нуждается в гимнах: она — площадь для жизни, и в этом и есть ее простое величие.

Воспитание, жизненный опыт и специальность Сидор Иванович Цыплаков получил, как известно, в армии. И ему казалось, что все самое лучшее — в армии. И начальники, и подчиненные, и порядок — словом, все, все.

Упоенный счастьем мирного труда, Сидор Иванович, командуя сложной строительной техникой сборного панельного домостроения, чувствовал себя как бы командиром бронетанковых войск, прокладывающих путь пехоте. А пехотой он считал рабочие бригады, которые занимают внутреннюю отделку домов.

И Сидор Иванович считал, что если тебя не бомбят, не забрасывают снарядами, если сейчас мир, то, значит, и нет никаких противников, с которыми следует сражаться.

Старший прораб Фиников, под руководством которого работал Сидор Иванович, был человеком волевым, энергичным, инициативным и самолюбивым. Когда на соседнем строительно-монтажном участке происходила сдача комиссии очередных домов, он испытывал некую душевную изжогу, изжогу зависти, худел, глаза от нервного возбуждения неистово блестели и даже, возможно, светились в темноте, как у кошки.

В свое время он занимал заметную должность.

На этом посту он обладал выдающейся способностью скрывать свою неспособность к руководящей работе.

Он долго и тщательно вырабатывал в себе манеры утомленного работой человека, и это производило впечатление.

Иные даже думали, что он настолько умен, что тактично не обнаруживает своего ума.

Но ум у него был хотя и маломощный, но вполне житейский.

Едва только возник разговор о возможной реорганизации учреждения, Фиников сразу сообразил, что к чему, и первым подал заявление о своем желании уйти на производство. Выдвинулся некоторым образом в герои и получил должность старшего прораба.

Фиников считал, что для преуспевания, во-первых, надо обладать небольшим, но притким умом. От большого ума могут быть осложнения.

Во-вторых, гибкостью. Гибкостью не какого-нибудь обыкновенного пресмыкающегося, а гибкостью растения, которое грациозно извивается вокруг некоего дуба и существует при нем.

В-третьих, способностью к скачку в соответствующий момент, когда момент этот удается поймать.

То, что при всем этом надо знать: кому кивать головой снизу вверх, кому сверху вниз, а кому надо кланяться, плавно наклоняя голову, так, что при этом закатываются глаза под лоб, — Фиников считал техническими мелочами. Главное — пункт третий, скачок.

Как-то в минуту откровенности Фиников признался супруге:

— По линии практики я спокоен, а вот по линии теории испытываю неудобства: говорят, не хватает мировоззрения.

Но это было только самоуничижением Финикова. У Финикова было мировоззрение. Мировоззрение пессимистического. Энтомологи подразделяют насекомых, исходя из их способа добывания пищи, на колющих, лижущих, сосущих. Фиников был выше любого насекомого, ибо владел всеми перечисленными способами добычи благ жизни.

Из всех видов борьбы Фиников предпочитал два: классическую в цирке и склочную у себя в учреждении.

Когда однажды на собрании старый товарищ по работе упрекнул его в незнании дела, он задал оратору один только вопрос, и то кротким тоном:

— Извините, а какое у вас, собственно, социальное происхождение? — Получив ответ, кивнул и произнес многозначительно: — Так, теперь все понятно...

Это вовсе не означало, что Фиников не проявлял чуткости к сослуживцам. Так, например, когда кто-нибудь из сотрудников допускал ошибки, Фиников, анализируя эти ошибки, писал краткие заключения и направлял их «куда следует». Потом шел на квартиру к пострадавшему и выражал соболезнование. И приходил он не с пустыми руками, а покупал в гастрономе что-нибудь сладкое и вручал детям бывшего своего сослуживца.

Это свое проявление доброты и гуманности Фиников ни от кого не скрывал и даже широко афишировал. Говорил, что ему некого бояться, потому что он человек чистый, как дистиллированная вода, и может себе позволить то, что другим не рекомендуется.

Фиников с обожанием относился к самому себе. Вдумчиво и тщательно выбирал только богатую витаминами

пищу. Ел медленно, благоговейно, прочувствованно, сознавая, что поглощаемая еда станет веществом его драгоценного организма.

Он не курил, зная, что курение оказывает отрицательное влияние на долговечность. Не пил. Но высоко ценил алкоголь за свойство иногда делать умных людей глупыми.

Прежде чем отправиться в гости с супругой, он оглядывал ее пылливо, как кавалерист лошадь перед смотром. Командовал:

— Кольца — долой, серьги — вон. Вместо броши — значок. Каблук низкий.

Фиников обладал даром коротко и точно формулировать. Например:

— Я решил ничего не решать. Как я могу тебе верить, когда я сам себе не всегда верю. Своевольничать можно только в пределах дозволенного. Я доверительно вам говорю, что здесь никому доверять нельзя. — И так далее.

Но особую глубину мысли Фиников обнаруживал тогда, когда дело касалось проработки кого-нибудь из сослуживцев.

Он задушевно и кротко беседовал с будущим объектом критики, доброжелательно подготавливая его к процедуре обсуждения.

— Ты пойми, — разъяснял Фиников нервно страдающему человеку, — волноваться тебе не следует. Встань на объективные к самому себе позиции. Воспитывать массы на отрицательных примерах правильно? Правильно. Человек ты неплохой, и есть в тебе положительное. Но разве речь будет идти о человеке? Вопрос ставится принципиально. О факте. Нужны нам такие факты? Нет, не нужны. Надо с ними бороться? Надо. А как с ними бороться, если этот факт рассматривать не в чистом виде, как факт, а запутывать его всякими частностями, присущими твоей личности. Затруднит это обсуждение? Затруднит. Так будь сознательным. Помоги коллективу заклеить твой факт каленым железом. Ведь мы тебя будем осуждать вовсе не как человека, а только как носителя факта. Факта, который надо обобщить до степени явления и нацелить на это явление ярость масс. Значит, тебе следует поступиться личным во имя общего. И во имя уважения к коллективу ты должен помочь ему обрушить на тебя всю его ненависть. Учиться на отрицательном, чтобы идти вперед воодушевленными.

— Но ведь слушай, Фиников, — канючил приятель, — ты же меня знаешь, я же неплохой специалист.

— Согласен, — убежденно говорил Фиников, — и даже добавлю: с инициативой. Но ты сейчас нам нужен как предмет для обсуждения. В глазах общественности ты сейчас представляешь особую ценность как объект для осуждения твоей ошибки.

— Но меня не первый год знают, моя жизнь как на ладони.

— А вот ковыряться в личных качествах человека недопустимо, — возмущался Фиников. — Ты нас на неправильный путь толкаешь. Твоя личная жизнь — это твое интимное, и никто не имеет права этого касаться. Другое дело — служебная жизнь. Тут должен быть полный анализ. Совершил ошибку? Совершил. Поучительна она? Поучительна. Подходит под обобщение? Подходит. Можно на ней учить массы как на дурном примере? Можно. Так в чем дело? А вот волноваться тебе не следует. Ошибки нужны как стимуляторы общественной жизни. Все спокойно, нормально, и вдруг — бац! И пошло! Кривая активности на недосыгаемой высоте. Что с тобой будет? Обобщат. Окрестят факт твоей фамилией, и станет он явлением. Пройдет год-полтора, и ты сам где-нибудь уже на периферии будешь хладнокровно бороться с этим явлением и даже забудешь, что ты сам первоисточник. Потому что твой факт перестанет быть твоим фактом, а обретет как бы историческое значение, вроде как бы отрицательного массового движения или болезни, которую с твоей помощью открыли и назвали твоим именем.

— А я все-таки хочу с предельной искренностью рассказать о причинах моей ошибки, — говорил упрямый сослуживец. — Пусть коллектив узнает причины, чтобы потом знать, как с такими ошибками бороться.

— Не рекомендую, — зловеще предупреждал Фиников.

— Почему?

— Это значит смазать, стусевать значение совершенной ошибки. Ты должен признать...

— Да я признаю! — с готовностью восклицал сослуживец.

— Но ты обязан не только признать, но и поднять признание ее на должную высоту и как бы растерзать себя критически. Тогда тебя трогать не будут, потому что ты сам над собой все сделаешь, и даже, возможно, будут критиковать за преувеличение ошибки. Разъяснят тебе, что ты преувеличил свои ошибки и этим допустил новую ошибку. — Сказал иронически: — Ты же знаешь, наш коллектив — люди. Как все люди, он любит чуткость проявить.

— Нет, все-таки я так не могу, это бессовестно,— вздохнул сослуживец.

— Ну и черт с тобой,— сердито изрек Фиников.— Станешь явлением, тогда вспомнишь меня, но будет поздно.

— Знаешь, Фиников,— задумчиво произнес сослуживец,— если научно, так ты сволочь.

— С глазу на глаз оскорблений не принимаю,— гордо ответил Фиников.

Но, несмотря на всю свою живучую гибкость, Финикову ни разу не удавалось шмыгнуть на более высокую должность, чем он занимал.

И хотя он был человеком пожизненно осторожным, завистливое вожеление к личному благоденствию так болезненно жгло его, что он испытывал страдание поистине титана. Грызя ногти с печальным и голодным выражением лица, Фиников горестно размышлял о том, сколько душевных сил он тратит на то, чтобы подавлять в себе жгучую жажду чрезмерного личного благополучия, все время боясь, как бы она, эта жажда, в чем-нибудь, ненароком не прорвалась. И тогда из него, Финикова, сделают факт. «Нет, это неправильно делать из меня факт! — мысленно жалобно восклицал Фиников и, словно извиняясь перед кем-то, объяснял: — Ведь если я помогал делать из некоторых своих приятелей факты, то вовсе не по личной злобе к ним, наоборот, многие из них были вполне хорошими людьми, и я им давал только хорошие советы...»

Иногда к Финикову приходила устрашавшая его мысль. А что, если он пытается не только обмануть время, в котором живет, но даже самого себя надуть? Он всегда считал дураками тех, кто отдает обществу больше, чем от него получает. И вдруг... в дураках он, Фиников. Он всегда жил только сегодняшним днем и подсчитывал, что этот день дал ему. Он ловко научился всех избегать. Так научился, что люди стали избегать его самого. И вот приятель, которому он советовал добровольно стать явлением и который не стал явлением, потому что спокойно, мужественно, толково рассказал коллективу о всех обстоятельствах, при которых совершил ошибку, встретив Финикова, сказал только одно слово:

— Прыщик!

Придя домой, Фиников заперся, поставил на стол зеркало и долго, пытливо разглядывал лицо человека, пристально, испытующе глядящего на него. И ничего такого плохого, отталкивающего, скверного Фиников не нашел

в этом своем лице. «Что ж, — решил Фиников, — с таким лицом жить можно». Послюнявил палец, разгладил брови, вежливо улыбнулся. «И улыбка вполне корректная, сдержанная. А если вот так? Выражение восторга тоже почти правдоподобное. Только к какому случаю его применять? Вот в чем вопрос».

Не было у Финикова в жизни повода выражать изумление или восторг. Да и никогда не испытывал он таких чувств — ни к людям, ни к делам их.

В Финикове как бы жила целая толпа разных человечков, и он не знал, каким из этих человечков он будет завтра или послезавтра; даже в течение дня он был таким или сяким, но никогда не был самим собой; это было выше его, недоступно ему и совершенно ему не нужно.

И именно благодаря этому он был неуловим. Вот, кажется, у вас на ладони Фиников, а глядишь — это уже совершенно другой Фиников. Не успевают понять, какой это другой, а он уже третий.

С такими феноменальными способностями Фиников только и мог существовать. И он существовал. Но Фиников хотел не только существовать, но и процветать. К гигантским масштабам развернутой индустрии массового жилищного строительства Фиников относился отрицательно.

— Ну зачем это нужно — просто так давать людям жилье, только потому, что они в нем пуждаются? Жильем нужно награждать! Награждать особо отличившихся. А что делает теперешнее руководство? Допускает излишество. За пять лет шестьдесят шесть миллионов новоселов. А надо было бы награждать жилплощадью персонально, и лишь самых достойных. Только за пять лет почти одна треть населения страны переехала в новые квартиры. Устроили вселение народов, какого в истории никогда не было. Но ведь это же в историю не войдет.

Историю всегда как изучают? По отдельным великим памятникам архитектуры — дворцам, храмам, монументам, аркам, пирамидам. А ведь эти миллионы квадратных метров жилой площади — просто жилая площадь, и все. Из нее никаких памятников не получится, и не сделаешь из нее памятников эпохи.

— Какая же теперь у нас эпоха? Как ее назвать, если она только и занимается тем, что массовым способом улучшает жизнь массам, а не заботится о себе, чтобы себя увековечить как эпоху общепринятыми во все века способами.

Памятники архитектуры — это вещь. А квартиры, что они сами по себе пропагандируют? Живут в них самые обыкновенные люди и радуются, конечно, что живут в новых квартирах, и, конечно, говорят о том, что рады.

Но радость — это же простое чувство, да еще вынужденное не чем-нибудь великим, особо выдающимся, гениальным...

Но, как бы ни были грустны эти размышления Финикова, он не утратил личной бодрости и надежды на личный успех.

Фиников не любил таких грубых слов, как, например, «показуха», «очковтирательство». Зачем эти грубые, ненаучные слова, когда есть такой термин, как, скажем, «рывок»?

Вот он и решил на основе хорошо изученного прошлого опыта совершить свой личный рывок в новых исторических условиях.

Технику такого рывка Фиников разработал тщательно и в подробностях.

Изготовление индустриальным способом деталей крупнопанельных домов и монтаж их при помощи разнообразной техники осуществлялись скоростными методами. А вот внутренняя отделка, установка сантехники, включение в магистрали коммуникаций водопроводной, электрической сети — с этим всегда морока.

Фиников рассудил так: «Кому я сдаю дома? Жильцам? Нет! Комиссии. Значит, кто главный? Комиссия. Кому надо угодить? Комиссии. И если комиссия дома примет, кто за них будет отвечать? Комиссия. Значит, работать надо только в расчете на комиссию.

Кто главный в комиссии? Председатель. Вот и надо взять курс на эту личность».

Цыплаков руководил монтажно-сборочными работами, то есть возводил только коробки зданий. И он испытывал упоение от этой спорой работы, чувствуя себя как бы добрым великаном, который железными руками кранов с баснословной быстротой дарует людям жилища.

Пришел будто человек-великан, и глядишь, неделя — дом, неделя — и еще дом.

Правда, это были еще не дома, только коробки домов. Но силой воображения Цыплаков представлял их уже завершенными. Он представлял себе, как люди уже живут в них, незнакомые и знакомые, и среди них он видел и своих товарищей по фронту. Он вспоминал и погибших на фронте, чьих жен и детей знал по фотографиям. И он

видел, как эти жены и дети въезжают в новые дома. Жены готовят обеды на газовых плитах, детишки плещутся в ваннах или стоят под душами, словно под никелированными подсолнухами, и на них сыплются прозрачные теплые зерна воды, блестят полы, светятся стены, и от этих блестящих чистотой и светом квартир, будто от дивных фонарей, еще светлее в жизни.

Среди механиков, крановщиков, монтажников было много бывших фронтовиков, и Цыплаков сразу нашел с ними общий язык.

Цыплаков говорил:

— Вот, ребята, поскольку мы не убитые, а живые, перед каждым из нас долг — работать не только за себя, но и за погибших в бою товарищей, потому что если бы они геройски не погибли, то вместо них погибли бы мы. Значит, надо оправдывать перед ними факт своего существования.

И действительно, монтажники Цыплакова были ведущими на стройке.

Фиников взялся руководить внутренними отделочными работами. Он тщательно отобрал группу опытных мастеров, собрал их в одну бригаду и направил в те секции домов, которые у него были помечены на плане крестиками. Он сказал, что главное, что от них требует, — это качество. И если даже в нормы не уложатся, неважно, работы будут оплачены не по нормам.

Из молодых и неопытных он сколотил отдельные бригады и заявил:

— Вы народ зеленый, неопытный, качества от вас ждать нельзя. Жмите только сверх нормы, а чего не доделаете, позовем стариков, они за вами заделают, замажут, залижут, так что даже не пытайтесь тянуть время. Вы вроде как им черновую заготовку производите.

Фиников точно знал, где и к кому применять какую отмычку. Вот, скажем, как-то старый мастер рыдающим голосом упрекал молодых штукатуров за плохую работу. Фиников осадил его.

Он сказал мастеру в присутствии всей молодежной бригады:

— Ты вот что, горло на рабочих не дери. Не то время. Я да я. Отвыкать надо, товарищ, от этой манеры якать. И не подменяй общественные формы контроля своей личностью.

Фиников всячески подчеркивал перед молодежью, что он им вроде как и не начальник, а просто приятель. Пер-

вый с суетной торопливостью здоровался, совал руку, улыбался, заглядывал в глаза. Если жаловались, что плохо дело получается, шутил добреньким голосом:

— Малодушие выказываешь. Ты себе верь, жми дальше, не под муар кабинет начальству разделяешь, кончено с этими муарами. Стена есть стена, а не картина, и любоваться не на что. Гляди на нее с позиции квадратного метра. Жми план.

Он великодушно выписывал новый инструмент, даже не спрашивая у того, кто его потерял или испортил, как это случилось.

Но когда потерял собственную зажигалку, для поисков ее снял почти всю бригаду с работы.

Когда бригадир молодежной бригады отказался получить деньги за выработку сверх нормы, потому что увидел, что работа плохо исполнена и что кому-то ее придется дodelывать, Фиников вызвал его и спросил:

— Сегодня какой курс? На повышение жизненного уровня. Я этой директивой руководствуюсь, подписал тебе наряды, выполняю указание насчет подъема твоего жизненного уровня. А ты демагогию разводишь. Хочешь свою работу переделать? Пожалуйста, не возражаю, но запомни, ты из-за своего престижа в этом помещении канителиться будешь, а люди, которые томятся, дожидаясь жилой площади, из-за тебя вынуждены будут еще лишние сроки томиться. Из-за одной квартиры все секции будут пустыми простаивать. Не думаешь ты, молодой человек, о людях, о себе только думаешь. Эгоизм — это, значит, преодолевай свои недостатки.

Хотя по плану жилой участок должен был быть подготовлен к сдаче в июне, Фиников объявил, что все дома будут сданы в канун Первого мая, так, чтобы жильцы свое новоселье могли справить в день праздника трудящихся.

Но, как ни жал Фиников, к моменту сдачи образовался прорыв. Ни водопровод, ни газ, ни канализация не были подключены, не подведен был и электрический кабель.

Но Фиников нашел выход. В тех секциях, которые у него были отмечены крестиками, он установил на кухнях газовые баллоны, в бачки известных помещений приказал налить воды, якобы только для того, чтобы убедиться, как действуют в них поплавки; монтажникам велел подключить электрический свет с помощью «воздушки» с соседней улицы. И таким образом подготовился к встрече комиссии.

Что касается самого председателя комиссии, то Фиников давно уже свел с ним знакомство. Он заявил, что считает неправильным такое положение, когда комиссия сразу, без подготовки, принимает дом, и водил этого председателя комиссии почти ежедневно на стройку. Советовался с ним насчет колера окраски стен. Просил разрешения ставить повыше, чем в чертеже, штепселя, а то вдруг дети начнут баловаться и их ударит током; надо штепселя ставить на такой высоте, чтобы ребятам до них достать было невозможно.

Советовался насчет того, что предпочтительнее приделывать к дверям: крючки или задвижки. И когда председатель говорил, что это мелочи, Фиников возмущался и отвечал, что из-за таких мелочей у людей настроение может испортиться, а об этом тоже надо думать.

И когда комиссия прибыла, Фиников предложил сначала проверить все детали в намеченных им квартирах, а уже потом пройтись по всему дому, тем более что сам председатель сто раз побывал на стройке и изучил все в процессе созидания.

И вот Фиников повел комиссию по тем секциям и квартирам, которые у него были помечены крестиками и на которые он ставил опытных мастеров.

Для того чтобы не затруднять членов комиссии, Фиников сам поворачивал ушки выключателей, зажигал газовые плиты и дергал фарфоровые ручки, висящие на цепи, и бачки послушно низвергали залитое в них ведро воды.

Члены комиссии тщательно осматривали квартиры и все одобряли. Но Финикова это не удовлетворяло. А даже, наоборот, огорчало. И он даже упрекал членов комиссии в нетребовательности. Указывая на какой-нибудь незаметный пупырышек на стене, он говорил, качая головой:

— Нет, так нельзя, это не стиль, это недоделка, в таком виде с таким пупырышком сдавать нельзя — явная недоделка.

И такие недоделки он отмечал с мушиной зоркостью почти в каждой квартире и очень долго и горячо спорил с членами комиссии, которые утверждали, что это, пожалуй, пустяки, а Фиников, наоборот, утверждал, что это совсем не пустяки.

Словом, члены комиссии, еле закончив обследование, были окончательно изнурены вышеупомянутыми препирательствами с Финиковым.

И когда после всех стонов и вздохов Фиников вдруг схватился за сердце и заявил, что он хоть и довел себя до

крайней степени истощения, стараясь доставить радость людям к Первому мая, но все-таки испытывает волнение за те недоделки, на которые он указывал, и, пожалуй, не решится ставить свою подпись на акте. И он вдруг, приятно улыбаясь, предложил:

— А знаете что, пусть нам судьями будут сами массы — жильцы. Разрешите брать у них при въезде подписку, что они не возражают против недоделок, которые я вам изложил, я им сам покажу. Пусть масса судит, кто прав: я или вы.

И члены комиссии согласились.

И вот когда во вторую половину дня дворы новых домов заполнили новоселы (с имуществом на грузовиках), их встречал радостный и приветливый Фиников и, сопровождая в квартиру предъявителя ордера, просил его подписать тиснутую на гектографе расписку о том, что данный товарищ претензий к строителям не имеет.

— Если же такая формальность не будет соблюдена, — строго разъяснял Фиников, — извините, тогда прошу — после праздников. Мы вместе с вами тщательно изучим, что сделано и что из мелочей недоделано.

Ответственный съемщик, бросив беглый взгляд, колебался. Но что делать? Внизу вещи, семья, завтра праздник — и ставил свою подпись.

Конечно, Цыплакову не следовало горячиться, хотя он и человек искренний. И другим тоже не следовало горячиться. А то что получилось?

Фиников улыбался, изображая перед кинокамерой, будто бы лично в данный момент вручает жильцу ключ с бантиком от новой квартиры.

Цыплаков сказал Финикову: «Слушай, ты, вибрион...» Фиников был, естественно, возмущен. Он сказал: «Вы меня не тыкайте.— И объяснил во всеуслышание: — Человека, находящегося в состоянии исполнения служебного долга, принижать недопустимо. Но об этом я поговорю в другом месте».

И разговор состоялся.

Фиников так потом излагал супруге состояние своего дела:

— Что же, не хотят скакнуть в передовики, и не надо. Но вот расписка из суда о том, что я сдал расписки всех жильцов. Это документ! Против кого этот документ? Против них всех. А пенсию в случае чего я все равно себе выбью. Сейчас гуманизм.

— И я не позволю гуманизм нарушать, — утешал супругу Фиников, — не то время.

Сидор Иванович Цыплаков мучительно переживал все происходящее.

Как же так получилось? Бригада его монтажников — передовая. И люди достойные, хорошие, крепкие производственники, и он их руководитель.

Держали знамя района, шли вперед, не оглядываясь.

А почему не оглядывались? Кто им позволил не оглядываться?

Разве когда часть на марше, командир должен быть только впереди со знаменем? Нет, он должен быть и там, где плетутся в хвосте отстающие и те, кто ноги себе сбил, не овладев еще солдатским мастерством обувки, или просто еще не втянулся в армейский скоростной шаг.

Почему на фронте он считал своим главным местом то, где сражалось слабое подразделение, а не то, где сражались лучшие подразделения?

Выходит, он засел в лучшей бригаде, наслаждался тем, что она лучшая, принимал почести, упивался ими. А то, что творилось позади, его не касалось.

Люся знала Цыплакова таким, каким только она одна могла его знать, и больше никто не знал и не мог и не должен был знать.

Самым хорошим у Сидора было то, что он не умел и не хотел никогда притворяться ни перед собой, ни перед другими.

И это не от простодушия, а от уважения к людям.

Даже во время тяжелого боя выражение лица Сидора Ивановича оставалось таким же озабоченным, каким оно было накануне боя, когда он беседовал с солдатами и проверял материальную часть. И с этим же озабоченным выражением Сидор Иванович командовал в бою. Говорил негромко, деловито:

— Надо бы еще пулеметишко на левый фланг подкинуть.

И когда выскакивал впереди солдат, не кричал с молодецким отчаянием: «За мной, вперед, в атаку!» — а произносил обычным человеческим тоном: «Ну, хватит канителиться, побежали на них!»

И бежал неторопливо, чтобы сберечь дыхание для самого страшного, ближнего боя.

Если Сидора Ивановича задевало пулей или осколком, лицо его обретало обиженное, досадливое выражение. Брезгливо оглядывая рану, он советовался с Люсей:

— Как полагаешь, надолго теперь выпадут? — И, как опытный солдат, объявлял: — Через часок начнет боль мучать, а сейчас ничего, жить можно. — И обнадеживающе улыбался.

Война не ожесточила сердца Цыплакова, а, наоборот, размягчила. Он говорил восторженно:

— Смотри, какие у нас все люди распрекрасные! Война — это же нечеловеческое дело, а перед боем, перед смертью какие славные, добрые письма домой пишут.

После боя Сидор Иванович обходил поле сражения и, останавливаясь возле павшего солдата, мучительно, тягостно думал, какая есть доля его собственной вины в том, что этот солдат пал в бою, оттого ли это случилось, что солдат проявил слабодушие, не замеченное Цыплаковым, или оттого, что неграмотно пользовался местностью — тоже вина Цыплакова, — или не прикрыли его вовремя огнем — тоже недосмотр командира.

Это было тяжелое самоистязание офицерской и человеческой совести.

Ночью в землянке, при чадном свете тряпичного фитиля, зажатого в расплющенной оконечности гильзы от зенитного снаряда, наполненной бензином с солью, Сидор Иванович говорил встревоженно Люсе:

— Неправильно это. Война — такое горе! А я с тобой такой счастливый, неловко даже...

Люся, обнимая Сидора Ивановича, жадно шептала:

— Пускай сейчас прямое попадание, а я все равно ничего, кроме тебя, не почувствую.

Сидор застенчиво признавался:

— Я сам не ожидал, что это для человека так много значит. Будто я есть и вместе с тем меня нету, а есть одна ты, и это тоже я.

И Люся испытывала сладостное женское тщеславие и чувствовала себя волшебницей, но и волшебником ей казался Сидор, который вызывал у нее это чувство женской гордости.

И когда Сидор засыпал, доверчивый, беспомощный, у Люси вдруг возникало к нему материнское чувство, он казался слабым, беззащитным, и она плакала, невесть за что жалея Сидора, который, любя ее, боялся этой любви, как будто она им не заслужена, и сурово наказывал себя за эту любовь, пытался внушить себе, что это не любовь, а просто так, нечто случайное, чтобы не цепляться за нее и в случае чего не так страшно было бы умереть.

В первый же день, когда Люся после своего ранения выписалась из госпиталя, она заметила, что Сидор Иванович стал косить глазами.

— Это что, — соболезнующе спросила Люся, — после контузии?

— Да нет, — сконфузился Цыплаков, сказал жалобно: — Тебе не очень противно всю жизнь смотреть на мой нос, уж очень он габаритный?

А когда Люся надела первый раз ситцевое платье, Сидор Иванович воскликнул с отчаянием:

— Ну все! Я так и думал.

Люся спросила, напуганная:

— Не идет?

— Да ты же красавица, — горестно сказал Сидор Иванович. — В обмундировании маскировалась, а теперь для всех все на виду.

— Ты что, сдурел? Я же самое скромненькое купила.

Очевидно, на правах старшего партийного товарища (Сидор Иванович вступил в партию в начале войны, а Люся — в конце) он заявил строго:

— Ты помни! Ты коммунистка!

— Да я же все-таки женщина! — воскликнула Люся.

— Для меня это ничего не значит, — жалобно сказал Сидор Иванович. — А как коммунистка ты обязана особенно высоко держать себя по линии моральной.

Как все женщины, Люся требовала от мужа обстоятельных разъяснений, за что именно он ее любит.

Лицо Сидора Ивановича становилось растерянным.

— Здрасьте! Я же тебе давно все сразу объяснил.

— Но мне приятно снова послушать, какая я самая лучшая, — настаивала Люся.

— Да разве ты самая лучшая? — удивился Сидор Иванович.

— А что, нет?

— Для меня никто, кроме тебя, не существует, с кем же я тебя буду сравнивать? — пролепетал Сидор Иванович.

— Очень ты неинтересно говоришь, Сидор, — упрекнула Люся. — Ну, придумай, пожалуйста, что-нибудь замечательное, такое...

Сидор Иванович молча, сосредоточенно ходил по комнате и вдруг предложил:

— Хочешь, я свою фамилию на твою сменяю...

Сидор говорил Люсе мечтательно:

— Вот мы с тобой оба партийные. Как бы это такое сделать, чтобы мы в самом малюсеньком между собой поступке всегда на что-то особенно хорошее целились?

— А ты меня люби побольше, вот тебе и цель, — авторитетно посоветовала Люся.

Когда Люся приходила на строительную площадку, Сидор Иванович, как бы ни был занят, прежде чем подойти к Люсе, старательно обметал пыль с сапог, застегивал воротничок рубашки и только после этого поспешно выходил к ней и так счастливо и восторженно улыбался, будто видел ее сейчас первый раз после долгой разлуки.

И то, что Сидор Иванович так беззастенчиво открыто, перед всеми радовался, видя Люсю, — это больше всяких слов внушало ей уверенность в том, как он ее сильно любит.

Сидор говорил Люсе:

— Я так понимаю удовольствие быть человеком. Что было раньше на месте нашей стройки? Пустырь, бурьян, ненаселенная местность. А теперь? Кварталы, улицы, жители. Очень красиво!

Произносил убежденно:

— Красиво — это и есть то, на что нас во всем целят — и в человеке, и в деле, и в мыслях...

В ту ночь, когда Сидор после обнаруженных недоделок в квартирах припелся домой, Люся решила: на стройке произошла какая-то ужасная авария — упал подъемник или обвалилась стена.

Сидор дрожал, задыхался, дергалась щека, он пил воду из крана, разбил о кран губы. Глаза у него были остановившиеся, как у мертвого.

Люся молча и энергично раздела Сидора, уложила в постель и, согревая его собой, глядя по щеке и ни о чем не спрашивая, только нежно и озабоченно повторяла:

— Ты у меня все равно хороший, все равно самый хороший.

А потом пришла ярость. Сидор вскочил, кричал, метался по комнате.

Но Люся тоже рассердилась, когда поняла причину ярости Цыплакова.

— Ты что вообразил? Жизнь — сладкий компот? Голову свою не беспокоил, ждал, что тебе прицельную рамку под нос поставят. Вот, мол, противник, будьте любезны! Дистанция такая-то. Огонь!

И это хорошо, что ты так сильно расстроился и даже разозлился. Из всех краж эта кража самая худшая — ду-

шу у вашей работы украсть... Фиников ее украл, и он худший вор из всех воров, и надо, чтобы ему нестерпимо было, нестерпимо...

Сидор Иванович не мог простить себе. Он чувствовал себя виновным перед людьми, которые позвали строителей на новоселье. Он ел их хлеб, пил их вино, принимал слова благодарности, а выходит, он участвовал в обмане этих простосердечно доверявших ему людей. Вроде феодала укрепился в передовой бригаде и наслаждался роскошной обстановкой хорошо слаженного труда. Не заметил, как рядом губили у молодых рабочих самое святое, самое главное в человеке — чувство радости, гордости трудом.

В труде люди наиболее полно познают свою красоту и свою долговечность.

Даже оборонительные укрепления, предназначенные только для боя и сохранения живой силы, саперы старались строить так, чтобы они были удобны для солдатской жизни и огневой работы. Сколачивали по собственному почину высокие скамьи в пулеметных гнездах, чтобы пулеметчик мог приятно отдохнуть не стоя, а сидя. Сооружали в нишах полочки для гранат, клали деревянные решетки на дно окопов и радовались, если на дерне, уложенном поверх брустверов, сохранялись, скажем, ромашки.

От хорошего, вдумчивого труда испытывают наслаждение не только те, кто пользуется плодами этого труда, но и те, кто умеет хорошо, с упоением работать.

Сидор Иванович был счастлив, когда думал, что он даст счастье многим людям, и стал несчастным, когда понял, что лишил этих людей по своей вине полноты радости.

И хотя он не знал слов Карла Маркса о том, что опыт считает самым счастливым того, кто сделал счастливым наибольшее число людей, но на своем жизненном опыте мог подтвердить это положение, ибо считал себя сейчас самым несчастным человеком.

И когда он шел по городу, ему казалось, что все окна новых домов глядят на него презрительно. И душа Сидора Ивановича корчилась и стонала от стыда.

И перед взором Сидора Ивановича была сейчас только одна личность — с сухим энергичным лицом и грузным, большим задом — личность Финикова.

Да, конечно, когда Сидор Иванович взял в горсть лацканы пиджака Финикова и вплотную увидел серенькие, мокрые, испуганные глазки, он испытал мгновенное на-

слаждение, но так же мгновенно пришло отвращение, и Цыплаков гадливо отдернул руку.

Надо наказать Финикова. Но как? На собрании, на народе? Но ведь он скользкий, покорно согласится с тем, что не свободен еще от пережитков, и даже пообещает ликвидировать в себе эти пережитки.

«Допустим,— думал Сидор Иванович,— я бы его вежливо, настойчиво попросил снять пиджак, вручил малярную кисть, ведро с краской, и Фиников стал бы перекрашивать стены публично перед всеми жильцами».

Фиников подчинился бы, Цыплаков мог бы заставить. Цыплаков вспомнил, как однажды Фиников сказал ему, бесшумно смеясь (Фиников обладал этим искусством бесшумного смеха):

— Голубчик, человек должен сам себя подымать к высокому уровню жизни.— И, кивнув на краны, заметил: — Такая механизация для этих целей не главное средство.

На что Сидор Иванович простодушно ответил:

— Действительно, мы ее еще недостаточно используем.— И даже пообещал продумать вопросы, связанные с более полным использованием мощной техники.

И Сидор Иванович, погруженный в свои мысли, горестно думал о том, что оказался не на высоте с трудноуловимым противником — скользким, увертливым, обладающим способностью обретать защитную окраску. Надо, чтобы все чувствовали, как нетерпимо само существование подобных личностей в нашем обществе.

И Сидор Иванович сделал то, что задумал. Надел спецовку, но не только он один, а и другие рабочие, и все они занялись доделками в квартирах новоселов. И всю ночь и все праздничные дни работали. И когда наконец работы были завершены, Сидор Иванович сказал жильцам:

— Вот порядок, а теперь, товарищи, будьте свидетелями по части допущенных недоделок. Давайте ваших представителей — и пошли к прокурору. Мы этого так не оставим.

Так ожегся на своем благодушии Сидор Иванович, и это благотворное жжение сильно содействовало тому, что он стал еще требовательнее к самому себе. Несмотря на то что работа его жилстроительного участка протекала успешно и ему казалось, что теперь окна домов, которые он строил, смотрят на него приветливо, Сидор Иванович стал испытывать непонятное беспокойство и принялся

размышлять, не рано ли ему пользоваться комфортом хорошо идущего дела.

А тут еще Люся стала подсмеиваться над тем, что у Сидора Ивановича под пиджаком обнаружилась выпуклость. Всегда у него вместо брюха была впадина, а тут вдруг выпуклость.

И ничего не было удивительного в том, что Сидор Иванович выпросил себе должность начальника дорожного строительства в Сибири, сославшись на свой богатейший опыт строителя фронтовых дорог.

В полевых условиях дорожно-строительных работ супруги Цыплаковы почувствовали себя так, будто они вернулись к себе домой — в армию. Ибо здесь было много похожего с фронтовой жизнью, только никто ни в кого не стрелял, а так, словно в армейском подразделении, жили в землянках, в палатках, питались из одного котла, и время тут шло, как в наступательных боях.

И когда капельки дождя падали в пыль проселочной дороги и, обволакиваясь пылью, лежали в пыльной оболочке, Сидор Иванович изрекал, указывая на эти капли:

— На протяжении километра такой дороги ежегодно пропадает от запыленности полей немало центнеров зерна стоимостью, равной дороге с твердым покрытием. — Пояснил: — Значит, мы не только строим дороги, но и берегаем стране и хлопок, и хлеб, и подсолнух, кукурузу, клецевину, просо и так далее. Стоимость же сбереженного хорошей дорогой транспорта равна тысячам новых пятиэтажных зданий. Значит, мы здесь и жилищного строительства не оставляем, а содействуем ему. — И, потупившись, грустно замолчал.

Люся, зная, о чем он в такие минуты думает, горячо вступалась:

— Есть люди огромные, а есть человеческие микробы, и им, огромным людям, очень трудно во всех повадках микробов уличать.

Оглядывая сухой океан степи, в котором бурым столбиком торчал суслик, Сидор Иванович произносил сурово:

— Тоже вот мелочь, а сжирает зерна пародного в год, как боров. Землю они портят своими норами. Хорошую землю.

Хотя Сидор Иванович находился в максимальном расцвете сил, несколько (как ему казалось) излишне цветущий вид супруги стал предметом его беспокойства.

Несмотря на то что ныне благодаря обилию мощной и разнообразной техники в дорожно-строительном деле участвует в тысячи раз меньше людей, чем прежде, все ж таки их еще много, и, заметьте, почти все мужчины.

Строительство сибирской дорожной магистрали превосходно обеспечено самой высокой, новейшей техникой. Отсюда следует, что в каждой мехколонне значительно меньше людей (мужчин), чем в обычной строительной. И это соображение было не чуждо Сидору Ивановичу, когда он давал свое согласие с готовностью, его самого поразившей.

Но все-таки главным было то, что Сидору Ивановичу в зените своего возраста захотелось приложить силы к какому-нибудь величественному и бессмертному делу, которое должно оставить заметный след на поверхности нашей планеты.

Если б Сидор Иванович украсил свой пиджак нашивками за ранения, красными за легкие и золотыми за тяжелые, то их хватило б от пупка до ключицы.

Но Сидор Иванович не любил своих шрамов, он любил демонстрировать перед Люсей, какой он еще молодчага, несмотря на плешивость и некоторую чрезмерную костлявость лица.

Он купил мотоцикл и верхом гонял по трассе.

Если б это была не машина, а лошадь, она сдохла бы, не выдержав подобной гонки.

Люся, как мы сказали, стала вдруг женственно расцветать, и Сидор Иванович, испуганный пленительной и пышной красотой этого внезапного цветения, встревоженно засуетился.

Мало ему мотоцикла, представляете, в футбол начал играть! И это ему показалось недостаточным. Чтобы уравновесить на лице громоздкий нос, он завел по обе стороны щек бачки. И на концерте самодеятельности строителей выступил солистом.

Испуганно глядя в зрительный зал, топчась и пожевываясь от смущения, потев в тугом воротничке с галстуком, сиплым голосом пел фронтовые песни.

Но всего этого Сидор Иванович мог бы не делать, не впадать в панику, не заботиться о личной красоте в связи с показавшимся ему столь опасным расцветом Люсиной внешности, если бы он сразу догадался о причине, его вызвавшей.

Люся, почувствовав, что она будет матерью, расцвела таинственной красотой, священной красотой материнства,

которую изображали великие художники прошлого, а наши современники избегают, полагая, что трудящаяся женщина прелестна только на лесах новостроек или у штурвала комбайна.

Не обладая солидным семейным стажем и научными познаниями в области некоторых закономерностей природы, Сидор Иванович отнесся к этому событию, когда узнал о нем, как к великому чуду, и впал в добровольное рабство перед этим чудом. Так бережно и благоговейно берег он его, что, когда Люся шла куда-нибудь по делу, готов был вызвать бульдозер, чтобы машина своим стальным скребком срезала все неровности почвы, о которые его Люся могла запнуться.

Он стал частым посетителем библиотеки районного центра и поглощал медицинскую литературу, чтобы теоретически подковаться по всем вопросам, связанным с великим событием.

Сидор Иванович так сильно переживал состояние Люси, что если раньше ему обычно снились нормальные сны на военную тему, то теперь ему снились ненормальные сны, будто он сам рождает. И когда он ночью стонал, метался, сучил ногами и Люся будила его, зная, что ему снится что-нибудь военное, Сидор Иванович, проснувшись, смущенно врал, будто видел ужасный сон: он молотком выбивает заржавевший в mine взрыватель.

Люся соглашалась с тем, что такой сон ужасно глупый для квалифицированного военного.

И прежде чем заснуть, они обсуждали то время, когда их дитя вырастет и станет человеком коммунистического общества, и детально и тщательно обсуждали всю свою высокую ответственность за человека в этом будущем времени.

Умиротворенный и осчастливленный такими беседами, Сидор Иванович спокойно засыпал.

Бывая почти каждую неделю в больнице районного центра, Сидор Иванович подобострастно беседовал с врачом, искательно улыбаясь, выводывал его образ жизни, чтобы выяснить, где он находится обычно в любой час дня и ночь.

Шли тяжелые, осенние, беспрерывные ливни. Трасса проходила в стороне от райцентра, и поэтому Сидор Иванович всегда держал возле своего вагончика МАЗ и в палатке копну сена, чтобы в случае чего уложить ее в кузов машины, а сверху на нее посадить Люсю.

Все строители автомагистралей знали, что чета Цыпलाковых ждет от себя лично новое пополнение человечества.

На какую бы тему и при каких бы обстоятельствах Сидор Иванович ни разговаривал, всегда в конце кстати или нектати самодовольно счастливым голосом заявлял:

— А мы с Люсей вот-вот папой и мамой станем. Это же генеральское звание — отец! — И, потирая руки, объявлял: — Значит, проживем через посредство потомства при полном, развернутом коммунизме.

Сидору Ивановичу очень не нравился его величественный нос, он даже стеснялся его, но теперь, внимательно разглядывая свой нос в зеркало, воображал, как он будет выглядеть в миниатюрном исполнении на лице его собственного младенца.

Все строители трассы уважали Цыпलाковых и хотя не считали, что рождение у Цыплаковых ребенка — событие мировой важности, все же придавали ему некоторое значение и в ожидании этого события заранее раздобыли козу, так как козье молоко очень полезно.

Один из маляров — мастер дорожных знаков — выкрасил для красоты рога у козы алюминиевой краской. И когда коза паслась на таежной полянке, можно было подумать, что эта с серебряными рогами коза забрела сюда из сказки.

Но жизнь не сказка. И все в ней случается: и плохое, и хорошее, и тяжелое, и даже ужасное.

И напрасно думают, что есть времена героические, а есть кроткие, безгеройные.

Нет безгеройного времени, нет и не будет, пока есть сильные, хорошие люди на земле, которые не способны жить в скорлупе собственного благополучия — просто не умеют, не приспособлены жить в такой скорлупе.

Шли тяжелые, осенние ливни, небо беспрерывно шлепалось на землю водяными глыбами, и от их падения дрожали даже гигантские таежные кедры, волосатые, как мамонты.

Насыпь дорожного строительства возвышалась, будто дамба в сплошном разливе воды.

Была ночь. Цыпलाковы спали.

И вот в эту ненастную ночь в вагончик постучал лесник. Сидор Иванович открыл дверь. Лицо лесника было серым, как парусина.

Он сказал глухо:

— Дай машину в город. Егорка ружьем баловался. Понимаешь, добег вот, а он один в кровище лежит, чем

попало завязанный. Пошли кого в город. А я обратно побегу — все ж таки при мне помрет, а не один, при отце легче.

И лесник толкнул дверь плечом, и было слышно в открытую дверь, как он мерно, тяжело, будто лошадь, бежит по лужам, и так он будет бежать по тайге до сторожки, бежать напрямик, ломая кусты, с шумом, словно преследуемый зверь.

Отдав приказание послать машину в город за врачом, Сидор Иванович не удивился и будто даже не заметил, что Люся оделась и что в руках у нее медицинская сумка.

И когда она позвала: «Ну, пошли!» — Сидор Иванович только спросил:

— А все собрала, что нужно?

— Все, — сказала Люся.

И они пошли в лес, в тайгу, в мокрую темень, шлепая по воде и нащупывая ногами тропу.

Они натыкались на деревья, падали, подымались и снова шли.

Сидор Иванович молчал, и Люся ни о чем не говорила.

И когда Люся, споткнувшись, сильно ударилась о корень и с трудом поднялась, она, словно извиняясь за свое падение, объяснила, что не так уж это важно, что она падала, по сравнению с тем, ради чего они шли сюда.

— А помнишь, Сидор, как-то Егорка сказал при нас отцу: «Давай, папа, наловим побольше диких гусей, повыдергаем из них перья, привяжем себе и полетим вместо них в теплые края?» — Люся сказала это, улыбаясь в темноте.

Сидор Иванович кивнул, хотя Люся не могла видеть в темноте, как он кивнул, и снова зашагал вперед, сшибая ветви, раздвигая кустарник. И за ним шла Люся.

Сидор Иванович ходил не раз в ночные атаки, но никогда ему не было так страшно, как сейчас, хотя «страшно» не то слово; он только теперь отчетливо понял, чьей жизнью он рискует, спасая жизнь сына лесника — да и удастся ли спасти его, — и он спросил Люсю вороватым шепотом:

— Может, передохнешь? Вот дерево поваленное.

— Нет, — сказала Люся, — нет, не надо, Сидор. — Положила свою мокрую теплую руку на его холодную мокрую и спросила ласково: — А если он потом узнает, чем его мать сберегла, думаешь, ему приятно будет?

— Ну, пошли,— сказал Сидор Иванович и попросил: — Только ты ближе жмись ко мне, в случае чего не падай молча, «ох» говори, чтобы успел подхватить...

А потом Сидор Иванович сидел рядом с лесником возле сторожки на перевернутой старой завозне и молча беспрерывно курил.

А в сторожке стонали: чуть слышно мальчик и громко, нечеловечески Люся.

В тайге стучали топоры и падали навзничь огромные деревья, гудели тракторы, бульдозеры.

По дну узкой, как ущелье, просеки рабочие клали лежневку из бревен, уложенных наподобие желобов, так, чтоб по ним могла пройти машина. Рабочими командовал Грицина. Эта дорога никакими планами, ни в каком бюджете трассы не была предусмотрена. Но люди работали быстро, будто надеялись получить за свой труд большую премию.

Цыплаков машинально, начальственным тоном спросил Грицину:

— Кто позволил?

На что Грицина, кивнув на людей, сказал:

— А вот попробуй им не позволь самоуправничать, когда все сюда кинулись.— И пояснил: — Это по их личной инициативе дорога.— Пожал покатыми, как у медведя, плечами, объяснил: — Так, халтура, времянка: проскочит «скорая помощь» — и все. На большую транспортную перспективу не рассчитана.

Лесник и Цыплаков сидели рядом, и оба не знали, кому первому скажет врач, разводя руками: «Будьте мужественны, товарищ...»

Потом в машину «скорой помощи» внесли мальчика, обернутого простыней, и Люсю, тоже обернутую простыней, и врач, выйдя с белым свертком в руках, передал его шоферу, влез в кабину, принял от шофера сверток обратно и, сильно опираясь на спинку сиденья, приказал:

— Поехали.

Машина, подпираемая с обеих сторон руками рабочих, медленно тронулась и покатила по уложенному двумя желобами настилу сквозь просеку, узкую и сумрачную, как ущелье.

Цыплаков сказал леснику, сжав его руку:

— Ну, крепись, брат!

— Ты тоже, брат, крепись,— сказал лесник, дрогнув тяжелой волосатой челюстью.— Твоя, понимаешь, губы

себе уже в кровь кусала, когда парнишку моего вызволяла, вот такая у тебя жена — человек! Одно слово — человек...

Люся выписалась из больницы и вернулась на трассу.

Но козу с выкрашенными алюминиевой краской рогами никто не подарил Цыплаковым. Она не была нужна им, потому что не было нужды в козьем молоке. Не надо было козьего молока.

Принято считать, что собрания играют немалую роль в деле воспитания и формирования коллектива и человека.

Но никаких особых собраний в коллективе строителей после самодеятельной прокладки дороги-временки к сторожке лесника не проводилось. А вместе с тем в коллективе произошли заметные сдвиги.

Дело в том, что на работе не только работают, но и думают, и даже разговаривают между собой.

И, работая, люди думали о Цыплаковых.

Называл ли кто-нибудь их поступок подвигом? Неизвестно. Да разве дело в том, как это назвать? И сам их подвиг настолько бытовой и бесшумный, что и не похож он на подвиг. Но было в нем такое высокое, что если, скажем, запечатлеть его в торжественных и благозвучных словах, то получилось бы нечто похожее на античную бессмертную легенду, созданием которых в древности прославилось человечество.

Среди строителей дороги было немало бывших фронтовиков, которые не меньше, чем Цыплаковы, обладали личным опытом активного существования между жизнью и смертью. И они знали толк во всевозможных подвигах. Но то, что произошло с Цыплаковыми, они не обсуждали, и никто не высказал им навязчивого официального соболезнования, они по-прежнему называли между собой Цыплакова «Носатым», но это вовсе не свидетельствовало о грубости их натур.

Тонкое и хорошее познается в людях не просто и не сразу.

В коллективе постепенно стала ощущаться неудовлетворенность, придиричивость друг к другу наряду с явными попытками преувеличить роль личности Цыплакова. Ибо все как-то разом стали припоминать различные соображения Цыплакова, высказанные на собраниях и не все, увы, реализованные.

Так, например, скреперисты гневно обрушились на водителей самосвалов за то, что те в погоне за езками недостаточно нагружают машины, и потребовали, чтобы са-

мосвальщики, наварив на борта полосы из листового железа, увеличили тем самым емкость кузовов.

А водители, в свою очередь, напали на экскаваторщиков: «Плохо следите за центровкой». Кричали: «Опять набекрень навалили! Если полетит рессора, я не к Носатому пойду новую со склада вымалывать, а тебя за наличный расчет купить заставлю». Придумали вешки, ориентируясь на которые машинист экскаватора может с большой точностью производить нагрузку самосвалов.

Бетонщики, прежде чем залить массу, в качестве самозванных контролеров испытывали щупами плотность насыпи и вынуждали водителей катков пройти еще раз.

— Носатый сколько раз твердил: «Все строительные машины должны, как на производстве станки, беспрерывно гнать продукцию, а мы по очереди гоняем — сначала одно, потом другое».

— А вы не заставляйте бетона дожидаться.

— А вы тянете с основанием.

— Так давайте же по секундам засекайте, кто кого держит.

— Носатый сколько раз писал комплексный график, надо его на доску вывесить и ежедневно отмечать, где, кто, когда и кого держал.

— Ты что, с Сидором Ивановичем вздумал препираться? — спрашивали грозно старые рабочие нового рабочего. — Ты это брось. Это знаешь какой человек — душа! Будешь ему грубить, мы тебе такую свою грубость покажем, пешком с трассы убежишь, как тот самый Гарун, — быстрее лани.

Мехколонна называлась в сводках ведущей, потому что она стала самой передовой на трассе. Люди гордились тем, что работают вместе с таким человеком, как Сидор Иванович.

Жизнь страны, как и жизнь человека, измеряется не числом лет, а количеством сделанных дел.

И если, допустим, взглянуть с астрономической позиции на ту территорию планеты Земля, где простерлась наша страна, то ясно станет, как существенно только за последние годы мы умышленно изменили ее облик всяческими фундаментальными созиданиями, предназначенными дать людям то, что им необходимо для деловой и личной семейной жизни.

Очень возможно, что древний литератор Софокл персонально не имел в виду мехколонну Цыплакова, когда

начертал убежденно: «Много в природе дивных сил, но сильнее человека нет». Во всяком случае, наши строители своей практикой полностью подтверждали это изречение.

Дорожная магистраль, прокладываемая мехколонной, преданно служила не только автотранспорту, но и воздушному транспорту, так как во всех авиационных картах ее отметили в качестве наземного ориентира.

Для Сидора Ивановича мерой пройденного пространства были не только километры, но и люди, с которыми он вместе работал.

На 219-й километр прибыл новый бульдозерист, отрекомендовался: Светелкин.

— От слова «свет» у тебя фамилия? — осведомился Сидор Иванович.

— Полагаю, от старинного обозначения жилища — сказал Светелкин.

— А сам ты ее имеешь?

— Мечтаю.

— Что ж, ты за ней в тайгу пришел?

Светелкин сощурился и сказал самоуверенно:

— Так ведь я закон знаю. Десять процентов отчисляют подрядные и субподрядные организации. Поработаю — обеспечите в каком-нибудь культурном центре.

— Женат?

— Холост, но ориентируюсь на семейную жизнь.

На 410-м километре общественная комиссия выдала Светелкину и его молодой супруге ордер на комнату в культурном центре. А до 410-го километра сколько душевных сил пришлось потратить Сидору Ивановичу на этого самого Светелкина!

А молодой паренек-экскаваторщик Веткин?

Проходили район топких болот. Веткин смалодушничал от трудностей, решил взять расчет.

Цыплаков сказал:

— Пожалуйста!

Веткин обиделся:

— Вы что же о мотивах не спрашиваете?

— А ты потом их сам с себя спросишь — за что так сильно себя наказал. — И Цыплаков объяснил: — На легкую работу тот стремится, кто сам мало весит... В физкультуре самый легкий вес как называется? Петушиным. Для спорта такое название, может, подходящее. А для рабочего человека не подходит. Вот у товарища Ленина ин-

тересные слова, послушай: «До сих пор перед нами стояли мизерные, презренно-жалкие (с точки зрения всемирного империализма) враги, какой-то идиот Романов, хвастунишка Керенский, банды юнкеров и буржуйчиков. Теперь против нас поднялся гигант культурного, технически первоклассно оборудованного, организационно великолепно налаженного всемирного империализма. С ним н а д о бороться. С ним надо у м е т ь бороться».

Цыплаков сощурился.

— А чем бороться? Умением лучше и выше дело делать. Самоповейшую технику нам зачем дают? И теперь нам все с руки, все вмочь. Но полагаю, что каждый из нас должен свой личный квалификационный перевес обеспечить над противостоящим тебе по профессии ихним человеком. — Сказал задумчиво: — Я ведь, знаешь, Веткин, так полагаю: есть на обратном полушарии вроде меня прораб и тоже, как я, дорогу тянет. Для меня лично в данный момент в чем борьба миров состоит? А в дороге. Чтобы быстрее, лучше, дешевле на своей трассе ее вытянуть. — Усмехнулся. — Понял теперь, как я планетно мыслю? Против тебя тоже на обратном полушарии тип имеется — это ты имей в виду, — сказал строго, — и поскольку я тебя выше его на много голов ставлю, считаю твоё заявление об уходе черновиком. А вот кончим магистраль, перепишешь — одобрим и отпустим хоть на другую планету опыт наш передавать. Ну что? Так?

— Так! — сказал Веткин. И спросил: — Это вы сами додумались воображать, что на противоположном полушарии у каждого из нас имеется свой вроде как бы двойник по работе, которого надо обставить?

Цыплаков вздохнул, сказал:

— Вас сколько в мехколонне? Больше двухсот, а начальник я один. Вот и приходится башкой работать. — Пожаловался: — На фронте было легче: объяснишь задание, кругом арш — и точка. — Но тут же строго заметил: — Но на мирное время скидок делать не надо. Страна по всем фронтам в наступление перешла за жизнь со всеми высшими удобствами. Значит, надо нам высшим прицелом души жить. Я так лично считаю.

Когда Сидор Иванович отправлялся с разведывательной партией вдоль будущей трассы, то, возвращаясь к своим дорожникам, он им докладывал не только об условиях работы, но и обстоятельно, что будет сулить раз-

витию района автомагистраль. Заканчивая информацию, объявлял:

— Значит, все эти перемены исключительно от нас зависят.

И вот это свойство Цыплакова душевно обращаться к силе воображения, учить людей видеть результаты своего труда как бы вносимыми в картину жизни народа ценил и любил весь коллектив мехколонны.

И если к этому прибавить, что для Цыплакова строительство дороги было не просто работой, а жизнью в работе, так же как служба в армии была не чем иным, как жизнью в армии, тогда станет понятным, почему в коллективе строителей так единодушно гордились Цыплаковым и считали, что он хороший человек. Потому что для таких людей служебная характеристика: крепкий, инициативный, опытный организатор работ — неотрывна от понятия человека душевного. Вот почему с такой высокой деликатностью строители трудом своим помогли Цыплакову после несчастья снова собрать все силы и достойно возглавить движение мехколонны.

Снова повторяем, люди не обсуждали поступка Цыплаковых и если говорили о них, то только о большом человеческом горе, их постигшем.

И зная, что нет для этого горя утешительных слов, не искали таких слов и не произносили их.

Этой бережной атмосферы Цыплаковы даже не почувствовали сразу, как не чувствуем мы, жители Земли, защитной плотной атмосферы вокруг нашей планеты, в которой сгорают безопасно для нас падающие куски погибших миров.

И атмосфера внимания и человечности, окружившая чету Цыплаковых, помогла им опомниться от своего горя.

Сидор Иванович и Люся в первые дни несчастья переживали безмерное одиночество вдвоем. Им думалось, что жизнь их теперь кончится, ибо нет живого человеческого существа, одна мысль о котором давала им такую радость.

И когда Сидор Иванович бродил по трассе одичавший, отчаявшийся, ему казалось, что все остановилось, все кончилось.

Но вот вначале смутно, а потом все явственнее, он стал замечать, что то, над чем он когда-то бился, о чем кричал, шумел, вдруг воплотилось в дела трассы с той полнотой и размахом, о которых он не смел и мечтать.

Машинисты и водители объявили о своем желании делать в день по пяти ездов на собственном сэкономленном горючем, которое выдавала им Люся. Люся втянулась в азартное состязание мастеров и убедила Цыплакова, по их совету, что выгодно отлить бетонные плиты и укладывать их на временные пути к карьерам, чтобы машины не буксовали в грязи. Ведь эти плиты можно забирать с собой на другие карьеры при перемещениях на новые участки работ. И коллектив постановил дать Люсе общественное звание начальника временных дорог и возложить на нее личную ответственность за их состояние.

Я не берусь судить, что больше руководило рабочими, внесшими это предложение, чисто экономические соображения или чисто душевные.

Ибо я заметил, что утонченная душевная деликатность нашего народа часто принимает такие сложные формы, что сразу не разглядишь, что за ними там такое кроется.

Постепенно и Сидор Иванович втягивался в дела и не заметил, как увлекался ими все больше и больше.

Конечно, успехи на трассе внушили Цыплакову уверенность в себе самом, и он выдвинул немало производственных идей, которые претворялись в жизнь, чему способствовала и организаторская активность Цыплакова, и его усилившаяся вера в своих людей. Благодаря всему этому Цыплаков стал действительно выдающейся личностью, и к нему приезжали строители изучать передовой опыт.

Цыплаков настолько слился в сознании своем с коллективом, что говорил совершенно машинально:

— Мы, ведущие... Главное у нас — это то, что мы считаем себя рабочими цеха, только цеха под открытым небом, и, как на любом производстве, у нас поточный метод, обеспеченный комплексной механизацией.

Но если бы кто-нибудь сказал: «Что это вы, Сидор Иванович, вроде самохвалом стали?» — Цыплаков наверняка растерялся бы, признал свою ошибку и, возможно, даже пообещал бы ее исправить.

Но исправить было бы невозможно. Невозможно потому, что рабочие любили его, уважали. Они считали Цыплакова выдающимся человеком, хотя с тех пор благородный поступок Цыплакова умножился другими хорошими поступками других людей, и, по сути, о нравственном подвиге четы Цыплаковых почти никто уже и не помнил.

И когда Людмила Порфирьевна через положенное время разрешилась дочерью, никто не считал это исключительным событием. А некоторые даже называли шутиливо Сидора Ивановича перестраховщиком за то, что он за три месяца до этого события отправил супругу в областной центр и через день ездил в районный центр звонить оттуда по телефону.

Сидора Ивановича часто вызывали на совещания и в район, и в область как опытного, инициативного строителя.

И все считали его человеком уравновешенным, спокойным, вдумчивым.

Но, когда однажды на ответственном совещании выступал какой-то начальник строительства и называл цифры своих достижений, Сидор Иванович вскочил с места и, устремившись через весь зал к трибуне, грубо оттеснил выступающего и, обжигая его испепеляющим взглядом, сказал:

— Вы Фиников!

— Извините,— сказал с возмущением начальник,— я Фаустов.

— Нет,— закричал, обращаясь к президиуму, Цыплаков,— я его знаю — это же Фиников! — И с бешенством стал обличать Фаустова в том, что он мягкие грунты записал в отчете как твердые и этим хотел произвести эффект сверхуспешных земляных работ.

— Но ведь они были твердыми зимой, потому что смерзлись,— лепетал Фаустов, напуганный натиском Цыплакова.— Они только летом мягкие,— твердил он растерянно.

— Вы за них платили как за мягкие,— сказал Цыплаков,— я же был у вас на стройке, передавал свои методы, и грунты были у вас мягкими, когда вы вскрышу взрывали.

Положив свою сильную, цепкую руку на плечо Фаустова, Цыплаков повернул его лицом к президиуму, потом к залу заседаний и спросил:

— Ты кого обманываешь?

И видно, глаза Цыплакова, глаза зала, глаза людей выражали такое жгучее презрение, что Фаустов зажмурился, поднес руку к лицу, будто ожидая, что сейчас получит пощечину.

Цыплаков спустился с трибуны и, задыхаясь, сказал:

— Извините, товарищи. Не мог и не хотел сдержаться. Да и надо ли нам всем сдерживаться, имея дело с подобными личностями? — И он повел плечом в сторону трибуны, на которой, заикаясь, поспешно доборматывал свой письменный доклад Фаустов, хотя председатель беспрерывно тряс колокольчиком, давая этим понять, что время для доклада и самого докладчика давно истекло.

Так Сидор Иванович в ярости однажды забылся, вообще же его отличала спокойная вдумчивость. Сталкиваясь с различными, порой неблагоприятными поступками людей, он научился в первую очередь искать причину, поступок породившую, и, какой бы отдаленной от самого факта она ни была, он искал средство борьбы с ней и переживал так сильно, как будто сам был виновником проступка.

Дорожная строительная мехколонна Цыплакова прошла больше тысячи километров, оставляя за собой на челе нашей планеты бетонную опояску, по асфальтовой глади которой мчались машины на огромных скоростях.

Эта автомагистраль уже считалась одним из солидных сооружений, имеющих огромное экономическое значение для страны, а та временка, проложенная в тайге, наверное, совсем заросла чащобой, и про нее никто не знает, и если кто набредет на эту дорогу, то только удивится и подумает: «Какой это головотяп и халтурщик прокладывал такую дорогу, кому она была нужна? Да никому эта дорога не нужна».

Что же касается истории с практикантом, то в ней ничего такого особенного нет.

Цыплаков назначил его начальником уже почти выработанного карьера, напоминавшего своими гигантскими уступами развалины древнего римского амфитеатра.

Паренек решил испробовать придуманный и продуманный им метод наиболее скоростной и экономичной работы экскаватора. И когда все ушли с работы, стал репетировать этот новый способ.

Способ оказался хорошим. Но студент не учел того, что после вскрышных работ на верхние слои почвы навалены горы земли и они сильно давят на стены карьера.

Паренек увлекся, не заметил, как начался оползень, тонны грунта навалились на экскаватор, и он стал крепиться и падать.

Студент так испугался, что машина упадет с уступа и разобьется, что от растерянности включил ходовые рычаги и начал как бы таранить лавину экскаватором. А лавина все кренила экскаватор к краю уступа и кренила.

А надо было вот что сделать: развернуть стрелу экскаватора на сто восемьдесят градусов, опустить ее и опереться ковшом в землю, тогда хоть лавиной грунта и завалит машину, но она не обрушится с высоты вниз. Так и поступил Грицина, случайно проходивший мимо карьера. Он подбежал буквально в последнее мгновение, когда студент и экскаватор находились, выражаясь фигурально, на краю гибели. Вот и все...

И сейчас они втроем — Цыплаков, Грицина и студент-практикант — сидели у костра и ужинали.

Этот ужин специально придумал Сидор Иванович, чтобы в такой домашней обстановке под звездным небом поговорить с практикантом, что в его действиях было правильно и что неправильно.

Но Сидор Иванович, будучи чрезвычайно чутким к чужому горю, не знал, как половчее начать разговор, и поэтому пустился в отвлеченные рассуждения о том и о сем.

Во мраке возвышались гигантские утесы елей и лиственниц. Но небо было насквозь прозрачным и всеобъемлющим.

Сидор Иванович, прижав комара на своем величественном хрящеватом носу, спросил практиканта:

— Ты почему сразу из машины не выскочил? Обязан был выскочить, убиться мог. О чем думал, когда машина падала?

Студент сказал, не поднимая глаз:

— Испугался очень, что струшу и выскочу, и поэтому не выскакивал и все думал: буду выскакивать или нет.

— Правильно, — согласился Сидор Иванович. — Правильно анализируешь, со мной тоже подобное переживание на фронте бывало.

— А чего там тянуть, — горячо заявил Грицина, недовольный тем, что Цыплаков ведет такую обходную политику, и, обратившись к студенту, сказал сердито: — Ты чуть машину нам не загубил, план чуть не сорвал, а мы с Сидором Ивановичем вместо того, чтобы сразу на тебя накинуться, вот, пожалуйста, банкет устроили, вежливо, внимательно беседуем. Это как, тоже правильно?

— Ты обожди,— попросил Сидор Иванович,— не темпуй.— И, глядя в красное пламя костра, произнес медленно и тихо: — Значит, ко всем нам один ключик подобрап. Каждый человек хочет получше самого себя быть, вот этим ключом он и раскрывается как человек, который не только для самого себя жить хочет, а для всех людей.

— Ты что,— нетерпеливо перебил Грицина,— опять тост? — И машинально потянулся за поллитровкой, бережно обернутой холодной мокрой травой.

На дне гигантского ущелья, рассказавшего тайгу, блистала бетонная глянцевитая прямая автомагистраль. И наверное, удалившись от Земли, космонавты будут видеть долго эту голубую черту на ней, столь характерную для планетарного труда нашего народа.

/1962/

I

Петр Рябинкин женился на разметчице Нюре Охотниковой перед самой войной. Был он в ту пору тощ, долговяз. За отсутствием растительности на верхней губе, отращивал на висках продолговатые бачки. Стесняясь своей юности, пытался говорить сипло, басом.

Но стоило взглянуть на его увесистые, по-взрослому мясистые кисти рук с сильными, как у пианиста, пальцами с коротко, как у хирурга, обрезанными твердыми ногтями, сразу становилось ясным, что это серьезные руки мастерового человека.

Ботинки он носил сорок пятого размера, разряд имел седьмой — токаря высокой квалификации.

Для постороннего Нюра Охотникова — так, обыкновенная блондинка, средней упитанности. Для Рябинкина его Нюра подобна стремительно бегущей сверкающей реке, для которой нет достойных ее берегов.

Чтобы не показывать, какой он по сравнению со всеми другими самый счастливый, стараясь скрыть от людей свою ошеломленность счастьем, Рябинкин пытался выглядеть огорченным бытовыми заботами. Степенно советовался с пожилыми, опытными рабочими, где и как можно удачно приобрести необходимый для семейной жизни инвентарь. Выслушивал советы, высказывал свои деловые соображения. И вдруг по внезапному наитию купил на всю полочку в комиссионном магазине поразивший его своим великолепием старинный потертый ковер, в скатанном виде подобный свергнутой тяжеловесной колонне.

Ковер, конечно, не мог уместиться в десятиметровой комнате, предоставленной чете Рябинкиных в заводском общежитии для семейных, даже если бы покрыть им не только пол и стены, но и потолок.

Это свидетельствовало о том, что Петр Рябинкин, испытывая головокружение от успехов в личной жизни, об-

ладая безошибочным глазомером станочника, способен был совершать грубые ошибки, когда дело касалось предметов быта.

Петр предложил Нюре отрезать от ковра столько, сколько позволяет жилплощадь, остальное отдать соседям.

Нюра не позволила портить вещь.

Она сменяла ковер в комиссионном магазине на детскую никелированную кроватку с сеткой по бортам и в придачу к ней еще большой эмалированный таз.

Увидев эти предметы, Рябинкин растерялся и ослабел от радости. Он молча многозначительно улыбался.

Нюра была вынуждена строго объявить: пока она никакого ребенка в себе не чувствует. Но если когда-нибудь для ребенка что-нибудь понадобится, надо все иметь заранее, наготове, что она и сделала, как она выразилась, «на всякий пожарный случай».

При посторонних Рябинкин говорил с женой пегромко, снисходительно-покровительственным тоном, так, как разговаривал с ним фрезеровщик Алексей Григорьевич Трушин, когда Петр поступил к нему учеником после окончания ФЗУ.

Но Нюра, тоже бывшая фабзаучница, сама проходила ученичество у Трушина. Легко угадав, чьей манере подражает супруг, она все-таки не нашла нужным обнаружить свою догадку, полагая, что на людях ей приличней притворяться смирной перед мужем. Зато, когда они оставались одни на всех своих десяти метрах жилой площади, тут она всегда была властной повелительницей во всем...

Еще задолго до женитьбы у Петра Рябинкина с Нюрой Охотниковой сложились вполне товарищеские отношения.

Но Рябинкин от юношеской застенчивости держался с ней грубовато и слишком по-приятельски, а Нюра от гордости, присущей ее характеру, вела себя с высокомерной задиристостью. В силу таких обстоятельств возникшее у них чувство долго оставалось невысказанным. И чем благодущнее и по-приятельски простецки относился Петр к Нюре, тем невозможнее для них обоих становилось высказать свои чувства.

Томясь от этой ими же сооруженной преграды, они стали раздражительными, обидчивыми, и, возможно, так ничего бы у них и не вышло, если бы не комендантша заводского общежития для семейных, пожилая, крикливая, с подбритыми бровями.

Однажды комендантша оказалась рядом с ними в кино. Обернувшись к Петру, она сказала:

— Ты, Рябинкин, стахановец! Так поймей в виду, комната у меня в общежитии освобождается. — Небрежно кивнув на Нюру, заметила: — И если, допустим, хоть с этой на неделе распишешься, можешь получить от меня ключ и комплект постельного белья, как полагается.

Рябинкин похолодел и ничего не ответил, а тут он еще почувствовал, Нюра отодвинула плечо.

Спустя два дня Нюра нагнала его в проходной и осведомилась, нервно усмехаясь:

— Ну как, выручить тебя или нет?

— Ты о чем?

— Да насчет жилплощади. — Прижав ладонь к карману жакетки, заявила: — Вот! Даже паспорт прихватила. Мне его штампом загсовским заклеить для приятеля не жалко.

— Ладно, — сказал Рябинкин, сжимая задрожавшие губы. — Спасибо, — добавил с трудом. — Без формалистики обойтись нельзя. Придется, раз такой случай подвернулся...

И они пошли рядом, не глядя друг на друга. И лица их были насуплены, и только глаза лучились, и каждый из них чувствовал это свечение своих глаз, и оба испытывали одинаковую тревогу, что это сияют только глаза одного из них.

Как-то в цехе питания фрезеровщик Трушин подошел к столу, за которым сидели супруги Рябинкины.

С левой руки у них по порции первого блюда, с правой — по две порции второго блюда, посередине — по два стакана компота и еще по бутылке сидра.

— Заправляйтесь, — сказал одобрительно Трушин. — Пируете. — И почти было улыбнулся жесткой щекой, но меткий взгляд его заметил на шее у Нюры ожерелье, блестящее металлом, как ошейник. Трушин нахмурился, лицо его приняло брезгливое выражение, и он сказал сварливо: — Все вы, нынешняя молодежь, живете, будто иждивенцы у Советской власти, учат вас даром, общежитие предоставляют, спецовки выдают бесплатно, полочки все равно как у людей, а положительности в вас нет.

— То есть как это нет? — спросила тихо Нюра. — Мы же работаем. Петья, например, даже стахановец.

Но Трушин только пренебрежительно махнул рукой и отошел, прихрамывая на простреленную во время гражданской войны ногу.

Рябинкины сочли этот упрек Трушина хотя и не очень справедливым, но возможным, так как и без Трушина испытывали некоторое смущение оттого, что они сами по себе очень счастливые и все у них есть.

Завод, на котором работали Рябинкины, в силу возникшей военной угрозы перешел на удлинённый рабочий день, кроме того, приходилось оставаться на сверхурочные, нормы все увеличивались, но заметного изнурения от тяжелого труда они не испытывали, так как этот напряженный труд сопровождался частыми гордыми радостями, когда их награждали грамотами, премиями, называли их имена на собраниях.

Рябинкины так увлекались возвышавшим их рабочим почетом, что воспринимали его не как заслуженную награду, а как личное праздничное удовольствие.

Рябинкины были убеждены в том, что им досталась легкая, исключительно хорошая жизнь.

На займы они подписывались с таким чувством, будто возвращают государству лишь то, что перенало им лишнего. Нужно, конечно, учитывать: Рябинкины — бывшие детдомовцы, продолжение детдома — интернат фабзавуча, где привычка считать себя членами многодетного семейства только упрочилась, а коммунальный быт порождал неприязнь к вещепоклонству.

Это же коммунальное бытие сделало их неспособными к одиночеству и внушило простодушное, простецкое отношение к людям, что вначале в коллективе цеха было неправильно понято как проявление незрелости.

Приметив на заводе друг друга, они, словно дальние родственники или земляки, естественно, почувствовали взаимное тяготение друг к другу. И женились они, пожалуй, от непривычки к одиночеству, от желания быть подольше вместе, потому что были понятны друг другу. И такого могло вполне хватить для супружества.

В тот первый день, когда они вошли в свою комнату заводского общежития для семейных, Нюра, не снимая жакетки, покорно уселась на еще не застланную койку. Она сидела, плотно сжав колени, и на лице ее было выражение горестной, жалобной готовности. Петр подошел, она закрыла глаза, веки ее дрожали. Петр наклонился и поцеловал, промахнувшись, в подбородок. Она откинулась, вытирая машинально подбородок тыльной стороной ладони.

И потом им было только неловко, конфузно, совестно, и это долго не проходило.

Как-то, ковыряясь в подошве ботинка шилом, Петр уколол себе палец; поморщившись, он замотал пальцем, как балалаечник. Но Нюра при этом так болезненно, так отчаянно вскрикнула. И этот ее крик как бы вдруг открыл им, кем они стали друг для друга, ошеломил и озарил своим только теперь осознанным счастьем.

И с того мгновения Нюра стала для Петра не просто девчонкой-приятельницей, на которой пришлось жениться, если иначе нельзя всегда быть вместе, а тем единственным высшим существом, которое обладает способностью вместить твою боль, радость, как бы быть одновременно тобой и собой. Их неуверенная любовь перешла в душевную взаимозависимость, обрела торжественную, таинственную власть над ними. И они думали, что постигшее их счастье есть нечто исключительное, неведомое другим и даже слишком велико для них самих и что за него надо безотлагательно и безмолвно расплачиваться, чувствовали себя в долгу перед всеми людьми, лишенными такого счастья.

Трушин засек: Петр Рябинкин систематически подсовывает свои обработанные детали соседу по станку Чишихину, который до этого не вытягивал нормы, и, когда кассир выдавал получку, Чишихин стыдливо и поспешно накрывал ее ладонью, чтобы другие не видели, какая она тощая. Также Трушин имел информацию о том, что Нюра Рябинкина, оставаясь на вторую смену, наряды за эту смену заполняла не на себя, а на Егоркину, которую бросил муж, и Егоркина являлась на работу заплаканная, с дрожащими руками, что для разметчицы — гибель.

Хотя у Нюры кроме ожерелья, похожего на ошейник, еще завелись серьги, похожие на блесны, и Трушин ехидно не раз у нее осведомлялся, клюет ли на них щука или только такие пескари, как Петька, к судьбе своих бывших выучеников он относился ответственно и внимательно. Трушин не без основания считал себя человеком прямым, неспособным на всякие там хитрые подходы, и он сделал так, как свойственно было его натуре: пошел в литейную, где работал муж Зины Егоркиной, Владимир Егоркин, отозвал его в сторону, спросил:

— Ты меня, Егоркин, знаешь?

— Знаю,— сказал Егоркин.

— Так вот,— сказал Трушин,— я в твои семейные дразги лезть не собираюсь. Но как член завкома предупреждаю: если у твоей Зинки будут снова руки на работе

трястись, я над тобой такой товарищеский суд учиню, что ты на нем еще до приговора сомлеешь.

— Я ее рукам не хозяин, а ты мне не инстанция, — ответил Егоркин.

Трушин побагровел, но тут же прибег к спасительному средству, как к тормозу. Закурил, потом произнес неожиданно кротко:

— У меня, Володя, против твоего семейного стажа еще дореволюционный опыт, скажу: если у женщины руки трясутся, значит, ее сильно обидели, по самому сердцу.

— А как она меня? Ты этого не знаешь! — горестно воскликнул Егоркин.

— Стоп, — сказал Трушин и приказал: — А ну закрой глаза. А теперь вытяни перед собой руки. Все! — объявил Трушин.

— Что все? — спросил Егоркин.

— Явственно, что ты не переживаешь. Если б переживал, пальцы бы трепыхались. Проверка точная, по медицинской науке. В медпункте так на нервность испытывают. По закону. Значит, я констатирую факт. А против фактов переть не выйдет.

— Поймал, да! — презрительно сказал Егоркин.

— Я тебя не ловить зашел, а посоветовать, чтоб ты упущение не совершил.

— Какое такое упущение?

— Не упустил бы человека, который без тебя не может...

Спустя некоторое время, встретив Трушина, Егоркин сказал:

— Тебе с меня причитается, Алексей Григорьевич. Понятно?

— Понятно! — сказал Трушин.

А с Чишихиным Трушин даже не стал разговаривать, провозился полсмены с наладкой его станка, вторые полсмены молча простоял за его спиной, изредка жестами указывая, что следует делать при окончательной доводке. Потом пересчитал обработанные Чишихиным изделия, объявил:

— Норма с куцом хвостиком. Всего и делов.

А Петру Рябинкину сказал резко:

— На бедность человеку подкидывают только бары. Рабочий человек с рабочим человеком обязан опыт свой делить, как хлеб. — И провел ребром ладони, словно разрезая невидимую буханку.

Нюру Рябинкину Трушин остановил возле инструментальной. Внимательно оглядел ее несколько отощавшую фигуру, спросил обиженным тоном:

— Ты чего же, Рябинкина, не беременеешь? А?

— Ну что вы, Алексей Григорьевич, — застыдилась Нюра.

— Как что? — рассердился Трушин. — Если спрашиваю, значит, надо. — И пояснил: — Полагаю, от вас должны подходящие люди заводиться. Без поколения какая же может быть жизнь! — И предупредил сурово: — Ты у меня смотри, не смей страховаться. Рожай. А по линии завкома мы тебя всем обеспечим. — И, погладив жесткой ладонью Нюру по лицу, спросил душевно: — Или, может, только станочному делу вас обучать дозволяете?

По сравнению со своими портретами, вывешенными на заводской Доске почета, Рябинкины несколько похудели с лица от напряженной работы на заводе.

Но когда дома Петр брал на руки Нюру, он только на мгновение удивлялся ее легкости, словно кости ее стали полые, как у птицы, но он не успевал спросить ее, почему она такая теперь невесомая. Потому что теперь уже безошибочно движением головы сразу находил ее ищущие припухшие губы, останавливающие его дыхание, как бы поглощавшие всего его.

22 июня 1941 года, в воскресный день, радиоголос объявил о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Нюра, так же как и другие миллионы советских женщин, безмолвно стала собирать вещи мужа с такой деловитостью, будто готовилась обдуманно к этому уже давно, и была только печально-серьезна, будто подобное уже случалось в ее жизни. Это было священное мужество, подобное тому, какое женщины, отправляясь в родильный дом и гордо скрывая грядущую муку, проявляли в заботах по отношению к остающимся растерянным и встревоженным мужьям, отдавая им повседневные энергичные распоряжения.

Нюра строго требовала от Петра, чтобы он твердо запомнил, куда и что она кладет в его вещевой мешок, словно запомнить это для него — самое важное и главное.

И Петр, подчиняясь ее душевной силе, старался прикинуться бывалым, деловитым. Вынул из мешка фарфоровую кружку. Упрекнул Нюру, что надо было положить алюминиевую, которая не бьется.

На сборном пункте Рябинкины расстались поспешно, так как им подумалось, неловко, поскольку они бездетные, на людях долго цепляться друг за друга, когда даже многодетные призывники расстаются с женами и детьми так, будто не на войну уходят, а прощаются по-деловому, как на вокзале.

Часть, в которую зачислили Рябинкина, оставалась еще в резерве, и призывники спешно проходили обучение. Для бывших заводских не составляло особой заботы овладеть оружием, механика коего доступна с первого взгляда любому слесарю. А ведь тут были станочники, лекальщики, сборщики, сварщики — словом, титулованные разрядами мастера по металлу, привыкшие к культурному и властному обращению с металлом. Рабочий коллективизм родствен серьезной армейской дисциплине. Поэтому и на занятиях по строевой подготовке они показали себя с лучшей стороны. Люди старались быстро овладеть всеми видами солдатского ремесла, и не потому, что рассчитывали на то, что все это могло обязательно пригодиться в бою, а потому, что хотели таким усердием сократить время пребывания в резерве, тяготясь своим пребыванием здесь, как стыдной проволочкой.

И тут Рябинкин обнаружил свою душевную слабость. Тоска по жене овладела им, и он, подчиняясь этой тоске, сознательно мучал себя мыслями о Нюре, отдаваясь обстоятельным воспоминаниям о ней, — он как бы только телесно присутствовал в части, стал рассеянным, не сразу соображал команду, за что получил кличку Швейка.

Но ничего бравого и веселого в Петре не было, хотя большеразмерная пилотка, сползающая на уши, с обвисшей мотней солдатские штаны и торчащие из ботинок углы портянок, небрежно прихваченные обмотками, свидетельствовали, что основания для такой клички имеются.

Назначенный политруком роты Алексей Григорьевич Трушин был огорчен тем, что Рябинкин так скис, и проводил с ним неоднократно индивидуальные беседы. Но когда он приказывал Рябинкину повторить только что сказанные ему слова, тот не мог этого сделать, так как, слушая Трушина, продолжал упорно думать о своем. Трушин, брезгливо глядя в его тусклые глаза, констатировал:

— Сползаешь, Рябинкин, по наклону сползаешь. — И предупредил шепотом: — Поимей в виду, Петр, если и в бою так же скиснешь, то я тебя вот. — И положил руку на кобуру, в которой еще не было пистолета.

Рябинкин внимательно посмотрел на кобуру и спросил, вдруг оживившись:

— Алексей Григорьевич, вы у Нюры кожаную сумочку помните?

— Чего? — ошалело спросил Трушин. — Какую такую сумочку?

— Желтенькую, как ваша кобура, я подарил, а она почему-то потом перестала с ней ходить. Отчего это, как вы думаете?

— Так, — сказал протяжно Трушин. — Значит, все? — И впервые приветливо улыбнулся. Закурил, угостил Рябинкина, потом, конфузясь, сообщил: — Я, знаешь, в город Горький ездил по монтажу, месяц там занимался. Приезжаю домой, гляжу, дверь дерматином очень аккуратно обита. А на это дело большой мастер Кононыкин. И обдало меня как кипятком. Что получается: муж в отсутствии, а дверь в его квартире Кононыкин обивает. И не стал я стучать в мягкую обивку. Ушел. И до самого утра по улице бродил — переживал. А все отчего? Когда жена при тебе, ты о ней не думаешь, как человек о дыхании своем не думает, а когда ее нет, тогда думаешь, и нет у тебя как бы нормального дыхания, и от этого всякая муть в голову приходит.

— А сейчас вы о жене сильно думаете?

Трушин встал, оправил гимнастерку, сухо объявил:

— Только старшему по званию положено спрашивать о личном подчиненного. Ясно?

...После первого боя Рябинкин очнулся от своего забытья. Он видел, как просто умирали его товарищи, раненые с великим усилием отползали в сторону, чтобы своими муками не отвлекать сражающихся. Он понял, что в жизни есть такое, что важнее жизни. И, когда падали бомбы, Рябинкин учился спокойно думать: «Вот, пожалуй, сейчас от этой меня не будет». И когда бомба ложилась невдалеке и после разрыва ее наступала глухая тишина и немота во всем теле, он постепенно приходил в себя, испытывал удовольствие оттого, что жив. Работал тщательно винтовкой, стараясь получше использовать то, что он еще живой.

Постепенно Рябинкин стал вдумчивым солдатом, для которого война — личное дело. Более важное, чем сама его жизнь, продлевать которую можно только одним — жесткой, умелой сосредоточенностью в бою.

Командир отделения отметил:

— Рябинкин — аккуратный боец, понимающий, что к чему.

Рябинкина назначили сначала вторым номером, потом первым к станковому пулемету.

Он относился к этому сильному оружию, как к машине. Овладел ею с тонкой проникновенностью квалифицированного рабочего. И так самозабвенно, мастерски работал этой безукоризненно отлаженной им машиной, что прозвучал бесстрашным.

Вся его забота состояла в том, чтобы точно управлять огнем. Если допустить неточность хоть на мгновение, враг сможет срезать твоего товарища. Значит, получится, ты виноват в его гибели. Никто не узнает, что погиб он от тобой потерянной секунды, только ты один будешь знать. Но от этого та несказанная солдатская мука, которая потом на всю твою жизнь при тебе.

Сознание такой своей солдатской ответственности и есть основа воинской доблести.

II

Полк, сформированный из заводских рабочих, бросало вспять и уносило на запад общим ходом наступления. Но в этом полку сохранилось, хотя личный состав его сильно изменился, не номерное обозначение его подразделений, а особое, по названиям заводов, рабочие которых пришли когда-то в его батальоны.

Горделивая привязанность личного состава к своему полку обнаруживалась и в том, что в медсанбате команда выздоравливающих всегда превышала почти вдвое штатные нормы.

А санбат — это вам не дом отдыха. Порой не то что коек, соломы на подстилку всем не хватало. Медперсонал, оказывая скорую фронтową помощь только что раненым, не мог лечить выздоравливающих с такой же старательностью, как, скажем, в госпитале. Госпиталь — это да! Культура, усиленное питание и самое высшее внимание со стороны общественности, тружеников тыла. Но бойцы уклонялись от госпиталя, несмотря на все соблазны. За роскошную госпитальную жизнь приходилось расплачиваться тем, что выздоровевших потом распределяли по чужим частям.

И ради того, чтобы остаться в родном полку, серьезно раненные симулировали, вели себя так, как при легкой травме. Бодрились, изображая оптимистов, стряхивали термометры, «снижая» температуру. Чтобы облегчить

труд медперсонала, которому сверхкомплект в тягость, раненые занимались взаимобслуживанием. Хирург медсанбата с сильными, как у слесаря, пальцами, извлекая немецкий металл из бойцов, вынужден был проводить смелые, длительные операции, не рассчитывая на то, что высокие мастера из армейских и фронтовых госпиталей сделают то, что он не обязан был делать, так как эти раненые исхитятся все равно осесть в медсанбате.

Люди обнаружили удивительную способность мужественно переносить страдания, считая это вовсе не высоким проявлением воинского духа, а некоей солдатской хитростью. Терпели ради того, чтобы не терять сложившейся воинской братской дружбы, товарищества, которое и составляет истинную прочность всякого подразделения.

Бой — это коллективный труд, здесь каждый должен быть уверен в другом. Не одним боем живет подразделение, их позади и впереди бесчисленно. У каждого боя своя скорость, свои условия, свой расчет и план. Конечный итог боя оценивается и тем, какой ценой досталась победа. Эту арифметику солдаты знали, ею мерили свои боевые труды и умение командира спланировать бой умно, по-хозяйски.

Истр Рябинкин вел себя в бою осмотрительно, расчетливо. Надежно окапывался, точно следуя инструкции, как прежде на заводе — правилам охраны труда. Ненависть не вызывала у него пренебрежения к врагу. Кроме ненависти и злобы, Рябинкин испытывал к врагу любопытство, стараясь понять, в чем секрет его силы и в чем можно нащупать его слабость.

И так как Рябинкин, будучи рядовым бойцом, мог командовать только самим собой, он присматривался к сновке врага и повышал этим свою солдатскую квалификацию. В своих масштабах вел изучение врага и накопил существенный опыт.

Рябинкин научился подавлять в себе страх, бросаясь в атаку. Сразу же, на бегу, навскидку он уже не вел огонь из винтовки. Вытерпев, бил только прицельно, наверняка, зная, сколько у него в магазине патронов, а не так, как, бывало, в первые дни: дергает затвор, а в магазине пусто, все расстрелял безрасчетно, пока шел на сближение.

Одиночный, выдержанный выстрел из винтовки — он самый верный, но его надо обеспечить, чтобы не было сильной отдышки после перебежки и удары твоего сердца не шатали бы тебя, как ветер осину. Перед таким выстрелом надо добыть себе хоть три секунды спокойствия, обдуманности, чтоб свалить не первого удобного для прице-

ла, а хотя бы ефрейтора, который командует солдатами, находясь позади них, этот выстрел будет ценнее, добычливее для исхода боя.

Когда Рябинкин на огневой позиции лежал за станковым пулеметом, он сначала действовал только винтовкой. Во-первых, для пристрелки, во-вторых, для того, чтобы, если немец засек его позицию, внушить, что здесь одиночная стрелковая ячейка, а не пулеметная точка и, значит, на нее не следует тратить огонь минометов и артиллерии. Успокоив так врага и подпустив его на наивыгоднейшую дистанцию, Рябинкин начинал строчить любимым фланговым огнем, самым губительным для живой силы врага. В эти моменты он нежно, благодарно любил свою сотрясающуюся, как мотор на высоких оборотах, машину.

После боя было принято сварливо, придирчиво и к самому себе, и к товарищу рассуждать о минувшем бое, где кто как допустил недосмотр, промашку, чтобы не повторять подобного в следующем бою.

В этих обсуждениях Петр Рябинкин участвовал, и к его словам прислушивались.

— Если у тебя есть друг-напарник, — говорил Рябинкин, смущаясь от уважительного внимания, с каким его слушали, и от этого без надобности начиная переобуваться, — то ты в бою не думаешь, будто ты один на всем свете и немец только в тебя стреляет. Ты думаешь о том, чтобы он твоего дружка не стукнул. Ставишь, значит, себе такое задание. Соображаешь: не вообще чего-то защищаю, а вот будто только дружка, на которого немцы лезут, а ты их косишь. И если дружок про тебя так же думает, получается обоюдная страховка.

Встряхнув портянку и озабоченно оглядывая босую ногу, шевеля пальцами, отдыхающими от стеснения, разъяснял:

— У немца, я подметил, такого нет, он только на своего ефрейтора оглядывается, поэтому на пару в бою тверже и легче нашему солдату. Когда ты все наперед с напарником спланируешь, так совсем аккуратно получается. Ты перебежку делаешь, он позади огнем тебя бережет, он в перебежку — ты его сохраняешь. Он в рост поднялся, чтобы подальше гранату бросить, ты в рост встал, чтобы у немца вместо одной мишени — две. Пока сообразит, кто для него опасней, секунда на этом выиграна, успеваем оба залечь.

— Разделение труда, так, что ли?

— Так, — соглашался Рябинкин. — Точнее, разделение солдатской обязанности согласно нашей договоренности.

На вопросы о жене Рябинкин отвечал всегда скупой:

— Разметчица, пайком обеспеченная.

— Пишет?

— А как же, информирует!

— Значит, порядок?

— Нормально!

Жалея Нюру, чтобы в случае чего она не так сильно переживала, Рябинкин писал ей только осторожные, вежливые письма. А Нюра, также жалея Петра, избегала рассказывать о том, что переполняло ее, и письма их носили такой стыдливый, сдержанный характер, что обоим им было от этих писем только тревожно. Но никто из них не решался отступить от этого вежливого тона. Каждый полагал, что так он будто бы внушает другому бодрость, терпение, принося свою жажду нежных, взволнованных слов как бы в жертву во имя разлуки.

Сильными на фронте считались не те люди, которые, обладая исключительным здоровьем, могли вытащить на себе, как кони, орудие на новую огневую позицию, притащить на плече бревно для наката блиндажа или принести из пункта боепитания на передовую, не сгибаясь, сразу два ящика патронов. Сильными считались на фронте те, кто умел спокойно и дальновидно управлять своей психикой благодаря солдатскому образованию, боевому опыту и разумному расчету.

Рота, где служил Рябинкин, заняла оборону на обширной заболоченной пойме. Окопы сочились черной вонючей водой и были подобны канавам. Прелые туманы застилали видимость. Ветви тощего сырого тальника в кострах тлели, как мокрые веревки, и даже портянки на таких кострах не сохли, а только парились. Другого топлива добыть было негде. Ходы сообщения затопляло, и пробираться в расположение роты приходилось поверху, под огнем, и немецкие снайперы, снабженные оптикой, дальнотерко охотились за теми, кто пробирался в роту из батальона. Поэтому рота не всегда регулярно получала горячую пищу, и если подносчики приползали целыми, то все-таки мокрыми, облитыми горячими щами, хотя и пытались затыкать на пути пробоины в термосах хлебным мякишем.

Над этой поймой непрестанно мелко трусили дожди местного значения, и все бойцы походили на утопленников, промокая насквозь и не имея возможности обсушиться.

Но, как ни странно, настроение у людей было ровное и удовлетворенно-спокойное.

Причина тому — солдатская образованность. Бойцы сообразили, что плохие грунтовые условия сильно снижают поражающее действие немецких снарядов и мин. Снаряды мягко шлепались в кисельно-разжиженные грунты, взрыватели часто не срабатывали, и поражающего действия не происходило.

Немцы в то время еще имели перевес в танках, а тут им использовать свой перевес было затруднительно. Все это солдаты оценили как положительные факторы в свою пользу. И стали считать, что им созданы гарантированные условия для отдыха и продления жизни.

Немцы занимали позиции по другую сторону заболоченной, закишей тиной, стоялой речки, с природой им не повезло. Бойцы испытывали чувство злорадства, не без основания полагая, что немец больше подвержен простуде и желудки у них слабее на тухлую воду.

Излагая друг другу эти свои хитрые соображения, бойцы, по существу, занимались меж собой агитацией, содействующей подъему воинского духа. Хотя всем были розданы дезинфекционные хлорные таблетки, кое-кто из бойцов от гнилой воды все же стал мучиться животом, а некоторые к тому же даже грипповали. Командир роты и политрук пытались улучшить быт бойцов. Посылали требования в батальон на печки, топливо, плащ-палатки, но батальон сам испытывал недостачу во всем этом и увеличил только табачные пайки и так называемую «наркомовскую норму».

И тогда в роте постепенно наладилось самоснабжение.

Главным в этом самостоятельном движении оказался Петр Рябинкин.

Это он сказал однажды хмуро и озабоченно:

— Чего же мы будем у самих себя тянуть материальное снабжение, когда его можно свободно взять вон у них? — И повел глазами в сторону немецкого расположения.

Бойцы стали совершать вылазки в расположение врага под официальным и вполне законным предлогом добычи «языка». Они притаскивали от немцев также железные печки, плащ-палатки лягушиной расцветки и даже однажды привезли насос с бензомоторчиком для откачки воды из траншей. Обратив внимание на то, что немцы в качестве топлива используют торф из болота, наши сол-

даты тоже наладили его добычу, слегка стыдясь того, что сами не догадались обогреться торфяным топливом, которого здесь было до черта. В роте началась ежедневная проверка состояния оружия и патронов. Кроме того, бойцы сделали специальную сушилку для зарядов мин и оружейного боеприпаса.

Участвуя в вылазках, Рябинкин, несмотря на боевую суматоху, успевал разглядеть в немецких траншеях их благоустройство, положительно оценив деревянные решетки, устилавшие дно окопов, дренажные колодцы, устройство отхожих мест. Он, сердито заметив, что немцы строят сортиры с большим умом, культурно и в этом деле следует учесть их передовой опыт, помолчав, добавил с окаменевшим от злобы лицом:

— А то, что у них там много гражданского всякого награбленного имущества, так это означает, что позволять пользоваться этим имуществом хватит... Тем более что у немца вроде как посуше. И если мы сменим свои позиции на их, во всех смыслах нам станет легче.

Так как бойцы роты основательно облазили передний край врага, в батальоне сложилось мнение, что этот участок изучен лучше, чем другие, и это даст преимущество в случае наступательной операции.

Начались снегопады, затем холода, и почва, прежде недоступная для прохода боевой техники, стала твердеть, упрочаться, окаменевать. И только сама речушка с теплыми от гниения торфяными берегами застывала медленно.

В связи с большими потерями командного состава в первый год войны отличившихся бойцов направляли на курсы младших командиров. Рябинкин попал на эти курсы случайно. В день посещения передовой комдивом он поджег танк, бросив бутылку с горючим в кормовую часть, после того как танк промчался над окопом, в котором Рябинкин лежал, судорожно оцепенев. Вскочил он после того, как открылось небо, не потому, что задумывал бросить вслед танку бутылку, а оттого, что ошалел от радости, что жив и что может действовать руками и ногами как вполне нормальный.

И когда его вызвали к комдиву, Рябинкин улыбался, не в силах преодолеть эту нервную улыбку. Улыбался оттого, что он жив, не раздавлен, а вовсе не от гордости, что поджег танк.

И комдив, похвалив Рябинкина, приказал комбату отчислить его на курсы. Рябинкин, услышав этот приказ, продолжал улыбаться. Комдив думал, что эта улыбка радости оттого, что солдат пойдет учиться на офицера. И только комбат хмурился, понимая, что эта улыбка всегo-навсего вроде нервного тика после тяжелого переживания.

После курсов Рябинкин вернулся в часть младшим лейтенантом, в то время как бойцы, которые были ничем не хуже его, оставались рядовыми. Теперь он обязан был ими командовать. И труднее всего ему было командовать своими заводскими, которые на заводе считались более знающими, квалифицированными, чем он. Получалось, вроде как выскочил на чистом, случайном везении.

Вначале Рябинкин очень совестился, особенно более пожилых солдат. Команду отдавал тихим, вежливым, а иногда даже просительным тоном. И чтоб люди поняли, что он свой авторитет не собирается держать на одном звании, в боевых условиях пренебрегал опасностью, ходил в рост, часто подменял первого номера у пулемета, пока комбат не вызвал его к себе в землянку и не сказал ему с глазу на глаз:

— Вот что, Рябинкин. Ты, я заметил, в бою только о том думаешь, как о тебе подумают, а о людях не думаешь, которые тебе свои жизни доверяют, верят, что ты их каждую минуту в бою организуешь как надо. А ты их доверие не оправдываешь. Каждая потеря — это вина командира. Не всегда под трибунал, но всегда на его совести. Нет выше ответственности, чем за жизни людей отвечать. Плохой командир — своих солдат убийца. Так прямо тебе скажу для полной ясности...

Постичь командирское мастерство ведения боя для Рябинкина было не столь трудно, как умение постоянно соблюдать свое старшинство над людьми. К этому его обязывало звание, и даже не столько звание, сколько долг командира, доверие к которому возникает из отношений с людьми, для которых он обязан быть самым проницательным, умным и чутким. И надо было обладать тончайшим чувством, когда можно вызвать солдата на откровенность, разговаривать с ним не как старший с младшим, а как человек с человеком, так, чтобы не задеть за душу подозрением, что этот разговор как-то потом отразится на отношении старшего к подчиненному. И здесь нельзя притворяться, что ты будто в данный момент не считаешь себя начальником, это может только повредить искомой правде.

Нигде, как на фронте, люди столь не чувствительны к правде, твердо ее требуют от того, кого уважают, а уважают за правду во всем, будь то информация об обстановке или даже улыбка командира, не случайному бойцу назначенная, а тому, кто ее действительно заслужил. Проманешься, ляпнешь улыбкой, и выходит, не знаешь тех, кто ее действительно достоин. Получается, люди — будто все тебе на одно лицо. Такого не прощают. Командиру полагается больше знать о своих людях, чем они сами о себе знают. Таково солдатское мнение о том, кто ими достойно командует.

Пришел приказ захватить плацдарм на противоположной стороне реки.

К тому времени Рябинкин стал командиром подразделения. И ему поручили выполнение этой задачи.

И если Рябинкин в гражданской жизни по части бытовых вопросов оказался не на высоте, то тут, на фронте, он поднялся до уровня серьезного организатора и смелого стратега. Планируя бой, он проявил дерзость прежде всего в том, что подготовку его вел не по шаблону.

Во-первых, он добыл, выпросил в батальоне шесть дополнительных комплектов полного солдатского зимнего обмундирования. И велел сибиряку Юсупову ночью вилавь доставить на тот берег в зашпаклеванном гробу, используемом как плавсредство и взятом из имущества похоронной команды; доставить и припрятать.

Во-вторых, на противоположном берегу, в кустарнике, были выкопаны тайники, куда сложили боеприпасы и мешки с трофейным толом, который Рябинкин рассчитывал применить не для подрыва оборонительных сооружений противника, а для того, чтобы использовать тол как топливо для обогрева бойцов, которые, форсировав реку, начнут зябнуть. Тем более это важно для обогрева раненых, которые от потери крови зябнут сильнее, чем здоровые люди.

Против каждого тайника Рябинкин установил снайперские засады на случай, если немцы обнаружат и попытаются приблизиться к ним.

Боевые действия своего подразделения Рябинкин пропетитировал в тылу батальона на подходящей местности, подобной той, в которой предстояло работать.

В положенный час ночи началась эта операция.

Рябинкин с пятью бойцами переплыл реку напротив того места, где были закопаны комплекты обмундирования.

Там они переоделись во все сухое. Также скрытно на небольшом плоту была переправлена сорокапятимиллиметровая пушка весом в четыреста килограммов. Почти одновременно с этим в районе брода, где никто из наших не собирался переправляться, так как у немцев здесь были сосредоточены сильные огневые средства, с нашей стороны раздался грозный грохот моторов, подобный танковому, — он исходил от трех старых грузовиков со снятыми глушителями, доставленных сюда по просьбе и замыслу Рябинкина.

Как бы аккуратно ни была спланирована боевая задача, дальновидно продумана и разумно отрететирована, рассчитана поэтапно, нет такого боя, чтобы он полностью протекал согласно предварительному замыслу.

Война — дело ужасное. Можно приучить себя притворяться, что страха не испытываешь, когда в тебе все корчится, включая душу; дрожа, делать вид, что ты, допустим, сильно зябнешь и только от этого не по себе. Каждый боец выработал на такие моменты для обмана и отвлечения свои собственные, удобные для себя уловки, что в конечном итоге сходило за правду и выглядело как мужественное и хладнокровное поведение. Но все уловки сразу забывались, когда дело касалось не только твоей жизни, а жизни товарищей, и эта беспамятность на самого себя была уже чистым героизмом, самоотверженностью.

Что же касается командира, то ему и в малой мере нельзя было допускать психологических хитростей для ослабления нервного напряжения, а, напротив, приходилось поднимать его на самую высокую ступень, дабы в бою одновременно фиксировать бесчисленное множество факторов, быстро, умно делать соответствующие выводы и принимать должные разумные решения.

Усиленное подразделение Рябинкина вторглось в траншею немцев, расчищая гранатами необходимое для себя жизненное пространство.

Задача оказалась выполненной успешно, но Рябинкин, обойдя занятую траншею, установил, что потери немцев в живой силе были незначительными, — значит, немец ушел по ходам сообщения, которые тянулись в глубину.

Сообщив ракетницей в батальон о том, что все у него в порядке, и не уверенный в этом, Рябинкин, как и предполагал, увидел, что его бойцы расслабились после успеха

и той радости, которую испытывает человек после боя, что он живой. У бойцов явственно обозначилась уверенность в том, что дело уже сделано и самое трудное позади. Но еще когда Рябинкин пробирался в разведке на немецкий передний край, он обратил внимание на то, что траншеи первой линии имеют капитальные ходы сообщения в полный профиль, и это его еще тогда беспокоило.

И хотя в боевой задаче у него было овладеть первой линией и там укрепиться, Рябинкин, считая немца умным и расчетливым врагом, решил вывести свое подразделение из занятой траншеи и передвинуть его поближе ко второй линии, тем более что он знал: для закрепления успеха им подбросят дополнительные силы...

Отправив связного с сообщением, Рябинкин велел бойцам выполнять этот его приказ.

Начавшаяся неожиданно метель содействовала скрытности передвижения группы, но она же леденила бойцов, пронизывала тела болью хуже, чем зубная. В тяжелой обстановке медленного ползания в белой тьме, да еще с запретом быстро передвигаться, бойцы, коченея, ничего, кроме недовольства своим командиром, не испытывали. И поскольку они уже израсходовали боевой запал, построение у них было плохое. Правда, оно поправилось, как только немцы открыли точный огонь по захваченной траншее. И теперь бойцам было уже не так зябко от одной лишь мысли, какого губительного для себя огня они избегали. И Рябинкин понимал это, понимал, что командирский его авторитет в глазах бойцов сейчас на недостижимой высоте, но как в данный выгодный момент распорядиться этим авторитетом, он еще не решил. Но решение пришло.

Рябинкин отдал приказ быстро отходить к первой линии, чтобы спровоцировать противника на преследование; в ходах же сообщения за поворотами он оставил автоматчиков — бить немцев в упор. Но немцы, видимо, разгадали этот маневр и на переходе в контратаку снова открыли огонь по бывшей своей первой линии. Но тут и наши вступили в контрбатарейную борьбу, и уже не так было безмерно тягостно лежать в земляных щелях, когда воображаешь, что заботу о твоей жизни взяла на себя и полковая и дивизионная артиллерия.

С подкреплением пришел политрук Трушин, но поговорить с ним Рябинкину не довелось: он считал своим первейшим долгом проследить, как эвакуируют раненых, наладить обогревательный пункт в бывшем немецком офицерском блиндаже и чтоб старшина не составил сводку

о потерях, пока не будет получено все, что положено по линии снабжения на полный состав. К подобному «жульничеству» на передовых интенданты относились терпимо, и, когда бои были особенно тяжелыми, несмотря на потери в людях, день, а то и два отпускали снабжение по числу полного состава.

Солдаты домовито обживались в немецких траншеях.

С точки зрения военно-инженерной оборонительный рубеж был построен с умом: рельсовые перекрытия на блиндаже, пулеметные гнезда накрыты бронеколпаками, стены траншей укреплены лесоматериалом, дно выстлано деревянными решетками, культурно, ничего не скажешь.

Но внутри блиндажа жил густой, еще не остывший, теплый, зловонный, тленый запах гнилости от наваленной на нары сопревшей гражданской зимней одежды, матрасов, подушек. Стены были обклеены изображениями скорбящей мадонны вперемежку с девицами в купальных костюмах и без них. Под нарами чемоданы в самодельных и покупных чехлах, с крупно надписанными черной краской фамилиями их бывших владельцев.

Хотя по положению немецкое оружие нужно было сдавать трофейной команде, старшина как бы не замечал того, как бойцы рассовывают в свои вещмешки гранаты, офицерские парабеллумы, и только зорко запоминал, кто чем разжился, чтобы потом уходящих в разведку бойцов снабдить этим вооружением, за утрату которого никто не упрекнет, раз оно ни за кем не числится. Руководствуясь этими же соображениями, старшина сам «зажал» немецкий ручной пулемет с металлическими суставчатыми лентами, уложенными в аккуратные плоские алюминиевые ящики, очень удобные для переноски, и к нему запасные стволы в футлярах из тонкой вороненой стали.

Но когда один из бойцов нашел немецкий барсуковый помазок для бритья и сказал: «Стоящая вещь!» — старшина сморщил лицо и посоветовал презрительно:

— Вон еще фрицевские вязаные подштанники валяются, ты их на себя натяни от простуды!

Солдат сконфузился, бросил помазок и вытер о шинель руки. В санитарной фрицевской сумке с медикаментами обнаружили бумажные бинты, этот немецкий эрзац вызвал у бойцов негодование и спор.

— Они за него на смерть! А он им на раны бумажки лепит!

— Пожалел!

— Дак солдаты же...

— Фашисты!

— Не каждый, тоже есть люди.

— После боя раздобрел. Обрадовался: похоронку на него не выписали. Дома не плачут.

— Ты моего дома не трогай. Нету у меня его.

— Так ты их бей, и точка!

— Это само собой. А вот как у них получается, на солдате, на его ране экономят. Мне вот башку чуть задело, в санбате полкило ваты и метров десять бинта, да еще не хотели в строй отпускать.

— Сравнил тоже, наше и ихнее.

— Правильно человек говорит. Взять бы эти эрзацные бинты да фрицам разъяснить фактически.

— Ты лучше еще прикинь, чего на тебе — валенки, полушубок, ушанка, а у них что?

— Летом еще нас прикончить собирались. Все поэтому.

— Просчитались?

— Именно.

— А солдат их стынет.

— Грабит.

— А вот не каждый.

— Ты проверял?

— Было такое, двоих фрицев прихватили; прежде чем в тыл свел, велел им свои сундуки указать. Указали. У одного в чемодане все свое, у другого — наше.

— Ну и что?

— С этим, у которого все свое, законно обошлись, я его самолично до штаба довел.

— Опасался, чтобы его кто не обидел?

— Ты бы притих. Человек воинское понятие проявил! — строго сказал старшина и тут же перешел на свое, деловое: — Только если вы, как некоторые себе позволяют, индивидуальные пакеты на протирку оружия будете пользоваться, как я заметил, за это буду «наркомовского пайка» лишать. И без жалости!

Рябинкин, войдя в блиндаж, усевшись на корточки возле растопленной печки, протянул руки к огню, слушал этот разговор, не постигая его, опустошенный усталостью, нервным перенапряжением минувшего боя, о котором он не хотел думать, отдыхая, но не думать не мог. Знал он: после боя, после этого наивысшего душевного сгорания, люди больше всего устают умом и охотно поддаются на всякие легкие разговоры, как бы остывая после перенакала, отчаянного ожесточения, во время которого каждый из

них командовал собой, как старший младшим, сурово, сосредоточенно и беспощадно. Да, он думал о минувшем бое... Тутышкин вон, например, сблизился с немецким пулеметчиком на бросок гранаты, но не бросил ее сразу, а сначала скинул с нее рубашку, дающую две тысячи мелких осколков, поскольку эти осколки могли задеть его самого, и, когда пружина с бойком сработала, еще две секунды после щелчка подержал гранату в руке и только потом осторожно кинул, не совсем рядом с немцем, а так, чтобы тот не успел ее отшвырнуть от себя, и делал он это все в то время, когда немец, стоя на коленях у треножного пулемета, торопливо водил ребристым стволом, полосуя снежный наст очередями, все ближе и ближе к тому месту, где лежал Тутышкин. Умно соображать в таких смертельных условиях — это и было наивысшим солдатским мастерством, понять и оценить которое может только солдат. И то, что Тутышкин, покопавшись у немецкого пулемета, не мог с пылу сообразить его механику, было вполне естественно, но Тутышкин взгромоздил на себя немецкую машину, дополз с ней к Колдобину, памятуя, что Колдобин — бывший слесарь-механик, и оставил ему немецкий пулемет. А потом, не страшась, пошел вперевежку по открытой местности, уверенный, что Колдобин прикроет его огнем трофейного пулемета.

Все эти подробности своего поведения сам Тутышкин не помнил после боя. Их вытеснило другое: бледно-голубые, внимательные глаза немецкого пулеметчика с толстыми рыжими ресницами, растущими странно вниз, трепещущее пламя на конце пулеметного ствола, как на дуле паяльной лампы, и тоскливое ожидание пробоя в своем теле.

Он не заметил, что Колдобин был тяжело ранен. Колдобин очнулся от беспамятства только тогда, когда ему Тутышкин приволок немецкую машину. Превозмогая себя, коченеющими пальцами, скорее на ощупь, чем умом, понял механику. Приведя машину в действие, Колдобин работал, не испытывая боевого азарта, а только смутное удовольствие оттого, что она исправно действует и он при ней работает, найдя еще в себе силы для отсрочки нового беспамятства.

Когда Рябинкин наблюдал за Тутышкиным во время боя, он сначала испытывал раздражение оттого, что Тутышкин медлит, оказавшись вблизи немецкого пулеметчика, а потом, когда Тутышкин пополз с пулеметом к расprostертому на снегу телу Колдобина, Рябинкин подавал

ему голосом команду: «Вперед!» — решив, что Тутышкин после взрыва гранаты получил контузию и от этого утратил ориентировку на местности.

Управлять человеком в бою не просто, потому что в моменты боя человек оказывается способным на нечто такое, что невозможно заранее предвидеть и планировать как правило поведения.

Прикрывая продвижение группы к противнику огневыми средствами батальона, командиру подразделения нужно соображать, в какой момент какого огня просить. Накрывать ли живую силу противника, подавлять ли его огневые точки или распределять поровну между этими целями, памятуя, что на проведение боя отпускается строго положенное количество снарядов и мин, и ты должен прикидывать в уме, сколько их выпущено, сколько осталось, и сдерживать пыл огневики, если ты чувствуешь, что еще не наступила та решающая минута, когда надо шквальным ударом стукнуть, после чего — окончательный бросок.

Бросок может получиться, а может не получиться. И если не получится, значит, все зря: и потери людей, и расход боеприпасов. И будет только лежащая дуэль одиночных бойцов с немцами. Фашисты любят добивать раненых из легких минометов, засыпая по площадям на крутой траектории мелкими пузатенькими минами с жестяным оперением, рвущимися глухо, как хлопушки, но жестоко поражающими рваным металлом с близкой дистанции.

После такого огня снежное поле боя становится пятнистым, будто усеянным мелкими закопченными тарелками, тальми следами разрывов мин малого калибра.

В то время мы еще уступали немцам в минометах, особенно в ротных — минометах малого калибра, и этот недостаток наши бойцы компенсировали приверженностью к «карманной артиллерии». Запасались гранатами всякими правдами и неправдами, а во владении ими показывали исключительно высокое умение.

Это пристрастие к гранатам и тайное их накопительство усложняли управление боем подразделения. Ползут двое бойцов к немецкой позиции, толкая впереди себя свои винтовки, и не стреляют. Почему? Неизвестно. Считаешь, пропали зря люди, хватаешь телефонную трубку, чтобы выклянчить на спасение этих бойцов артиллерийского огня. А они вдруг начинают забрасывать немца гранатами, кидая их впрыскаду: впрыскаду потому, что в рост уже не

встанешь, а лежа не так далеко метнешь, впрыскав в самый раз.

И надо знать, у какого бойца больше склонности к какому виду боя. Есть люди солидные, со снайперским опытом, у тех главный расчет — хорошо пристрелянная винтовка. Продвигаются такие бойцы по полю боя осмотрительно, с остановками. Приладится, высмотрит, щелкнет неотвратимым прицельным одиночным, сменит позицию, и опять одиночный выстрел, и то после паузы на отдых. Такие или несколько отстают от цепи, или вперед вырываются поспешно, обнаружив для себя заманчивый бугорок с хорошим обзором. Действуют они как индивидуалисты, не любят, чтобы ими командовали в ходе боя, так как обычно каждый из них намечает для себя определенный показатель попаданий. Выполнив его, избегают после этого излишнего азартного риска.

А есть бойцы иного характера. Самое тяжелое для них — медленно сближаться с врагом. Чувствуют себя при этом только мишенью. К таким командиру нужно держаться поближе, чтобы подбодрить, направить. Но после броска в атаку эти же бойцы вовсе не нуждаются в командирской опеке. Видя в глаза врага, они бесстрашно действуют на бешеных скоростях, теряя понятие счета и соображения, не думая о том, сколько немцев приходится на каждого.

Такие люди больше смерти боятся искалечиться и, страдая от этой мысли, отчаянно бегут в рост на врага, подбодрив себя криком ярости. Но эти их неграмотные действия нередко и спасают их, потому что немец ведет огонь по ползущей цепи грамотно, настильно, не рассчитывая, что найдутся подобные выскочки.

Но эти же нетерпеливо отчаянные в трудные моменты боя могут оторвать от земли, казалось, окончательно залегшую цепь людей и увлечь за собой лучше всякого командира.

Таким качеством, например, обладал беснечный солдат Куприянов, бывший слесарь-водопроводчик из московских центральных бань; он говорил о себе, что «флотский» и поэтому такой бесстрашный. Рябинкин вначале невзлюбил Куприянова. Но когда однажды полз рядом с ним в цепи и увидел, как от переживаний двигается кожа на стриженном затылке Куприянова, а на лице выступила крупная нервная красная сыпь, словно при крапивнице, Рябинкин проникся уважением к Куприянову, которому,

как он понял, гораздо труднее, чем кому другому, подавлять свой страх.

Эти, как и многие другие, наблюдения над солдатами закрепляли у Рябинкина чувство восхищения человеком: способен он управлять собой, командовать собой умнее и жестче, чем мог бы любой командир.

III

Постепенно Рябинкин обвоевался, вжился в войну.

Пришла солидная уверенность в том, что огневая мощь его подразделения теперь не меньше, чем у немецкого.

Уже не было нужды отчаянно кидаться на фашистский танк с бутылкой с горючей смесью или связкой ручных гранат. Появились в достатке специальные противотанковые большой взрывной силы. Вместо противотанковых ружей, подобных из-за своей громоздкости древним пищалам, появились облегченные, с хорошим боем, нормальной отдачей.

Вместо сорокапятимиллиметровых пушек, только вежливо стучавших в броню танков, появились длинноствольные, крупных калибров.

Снайперов вознаграждали самозарядными винтовками с оптическими прицелами, с емкими магазинами на десять патронов. На маршах часть передвигалась уже не самоходом.

На наблюдательном пункте появилась дальновидная оптика. И уже командир батареи не при помощи театрального бинокля изучал расположение огневых точек противника, а посредством рогатой стереотрубы.

И небо стало совсем другим над передним краем.

Пехота на земле воюет, она за землю ответчица.

А было так: лежишь ты на брюхе, уткнувшись лицом в сложенные накрест руки, а над тобой поверх ходит враг и топчет тебя бомбами как хочет. А небо — это что? Не твоя территория.

Теперь небо превратилось в самостоятельное поле боя.

«Юнкеры» лишились возможности не спеша, деловито, обдуманно разгружаться над нашей пехотой. «Мессеры» перестали шмыгать на шмелиной высоте такими порхающими огневыми точками.

Бои в небе шли такие же обдуманные, как и на земле. Но мало еще этого приятного для глаза и жизни пехотинца зрелища. Наша авиация стала надежнее прикрывать свою

пехоту. Бомбардировщики пахали передний край врага на существенную глубину, штурмовики поливали его из пулеметов, простукивали пушками, прожигали эрэсами. А наши «ястребки», если был у них досуг, оказывали любезность пехоте: высмотрев со своей высоты пулеметную вражескую точку, заботливо склонялись над ней на бреющем.

Да и на земле с нашей стороны самоходного металла прибавилось. Уже не только хоронясь от немецких танков, приходилось пехоте кидаться на дно окопа. Свои же машины на полном ходу, мчась на передний край врага, проскакивали над тобой, застилая на мгновение скрежещущей кровлей небо.

И, не отдышавшись еще от этого переживания, надо было выскакивать и бежать вслед танку, безопасно прикрываясь его броней, чувствуя себя вместе с ним грозой для врага.

Все это не только внушало бодрость солдату, но вызвало гордую мысль о том, что рабочий класс, со своей стороны, уже как бы справился с войной и теперь только дело за тобой — солдатом.

В ходе войны немало бойцов — высокой рабочей квалификации — уже было отчислено в тыл, на заводы, нуждающиеся в них. Но еще множество таких же рабочих, твердо переквалифицированных в солдат, оставались на фронтах, и они составляли надежное боевое основание каждого подразделения.

Во всех случаях Рябинкин полагался на таких образованных солдат в первую очередь и с особой почтительностью относился к тем, кто имел в прошлом высокие рабочие разряды, был выходцем со знаменитых заводов, обладал особо почитаемыми Рябинкиным профессиями.

И когда Рябинкин приказывал бывшему слесарю-механику Боброву занять с бронебойкой позицию на танкоопасном направлении, у него рождалось при этом двойственное чувство.

Конечно, для Боброва бронебойка — простой инструмент. Броня немецкого танка для него словно прозрачный колпак, сквозь который он видит своим внутренним взором все уязвимые для бронебойного патрона точки. Немецкий танк, в соображении Боброва, — машина, которую он обязан ловко испортить. Бобров — знатный стахановец, привыкший в мирной жизни к общезаводскому почету. И поэтому, как бы он ни страшился приближения вражеского танка, допустить просчет на своей огневой позиции не по-

зволит. Это для него не только потеря чести солдата, но и утрата рабочей сановитости, которая отличала его в подразделении. Рябинкин испытывал угрызения совести, выставляя Боброва, прославленного стахановца, великого знатока резания металлов, одного с бронебойкой против фашистского танка, полагая, что такой человек более нужен для производства советских танков, чем для уничтожения немецких. Тем более что бить по ним отважно из бронебоек имелось немало охотников в подразделении, не обладавших столь ценной для общей победы рабочей профессией.

И когда Рябинкин посылал донесения в штаб об отличившихся бойцах, он всегда против их фамилий в скобках отмечал их бывшие профессии, желая привлечь внимание штабных на предмет отчисления этих людей обратно на производство, хотя ему и горько было душой об утрате столь решающе нужных бойцов для успешного исхода каждого боя.

В солдатском быту пользовались высоким уважением не только обладатели внушительных рабочих профессий, но и люди профессий оригинальных.

Бойцы подразделения проявляли особую заботу, чтобы сберечь пожилого солдата Артура Капустина, бывшего укротителя львов, получившего броню, но утратившего эту броню после того, как он был уличен в торговле говядиной, предназначенной для львов.

Возможно, Капустин и проявлял исключительное бесстрашие, входя в клетку к своим хищникам. Но ничего похожего на это чувство у него не сохранилось для фронта.

Странно, но то, что солдаты не простили бы другому, они прощали этому некогда тучному, теперь с обвислой кожей человеку, неряшливому и унылому, до крайности нервозному и обидчивому.

Когда Капустин в бою откровенно робел, это не вызывало заслуженного им, казалось бы, презрения, а как бы возвышало солдат в их собственных глазах.

Если даже укротитель львов теряется перед немцами, а бойцы не теряются, значит, они научились чему-то такому особенному, исключительному.

Когда штабные или политотделы посещали подразделение, солдаты всегда представляли им Капустина подчеркнуто торжественно. Солдатам думалось: если Капустин докладывает о минувшем бое — это авторитетно. Кто лучше может понимать, что такое храбрость, как не укротитель зверей?!

Кроме того, начальство запомнит их подразделение, где есть солдат с такой оригинальной профессией, а быть в памяти у начальства полезно.

Но больше всех и единодушно солдаты берегли в бою санинструктора Воронина, тоже пожилого, очень стеснительного человека, из уважения к его профессии, пригодной только для мирного времени, — учителя в школе глухонемых.

Это был человек исключительной деликатности, вежливости. И если на него во время боя кричали: «Куда прешь под огонь, обожди!» — Воронин произносил убежденно: «Пожалуйста, за меня не беспокойтесь!»

Подобравшись к раненому, он сообщал доверительно:

— У меня нет, к сожалению, специального медицинского образования. Но, уверяю вас, сейчас хирургия на такой высоте, что только приходится поражаться ее достижениям...

Перебинтовав, заявлял:

— Ну-с, извините, я вас должен потревожить.

Взявшись обеими тощими руками за воротник шинели раненого бойца, пятась задом, волок его по снежной целине и, когда обессилевал, говорил, задыхаясь:

— С вашего разрешения отдохну полминуты.

Жаловался:

— Не могу простить себе. Ведь были у меня возможности в свое время регулярно заниматься физзарядкой. Так нет. Жил в атмосфере полной беспечности.

Он бродил во время боя по траншее, останавливаясь за спиной солдат, просил шепотом:

— Пожалуйста, будьте осторожней! Сегодня, мне кажется, огонь особенно сильный.

И говорил это таким тоном, будто предупреждал о ненастной погоде, грозящей простудой.

— Скажи, Воронин, как на твое понимание? Глухому, надо думать, в бою все кажется нормально тихим и, пока его не заденет, психовать ему не от чего? — спросил солдат-бронбойщик громко, оттого что в ушах его торчала вата.

— Напротив, — возразил Воронин. — За счет потери одного из органов восприятия у человека развиваются другие, которые компенсируют утрату. В сущности, природа человека настолько богата, что при известной настойчивости всегда можно переключить нагрузку с одного органа восприятия на другой. — Произнес благоговейно: —

Человек — самое величайшее, дивное создание материи. Нет большего чуда, чем человек.

— А это чудо калечат, гробят почем зря. — Солдат приложился к бронебойке и выстрелил по амбразуре дота.

— Извините, — морщась от звонкого выстрела, сказал Воронин, — но в данной исторической ситуации для нас понятие человека неотторжимо от того, во имя чего он взял в руки оружие.

— Правильно, — одобрил солдат, — тебе бы политруком быть!

— Видите ли, я вступил в партию здесь, на фронте, по сугубо личным побуждениям, полагая, что, став коммунистом, я, ну как бы это пояснить, буду предъявлять к себе более высокие требования. И это будет мне содействовать легче преодолеть барьер страха за свою жизнь.

— Ну и помогает?

— Представьте себе, да!

— Правдивый ты человек, Воронин. Вот что.

Воронин сказал сконфуженно:

— Мне, конечно, приятно это о себе услышать. Но я думаю, что обстановка, в которой мы с вами находимся, исключительно благоприятна для того, чтобы каждый из нас пытался стать лучше, чем он есть, ибо может случиться, что в дальнейшем для этого не окажется условий.

— Если убьют, так, что ли?

— Да, я это имею в виду. — И, улыбнувшись, Воронин добавил: — Очень хочется использовать остающееся время, чтобы радоваться человеку.

Бронебойщик задумался, потом сказал:

— Спасибо, обнадежил.

— Позвольте, чем?

— Да, выходит, тем, что мы как были людьми, так ими и остались. И война нас не подпортила.

— Совершенно верно, — радостно согласился Воронин. — Вы меня правильно поняли.

Сидя в одной щели вместе с Ворониным во время длительного вражеского артобстрела, Рябинкин спросил:

— Вот вы, Павел Андреевич, по движению губ знаете, какие слова человек произносит, а по почерку понять человека можете?

— Такие способности приписывают себе графологи. Но мне думается, это — шарлатанство.

— Значит, не получится отгадать?

— А что, собственно, вас интересует?

— Да вот один боец тревожится, жена пренебрежительные письма шлет.

— В чем выражается такое пренебрежение?

— Вроде домашнего отчета письма. Ни одного слова про любовь, что ли.

— А они любят друг друга?

— Как полагается.

— А как это полагается? Я, например, женат давно и до сих пор стесняюсь излагать на бумаге свои чувства к жене, а теперь в особенности.

— Почему же? Вы человек культурный, знаете, как про это пишут, ну, в книжках.

— Кроме неспособности с моей стороны найти чувствам соответствующую литературную форму есть еще одно обстоятельство.

— Какое?

— Эгоизм, эгоизм человека, требующего слов любви от другого, которого он как бы безмолвно обязывает произносить их, пользуясь тем, что находится как бы в драматических обстоятельствах своего существования.

— То, что мы на фронте. Да?

— Совершенно верно... Но если любящая личность проникнута самоотверженной любовью, она будет и в письмах проявлять такую же самоотверженность.

— Это как?

— Очень просто. Не будет писать о своей любви.

— А ваша жена?

— Мы обоюдно договорились избегать этой темы.

— Почему?

— Я сказал жене, что не уверен в своей выносливости, не способен на длительную разлуку.

— Но я-то со своей так не договаривался.

— У женщин особая душевная проницательность, сверхчувствительность, я бы сказал. Очевидно, в данном случае этот фактор и подсказал ей разумную сдержанность.

— Да что им, жалко пару теплых слов подкинуть?

— Вообще, мне кажется, когда такие слова часто используются, они утрачивают свое особое значение.

— Вот мне моя написала про стирку, — пожаловался Рябишкин, — в общем, все мое выстирала, кроме спецовки. После работы она ее надевает и даже спит в ней, поскольку общежитие плохо отапливают. Зачем же немывую одевает, да еще спецовку?

— Голубчик! — воскликнул Воронин и тут же извинился: — Простите за вольное гражданское обращение. Но вы наимасштабейший чурбан. Она же в этой вашей спецовке вас ощущает, поняли, вас. — Всплеснув тощими, с вздутыми венами руками, Воронин вскочил, сказал взволнованно: — Это и есть признание в любви, бесконечной и, я добавлю, великой!

Рябинкин успел с силой толкнуть Воронина, навалиться на него, ощутив тугое движение шуршащего воздуха. После разрыва снаряда почти у самого окопа Рябинкин с трудом выпрямился, спросил:

— Не ушиб?

И снова спросил строго:

— А может, это не так? А просто блажь? Или с мылом у ней трудности?

И Воронин, моргая, осведомился:

— Вы, собственно, о чем?

— Да про спецовку.

— Знаете, — сказал Воронин. — Это просто фантастика. Нас с вами только что чуть не убило, а вы... даже странно. — И, морщась от боли, сделал попытку пожать ушибленными плечами.

Бойцов на фронте сближало не только солдатское равенство, взаимная зависимость в бою, общий коммуный быт, но и та доверчивая, пронизательная откровенность, которая преодолевала сопротивление даже самых замкнутых натур, наиболее подверженных мучениям от чувства одиночества.

Это чувство одиночества сводит душевной судорогой человека не обязательно тогда, когда он ощущает как бы всасывающий все его существо, шелестящий звук неотвратно приближающегося снаряда или видит пыльно скачущий к нему пунктир пулеметной очереди. Пытка одиночеством может постигнуть солдата, например, в блиндаже, где тесно от людей и шумно от разговоров. Она может быть следствием чьего-нибудь невнимания, неразумной беспечности. Допустим, раздает боец со смехом трофеев — немецкие сигары из пропитанного никотином прессованного капустного листа, курить которые одна горечь. Всем раздаст, а одному не хватит. И тот, которому не хватило, сделает даже вид, что брезгает фашистским куревом, а тот, который его обделил, притворится, что он даже и не заметил этого обделенного.

И все. Но этого достаточно.

Тот, которого обделили, уже не в силах принимать участие в общем разговоре. От обиды у него дрожит подбородок, и, чтоб не выдать этим свои переживания, он выходит из теплого блиндажа и стоит долго в ходе сообщения, хотя стоять долго на одном месте ни к чему: может свалить снайпер.

А тот, который его обидел, начинает терзаться. Оттого, что прямо не сказал солдату про то, что сигары были не считаны, вот и получилась неловкость, людей в блиндаже оказалось больше, чем сигар... И хватали их те, кто понахальней, а не те, кого бы он от себя с первой руки хотел угостить.

И все это потому, что люди на передовой особо нуждаются в дружеском внимании, в вежливости, в человечности. Во всем том, что им вовсе не требуется во время боя. А после боя необходимо, как озябшему — тепло.

Поэтому-то солдатская проницательная душевность бдительно охраняет сердца людей от обиды и, значит, от одиночества. И всегда обнаружится опытный фронтовик, который в таких случаях, как, например, с трофейными сигарами, скажет, обращаясь к обделенному. Скажет, дружески подмигивая:

— Видал, какой народ? Сушеное дерьмо курят и не брезгуют. А ты правильно — пренебрег.

Скажет так, раздавив каблуком немецкую сигару, лишив себя курева, получая возможность заискивающе попросить у обделенного: «Закурить не найдется?» — и, получив щепотку махорки из его пальцев, громко объявит: «Вот с таким рядом в атаке не пропадешь, последним патроном, да выручит».

И солдат, теплея лицом, улыбнется, и подбородок у него уже не дрожит, потому что самое непереносимое для солдата — почувствовать пренебрежение к себе со стороны такого же, как он сам, бойца. И похвала солдата солдату, она наиважная, потому что солдат солдату виднее.

Опытный фронтовик знает, что если в бою солдат одержим ожесточением, злобой, то после боя он добреет, и нет такой услуги, в которой он отказал бы, отдыхая в доброте после непомерного напряжения и ненависти. И самые храбрые и лютые в бою обычно и самые заботливые, больше других думают о товарищах.

Куприянов вел себя в бою нахально, одержимо, яростно. И уже этим одним он мог обрести симпатии всех солдат подразделения. Но когда он после боя, жаждая похвал,

рассказывал о своей отважной сноровке, слушали равнодушно. И не потому, что в лихости его кто-либо сомневался.

Существовали особые понятия о солдатском приличии, достоинстве. И по этим понятиям уважался тот, кто после боя говорит не о себе, а о другом. И это почиталось как солдатская воспитанность, тактичность.

В окопном быте переднего края все человеческое в каждом — и плохое, и хорошее — обнаруживалось досконально, вплоть до самых сокровенных особенностей характера, ума, взглядов и даже мыслей, не высказанных, но ощущаемых в поведении, в настроении человека.

Эта осведомленность каждого о каждом, тонкое понимание особенности любого человека, серьезное и уважительное любопытство к нему, естественная жажда понять, неторопливо и вдумчиво определить ему место в солдатской компании, столь равнодушной и неотступно сурово единодушной в главном, — эта осведомленность точно и почти всегда справедливо открывала истинную сущность человека, каким бы он ни был замкнутым или скрытным.

Самая тяжелая и самая длительная пытка людей — мучительное, бесконечное истязание их душ, это когда противник методически и тщательно обрабатывает передний край своей огневой наличностью часами, сутками. Солдат, прижавшись к сотрясаемой стенке окопа, совершал самый тяжкий, самый трудный из всех подвигов — подвиг вынужденного бездействия.

Комбинация созвучий способна по-разному воздействовать на мысли и чувства человека. Под влиянием их человек совершенствуется, лучше познает сокровенное в себе самом и других, ему открывается пленительная радость бытия, дарующая сладостное чувство общности, слитности с другими людьми, со всем человечеством.

Орудия, снаряды и бомбы, прежде чем убивать, тоже рождают звуки. И звуки эти соответственно воздействуют на мысли и чувства человека, пока он жив, и от них нет защиты.

И поскольку нет человека, в душе которого музыка не вызывала бы хоть какого-то отклика, значит, тем более нет человека, на которого не действовала бы музыка разрушения, звуки боя.

Звуки боя воплощают реальную беспощадность войны, они синхронно сливаются с разящим ударом металла, со смертью.

Но так как солдат длительное время пребывает в напряженном ожидании начала атаки, он научился думать, мыслить под этой пыткой, истязуемый звуками, и естественно, что его сознание медленно отравляется невыносимым ощущением одиночества, чувством своей отчужденности от всего живого.

Легче переносится такое, когда солдаты, несколько суток спешно ссужая или укрепляя оборонительный рубеж, приходят в состояние крайней физической усталости, притупляющей способность к восприятию чего бы то ни было, или после длительного перехода, или даже в стужу зябнут в траншеях, что отвлекает человека от сосредоточенности на одном: ляжет этот вот снаряд на прямое или не ляжет.

Командирам легче, им не дано права думать о себе, когда противник бьет по рубежу; они думают обо всех бойцах подразделения, о том, сколько боеспособных останется к критическому моменту атаки, после длительной огневой подготовки.

Но как бы ни был отважен командир, какими бы высокими личными качествами он ни обладал, солдат знает, что самообладание полагается командиру по службе и званию, потому что к нему пытливо обращены десятки солдатских глаз, беспощадно наблюдательных. Долг командира — внушать бодрость, о чем солдату отлично ведомо.

И когда солдат солдату в это тягостное время бездействия под огнем оказывает душевную помощь своим подвигом воли и терпения и солдат видит, что другой переживает то же, что и он сам, это сознание вырывает человека из одиночества, из отчуждения. Смыкает одну человеческую личность с другой, рождает ощущение силы, братского единодушия, сопереживания. Дает бодрящее понимание того, что не какая-то особая сверхличность обладает редкостной нечувствительностью к смерти. А именно такой же, как ты, боец, изнемогая от этого же страха смерти, перебарывает его. Но не в одиночку, а вместе с тобой и во взаимной откровенности вырабатывает жажду превозмочь слабость, как ни трудно это дается.

IV

Рябинкин на своем опыте изведal, какую целительную помощь оказывает в бою эта утешающая, откровенная солдатская доверчивость...

Всю ночь немец обрабатывал передний край стволами больших калибров. Снаряды лопались со звонким хрустом, вышвыривая бревна наката, ушибая горячими тугими глыбами воздушной волны, словно падающими прямо из распоротого неба.

Немецкие батареи работали мерно, с интервалами, потребными для подачи снарядов в разгоряченные стволы и на дистанционные поправки. Батареи работали, как гигантский цех без кровли и стен. Серый облачный далекий навес над ними озарялся мгновенными багряными отблесками, пороховыми зарницами. И звук их был подобен глухим ударам многотонного молота, заколачивающего в твердую толщу гигантскую сваю, мягко, грузно сотрясая после каждого удара податливую землю. Над головой наждачно шуршали воздушные струи, из которых выпадала стальная тварь, гибнущая при соприкосновении с землей и приносящая гибель. Она лопалась с неизъяснимым звуком, вышибая ушные перепонки. Она лопалась, распертая внутренним пламенем, как закупоренная посуда, яростно расшвыривая свои стенки, расколовшиеся на тысячи смертельных обломков, режущих, рассекающих, пронзающих. Пороховые газы черню оплавляли землю, а удар струи придавал воздуху тяжесть и плотность разжиженного стекла.

Рельсы на перекрытии блиндажа при прямом попадании скручивало, словно после проката на вышедшем из повиновения стане.

Мерный стук больших калибров сменялся краткими массивными ударами из всех наличных стволов, и тогда передний край уподоблялся лесному пожарищу. Кустами огня вспыхивали разрывы мин, а разрывы снарядов выращивали огненную гигантскую чашу, извергнутую из земли и мгновенно гаснущую, опадающую с гулом каменной лавины. Этими массивными ударами враг старался вызвать у людей паралич воли, нервно-психическое угнетение.

После таких налетов враг испытывал танками в сопровождении бегущей за их броней толпы автоматчиков душевную выносливость наших бойцов, копошащихся в оползших щелях и окопах, как шахтеры в завалах, полуоглохших, полuosлепленных, полуутративших ощущение себя живыми. Солдаты выбирались из этого ощущения полусмерти с таким же судорожным усилием, как из окопного завала.

Это ощущение полусмерти рождало у человека невыносимое, угнетающее чувство одиночества, полусуществования, новой полусмерти или полной смерти. Он видел ее рядом с собой в истерзанных, разбросанных человеческих телах.

Все это в ту ночь и переживал Петр Рябинкин в окопе, шатаемом, как земляное корыто, находясь в состоянии полужизни-полусмерти. И вот тогда к нему подполз солдат Чишихин, бывший токарь с его завода. Глаза его были белыми на сером лице. В поднятом воротнике шинели — комья глины, которых тот не чувствовал. Чишихин произнес застывшими, твердыми, как бы костяными, губами, насильственно улыбаясь:

— Что, Рябинкин, дает нам фриц жизни? Дальше некуда! — И спросил: — Закурить найдется?

Рябинкин, стыдясь выдать дрожание рук, сказал неприязненно-сипло:

— Нету.

— Тогда давай мой закурим.

Судорожно сведенными пальцами Чишихин с трудом раздергивал шнурок кисета и никак не мог его раздернуть, объяснил с горестной откровенностью:

— А я вот зашелся, понимаешь. Как дало рядом, ну, думаю, все...

— А ты не думай, — сказал Рябинкин, хотя сам то же самое про себя думал, когда его завалило.

— Вот ты при себе, — завистливо сказал Чишихин, — управляешься с собой, не думаешь про это, а я, как слабак, все одно про себя думаю.

И тогда Рябинкину стало стыдно своего притворства, и он сказал:

— Холодно, а я вот весь отсырел от пота, и руки — того. Ты уж мне сам сверни, Чишихин.

— Значит, переживаешь, — обрадовался Чишихин и суетливо заговорил: — Ну, спасибо, обнадежил, а то я стал думать, что я один хуже всех, только мне одному неважно, а другие все спокойно терпят, начал совсем теряться. А теперь мне на душе легче, раз я не хуже, а такой, как все. — Затянувшись, сказал доверчиво: — Я уж к тебе ближе подержусь. Ты меня на заводе выручал, когда я с нормой не справлялся. Так если подобиют, не оставишь, вынесешь! — Произнес застенчиво: — Ну, и что я у тебя в долгу, помню, пока живой. Так что нам рядом лучше.

— Ты о чем таком со мной договариваешься? — подозрительно осведомился Рябинкин.

— Да вовсе я ни о чем не договариваюсь! — протестующе воскликнул Чишихин, уязвленный таким вопросом, а главное, тоном, каким он был задан. — Не надо мне никакого договора. Это я сам себе разъясняю, как надо понимать мне самого себя, про свой должок перед тобой.

— Ты свой солдатский долг помни! — сказал Рябинкин командирским голосом.

— А он из должков состоит, этот солдатский долг, — горделиво объявил Чишихин. — И не перед тобой одним у меня долги, и, если прямо сказать, за всю свою гражданскую жизнь я всем обдолжался, как и ты тоже, и все мы вместе.

— Ну это правильно, — согласился Рябинкин. — Гражданская жизнь у нас была подходящая, и, если б не война, то ли еще было б!

— Именно, — обрадовался Чишихин. — Вот Трушин Алексей Григорьевич. Для всех солдат он кто? Политрук, и только. А для меня он по званию еще больше. Когда зашивался на токарном, он мне свой опыт подсунул, как будто он ему самому лишний, не задел за самолюбие, а исподтишка подсунул. Хоть я и не из его бригады. И на фронте он меня наблюдал. Я штык от винтовки потерял. Он заметил, стал выговаривать.

Я ему: «Сейчас не та война, как в гражданскую, в штыковую атаку не ходим. Фашисты в нас из автоматов брызжут с короткой дистанции, а вы меня за штык упрекаете. На крайний случай могу и прикладом ударить».

А он мне: «Ты, говорит, задумайся, Чишихин, не о том, почему ты штык в бою потерял, а почему ты в бою потери штыка не заметил. А не заметил ты этого потому, что не энергично шел на сближение с противником. И этого ты в себе не заметил. А если б это главное в себе заметил, то и штык бы на винтовке сидел на месте прочно закрепленный и ты свое солдатское место в бою в передовой цепи не потерял».

Спрашиваю: «Что ж я, по-вашему, трусил?» — «Нет, зачем же, просто ты еще до передового бойца не подтянулся. Значит, обрати на себя внимание с этой стороны».

А я ведь в том бою трусил, жался в землю. Не столько на фашистов глядел, сколько на местность, где ловчее прилечь, безопаснее после перебежки, каждый бугорок выглядывал и все патроны при себе таскал не расходуя.

Рябинкин уныло согласился:

— Верно, бывает, что прикрытие сильнее ищешь глазами, чем фашиста, который из своего окопа высовывается. Ну и свой комплект потом после боя сосчитаешь, выходит, сэкономил ради своей шкуры, перед бойцами совестно, а перед павшими совсем невыносимо виноватым выходишь.

— Вот-вот, — подхватил Чишихин. — Трушин так и разъяснил. С одной стороны, боец по местности должен грамотно передвигаться, с другой стороны, должен грамотно огонь вести и сам собой управлять, согласно своей совести. И нет такого командира, который за всеми бойцами может в бою уследить, надо самому собой командовать и после боя как бы самоотчитываться — пересчитать, скажем, патроны: если остались, выяснить самому себе, почему остались, а если их не осталось, не было ли у тебя такого, что ты или просто так отстрелялся, не ради боя, а ради проверки отделенным. Его-то, допустим, можно обдурить пустым патронташем. Но свою совесть не пережулишь. Ведь верно?

— Верно, — согласился Рябинкин.

— Значит, надо один на один с самим собой уметь правильным быть. Тогда тебя и все отделение признает, и взвод, а может, и вся рота. — И Чишихин тут же пояснил: — Вот это вот самое думать мне Трушин посоветовал. Сказал, такой душевный опыт он с гражданской войны для себя утаил. И еще сказал: «Солдатское ремесло, оно не такое уж сложное, чтобы понять. Но хороший солдат только из хорошего человека получается». И он мне прямо объяснил: особенность партийной должности политрука в том и состоит, что он человеческое в каждом солдате на уровень коммуниста должен вытянуть. В гражданскую войну была памятка для красногвардейца-партийца, лично Лениным одобренная, так в ней сказано: коммунист должен вступать в бой первым, а выходить из боя последним. Значит, для беспартийного, если он так поступает, это есть наилучшая его рекомендация в партию.

— Ты что, меня агитируешь? — спросил Рябинкин, одобрительно глядя в глаза Чишихина, блестящие сейчас живой, иной взволнованностью, чем прежде.

— Да нет, — смутился Чишихин. — Это я как бы вслух для себя. Ты же сам Трушина лучше знаешь. Он тебя еще на заводе одобрял и тут тоже...

И хотя во время этого разговора гулко падали снаряды, ослепляя оранжевым едким пламенем, оглушая, лишая

воздуха, выжженного пламенем взрыва, засыпая опаленными сухими комьями глины, оба переживали эти толчки в смерть терпеливо, только мгновениями ощущая боль души, сведенной судорогой одиночества, от которого так же мгновенно освобождались силой человеческой близости, сознанием одинакового переживания. И это освобождало от заточения в самом себе, которое постигает человека в моменты соприкосновения со смертью. Освобождало от паралича воли, от психического угнетения. Разжигало в сердце волю к бою, мести за пережитое душевное унижение. Помогало дальше терпеливо свершать подвиг бездействия в ожидании, когда наступит спасительная свобода для действия. И не только Рябинкин с Чишихиным находили простой человеческий путь для преодоления такого угнетения, как бы сближали свои души, но и другие бойцы в эти гибельные длинные часы артналета, теснясь парами или, против устава, собираясь кучкой, вели медленные беседы тихими голосами о столь далеком от войны и столь необходимом для войны, для победы человеческого духа над ней. И эти беседы прекращались только тогда, когда надо было вытащить раненого или убитого.

Трушин, обходя траншеи и слыша, что бойцы разговаривают, не ввязываясь в их разговор, считая, что тут все в порядке, но, когда видел молчаливых притулившихся к стенке, начинал с обычного солдатского — просил закурить или угощал сам. Сообщал доверительно:

— Сегодня фрицы, как никогда, на нас много боеприпасов расходуют. Поняли, какой батальон у нас крепкий. И днем и ночью из всех калибров шумят. В гражданскую я такого громкого гула не слышал, только теперь привелось. Аж душа зябнет.

— Это у вас-то?

— А как ты думал? Переживаю!

— В командирском блиндаже безопаснее переживать. Четыре наката.

— Верно, в окопе небо открытое, — мирно говорил Трушин, будто не замечая, что солдат не в себе. — Видал, звезды какие крупные, и все светят как ни в чем не бывало.

— Вы что же, на звезды вышли поглядеть под огнем?

— Возможно, и на звезды. Они не только нам с тобой светят, но и тем, кто дома.

— Значит, есть кому похоронку получить.

— Найдется. А ты чего такой злой, может, дома ее об тебе получить некому?

— Нет, есть, родственников хватает.

— Так ты бы вот в эту нишу перешел, безопаснее, и бруствер над ней целее!

— А, один черт!

— Ну, как желаешь. Только я тебе так скажу. Ты хоть не для себя, а для близких тебе людей сохраняйся по возможности. Допустим, тебя не будет, а им как это переживать?

— Вы, товарищ политрук, мной командуйте, а семья моя для вас совсем ни к чему.

— Как же так ни к чему? — изумленно развел руками Трушин. — А зачем мы здесь с тобой, как не для них?

— Чего вы мне вкручиваете? Разве каждый тут за свою семью стоит?

— Обязательно. И в первую очередь.

— Не по-партийному вы со мной говорите.

— Это почему?

— Потому, что не состою.

— Ну ты не состоишь, а я-то состою. Так что ж, потвоему, я должен одно партийным говорить, а другое — беспартийному?

— Ваше дело такое — дух поддерживать, на каждого свой ключ.

— Ты что ж, полагаешь, люди тут свои души на замке держат?

— Обыкновенно, у каждого свое.

— Свое-то свое, а замок — это одна тяжесть, и больше ничего.

— А вот вы мне скажите, мог я на себя замок этот навесить или не мог? Подобрал я с убитого бойца его патроны, а отделенный после боя у меня их пересчитал и при всех бойцах поставил по команде «Смирно» — и того, будто я в воронке отлеживался и солдатский долг забыл. Обидно.

— Что ж ты не разъяснил?

— Разъяснишь, как же, когда стоишь по команде «Смирно» весь вытянутый. А он обозвал и ушел.

— Ладно, будет у меня с отделенным особый разговор.

— Не надо.

— Почему?

— У отделенного семейство на оккупированной территории. Переживает. Сам без оглядки в бою, ну и с других того же требует.

— Так ты его что, извиняешь?

— Нет, зачем. Будет бой, я ему докажу.

— Что ж, правильно, раз так запланировал для себя. Значит, докажешь отделенному?

— И докажу!

— А я, понимаешь, сам в тебе ошибся. Гляжу, оцепенел боец, винтовка землей присыпана, сам тоже. Решил агитацию развести, а выходит, ни к чему.

— То есть как это ни к чему? — обиделся боец. — Что я, политбеседы вашей не понимаю? Понял же.

— Чего же ты постиг, какой тезис?

— Ну, про то, что и отделенного надо по-человечески понимать, как вы вот со мной поговорили, понял. Вы не за винтовку сразу меня в разговор взяли, не почему солдат такое упущение имеет. Сначала понять его пожелали по-партийному, понять по-человеческому. А потом про упущение. И за это я вам скажу. Я ведь почему скис? Не из-за отделенного. Немец бьет, того и гляди тебя насовсем свалит. А мне покурить даже не с кем. Думаю, подойду к бойцу, даже со своим кисетом. А он табака не возьмет. Про патроны неистраченные мои вспомнит и не возьмет. А стану про патроны объяснять, как на самом деле было, может и не поверить.

— А я же тебе верю.

— Так я вам сказал почему? Думал, вы только советовать будете, как врага бить, а вы со мной про дом заговорили.

— Сначала про звезды, — напомнил Трушин.

— Верно, про звезды, было такое. Ну, я прикинул, политрук подхода ищет. Взъерошился. А потом постиг, тоже, может, у вас свое щемит горе какое. Ну, и информировал, что моя обида хоть и мелкая, но тоже щемит. — Сконфуженно попросил: — Только вы сильно не переживайте, что вас в политотделе крепко жучили за то, что у бойцов фашистские листовки нашли, а вы наши вещмешки не позволили проверить. Мы потом сами от себя штабников в отхожее место сводили, ребята для этого листовки пользовали, бумага самая подходящая. Только и всего...

И весь этот разговор шел в пламени, в грохоте взрывов, в чаду сгорающей взрывчатки, в землепаде, начиненном осколками, визжащими, как страдающее животное, и прерывался он только для того, чтобы Трушин мог подняться в секунды затишья и взглянуть, не идут ли фашистские танки.

Когда Трушина спрашивали: почему молчат наши орудия? — он отвечал изумленно: «А чего им себя выска-

зывать? Фашисты сильно свои огневые позиции обнаружили и, видать по всему, полностью сегодня себя обнаружат. Наши засекут и в соответствующий момент их погасят. Артиллерийские разведчики где сейчас? Впереди нас выползли. Засаекают, подсчитывают. Без всяких удобств на открытой местности работают, где ни щелей, ни окопов, все тело наружу. А на кого они работают? На нас. Вы что же думаете, у наших огневигов за вас душа не болит, не видят они со своих позиций, как немец тут снарядами почему зря колотит все пространство? Видят. Знают. Переживают. Но бой — это не драка: он тебе, ты ему. И еще неизвестно, что в нем важнее — ум или храбрость. Хотя без смелости ума в бою не сохранишь, ум от нее зависит. Смелость с умом — это и есть доблесть. Вон, к примеру, Ходжаев выполз на танкоопасное пространство с противотанковой миной, привязал ее на длинном проводе, залег в воронке и, когда фашистские танки пошли, проводом подтянул мину под самую гусеницу, ну и все, порядок. Весь маневр провел лежа на брюхе в воронке, и осколки не тронули, и танк не приметил одиночного бойца в стороне».

— А автоматчики ему очередь саданули.

— Задели. Но живой все-таки. И с орденом. Ему генерал в госпитале прямо к нижней рубахе орден привинтил. Обмундирование забрала хозяйка госпиталя. Одну нижнюю рубашку оставили. Больше никакого своего имущества при нем нет. Рубашка, орден да бинты. А опыт Ходжаева — с миной на проводе танк подлавливать — при нас остался. Облагодетельствовал он нас своим умом. И теперь много желающих по-ходжаевски с минами действовать. Некоторые даже позволили себе свое же минное поле обворовывать, тянут как с огорода тыквы. Это уже неправильно. Можно с саперами договориться. Попросить об одолжении. Хоть им не положено мины на руки раздавать. По-человечески всегда договориться можно. А то есть у нас такая манера своевольничать, не спросясь. И в гражданской жизни.

Я, например, всегда в инструментальном сам для себя резцы изготавливал в нерабочее время по своему вкусу. После работы в шкафчике своим укладывал. Прихожу, беру, гляжу: что такое? Иступлены и в побежалых цветах от перенакала. А кто это себе позволил? Наш Рябинкин на скоростное резание себя пробовал моим инструментом, не спросясь. Я его спрашиваю:

«Как же ты мог такое бесстыдство позволить?»

А он молчит. Физиономия зябнет, уши вспухли.

Говорю:

«Какую же ты скорость станку давал?»

Называет.

«Врешь, должен режущий край сразу крошиться от сильного перенакала, а он только иступлен».

Рябинкин вякает про какую-то свою эмульсию новой его рецептуры.

«А ну, — говорю, — дай, я с ней попробую».

Попробовал. Идет. Только надо было резец под несколько большим углом заточить, всего и делов.

«Почему же, — спрашиваю, — своевольничал?»

«А я, — говорит, — не верил, что позволите. Не верил!»

Вот все нехорошее бывает оттого, что мы самим себе не верим. А в кого нам верить, как не в людей? Верить в бою в товарища, и страх тебя не так сильно касается. Не веришь — худо тебе будет с самим собой справляться, хоть ты и, допустим, храбрый.

И Трушин, оглядев солдат, задорно спросил:

— Вот почему партийный боец тверже себя в бою чувствует? Не потому, что он сам по себе обязательно особо хороший, а потому, что партийный билет — это какой-то твой личный номер после товарища Ленина, и каждый партийный номер на счету у партии, у всего народа. И по этому счету с коммуниста больше причитается, поскольку он в строю партии состоит, который никогда нигде ни в чем не дрогнул.

Трушин вдруг хитро сообщил:

— А ведь есть среди нас и скрытые коммунисты, не оформленные. Считаю, их надо оформить. Вот как, скажем, Ходжаева. Можно за него поручиться? Можно. Спрашиваю в госпитале, почему раньше рекомендацию не просил? А он: «Я, — говорит, — давно нацелился на фашистский танк, да все не получалось, хоть и с бронебойкой выходил. Теперь получилось. Значит, можно проситься в партию». Видали как! Сам себе фашистским танком рекомендацию в партию добыл. Кто же из коммунистов-бойцов после этого в своей партийной рекомендации откажет?

И, перестав улыбаться, Трушин произнес сурово и строго:

— У нас, товарищи бойцы, большие потери в коммунистах. Надо восполнять. Задумайтесь каждый за себя. Дело это такое — на всю жизнь. — Пояснил: — Есть, конечно, которые стесняются, почему раньше в партию не вступали, в гражданской жизни, в коллективе, где его все

знают. Так что же, я думаю, на фронте человек весь всем виден. И самому себе он стал виднее, как, скажем, сегодня. Каждый по десять, а то и больше раз вроде как погибал и вновь оживал. Сильно немец бьет. А ведь ничего, видите, беседуем. Вполне нормально, как люди внимательные, осмысленные...

У

Большое душевное отдохновение доставил бойцам Трушин в эти дни, когда немцы сотрясали передний край обвалами снарядов, кидали сверху разновесные бомбы, продолговатые жестяные футляры — самораскрывающиеся на высоте кассеты с мелкой смесью гранат, мин, сыплющихся смертельным мусором. Немцы применяли также бомбы замедленного действия. Полутонная или четвертьтонная тяжкая посуда, глухо шлепнувшись, влезала в мякоть земли и, притаившись там, высчитывала свои сокровенные минуты и секунды. Пикировщики, падая косо, словно подшибленные, вопили иступленно включенными сиренами, роняя черные, кувыркающиеся, визжащие стокилограммовые бомбы, падающие в воздухе, как поленья. «Мессеры» гвоздили крупнокалиберными пулеметами — крохотными снарядами с фосфорной начинкой, от которых загоралась торфяная почва и тлели шинели на пеногребенных мертвых.

И вот в эти дни Трушин, зная, как не только в штабе полка, но и в дивизии высоко оценивают подвиг выносливости его подразделения, выпросил парикмахера и привел на передовую.

Парикмахер — пожилой человек с сановным обрюзгшим лицом — держал себя перед политруком независимо, солидно, хотя был всего-навсего рядовым. Обремененный винтовкой, противогазом, подсумком, как и положено солдату, он бережно нес дамский клетчатый чемоданчик и, когда где-то далеко стучал снаряд, поспешно падал, накрывал чемоданчик своим упругим брюхом.

В узком ходе сообщения, проникаясь сочувствием к одышке и возрасту парикмахера, Трушин захотел помочь ему и предложил понести его чемоданишко. Но парикмахер сказал:

— Лучше освободите меня от этого.

Снял винтовку, противогаз и передал Трушину, растерявшемуся от такого наглого, да еще перед лицом офицера, нарушения устава.

Еще в штабе батальона парикмахер удивил Трушина своим высокомерием; искоса и небрежно взглянув, он сказал как-то даже сквозь зубы:

— Обратите на себя внимание, товарищ политрук! Один височек у вас косо подрезан, другой напрямую. Большая небрежность.

И Трушин решил проучить парикмахера, взяв у него винтовку и противогаз, чтобы так появиться с ним в окопах, — несомненно, это вызовет едкие усмешки у бойцов по адресу цирюльника.

— В гражданскую какую должность занимали? — вежливо осведомился Трушин, подозревая, что этот человек с таким сановным и важным лицом, очевидно, какое-нибудь штатское бывшее начальство, не нашедшее на фронте применения своим способностям.

— Заведующий, — сообщил парикмахер.

Этот ответ укрепил Трушина в сознании своей проницательности. И он уже не без некоторого ехидства хотел осведомиться после очередного разрыва мины близ самого хода сообщения: «Как, не беспокоит?» — но его спутник тут же добавил тоскливо и мечтательно:

— В центре магазин, с двумя салонами. Дамский на шесть кресел, мужской на восемь... — Заявил надменно: — Ко мне лично можно было только по предварительной записи. В тридцатом году уже на Петровке на первом кресле работал.

— Извините, сколько же вам лет?

— Не имеет особого значения, — сказал парикмахер. И, как бы снисходя, пояснил: — Я не через военкомат. Я через райком партии, поскольку не подлежал мобилизации в связи с датой рождения.

— Значит, партийный?

— С двадцать четвертого! — Оглядываясь через плечо на Трушина, сказал внушительно: — Все лучшие мастера при энепе свои магазины держали, импортная парфюмерия, высокий класс обслуживания. Но была установка партии вытеснить частный капитал. Вызвали в райисполком, назначили на пост заведующего. В госпарикмахерскую номер один. Ну, доверие оправдал. Постоянная клиентура. На случайный контингент командировочных, так, проходных надежд не держали. План на них дать можно. Но чтобы качество? Качество обозначается только в постоянной клиентуре.

— Так вам бы по вашей квалификации лучше при штабе корпуса, — посоветовал Трушин.

— Командир нашей дивизии — мой бывший клиент, — сказал парикмахер.

— Ну вот хотя бы при штабе дивизии. И спокойствия больше для вашего возраста. И начальство знакомое.

— Может, вы мне посоветуете и о сыне моем похлопотать у комдива, поскольку я его брил и стриг из уважения всегда, как будто он в предварительной записи?

— А сын воюет?

— А ваш? — сердито спросил парикмахер и, не дожидаясь ответа, горделиво сообщил: — Такой чистый, хороший мальчик! Работал в дамском салоне мастером. А вы понимаете, что это такое — работа в дамском салоне? Очень большой соблазн на легкомысленное поведение.

— Он что же, по своей специальности на фронте?

— То есть?

— Ну, только на мужскую стрижку переквалифицировался?

— Да, — печально и иронически сказал парикмахер, — переквалифицировался. И даже по этому поводу у него на левом рукаве обозначение нашито. Черный суконный ромб, и на нем скрещенные, как раскрытые ножницы, стволы пушек изображены.

— Артиллерист?

— Угадали!

— Серьезная специальность.

— А он у меня всегда серьезным мальчиком был...

— Разрешите? Как вас по имени-отчеству?

— Сергей Осипович.

— А меня Алексей Григорьевич.

— Очень приятно, — без улыбки сказал парикмахер.

Но когда вышли из хода сообщения, Трушин все-таки посоветовал Сергею Осиповичу взять противогаз и винтовку, опасаясь, что бойцы могут всякими шутками обидеть этого человека.

В ротном блиндаже парикмахеру было отведено рабочее место.

Трушин взял список наличного состава подразделения и, как прежде, в мирной жизни, задумывался над списком рабочих своей бригады перед распределением премий, так и тут задумался, кого вызывать к парикмахеру первым, в соответствии с боевыми заслугами, высокой дисциплиной по службе. Разметив цифрами список, он отправил с этим списком связного. И он счел нужным все-таки предупредить Сергея Осиповича, что, поскольку здесь траншеи прежде были заняты противником, а у фрицев, по-види-

мому, нет такой манеры, чтобы проверять солдат на вшивость, и, может, даже им становится теплее от этого, потому что чешутся, скребутся, содействуя кровообращению...

— Короче,— попросил парикмахер.

— Ну, словом, будьте деликатны, если чего обнаружите,— скорбно сказал Трушин.

— Вежливость,— сухо сказал парикмахер,— это первый закон в нашем деле.

Солдат входил в блиндаж сконфуженно, улыбаясь, смущенный и вместе с тем ошачливленный таким необычным почетом на переднем крае в условиях, когда каждый штык на счету и противник подpiraет.

— Прошу,— говорил Сергей Осипович и щелкал встряхнутой простынкой.— Вы какую стрижку предпочитаете? Полечку, бокс, полубокс, бобриком или аккуратно под машинку?

— Чего скорее, то и давай.

— Вам так некогда?

— Для чего фасонить-то?

— У бойца должно быть все в ажуре, внешний вид тоже,— строго говорил Сергей Осипович.— Это, знаете ли, немец себе внушает, что мы некультурные.

— А что вы хотите от расистов?

— У вас, извините, верхняя губа расшиблена, бритвой беспокоить не посмею. Осторожно пожничками пройдуся, сформирую растительность а-ля Дуглас Фербенкс. «Знак Зерро» в кино видели? Вам подойдет. По медалям понимаю, тоже обладаете исключительной отвагой.

Явился хмурый солдат с глубоко внавшихими щеками, высокий, лицо его было землистого цвета, снял ушанку, на голове грязная, заскорузлая повязка. Сел на ящик против зеркала, потребовал:

— Подровняй маленько...— Спихнулся и стал сматывать бинт, морщась от боли.

— Тебе в санбат надо, Егорычев,— сказал поспешно Трушин.— Я же тебе приказывал, ступай в санбат.

Солдат встал, произнес обиженно:

— Значит, нельзя? — И заявил со злостью: — А в санбат я не пойду! Нечего мне там околачиваться.

— Один момент,— сказал Сергей Осипович, объявил обнадеживающе: — Нет таких трудностей, каких не могли преодолеть большевики.— Обратился к Трушину: — Вызовите санинструктора освежить на товарище повязку, и мы с ним комплексно клиента обслужим.

И пока санинструктор делал перевязку. Сергей Осипович, жалостливо морщась, работал машинкой, ножницами. Закончив, посоветовал:

— Одеколон не рекомендую. У вас кругом дополнительные царапины, вызовет нежелательное ощущение.

— Жалеешь? — спросил солдат.

— Причинять боль не имею права.

— Одеколон жалеешь?

— Встаньте, — попросил парикмахер.

Боец встал. Сергей Осипович брызгал из пульверизатора на обмундирование. Парикмахер обошел солдата вокруг, продолжая нажимать на резиновую грушу. Потом приблизился, вздохнул. Объявил:

— Аромат гарантирую, сутки будет пахнуть, как от жениха на свадьбе.

Солдат спросил:

— Вы всегда такой?

— Какой?

— Ну, веселый.

— С приветливыми людьми приятно и повеселиться, — бодрой скороговоркой сказал парикмахер. Крикнул: — Прошу следующего!

Когда Сергей Осипович коснулся машинкой головы нового солдата, он вдруг спросил встревоженно:

— Беспокоит?

— Нет.

— Извиняюсь, но вы дергаетесь. Я полагал, оттого, что, может, машинка засорилась, дерет.

— Да нет, я теперь всегда так.

— Контузии?

Солдат, испуганно покосившись на Трушина, пояснил:

— Но я к ней уже приспособился. Ловлю момент сразу после, как дернет, перед тем, как снова дернет, и тогда на спусковой крючок нажимаю. Конечно, не та меткость, но все-таки. А для того чтобы гранату бросить, это даже совсем ничего.

Сергей Осипович вдруг занялся самообслуживанием, опрыскал себе лицо из пульверизатора и, вытирая глаза и лицо салфеткой, переспросил:

— Так, вы говорите, ничего, нормально?

— Порядок, — согласился солдат.

Сергей Осипович медленно, тщательно застегнул пуговицы на воротнике солдата, так медленно, будто не хотел отпускать этого клиента, потом, обращаясь к Трушину, когда солдат ушел, сообщил задумчиво:

— Вы обратили внимание, волос у него со лба хохолком растет. Мастеру надо такое обстоятельство особо учитывать. Сыну, например, только я умел красивую стрижку делать, поскольку у него тоже волос не стандартно, хохолком рос.

После того как бойцы были обслужены, Трушин самостоятельно приготовил угощение парикмахеру. Но тот сказал: — Извините, но я лучше прилягу.

Разувшись, парикмахер лег на топчан, положив выше головы на скатанный полушубок ноги. Голые ступни Сергея Осиповича были вздуты, черно-лилового цвета. Заметив взгляд Трушина, парикмахер объяснил:

— Чисто профессиональное явление, застой крови в нижних конечностях от длительного пребывания в вертикальном положении. — Сказал презрительно: — Может, за границей где-нибудь и обслуживают клиента сидя, но это же не работа, профанация.

И вот такая малость, как посещение парикмахером подразделения на передовой, произвела на солдат большее впечатление, чем приход в их расположение командира полка или даже командира дивизии.

Когда такие высокие командиры появляются на переднем крае, это, конечно, означает прежде всего, что позиции, занимаемые подразделением, особо важны для боевого успеха всей части.

С одной стороны, это внушает солдатам гордость, а с другой — и тревогу: все понимают, что предстоит исключительно трудный бой.

И как бы ни был хорош, уважаем, даже любим бойцами большой командир, как бы умно, тактично и доверительно он ни разговаривал, как бы широко ни проявлял заботу о людях, все это положено в военном обиходе.

А тут вдруг пришел на передовую пожилой человек в солдатском звании, деловито обслужил бойцов, так, как будто нет для него войны, каждого вежливо, строго спрашивал: «Какие височки предпочитаете, косые, прямые?» — будто это и для него, и для солдата исключительно важно...

Эта основательность, серьезное отношение к своей работе, к своей профессии, даже как бы одержимость ею порождали среди солдат разговоры, не касающиеся прямо посещения их этим мастером своего дела, однако чем-то связанные с ним.

Бронебойщик Матешин, рыжий, носатый, говорил своему напарнику Куликову, бойцу из недавнего пополнения:

— Я человек вежливый, терпеливый. Но у меня сменщик был никудышный. Уйдет, а станок весь замазанный эмульсней, маслом, засыпан стружкой. Я ему всегда прибирал, а он нет. После смены пулей из цеха выскакивал. Ведь водятся же такие! На душевный разговор оказался неподдающийся. Решил я его проучить маленько. Этим же самым. На безобразии, конечно, пошел, а что делать, не обзывает, все переносит, как будто так и положено по-рабочему. Как на займы подписка, так его нет. Индивидуально надо профоргу его уговаривать. Ну чистый отщепенец. А тут меня профоргом избрали. Решил я его дома с подписным листом накрыть, чтобы при всем его семействе о нем свое мнение высказать. Прихожу, комнатуха, мебели никакой. Супруга его тощая, одни глаза торчат, стесняется, говорит: «Извините, у нас не убрано». А чего прибирать, когда ничего нет, кроме верстака, на нем всякое железо. И среди этого железа сидит мой субчик и чего-то мастерит.

Ну, ясно мне все стало. Палево шабашит, по бытовым предметам. Я ему официально:

«К вам от завкома».

А он: «Я занят». И даже головы не поднял.

Ну все, чувствую, недопустимую грубость позволю. А жена его мне машет, зовет. Вышел я с ней на лестницу. Она мне:

«Пожалуйста, приходите в следующий раз. Сережа всю ночь работал, и, кажется, у него получается».

«Он что у вас? Примуса, кастрюли соседям чинит? Так. И поэтому его нельзя общественности беспокоить?»

Она отшатнулась от меня, словно я гад, а не он, ее Сергей. И выпалила:

«Сережа — изобретатель, мы с ним всю свою получку в его идею вкладываем. И поэтому у нас ничего лишнего нет. Даже неловко перед людьми. Но вы сами понимаете, приходится...»

Ошпарила она меня этим, как из кастрюли, в самую рожу. Вошел я сызнова, снял головной убор, сел с ним рядом. Молчу, а он даже человеком меня не воспринимает. Сдвинул плечом от света и копается.

Присматриваюсь, и начинает до меня доходить, чего он ладит. А ладит он патрон с набором резцов, чтобы, значит, не менять инструмента, одним поворотом патрона, какой по делу требуется, в рабочее положение ставить. Стоящее изделие. Но он чего не постиг? Наш станок разболтанный, по инструменту надо было и скорость обработки регули-

ровать. Я к этому привык, к станку своему. Понимал его, выходит, лучше, чем этого самого чудака-человека.

В свою смену вызвал наладчика и, вместо того чтобы план давать, станок подтянул, отладил, кое-что сменил. Администрация меня стеснялась как официального ударника, выписала все, что затребовал.

Пришел Серега в цех. Я ему говорю:

«Ну, давай теперь ставь свою комбинацию».

Ну и порядок. Пошло дело.

На завкоме я все, как тебе, доложил, только официальными словами. Отхватил Серега премию цехкома и еще после от БРИЗа общезаводского. Хотя он и неподходящий мне, но по-прежнему я его сменщиком оставался. Но теперь было понятно — уважительная причина. Вот как не просто человека угадывать!

До тебя я вторым номером, например, числился, вроде подсобником при Петухове. Так тот меня в щели оставлял, вроде как живую свою силу я должен только беречь, а он на открытую позицию в одиночку выползал и оттуда бил по танку с фланга по борту. А мне только доверял ствол чистить и петеэр за ним таскать, как все равно я ему Санчо Панса, оруженосец из «Дон-Кихота».

Сначала я обижался. А потом дошло. Выдающийся боец, но на почет падкий. Ну я ему и оказывал, хоть и старше его своим гражданским возрастом, он вполне такой почет заслужил.

— Почет — она штука полезная, — сказал Куликов, — хоть и в самом малом, а удовольствие.

Сняв ушанку, наклоня голову, Матешин осведомился:

— Не сильно он меня обкорнал? Не зябко будет?

— Нормально, — сказал Куликов. Добавил тоном знатока: — Стрижка солидная, бобриком, для пожилого в самый раз.

Бронебойщик согласно кивнул — ему было тридцать два года, Куликову пошел девятнадцатый...

VI

Когда получали вещснабжение, пожилые требовали все на один размер больше, для тепла, для того чтобы чувствовать себя вольготнее. Из всех вещей главное — обувь. Ее осматривали вдумчиво, недоверчиво, придирчиво, прежде чем примерить, и, когда боец останавливался наконец на одной какой-то паре, лицо его приобретало выражение от-

чаянной решимости. Молодые бойцы выбирали обмундирование с такой же медлительностью и упорством, как и пожилые, но руководствовались желанием получить по фигуре: гимнастерки в обтяжку, штаны с обозначением галифе. Их сильно огорчало то, что вместо кожаных ремней — брезентовые, вместо сапог — ботинки, а солдатские штаны — без пузырей по бедрам, совсем как гражданские, только цвет хаки. И шинели, хотя и сшитые просторно, со слишком длинными рукавами, стесняли, вроде как с отцовского плеча.

Чувствительны к этой неказистости своего обмундирования в первые месяцы войны были и солдаты части, где служил Рябинкин; особенно расстраивались они, когда им доводилось видеть бойцов кадровых частей во всем их ладно пригнанном, довоенном добротном обмундировании, а главное, у них не ботинки, а сапоги.

И Петр Рябинкин в своем обмундировании чувствовал себя перед кадровыми солдатами так же, как после окончания ФЗУ, когда ему на заводе выдали новую спецовку, и каждый кадровый рабочий видел по этой новой, неладно сидящей спецовке новичка. И хотя он самостоятельно управлялся за станком, обученный в ФЗУ, даже уборщицы на заводе считали возможным давать ему доброжелательные советы, полагая, что он в них нуждается.

Как-то после прорыва немцев на Западном фронте, в октябре сорок первого, часть, где служил Рябинкин, отступила с боями в стужу в летнем обмундировании, заняв потом самостоятельную оборону на «Можайке». Рябинкин, тогда еще рядовой боец, не помнил, был такой приказ «Стоять насмерть» или не было такого официального приказа, но каждый солдат сам себе его отдал. В окопах люди страдали от холода. Но никто не сетовал на то, что он стынет оттого, что он в летнем обмундировании, когда положено было получить ему зимнее. Люди считали, что, оставив свои прежние рубежи, они как бы сами помешали нормальному вещснабжению, отступив, повинны в том, что потеряли зимнее свое обмундирование вместе с дивизионным складом.

Немцы прорывались танками. И люди шли на их танки с зажигательными бутылками, гранатами. Ложились в снег, били одиночными по автоматчикам, понуждая себя менять позиции как можно чаще не столько для того, чтобы маневром обезопасить себя от прицельной пулеметной очереди, сколько для того, чтобы не застыть насмерть в неподвижности.

Раненых притаскивали сначала в обогревательный пункт, а уж потом на перевязочный. Даже от малой потери крови люди впадали в беспамятство. И на поле боя раненым не делали перевязки, кровь твердо оплывала на ране красно-бурым льдом.

Старшина соорудил кипяtilьник из бочки для горючего, в нее для заварки сваливали жженные дочерна сухари, и этот бурый кипяток разливали по котелкам и доставляли их напизанными на палку в окопы и щели бойцам для обогрева круглосуточно. Оборудовали в траншее тепляки из плащ-палаток, куда приползали застуженные и грелись у цинковок, в которых горел тол.

В эти дни страх смерти у человека как бы вымораживался страданиями от стужи. И не было таких отчаянно иступленных подвигов, каких бы люди не совершали. Но вот странно: они полагали, что фрицам достается от холода хуже, чем им. Немец якобы непривычный к морозу и страдает от него больше.

И людям казалось, что только выносливостью они пересилят тут немца, несмотря на его значительный перевес в технике и боеприпасах, несмотря на удачу прорыва в сладостно-маящую близость Москвы.

Даже самые вялые, унылые и сварливые бойцы здесь, на подмосковных рубежах, самозабвенно предались жажде мщения. Москва не укладывалась в понятие только города. Она была как бы обозначением сущности той жизни, которой жили люди, ее великого смысла.

И как бы на грани того, существовать или не существовать большему, чем твоя жизнь, все бились иступленно.

И когда изможденных, искалеченных, но одержимо приговоривших себя стоять насмерть бойцов пришла сменить на рубеже свежая, сильная дивизия сибиряков, солдаты-ветераны с неохотой уступали им свой рубеж.

Командир батальона сибирской дивизии, в валенках, в полушубке, в ушанке, весь тугой, теплый, сытый, с висящим на груди ППШ, говорил Трушину, тощему, с черно-синим обмороженным лицом и кроваво-потрескавшимся губами:

— Боевой приказ, обязаны подчиниться.

Трушин только злобно и напряженно смотрел на командира батальона, словно не понимая его, не желая понять, и повторял упорно:

— Подчинюсь только приказу командования своей дивизии. Согласно уставу...

Подразделение брело на отдых понуро, уныло, оскорбленно, не соблюдая строя, толпой. Раненые не захотели остаться в санбате «чужой дивизии», плелись, ковыляя, опираясь на плечи товарищей.

И когда в тот же день старшина, сияя, счастливым голосом объявил о раздаче зимнего обмундирования, солдаты растерянно бродили возле связок из полушубков, ватников, стеганых брюк, мягких ушанок, около насыпанных кучей валенок, трехпалых варежек, тюков суконного обмундирования, бумазейных портянок и такого же белья, молчаливо, задумчиво ощупывали все эти предметы и никто долго не решался набирать себе комплект.

И даже сам старшина, который вначале своим торжествующим видом как бы намекал на то, что во всем этом есть и его доля личной щедрости, сник, сказал жалобно:

— Вот, товарищи, какая диалектика. Мы из-под Вязмы налегке от немца уходили.— И развел руками: — А теперь снаряжают, как папанинцев-героев.

Приказал:

— Получайте положенное, нечего резину тянуть.

И даже самые вещелюбивые не копались, не выбирали дотошно, не проверяли, все ли крючки, пуговицы на месте, называли свои размеры старшине, и стояла при получении вещснабжения тишина.

В новом зимнем добротном обмундировании солдаты Рябинкина приобрели облик тех армейских кадровых частей, от которых они в первые месяцы так были заметно отличимы. Теперь сравнились с ними видом и по боевому опыту. И это вещевое щедрое богатство, выданное им в самый критический момент войны, ощущалось ими как одежда Отчизны, хранящая ее тепло.

...Солдаты из нового пополнения чувствовали себя в подразделении Рябинкина в первые дни трудно, тяготясь суровой замкнутостью бойцов старого состава, как бы признающих только свое товарищество, сплоченное испытанным, пережитым, а главное, памятью о тех, кто погиб и кого только они одни знали и будут помнить до конца жизни.

Как-то так получалось, что наилучшими почитали тех, кто погиб, хотя далеко не все они были таковыми, но помнили о них только хорошее, запамятавав плохое.

Остролицый, тонкогубый Андрей Клепиков с прозрачными высокомерными глазами, едкий на слово, себялюбивый в солдатском быту, отлынивающий, когда надо было копать окоп, щель, во время огня всегда оказывающийся

там, где окоп глубже, перекрытие прочнее, — этот самый Клепиков, когда обстановка требовала особого подвига — не всех, а одиночного бойца, — угадывал такой момент, преобразался, становясь на короткое время совсем другим человеком.

Пробравшись к фашистскому дзоту, ведущему по нашей цепи спаренным крупнокалиберным пулеметом губительный фланговый огонь, лежа уже вблизи от противника, в мертвом, непростреливаемом пространстве, Клепиков снял с себя ватник, расстелил на снегу, положил на него бутылку с горючей смесью, ударил по ней прикладом винтовки и, когда всесжигающее неугасимое пламя фосфорной жидкости вспыхнуло едким костром, поддел пылающий ватник стволом винтовки, привалился плечом к стенке дзота, затолкнул ватник в амбразуру. Выскочивших наружу немецких пулеметчиков Клепиков застрелил. Наша цепь почти без потерь совершила бросок, завязав бой во вражеских траншеях. Но Клепиков после этого и не подумал присоединиться к своему подразделению, выждав конца атаки у захваченного им дзота.

Доложив небрежно Рябинкину о своем подвиге, Клепиков потребовал, чтобы тот приказал старшине доставить ему новый ватник.

Рябинкин спросил:

— Ты же не раненый, не контуженый, почему потом тебя в бою не было?

Клепиков пожал плечами:

— А чего мне там со всеми пулять, я свое задание выполнил, и точка.

Трушину Клепиков бесцеремонно напоминал:

— Товарищ политрук! Мне же за дзот причитается. Или, по-вашему, я должен был своей тушкой амбразуру прикрыть? Тогда только положено?

Когда Клепиков читал в «дивизионке», в листовках о подвигах самопожертвования, совершенных отдельными бойцами, он говорил:

— А к чему им теперь награды, если попользоваться нельзя? Мертвому ничего не надо. — Добавлял задумчиво: — Разве что знакомым и родственникам будет приятно.

Немцы налаживали на льду реки бревенчатый настил, укрепляя лед для прохода танков.

— Хотите, за «Звездочку» я им это дело поломаю? — предложил Клепиков комбату.

Тот сказал неприязненно:

— Храбростью, товарищ боец, не торгуют.

Клепиков разрушил переправу. Сделал из лыж санки, водрузил на них невзорвавшуюся немецкую бомбу, обложил ее толовыми пакетами, ночью приволок эти груженные сани к берегу, зажег короткий конец бикфордова шнура и спустил сани вниз по береговому откосу.

Погиб Клепиков в новогоднюю ночь, сопровождая подводу с праздничными подарками, присланными из тыла.

В пургу он потерял направление, напоролся на немецкое боевое охранение. Приказав повозочному разворачиваться и дуть во всю мочь в обратном направлении, Клепиков соскочил с саней, залег в снегу и отстреливался, последний патрон он послал себе в сердце. И даже в эти страшные мгновения он все обдумал: убил себя наверняка, расчетливо, понимая, что, если он подыметесь, немцы могут только ранить его, но не убить.

И лишь когда Клепикова не стало, Петр Рябинкин, и не только он, понял, что этот паренек был неразгаданным человеком, упрятавшим свое истинное мужество за бравадой, лихостью, как бы стесняясь выявить перед товарищами свою твердость, свою чистоту.

То же самое Утехин. Он был приметен только тем, что никак не мог привыкнуть к солдатской самостоятельности, сообразительности. Когда все по-солдатски чуяли, что будет ночной бой, Утехин преспокойно раздевался в натопленной землянке до исподнего и укладывался, закрывшись с головой полушубком. Потом он спросонок никак не мог отыскать своего обмундирования. И когда бойцы кричали на него, он отвечал обиженно:

— А что я, по-вашему, должен раздетым выскакивать на улицу? — Хотя улицы никакой не было, только снежное пространство, покрытое копотью и лунками от разрывов снарядов и мин.

Ел он медленно, жадно, истово, широко расставив локти.

И вообще у него была манера во время сильного огня, когда все шаталось, рушилось, притулиться спиной к окопу и есть. Он доставал сухарь и начинал жевать, бессмысленно, самоуглубленно глядя перед собой.

Лежа в цепи, он спрашивал:

— Стрелять? Сколько раз? А по чему? А если я никого не вижу, тоже стрелять?

Однажды он пополз из цепи в тыл, странно шаря в снегу руками. Рябинкин к нему:

— Ты что, гад, трусил?

— Где-то гранату свою потерял,— спокойно сообщил Утехин. И, глядя доверчиво крупными коровьими глазами, заверил: — Вы меня обождите, я ее сейчас найду, вернусь.

Продвигаясь в цепи, Утехин выстрелом положил немецкого ефрейтора. Вскочив, заорал:

— Попал, товарищи, попал!

Рябинкин, ударив по ногам прикладом, свалил Утехина на снег, сказал злобно:

— Чего вскочил, убьют!

— Так я же попал, вы видели! — радостно воскликнул Утехин.

— Ну, значит, медаль тебе за это,— пошутил Рябинкин.

— Ну что вы,— смутился Утехин.— У меня печаянно получилось. Даже до сих пор не верится.

Утехин испытывал безграничную доверчивость ко всем без исключения. Ему казалось, что людям интересно и важно знать, что он думает, чувствует. Он был просто-душно откровенен, не считая это стыдным, запретным.

— Знаете, товарищ Рябинкин, чего я придумал? — говорил Утехин, улыбаясь.— Когда вы меня в боевое охранение посылаете, я сам с собой занимаюсь.

— То есть как это «занимаюсь»?

— Одному плохо. Видеть нечего, темнота. На слух только их караулишь. Ну, я учебники вспоминаю, которые в школе перед экзаменом вызубривал. И знаете, хорошо отвлекает.

Когда однажды бойцы после тяжелых потерь обсуждали обстоятельства боя, Утехин вдруг объявил, обводя всех сияющим взглядом:

— А знаете, я уверен, что меня не убьют. Ну как это так, чтобы меня совсем не было! Конечно, ранить могут, это я допускаю. Но убитым я себя представить не могу никак.

— Ты что, чокнутый?

Утехин упорствовал:

— Но ведь бывают люди счастливые во всем. Почему я не могу быть таким? Ну почему?

— Забалованный ты, вот чего!

— Почему же?

— Да разве о смерти можно так рассуждать?

— А чего перед ней унижаться?

— То-то ты сахар в бою сосешь, как младенец.

— Сахар действует успокаивающе на нервную систему. Ведь я некурящий.— Спросил воодушевленно: — А вы

заметили, товарищи, после сильной бомбежки обязательно хочется отлить? У меня это всегда так.

Как-то во время боя, когда подразделение, покинув окопы, медленно, ползком передвигалось цепью по открытой местности, в терпеливом ожидании того, чтобы своя артиллерия, бьющая сейчас по глубине немецкого расположения, перенесла огонь по его переднему краю и что тогда можно будет совершить бросок, опасаясь только ослабленных на излете ударов осколков своих же снарядов, Утехин сказал Рябинкину:

— Одолжите, пожалуйста, обойму, а то я свои уже все расстрелял.

Уже в самой такой просьбе содержалось какое-то бесстыдство. Каждый боец знал: случается, что последний сбереженный патрон спасает тебе жизнь. И если «одалживали» кому патроны, даже, бывало, из магазина винтовки, то тому, кто назначал себе в одиночку добраться до вражеской пулеметной точки. Бывало, раненые, ослабевшие бойцы окликали соседа, чтобы тот прихватил их неизрасходованные патроны, оставляя для себя лично на всякий возможный случай в магазине винтовки только два-три патрона. Брали и у погибших. Это был солдатский обычай, суровый, разумный, расчетливый.

У серьезных, квалифицированных бойцов в особо назначенном кармашке подсумка хранились обоймы, где каждый патрон протерт тряпочкой, встряхнут у самого уха, чтобы убедиться в плотности пороховой набивки, а также насадки пули. Такие заветные обоймы составлялись из наборных патронов: бронебойных, зажигательных, трассирующих.

Нет в мире такого волевого человека, который, допустим, оказался бы способным во время боя участвовать в заочном шахматном турнире, да что там шахматном — играть на память в шашки, помня все свои и чужие ходы, в то время когда в тебя стреляют из всех всевозможных стволов. Между тем Петр Рябинкин, так же как и другие опытные воины, в бою владел собой так хорошо, что держал в уме не только свои боевые расчетливые ходы, но и ходы противника.

Он еще на заводе обучился этой тонкой рабочей наблюдательности, как и другие бойцы, привык к тому, чтобы ощущать себя частицей целого, от которого ты зависишь так же, как и оно, это целое, от тебя зависит.

И вот когда Рябинкин продвигался по местности рядом с Утехиным, он был занят мыслями: немцы стали приме-

нять ранцевые огнеметы не только в наступлении, чтобы их струей выжигать команды в дотах и дзотах, но и в обороне, с короткой дистанции, когда наши врывались в их траншеи. Значит, надо особо выглядывать огнеметчиков и уничтожать их в первую очередь.

И когда однажды Утехин попросил простодушно одолжить ему обойму, Рябинкин сказал зло:

— Ты свои выпулил не глядя куда. Вояка! — Но все-таки, пересилив себя, дал.

— Спасибо, — сказал Утехин и пообещал: — Я, товарищ Рябинкин, теперь каждый ваш патрон буду стрелять только по видимой цели.

И действительно, Утехин стрелял редко, каждый раз после выстрела подымал голову, чтобы убедиться, попал или не попал. Рябинкин даже был вынужден на него прикрикнуть:

— Ты что, в тире очки выбиваешь? Не высывай башку.

Но Утехин, дорожа каждым выстрелом, все-таки подымал голову и на последнем своем выстреле упал с пробитым лбом на приклад винтовки. И у Рябинкина было такое чувство, будто он сам повинен в смерти Утехина, и эта вина останется у него на всю жизнь, потому что не рассчитал в своей личной озабоченности в бою того, что во всем доверчивый к людям Утехин, получив от него обойму, засовестился от его обидных слов. Это надо было понять, а Рябинкин не понял.

VII

Война учила Рябинкина не только бою, но и пониманию того, что среди рядовых нет рядовых людей. Каждый чем-то неповторимо особенный.

Рябинкин все больше проникался соображениями о том, что сберечь товарища не всегда можно, только прикрывая его огнем или даже кидаясь на врага, если заметил, что товарищ твой замешкался.

Надо во всех нечеловеческих обстоятельствах войны оставаться человеком, понимать душевное состояние другого. Тот же Володя Егоркин, получая нехорошие письма от жены, томясь мнительностью, перебарывая тревогу и страх перед унижением, стал щеголять бесшабашной удалью, молодечеством, таким боевым озорством. Он стал язвительно груб с товарищами, особенно с пополненцами,

говорил новому бойцу Прохорову, который к черному пластмассовому солдатскому медальону прикрепил портрет девушки в целлофановом футлярчике:

— Ты ее портрет на груди держишь, а она, может, в это время... Я вот даже солдатского медальона не ношу. Ни к чему. Если разворотит прямым попаданием, так и медальон не поможет...

Рябинкин слушал эти рассуждения молча, еле сдерживая себя. Он аккуратно собирал, что ему понадобится для разведки в расположении врага, куда он должен был идти вместе с Егоркиным. Закончив приготовления, не глядя на Егоркина, он сказал:

— Насчет тебя мое решение — отставить. — И добавил резко: — Все.

Пополненцев, конечно, не полагалось пускать сразу в разведку, да и вообще для разведки подбирались люди опытные, знающие друг друга по бою. Без обоюдной уверенности на такие задания не ходят, иначе бы Рябинкин пошел с Прохоровым, не зная его как бойца, но заинтересовавшись им как человеком. Его тронула та простодушная откровенность, с которой этот парень нацепил при всех портрет своей девушки на солдатский медальон, не видя в этом ничего неловкого, а даже гордясь этим, как особой присягой, отданной кому-то помимо воинской.

Эта серьезная откровенность Прохорова — он любит и не собирается скрывать, напротив, считает долгом поставить всех в известность об этом, — его уверенность в том, что каждому его чувство понятно и близко, вызвала у Рябинкина к молодому бойцу не столько, пожалуй, симпатию, сколько доверчивое любопытство.

Может или нет человек проникаться к себе особым уважением только оттого, что он кого-то там любит, и от этого держаться с таким достоинством?

Прохоров ответил тогда Егоркину, выслушав его внимательно:

— Вы правы, сомневаясь, каким я окажусь солдатом. Но зачем же, если я, допустим, слабодушный, внушать мне плохие мысли о самом близком мне человеке? По меньшей мере это перасчетливо. И я бы даже сказал, не по-товарищески.

— Ты студент? — спросил Егоркин и, не дожидаясь ответа, констатировал: — На полном гособеспечении. Жизни не знаешь.

— Нет, я не студент, — сказал Прохоров.

— Из каких же?

— Техник-лесовод.

— Для войны профессия ничемушная. — И, кивнув головой на искалеченную рощу с высокими расщепленными пнями, Егоркин объявил: — Видал, вон где немцы — мы по ним и по своему лесу лупим. Жалко тебе небось леса?

— А вам?

— Я человек заводской.

— Ну и что?

— Значит, не переживаю. На все переживалки не хватит. Товарищей теряем, и то душой глохнешь.

— Зачем?

— Вот повоюешь — поймешь.

— А знаете, — сказал Прохороз, — по-моему, вы просто застенчивый человек. И говорите со мной совсем не о том, о чем думаете.

— Откуда ты знаешь, чего я думаю?

— Я не знаю. Но мне так кажется.

— Видали, какой прыткий! — воскликнул Егоркин. — Раздень перед ним сразу свою душу, он ее осмотрит и определит, чисто она здесь вымыта от пота и крови или нечисто. — И произнес грубо: — Ты свою наблюдай, как бы она тебе в бою штаны не замочила...

Падал мягкий, рыхлый и, казалось, теплый своей пушистостью снег. Шорох его падения, мягкая его уютность как бы лишали человека ощущения опасности, тем более что расположение врага, местность, которую он занимал, ничем не отличалась от той, где находились наши рубежи.

В серых сумерках ночи снежный покров как бы слабо светился, кожано скрипел, блестя ледяными песчинками.

Обнаружили линию связи. Рябинкин перерезал черный, в толстой резине провод, оставил в засаде Куприянова, а сам вместе с артиллерийским разведчиком, солдатом Крутиковым, пополз к бугру, с которого намечено было вести наблюдение за передним краем противника.

Внимательно прислушиваясь к музыке, доносившейся от одной из немецких землянок, Рябинкин определил:

— Патефон. Надо засечь эту землянку. — И деловито пояснил: — Ребята довольны будут обзавестись патефоном. — Потом, так же напряженно прислушиваясь, сказал огорченно: — Пожалуй, скоро не возьмем. — Спросил: — Слышишь, бревна с грузовиков сваливают? Значит, пополнение ждут новое. Блиндажи строят. А вон, видал, сугроб вроде в воздухе висит. Это на маскировочную сетку над батареей снег напал. Не стряхивают сетку, вот

и раскрылись. А вообще немец маскировку художественно под местность делает. Старается.

Спустя некоторое время Рябинкин сказал встревоженно:

— Чего-то Куприянова не слышно. Ты побудь, я до него схожу.

Но Куприянов объявился сам, с немецким автоматом на шее и катушкой немецкого провода на детских салазках с сиденьем, обитым по краям тесьмой с помпончиками. Куприянов сказал сипло:

— Пошли!

Салазки, которые тянул за собой Куприянов, звонко шуршали полозьями по насту.

— Да брось ты их! — приказал Рябинкин.

— Нет уж, — сказал Куприянов, — доведу. — Произнес озлобленно: — Я как увидел, что он на ребячьих санках свою катушку волочет, ну все... — Показал окровавленную ладонь. Объяснил: — Прокусил он мне все мясо, пока я его за пасть держал, а другой рукой насех давил. — Пожаловался: — Озверел я сильно за эти детские санки. А то можно было б наганом запросто успокоить.

Возвращаясь в свое подразделение, разведчики зашли на НП к артиллеристам. Наблюдательный пункт был вынесен далеко за пределы оборонительного рубежа. Это была щель, выкопанная под брюхом подбитого танка, башня которого валялась невдалеке, отброшенная взрывом снарядов из боекомплекта.

Куприянов снял с шеи немецкий автомат, подал младшему лейтенанту-артиллеристу, сказал:

— Вам от нашего стрелкового подразделения. — Добавил: — За то, что аккуратно огонек кладете. — Спросил: — Ну как ваш бог войны, не кашляет?

— Пришли новые системы, — похвастался артиллерист.

— Ну а вы сами как?

— Отлично, — оживился младший лейтенант. — Теперь без ошибки на слух определяю, стреляет пушка или гаубица и какого калибра, стоит ли орудие на открытой позиции, или в дзоте, или в железобетонном доте. А ведь, представьте, в свое время считал непостижимым таинством, как это дирижер может одновременно улавливать звучание каждого в отдельности инструмента в оркестре.

— Вы что же, музыкант?

— У меня голос,— смущенно сказал артиллерист.— Но вместо музыкального училища поступил в артиллерийское.

— Это почему же?

— Так,— сказал артиллерист и, потупившись, объяснил: — Папа погиб в Испании.

— Понятно,— сказал Куприянов. И, вытащив из ватника «вальтер», произнес твердо: — А это к автомату в придачу от меня лично.

— А что у вас с рукой? — спросил младший лейтенант.

— Травма на производстве,— сказал Куприянов и небрежно сунул израненную руку в карман.

Доложив о выполнении задания, Рябинкин вернулся в землянку. Положив толсто забинтованную руку для мягкости себе под щеку, Куприянов спал. Прохоров писал, склонившись к коптилке, сделанной из сплюсненной на конце гильзы зенитного снаряда, вместо фитиля в ней тлел зажатый вигоневый носок.

— Ей пишете? — спросил Рябинкин.

— Да,— сказал Прохоров и предложил: — Хотите, прочту?

Рябинкину казалось неловким слушать письмо, адресованное девушке, которую Прохоров так сильно любит. Но он превозмог свою душевную стыдливость из тайного желания услышать какие-то особенные, сильные, жгучие слова.

— Валяй,— сказал Рябинкин.

Прохоров читал свое письмо так, как требовал учитель русского языка в ФЗУ от Рябинкина,— «с выражением». Письмо было написано складно и даже красиво, особенно в том месте, где Прохоров описывал блиндажи, землянки, оружейную палубу. Рябинкин, слушая, кивал одобрительно головой и даже заметил, что про воинский долг Прохоров написал не хуже, чем даже в «дивизионке» печатают. Но про самое главное Прохоров писал не своими словами, а из стихов, и хотя стихи были ничего, хорошие, но получалось, что он вроде как брал займы чужое, как брали займы ребята пиджак или новые ботинки, чтобы сходить на свидание.

Прохоров сообщал своей девушке, что, когда его послали в боевое охранение, он думал только о ней. Но это же, решал про себя Рябинкин, неправда. Хотя это не разведка, не может человек, да еще первый раз пойдя в боевое охранение, так думать. Рябинкин бесчисленно бывал в разведке, но всякий раз, когда давал Трушину партбилет,

заябнул душой. Выходило, что он опасался, как бы немцы, шаря в его карманах, не обнаружили бы, кто он такой был, этот советский павший боец.

Опустив глаза, рассматривая свои валенки, Рябинкин спросил глухо:

— Ты что же, Прохоров, ничего такого не переживал, находясь в боевом охранении, действительно о ней только думал, и больше ничего?

— Ну что вы! — удивился Прохоров. Сообщил доверчиво: — Меня все время беспокоило, дослал я патрон в казенник или не дослал. Хотелось проверить. А затвором щелкать нельзя. Очень мучился такой мнительностью.

— Так, — протяжно произнес Рябинкин. Глядя пристально в глаза Прохорова, спросил сурово: — А ты бы вот и написал фактически насчет винтовки. Это у всех вначале такое бывает беспокойство.

— Но ведь это ей неинтересно.

— Так, — еще раз сказал Рябинкин. Спросил: — Ну как у Куприянова, ничего, обошлось с рукой?

— Вы знаете, он все-таки жестокий человек, — объявил Прохоров. — Задушил немца и спит спокойно.

— Не жестокий, а душевный, — твердо сказал Рябинкин. — До меня сразу не дошло, откуда у фрица детские саночки. А он сразу от этого зашелся. Чувствительный на подлость. А спит он не спокойно. Откуда ты знаешь, что у него на душе? Ты вот сам убей, а потом скажи, как после такого спится. В то, что Куприянов про ребятенка думал, у которого фашисты санки отняли, я верю. А тебе почему-то не очень.

— Почему же? Ведь это обидно.

— Может, я тебя и не понял, как ты не понял Куприянова. У каждого человека своя душевная механика. Только и всего...

И не то что после всего этого Рябинкин испытал горечь, потеряв надежду найти в Прохорове особенного, интересного человека, каким он вначале ему показался, просто ему было совестно перед Владимиром Егоркиным, которого он не взял в разведку за то, что тот внушал молодому солдату, что дорожить на фронте человеку вроде как нечем. Из-за своей душевной раздраженности внушал такое.

Конечно, в подобном состоянии солдата брать в разведку ни к чему. Но ведь он не только поэтому отстранил Егоркина, а и потому, чтобы проучить его: перед разведкой не принято, неприлично, неправильно рассуждать о смерти. Конечно, советские люди в приметы не верят. Но если

б Егоркин не вернулся, возможно, бойцы вспомнили бы эти его слова, и получилось, что он вроде как предчувствовал свою гибель. Такое надо учитывать командиру. Нервы у людей на фронте всегда на взводе. Каждый думает, что с ним может случиться дурное. Но настоящий фронтовик воздерживается такое высказывать. Даже в шутку. И не потому, что допускает веру в примету, а потому, что знает: это плохо подействует на товарищей, а от их самочувствия его жизнь зависит. Поэтому бодрятся не ради себя, а ради самочувствия всех, и все это знают и уважают такую бодрость, хотя не всегда имеются для нее основания.

Но у Володи Егоркина есть отчего расстраиваться. Если б он был простодушный, то он прямо сказал бы, что из-за жены мучается. Но он гордый, стыдливый, скрытный, делает вид, будто перед боем ничто для него не имеет никакого значения, а поскольку он на самые опасные задания напрашивается, «она» с ним всегда рядом, и он имеет право о «ней» рассуждать презрительно. А такие разговоры плохо действуют на окружающих, и храбрость Егоркина для людей теряет свой полезный смысл, поскольку он после совершения самых отчаянных боевых поступков объясняет их не своей умелостью в бою, а только безбоязненным отношением к смерти. И надо его поправлять. Но не так, как сегодня сделал Рябинкин, отстранив от разведки, а другим подходом. Но каким? Рябинкин знал Зину Егоркину по заводу: глазастьенькая, всегда оживленная, она даже спецовку перешивала себе в обтяжку, так что вся ее женственная фигурка обозначалась привлекательно. Постоянная участница самодеятельности, она выступала во Дворце культуры во всех спектаклях. Но главное ее дарование — танцы. Она танцевала почти как настоящая балерина: на носках, в трико, в куцей юбочке, с голыми руками. За то, что она рабочая да еще танцует не что-нибудь, а классику, ее снимала кинохроника, и даже были заметки в газетах.

Володя, когда на ней женился, в комнате поставил большое зеркало и в столярке сделал специальные перильца, чтобы Зина могла, держась за них, перед зеркалом тренироваться.

Поскольку Володя был по-настоящему знаменитым стахановцем, он часто выезжал на другие заводы передавать свой опыт.

И вот в одну из таких поездок Зина поступила в областный театр. И получилось нехорошо, не потому, что она

ушла в театр, а потому, что там сошлась с помощником режиссера. А тот был женатый, и жена его обратилась в местком театра, тем более у них было двое детей.

Пришлось Зине уйти из театра «по собственному желанию».

Володя ее простил. Он сам, как и Зина, считал, что все люди, которые занимаются искусством, особенные, и Зину он поэтому тоже считал особенной.

Стала она снова выступать во Дворце культуры, но раньше она заводской публике нравилась, а теперь не очень. Володю все заводские считали выдающимся, а ее после всего — так себе. Володя ее простил, но все же мучился. Работал он теперь только в ночную смену.

А тут Зина решила стать фигуристкой, подвернула на катке ногу, оказалась трещина в кости. Вернулась из больницы. Но Володя не позволил ей нигде работать, поскольку она все-таки прихрамывала. Зарабатывал он порядочно и каждый год ей по два раза путевки на курорт доставал. А на курорте у Зины тоже какая-то история получилась. И это Володя пережил, тем более что Зина на завод после всего снова пошла — разметчицей.

Но и на заводе у Зины компания образовалась особая — вечеринки, на последний ночной трамвай опаздывала.

А лет Зине было уже немало — двадцать четыре.

От всех этих семейных передеряг Егоркин огрубел, тоже завел себе компанию, но не из таких, как он сам, квалифицированных литейщиков, ездил со снабженцами на рыбалку, выпивал. Однажды сильно обжегся горящим газом. Врач сказал: может понадобится человеческая кожа. Почти весь цех пришел свою кожу предлагать, так все уважали Егоркина.

А Зина не пошла. Она, правда, Нюре сказала, что готова для Володи всю кожу с себя содрать, но, когда многие с этим в больницу полезли, она не хочет таким простым способом у Володи прощение за все получать. И поскольку она была не в себе, когда Нюра вышла из коммунальной кухни в общежитии, схватила кастрюлю, в которой комendantша из прогорклого подсолнечного масла олифу варила, и на себя ее выплеснула. Ну, ее тоже в больницу, но в другую, какая «скорой помощи» была поближе.

Володя в своей больнице о Зине ни у кого ничего не спрашивал и вообще молчал, не желал никаких посетителей. А потом, когда его выписали, пришел домой, спросил Зину:

— Это где тебя так поуродовали?

— А тебе какое дело?

Вот и весь у них разговор получился.

Так Зина Нюре рассказывала, взяв с нее клятву, что она никому не скажет «про ее дурь с кипящей олифой». Нюра такую же клятву с Петра Рябинкина взяла. А Рябинкин считал тогда: эта Зинкина выходка — хулиганство над собой, и больше ничего. Тем более он ее стал презирать, что она начала запивать и Нюра за нее работает, а наряды на нее заполняет. И наверное, она не в одиночку пьет, а с кем-нибудь. Так что, кроме отвращения, к Зине Егоркиной Петр Рябинкин ничего не испытывал.

И теперь, на фронте, зная, как Володя Егоркин переживает, Рябинкин никак не мог — хотя хорошо знал, как это полезно, — убедительно соврать ему, что жена ждет его дома, как положено женам фронтовиков. Не мог такого соврать, но и не мог, не имел права не думать о том, что Володе плохо...

Поэтому Рябинкин пребывал в смущении, не зная, как начать разговор с Владимиром Егоркиным про то личное, о чем сам Владимир старался не думать, выворачивая свою душу, чтобы как-нибудь самому выкрутиться из боли, которая отравляла ему жизнь не только здесь, на фронте, но и дома.

Рябинкин нашел Егоркина на пункте боепитания, где тот набивал пулеметные ленты, прогоняя их через уравнитель, и укладывал в жестяные коробки аккуратной плоской спиралью.

Молча закурив и так же молча угостив Егоркина, Рябинкин сел на ящик с патронами, сказал, не подымая глаз:

— К немцу пополнение пришло. Значит, стволов против нас прибавится.

— А чего ты мне об этом докладываешь? — мрачно сказал Егоркин. — Ты вышестоящему доложи. Как итог личной разведки, от которой вы меня, товарищ лейтенант, отстранили как ненадежного бойца.

— А ты мои приказы не обсуждай, — сухо сказал Рябинкин.

— Виноват, товарищ командир.

И Егоркин с шутовским старанием вытянулся, нуча глаза и не мигая.

— Не надо, — попросил Рябинкин. — Не надо, Володя, бойцовское в себе унижать. Ну зачем это? Хочешь, чтоб

я тебя по команде «Смирно» поставил? Так я могу. А зачем? Видишь, пришел разговаривать, а не получается.

— Ты сразу, без подхода руби,— посоветовал Егоркин.

— Прямо, говоришь? Ну так вот. Я о твоей Зине сказать хочу.

— Ну, ну,— сказал, бледнея, Егоркин. Спросил, сжимая зубы: — Твоей Нюрки информация, что ли? Валяй, подсыпай в солдатский мой котелок всякий мусор с ее кухни.

— Ты спрашивал Зину, почему она пожглась?

— Торопилась по личным делам, облилась горячим супом. Чего спрашивать... Зажило, как на шкодливой кошке.

— Поставил бы я тебя за такие слова по команде «Смирно»,— задумчиво произнес Рябинкин,— но не перед собой, а перед твоей Зиной. И ты перед ней встанешь, когда с войны вернешься.

— Брось, Рябинкин, чего ты меня тут за семейный быт агитируешь? Сам тянись перед своей труженицей тыла, а меня лучше не трогай.— Сжав кулаки, Егоркин произнес свистящим шепотом: — Ты что, хочешь, чтоб я в штрафники скатился за оскорбление командира? Так я могу за удовольствие тебя смазать!

— Так,— сказал Рябинкин.— Это очень грубое нарушение дисциплины с твоей стороны, очень грубое. Но я тебя о чем хочу информировать? Наш санинструктор Павел Андреевич, он психолог, поскольку даже глухонемых понимает, а не то что нормальных людей. Я с ним советовался насчет своей Нюры. Недопонимал, почему она теперь в бывшей моей спецовке спать ложится. Он проанализировал: «Чтоб вас через вашу спецовку при себе чувствовать». Правильно человек угадал, очень глубоко.

Егоркин зло усмехнулся:

— Да пускай она хоть исподники твои носит, мне-то что? Это, может, какому другому мужчине покажется удивительным, если обнаружит.

— Задевай, задевай, я по личному вопросу терпеливый,— сказал Рябинкин, все же холодея спиной, и от этого сказал жестко: — Словом, твоя Зина не супом горячим облилась, а, когда ты обожженный лежал, выплеснула на себя намеренно кастрюлю с кипящей олифой. От супа такого ожога не бывает сильного. Ну да ладно. Хоть бы и супом кипящим. А вылила она на себя олифу, чтобы такую же, как ты, боль пережить, кожу с себя спустить, чтобы ты не думал, что она клочка с себя на тебя пожале-

ла. как некоторые, например, про нее думали.— Вздыхнул: — Вот, значит, вся моя тебе информация.

— Петя,— жалобно произнес Егоркин,— почему же она сама мне не сказала? Почему?

— У тебя свое самолюбие — гордость, и у ней тоже. Уступить смелости не хватало.

— Да к чему тут смелость?

— А как же, боялись вы оба друг перед другом еще унизиться. Она и так этого нахватала, ты тоже. Ну и решила — довольно. А вот тут-то и нужна вся душевная храбрость. Возьми меня, танк я свой первый поджег не от храбрости, а скорей от растерянности, оттого что жив остался. Теперь я смело так говорю. А раньше никак не высказался бы. Почему? Уверился в себе, но не сразу. И в гражданской жизни человек человеком не сразу становится, так же как и солдат солдатом — на фронте...

— Ты обожди, обожди дальше умничать,— попросил Егоркин.— Значит, так получается, она себя обожгла, потому что я был обожженный, чтобы всю боль мою пережить?

— Маслом, говорят, большее.

— И поскольку к ней общественность критически относилась, доказала, что может всю кожу за меня отдать? Хоть и в больницу не явилась.

— Себе хотела доказать, а не общественности. Общественность тут ни к чему.

— Себе, а почему не мне?

— Да ты что, не соображаешь? Ей надо было установить, может она тебя любить так, что себя искалечить готова, или не может.

— Значит, смогла?

— Определенно.

— Слушай, Петр, спасибо тебе.

— Это не мне спасибо. Павел Андреевич такую систему мыслить мне объяснил. А она правильная.

— Дай я, братуха, тебя обниму,— взволнованно попросил Егоркин.

— Вот это уже отставить,— сказал Рябинкин, вставая. Лицо его стало твердым и жестким.— Смирно! — скомандовал Рябинкин, глядя осуждающе в удивленное лицо Егоркина, произнес раздельно и четко: — За угрозу и грубость по отношению к командиру, выразившуюся в словах и замахе рукой, четыре наряда вне очереди! Все. Исполняйте приказание. Кругом арш!

Егоркин четко выполнил команду.

Глядя ему задумчиво в спину, Рябинкин вдруг окликнул:

— Володя!

Егоркин остановился. Приблизившись, Рябинкин произнес просительно:

— Так ты ей теперь напиши, но не про это, а так, как ни в чем не бывало.

Егоркин сделал глотательное движение, но ничего не ответил, только кивнул. Подождал, не скажет ли еще чего Рябинкин.

— Разрешите идти?

— Ступайте,— сказал Рябинкин.— Ступайте.

А сам остался один в пункте боепитания, снова сел на патронный ящик, закурил, и на сердце у него было свободно, ясно, как давно еще не было на фронте даже после тяжелого, но победного боя.

VIII

Для Петра Рябинкина заводская жизнь и на фронте оставалась образцом поведения. Как на заводе он привык испытывать восторженную почтительность к вдумчивым мастерам своего дела, так и здесь, на переднем крае, он уважительно отличал бойцов, способных вносить от себя нечто новое в суровое ремесло солдата.

Не думая о том, что он может уронить свой офицерский авторитет, Рябинкин, прежде чем составить для себя план выполнения боевого приказа и доложить его вышестоящему командиру, предварительно советовался с маститыми бойцами.

Вызвав к себе стрелка Тутышкина и бронебойщика Парусова, Рябинкин выложил на стол офицерский доппак, фляжку с разведенным спиртом поставил в каску, набитую снегом, для охлаждения напитка, сказал:

— Садитесь.— Добавил: — Будьте вроде как дома.

Из вежливости Парусов вначале отказывался от закуски. Принял напиток стоя, занюхал согнутым в суставе указательным пальцем. Тутышкин, будучи менее воспитанным, сказал нетерпеливо, но также не решаясь присесть:

— Если особое задание, так вы без подхода. С моей стороны — служу Советскому Союзу! И точка!

— А если просто о жизни поговорить? — сказал Рябинкин.

Первым сел за стол Тутышкин, размашисто придвинул к себе консервы из щуки в томате. Парусов, очевидно опять из вежливости, сказал:

— Вот вчера был, например, женский день Восьмое марта. На гражданке он мне воображался придуманным праздником. А теперь? Кто весь наш тыл на своих плечах держит? Они. За города, которые освобождаем, нам награды. А им в их день чего? Неправильно.

— Вот ты бы и выдал из своей бронебойки в честь законной супруги персональный салют! — с усмешкой посоветовал Тутышкин и заявил задорно: — Я холостой, мне о них одна мечта — дорваться.

— А мать у тебя есть, сестра есть? — сурово спросил Парусов и злорадно сказал: — Что, вспухли от совести уши? Сам же о свои глупые слова и ушибся. — Забрав у Тутышкина банку с консервами, Парусов, зачерпнув ложкой и отведав, заявил: — Щука — худшая рыба: хищник. Ее, как волков, надо истреблять. А хорошую рыбу, наоборот, следует культурно разводить, все равно как скот или домашнюю птицу.

— Вы что, рыбак?

— Нет, не баловался. Жена теперь с предприятием эвакуирована в Сибирь. Рыбачью бригаду из баб сколотила, ловят для орс, для усиления питания, а то из одной мороженой картошки совсем плохое меню.

Тутышкин сказал виновато:

— Это верно! Мы сейчас вроде как их иждивенцы, на всем готовом: и обмундирование, и питание.

— Дошло, — торжествуя, объявил Парусов, и лицо его с двумя глубокими продольными морщинами на впавших щеках словно бы осветилось. Предложил: — Давайте за них всех стоя выпьем!

Выпили и долго не решались ни есть, ни закусывать.

Потом Рябинкин сказал так, как бы для него это сейчас не самое главное, хотя именно это он и хотел обсудить с бойцами:

— Вот как, на ваш взгляд, где от огня надежнее отсиживаться — в сплошной траншее или в индивидуальной щели?

Парусов сказал:

— В щели надежнее, на прямое попадание возможность соответственно пространству меньше.

Тутышкин заявил:

— Если отсиживаться, то да, щель лучше. А воевать хуже. Когда человек один, он на психику слабее.

— Нам, бронебойщикам, индивидуальный окоп положен,— сказал Парусов.— И ничего, на психику не слабеем.

— Бронебойщики — бойцы отборные,— сказал Тутышкин,— а мы рассуждаем про все подразделение.

— Ну хоть ты и в траншее,— сказал Парусов,— сколько рядом с собой бойцов чувствуешь, как говорится, локтем, ну, четырех, пятерых, не больше.

— Все равно, получается, в компании легче. А то как сурок в норе. Заскучаешь.

— Я не скучаю, я танк караулю,— сердито сказал Парусов.

— А все-таки бережешься лишний раз башку наружу высунуть. А у них скорость.

— А вы там, в траншее, не бережетесь?

— Над нами командир, он обеспечивает нормальное поведение.

— На всех глаза у него не хватит. За противником и за вами наблюдать.

— А если кто в бою скидает, мы его по-солдатски на вертикаль поставим.

— Солдат солдату не начальник. Получится одно препирательство.

— Солдат солдату рознь,— сказал Тутышкин.— Ты вот, Парусов, личность. На тебе, как на стволе противотанковой пушки, можно заслуженно три звезды наклеивать.

— Четыре,— поправил Парусов,— за мной четыре танка числится.

— Тем лучше,— сказал Тутышкин.— Значит, ты человек влиятельный, значит, за тобой бойцы пойдут.

— Куда пойдут?

— А куда прикажешь.

— Да что я им, командующий?

— В пределах своего солдатского оперативного пространства, может, и командующий.

— А кто меня над ними поставит?

— Когда населенные пункты брали, из нас штурмовые группы сколачивали, и мы себя с наилучшей стороны показали. Связи с командиром по обстановке нет. А мы ждем самостоятельно. Назначен боец над другими старшим — ему и внимали. Все аккуратно получалось.

— Это действительно было.

— А почему на дальнейшее такие штурмовые группы не сохранять? С одной стороны, что тогда получается?

Четыре-пять бойцов и локоть товарища чувствуют, и всегда над ними свой старший. С другой стороны, не будут в траншее все жаться друг к дружке — каждая группа держит свою дистанцию, если накроет огнем на прямое попадание, меньше потери. И в цепи при наступлении также получится вроде как звеньями идти. У каждого звена свой старший. В футбольной команде, например, все равные. Но кто — нападение, кто — полузащита или защита — в ходе матча комбинации создают.

— Мы тут серьезно, а ты про футбол, даже слушать неловко, — упрекнул Парусов.

— Ну давай на наших фактах, — не сдавался Тутышкин. — «Языка» мы как берем? Группа захвата и группа обеспечения. Так?

— Ну так.

— В захват кто идет? Самые что ни на есть отчаянные, скоростные. У них при себе что? Автомат, нагап, граната. Ну и пож. Обеспеченцы — народ солидный, снайперы, ручные пулеметчики, минометчики. И срабатываются люди. Так что, как глухонемые, друг друга понимают по одной мимике.

— Это действительно, — согласился Парусов.

— Ну вот и надо, чтобы в каждом стрелковом подразделении бойцы между собой срабатывались.

— Бой на бой не походит.

— Так и солдаты — люди. У каждого свое. Поставь над пополнением авторитетного бойца, старому фронтовику приятно — почет, и молодому польза. — Словно оправдываясь, обращаясь к Рябинкину, Тутышкин объяснил: — Я шлифовщик разрядный. А кто меня человеком отшлифовал? Бурыгин. — Произнес мечтательно: — Он, бывало, приложит обработанные плоскости, так они у него, как намагниченные, прилипают. Одним словом, виртуоз. — Вдохнул: — Но мне до него как до неба.

— Это отчего же?

— Нервная система не та была, запаса терпения не хватало.

Рябинкин напомнил Тутышкину, как тот с разумной расчетливостью действовал гранатой против фашистского пулеметчика.

Тутышкин, благодарно улыбаясь, сказал:

— Все может быть, только я сам про себя так объяснить не могу. В запарке чувств находился. — Пояснил: — Я свою слабость еще с производства и по футболу помню. Поэтому заранее на все возможные случаи себе внушаю,

как поступить, и потом уже без соображения, но получается.

— Автоматически, — солидно подсказал Парусов.

— Как во сне, — поправил Тутышкин.

Были разговоры с другими бойцами, из которых Рябинкин убедился, что многие из них накопили немало осмысленного солдатского опыта, подобно тому, как накапливали на заводе тончайшее свое умение лучшие мастера.

Петр Рябинкин поделился такими мыслями с Трушиным; тот обрадовался и сказал:

— А в чем дело? Давай будем проводить солдатские совещания по обмену боевым опытом. Наметим передовиков, и пусть докладывают.

На эти солдатские совещания в ротной землянке бойцы приходили прибранными. Лица со свежими порезами от бритья, подворотнички чистые. Помимо армейской пользы, люди как бы возвращали себя в тот давний мир привычного уклада, где труд каждого был мерой его достоинства и ощущался как твоя родственная связь со всеми.

Бесчеловечный ужас войны люди перебарывали, выработывая у себя отношение к бою как к состязанию в умелости, в мастерстве, как к труду, как к борьбе за жизнь против смерти.

Главной нашей ударной силой оставалась артиллерия. Теперь нашей армии было вмочь собирать на направлении прорыва по 150—200 стволов на каждый километр. Увеличились дальность артиллерийских систем, их калибры, уплотнилась огневая подготовка, она укладывалась в 30—40 минут, обрушиваясь на противника мощной огневой лавиной.

Стиснутый наступлением наших фронтов, враг в плотный кулак собирал свою технику, и, чем больше сокращалось захваченное им пространство, тем монументальнее, прочнее сооружал он многополосные оборонительные рубежи глубиной в десятки километров, где затаивал подвижные моторизованные силы, способные ринуться в контрнаступление в тот момент, когда наши части израсходуют себя на взламывании его рубежей.

В обороне батальону обычно отводилось пространство протяженностью в два километра, в наступлении — пятьсот метров, на роту чуть больше ста метров.

И этот свой метраж Рябинкин изучал тщательно, досконально. На каждую огневую точку врага под соответствующим номером он завел специальную карточку, куда

заносил все наблюдения за этой точкой, а также за привязанной к ней запасной позицией.

Также он брал на учет наблюдательные пункты противника. Одни поручал снайперам подавить, другие, напротив, запрещал тревожить, чтобы выбить сразу к моменту наступления.

Но он думал не только о том, как будут продвигаться его бойцы, но и как враг сообразит распорядиться своими огневыми средствами.

После того как батальон отвели на несколько дней в тыл для отработки наступательной операции, Рябинкин избрал для занятий ту местность, где недавно проходил рубеж противника, чтобы как бы в натуре брать его сызнова штурмом. Но, против его ожидания, занятия на этой местности проходили вяло.

Траншеи, подобные многокилометровым развороченным могилам с бурым тряпьем бинтов, пробитыми касками, вся эта растерзанная земля и все, что было на ней, производили на бойцов тягостное впечатление, хотя совсем недавно они здесь были победителями.

Тот же Егоркин, который в бою забросал дот противотанковыми гранатами, вместо того чтобы толково показать солдатам, как он умно продвигался по местности, первой гранатой вышиб броневую дверь дота, а вторую бросил внутрь его, — он, заглядывая сейчас в дот, как в закопченную каменную пещеру, сказал совсем не бодро и не полезно для познания метода штурма укрепленных позиций:

— Что же получается — укреппункт, а без ходов сообщения, выходит, они сидели тут, как приговоренные.

Не лучше вел себя Парусов. Стоя у подбитого им танка, он дал такое объяснение:

— Сильно огонь он вел, — видать, от газов угорели танкисты, приоткрыли крышку люка, чтоб, значит, свежего воздуха перехватить, а тут я с простой гранатой. Бросил ее легонько об открытую крышку люка, она отскочила, и прямо в горловину пала, и там рванула. Вот и получился им свежий воздух.

Когда один из бойцов, пытаясь заглянуть вовнутрь другого танка через пробойину из крупнокалиберного снаряда, порезался об острые, как лезвие бритвы, развороченные края металла, — хотя порезы были незначительные, сразу побледнел, ослабел, зажмурился, не в силах переносить вида крови. А ведь этот же солдат несколько месяцев назад, получив в бою ранение в руку, истекая

кровью, на приказание Рябинкина идти в санбат бодро ответил:

— В чем дело? У меня про запас другая есть.

Ненавистью к врагу, азартом боя он обезболивал себя. Жестко перетянув солдатским ремнем руку выше локтя, обрадованно заявил:

— Вот и не теку. Порядок!

Выходит, Рябинкин не учел какие-то сокровенные тайники в душах своих людей. Ради будущего боя они готовы были повышать свое солдатское образование. Но это бывшее поле боя вызывало у них чувство подавленности, отвращение.

Передний край врага виделся в бою как броневая шкура гигантского пресмыкающегося, вползшего на нашу землю, вросшего в нее. А теперь все это истерзанное, искалеченное пространство не вызывало даже мстительного злорадства. Бойцы как бы оценивали, что довелось пережить врагу, и, видя в траншеях груды позеленевших расстрелянных патронов, прикидывали, сколько же надо терпеливого самообладания, чтобы так усердно работать под шквальным огнем.

Трушин угадал настроение солдат, но, к удивлению Рябинкина, словно сам поддавшись такому настроению, серьезно и уважительно стал говорить о боевом и стойком умении немецких солдат держать в таком бою оборону. И этим Трушин как бы сразу справедливо возвысил всех наших бойцов, которые участвовали в минувшем сражении на этом плацдарме.

Он отмечал расположение бывших огневых точек, хвалил понимание противником особенностей местности.

Этот дальновидный подход Трушина вызвал у солдат желание высказать свои собственные соображения, как можно поумнее взламывать передний край врага.

И полевые занятия по штурму в натуре оборонительного рубежа приобрели осмысленный, азартный характер, каждый боец старался доказать на этих занятиях, что его солдатская квалификация выше, чем у немца.

Среди бойцов, начавших свой ратный путь в полку с первых дней войны, складывались особые отношения как бы ротной родни, их отличали прочный кругозор, солдатское самообладание, они блюли традиции полка, часто ими же созданные.

Эти «землячества» старых фронтовиков являлись как бы «советом старейшин» в подразделениях, и не только комбаты, командир полка и дивизии знали таких солдат в лицо, считались с их мнением, которое те высказывали с достоинством, — никто из них не строил из себя ошеломленного счастьем простака оттого, что к рядовому обращается с вопросом сам командир соединения.

Чем дольше солдат на войне, тем сильнее укреплялось в нем значение своей личности.

Бесчисленно пережив с достоинством близость смерти, он уже на всю оставшуюся ему жизнь не видел ничего такого, ради чего следовало бы пренебречь своим достоинством.

Тем, значит, тоньше, уважительней должен быть командирский подход к нему. И когда старые фронтовики после боя высказывали одобрение организации действий подразделения, Петр Рябинкин чувствовал себя более вознагражденным и счастливым, чем даже если б получал за этот бой благодарность от командира дивизии.

Такие солдаты обладали не только бесстрашием в бою, но и в обычной армейской обстановке отличались уверенностью суждений.

— Если бы не мы, — авторитетно заявлял пополненцам Парусов, — Гитлер мог свободно всю планету прихватить. А теперь наша задача простая — быть похоронной командой фашизму. Только и делов.

Пехотные подразделения сами по себе в ходе войны не столь богато разжились новой техникой, как, скажем, артиллерийские, танковые, авиационные и прочие высокомеханизированные специальные части, которым страна щедро отваливала металлические изделия все более совершенных, самоновейших систем и конструкций. Овладение ими требовало помимо всего прочего немало умственного труда, учебы в промежутках между боями и на самом поле боя, как бы в порядке производственной практики. Вся эта могучая техника послушно и ревностно обслуживала пехоту, ее нужды, ибо только усердием пехотинцев в конечном счете решалась победа в бою.

IX

Петру Рябинкину не довелось обзавестись биноклем, поэтому он иногда пользовался для этой цели снайперской винтовкой с оптическим прицелом. Покинув свою обжитую

траншею, он ползал у кромки минного поля противника, просматривая через оптический прицел передний край немцев. Такому небезопасному любопытству он предавался теперь регулярно, дабы воочию убеждаться, какие изменения происходят в пейзаже переднего края противника, ибо каждая метаморфоза таила новую огневую точку или новую запасную позицию.

Что касается минного поля, заложенного немцами давно и ни разу не перекаптанного, то мины — это не удобрение для растительности, и поэтому травяной покров над ним выглядел чахло и это помогало работе саперов.

Спирали «Бруно», растянутые вдоль переднего края противника, подобны прозрачным трубам. На них навешаны побрякушки — пустые консервные банки, которые должны выдать своим бряцанием тех, кто попытается проникнуть сквозь эти туннельные, невидимые ночью проволочные петли.

За спиралью «Бруно» торчали косо вкопанные куски рельсов, бетонные белесые пирамидки — противотанковые зубы. Все это освещено с нашей стороны восходящим солнцем, что Рябинкин учитывал, занимаясь подглядыванием за противником в часы восхода, когда солнце функционировало как якобы приданная прожекторному подразделению специальная осветительная аппаратура. Если же в эти часы кто из немцев пробовал контролировать наш передний край оптикой, стекла ее бликовали, и дежурный снайпер воодушевленно слал туда пулю с академической грамотностью.

Хотя бойцы подразделения Рябинкина утверждали: бить врага из его же оружия — это особенное удовольствие, старшина Курочкин давно изъял из употребления трофейное оружие. И не потому только, что отечественного теперь было в достатке. Главное, прошла мода — свидетельство особого молодечества — таскать на себе фрицевский автомат.

Следуя ползком за Рябинкиным, Тутышкин держал на весу новенький ППС с рожковым магазином, перебросив себе на спину сумку от противогаза, тяжело нагруженную гранатами — лимонками «Ф-1», запалы от которых торчали из нагрудного кармана его гимнастерки, словно набор вечных ручек.

Чем выше подымалось солнце, тем больше теплела земля, телесно пахла травой. Но беззвучно было это пространство. Не слышно не только птичьего голоса, даже делового жужжания пчелы, осы, шмеля, терочного стре-

котания кузнечика. И птицы, и насекомые были запуганы боями или вовсе покинули эти места.

Полоса фронта извилисто тянулась на сотни километров. По обе стороны обоюдно внимательно нацелены сотни, тысячи стволов, чтобы выбросить по команде тысячу тонн металла. Подразделению Рябинкина в этом гигантском пространстве назначена самая малость, в общем ходе сражения на оперативной карте даже не отмеченная. Но от степени постижения своей малой задачи и доблести ее осуществления тысячами подобных рябинкинскому подразделений зависел исход всего сражения, плацдарм которого равен был территории среднего европейского государства и получил впоследствии название Орловско-Курского.

Конечно, Петр Рябинкин в такой же мере не знал планов высшего немецкого командования, в какой и своего собственного, армейского, и даже дивизионного.

Но, размышляя над состоянием ничейной полосы между нашими и немецкими оборонительными рубежами, Рябинкин приходил к выводу: сами немцы до сих пор не делают проходов в своих минных полях, — стало быть, они не собираются наступать. А если наши саперы не зачищают проходы в немецких минных полях, это означает то же самое и с нашей стороны. А такого долго быть не может.

Рябинкин говорил поучительно: «Любовь у солдата к жизни в чем выражается? В окопе в полный профиль. Тогда он личность неприкосновенная...»

Инженерные сооружения на этом рубеже были исключительно капитальными, что вызывало у бойцов даже нездоровые настроения. Солдаты считали, что сейчас расходовать столько строительных материалов на оборону не следует, ведь немец разрушил такое множество городов и сел.

По наблюдениям за передним краем врага выходило, что он также оборудовал свою оборону капитально, затратив на нее столько материалов, сколько было бы потребно на строительство многих городов. И это вызывало дополнительную ярость у бойцов, душевно страдающих оттого, что немец тащит этот стройматериал с захваченной им нашей земли.

Никто из солдат, конечно, не выражал Рябинкину своего желания умереть за экономию строительных материалов, столь нужных Отчизне. Но неудовольствие крепостными сооружениями на переднем крае они высказывали, ядовито осведомляясь у Рябинкина: «Настлали уже

на КП дивизии паркет или еще не успели?» Все это сопровождалось огненным затишьем. Даже испытанные фронтовики, способные высыпаться и во время артобстрела, привалившись спиной к стенке окопа, сейчас, в хорошо оборудованных блиндажах, страдали нервной бессонницей от непривычной тишины.

Страдал такой же бессонницей и Петр Рябинкин. Среди ночи он выходил из блиндажа, бродил по траншее, вглядываясь в передний край врага, откуда бесшумно взлетали ракеты, горящие белым, мертвенно-химическим светом над пустынным пространством, зажатым между двумя оборонительными рубежами.

Июньское небо, обвешанное крупными чистыми звездами, выглядело непривычно порожним от почных бомбардировщиков и оттого, что оно, пустое и беззвучное, казалось притягивающим своей бездной, опрокинутой над притихшей землей.

Пахнущие свежим тесом лестницы примкнуты к стенам окопов. По ним должны подниматься бойцы, исполняя приказ атаковать врага. Но сейчас ступени лестниц чистенькие, не обтертые ногами. Деревесные сооружения, никуда не ведущие.

Какое самообладание должен иметь человек, чтобы подняться по этой лестнице в момент начала сражения, с каждой ступенью ее приближая себя к огненному гремящему шквалу, который будет катиться ему навстречу по земле, калеча ее и все, что на ней! Подняться по ступеням этой лестницы будет уже подвигом.

— Вот, — сказал сипло Парусов, небрежно хлопая ладонью по чистой ступеньке, — хорошая плотницкая работа. Но и та может скоро рассохнуться без употребления. — Спросил: — Никак не пойму, не то мы фрицев бережем, не то они нас. Говорят, на войне не соскучишься. А вот, оказывается, бывает...

— Значит, такая задача — перейти в жесткую оборону, — сухо сказал Рябинкин.

— А для кого она жесткая — для нас или немцев?

— Силы накапливаем, не понимаешь?

— А немец, он не накапливает? — сердито сказал Парусов. — Слушаю вон по ночам его сторону, ушами понимаю, все время у него там передвижение, а головой не понимаю, чего мы ждем.

— А нашу сторону ты прослушиваешь своими ушами?

— Есть солидный шумок, правильно, — согласился Парусов.

— Ну, значит, все, — строго сказал Рябинкин.

— Я ведь почему без боя тоскую, — скорбно сказал Парусов. — Меня жена уважает за то, что я на фронте воюю. Работает она сейчас, как мужик, в рыбачьей артели. Людей кормит. Всю нашу семью содержит. Ноги у ней пухнут от ревматизма. Летом в валенках ходит, а ведь в мирное время туфли — только на высоких каблуках и размер тридцать шестой, каждая ступня в мою ладонку величиной. Это же понимать надо. — Произнес с ожесточением: — Поэтому я и желаю окончательно и безотлагательно с фашистами кончать, и канителиться с ними больше моего терпения нету. — Помолчав, произнес извиняющимся тоном: — Конечно, каждому из нас невтерпёж. Но тут в обороне особо мысли о доме вонзаются, и никуда от них не денешься. — Пояснил: — В бою что? Жена не овдовела, ребята не осиротели, — значит, порядок. — Признался: — Когда боя нет, я солдат никудышный, одна штатская жизнь мерещится.

— Ведь ты орденосец, — напомнил Рябинкин, — на тебе уже девять танков числится.

— Танки бить — это моя петезровская должность, а сейчас я все равно как безработный.

— Ты же с пополненцами занятия проводишь! Опыт им передаешь.

— Обучаю владеть оружием, — вяло согласился Парусов. — Но главное им надо самостоятельно достичь.

— Что именно?

— А вот такое, когда ты против него лежишь, ноги раскинув, на локти упор. Глазом в прицел и палец на спусковой скобе, он на тебя, а ты по нему, а ему хоть бы что, а ты все-таки бьешь, потому что, пока ты человеком числишься, свое человеческое перед ним не теряешь. За твоей спиной люди, которые на тебя надеются, уважают, что ты петезр. Ну и сам потом удивляешься, как это ты в сторону не сполз, когда все естество в тебе просилось — ползи. А ты, выходит, свое естество превозмог, выстоял. И от этого перед самим собой потом становится приятно.

— Значит, и в бою бывает радость?

— А как же, обязательно! Через такую радость и смерти бояться забываешь. — Сказал уныло: — Храбрый солдат, он всегда веселый.

— А чего же ты не такой?

— Я человек семейный, к жене сильно привязанный, как боя нет — обратно к ней тянет. Она у меня лучше всех. И товарищ, и друг, и жена. Сразу все вместе. — Произнес

убежденно: — Ежели меня подобьют, тот, кто на ней после меня женится, очень обрадуется, даже не поверит, что такие на свете бывают, самые лучшие. — Парусов смолк, прислушиваясь, сказал снова озлобленно: — Тихо, как в погребѣ. Зарылись в нашу землю. А мы их терпим...

Х

И вот в одну из таких тусклых, молчаливых ночей Петр Рябинкин был разбужен в блиндаже Парусовым, который доложил встревоженным шепотом о том, что услышал шорохи на ничейной полосе в заминированном немцами районе.

Рябинкин, прихватив с собой ефрейтора Тутышкина, выбрался из траншеи и пополз по указанному Парусовым направлению.

Небо в рыхлых облаках было сизым, низким, сырым.

И когда Рябинкин добрался до кромки минного поля, он уже явственно слышал звуки шанцевого инструмента немецких саперов.

Решение, которое принял Рябинкин, он не мог словами передать Тутышкину. Но, приблизившись к нему, он раскрыл рот, высунул язык и сделал хватательное движение рукой. И этого было достаточно. Тутышкин закивал головой.

Они ползли по минному полю, шаря впереди себя распростертыми руками, осторожно нащупывая в травяном покрове выпуклые островки жухлой, сухой травы, под которыми могли оказаться мины. По существу, обнаружить мины так, на ощупь, почти невозможно, но все-таки на какой-то шанс можно было рассчитывать. Потому что если не думать, что есть такой шанс, значит, остается одно: считать, что ползешь навстречу неминуемой своей гибели, а думать так нельзя, не положено, ни к чему.

На захват противника, который уверен в своей безопасности на своем минном поле, может пойти только тот, кто твердо убежден в собственном бессмертии.

И вот они почти натолкнулись на немецкого сапера, который, сидя в лягушиной позе, на корточках, сняв лопаткой дерн и запустив в яму обе руки, вывертывал взрыватель из мины.

Рябинкин подполз к саперу, держа в руках свою каску, кинулся, плотно втиснул лицо сапера в каску, в то время как Тутышкин, лежа на боку, сильно и точно ударил нем-

ца ногой в живот и потом навалился на него, оплетая руками и ногами.

И так они некоторое время лежали вместе молча, в обнимку, прижав сапера и с трудом переводя дыхание.

Потом Рябинкин сунул под каску руку, толкнул кулак в рот сапера. Тот, вяло обмякнувший, не издал ни звука, впад в беспамятство не то от удушья, не то от удара Тутышкина. Тутышкин, деловито обшарив сапера, снял с него ремень, связал им на спине руки. Приспустил с немца брюки на сапоги. На мгновение задумался, потом извлек из кармана шнурок — разведчики народ запасливый, — заткнул обмякшему саперу рот платком и для верности обвязал шнурком, стянув узел на затылке. И после всего показал Рябинкину большой палец.

Рябинкин свалил с плащ-палатки извлеченные из земли мины и на нее положил немца. Волочить сапера на плащ-палатке по заминированному полю пришлось без предварительного ощупывания пространства перед собой.

Когда они отползли несколько десятков метров, Тутышкин отпустил свой угол плащ-палатки. Показав себе на грудь, потом двумя пальцами изобразил как бы движение пог и, оставив Рябинкина с немцем, пополз вперед.

Рябинкин волок сапера вслед за Тутышкиным и так изнемог от усталости, что совсем перестал думать о том, что ползет по минному полю.

Когда впереди рвануло и кроваво-красное пламя обдало едким теплом, он не сразу сообразил, что произошло, продолжая упорно волочить плащ-палатку с лежащим на ней сапером. И он проволок немца по горячей от ожога земле, отворачиваясь от того, что было когда-то Тутышкиным и что сейчас лежало вокруг разбросанными кусками.

Рябинкин уже не мог передвигаться с плащ-палаткой, лежа подтягивая ее к себе. Поднявшись, он взял ее углы в обе руки и потащил, сначала как бы впрягшись в плащ-палатку, а потом пятясь. Обессилев, он лег рядом с немцем передохнуть.

И тут Рябинкин увидел, что сапер лежит с раскрытыми глазами и, мало того, склонив голову набок, внимательно разглядывает его, и на лице у немца не было выражения страха, покорности, подобострастия.

Он смотрел на Рябинкина спокойно, и выжидательно, и, может, даже чуть иронически, возможно, оттого, что русский офицер улегся рядом с ним, обессилев, а может, решил, что этот русский просто сбобел после того, как его

солдат подорвался на mine, и теперь боится ползти дальше.

Рябинкин сообразил: поскольку немец очнулся, он способен передвигаться и надо его принудить к этому. Он подтянул на сапере штаны, застегнул на все пуговицы. Ткнул в бок наганом, потом показал стволом, как вытянутым указательным пальцем, направление и приказал:

— Ползи! — Добавил, вспомнив: — Шнель!

Но немец не пошевелился. Лицо его приняло презрительное, высокомерное выражение, и Рябинкину даже захотелось выстрелить в это лицо. Сначала Рябинкин подумал, что немец желает смерти вместо плена и потому так вызывающе и презрительно смотрит, словно выпрашивает пулю. Но пришла и другая мысль, и, следуя ей, сначала, чтобы проверить ее, Рябинкин отполз от немца, а затем поманил его к себе, и тот послушно пополз вслед. Оказалось, что расчет был правильным. Очевидно, немец решил сначала, что советский офицер погонит его впереди себя по заминированному полю, чтобы только самому уцелеть, и, презирая его за это, предпочитал пулю, чем подорваться на mine, а теперь он покорно и выжидательно полз вслед за Рябинкиным, видимо рассчитывая на то, что офицер подорвется на mine, как тот русский солдат. Рябинкин полз впереди немца, оглядываясь на него, держа на прицеле, и был доволен, что немец теперь послушно следует за ним, поняв, что Рябинкин вовсе не собирался использовать его в качестве живого щупа на минном поле.

Отгадав мысли немца и получив подтверждение, что он отгадал их правильно, Рябинкин все-таки испытывал некоторую неуверенность. Он не был убежден, что поступает разумно. Если он, Рябинкин, подорвется на mine, сапер уползет обратно к своим, а за него отдал уже жизнь Тутышкин, и теперь выходит, что Рябинкин рискует не только собой, но и тем, за что погиб Тутышкин. Справедливей было бы все-таки вынудить немца ползти впереди. Но вместе с тем Рябинкин думал, что это будет и неправильно: если ему и удастся погнать немца впереди себя под угрозой оружия и, допустим, благополучно доставить его в целости, он может испортить этим с таким трудом добытого «языка».

Потому что немец, после того как его прогонит впереди себя Рябинкин по заминированному полю, переживет такое, после чего, как бы ни маялись с ним офицеры разведотдела, он не скажет им ничего существенного. Будет только смотреть на них так же вызывающе, как смотрел на

Рябинкина, когда тот сначала хотел погнать его впереди себя. И никто не будет знать, почему «язык», добытый Рябинкиным, окажется непригодным. Хотя за захват «языка» Рябинкин наверняка получит орден. И не меньше чем Красного Знамени, потому что уже три недели на участке дивизии никому не удавалось добыть «языка». И командующий армией обещал тем, кто захватит «языка», именно этот орден.

Но если немец не захочет быть «языком», при чем здесь Рябинкин? Его дело доставить пленного. И это уже подвиг. И все будут считать, что он совершил подвиг. А то, что он решил ползти первым по заминированному полю, внушив немцу уважение к себе, так это скорей глупость, чем подвиг: подорвется — и немец уйдет к своим, только и всего.

Но ведь Рябинкин знает: штабу дивизии нужен не просто живой немец, а «язык», который может дать важные сведения, и от них будут зависеть тысячи жизней, когда начнется бой. Выходит, что, как бы он яростно ни ненавидел сейчас пленного, который не скрыл своего удовольствия от гибели Тутышкина, все это надо превозмочь и не быть просто конвойным при немце, а стать вроде как бы сопровождающим представителем, озабоченным, чтобы этот немец не просто был пленным, а начисто побежденным противником, неспособным не только к физическому, но и к нравственному сопротивлению.

Рябинкин знал: как только немцы хватятся пропавшего сапера, все пространство ничейной полосы, исключая разве только минное поле, они покроют огнем, чтобы уничтожить этого сапера-«языка».

По-видимому, немец-сапер тоже это понимал. Он полз за Рябинкиным поспешно, тревожно озираясь.

Рябинкин стремился быстрее достичь бывшего наблюдательного пункта артиллеристов, где теперь никого не было. На днях немцы пытались захватить наших артиллеристов-наблюдателей внезапной атакой. Наблюдатели вызвали огонь на себя, но, когда и это не помогло, они подорвали себя гранатами, чтобы не достаться живыми врагу.

Обе стороны давно и тщетно пытались взять «языка».

Расчет Рябинкина захватить сапера-«языка» возник не внезапно. Он готовил себя к этому исподволь, поведавав о своем замысле только Тутышкину. Разминировать проходы немцы должны обязательно, рано или поздно. Но чем больше бойцов будет участвовать в этом захвате, тем

меньше шансов провести его успешно. Ведь каждый обрекал себя не только на возможную смерть на мине, но и шумной своей гибелью мог вызвать срыв операции.

Обнаружить целую группу противнику проще, чем одиночных бойцов. Объясняя Тутышкину свой план, Рябинкин сказал:

— Может, я придумал это, как в кино, — полезть в одиночку на минное поле. Но немцы тоже соображают, что это глупость для нормального человека. И тут первый козырь.

— А кто с тобой? — спросил Тутышкин.

— Не обязательно ты, если сомневаешься. Приказа моего нет, а на одной доброй воле, — уклончиво сказал Рябинкин.

— Грузоподъемности у меня хватит немца на себе нести, воротничок гимнастерки сорок шестой размер, — информировал Тутышкин.

— На вид ты не толстый.

— Толстые — это жирные, — пояснил Тутышкин. — У меня сплошь мускулы. Тяжелоатлетом считался. Поэтому на заводе всегда легкую работу давали, чтобы не переутомлять до состязаний.

— Значит, берегли?

— А как же. Не одними производственными рекордами коллектив гордится, спортивные тоже возвышают.

— Выходит, ты чемпион?

— Нет, — печально сказал Тутышкин. — У меня всегда спортивной злости не хватало, чтобы лишний вес взять.

— А теперь?

— Как все. Через «не могу» — на одном нерве.

— Ну так как?

— Ясно, — бодро объявил Тутышкин. — Сбегать на минное поле. Принести «языка» на себе. После всего сапоги почистить, заправочку проверить. Стать по команде «Смирно»... И медаль.

— Нет, ты все-таки еще подумай.

— О чем? — спросил Тутышкин.

— Маловато возможностей уцелеть. Просто даже нет никаких гарантий.

— Не надо меня на сознательность щипать.

— Хочу, чтобы твердо знал, на что идем.

— А это верно, что мы с фашистами сейчас воюем?

— Балагурить хочешь?

— Каждый чего-нибудь о себе воображает. Вот я тоже. Решил, что самый храбрый, и на этом держусь.

— Несерьезный ты человек, — досадливо сказал Рябинкин.

— А я не просто человек, у меня сан ефрейтора. Значит, не рядовой. Личность!

Хотя Рябинкина и раздражала эта развязность Тутышкина и он мог призвать его, как положено, к порядку, в глубине души он чувствовал, что все это у Тутышкина от радостного волнения, что выбор Рябинкина пал на него.

Тутышкин признавался:

— Хотя я человек сам по себе и небольшой, но самолюбие у меня огромное, на четверых хватит.

И когда в бою лицо его покрывалось нервной испариной, он с полным самообладанием хвастал:

— Зато ноги у меня никогда не потеют.

Получив ранение, он не покинул поля боя, заявив насмешливо:

— По моему здоровью только к ветеринару. — И тут же, сделав серьезное лицо, выстрелил в немецкого автоматчика, объявил: — Вот он, мой самый желанный. До чего активный этот фриц был, весь в медалях, а телосложение совсем не авторитетное.

Во время боя Тутышкин болтал не смолкая. Шутил:

— Мне бы, ребята, хоть малюсенький ореольчик. За то, что в чине человека не зазнаюсь перед вами, имея от природы личный дар — красоту внешности. И солдат я самый приличный. На ночь чищу сапоги, а не зубы, как некоторые. После войны соображу себе за это персональный мундштук. Во дворе дома. И буду глядеть на него из окна своей квартиры обожающими глазами.

— А у тебя квартира есть?

— Я ее по телефону закажу из Берлина.

С того дня, когда Рябинкин начал готовить Тутышкина к захвату «языка» на минном поле, получив на это разрешение комбата, Тутышкиным овладела неудержимая, бестолковая жизнерадостность.

Жадно говорил:

— После войны обязательно на юридический поступлю!

— Почему на юридический?

— Люблю справедливость. А то, пожалуй, наймусь матросом на теплоход дальнего плавания. Надо посмотреть все страны. — Спрашивал опасливо: — Ты что, думаешь, я умственно ограниченно годеи? Нет. Вот гляди. — Вытащил из кармана засаленный шнурок, на котором висела деревяшка с трехзначной цифрой. Объяснил: — Бирка!

Немцы их нашим людям навешивают, как скоту. Буду по странам ее возить, показывать, чтобы знали, что у них на шее висело б у всех, если бы не мы.

— Ладно, — соглашался Рябинкин. — Показывай.

— Мы ведь сейчас кто? — рассуждал Тутышкин. — Снайперы, автоматчики, пулеметчики, гранатометчики, бронебойщики, минометчики. А как войне конец — тысячами рабочих профессий развернемся с ходу. Чтобы наша держава по всем статьям всему миру доказывала. И все у всех людей было.

— Вот это правильно, — одобрил рассеянно Рябинкин, пытаюсь определить, чем вызвана сейчас такая словоохотливость у Тутышкина. Не то тем, что Тутышкин пытается глубже осознать, ради чего он согласился пойти на опасное задание, или только тем, что он испытывает удовольствие оттого, что Рябинкин лестно выделил его из числа всех других бойцов.

Все эти дни Тутышкин был беззаботно общителен, по нес солдатскую службу с особой, подчеркнутой старательностью, видно опасаясь каким-нибудь упущением вызвать неудовольствие Рябинкина, а еще хуже — быть отстраненным от задания. Так твердо готовил себя Тутышкин к тому, на что пошел и Рябинкин, полагавший, что, как командир, он имеет особые права пойти почти на верную смерть.

Но сейчас Рябинкин был сосредоточен только на одном: чтобы живым вывести немца-сапера.

И когда он вместе с ним вполз в ровик бывшего наблюдательного артиллерийского пункта — в земляную щель, развороченную взрывами гранат, которыми подорвали себя артиллеристы, со следами того, что осталось от их тел, Рябинкин испытал только чувство удовлетворения, что успел вовремя достичь этой щели; здесь ему уже наверное удастся сохранить пленного.

И почти в то же мгновение немцы начали бить по ничейной полосе, освещая ее ракетами. Оглядев сапера, прижавшегося к оползшей стенке окопчика, Рябинкин снял с себя каску, озабоченно накрыл ею голову немца, обвязал ему ногу куском провода на случай, если самого Рябинкина заденет осколком, чтобы немец не ушел. Освободил рот немца от шнурка, как бы в компенсацию за связанные ноги.

Все это время сапер внимательно смотрел на Рябинкина, но уже без злобы. Рябинкин закурил. Заметив, как немец жадно вздохнул при этом, скорей машинально, по

солдатской привычке делиться куревом, чем от сочувствия, свернул сигарку, вложил ее в рот пленному, поднес зажигалку.

Рябинкин не придавал особого значения обстрелу немцами ничейной полосы, хотя огонь был плотный, но, когда он услышал пулеметную стрельбу с нашей стороны, встревожился. Значит, немцы бросили автоматчиков на поиск, и те свободно могли обнаружить ровик, в котором он с пленным.

Рябинкин вложил в гранату запал, оттянул ее ручку на боевой взвод и, держа большой палец на предохранительной скобе, придвинулся поближе к саперу.

Немец стал что-то быстро, взволнованно лопотать, трясая головой так, будто что-то попало ему в ухо. Тогда Рябинкин скорее из брезгливости, чем из жалости, отодвинулся от немца. Отложил гранату в сторону.

Все ближе и ближе к ровику ложились снаряды, они рвались с сухим хрустом в едком оранжевом пламени.

И вот плеснуло обжигающим огнем, плотным ударом воздуха Рябинкина свалило на дно окопа, и почти в то же мгновение сорокадевятимиллиметровая мина, вытянутая, как капля с крутой траектории падения, ударила в спину Рябинкину и, не разорвавшись, туго вонзившись, застряла между ребрами. Глухой удар ее был почти беззвучен в грохоте рвущихся снарядов.

Рябинкин лежал обмякший, беспамятный, распластаный, как бы пригвожденный к земле, а из спины его торчал четырехперый стабилизатор мины, выкрашенный ярко-желтой краской.

Рябинкин медленно, протяжно всплывал из клейкой густой черноты, в которой он был утоплен, где все внутренности его разрывало от боли удушья, и, чем ближе он был к поверхности, тем сильнее становилась эта непереносимая боль.

И когда Рябинкин открыл глаза, он стал туманно различать своими почти незрячими, как у слепого, глазами равнодушное и бессмысленное человеческое лицо почти рядом со своим.

Потом голова с этим лицом качнулась, заморгала, пошевелила губами и издала какие-то звуки.

Рябинкин безразлично смотрел перед собой, ощущая свою раздавленность, ожидая нового окончательного беспамятства, после которого уже ничего не будет, и, значит, этой муки, бесконечно долгой боли.

Но беспамятство не приходило, тело сопротивлялось ему, а Рябинкин не хотел сопротивляться, он хотел так ослабеть, чтоб больше ничего не было. Но не получалось. Жизнь еще оставалась при нем. Он ждал, когда она кончится. А она не кончалась. Рябинкин тупо смотрел на лицо немецкого сапера, которое, шевеля губами, произносило какие-то отрывистые, чуждые слова, звуки их раздражали Рябинкина своей настырностью — немец пытался что-то внушить ему.

И чем больше его раздражали эти чуждые звуки, тем сильнее мучила боль, и вместе с болью укреплялось угасшее было сознание, возвращая ему никчемную сейчас способность восстановить утраченное ощущение себя. Рябинкин, как бы лстя самому себе, сделал усилие, отгреб рукой землю от своего рта и затаился, ожидая от этого движения убивающей боли. Она пришла, но не убила. Только из прокушенной губы тепло потекла кровь.

Рябинкин слизнул ее и почувствовал жажду. И стал думать о воде.

И она увиделась ему сверкающая, мягкая, и не было ей края, но она была неутрачивающая, становилась все плотнее, и он стекленел в ней, затвердевал вместе с ней. Она давила его, выдавливая из него сердце.

Рябинкин очнулся. Стиснутые зубы его болели, и эта новая боль несколько ослабила главную боль.

Сапер смотрел на Рябинкина, как ему почудилось, с любопытным состраданием.

Рябинкин сплюнул кровь, напрягшись, повел глазами сначала на связанные руки сапера, потом на ноги и торжествующе усмехнулся. Сапер понял, прикрыл глаза и наклонил голову.

Рябинкин тоже понял немца.

И тогда Рябинкин сделал чудовищное усилие и высвободил подогнутую руку с наганом, в скобе которого коченел его скрюченный палец.

Он долго тянул руку, укладывая ее, как чужую, словно протез, почти у самого своего лица, упер в землю рукоятку нагана, скосив глаза, стал целиться. Немец судорожно привстал. Но Рябинкин повелительным движением ствола что-то внушал ему. И немец догадался. Он сел и вытянул связанные в лодыжках ноги к Рябинкину.

Рябинкин наставил дуло револьвера на провод. Потом посмотрел вопросительно на немца.

Тот жалобно улынулся.

Рябинкин прислушался к своей боли, чтобы окончательно решить, насколько его хватит. Он не захотел приговаривать немца своей смертью к смерти в этом ровике, как бы заживо похоронить его в нем. Застрелить? Но ведь немец послушно ведет себя как пленный. Значит, нельзя его застрелить просто так, чтобы одним врагом стало меньше. Пусть уйдет со связанными руками к своим. Получится вроде живой листовки к противнику. Ведь кидают же иногда листовки наши летчики фрицам. Вот Рябинкин тоже выкинет своего фрица-листовку. А может, это просто жалость, перед смертью ослабел, раскис. Прихлопнуть, и все?

Немец смотрел на Рябинкина молча, выжидающе.

Рябинкин подумал: будь он на месте пленного, он бы лег на голову Рябинкину и задушил бы его, вдавливая в рыхлую землю.

Почему немец не сделал этого? Может, просто потому, что, задушив Рябинкина, ему все равно, связанному, не выбраться из щели? А разве с Рябинкиным ему выбраться?

Рябинкин в таком случае, конечно, о себе не подумал бы. Обрадовался бы только, что убил немца, и все.

Но ведь немец противился Рябинкину, когда подумал, что он погонит его по заминированному полю. Значит, он не трус. Значит, в башке у него что-то после всего шевелилось...

Рябинкин снова нацелил дуло нагана на провод, связывающий ноги сапера, нажал на спусковой крючок. Пуля не перебила провода. Он снова нажал — и опять неудача, и с четвертого выстрела то же самое.

Тогда, ожесточаясь своей неудачей, Рябинкин потянулся зубами к проводу. Это движение пронзило его ужасной болью, и он впал в беспамятство.

Очнулся он не скоро.

И никогда не узнал, что было потом...

XI

На рассвете тяжелые низкие тучи стали сочиться, течь, и все взмокло сыростью, заволокло парным сизым туманом, и разрывы снарядов тускло всплескивались в этом тумане желтыми вспышками и мгновенно гасли, будто потушенные дождем.

Группа бойцов под командованием старшины Курочкина покинула траншею и вышла на поиск Рябинкина

и Тутышкина. Судя по тому, как немцы всполошились и стали поспешно бить по ничейному пространству, было понятно, что захват «языка» состоялся. Но почему, как было обусловлено, Тутышкин, у которого ракетница, не дал сигнала, трассой ракеты обозначая то направление, по которому они с Рябинкиным намерены отходить? Командование ждало этого сигнала, чтобы обеспечить отход огневыми средствами.

Взрыв мины засекли сразу, но если б Рябинкин и Тутышкин оба на ней подорвались, — обнаружив это, немцы не стали бы после взрыва вести огонь с таким упорством. Значит, «язык» был все-таки уведен. Но кто-то же тогда подорвался на mine? Может, один из наших. Или, тоже возможно, какой-нибудь неловкий немец-сапер?

А раз немцы погнали на ничейную полосу автоматчиков, значит, они ищут своего, захваченного в плен. И, следуя принятой манере, фрицы брызжут из автоматов, не видя цели, но как бы расчищая для своей безопасности пространство.

Группе наших бойцов предстоит теперь дуэль впотьмах, в тумане с этими автоматчиками.

Обе стороны, послав солдат на ничейную полосу, прекратили артиллерийский огонь, чтобы не задеть своих.

Мертвая сизая плесень тумана особенно густа и светонепроницаема в низине; в пяти шагах, разделяющих бойца от бойца, оба выглядели как вертикальные тени, а еще несколько шагов, и они уже незримо растворялись в сыром туманном дыму.

Каждый звук мгновенно обволакивался как бы мягким ватыным чехлом. Старшина Курочкин обладал способностью в опасности обретать упорное, невозмутимое спокойствие, и он отдавал команду глухим, утробным, повелительным голосом, словно на строевых занятиях.

Рассредоточив бойцов и приказав продвигаться пригнувшись к земле, сам Курочкин шагал в рост, чтобы иметь большую видимость.

Но когда завязались сначала одиночные поединки впотьмах с обнаруженными отдельными немецкими автоматчиками и эти дуэльные схватки постепенно стали нарастать, Курочкин вытащил из-за пазухи мехового жилета ракетницу и начал посылать ракеты туда, где вражеский огонь был плотнее.

Конечно, этим он вызывал огонь на себя, но единственное, что он сделал, чтобы несколько обезопасить себя, — прижал к животу саперную лопатку, ибо считал ранение

в живот самым опасным для организма. И хотя ракеты в туманной мгле только окрашивали ее в разные цвета, но не просвечивали, осветительная работа старшины убеждала бойцов, что их командир действует начальственно, уверенно.

Продвигаясь в слепой тьме и жадно вслушиваясь, бойцы, разделившись на пары, старались впотьмах не потерять своего напарника. А те, кто терял, ощутив одиночество, несколько мгновений испытывали смятение, решая, искать ли потерянного или продолжать самостоятельно продвижение уже без расчета на взаимопомощь. И значит, вступать в одиночку в поединок с неведомым числом внезапно обнаруженных врагов.

В этой операции никто никем не командовал, каждый солдат сам командовал собой, и никто не мог знать, как он это делает; никто не мог ни похвалить, ни упрекнуть действие или бездействие другого; отторгнутый в невидимость, каждый должен был повиноваться только самому себе. И если кто, как последний трус, заберется в балку и будет в ней отлеживаться — никто об этом не узнает. И если кто героически бросится на автоматчиков и, израсходовав патроны, ляжет на свою гранату — про такое геройство тоже никто не узнает.

Каждый сам с собой, наедине со своей совестью.

Курочкин не видел бойцов, утопленных в туманном мраке. Упорно не меняя свое местоположение, он посылал ракеты. Он обнаруживал этим себя, но таким способом мог внушать людям, что старшина на месте и, стало быть, все видит, все знает.

Бойцами руководило не только сознание своего солдатского долга, но и возвышавшее каждого чувство, что они не просто ведут бой с автоматчиками, а вышли на выручку, на спасение лейтенанта Петра Рябинкина и ефрейтора Тутышкина, совершивших подвиг и захвативших «языка» на заминированном пространстве. И дело не только в том, что они становятся причастными к этому подвигу, а и в том, что они выручают героев и, значит, чем-то должны быть подобны им. И у каждого теплилась особая человеческая благодарность лейтенанту Рябинкину. Ведь он мог запросто любому из бойцов приказать выйти на захват «языка». И каждый обязан был выполнить этот приказ. И кто бы ни захватил «языка», честь операции кому принадлежит? Тому подразделению, которым командует лейтенант Рябинкин. Тем более он ее и разработал. А вот лейтенант сам пошел на поиск, взяв с собой од-

ного Тутышкина, считая, что слишком мало шансов на удачу, а за неудачу он должен расплачиваться только своей жизнью. Вот он какой человек, этот лейтенант Петр Рябинкин. Он решил щадить жизнь своих солдат. И теперь его собственная жизнь зависит от каждого из них.

Этот бой впотьмах велся одиночными бойцами, и ход его, как морзянкой, читался пунктирами очередей автоматов. Глухими вспышками гранат каждый старался вызвать огонь на себя и, обнаружив этот огонь, бил встречно, подтверждая противнику, что тот его засек, а ведь убежаться можно было только одним — не выдавать себя огнем оружия.

Вглядываясь в сизый сумрак, Курочкин видел, как все чаще и чаще вспыхивают разрозненные светляки очередей, и, считая эти огненные очажки, он облегченно убеждался, что число их совпадает с числом солдат его группы, — значит, воюют все и каждый сам ведет свой поединок самостоятельно.

...Рябинкин очнулся оттого, что уже не было боли, тело его омертвело, будто его погребло заживо в земле и из нее торчала только его голова, еще зачем-то живая.

Он поморгал, чтобы этим шевелением вернуть ощущение жизни, хотя бы вместе с болью, но боль не приходила. Значит, он уже частично мертв, и даже скрюченного в скобе нагана пальца он не ощущал.

И снова он увидел мясистое лицо сапера с ушами, оттопыренными каской. Оно было напряженно, сапер не смотрел на Рябинкина, а, вытянув шею, жадно прислушивался.

Рябинкин, словно бы повинуюсь тому, на чем сосредоточился сапер, тоже прислушался. Услышал звуки боя на ничейной полосе и понял, почему у немца в глазах появилась тень надежды.

Тогда Рябинкин опустил голову на свою руку и укусил ее и радостно ощутил, что рука живая, и он, возвращая ей жизнь болью, смог пошевелить ею, уложить ее снова правильно; оперев твердо рукоятку нагана, он направил ствол на немца и замер в ожидании.

Сапер, заметив эти усилия Рябинкина, хотел отползти в сторону, но Рябинкин, предупреждая его, оскалился и, угрожая, приподнял ствол нагана. Сапер кивнул, давая знать этим движением, что он все понял, и больше не двигался.

Рябинкин решил о чем-нибудь думать, чтобы хоть при уже мертвом своем теле сохранить подольше жизнь в го-

лове, которая как бы самостоятельно внушала ему, на что он еще способен полумертвый.

Ему пришли на память слова санинструктора Павла Андреевича Воронина: «Ревновать ту, которая тебя любит, нелепо, а если не любит — бессмысленно». Значит, думать о Нюре ни к чему. Не надо разжигать себя горечью. И жалеть ее тоже не следует сильно: разве он самый лучший? Будет другой, получше его. Мало ли вот даже в подразделении людей достойнее, чем он! Но разве Нюра полюбила его за то, что он какой-то особенный, ведь она полюбила его за то, что он такой, какой есть, а другого такого нету. И если Нюра так думала, значит, она так всегда будет думать и останется одна или, что еще хуже, встретится с другим, а он окажется не таким... Нет, что значит встретиться?

Лицо Рябинкина при этой мысли приняло такое отчаянное выражение, что сапер судорожно заерзал и стал просяще качать головой, умоляя Рябинкина не совершать того, что, как показалось немцу, тот сейчас совершит держащейся своей рукой с наганом.

И Рябинкину стало совестно, что эти его жгучие и такие сейчас никчемные переживания немец принял на свой счет. Нечего при нем думать о себе, о Нюре, некрасиво это, вроде как слабость перед врагом.

Рябинкин насупился, подмигнул саперу и даже пошевелил щекой, вроде как усмехаясь: мол, что, струсил? Видал, какой я еще живой, могу даже проверять тебя, как ты там еще держишься. И это ощущение своего, почувствованного вдруг превосходства настолько ободрило Рябинкина, что он решил подставить под утомленную правую руку ладонь левой. Но это движение вновь опрокинуло его в беспамятство.

Когда Парусов обнаружил Рябинкина в ровике и, послав Чишихина сообщить по цепи, что лейтенант найден, захотел было вместе с Ворониным поднять его, пленный сапер, ужасаясь, закричал, кивая на спину Рябинкина, из которой торчала неразорвавшаяся мина. Конечно, если б мина, потревоженная, взорвалась, погиб бы не только Рябинкин, но и Парусов, и Воронин. А немец, возможно, уцелел бы, так как его сразу грубо и поспешно Парусов вытащил из ровика наверх. Но немец закричал, предупреждая об опасности. Тогда этому воплю никто не придавал особого значения, было не до того, чтобы соображать, чего там думает пленный фриц.

Прибывший сюда старшина Курочкин, всегда такой уверенный в себе, властный, растерялся и не знал, какую команду давать бойцам.

Присев на корточки рядом с Рябинкиным, он гладил его ладонью по щеке и жалобно уговаривал:

— Порядок, товарищ лейтенант, полный порядок. Все будет по самому высокому уровню.

Воронин, отстраняя старшину, сказал решительно:

— Прошу покинуть всех окоп, я попытаюсь извлечь мину.— И начал раскладывать санитарную сумку. Но Курочкин запротестовал:

— Что значит попытаюсь? Ты что, минер? — И приказал зычно: — Эвакуировать с ней вместе. Нести на цыпочках, ступать в ногу, как в парадном строю, и, что бы ни было, не спотыкаться, не падать, если даже кого сильно заденет, успеи простонать, чтоб другой перехватил. Ясно?

Четверо бойцов в рост несли Рябинкина на плащ-палатке, в то время как остальные прикрывали их отход.

Мерно и торжественно ступали они под огнем. Торжественно оттого, что ступали в ногу, становясь на носок, прежде чем уверенно опуститься на полную ступню.

И когда один стонуше охнул, другой успел подхватить край плащ-палатки.

И никто не считал это геройством — осторожно, неспешно шагать в рост под огнем. Героем считали только одного — Рябинкина. Чишихин полз в отдалении, сопровождая ползущего немца, и ему было стыдно ползти, когда товарищи идут в рост. Но сопровождать пленного в рост ему запретил старшина.

— Обоим на брюхе,— приказал Курочкин. Добавил глухо: — Если мина рванет, чтобы ты с ним остался в целости. И запомни на весь отрезок своей жизни: чего бы ни случилось, а «язык» должен быть в штабе неповрежденным.

По сигналу старшины двумя красными ракетами наша артиллерия поставила мощный отсечный огонь.

Туманная мгла шаталась, пропитываясь цветом пламени, трепыхающегося в ней.

Рябинкина принесли в санбат. На всем пути бойцы красными флажками предупреждали о взрывоопасности своего шествия.

Всех раненых вынесли подальше от хирургической палатки, где на стол положили Рябинкина.

Сухоный, маленький, с плотно сжатыми губами, военврач в звании майора сказал медсестре:

— Позвоните начальнику и предупредите, чтобы направили сюда хирурга.

— Вы не будете оперировать? — спросила изумленно сестра.

— Именно потому, что я его буду оперировать, — сказал военврач. — А вы, — приказал он, — идите отсюда прочь.

Солдаты подразделения Рябинкина собрали все, какие только можно, стальные щиты от станковых пулеметов и принесли их в санбат, чтобы заслонить, по возможности, и оперируемого и самого хирурга. Кроме того, они привели с собой лучшего минера из саперного подразделения.

Военврач отклонил все эти средства защиты как непродуманные.

Советы знаменитого минера старшего сержанта Агафонова выслушал внимательно. А выслушав, сказал:

— Благодарю за консультацию. Устройство мины усвоил — все ясно.

Агафонов посоветовал робко:

— Может, окопчик вырыть и вам из окопчика операцию делать, все же так будет безопаснее.

— А для раненого? — спросил военврач.

Агафонов развел руками.

После того как мина была извлечена из тела Рябинкина и Агафонов унес ее в каске с песком и подорвал в земляной щели, прошло еще много времени, пока военврач вышел из палатки. Лицо его было бледно, потно, губы расслабленно обмякли. Крапал чахлый дождь, было пасмурно, серо.

Хирург поднял голову, посмотрел на вспученное грязноватыми облаками небо и вдруг объявил, бессмысленно улыбаясь:

— Отличная погодка, а? Ни пыли, ни жары. Какой воздух, грибами пахнет! — И, опустившись на пень, стал растерянно шарить у себя по карманам. Закурив, он как бы отошел, сказал сухо: — Жить будет. — Поднес к лицу растопыренные пальцы, пошевелил ими и, удостоверившись, что они двигаются, приказал медсестре: — Кто там еще? Приготовьте к операции.

Спустя некоторое время Петра Рябинкина эвакуировали в армейский госпиталь в глубокий тыл.

Он был очень слаб, сознание только чуть теплилось в нем.

И конечно, Петр Рябинкин не мог знать ни того, как его спасли бойцы и хирург санбата; ни того, что пленный

сапер дал чрезвычайно важные сведения, о которых немедля сообщили в штаб армии; ни того, что немец, перед тем как дать эти сведения, заявил с достоинством, что он дает их, побуждаемый некоторыми соображениями, которые возникли у него при обстоятельствах его пленения, и руководствуется только личными мотивами, связанными с поведением советского офицера, взявшего его в плен. Иначе он никогда не нарушал бы своего солдатского долга. Но поскольку сапер сообщил о дате начала немецкого наступления и начертил схему известных ему немецких укреплений, мотивами, почему он так обстоятельно все изложил, никто всерьез не заинтересовался.

Начальник разведотдела объявил, что сведения эти необычайной ценности, и добавил, что вообще в саперных подразделениях рядовые обычно из трудовых слоев германского населения. Очевидно, побуждаемый классовым сознанием, немец и решил дать эти сведения.

Как бы там ни было, сапер после подтверждения им показаний на все более высоких уровнях настолько освоился со своим положением ценного военнопленного, что, давая показания командующему армией, заставил его выслушать свой рассказ о советском офицере, в спине которого застряла неразорвавшаяся мина и который при этом вел себя с достоинством воина.

Командарм вначале подумал, что немец сочиняет, как бы этим оправдывая себя, почему он не только сдался в плен, но и дал все сведения, которые мог и не дать.

Сделали запрос. Пришло подтверждение из части, что все правда.

Командарм приказал исправить в наградном листе на имя Петра Рябикина орден Красного Знамени на орден Ленина.

И, как ныне всем известно, располагая данными, добытыми различными разведывательными способами, плюс к этому показания пленного сапера, наше командование за сорок минут до назначенного немцами часа генерального наступления на Курском выступе внезапно обрушило на врага огонь тысяч орудий солидных калибров и этой контрподготовкой поломало противнику все его расчеты и планы. И Курская дуга разогнулась, нанеся немецким армиям один из решающих ударов второй мировой войны.

Петр Рябинкин долго пробыл в разных госпиталях, где его исцеляли от тяжелейшего ранения и где он, пользуясь для этого всеми возможностями, перечел множество книг. Так как читал он лежа, то несколько испортил себе зрение и выписался из госпиталя уже в очках.

Когда Нюра Рябинкина встретила Петра на вокзале, она, всплеснув руками, отчаянно воскликнула:

— Петя! Отчего на тебе очки? Ты писал — в грудь ранен. Может, ты слепой? — И так жадно бросилась к мужу, что он, сконфуженно озираясь, попросил:

— Люди же кругом, ты полегче.

— А что мне люди? — вызывающе сказала Нюра. — Когда ты самый единственный и самый мой.

— И ты тоже, — сказал сипло Петр Рябинкин.

Глядя жалобно в мокрые, изумленные от радости глаза Нюры, на ее ликующее худое лицо с выступившими скулами, на ворох ее светящихся волос и прижимая ее к себе, он почувствовал, как вся она сжимается, словно птица перед взлетом. Бледные, малокровные губы ее слабо открывались в беспомощной улыбке.

Нюра надела на себя вещмешок Петра и, бегло бросив взгляд на его грудь, сказала убежденно:

— Сколько их у тебя! И правильно, я иначе про тебя и не думала.

— А если б я в обозе служил?

— Ну и что?.. — сказала беспечно Нюра. — На войне всюду бомбят. Все равно переживала б.

По небу ползла мягкая лавина облаков, и в скважины между ними струился световой ливень.

Река уносила, как обломки зимы, грязные льдины. Они скрипели, ломались, сочно чавкали и стеклянно лопались со звоном.

И вдруг Нюра, обернувшись, сказала вкрадчиво и ласково:

— Петенька, ты на меня не сердись, только жить нам с тобой негде.

— То есть как это негде?

— Отдала нашу комнату детной женщине. А сама с девочками в общей. — И тут же смущенно добавила: — Пыжиков, начальник механического цеха, конторку нам на первое время уступил. Окошки завесила, уютно вышло.

Только шумно, а так нормальная жилая площадь. И стол там накрыла. Никого и не надо звать в гости, после смены найдут знакомые поздравить с возвращением, очень удобно, все рядом.

Через неделю Петр Рябинкин встал за станок, который уступила ему Нюра, заявив гордо:

— Гляди, как я его наладила, не хуже Трушина.— Предупредила: — Учти, я бригадир, так что, если чего надо, обращай непосредственно.

— Ну это мы еще посмотрим! — буркнул Петр, испытывая при этом нечто вроде унижения.

На заводе осталось мало старых кадровиков. Подростки, женщины стояли у станков.

И когда в литейной заело стопор ковша для разливки стали, все растерялись не столько оттого, что произошла авария, а оттого, что может погибнуть несколько тонн стали.

Рябинкин взял газовый резак и принялся прожигать отверстие в ковше, стоя под ковшом, чтобы выпустить металл. При этом он велел всем отойти подальше, чтобы струей людей не задело. А если что, так только его одного.

И когда он успел отирянуть от огненной струи и струя пошла в изложницы, все обрадовались тому, что сталь не погибла, а живым потоком течет в изложницы и из нее теперь получатся снаряды.

Никто особенно не хвалил Рябинкина за его смелость, потому что все думали: труд здесь, на заводе, легче, чем труд солдат на фронте, и ради десятков снарядов можно рисковать собой. И ничего тут особенного нет, что Рябинкин догадался прожечь отверстие в ковше. Кто бы другой догадался, тоже сделал бы это не хуже Рябинкина.

И так же спокойно к этому отнеслась Нюра. Она сказала Петру:

— Хорошо, что ты прожег ковш, а то некрасиво, фронтовик — и вдруг в стороне.

А спустя месяц Нюра заболела гриппом с тяжелыми осложнениями. Вышла она из больницы на костылях.

Рябинкину дали отдельную комнату. Он поступил на заочное отделение машиностроительного института, просиживал все вечера дома за книгами и тетрадками, рядом с койкой, на которой лежала Нюра.

Но еще до получения диплома ему пришлось стать сначала начальником полета, потом цеха. И не потому, что Рябинкин оказался уж так силен в технике, он быстро

пошел в гору. Дело в том, что Рябинкин обучился на войне терпеливо и уважительно понимать разных людей с разными характерами, и поэтому работа на его участке ладилась.

Если Рябинкин никогда не повышал голос у себя в цехе, то с начальником рабочего снабжения он повышал голос до самого мощного звучания.

Как заведено было у Рябинкина в подразделении всегда присутствовать при раздаче пищи солдатам, так и теперь он обязательно находился в столовой в обеденное время.

Директор завода однажды сказал, раздраженный выступлением Рябинкина на совещании:

— Вам бы не инженером быть по вашим склонностям, а где-нибудь заведовать бюро жалоб.

— Правильно, — согласился Рябинкин. — Вот сменим после победы лозунг «Все для фронта» на лозунг «Все для людей» — и пожалуйста, готов с полным удовольствием.

Поста заведующего бюро жалоб Петр Рябинкин не получил. Его вызвали в горком партии, и секретарь горкома сказал деловито:

— Есть такое мнение, товарищ Рябинкин, рекомендовать вашу кандидатуру освобожденным секретарем заводского партийного комитета.

Рябинкин задумался, потом сказал:

— Мне надо еще посоветоваться.

— Позвольте узнать, с кем?

— С женой, — с достоинством сказал Петр.

— Странно, — сказал секретарь. — А мы вас считали человеком самостоятельным.

— Вот именно поэтому и обязан ее сначала спросить, — твердо заявил Рябинкин.

— А если все коммунисты за вас проголосуют?

— Тогда, значит, и она тоже.

— Ну что ж, может, она зайдет к нам и посоветуемся?

— Зайти она не может, — сказал сухо Рябинкин. — Она болеет.

— Извините, — сказал секретарь. Потом спросил: — Вы говорили, что после лозунга «Все для фронта» новый требуется — «Все для людей»? Так?

— Точно, — сказал Рябинкин и осведомился: — Может, вы считаете, не по-партийному выразился?

— Нет, почему же. Хотя директор вашего завода несколько иначе истолковал ваши слова.

— Значит, не дошли,— нахмурился Рябинкин и заявил горячо: — А вот Нюра очень одобрила...

Вот, пожалуй, и все, что мы можем сообщить о Петре Рябинкине, рабочем человеке из того поколения советских людей, которое изумило мир своей доблестью и скромной простотой, с какой оно пришло к празднику Победы — подвигу века, возвысив звание человека своей верностью человечности, всему тому, что мы чтим в людях нашей Отчизны.

[1968]

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Степной поход	7
Мальчик с окраины	134
Знакомьтесь — Балуев!	221
Сидор Цыплаков	470
Петр Рябинкин	521

Кожевников В. М.

К 58 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 3. Повести. 1936—1968.— М.: Худож. лит., 1986.— 623 с.

В том вошли повести 1936—1968 гг.: «Степной поход», «Знакомьтесь — Балуев!», «Петр Рябинкин» и др.

К 4702010200-161
028(01)-86 подписное

ББК 84Р7
Р2

Вадим Михайлович

КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

Том 3

Редактор Т. Х а л и л о в а

Художественный редактор Е. Е н е н к о

Технический редактор В. К у л а г и н а

Корректоры Н. З а м я т и н а, Т. С и д о р о в а

ИБ № 4197

Сдано в набор 21.06.85. Подписано в печать 05.12.85. А-14160. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 32,76. Уч.-изд. л. 36,28. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1850. Заказ № 1980. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Scan Kreyder - 19.02.2018 - STERLITAMAK

1806